12
1968

Иностранная литература

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ГОР ВИДАЛ — Вашингтон, округ Колумбия (Окончание) 55

ПЬЕСЫ

ПЕТЕР ВЕЙС — О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился (Представление в одиннадцати картинах. Послесловие Льва Гинзбурга) 163

РАССКАЗЫ

ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА — Луанда 7

СТИХИ

ЛОНСАЙНИ КАБА - Стихи 3

ДОРА ГАБЕ -- Помедли, солнце 50

КРИТИКА

ЛИДИЯ СИМОНЯН — Главным образом о чудаках, немного о хэппенингах 180

Э. КАРХУ — Путь к революции (Уроки Майю Лассила) 187

КУРОДА ОТОКИТИ — Визит к Горькому (Вступление Б. Бялика) 198

В. ВАЛИЦКИЙ — Последний китайский роман 204

12

ДЕКАБРЬ

1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

РАДОВАН ЗОГОВИЧ — Вера в людей . . . 211

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Г. БРЕЙТБУРД — Асфальт и булыжник . . 215

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ЖАН Ф. БРИЕР — Дух Ташкента 224

ЭКРАН И ВРЕМЯ

Е. СТОЯНОВСКАЯ — О новых зарубежных фильмах (Публицистические заметки) 227

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Евг. Долматовский — Арестованные поэмы. ◇ Л. Зонина — XX век, Бельгия 242

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

М. Игнатов — Возвращение к эпосу. ◇ С. Майзельс — Айайи не хочет быть нищим. ◇ А. Карельский — Антология экспрессионистской драмы 245

НАШИ ГОСТИ

А. ЗВЕРЕВ — «Против тирании жизни» (Уильям Стайрон — гость «Иностранной литературы») 252

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

В. МИРИМАНОВ — 10 000 лет африканского искусства (Искусство Сахары) 255

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

265

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 266

НАША ПОЧТА

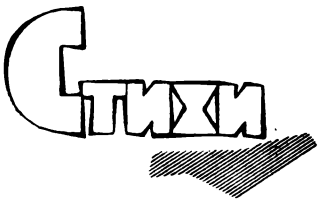
ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ 279

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

. . . . 282

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1968 ГОД (№№ 1—12) . . 284

На обложке: Жираф. Петроглиф. Феццан.



Перевод с французского
ЯКОВА СЕРПИНА

Зов тамтама

Слышите —
Это тамтама зов
Рвется, радости не тая;
Это, как яростный гул лесов,
По жилам летящая кровь моя.
Нервы, как струны, обнажены;
Песня слетает со струн,
А в ней —
Вспышки света, пена волны,
Грохот падающих камней.
Тамтам под рукой, не смолкая, поет;
Гум-м... гум-м...— повторяет эхо кругом.
В долину жизни с орлиных высот
Срываются молнии,
Рушится гром.
Гум-м... гум-м...—
Свободы победный гимн,
Сквозь темень ночи пробившийся зов:
Гремит тамтам,
И к ногам моим
Падают звенья ржавых оков.
Соленый бриз ускоряет бег,
И я кричу, задыхаясь:
— Вперед!
Это тамтам голосами тех,
Кто пал за свободу,
К свободе зовет.
И когда встают они вновь на бой
Рядом с нами,
Круша врагов,
Гремит тамтам походной трубой,
Вторя могучему ритму шагов.

И я поднимаюсь в полный рост,
Зубы сжимая и страх презрев,
И я головою касаюсь звезд,
И страшен мой справедливый гнев.
...Но когда улыбка твоя,
Светясь,
Как легкий парус, скользит по губам,
Стихают пальмы, укрывшие нас,
И нежным становится вдруг тамтам.
И полнится ночь голосами птиц,
И радость
Отблеском песен их
Живет под тенью длинных ресниц
В глазах твоих
И в глазах моих...
Песня свободы — как вызов громам,
Песня любви — как прилива шум.
Слышите —
Это звучит тамтам:
Гум-м... гум-м... гум-м...

На берегу Нигера

Когда становится ночь голубою
И наливаются гроздья звезд,
Иду я к Нигеру мшистой тропою
Вдоль спящих пригорков и птичьих гнезд.
И вырастают передо мною
В зеленых подсвечниках стебли лиан,
И город,
Оставшийся за спиною,
Похож на дремлющий океан.
Скользит бесшумно моя пирога,
Послушна веслу,
Длинна и легка,
И долгой песней, зовущей в дорогу,
Тревожит меня река.
И темные тени под мглистой луною
Причудливо тянутся в тишине,
И листья, склоненные над волною,
Ожившими нимфами кажутся мне...
Про Нигер однажды читавшие где-то,
Не видевшие моей реки,—
Прошу вас, не говорите,
Что это
Всего лишь красивые пустяки.
Садитесь в пирогу — со мною рядом —
И в полночь откройте свои сердца
Всему, что можно окинуть взглядом
И невозможно понять до конца.
Плывите со мной отрешенно и немо,
Причастные к звездам, горящим вдали,
К мягкому бархату вечного неба,
К трепетным шорохам древней земли.
Движенье веток,

Травы дыханье,
Голос зверя, бегущего прочь...
Полна, как первый час мирозданья,
Томительных тайн африканская ночь.
И ветер, бьющий листвой по теням,
И под упругим веслом волна
В ночи возникают двойным отраженьем —
Привычной правды
И смутного сна.
И вы затаенно за ними следите,
Не в силах коснуться безвольной рукой
Янтарной луны, стоящей в зените,
Тумана, плывущего над рекой.
Пространство теряет свои границы,
И лань, в отдаленье почуяв врага,
Сливаясь с ветром,
Испуганно мчится,
Мчится сквозь заросли и века.
И в стороне от речной долины
В деревне тамтамы бессонно гремят,
И пальмы раскачивают вершины
Так же,
Как тысячу лет назад.
Сойдите на берег,
Молча встаньте
Под призрачный веер высоких ветвей,
А я тороплюсь в эту полночь к Фанте,
К веселой и верной подруге моей.
Не удивляйтесь, что мне навстречу
Из плотного мрака идут голоса,
И, стебли раздвинув,
— Добрый вечер!
Говорит мой старый приятель Муса.
Для вас — улыбка его и рассказы,
А я ухожу до нового дня
Туда, где в окошке знакомой казы
Дрожит огонек,
Поджидая меня.

В смеющемся солнечном свете

В смеющемся солнечном свете
Дымился прибрежный песок.
И пахнущий травами ветер
Спасти нас от зноя не мог
В смеющемся солнечном свете.
Твой голос, протяжно звеня,
Летел над песком раскаленным
И бился в висках у меня
В смеющемся солнечном свете.
Тревожного счастья полны,
Мы, за руки взявшись, как дети,
Бежали вдоль пенной волны
В смеющемся солнечном свете.

И плавился берег седой,
И крылья стремительных чаек
Вскипали над синей водой
В смеющемся солнечном свете.
...Как ветры морские — года,
Но самой прекрасной на свете
Ты кажешься мне,
Как тогда —
В смеющемся солнечном свете,
В смеющемся
Солнечном
Свете.

Свобода

Свобода,
Ты одна бессмертна!
Пески пустынь, и мрак слепой,
И ярость гибельного ветра
Смиряются перед тобой.
Как легкий сноп,
Лучей сиянье
Несешь ты в поднятых руках
Через любые расстоянья
На всех земных материках.
Стареет мир.
Уходят люди,
Тускнеет память о былом,
Но нет и никогда не будет
Морщинок на лице твоем.
Ты — древо жизни,
Цвет весенний,
Все ярче ты из года в год,
И под твоей широкой сенью
Расправил крылья мой народ.
Свобода!
Издали встающий,
Улыбкой солнечной светя,
День долгожданный,
День грядущий —
Твое великое дитя.

Прислушайся, как бьется сердце
В его груди,
У нас в груди;
Дай руку,
Разреши вглядеться
В рассвет, встающий впереди!
Все, что свершить сегодня в силе,
И все, что завтра мы свершим,
Свобода,
Мы соединили
С бессмертным именем твоим.

ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА

РАССКАЗЫ

Перевод с португальского
ЛИДИИ НЕКРАСОВОЙ

Линде, другу Луанды
и моему другу.

Нам стыдно, что в наших домах, в Луанде, происходят такие вещи...

(Из народной сказки)

Бабушка Ши́ши и ее внук Зека Сантуш

ДОЖДЯ не было уже больше двух месяцев; в муссеке * молодые побеги травы были покрыты красной пылью, поднятой горячим ветром и джипами, день и ночь патрулирующими запутанные кривые улочки. Однако соседки слышали, как старуха, стоя на пороге своей хижины и вдыхая знойный воздух, в котором нельзя было уловить даже слабого движения ветерка, сказала внуку, что не пройдет и двух дней, как будет дождь.

Поэтому, когда утро родилось вместе с тучами, белыми и пушистыми сначала, а потом черными и мрачными, низко нависшими над муссеком, все люди воздали должное бабушке Шиши. Даже еще не выйдя из дому на дорогу, чтобы старческой семенящей походкой спуститься в Нижний город, она сказала, что дождь будет непременно.

И, действительно, в это утро дождь шел дважды. Сначала взревел грозный ветер и погнал тучи по небу, перемешивая, крутя, заставляя бежать с побережья к верховьям Кванзы, а потом, наоборот,— с гор к морю.

И глядя на тучи, люди, стоя на улице или на порогах хижин, гадали, пойдет ли наконец дождь или опять ничего не будет, как несколько дней назад, когда тучи уже собрались, чтобы разразиться дождем, но вдруг подул ветер и разогнал их. Ведь бабушка Шиши сказала, что сегодня дождь будет непременно, а при ее мудрости, накопленной за семьдесят с лишним лет, не могла же она ошибиться. И хотя все ощущали пока что только бешеные порывы горячего ветра, видели только, как кувыркались на дорогах бумажки, листья и другой мусор, как взвивалась клубами красная

* Муссеки — окраинные кварталы Луанды, расположенные на холмах, населенные беднотой.

пыль на улицах, женщины начали закрывать окна и двери, загонять детей в хижины, потому что такой ветер не к добру, он несет болезни, ведь его насылают колдуны.

В конце концов утомленный этой игрой ветер успокоился. Некоторое время слышен был только шум листьев мулемб и маниоковых кустов, растревоженных ветром, и грустное воркование пирул *, предвещающих дождь. Потом мало-помалу, как будто еще боясь рассердить жестяные крыши, начали падать тяжелые капли. Не прошло и пяти минут, как по всему муссеку зазвучала песня воды, танцующей по крышам. Она заглушила все людские голоса, последние крики матерей, зовущих детей по домам, и только могучий голос грома перекрывал ее время от времени.

Почти одновременно с первым раскатом грома, который грянул над муссеком, так что задрожали тоненькие стены жалких домишек и полетели доски, бумага и циновки, перепуганные люди увидали яркую вспышку молнии, которая прорезала все небо вдоль и поперек и озарила землю таким светом, что, как уверяли потом очевидцы, прожектора, укрепленные на вышках, совсем померкли в его ослепительном блеске.

Дождь лил очень долго и только к полудню начал ослабевать, хотя небо оставалось таким же мрачным, черным от непролившихся туч. Муссек стал похож на остров посреди озера, улицы были затоплены, хижины залиты грязной красной водой, кое-где она быстро стекала по асфальтовым дорогам в Нижний город, но в других местах разливалась широкими лужами, в которых будут плодиться комары и распевать лягушачьи хоры. Некоторые хижины были размыты дождем, и люди стояли около мокрых руин по колено в воде, держа в руках свой жалкий скарб — все то, что удалось спасти. Только стебли молодой травы, те, что успели высунуться из-под воды, радостно тянули вверх зеленые вымытые пики и улыбались небу, на котором не видно было еще ни лазури, ни солнца.

Когда Зека Сантуш, с разбегу толкнув дверь, влетел в хижину, поскользнувшись на глиняном полу, бабушка даже вскрикнула от неожиданности: «Ворвался словно сипай!» ** Зека засмеялся, но бабушка рассердилась:

— Э-э, мальчик, так нельзя! Что же, твои родичи — собаки, что ли? Разрешения уже не спрашиваешь, уже не здороваешься со старшими...

— Прости! Это я бежал от дождя...

Бабушка Шиши даже не взглянула на него, проворчала что-то и продолжала выметать воду из комнаты в маленький двор. Сегодня она поспешила пораньше вернуться домой и нашла в хижине и во дворе целое море воды, набежавшей после утреннего ливня. Размокшая глина сползала со стен, виднелся оголившийся плетеный тростник, а на жестяной крыше было столько дыр, что она напоминала лист для жарения каштанов. Как бабушка ни старалась, она ничего не могла поделать. Вода все время возвращалась в хижину, и старуха наконец поняла, что все ее усилия напрасны. Усталая, она села на ящик и стала медленно передвигать закопченные камни, стараясь найти для очага место посуше, чтобы развести огонь и заняться стряпней.

Там, снаружи, как будто дождавшись, чтобы Зека Сантуш добежал до дома, снова пошел дождь, крупный и тяжелый. Но молния уже не сверкала, и гром не гремел, слышался только шум воды, низвергающейся в воду.

— Бабушка, послушай, бабушка!

Голос Зеки звучал так тихо и неуверенно, что старая Шиши удивленно подняла глаза, полные слез от дыма — сырой хворост не разгорался,— и заморгала.

— Будем есть или нет? Я очень голоден, бабушка! Вчера утром ты мне не дала ничего, вечером я просил, опять ничего! Я не могу так жить, бабушка!

Бабушка Шиши медленно покачала головой, и на лице ее, худом и изможденном, застыло то выражение, которое всегда пугало людей... Что-то она скажет, хорошее или плохое, кто знает? Такая была слава у бабушки...

— Ты что, мальчик? И тебе не стыдно? Разве я тебе вчера не говорила, что деньги кончились? Разве я не сказала, что мальчик должен искать работу, какую угодно, даже слуги? Разве я не предупредила тебя, скажи только, не предупредила?

— Но, бабушка!.. Я опять ходил, искал работу, каждый день в Нижний город хожу, хожу, хожу, ничего...

— Замолчи, мальчик! Ты думаешь, я тебя не знаю? Ай-ай-ай! Ты так думаешь? Ладно, ладно, но ведь еду я для тебя должна готовить? Не так ли? А из чего?

И будто собрав все силы для этого разговора с внуком, она встала на ноги и прислонилась к стене. Видно было, что мальчик смущен. Он низко опустил большую голову с оттопыренными ушами. Наверное, ему хотелось найти ответ поубедительнее, чем те, какими он довольствовался все эти дни, когда бабушка упрекала его, говорила, что он бездельник, что он только и думает о танцах, не вспоминает даже об отце, который сидит в тюрьме, а чем теперь они будут платить за хижину, как будут жить, если его уволили с работы на бензозаправочной колонке, и все из-за того, что он любит поспать, он, Зека Сантуш...

---

* Пирула — небольшая птица из породы горлиц.

** Сипаи — африканцы, пошедшие на службу к колонизаторам, нижние чины полиции, надсмотрщики в тюрьмах.

— Правда, бабушка! Я ходил искать работу...

— Мальчик, а у белого со* Соуту ты был? Я тебе говорила, чтобы ты пошел к нему, потому что, если ты будешь работать у него, он даст нам в долг продуктов!

Зека закрыл лицо руками, как будто не желая слушать слова бабушки, а в животе у него снова проснулся голодный червь, ведь уже два дня он ничего не ел, только утром вчера выпил чашку кофе, жидкого, как вода, и больше ничего. И бабушка потом чуть не плакала, метлой поднимая его с циновки, чтобы он шел пораньше на поиски работы. Уходя утром в Нижний город, Зека снова слышал горестные слова бабушки, которая жаловалась, наводя в хижине порядок:

— Даже макезу** и того нет! Айюэ, несчастная наша жизнь!

Теперь, снова вернувшись в угол, она продолжала раздувать огонь, вода в жестянке уже закипала, но нечего было в нее положить.

— Бабушка, когда же будем есть?

— И-и! А что же нам есть? Мальчик принес денег, принес, чтобы купить какой-нибудь еды?.. Каждый день все ходишь по вечеринкам, деньги, которые получил, истратил на рубашку, а теперь «Бабушка, я хочу есть, бабушка, что мы будем есть?» Где твой разум, мальчик?

Она опять склонилась над огнем, с яростью его раздувая, хворост уже высох и разгорелся, он не дымил больше, а весело потрескивал, но бабушка не могла успокоиться, все жаловалась:

— Айюэ! Ведь я говорила тебе, пойди к белому со Соуту! Может быть, если ты ему поможешь, он нам даст в долг еще чего-нибудь...

— Белый со Соуту, белый со Соуту! Хорошо же, смотри, бабушка, смотри!!!

Зека Сантуш быстро сдернул через голову желтую рубашку, разрисованную пестрыми цветами, рубашку, на которую ушли последние заработанные им деньги, рубашку, из-за которой так сердилась бабушка... И в полутемной хижине, освещенной только слабым огнем очага и тусклым светом пасмурного дня, обнажились худые, угловатые плечи Зеки, перечеркнутые длинной красной полосой. Бабушка вскочила и положила свои старые мозолистые руки на плечи внука:

— Айюэ! Как это тебя угораздило, мальчик? Скажи мне! Говори скорее!

Но он уже опять натянул рубашку, красивую желтую рубашку, разрисованную пестрыми цветами, на которую заглядывались все девушки и говорили, что он, Зека, так хорош в ней... Повернувшись к бабушке Шиши, он подтолкнул ее тихонько к ящику, чтобы она села, а сам, длинный, тощий, уселся напротив нее на маленький столик:

— Бабушка мне сказала, чтобы я пошел туда, вот я и пошел... Правда! Ни дождь, который как раз принимался, ни голод — ничто меня не остановило...

Со Соуту принял его приветливо, дружелюбно, даже положил ему руку на плечо и сказал:

— Можешь быть спокоен! Для сына Жоана Феррейры у меня всегда что-нибудь найдется! А бабушка как, здорова? Скажи ей, чтобы не стеснялась... счет еще совсем маленький, может приходить опять...

Потом он скрылся за какой-то дверью возле склада, с трудом волоча свое брюхо, скрытое под грязной фуфайкой, а Зека Сантуш стал рассматривать бензозаправочную колонку. Она была не автоматическая, как в Нижнем городе, нет, нет... И он увидел две желтые пятилитровые банки — отмерять бензин...

— Клянусь, бабушка, я ничего не трогал, я ничего не говорил! Я только попросил его, чтобы он позволил мне работать у колонки, больше ничего. Только чтобы нам было что есть и еще чтобы он отпускал тебе в долг, бабушка! А он стал хохотать, стал говорить, да, да, сеньор, ты сын Жоана Феррейры, хорошего человека и потом, уж не знаю как, бабушка...

Зека хотел заплакать, на глазах его выступили слезы, но ярость была такой же сильной и жгучей, как тот удар бича из гиппопотамовой кожи, который обрушился на его плечи. Этот злобный жар высушил слезы, набежавшие на глаза, и не дал им вылиться.

— Как огреет меня бичом, не знаю, за что, бабушка! Я ничего не сделал! А потом, когда я бросился бежать, он заорал, что потащит меня в полицию, что я жулик, такой же, как Матиаш, который воровал деньги из выручки, когда работал у него...

— Этот мальчик сейчас арестован, да?

— Да, бабушка! Это он, со Соуту, потащил его в полицию... И еще он кричал мне вслед, что я сын террориста, что он подаст на меня жалобу, что нет у него товара для бандитов, что больше не даст в долг...

Бабушка Шиши Энгеле, всегда довольствовавшаяся малым, не смущавшаяся ничем в жизни, разрешавшая любые трудности и задачи, когда бы они ни выпали на ее долю, ушам своим не верила. Но плечи внука говорили убедительнее слов. Как же мог белый, такой, как со Соуту, бывший приятель Жоана Феррейры, ударить

---

* Со — сокращенное от сеньор, вежливое обращение.

** Макезу — традиционное народное кушанье, шарики из маниоковой муки с различными приправами.

мальчика плетью только за то, что он просил работу? Гм! Конечно, Зеке не раз случалось и нашкодить, надо попытаться узнать у него правду...

— Однако послушай, Зека! Ты у него ничего не стащил? Ничего не сунул под рубашку?..

Осторожно и умно, со всем опытом прожитых лет бабушка Шиши начала допрашивать внука. Может, и не время сейчас было для этого, но она должна была выяснить, не лжет ли он.

— Бабушка, перестань! Я не вор! Я ничего не украл у него! Я только хотел получить работу, клянусь тебе, бабушка!

И он зарыдал. Крупные слезы потекли по его худому лицу, голова с круглыми оттопыренными ушами склонилась на стол, спряталась между рук, все тело затряслось, задрожало, как от боли, от этого подозрения, от ярости, от голода, от бессилия... И бабушка умолкла.

Там, снаружи, дождь шел теперь уже мелкий и спокойный, многие люди решились выйти на улицу, дети пускали кораблики с парусами из утиных перьев по широким лужам муссека. А здесь потрескивали сучья в очаге, булькала кипящая вода и слышались рыдания Зеки Сантуша, и от этих звуков хижина наполнилась такой тоской, что мало-помалу загрустила и бабушка. Покачивая своей старой, усталой головой, она задумалась об этой тяжкой жизни, без еды, без денег, без работы... А мальчик плакал... И в этот раз, кажется, он был прав... Но как часто бывало, что Зека поступал неразумно — получал жалованье и тратил его сразу, только и забот у него было, что купить красивую рубашку, только и мечтал что об узеньких брюках, о красных носках, хотя она его предупреждала, что немного денег надо сберечь... И что же? Он упрямился, на уме вечеринки, танцы, просыпался поздно, бежал на работу бегом, и так до тех пор, пока его не выгнали...

Безграничная нежность, неудержимое желание взять его на руки, как в бывалые времена она брала плачущего худенького малютку, постепенно наполняли ее старое усталое сердце. Чтобы скрыть это желание, с которым ей трудно было совладать, бабушка Шиши стала потихоньку, бесшумно разворачивать пакет, который она принесла с собой из Нижнего города.

Дождь уже перестал, и свежий влажный ветер гнал маленькие волны по красной воде луж, стряхивал капли с листьев деревьев. Оторванные жестяные крыши тарахтели от его порывов. Шорох бумаги под столом заставил Зеку поднять голову. Он увидел сгорбленную спину бабушки, потом ее ноги, босые, широкие, стоящие на красном глиняном полу.

Все теперь казалось ему более светлым, более легким, и боль в животе уже прошла, там просто была пустота, там совсем ничего не было... И добрый взгляд бабушки, которая разворачивала газету прямо перед ним, казался далеким, и сама бабушка была как тень...

— Зека, посмотри, мой мальчик! Видишь, это маленькие маниоки, я тебе их приготовлю. А вот еще апельсин, смотри, мальчик!

И теперь только, когда все это лежало перед ним, когда бабушка улыбалась ему ласково и грустно, Зека Сантуш почувствовал, как у него закружилась голова, как кровь побежала быстрее и давний стыд, стыд, от которого он мечтал избавиться, купив цветную рубашку и узенькие брюки, стыд, который не позволял ему принимать еду даже от друзей, вот как сегодня утром, когда Манеку предложил ему полбутерброда,— этот стыд наполнил его грудь, его сердце, заставил закрыть глаза, чтобы не видеть того, что он увидел, чтобы не думать больше о старом, сгорбленном теле, высосанном жизнью и туманами, о бабушке, стоящей под дождем, копающейся своими сухими, мозолистыми руками в мусорных ящиках богатых кварталов Нижнего города. Это там она раздобыла апельсины, почти совсем гнилые — лишь по кусочку можно было откусить от каждого, и эти маленькие красные клубни, которыми она хотела его соблазнить, которые она собиралась приготовить для него, чтобы убить голод, терзающий желудок...

Не помня себя, Зека вскочил, оттолкнул бабушку и, больше ни о чем не думая, заботясь только, чтобы слезы опять не полились у него из глаз, закричал страшным, хриплым голосом, повторяя одно и то же, как сумасшедший:

— Но это же георгины! Это георгины, бабушка! Это клубни георгинов!

Дверь, разбухшая от дождя, не закрылась за ним. Хлопнула один раз, два раза, потом заскрипела, заплакала тихонько, как будто ей тоже стало грустно с уходом Зеки. А посреди хижины, темной и полной дыма от погасшего очага, стояла бабушка и смотрела вслед внуку, сжимая в трясущихся руках клубни георгинов и растерянно качая головой.

■

Дона Сесилия ди Баштуш Феррейра, сидя на стуле возле двери дома, чувствовала дуновение предвечернего прохладного ветра, но мошкара все еще не унималась. Стоял жаркий декабрь, и ее муж Баштуш Феррейра, мулат из старинной семьи бывших ссыльных, уже пятнадцать дней как отправился торговать по ближайшим лес-

ным селениям, сопровождаемый длинной вереницей монангамб*. Он всегда ходил только пешком, вместе со своими рабочими, не признавая носилок, он говорил, что человек не должен сидеть на спине у другого человека.

Розовое солнце опускалось за холм, на котором стояла крепость, вся эта часть города, так называемая Кокейруш, была осыпана золотой пылью его последних лучей, а море там, впереди напоминало большое зеркало. Однако мошкара продолжала тревожить, и в вечерней тишине прозвучал голос Сесилии Феррейры, которую друзья называли нга** Шиши, приведя в смятение девушек-учениц, которые в ее доме кроили, шили и гладили одежду для продажи в лавках:

— Мария, Мария, иди сюда!

Через минуту нга Шиши, или дона Сесилия, живущая в квартале Кокейруш в доме с маленькой пристройкой, где работали девушки-ученицы, уже обмахивалась веером, который принесла ей Мария.

В это время здесь проходило много людей, возвращавшихся домой, и всеобщее уважение к Баштушу Феррейре чувствовалось во всех приветствиях, улыбках, поклонах и в словах, обращенных к его супруге:

— Нга Шиши, как поживаете? Хорошо? А ваш муж?

— Наслаждаетесь прохладой, дона Сесилия? Мое вам почтение.

И даже белый служащий с улицы Алфандеги, ее давний поклонник и воздыхатель Абел, останавливался поцеловать эту черную гладкую руку.

— Примите, ваше сиятельство, уверение в совершенном почтении вашего преданного поклонника!

И она улыбалась, показывая белоснежные перламутровые зубы, и не злость, и не насмешка, а тайное торжество вспыхивало в глубине ее прекрасных глаз. А потом, указывая на своего маленького сына, сидевшего на циновке у ее ног, она говорила полушутя, полусерьезно:

— Шутите лучше с Жоазинью, Абел!.. Если Баштуш Феррейра узнает о том, что вы тут говорите... Вам тогда, Абелиту, будет не до шуток.

И торопилась проститься с ним, потому что опасно было разговаривать с этим парнем, нельзя было ему доверять, такая уж шла о нем слава. Тогда в доме снова начинался шум, смех и песни, которые совсем было смолкли. Любопытные девушки-ученицы всегда затихали, когда к дому подходил этот парень с улицы Алфандеги, им нравилось слушать, как смело отвечает ему их хозяйка дона Сесилия.

А она продолжала сидеть перед домом вместе с маленьким Жоазинью, спокойным малюткой, у которого были огромные, как будто остановившиеся глаза. Вечерний ветер становился еще прохладнее, и огненные цвета солнца перебегали на море, окутывая, обволакивая Кокейруш, и само солнце все увеличивалось, все краснело, зажигая дома, зелень деревьев и синеву неба...

Сидя на мокрой земле у двери хижины, нга Шиши Энгеле очнулась от полусна и закряхтела, отворачиваясь от солнечного луча, вырвавшегося из-за туч, словно нарочно для того, чтобы ударить ей прямо в лицо. Бабушка недовольно зажмурилась от яркого света, зашевелилась и снова почувствовала старческую слабость, тяжесть в голове и горечь во рту. Воспоминания, которые были почти сном, исчезли, и слабая улыбка искривила ее высохшие губы:

— Нга Шиши! Дона Сесилия! Что это мне вдруг вспомнилось сегодня?

Она засмеялась грустным смехом, хриплым от бессчетного множества выкуренных сигарет.

— Айюэ! Может быть, это от маниоков, которые я съела...

У нее действительно болел живот, все эти дни она пила только кофе, больше похожий на воду, а потом вдруг сварила эти маниоки и съела их все, наверное, они ей и повредили... Может быть, в самом деле это были не маниоки, вкус у них был совсем другой, но, конечно, и не бататы, и бабушка еще раз вспомнила сердитый голос внука, когда он стремительно убегал от предложенного ею обеда:

— О! Я еще не хочу умирать, и есть мне уже совсем не хочется!

Но мысли, явившиеся в полудреме, не хотели покидать ее старую голову, не соглашались расстаться с ней. Чего только не было тогда в доме, еды сколько угодно, одежды — тоже, а о деньгах нечего и говорить... Бабушка Шиши уже совсем очнулась, но воспоминания все еще терзали ее, хотя она больше не чувствовала себя доной Сесилией Баштуш Феррейра. И она не сопротивлялась, не боролась со своими воспоминаниями — к чему? Пусть эти глупые мысли поиграют у нее в голове, они вызывают лишь сожаление и грусть... И она повторяла тихонько, как будто извинялась перед кем-то:

— Такая теперь жизнь! Но ведь бог — наш отец, а не отчим! Он знает, что делает!..

Солнце уже начинало сражение с тучами, ветер расчищал синеву неба. От воды, пролившейся на землю, поднималась прохлада. На телеграфных проводах, пересекающих муссек, рядами сидели ласточки, забыв о рогатках мальчишек. Воробьи уже скакали по мокрой земле, потому что воробьи не умеют ходить, а только скачут в поисках зерен, чтобы наполнить свои зобики. На ветках мулемб радостно чирикали

* Монангамба — человек, выполняющий тяжелую работу, грузчик, чернорабочий.
** Нга — сокращенное от нгана, сестра на языке кимбунду.

какие-то птицы, совершившие успешное нападение на их спелые плоды. Осы, как бешеные, вылетели из своих гнезд на деревьях кажу, а муравьи щупали усиками глину, готовясь приступить к постройке нового дома. Куры и утки давно вышли на улицу, они знали, что после такого дождя все муравейники бывают разрушены и их черные и красные обитатели бродят по земле в поисках пристанища. Собаки лежали возле дверей, наслаждаясь прохладой. Только кошки еще не появились. Эти животные очень не любят дождь и мокрую землю.

Но бабушка как будто и не слыхала шума окружающей ее жизни. Не замечала ветра, грохочущего по жестяным крышам, журчания воды в канавах, людского смеха и разговоров, щебета птиц, шороха листьев... Все это было для нее таким привычным, таким знакомым, как сама ее жизнь, со всеми туманами, со всеми дождями... И сейчас старая Шиши чувствовала только боль в животе и в голове, она становилась все сильнее, а по телу разливался холод. Бабушка уже не в силах была войти в хижину и все сидела и сидела вот так на мокрой земле, закутанная в черную ткань, приоткрыв рот, жадно вдыхая воздух и зажмурив глаза. А мошкара вилась над ней и садилась на обнаженные морщинистые руки.

— Добрый вечер, бабушка Шиши! Как живешь?

Старуха открыла глаза и попыталась улыбнуться. Солнце мешало ей, но она узнала Титу.

— Спасибо, девочка, хорошо. А как Грегориу?

Тита опустила голову, пожала плечами и наконец ответила нерешительно:

— Все то же самое, бабушка, он там...

Бабушка Шиши оперлась рукой о стену, силясь встать, и молодая женщина помогла ей подняться, осторожно, бережно, ведь все соседки знали, что ревматизм только и дожидается вот таких сырых дней, чтобы напасть на старуху. Айюэ, такова жизнь! Такова жизнь бедняков!

— Вот так-то, бабушка... Прямо беда... И даже никто не говорит мне, когда он выйдет оттуда! Я сказала начальнику, даже поклялась, что мой муж никакой не террорист, нет, сеньор, все ночи он спал со мной в нашей хижине, когда же он мог участвовать в беспорядках, во всех этих делах, в которых вы его обвиняете...

Бабушка Шиши вздохнула, прислонясь к стене, боль в животе у нее не унималась.

— Правда, девочка! Так оно и есть. Начальник, он никогда ничего не слушает...

— Айюэ! Он мне сказал: может быть, ты и спала со своим мужем, но все равно мне все известно! Вот какая наша жизнь, бабушка! Ну, ладно, прощай, я пойду! Когда буду возвращаться, постою подольше, поболтаю с тобой.

— Спасибо, девочка. Но скажи, однако...

И при этих словах голос бабушки Шиши зазвучал громче и глаза ее чуть-чуть приоткрылись. Любопытство, эта страсть знать все, что происходит, обо всем сказать свое слово, вынести свое суждение, заставило ее спросить:

— А ты далеко идешь?

— В дом со Кристиану, бабушка!

— А что там делать, у со Кристиану?

— А ты не знаешь? Ах, не знаешь! Его жена родила ему девочку!

— Вот как! Вторую уже! Видно, этот человек умет делать только одних девочек!

— Правда, бабушка! А теперь ругает жену, говорит, что это ее вина. В тот самый день, как бедняжка родила, он говорит такое!

Бабушка Шиши засмеялась, и казалось, от свежих новостей даже ее старческий, надтреснутый смех зазвучал свежее и моложе. Маленькие, глубоко сидящие глазки замигали быстро-быстро, и все ее лицо заблестело, озаренное солнцем, будто намазанное пальмовым маслом. А Тита подошла совсем близко и стала рассказывать об этой только что родившейся девочке; она родилась совсем белая-белая, как будто дочка белых родителей, и если бы она, Тита, не знала так хорошо свою подругу Домингаш, она непременно подумала бы, что какой-нибудь белый соблазнил ее...

А бабушка все смеялась, ее высохшие старческие груди тряслись от смеха, она хлопала в ладоши, наслаждаясь услышанным. Она зажмурила глаза, согнулась, уперлась руками в костлявые бока и смеялась все громче и громче. А когда, наконец, Тита, смеясь, зашагала дальше по мокрой песчаной дороге, ведущей в квартал Рангел, бабушка собрала все свое давнее мужество, свое всегдашнее веселье и, несмотря на то, что голодный червь все так же терзал ей желудок, крикнула вслед Тите, озорная и очень довольная:

— Знаешь, девочка! Живот женщины — как горшок! Из него выходят белые, из него выходят и черные... Смотря что положишь...

■

Они шли вдвоем, теперь уже молча, вдоволь наговорившись во время обеда. Манеку, засунув руки в карманы замасленного комбинезона, курил. Зека Сантуш заглядывал во все витрины и в глаза девушек, наслаждаясь впечатлением, которое производила на всех его желтая рубашка, разрисованная пестрыми цветами. Он медленно шел рядом с другом, чувствуя, что в желудке у него опять усиливается жжение, а кровь приливает к голове, затуманивая глаза. Но все-таки ему было приятно шагать

вот так, вместе с Манеку. Он старался забыть о голоде, терзавшем его желудок, даже о бабушке и об этих маленьких клубнях, которые она хотела дать ему на обед, даже о работе, которую он никак не мог найти.

Было уже почти четыре часа. Они шли по тротуару в квартале Котонью-Тонью, по направлению к морю. Зека Сантуш явился специально, чтобы встретить своего друга после работы. Но сегодня Манеку задержался, так как в дождливые дни в ремонтной мастерской всегда бывало много машин. Поэтому только в три часа он смог выйти пообедать. Они обсудили все события последней субботы, эту ссору, которая произошла из-за Дельфины, и Манеку похвалил друга, обняв его за плечи:

— Ты здорово ему всыпал. Ребята были очень довольны!

Обрадованный похвалой, Зека Сантуш выпрямился, и его торчащие уши вспыхнули. Ах, эти уши, как он их ненавидел, ведь все девушки смеялись над ними и забывали об этих противных ушах, только когда Зека заводил свои чарующие разговоры. Потом он одернул желтую рубашку и гордо продолжал путь.

А в ту минуту, когда они вошли в столовую, и Манеку, поздоровавшись с хозяином, заказал два обеда, чего стоила Зеке ложь, сорвавшаяся с языка неожиданно для него самого! Он ни о чем не думал, даже не чувствовал в этот миг голодного червя в своем желудке, властно требовавшего пищи. Только стыд, один лишь стыд заставил его выговорить слова, в которых он мгновенно раскаялся:

— Что ты, два обеда? Я уже обедал, Манеку!

И несмотря на то, что Манеку еще не успел ничего ответить, смущенно добавил:

— Честное слово! Я совершенно сыт!

Ах! Как он пожалел об этих словах! Суп распространял такое благоухание, ложка так заманчиво поднималась и опускалась, а губы молодого мойщика машин издавали такой прекрасный звук, втягивая пюре из фасоли, что сидящий в желудке у Зеки Сантуша голодный червь пришел в бешенство, и мальчик старался усмирить его, глотая и глотая слюну. А на второе было подано жаркое, тоже с фасолью, еще более пахучее и вкусное... Брат Манеку все ел и ел, видно, он очень проголодался за долгие часы работы, но несмотря на это продолжал говорить о девочках, о танцах, а Зека видел только зубы друга, желтые от фасоли, и губы, блестевшие от жира, и ни слова не говорил,—он, Зека Сантуш, которому было известно столько всяких историй! Но в конце концов желудок пересилил, и, когда подали бананы, Зека Сантуш уже не мог сопротивляться. Делая вид, что говорит о чем-то, не имеющем никакого значения, Зека произнес:

— Бананы? Да! Фруктов я не успел поесть! Понимаешь, Манеку, на автобус боялся опоздать...

И сразу, набив рот бананом, как мартышка, Зека умолк. Он вдруг вспомнил, что уже рассказывал, как шел сюда пешком после дождя, и теперь напряженно ждал, что будет уличен во лжи. Но Манеку, занятый едой, не обратил никакого внимания на слова друга, и Зека поспешно проглотил, почти не разжевывая, два банана. Стакан светлого вина помог ему наконец усмирить червя, бунтовавшего в желудке, и почувствовать себя спокойнее. Судороги в животе утихли, не нужно было больше каждое мгновение глотать слюну, и он тоже заговорил о девочках, о Дельфине, о танцах...

Солнце уже разогнало последние обрывки туч и проглядывало сквозь листву старых деревьев. Покуривая, небрежно шагал Манеку, и Зека Сантуш шел рядом с ним, наслаждаясь ощущением покоя в желудке. Они шли по асфальтированной улице, по которой вечером обычно прогуливались белые люди, живущие в Нижнем городе. Усевшись на скамейке возле моря, темного и красного от пролившейся в него дождевой воды, Манеку снова заговорил о работе:

— Ничего еще не нашел?

— Ничего, Манеку! — Зека решил не говорить о биче со Соуту, лучше промолчать об этом.— Уже больше недели ищу, ищу, ничего нет!

Манеку закурил вторую папиросу и, плюнув в воду, спросил:

— А по газетному объявлению ходил?

— Нет еще!

— Я думаю, надо попробовать. Кто знает?

— О, они меня не возьмут, я такой тощий, а там написано «обслуживать канцелярию и магазин». Ты ведь знаешь, там работа тяжелая!

Манеку развернул старую помятую газету и стал просматривать объявления. Громко читая вслух, он останавливался перед каждым словом, ведь он кончил только два класса и не мог читать свободно. Вдруг Манеку вскочил, как кошка, хлопнул Зеку по плечу и воскликнул:

— Идем, малыш!

Он всегда называл Зеку малышом, когда собирался помочь ему в каком-нибудь деле, и тот, зная уже эту привычку своего друга, улыбнулся, вставая со скамейки. Голова у него сразу закружилась, и море, такое блестящее, как будто бы покачнулось.

— Но я пойду туда один, Манеку! Ты ведь говорил, что должен еще помочь своему знакомому, поработать за него несколько часов в мастерской...

Манеку не отвечал, только тащил Зеку за руку через улицу, запруженную машинами. На той стороне он попрощался:

— Слушай, Зека! Если ничего не получится — приходи ко мне в контору. Тогда, если ты, конечно, хочешь, я отведу тебя к Себаштьяну, будешь таскать цемент... Ты ведь хотел?

Время приближалось к вечеру, а солнце жарило все так же неистово, небо сверкало, совершенно синее, без единой тучки. На этой улице не было деревьев, и солнечные лучи жгли немилосердно. Зека Сантуш не ощущал боли в желудке, но жар палил все его тело, вызывая в ногах какой-то приятный зуд, заставляя идти быстрее и быстрее. Желтая рубашка ныряла то вправо, то влево, мальчик старался избегать встречных и на ходу увертывался от машин. Приближаясь к дому, указанному в объявлении, Зека обдумывал, что он скажет, перебирал в уме все свои доводы, и про старую бабушку надо будет объяснить непременно, и что бы ему ни предложили, надо соглашаться на любую работу.

Но когда он добрался до двери, страх наполнил его сердце, и он остановился в нерешительности. Огромная стеклянная дверь, сквозь которую все было видно, угрожающе сверкала. Сидя за столом около двери, какой-то парень в форме цвета хаки, в блестящих желтых ботинках, может быть, чуть постарше Зеки, внимательно смотрел через стекло прямо на Зеку. На какое-то мгновение Зека увидал свое отражение в стеклянной двери, желтую рубашку, разрисованную пестрыми цветами, такую помятую после дождя, синие старенькие брюки, множество раз стиранные, даже побелевшие на коленках, и почувствовал, как холод из черных каменных ступеней пробирается в его тело сквозь дырки стоптанных башмаков. Вся храбрость покинула его в эту минуту, вылетели из головы все слова, которые он собирался сказать, и во всем его теле остался только один неумолимый червь, который снова принялся грызть его желудок. Боясь запачкать дверь влажной рукой, он осторожно толкнул ее и вошел. Нерешительно направился он к длинному деревянному барьеру в глубине комнаты, но так и не дошел до него. Прямо перед ним очутился высокий худой человек, он бросил взгляд на газету, которую Зека держал в руке, и не успел Зека рта раскрыть, как мужчина уже повернул его к боковому столу, за которым сидел молодой служащий, и властно произнес:

— Знаю, знаю. Можешь ничего не говорить. Ты пришел по объявлению? Иди туда! Шику, а Шику! Неси тетрадь!

Парень в форме цвета хаки помчался бегом к какому-то шкафу, принес тетрадь, карандаш и выжидающе застыл перед Зекой, чему-то ехидно улыбаясь. Мужчина внимательно оглядел Зеку и стал задавать вопросы, так быстро, как будто бы он старался его на чем-то поймать: где работал, что делал, сколько получал, женат ли, какая семья, есть ли документы, имеет ли образование, имеет ли удостоверение ассимиладу*, имеет ли рекомендации от прежних хозяев? Зека совсем не успевал отвечать, не то что подробно. И в конце концов, когда мальчик уже дрожал с ног до головы от холода, царящего в этой канцелярии, и от пустоты в желудке, опять давшей о себе знать, высокий человек еще раз недоверчиво оглядел желтую рубашку Зеки, его узенькие старые брюки и, прищурив злые глаза, спросил:

— Послушай-ка, а где ты родился?

— Родился где?—повторил парень в форме.

— В Катете,** сеньор!

Услышав этот ответ Зеки, человек свистнул, как будто удовлетворенный, и хлопнул рукой по столу. Сняв очки, он уставился на Зеку маленькими, припухшими глазами:

— Ах, так ты из Катете! Иколо-на-Бенго? Где живут голодранцы, воры и негодяи? А прежде всего террористы! А ну убирайся вон, сукин сын! Пошел к черту, не нужны мне тут бандиты из Катете!

Зека Сантуш сам не знал, как ему удалось выскочить из двери, такой ужас внушало ему лицо этого человека. Он как будто сошел с ума или вдруг опьянел, весь красный, он грозил Зеке пальцем и осыпал его ругательствами, так что все прохожие на улице озирались на растерявшегося, испуганного мальчика. А высокий мужчина, стоя в дверях, все не унимался:

— Иколо-на-Бенго! Ах ты сукин сын, если еще раз сунешься — все ребра тебе переломаю!

Прохожие начали останавливаться, недоумевая, расспрашивать, и тогда Зека услыхал в глубине своего сердца какой-то тревожный, предостерегающий голос. Этот голос как будто бы спал и теперь проснулся, почувствовав угрозу. И хотя от голода у него мелькали перед глазами красные полосы, Зека помчался по улице Алфандеги, стремясь скрыться от взоров белых людей там, за площадью Мутамбы, в переулках, где работал Манеку.

---

* Удостоверение ассимиладу, то есть ассимилированного, получает африканец, живущий по европейским обычаям, говорящий по-португальски, имеющий специальность, отслуживший военную службу. Остальные называются индижену — то есть туземец. Но и те и другие одинаково бесправны.

** Катете — небольшие городки вблизи Луанды. Там в 1961 г. после кровавых событий 4 февраля, происходивших в Луанде, африканцы восстали против поработителей. Кроме того, неподалеку от Иколо-на-Бенго родился руководитель народно-освободительного движения Анголы Агостинью Нету. Очевидно, португальский чиновник имеет в виду эти факты.

Дерево сапе-сапе росло на самом краю улицы, там, где раньше стояла богадельня, и его ствол, такой одинокий среди огромных домов, смотрящих на него множеством окон, был как будто заколдован. Никто никогда не поливал его, оно жило только дождем, и непонятно было, откуда у дерева берутся силы и отвага отбрасывать такую густую тень, выращивать зеленые, вечно пыльные листья и вскармливать свои плоды в этих облаках черного дыма, которым постоянно окутывали его грузовики, снующие здесь по дороге к порту и из порта. Правда, плоды его были тощие и уродливые, но все-таки это были плоды, и они могли рассказать о свежести своей мякоти, похожей на хлопок, о радости выбросить далеко черные семена, разорвав кожу, утыканную колючками. Другие деревья стояли только там, наверху, на склоне холма. А здесь росло это единственное, отважное, храня в своей тени черные закопченные камни, на которых готовили себе пищу монангамбы, грузившие кофе со складов поблизости, ученики ремонтной мастерской и даже заключенные, когда их присылали сюда с лопатами и кирками раскапывать улицы.

В это предвечернее время листья дерева шелестели тихонько, и огромная тень, отбрасываемая ветвями, была свежей и приятной, как вода из глиняного сосуда. Сидя на камнях, почерневших от дыма, Зека Сантуш ждал Дельфину, нетерпеливо поглядывая на ворота фабрики. Они договорились с малюткой, что она отпросится сегодня с работы пораньше, и они встретятся, продолжат разговор, начатый в субботу на танцах. Дельфина великолепно танцевала с ним кабулу, и когда все вокруг уже изнемогли, они продолжали танцевать вдвоем, как будто оставшись одни в зале, а все остальные стояли молча и любовались на них, гордых и счастливых. Вот тогда-то и началась ссора с Жоаном Розой, который давно уже преследовал девочку, хотел отбить ее у Зеки. Но в эту ночь Зека Сантуш, вдохновленный ласковым взглядом Дельфины, готов был драться с кем угодно, и счастье улыбнулось ему. Не повезло на этот раз Жоану Розе, потому что на улице было темно, а он носил очки. Он замахнулся, чтобы ударить Зеку кулаком в лицо, и промазал, а Зека не растерялся и повалил его на песок.

Но несмотря на то, что Зека Сантуш победил в этой драке, мулат мог снова приехать за Дельфиной на своей маленькой машине, как уже много раз бывало. От этого Зека всегда приходил в бешенство. Он думал об уютной таинственной тишине внутри машины. Что, если проклятый Жоан Роза начнет обнимать малютку? Или еще что-нибудь, ведь в машине так удобно...

И вот поэтому сегодня Зека принял решение. То ли от вина, выпитого во время обеда с Манеку, то ли от радости, что вопрос с работой наконец уладился, но так или иначе, мысли о деньгах, которые он теперь сможет заплатить за починку башмаков и на которые сможет купить себе новые брюки, сливались у него в голове с образом Дельфины, с ее улыбкой, с ее голосом, с ее нежным и робким прикосновением во время танцев...

Себаштьян принял их хорошо, ведь Манеку был его другом. Огромный, почти совсем лысый, он бодро заговорил с Зекой, пощупал его мускулы и разочарованно плюнул на землю. Но Манеку был рядом:

— Перестань, Мбаши! Ведь парню очень нужно...

Себаштьян Обезьянья Морда, как называли его все работавшие у него грузчики, честно предупредил, что работа очень тяжелая, начинается в семь утра, кончается в шесть вечера, весь день таскать мешки с цементом, нагружать грузовики, отдыхать только во время обеда, хуже всего — это пыль, которая проникает в рот и в нос, даже если завяжешь лицо платком...

— А ты, парень, слабый... Не хочу тебя обманывать...

Зека Сантуш смущенно пробормотал что-то, не зная, как надо ответить, этот огромный человек с широкой обнаженной грудью, с руками и ногами, огромными, точно древесные стволы, внушал почтение, несмотря на порванные грязные штаны, натянутые прямо на голое тело.

Указывая на грузчиков, таскающих мешки, Себаштьян Обезьянья Морда рассмеялся долгим раскатистым смехом и сказал:

— Ты, парень, отнимаешь работу у этих людей... Ну, ладно уж... Я ведь сам выбираю тех, кто будет грузить, когда подходят машины... Ты пойдешь со мной...

Манеку протянул ему руку, чтобы проститься, но он не пожал ее, а продолжал смеяться. Зека Сантуш никак не мог понять, чему, собственно, смеется этот человек, но слова, которые он услышал, испугали его:

— За эту работу платят сорок... Раньше я платил шестьдесят в день, но теперь приходит наниматься столько народу, что я должен был снизить плату...

Он молча и подозрительно посмотрел по сторонам, закинул назад голову, задрав подбородок, и глаза засверкали на его приплюснутом лице:

— Десять будешь каждый день отдавать мне. Согласен?

Зека Сантуш разинул рот, не зная, что сказать, но Манеку попробовал возразить:

— Что ты, Мбаши! Ты посмотри на него, на этого парня! А у него еще есть семья, которую надо кормить...

— А я? Разве у меня нет детей? У меня их семеро! А как я их прокормлю? А еще одевать надо! Если он не согласен, я найду другого, который рад будет отдавать мне даже половину, если только пущу его работать на погрузке цемента...

Но Манеку все-таки надеялся убедить своего друга, пусть он возьмет пять, этого будет достаточно, ведь парню будет трудно, он не привык...

— Вот именно! — захохотал Обезьянья Морда.— Вот именно! Мальчик будет бездельничать, а я буду за него мешки таскать!

Он повернулся к ним спиной и улегся под большим деревом, крикнув на прощанье:

— Ровно в шесть утра... Иначе возьму другого... И десять мне...

Манеку помахал ему рукой, а Зека Сантуш еще долго ощущал тяжесть на сердце, у него не было никакого желания разговаривать, пока они шли вместе с другом до поворота к табачной фабрике, где Зека должен был встретиться с Дельфиной.

Теперь, рядом с ней, он не вспоминал больше о Себаштьяне Обезьяньей Морде. С приближением вечера жара начинала спадать, и ветер, сохранивший свежесть утреннего дождя, трепал платье Дельфины, обтягивая крепкие бедра, все ее упругое тело. Зеленая трава, казалось, приглашала их со всех сторон, и кое-где еще мокрые стебли щекотали ноги и забирались в дырявые башмаки Зеки. Он шагал молча, не зная даже, что сказать Дельфине, все, что он придумывал, сидя под деревом сапе-сапе, все самые сладкие и безумные речи, которые рождались у него в голове в пылу танцев,— все это сейчас никуда не годилось. По обе стороны дорожки стояли цветущие красными цветами акации, и цикады стрекотали на их стволах, а ветер раскачивал ветки, усыпанные яркими лепестками, и листья перешептывались, совсем как влюбленные... Дельфина шла с ним рядом, и легкая улыбка блуждала на ее губах. Она первая решилась нарушить молчание:

— Ну, что же ты... Просишь меня встретиться и ничего не говоришь?

— О! Все, что я хочу сказать, ты уже знаешь, Фина!

— Ах! Уже знаю? Когда ты мне говорил? А на работу устроился?

От этого вопроса Зека помрачнел и опять умолк. Дельфина постоянно укоряла его отсутствием работы, и когда он насмехался над Жоаном Розой, сердито обрывала его:

— Это ты завидуешь! Парень работает, у него есть своя машина, он даже предлагает мне жениться...

Ему очень нравилась Дельфина, он так хотел бы, чтобы она знала все, все об его жизни, но разве возможно рассказать ей, что произошло с ним сегодня утром, когда он просил работы? Или о том, что он нанялся грузчиком цемента в порту, пошел на работу, за которую обычно берутся лишь монангамбы... Нет, нет, она посмеется над ним, она убежит от него, бросит его здесь, на тропинке между холмами... Но еще хуже сказать, что он не нашел работы, это еще хуже... Дельфина продолжала говорить, и похоже было, что она нарочно старается позлить Зеку. Жоан Роза обещал ей попросить хозяина, чтобы ее перевели работать в канцелярию, он говорит, что она должна пойти учиться в вечернюю школу и что потом он женится на ней, если она примет его ухаживания, и многое-многое другое говорила она — все только о Жоане Розе, все только для того, чтобы подразнить Зеку. Слова Дельфины больно ранили его, Зеке было стыдно, но что же делать, если так не везет, и хуже всего, что теперь ежедневная работа помешает ему встречаться с Дельфиной... Он подумал, что вечер мог быть таким хорошим, Дельфина пришла к нему на свидание, а сама все время дразнит его... Огорченный, он потянул девушку за руку и, наклонившись к самому ее уху, заговорил так, как только он умел:

— И все-таки, послушай, Фининья! Разве ты забыла ту субботу? Что ты такое говоришь? За что ты сердишься? Зачем вообще ты говоришь об этом прохвосте Розе, зачем? Я вовсе ему не завидую, почему ты так решила? Я получил работу, теперь я служу там же, где Манеку, в ремонтной мастерской... А потом, ты ведь знаешь, ты ведь видела, как Марселина приставала ко мне...

— О... Эта негодяйка? Вот дрянь! Что ей надо?

Дельфина умолкла. Вкрадчиво, осторожно Зека потянул ее за руку, свел с тропинки на зеленую траву, бабочки и кузнечики взлетели со всех сторон, и, опускаясь под большой акацией на землю, красную от цветов, Зека обхватил Дельфину за талию и потянул за собой. А Дельфина видела только его смеющиеся глаза, глаза озорного ребенка, которые ей так нравились. Но все-таки она сбросила его дерзкие руки, оправила платье и села на приличном расстоянии от него, натянув пестрый ситец на коленки и обхватив их руками.

Зека Сантуш некоторое время молча лежал на животе, покусывая стебелек травы, а потом, как ящерица, пополз к Дельфине, ласково глядя на нее. Девушка ничего не сказала, она позволила ему положить голову ей на колени, так приятно было ощущать эту тяжесть, это тепло около своего живота, смотреть на милые оттопыренные уши, на очертания головы, на закрывшиеся от блаженства глаза... Она не в силах была удержать свои руки, которые сами начали гладить курчавые жесткие волосы, теплую кожу на шее и открывшуюся в вырезе рубашки грудь... А Зека, покрепче зажмурив глаза, только шептал тихонько:

— Ах, Фина, любовь моя! Если еще когда-нибудь ты поедешь с Жоаном Розой, я не знаю, что тогда сделаю...

— Не поеду больше, Зека, клянусь тебе, не поеду! Мне нравишься только ты, только ты, ты знаешь...

Он улыбнулся, так приятно было слышать эти слова, чувствовать тепло ее рук, ничего, кроме этого блаженного ощущения не осталось в его теле, голод не терзал желудок, вино не кружило голову, было только это новое, незнакомое тепло, прекрасная прохлада, более приятная, чем дуновение ветра, который шевелил зеленые листья акации, раскачивал цветы, сдувая лепестки на землю,— они летели вниз, кружась, как разноцветный дождь.

— Теперь, когда ты устроился на хорошую работу, смотри, Зека, не проспи, хорошо?

— Ни за что, Фина!

— Если хочешь, я буду тебя будить утром... постучу в окно...

Зека снова улыбнулся, полный благодарности:

— Не надо, Фининья! Теперь я буду умным, честное слово!

— Ну, то-то! Пора уже наконец, Зека, стать умным! Не будешь умным — разлюблю тебя!

Большие ясные глаза Дельфины выдавали лживость этих слов, но Зека этого не видел. Он уткнул голову в ее колени, стыд стиснул его сердце, ему так хотелось все рассказать девушке, ведь она этого заслужила, но он был уверен, что, если он скажет ей правду, в тот же миг он ее потеряет, ведь она узнает, что ему удалось получить только такую работу, на какую идут одни монангамбы. А потом еще этот Жоан Роза, и его автомобиль, его нежные разговоры, которыми мулат пытался соблазнить его малютку,—все это терзало малодушного Зеку.

И боль эта была так сильна, и голодный червь в животе завертелся снова с такой яростью, что все прекрасное вдруг исчезло для Зеки Сантуша, все закружилось вокруг него, голова стала невесомой, желудок заболел и судорожно сжался, рот наполнился горькой слюной, и нестерпимая тошнота подкатила к горлу. Он с мольбой поднял на Дельфину большие глаза, глаза испуганного животного, а руки его жадно вцепились в тело возлюбленной, словно в поисках спасения, в поисках последнего прибежища от всех ужасов этого дня, ужаса всех этих дней, от смертельного страха, что его сейчас вырвет. Он почувствовал под пальцами маленькую грудь, придавленную, расплюснутую его рукой, а другая рука с силой, с бешенством впилась в черную упругую ногу, обнажившуюся из-под ситцевого платья.

Цикады перестали стрекотать, и какая-то маленькая птица взлетела с ветки, где она высасывала сладкие цветы, ветер затаил дыхание, когда Дельфина изо всех сил ударила Зеку по лицу, вскочила, толкнула его еще раз, и он, такой худой, такой слабый, отлетел к самому стволу акации.

Чуть не плача, поправляя одежду в том месте, где его пальцы оторвали пуговицу, Дельфина разразилась всеми ругательствами, какие она только знала, какие она только могла придумать:

— Ты думаешь, я такая, как ты, да? Думаешь, я из тех, кто валяется на траве кому платят, чтобы переспать? Гадина! Подлец! Бродяга! Лодырь! Бессовестный! Бабушкин ублюдок! Кожа да кости!

Но Зека Сантуш сам не понимал, что произошло. Тошнота поднималась из живота, он хотел сдавить желудок руками, чтобы можно было вздохнуть, но не успел даже приподняться, как Дельфина толкнула его еще раз и побежала вниз с холма. Бабочки и кузнечики взлетали из-под ее безжалостных ног, цикады настороженно замолкли, а она все кричала, удаляясь, сбегая вниз:

— Поганый бродяга! Так ведут себя только после свадьбы, а ты этого не знаешь. Подлец! Только после свадьбы, на кровати, а не в траве, как скоты... Ах ты, кожа да кости!

В той стороне, где находилась миссионерская школа, зазвонил колокол, как будто тоже насмехаясь над Зекой, а солнце, готовясь погрузиться в море, становилось все больше, все краснее. Озорной ветер раскачивал ветки и доносил до распухших ушей Зеки голос Дельфины оттуда, снизу, где еще виднелось среди зелени ее яркое ситцевое платье:

— Нет у тебя совести, бесстыдник! Ах ты, тощий ублюдок! Еще пожалеешь!

Но ее возмущенные крики вызывали у Зеки Сантуша только безотчетную радость, которую не мог подавить даже мучительный приступ рвоты.

■

В тишине хижины, в слабом свете сумерек, смешавшихся уже с темнотой ночи, бабушка Шиши услыхала шаги Зеки и скрип осторожно открываемой двери. Это было так непохоже на ее внука. Высокий и тонкий, как тростинка, он остановился на пороге, освещенный сзади уличным светом, и закрыл на мгновение глаза, чтобы привыкнуть к темноте.

— Бабушка! Бабушка, где ты?

Старуха, лежавшая на циновке, застонала громче, и испуганный внук бросился к ней:

— Что с тобой, бабушка? Скажи же! Ты больна? Что такое?

— Айюэ, жизнь моя несчастная! Айюэ, мой живот! Я умираю!

Зека кинулся опять к двери и открыл ее пошире. Свет с улицы, слабый свет умирающего дня вместе с ярким светом прожекторов, этих огромных желтых глаз, зажженных над темнотой всех муссеков, с опаской проник в убогий мрак хижины. Бабушка уже сидела, прислонившись к стене, завернувшись в рваное одеяло.

— Ну, мальчик, рассказывай теперь... Мне уже лучше, рассказывай!

Зека чуть ли не каждый день слышал эти слова, он понимал, что бабушка не зря спрашивает его, ей необходимо знать, достал ли он работу, заработал ли хоть что-нибудь. И теперь он стоял перед ней, стыдясь сказать, что он нашел работу грузчика в порту, работу монангамбы, и мало того — должен еще будет делить свой заработок с подрядчиком, давшим ему эту работу... Нет, уж лучше молчать, не говорить об этом, просто пойти утром, а вечером получить деньги, купить еды и потом придумать что-нибудь, солгать бабушке, что нашел какую-нибудь работу...

— Ничего я не нашел, бабушка! Искал, искал — ничего! Брат Манеку опять мне помогал... Мне просто не везет, бабушка!

— А ты ел, мальчик?

— Что ты! Где же я мог есть? Ничего не ел, бабушка!

— Айюэ, мой живот! Ты был прав, мальчик! Это были не маниоки, нет, мой мальчик! В животе у меня что-то печет, не проходит никак...

Она продолжала жаловаться, повторяя, что, верно, уже выжила из ума, иначе такое не могло бы случиться, вот так — человек постарел, и все тут, а молодежь думает, что это тряпка, которую можно выбросить, но и старый человек хочет есть, поэтому она съела что попалось, и потом во сне началась эта страшная боль, как будто все горит у нее внутри, хуже, чем от жиндунго*, больнее, чем от огня...

Зека Сантуш слушал без всякого внимания, в голове его была только одна Дельфина, ее пощечина, все то, что произошло между ними помимо его воли. Как можно теперь поправить дело? Конечно, девушка не захочет больше говорить с ним, и если он будет ее уверять, что был болен,— она посмеется над ним и назовет лгуном. Тяжелая тоска охватила его, а покрасневший и распухший от удара Дельфины глаз болел, все перед ним двоилось. Но бабушка продолжала:

— Ну вот, конечно! А разве я тебе не говорила, мальчик? Разве я тебе не велела пойти в воскресенье в миссию? Отец Домингуш спрашивал о тебе, а я сказала, что ты болен...

— Черт побери! Но разве отец Домингуш меня накормит? Разве он мне даст работу?

Боль в распухшем глазу раздражала Зеку, голова у него тоже разболелась, и он начал стаскивать с себя рубашку так поспешно, что чуть ее не разорвал.

— Что ж ты, мальчик! Теперь рвешь свою рубашку! Все деньги потратил на нее, а теперь рвешь? Айюэ, такая моя жизнь, у мальчика вовсе нет разума, нет никакого уважения к старшим...

Зека хотел ее успокоить:

— Послушай, бабушка! Не ругай ты меня понапрасну... Правда, я проспал, не пошел в миссию, ну и что же?

Бабушка Шиши так и отпрянула, ухватилась покрепче за стену, хотела встать:

— Как «ну и что же»? Мальчик еще спрашивает! Разве не ты пристаешь ко мне каждый день: «Бабушка, дай поесть», «Бабушка, где еда?», «Бабушка, когда будем есть?» Не ты? Ага! А отец Домингуш мог бы устроить тебя на работу!

— Как бы не так! Подметать церковь, может быть? Не желаю!

— Замолчи, мальчик! О церкви так не говорят!

И Зека замолчал. Он знал уже, что в такую минуту лучше не возражать бабушке. Если продолжать спорить, она рассердится еще больше. А у него и так было тяжело на сердце после этого дня, полного неприятностей. И распухший глаз болел, но сильнее всего он страдал от мысли, что Дельфина не простит его, несмотря на то что он ни в чем не виноват перед ней, теперь она бросит его, будет ездить в машине Жоана Розы... Вот что мучало Зеку сильнее всего. И живот у него уже почти не болел. Голодный червь успокоился. Осталась только глухая, глубокая боль, как будто там еще что-то тлело. Держа рубашку в руке, Зека ощупал стену, чтобы найти гвоздь, на который он вешал ее. Луч света с улицы упал на его лицо.

— Э, Зека! — Бабушка заговорила вдруг совсем другим голосом, добрым, взволнованным.— Подойди-ка сюда, что это у тебя?

Бабушка Шиши улыбнулась, в ее старой голове мысли вдруг начали проясняться, когда она вспомнила один незначительный случай: Дельфина, дочка сестры Жоаны, пробежала мимо хижины около шести часов, когда солнце уже село, и спросила, дома ли Зека, а когда бабушка простонала, что он еще не вернулся с работы, девочка убежала, не сказала ни спасибо, ни до свидания, даже ничего не объяснила...

— Слушай, Зека! Отчего у тебя такой красный глаз? Ты что, дрался с кем-нибудь?

Зека мгновенно поднял руку, чтобы закрыть лицо, но уже было поздно, бабушка все разглядела при свете, льющемся из открытой двери...

---

* Жиндунго — острая приправа.

— Ну, разве же я тебе не сказал, бабушка? Твой белый, со Соуту...

— Зека, ты сказал, что со Соуту ударил тебя бичом по спине...

— Ну, конечно, бабушка! Ты сама видела... Плеть ударила по спине... Но кончик плети ударил выше, утром еще не было больно, а теперь глаз начал пухнуть...

Бабушка Шиши уже встала и подошла к Зеке, ее худое, морщинистое лицо съежилось от смеха еще больше, трудно было разобрать, где у нее нос, где губы. Только глаза, озорные и проницательные, сверкали в глубине темных впадин:

— Ай да мальчик, правда, как тебе не везет, Зека! Даже в самый глаз тебе плеть попала! Ай-ай! Если уж не везет, так не везет!

Зека Сантуш почувствовал насмешку бабушки. Он не был вполне уверен, но ему показалось по ее тону, по скрытому намеку в ее словах, что бабушка узнала о пощечине Дельфины. Но как, однако, она могла узнать? Никого там с ними не было, только разве сама Фина пробежала мимо хижины? При этой мысли, вселявшей надежду — он догадался, почему Фина не рассказала бабушке, что произошло на самом деле,— сердце Зеки забилось быстрее, и он снова взглянул на бабушку, чтобы увидеть на ее лице подтверждение своим догадкам. Но старая Шиши уже нагнулась над очагом, передвигая пустые жестянки, и Зека стоял растерянный, смущенный, не зная, верить ли ему в то, что Дельфина приходила сюда, желая его увидеть.

Снова нежно и заботливо, как будто ничего не случилось, бабушка спросила его, не поднимая глаз от пустой посуды:

— Послушай, Зека! Ты любишь вчерашнюю рыбу?

Испуганный и обрадованный, не думая ни о чем, он ответил с жаром:

— Конечно, бабушка! Где она? Скажи же, бабушка, ты знаешь, как я ее люблю! Вчерашняя рыба...

Влажный язык облизал сухие губы, и Зека представил себе куски жареной рыбы, жирные, такие, как он любил, неважно даже какой рыбы, в глубине горшка, в теплом соку, с луком и с томатом, и с жиндунго, и со всем тем, что клала обычно бабушка. Она так вкусно готовила, оставляла эту рыбу томиться под крышкой и только на следующий день, когда блюдо было особенно хорошо, его ели. Глаза Зеки шарили по всей маленькой и темной хижине, но ничего не находили, он видел только бабушку, которая сидела на корточках и переставляла с места на место жестянки и горшки.

— Бабушка, скажи! Меня опять тошнит от голода! Скажи, где вчерашняя рыба?

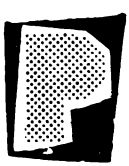
Встав прямо перед Зекой, подбоченившись и грозя внуку пальцем, бабушка произнесла слова, которые долго приберегала для него:

— Слушай, мальчик! Если любишь вчерашнюю рыбу, заплати за нее сегодня, тогда получишь ее завтра!

Зека стоял, разинув рот, смотря на бабушку и не видя ее. Он только чувствовал, как у него снова пересохло во рту, как стучит в ушах, и радость, охватившая его при мысли о том, что Дельфина приходила к нему, исчезла, растаяла, пропала от жестокой шутки бабушки. Ушибленный глаз снова разболелся. Но голод утих, червь в желудке не шевелился, только язык как будто распух во рту.

Над низкими крышами муссека, затмевая свет прожекторов, укрепленных на вышках, поднималась огромная голубая луна. Дети еще играли кое-где на мокром песке, взрослые сидели у дверей, наслаждаясь прохладой, отдыхая от работы минувшего дня. В траве стрекотали цикады, сопровождая пение лягушек в водоемах, и воздух дрожал от этой музыки. Где-то рядом на дереве щебетала в полусне какая-то птица. С тяжелым сердцем, охваченный тоской, переполнившей все его существо, еле переставляя ноги, Зека закрыл дверь, снял брюки и старательно сложил их так, чтобы не было складок. Потом, чувствуя, что больше не в силах сдерживаться, положил голову на плечо бабушке Шиши Энгеле и заплакал, как маленький ребенок, горькими, долгими слезами. И они стекали по неизгладимым морщинам, которые голод уже с самого детства проложил на его лице.

История про вора и про попугая



асскажу вам теперь историю про птицу и про человека. Не могу поклясться, что это все было в действительности, я сам не присутствовал при событиях, которые здесь описаны. Я слышал только, как об этом рассказывали там, в тюремной камере.

■

Некий Ломелину душ Реиш, Душрейш для друзей, а для девочек когда-то просто Эш-Лоло, жил со своей женой и двумя сыновьями в муссеке Симбизанга.

А если говорить еще точнее — в том месте, где муссек Симбизанга переходит в муссек Лишейру. Люди, живущие там, говорят, что это Симбизанга, а полиция, которая патрулирует, утверждает, что Лишейра. Он был сыном Аники душ Рейш, это была его мать, а отца он не знал, хотя ближе всех жил в то время торговец Амарал. Как рассказывал он в камере, хотя, может быть, это и вранье, зацапали его уже с мешком, внутри было семь живых, толстых уток, и никакие объяснения ему не помогли.

Здорово тогда выручил Душрейша один из его друзей, Фута, Шику Фута оказался там, в тюрьме, иначе не миновать бы бедняге плети надсмотрщика Зузе́.

Началось так:

Он появился уже после полуночи, мешок у него отнял патруль, утки внутри шевелились и крякали, как будто благодарили за то, что им спасли жизнь. Зузе в это время обычно спал и всегда приходил в бешенство, если его будили из-за какого-нибудь одного арестанта. Еле продрав глаза, такие красные, как будто он накурился лиамбы *, надзиратель стал кое-как обыскивать вновь прибывшего, ругаясь и ворча себе под нос. Душрейш стоял, не шевелясь, положив, как полагается, руки на голову, но злость на этого подлеца Гарриду все росла и росла. Он готов был побиться об заклад, готов был поклясться, что именно хромой его выдал...

— Ага! А это у тебя что такое? Ты думаешь, что, если я сплю...

Зузе засмеялся, сон сразу покинул его, как только он нащупал в заднем кармане арестанта маленький сапожный нож. Душрейш, делая вид, что ничего особенного не произошло, приводил в порядок свой драный пиджак.

— Так ты, оказывается, бандит, а?

— Нет, сеньор, никакой я не бандит!..

— Замолчи! Раз я говорю — значит, бандит... Идем!

Но Душрейш не мог допустить, чтобы его толкали. Он сам умеет ходить, у него есть ноги, нечего какому-то там сипаю погонять его, хотя бы и в тюрьме.

— Черт возьми! Ты думаешь, таким ножиком можно убить человека? У каждого найдется такой... Эй ты! Не толкай меня! Я и так знаю дорогу!

— Пошел! Пошел! Еще зубы скалишь?

— Не толкай, сказано тебе! Сипай, тоже мне...

Уже в камере дошло до драки. Зузе выдал-таки ему по шее, а Душрейш подпрыгнул, хотел дать сдачи, но запутался в лохмотьях своей одежды, и надзиратель стукнул его еще раз кулаком по лицу.

От шума все заключенные проснулись и стали возмущенно ругаться в темноте, кто-то подбежал, чтобы разнять дерущихся, остальные только бранились: черт их побери, вваливаются вот так, перебудят всех людей...

— Эй ты, сукин сын! Думаешь, можно не подчиняться властям? Всыплю тебе как следует плетью, вот увидишь, если не образумишься! Такой поганый старикашка, а еще лезет в драку!

— Сам ты поганый! А ну, суньсь! Не боюсь сипая...

Кто бы мог подумать, что вот такой человечишко, маленький и тощий, весь обмотанный лохмотьями, может с такой скоростью разбежаться, ну, прямо как буйвол! Зузе не успел увернуться, только выставил вперед руки, чтобы схватить голову Душрейша, прежде чем она ударит ему в живот. Вот тут-то и появился Фута и разнял их как раз вовремя, чтобы спасти Ломелину.

— Ну, ну, отец! Душрейш, успокойся!

Он заломил старику руки за спину и поднял его на воздух, так что Ломелину заболтал ногами, как куколка на веревочках. Для Футы, с его силищей, это было раз плюнуть, ведь он один, бывало, перетаскивал полные бочки! Все остальные пытались успокоить Зузе, но он был в такой ярости, что пришлось для вида даже поддакнуть ему: ну, конечно же, никто не смеет поднимать на него руку, когда он на службе, полиция для того и полиция, чтобы ее уважали; а он клялся, что всыплет как следует плетью этому негодяю...

— Да оставь ты его, со Зузе! Он пьян, разве не видишь?

— Ну да! Пьян! Это бандит, отстегаю его плетью...

— Ладно уж... Брось, братец! Я его хорошо знаю... Просто человек обозлился, что попал в тюрьму... понимаешь?

Голос у Футы был такой же, как его тело,— сильный, спокойный, он успокаивающе действовал и на других. Все действительно успокоились, теперь оставалось только выполнить то, на чем настаивал Зузе — и от этого уже никто не мог его отговорить, потому что было такое правило внутреннего распорядка,— Ломелину должен был принять душ, как все пьяные, которых прежде всего отправляли для вытрезвления в баню. После этого он уже помалкивал, только бросал на надсмотрщика бешеные взгляды. А Фута потихоньку пытался усовестить приятеля: такой человек, такой цивилизованный, такой аккуратный, хоть, правда, одежда у него и рваная, не имеет права упрямиться, подумаешь, принял душ, ведь он не какой-нибудь...

---

* Лиамба — наркотик.

Вот от этого напоминания и огрызнулся еще раз Душрейш, снова обругал сипая разными плохими словами.

Но Фута уже провожал Зузе к двери, низко склонившись над ним, потому что Зузе был коротышка, он продолжал уверять надсмотрщика, что хорошо знает и самого Душрейша, и всю его семью. никогда раньше такого с ним не бывало, чтобы он так буйствовал. Они так близко знакомы, даже в гости друг к другу ходят, он поклясться готов, что Душрейш смирный человек...

— Да-да! Знаю, смирный, а лезет в драку... Нечего меня обманывать, братец Фута. Сегодня уж, черт с ним, оставлю, раз ты просишь, а то бы...

В камере все опять успокоились, улеглись по местам. Фута, проводив надсмотрщика, остановился возле решетки, закуривая папиросу от окурка, который кто-то ему протянул. Но гроза еще не миновала. нет, потому что Душрейш еще не излил свою ярость, он бесился, не зная, как теперь выберется отсюда, из этой камеры, на свежий воздух, на солнце... А еще он не мог забыть о мешке с утками, такими жирными, они остались там, у патрульных, он даже не успел налюбоваться на них, потому что хватал их в темноте, поскорее запихивая в мешок одну за другой, стараясь только не разбудить гусей, потому что они, гуси, если испугаются, могут наделать шума, поэтому их ночью лучше не воровать... Мысль об оставленных утках была самой неприятной, она причиняла ему боль сильнее, чем удар сипая, от которого болела щека повыше белого клочка бороды. Уж наверняка Гарриду его выдал, иначе не могли бы его изловить вот так, сразу, не успел он даже добраться до Рангела, где должен был оставить мешок, и тут у лавчонки вдовы прямо наткнулся на джип с патрулем. Не повезло! Но этот подлец заплатит ему, честное слово! А потом еще сипай полез с кулаками только потому, что нашел в кармане этот несчастный ножик...

— Не буду я сидеть в тюрьме!— вдруг заорал он, как маленький ребенок.

Люди вскочили, спеша его удержать, не подпустить к решетке, за которой виднелся Зузе. Фута снова схватил Душрейша под руки, улыбаясь надсмотрщику, приложил палец ко лбу, показывая, что, мол, старик, видно, рехнулся. А потом, медленно прохаживаясь по камере, пока сон подбирался к телам людей, лежащих по трое на каждой дощатой наре, он заговорил со стариком, как говорят обычно старшие с младшими, хотя должно было быть как раз наоборот. Слабый свет проникал через окно, расположенное высоко наверху. И Ломелину закурил в ночной тишине, выпуская теплый дым. Запах табака смешивался с дыханием людей. Они сели на краю нар, и огромная рука Футы, лежащая, как надежная защита, на плече Душрейша, напоминала крыло курицы, прикрывающей цыпленка.

— Ну как, кум? Теперь лучше?

Хриплый смешок Ломелину вызвал движение в темноте и еще чей-то сочувственный смех:

— Эх ты, дедушка! Такой старый, а лезешь в драку!

— Разве это я полез? Это все проклятый сипай! Только я вошел, у меня и в мыслях ничего не было — он взял и сразу стукнул меня... А что я должен был делать? Сложить руки? Нет! Ломелину душ Реиш еще никому не позволял безнаказанно ударить себя! Он всякому даст сдачи! Даже дома, даже родной матери! Господь бог Иисус Христос спас негодяя!

Но эти слова прозвучали уже веселее, недаром Шику Фута сунул в рот старику свою папироску. Он знал действие этого слабого, постепенного возбуждения, приносящего успокоение и желание смеяться. Влажный туман проникал в камеру через окно, совсем как дождь, мелкий-мелкий, который идет себе так, только для забавы.

— Он хороший парень, правда, брат! Я его хорошо знаю... Только не надо ему возражать... Он хочет сам командовать, а люди чтобы слушались...

Вот каков был этот надзиратель Зузе, как о нем рассказывал брат Фута, изучивший все его слабости. Он учил и Душрейша, как выпросить у Зузе побольше хлеба к завтраку, нужно только разговаривать с ним приветливо, как с равным, когда надзиратель появлялся утром и здоровался с арестантами своим громовым голосом: «День добрый, мои сеньоры!» Не на кимбунду *, нет-нет, а только так, цивилизованным образом. И лишь потом уже, когда завязывалась дружеская беседа, вставлял слова на родном языке, потому что как следует говорить по-португальски не умел, кончил только три класса. А когда он приходил и отбирал двух или четырех человек, словом, сколько ему нужно было, и отправлял с ведрами креолина и с тряпками мыть камеры, где находились белые заключенные, его симпатии были просто необходимы, иначе не избежать этой работы.

— Право, братец Душрейш! Он хороший парень. И плетью не бьет, только если ему приказывают... И тогда даже находит способ отвильнуть... Уж я знаю...

А туман, смешанный со светом, все сочился сквозь узенькое тюремное окно. Громкий храп, тяжелый запах множества людей, спящих в такой тесноте, журчание воды в уборной — все это помешало бы заснуть и не только тому, кто терзался мыслями о своей неудавшейся жизни. Папироса во рту Ломелину погасла, но дружеские слова Шику Футы тоже немного утешили его, помогли забыться.

---

* Язык, распространенный в округе Луанда.

Друг поучал Душрейша, что никогда не следует отказываться от работы в столовой, это куда лучше, чем расчищать землю, например. Там Зузе оставлял их одних на все время, и пока арестанты не спеша мыли посуду и терли огромный цементный стол, они могли даже насвистывать и напевать потихоньку. Только потом, когда работа была закончена, надзиратель появлялся, затянутый в мундир.

— Оставь его, братец Лоло! Он хочет быть похожим на начальника! Ну и пусть! Пусть проверяет, щупает пальцем, заглядывает в кастрюли, нюхает горшки... Оставь его, пусть нюхает... Не торопи его! Стой перед ним прямехонько, навытяжку и, если он скажет что-нибудь, говори только: «Да, со Зузе», «Да, господин надзиратель».

В таких разговорах прошла ночь, забрезжило утро, и рассвет начал рассеивать тени в камере. Тишину тюремной ночи заглушили звуки дня.

— Тебе хочется спать, братец?

— Ничуть! Этот удар не дает мне спать, и хоть ты его, негодяя, расхваливаешь — злость во мне не утихает...

— А как тебя изловили все-таки? Расскажи...

Длинное, приплюснутое лицо Футы было серьезно, он хотел удержать улыбку, но не смог и засмеялся:

— Зузе сказал, что тебя поймали с полным мешком уток... Правда?

Рассказывать обо всем, что произошло, о том, как он украл уток, а сам попался в лапы полиции, Душрейшу было неловко. Это значило бы признаться в своем невезении или в неловкости. Поэтому он как бы неохотно, между прочим завел речь о том, что это проклятый Камутута * его выдал, иначе Душрейша бы не поймали.

— Ты знаешь этого парня?

Но Шику никак не мог припомнить.

— Черт побери! Хромой, тощий, волочит одну ногу... Мулат...

— Не помню, братец! Не помню... Хромой... Подожди-ка... Так, может быть, это тот парень, который чистил ботинки напротив отеля «Мажестик», подожди-ка, такой светлый мулат, его зовут Гарриду, почти еще мальчишка, да?

Душрейш кивнул. Еще в детстве этого мальчишку прозвали Камутутой, и он из-за своей ноги до сих пор не решается спать с женщинами, вот как. Старик снова стал клясться, что это он, именно он выдал его полиции. Но Фута в этом деле был не новичок, он немало наслушался всяких историй, которые рассказывают похитители домашней живности, они всегда говорят, если их поймают: мол, это вышло так только потому, что их выдал кто-нибудь, иначе бы они не попались, ведь они работают чисто и следов не оставляют, они — мастера своего дела...

— Однако послушай, Душрейш! Подумай хорошенько, не обвиняешь ли ты его понапрасну, этого парня?

— Понапрасну?! Я? Ты меня знаешь, друг Шику, ты знаешь, что на мои слова можно положиться! Никогда не говорю, если не уверен! Парень выдал меня! А иначе как бы могли они меня накрыть? Как?

Но совсем одно — это мысли человека, то, что нашептывает сердце его голове, все то, что человек думает в раздражении, в злости, не зная или не желая узнать истину... А другое то, что есть в действительности.

Вот об этом-то и говорил Шику Фута. И только позже все разъяснилось, потому что вечером того же дня Гарриду Камутута сам явился в тюрьму, в эту же самую камеру, где сидели уже и Душрейш и Фута.

Но перед этим в суде произошло следующее, как рассказал Ломелину: «Да, сеньор, я — Ломелину душ Рейш, отца своего не знаю,—отвечал он,—мать — Аника», словом, все то же самое, что говорил уже патрульным, еще до того, как его доставили в тюрьму. И где живет, рассказал, ничего не скрывая и не путаясь. Допрашивали его небрежно, случай был не особенно важный, кража семи уток, подумаешь... И только потому, что поймали его в этом рваном пиджаке, начальник хотел все-таки припугнуть старика, чтобы вытянуть у него, кто помогал ему во время кражи. Но ничуть не бывало, Душрейш и не подумал выдавать друзей. Стараясь объясниться получше, он говорил, путая слова португальские, креольские и кимбунду, твердил, что он один, совершенно один забрался туда, сунул уток в мешок — и все. Зачем? Очень просто, господин начальник, у него жена и два сына, и хотя парни уже работают, а жена стирает — все равно денег не хватает, надо округлить бюджет...

— Черт побери, округлить бюджет! При помощи чужих уток?

— Ох, господин начальник! Ведь своих у меня нет!

И тут Душрейш, очень довольный, даже улыбнулся. Шику Фута сказал ему заранее, что, как бы полицейские ни злились, как бы ни грозили побоями, все равно они не будут спрашивать у него, кто должен был купить этих уток... Ведь каждому ясно, что не станет человек воровать их просто так, чтобы держать на своем дворе... А это, пожалуйста, если они хотят, он им скажет, он знал, что у Кабулу, которому он обычно сбывал краденое, есть двоюродный брат в полиции, так что Кабулу полиция не страшна. Ломелину это твердо усвоил, порою, когда ему хотелось отдохнуть и побездельничать, скупщик краденого сам напоминал ему о себе, предлагал даже открыть кредит...

---

* Камутута — калека, хромой, на языке кимбунду.

Но, что выгодно арестованному, об этом полиция не спрашивает. Записали имя обворованного — это был Ромалью да Силва,—чтобы вернуть ему уток, но кто должен был их получить, об этом не было произнесено ни слова. А что еще спрашивали его, что еще говорил Душрейш?

Шику Фута пытался разговорить приятеля, он чувствовал, что Ломелину о чем-то умалчивает, чего-то не договаривает. Он слишком хорошо его знал и видел, что после допроса в полиции старик держался как-то не так. Всегда разговорчивый, общительный, Душрейш вернулся оттуда злой и раздраженный, как кошка, на которую напала собака. Что с ним случилось? Он не смотрел людям в лицо, сидел, опустив глаза, свесив голову, как будто на ней лежала какая-то тяжесть... Нет, не таким знал его Шику Фута, он всегда был откровенный и прямой, даром что вор. Но все-таки, хотя и не скоро, а несколько часов спустя после возвращения в камеру, Душрейш наконец доверился своему другу. Ведь жили они рядом, в соседних хижинах, занимались одним и тем же делом, голод одного был голодом другого, и если не Шику Фута, то кто смог бы вытянуть из старика трудное признание:

— Послушай, Шику...

Голос его звучал тихо, как шорох листьев, которые раскачивает ветер. Но глаза уже были прежними глазами старого Душрейша, только они как-то странно блестели в полумраке камеры, как будто влажные. Чтобы никто не увидел их такими, Ломелину снова опустил их, опустил и улыбнулся. Потому что действительно было чему улыбнуться, как представишь себе, до чего изумится парень, когда его схватят и притащат в тюрьму и станут допрашивать насчет этого случая с семью утками, а он ведь ничего не знает, ведь его в этот раз вообще не взяли с собой, потому что он калека... Да, Гарриду будет удивлен, что именно он донес на него,— он, Ломелину душ Реиш, которого Гарриду считал лучшим другом, которому доверял тайны своего сердца, израненного насмешками девчонок; да, да, Гарриду, который всегда так душевно разговаривал, который радовался всему, он, может быть, даже заплачет, потому что у него сердце доброго ребенка...

— А почему ты улыбаешься, братец Душрейш?

— От стыда, брат, от стыда!

И рассказал все.

Слова текли медленно, полные печали и сожаления, трудно было ему исповедоваться, несмотря на то что слушал его истинный друг, который все понимал, больно было признаваться, что он назвал там, на суде имя Гарриду Камутуты... Вот так и сказал, да, да, так прямо и сказал, что парень помогал ему, стоял на страже, чтобы предупредить, если появится патруль... Но все это было ложью, потому что на этот раз мулата они решили с собой не брать, ведь калека не мог перепрыгнуть через забор или бежать, если будет погоня... И хуже всего было то, что его об этом совсем не спрашивали, у полиции не было никаких подозрений, это он сам, он сам стал предателем, а его никто не выдал, просто ему не повезло этой ночью, патруль попался навстречу, когда он тащил свой тяжелый мешок... И тем не менее он сказал все: и где живет, и полное имя — Гарриду Фернандиш,—хижина его там, на холме около Рангела, живет из милости в доме у одной старушки...

— Ох! Плохо, брат! Но сейчас, если тебя опять вызовут, скажи, что ты соврал, что незачем хватать парня, что он вовсе не из вашей компании, так и скажи...

— Да, да! Но я боюсь, что его захватили с чем-нибудь там, дома... Что тогда?

Тут разговор пришлось прервать. В коридоре послышался голос тюремщика, выкрикнувшего его имя. Торопливо запрятав кусок хлеба между лохмотьями пиджака, старик вскочил.

— Ломелину душ Реиш? — раздался еще раз голос издалека, от самой двери. Был уже третий час, солнце, улыбаясь, заглядывало через решетку, желтый свет разливался по темному коридору. И Душрейш побежал к выходу, путаясь в своих лохмотьях.

— Эта чертовщина с утками, почему никто не идет? Это ты! Ну-ка, скорее!

Скорее, скорее, стучало сердце Ломелину. Он хотел сообщить судьям, что все сказанное им про Камутуту было неправдой.

■

Шику Фута начал так:

Может ли человек знать точно, как что-нибудь началось, когда, где, почему, зачем? Знать хотя бы, что происходит в сердце того, кто что-нибудь совершает ищет, разрушает или портит? Или все, что случается в жизни, не имеет начала? Когда доберешься до того, что тебе кажется началом, видишь, что это начало является также концом какого-то другого начала... И поэтому, если человек взглянет вот так, назад или вперед, он увидит, что невозможно разорвать нить жизни; даже если она в каком-нибудь месте истлеет, в другом она всегда укрепляется, растет, отклоняется в сторону, убегает, приближается, поворачивается, останавливается, прячется, снова появляется... Я говорю так, потому что знаю точно. Как только происходит какое-нибудь событие, все люди, так или иначе имеющие к нему отношение, начинают говорить, и каждый

говорит свою правду. И если они продолжают говорить и спорить — правда начинает приносить плоды, в конце концов можно собрать в одну корзину все правды, а в другую — все неправды, и каждая ложь будет немножко правдой, и каждая правда — немножко ложью.

Гарриду Камутута явился в тюрьму, потому что украл попугая. Это действительно правда. Но как узнать начало, середину и конец этой правды, как, в самом деле? Попугай — это не та птица, которую можно съесть. Попугай разговаривает, может назвать имя своего хозяина, поэтому его не продашь... Попугай ест много земляных орехов и много маиса... Несчастный воришка не может тратить столько денег, чтобы прокормить попугая, ему нет в этом никакой выгоды. Для чего же красть такую птицу?

Нить жизни, которая показывает что и как, не рвется, даже если она истлела, и поворачивая ее, растягивая, изгибая, человек всегда отыщет где-нибудь начало и конец другого начала. Надо только узнать, в каком месте, в какое время, при каких обстоятельствах началось хоть какое-нибудь начало. Вот только это и необходимо знать.

Попугай Жако, старый и больной, был похищен калекой мулатом Гарриду Фернандишем, по прозванию Камутута, боявшимся женщин потому, что у него была хромая нога. Но где мы будем искать истинное начало истории? В том, что он сам рассказал в тюрьме, когда прибыл туда и помирился с Ломелину душ Реишем, предавшим его? Или в сообщениях надзирателя Зузе, говорящих не больше того, что можно прочесть на сопроводительном листке арестанта? А может быть, действительно все началось с попугая Жако?

Вот так дерево кажý, старое и доброе, отбрасывает свою тень на землю и приносит плоды, наполненные соком, а его огромные ветви, твердые, искривленные, переплетаются, растут одни над другими, рождая все новые побеги, а эти уже ткут тонкую паутину над самыми верхними ветками, и там, над всем, выше всего, трепещут зеленые широкие листья, шевелясь от ветра, как бабочки, которые не могут улететь. А золотые и желтые плоды — это подвешенные к нему кусочки солнца. Люди проходят мимо, не замечая его, видят дерево там в течение долгих лет, пьют свежесть его тени, едят сладкую мякоть плодов, дети обрывают только что родившиеся листья, чтобы украсить свои удочки, и никто не думает: а как же, откуда возникло это дерево? Смотрят на него удивленно, обрывают все листья, а дерево живет... Кто знает, говорят, что солнце питает его через них, но дерево живет и без листьев! Наконец люди взбираются на него, обрубают молодые ветви, все, какие возможно достать, из них так удобно делать рогатки, не оставляют ни одной, а дерево все живет в старших сыновьях самых старых ветвей, прижавшихся к могучему, вросшему в землю стволу. Тогда люди безумеют, приводят трактор или обнажают катаны*, рубят, режут, секут, отдирают всех сыновей от ствола-прародителя и потом удаляются, удовлетворенные, что с деревом кажу они покончили, нашли его начало! Но наступает время дождей, становится тепло, и однажды утром, когда вы проходите мимо дерева кажу, вы с удивлением замечаете свежие зеленые побеги, которые стыдливо поглядывают во все стороны, вытягиваясь над толстым пнем дерева-прародителя. И если в эту минуту от ярости, что вы так и не смогли добраться до его начала, вы снова станете резать, выдирать, рубить, рвать его неистребимые корни, выкопаете их из земли, изрубите, высушите, даже сожжете, увидите, как все улетучилось в воздух, превратившись в дым, черный, серый, сизый, голубой, белый, желтый, — не предавайтесь гордым мыслям, что вам удалось разорвать нить жизни, обнаружить начало дерева. Присядьте рядом с пламенем костра или около стола, на деревянную табуретку перед светильником; уроните на трактирную стойку голову, отяжелевшую от вина, или наполните грудь соленым ветром, который дует с моря; задумайтесь лишь один раз, на одну минуту, задумайтесь самую чуточку о дереве кажу и, вместо того чтобы спускаться по пути корней в поисках начала, дайте своим мыслям дойти до конца, до плода, который и есть это другое начало, и тогда вы встретитесь с орехом, ведь его темная сухая скорлупа уже треснула и зеленые половинки раскрылись, как половинки зернышка фасоли, и маленький зеленый стебель родится из них под землей, когда дождь покроет ее своими поцелуями. Нить жизни не порвана, нет, вы видите это. И даже больше того: если вы захотите еще раз вернуться в глубь земли по пути корней, перед вами возникнет старый орех, невидимый отец этого ствола, который вы пытались уничтожить, похороненный сын другого, более древнего дерева. И тогда ваша работа должна опять начаться сначала, выкорчевывать это дерево, и это, и это... Такова нить жизни. Но люди, которые живут, не могут одновременно смотреть назад, срубая все деревья, и забегать далеко вперед, стараясь посадить новые ростки... Необходимо выбрать что-нибудь одно. И, пожалуй, будет легче, если приучить себя начинать всегда с корней деревьев, с истоков вещей, с основ событий и разговоров.

Так говорил Шику Фута.

Таким образом, можно считать, что причиной ареста Камутуты был Жако, нахальный попугай, хотя немного раньше, чем с ним, мы должны познакомиться с Инасией, толстенькой девчонкой, его хозяйкой. С точки зрения Душрейша и Жоана Ми-

---

* Катана — короткие кривые ножи.

гела, она не представляла никакого интереса, и друзья здорово потешались над увлечением хромого. Остальное рассказал он сам, Камутута, и Зузе, надзиратель, успевший прочесть кое-что на сопроводительном листке арестанта, но еще некоторые подробности я узнал от Инасии и от Жако, старого попугая из муссека.

Гарриду Фернандиш считал, что все происходит случайно. Люди, которым приходилось с ним разговаривать, всегда чувствовали, что парень ничему не верит. Все, чего он хотел и чего не хотел, обычно случалось помимо его воли. Все происходило случайно.

Таким образом, мы совершенно случайно встречаемся с ним во дворе вдовы, где он ожидает Инасию в тени маниока около пяти часов вечера накануне того дня, когда полиция схватила Ломелину, нагруженного мешком с окаянными утками. Не потому вовсе, что девушка назначила ему там свидание, такого счастья ему еще не выпало, просто именно там она работала, в этой лавке, хозяйкой которой была вдова умершего недавно со Руаша. Гарриду Фернандиш любил приходить туда перед вечером, когда бывало меньше всего посетителей, чтобы поговорить и посмотреть лишний раз на округлое тело девушки, напрасно пытаясь при этом обрести смелость и сказать ей, как она ему нравится и как он хочет говорить ей прекрасные слова, которые придумывал ночью в уголке той хижины, где жил из милости. Всем было известно, что Гарриду влюблен в Инасию, это служило постоянным предметом для насмешек тем, кто норовил потискать девушку у него на глазах, приглашал ее переспать вместе и делал ей разные игривые намеки. Все это ранило калеку еще больнее, чем блестящие глаза Инасии, чем ее голос... А девушке доставляло удовольствие причинять ему боль и в то же время нравилось выслушивать безумные речи хромого.

— Не смей меня трогать, бродяга...

Но это была выдумка. Гарриду никогда не решался прикоснуться к ней даже пальцем. Она вскрикивала так, нарочно, для того чтобы люди в лавке дразнили его, называли дерзким, волокитой, обольстителем, издевались бы над беднягой, говоря, что девушка не в силах противиться смелости его рук... Камутута очень страдал, но страдал молча, страдал и за себя, и за Инасию, ему казалось, что люди смеются над ними обоими. Действительно, Гарриду надеялся, что он все-таки нравится девушке. Почему? Очень просто, там, в лавке, ничто их не соединяло, но поздно вечером, когда скрывалось горячее солнце и надвигалась тьма, Инасия любила присесть здесь, под маниоком, позволяя Гарриду говорить слова, которые ей не приходилось слышать никогда ни от кого другого, слова, которые открывали перед ней мир невозможного, но такого прекрасного, если бы оно стало возможным... В эти мгновения она жила той жизнью, о которой говорил ей Гарриду, той жизнью, которую он ей сулил... Но потом, вдруг осознав всю несбыточность его сладких слов, Инасия принималась дразнить его, попрекать хромотой, страхом перед женщинами и высказывала ему все то, чему ее учила хозяйка, все то, что она привыкла слышать. Она клялась так, как будто хотела сама себя уверить в этом, что непременно выйдет замуж, но только за белого, вовсе ей не нужен какой-то мулат — пусть он и не воображает...

Тогда Гарриду убегал прочь, по целым неделям бродил кругом, не решаясь приблизиться, не имея смелости снова начать разговор, сгорая от стыда... Он худел, не брился, и глаза его, красивые синие глаза, которые достались ему от отца, покрывались туманом... В эти долгие бессонные ночи он думал, что лучше всего ему умереть...

Но Инасия вовсе не была такая уж злая, она искренне огорчалась, что он не приходит, что он страдает, и звала его снова. Только мальчишки, знающие всегда все на свете, не унимались, продолжали его дразнить, оскорблять, издеваясь над его хромой ногой.

— Камутута Хромая Нога!

Сама Инасия придумала для него такое прозвище. Однажды, разозлившись, она выкрикнула эти слова, и люди стали повторять их ежедневно, пока их не выучил даже старый попугай Жако, который раньше ругался только на кимбунду. Но это не причиняло страданий Гарриду. Людям он прощал, на мальчишек не обращал внимания, более старшим говорил, что у них сердца крокодилов, или просто молчал, но не потому, что боялся, все равно никто не стал бы с ним драться. По отношению же к Инасии он вел себя просто как дурак: при виде ее опускал голову на свою тощую грудь, и на лице у него появлялось такое выражение, какое бывает у ребенка, когда его застанут на чем-нибудь дурном.

Но назначенный час всегда настает в конце концов, и в этот день он решился. Всю ночь, все утро он не спал, собирая свое мужество, обдумывая слова, которые он скажет Инасии. Он убедит ее жить с ним, любить его, спать с ним вместе, таким образом он убьет эту страшную змею, свернувшуюся в его сердце, он сможет дышать свободно, освободиться наконец от этого злого колдовства, которое затуманивало его глаза, душило грудь, не давало ничего делать... Он думал только об Инасии, он видел повсюду только ее черную блестящую кожу, слышал только ее смех и ее голос...

Итак, он был там в этот вечерний час, и если бы не Жако, все кончилось бы иначе. Отвратительная тварь всегда норовила клюнуть его или хотя бы выругать.

Между ними постоянно шла борьба. Под маниоковым кустом на закопченных камнях очага сидел Гарриду Фернандиш, сгорбленный, худой, пристроив поудобнее свою искалеченную вытянутую ногу, а над ним, на ветке такого же маниока покачивался попугай. Серого цвета, как будто покрытый пылью множества прожитых лет, он действительно был старой, злобной птицей, единственным украшением которой оставались четыре красных пера на хвосте. Но он сам относился к своему хвосту с полным пренебрежением, и красные перья были всегда облеплены засохшим пометом. Когда же, преследуя кур, попугай норовил пробраться в курятник, петух расправлялся с ним по-своему, нещадно бил его клювом по голове, и Камутута приходил в хорошее расположение духа, видя, как попугай спасается бегством, в испуге хлопая обрезанными крыльями.

Так они сидели и смотрели друг на друга с нескрываемой ненавистью. Молодые, красивые глаза Гарриду сверкали на его худом лице. А маленькие желтые глазки Жако, похожие на бусины, внимательно следили за руками мулата, вооружившегося камешками.

Камутута видел когда-то одного попугая в Нижнем городе; он был совсем другой — веселый, чистый, умел насвистывать португальский национальный гимн и подражать звуку военной трубы. Вспоминая его, Гарриду даже немножко жалел Жако, такого грязного и вшивого.

— Попугай, попугайчик, безмозглая птица... ко... ко... ко...— закричал попугай и свистнул несколько раз, не сводя желтых глаз с мулата и ловко увертываясь от целого града камешков. А потом снова перешел в нападение, издавая гортанные птичьи крики и добавляя к ним ругательства на кимбунду, которые были известны еще его предкам.

Целя камешками в попугая, Гарриду не заметил Инасию, которая уже стояла в дверях, с интересом наблюдая за сражением.

— Камутута! — крикнула она.

Этого было достаточно, чтобы Жако подпрыгнул, встрепенувшись, растопырил крылья и захлопал ими по листьям маниока. Он вытянул старческую, почти голую шею и закричал, как обрадованный мальчишка, одновременно присвистывая, ругаясь и бормоча:

— Камутута... тута... тута... Хромая Нога... га... га... га...

Птица злилась все больше, а Гарриду как раз только что раздумывал о том, какой все-таки попугай Жако несчастный — ходит по двору, пьет воду вместе с курами, клюет маис прямо с земли, нет у него ни насеста, ни цепочки, ни красивой клетки, какие бывают у других попугаев... Но ветер подул как нарочно, чтобы обрисовать толстые юные ляжки, скрытые под одеждой Инасии, и Камутута раскрыл рот, глядя на девушку. Она быстро шла по двору своей легкой походкой, гордо неся упругое круглое тело, торчащие твердые груди, не стесненные одеждой, даже не вздрагивали, только белые зубы улыбались ему.

— Это ты, Гарриду? Уже пришел?

И, не дав ему еще произнести ни слова, она захихикала:

— Эй! Не смотри на меня так! Мне стыдно!

— Не смейся, Инасия!

Она села. Широкий, твердый, круглый зад обрисовался под туго натянувшейся одеждой. Камутута в смятении подумал о том, что вот так у нее всегда — только легкая ткань на голом теле и ничего больше... Дрожь мгновенно пробежала по всему его телу, даже по искалеченной ноге, но когда он увидел глаза девушки, спокойные и дружеские, совсем иные, чем ее соблазнительное тело, как будто налитое соком, эта дрожь так же мгновенно исчезла.

Жако снова стал браниться, но Инасия протянула ему горсть земляных орехов и сказала так ласково, будто любила облезлого попугая всей душой:

— Ну, мой миленький! Ну, быстрее! Возьми, возьми! Ты знаешь, как я тебя люблю! Ах, моя птиченька! Мой попугайчик!

Гарриду не мог этого вынести. Он чувствовал себя обворованным: эту мерзкую птицу ласкают, а ему не достается ничего; наверное, Инасия поступает так нарочно, назло ему. Он высказал ей свое подозрение, но девушка кротко взглянула на него и только спросила:

— Вот так ты про меня думаешь? И еще говоришь, что любишь меня?

— Нет, Инасия! Я не то сказал, ничего плохого я не думаю! Это только потому, что птица грязная!

— Грязная? Еще чего! Мой Жако чистенький, разве не так, любовь моя, мой попугайчик...

И она снова стала ласкать птицу, а у Камутуты до боли стеснило грудь. Инасия делала вид, что не понимает его страданий, и, продолжая свою игру, прижалась лицом к серым перьям попугая.

— Инасия, послушай! Послушай меня хоть минутку...

— Только минутку, согласна!

Она засмеялась, вскочила и потащила Жако в курятник, потому что попугай требовал воды, повторяя это слово, сопровождая его множеством ругательств. А Гарриду ждал.

Сколько раз уже он начинал эти разговоры. Он приступал к ним со страхом. Первые фразы обычно не выражали того, что он хотел сказать. Что можно обещать девушке, не имея даже работы, только друзья порою давали ему заработать какую-нибудь мелочь, принося свои дырявые башмаки, чтобы он поставил заплату или прибил каблук... А если и этого не было, приходилось идти на ночные дела, неприятные, воровские дела и стоять на страже, чтобы предупреждать товарищей в случае опасности... Случалось так, что он попадал и в лапы полиции... Каждый раз, начиная разговор с Инасией, Гарриду старался избегать неприятных тем, а она уже знала, что он начинает всегда так робко, потому что опасается насмешек, но не проходило и пяти минут, как разговор становился таким, как он хотел, ведь он его повторял про себя все дни и все ночи, и свои вопросы, и ответы Инасии, иногда он даже обманывал ее, чтобы заставить следовать за своими мыслями, как он хотел.

— Слушай, Гарриду! — наконец говорила она, и он знал, если она его называет так, значит, разговор можно продолжать.— Ты очень здорово говоришь, как настоящий мошенник. Ах ты, парень... Но если я соглашусь, что про меня скажут люди?

— Не обращай на них внимания, Инасия!

— Ну да! Они говорят уже: смотри-ка, он хромой, нигде не работает, только ворует, на что же он живет и как он прокормит свою жену?

— Я найду настоящую работу!

— Ты всегда это говоришь, каждый раз одно и то же, но до сегодняшнего дня — ничего! Не хочешь ли ты сесть на шею своей жене, скажи-ка?

— Что ты, Инасия, не думай этого!

— Но так будут говорить, Гарриду! Скажут, что я кормлю тебя на те деньги, которые получаю от других. Не забывай и про свою ногу.

— Ох, не смей говорить про нее!

— Уже сердишься? Каждый раз, когда я тебе говорю правду, ты начинаешь злиться, разве не так?

— Не сердись, Нашинья, прости меня! Я не хотел...

— Ты только и знаешь, Нашинья, Нашинья, прости...

Голос ее был сердитый, Камутута начинал дрожать от страха, что она снова его прогонит...

Вот так всегда проходили их разговоры. Все было хорошо, пока он говорил то, что придумывал в течение долгих бессонных ночей, но потом, когда заходила речь об их жизни, о каждодневной действительности, он начинал упрекать Инасию в том, что она только и думает что об еде, о доме, а ничего не говорит о любви. И конец тоже бывал всегда одинаковым: Инасия оставалась одна, страдая оттого, что уже не слышит этих безумных слов Гарриду, которые заставляли ее мечтать, хоть она и не верила им. Вот таким образом девушка мучила и его и себя, а если разговор на этом не прерывался, она начинала его бранить и в конце концов прогоняла.

Но в этот вечер Гарриду поклялся, что уйдет не раньше, чем получит ответ. Если она скажет «да», тогда они лягут спать вместе. Если — «нет», он больше никогда не будет с ней разговаривать и попытается убить в себе эту любовь, которая терзала его. Поэтому сегодня он не вступал сразу в спор, пытался продолжать разговор мирно. Но Инасия уже злилась и с издевательской полуулыбкой дразнила его.

— Слушай, Гарриду! Я ведь тебе уже говорила, что хочу стать такой, как моя хозяйка, помнишь?

Он смотрел на нее глазами побитой собаки, гладкое, безбородое лицо его было совсем как лицо мальчика. И эти глаза еще больше злили Инасию, они заставляли почувствовать, что он гораздо лучше, чем она, несмотря на все эти причуды юноши, еще не знающего женщин, не знающего ничего о жизни, воображающего, что можно прожить одними разговорами о любви. И поэтому она хотела причинить ему боль, заставить его страдать, посмеяться над ним, как она делала это каждый раз.

— И еще вот что, послушай, Камутута...

Голова его склонилась на грудь, и гладкая кожа вся покрылась тонкими морщинками. Голод лишил его кожу упругости, а печаль состарила, хотя он был еще совсем молод.

— ...предупреждаю тебя! Смотри не забудь, что я тебя предупредила! Когда я иду с моей хозяйкой, не смей со мной здороваться, слышишь? Понял? А то обругаю тебя прямо посередине улицы!

— Ладно, Инасия, не буду...

— Молчи, я еще не все сказала! Или ты думаешь, что я буду носить платья, которые мне дает хозяйка, надевать туфли на каблуках, красить губы — да, если захочу, буду красить губы,— и все для того, чтобы со мной здоровался вот такой, как ты? Думаешь, для этого?

Его большие красивые глаза снова были устремлены на лицо девушки, и слабая улыбка возникла на тонких губах. Совсем нет стыда у этого негодяя! Его оскорбляешь, а он улыбается, сидит с таким дурацким лицом, совсем как идиот! И все-таки ей было приятно видеть такую преданность, ведь даже если она его ударит — все равно он вернется, она в этом уверена.

Инасии стало стыдно за сказанные ею слова, но она решила не показывать вида, а то парень подумает о себе бог знает что! Все-таки ей не удалось скрыть свои

мысли, глаза ее странно заблестели, они как будто стали еще больше на красивом широком лице, казалось, что они заняли все лицо, озарили его излучавшимся из них светом...

— Ладно, Инасия, прости меня...

Гарриду проговорил эти слова, и глаза ее выразили согласие. Сама Инасия ничего не ответила, только смотрела на него, и в голове ее творилась путаница, она не знала, как надо обращаться с этим непонятным человеком, ведь он был такой слабый, ни на что не сердился, можно было его оскорблять как угодно, но в словах его звучала какая-то странная сила, она чувствовала это; а может быть, если сделать все, как он хочет, может быть, получится хорошо, кто знает? Но как она будет жить с этим калекой, ведь все в муссеке знают, что, стыдясь своей ноги, он еще никогда не спал с женщиной. Люди будут издеваться над ней: такая красивая, такая гладкая девушка, как она, Инасия Домингаш, и вдруг живет с таким никудышным парнем, а ведь она многим вскружила головы... А хуже всего, что у него нет ни работы, ни хозяина...

Вечер опускался быстро, туманный, холодный, ветер, шурша, перебирал листья. Во дворе ругался, свистел и напевал Жако, прыгая и уворачиваясь от клюва петуха. Инасия присмирела. Она сидела грустная, почесывая большой палец ноги, ни о чем не думая, только слушая, что ей говорил Гарриду.

— Что у тебя там, Инасия? Матаканья*?

— Ну да! Еще что! Ты думаешь, что я живу в Лишейре?

Но, рассмотрев хорошенько свой палец, поковыряв его ногтем, она сделала недовольную гримасу. И потом, решив потешиться над парнем, вытянула ногу перед лицом Гарриду и сказала:

— А правда, там матаканья... Ну, где же я могла ее подцепить?

— Здесь ходят куры, мало ли что еще есть во дворе...

— А ты можешь ее вытащить? Если ты меня любишь, постарайся, хорошо?

И это предлагала ему та самая Инасия, на которую он всегда только смотрел, не решаясь к ней прикоснуться, в то время как все остальные посетители лавчонки хватали ее как хотели, а она только увертывалась, отшучивалась и хохотала.

— Дай мне булавку!

— Возьми. Но ты посмотри хорошенько! Чтобы ее вытащить, надо сначала разглядеть...

Он придвинулся ближе, и ему показалось, что холодный влажный ветер вдруг стал теплым.

— Сядь вот тут, на землю, помоги мне, Гага...

Ее голос опять стал нежным, а глаза смотрели так ласково... Она ткнула ногу ему в живот, свою широкую босую ногу девчонки из муссека, приставила ее плотно к его груди, и кровь Гарриду вспыхнула, как будто подожженная спичкой. Красный порошок жиндунго, красные муравьи обожгли его тело сладостным огнем. Чтобы скрыть смятение, он начал неловко действовать булавкой, кончик ее все время дрожал, не попадая туда, где была голова насекомого. По-видимому, эта матаканья была здесь совсем недавно, она не успела проникнуть глубоко, до половины еще торчала наружу, как будто подглядывая, насмехаясь над людьми. Оттого что она не вся ушла под кожу, зуд был еще сильнее. Камутута должен был поступить очень просто: ему надо было воткнуть острие булавки в кожу, надавить немножко, подвести под блоху и потом — раз! — вытащить. Но сейчас у него ничего не получалось. Гарриду весь дрожал, его бросало то в жар, то в холод, а Инасия ухватилась за его шею своей горячей рукой и прижалась к нему грудью, твердой и нежной. Впервые он почувствовал запах ее тела, и голова его закружилась, в ушах застучали барабаны.

— Эй, Гага! Не дрожи так! Держи другой рукой!

Осторожно и нежно он взял ее за тонкую щиколотку. Тепло побежало теперь по обеим рукам, потекло, как дождевая вода, устремилось из его тела, чтобы влиться в ногу Инасии, а она, прижавшись к нему еще крепче, касаясь грудью его головы, делала вид, будто нагнулась, чтобы видеть, как он орудует булавкой.

Может быть, в это время матаканья тоже издевалась над усилиями Камутуты, который никак не мог ее подцепить? Правда, булавка оказалась толстой, только все равно он, такой ловкий, должен был суметь сделать свое дело любой железкой!

Но Гарриду уже совсем не думал об этой матаканье, пусть она хоть навсегда останется в пальце Инасии, пусть откладывает там яйца, выводит детей, ему было все равно, ничто его не интересовало, он ни о чем не думал, кроме одного: если еще продлится это — муравьи, бегающие по всему телу, Инасия, такая близкая, такая соблазнительная, прижимающаяся все теснее,— он не выдержит... Здесь же, в темноте надвигающейся ночи, за курятником, он обнимет ее.

Но в это самое время явился Жако. Хлопая крыльями, громко крича, он уселся на ногу хозяйки и стал клевать Гарриду, мешая ему закончить начатое дело.

Говорят же, что причиной всего был Жако, и, вероятно, это действительно так, потому что, если бы Инасия не ласкала птицу, ничего бы не произошло, тогда Каму-

---

* Матаканья — особый вид блохи, проникающей в тело человека или животного.

тута ни за что бы не согласился выполнить то, о чем позже попросила его Инасия, ведь он уже не был ребенком, который показывает фокусы, стремясь поразить своих товарищей.

Но как мог Гарриду, полный страстного желания, готовый на все, чтобы только успокоить боль в сердце, чтобы убить этих муравьев, бегающих в крови, как мог он стерпеть, что грязный и старый нахальный попугай получает поцелуи девушки и прячется под ее коленями?

Ночь только приближалась, но в сердце Гарриду уже был полный мрак. Инасия решила совсем свести его с ума. Тихо-тихо, почти совсем неслышно она произнесла:

— Камутута Хромая...

Не надо было заканчивать. Жако сразу же раскрыл крылья, захохотал и затрещал:

— Камутута... тута... тута... Хромая, Хромая Нога... га... га...

Тогда Инасия вонзила еще один нож в сердце Гарриду:

— Калека...

Жако не заставил себя ждать. Громче, чем всегда, он заорал:

— Хромая Нога... га... га... га... калека... лека...

И тут ей в голову пришла еще мысль, как продолжить забаву Она вытащила из кармана зернышко земляного ореха, взяла его в рот и попросила:

— Жако, Жако, возьми орешек!

Жако немедленно заворковал, защебетал, затрещал, нежно клюнул Инасию в губы и вытащил орех.

Гарриду не смог выдержать этого и взмолился:

— Инасия! Издевайся надо мной как хочешь... Но только не позволяй этой твари касаться твоего рта... Это грязная птица!

Она взглянула на него совсем как девочка, которая ничего не понимает, широко раскрыв удивленные глаза:

— Что? Тебе не нравится?

— Нет, не нравится, Наша...

— Ты меня просто ревнуешь к нему, вот что!

В эту минуту в мире не было более невинного лица, чем лицо Инасии:

— Почему же ты молчишь? Ты злишься, потому что меня целует попугай?

— Может быть, Инасия, может быть! Не делай этого!

— А если я скажу ему: «Жако, Жако, найди орешек»!

И он увидел, как попугай засунул сначала клюв, потом всю голову в широкий вырез ее платья, чтобы достать орех, который Инасия бросила туда. Круглые груди затрепетали под ударами крыльев птицы. Гарриду уже больше сам не понимал, что он чувствует. Были ли это муравьи и жиндунго, обжигающие кровь, или яростное желание свернуть шею мерзкой птице, которая прикасалась к тому, на что он не отваживался даже смотреть?

— Ты ревнуешь и мою грудь, Гага?

— Клянусь! Да, не знаю почему! Я ненавижу Жако!

— А если я позволю ему забраться под платье, ты рассердишься, Гага?

— Может быть! Может быть, я даже сверну ему шею. Клянусь! Инасия, не делай этого, не делай этого, не дразни меня, Наша!

Но Жако уже вытащил орех и проглотил его. А Инасия, давясь от смеха, втянув голову в плечи, отмахивалась от попугая, щекотавшего ее шею своими перьями.

— Сиди смирно, Жако! Ты меня щекочешь...

— Он на тебя насыплет вшей!

— У Жако нет никаких вшей! Это у тебя вши... Жако... Жако... Сейчас пойдет дождь!

И это было уже последней каплей, переполнившей чашу терпения Гарриду. Никто не смог бы дольше вытерпеть подобное издевательство. Попугай не спеша слез на землю, спрятал сначала голову под согнутые колени Инасии, а потом забрался под натянутую юбку и забормотал там, присвистывая:

— Сейчас пойдет дождь... Пойдет дождь...

Инасия захохотала, корчась от щекотки, искоса поглядывая на Гарриду. Но когда взбешенный парень, ни слова больше не говоря, стал медленно вставать, с трудом подтягивая искалеченную ногу, Инасия ласково окликнула его, как ни в чем не бывало:

— Гага! Не оставляй меня одну в темноте!

Действительно, уже темнело, повсюду зажигались мерцающие огоньки, в лавчонке шумели мужчины, пришедшие сюда после работы, чтобы пропить полученные деньги. Потрясенный Гарриду замер, не зная — уйти ему или остаться. Он чувствовал притворство в ее голосе, но у него не хватало решимости. Он опять опустился на землю совсем рядом с ней и сказал:

— Прежде всего, если ты хочешь, чтобы я остался, прогони эту мерзкую тварь!

К удивлению Гарриду, Инасия согласилась, отпихнула попугая в сторону, и он заковылял по земле, похожий на утку, произнося вперемежку все ругательства, которые он выучил когда-то и никогда не забывал.

— Кроме того, если ты хочешь, чтобы я остался охранять тебя, пока вернется твоя хозяйка, ты разрешишь мне тебя поцеловать!

— Ах ты, дерзкий!

Камутута сам не знал, как вырвались у него эти слова, у него и в мыслях ничего подобного не было, вероятно, лихорадка, горящая в крови, внезапно дала ему мужество, но так или иначе — Инасия рассмеялась, ее белые зубы сверкнули в темноте, и этот смех прозвучал для Камутуты прекрасной музыкой.

— Ладно. Согласна!

Испуганный, не ожидавший такого ответа, Гарриду протянул руки, мысли с бешеной быстротой понеслись у него в голове, и он ощутил, еще не прикасаясь к Инасии, горячую кожу алых губ, влажность этого рта, все то, что он представлял себе, лежа целые ночи напролет не смыкая глаз, в своей каморке.

— Подожди, подожди! Я позволю тебе меня поцеловать, если ты хочешь, я даже разрешу тебе погладить мои ноги, но в обмен я тоже хочу кое-что...

— Говори, говори, я все сделаю!

— Клянешься?

— Клянусь душой моей матери!

— Ну, смотри... Я слыхала... мне говорили, что ты умеешь ходить наоборот... Поставь руки на землю, подними хромую ногу, положи ее на шею и пройдись так по двору, чтобы я могла посмотреть!

— Нет!

Страшная боль словно резанула по его протянутым для объятия рукам:

— Нет, Наша! Не издевайся надо мной так!

— Что? Разве я издеваюсь? Что ж такого, если ты мне покажешь...

— Нет! Я не паяц! Даже если я и умею это, ведь это вовсе не какое-нибудь особое искусство, это просто потому, что я калека...

— Ну, как хочешь! Твое дело, Гага, если ты не желаешь меня поцеловать, если тебе не хочется погладить мои ноги — решай сам. Но потом не упрекай меня, что я злая, что мне нравятся другие!

Зарыдать, заорать, разбить это лицо, такое невинное, такое удивленное, хлестнуть по этим огненным глазам, смотрящим сейчас так спокойно,—вот чего ему хотелось. Но руки не поднимались, чтобы ее ударить, они хотели только обнять, только прижать ее к изможденному телу, изголодавшемуся, жаждущему.

Почти плача, он опустил голову, нагнулся, вытянул руки вниз и положил большие ладони на землю. Ему не нужно было искать равновесия, тело послушно повисло, одна нога поднялась на воздух, а другая, тонкая, хромая, обвила шею.

Потом он повернул голову, голову доброго ребенка, и взглянул на Инасию. Она смотрела на него, и печаль и жалость были теперь на ее лице. Он отвел глаза и пошел. Каждый шаг напряженных рук отзывался болью в его сердце, тяжесть все возрастала, все труднее было идти, но ему хотелось закончить круг поскорее, и он почти побежал, чтобы убить чувство стыда, чтобы никто не успел его увидеть, чтобы скорее получить обещанную награду, чтобы, наконец, забыть обо всем...

— Готово, я сделал, Наша...

Голос его был тих и печален. Глаза затуманены. В руках не было силы, даже чтобы обнять ее. Он смотрел на Инасию, такую тихую, потрясенную, недвижимую, только огромные глаза ее с изумлением смотрели на него из-под ветвей маниока. Она уже не была прежней озорной девушкой, она стала похожа на девочку, на маленького ребенка. И безмерная нежность охватила Камутуту, прогнала его тоску, заставила простить Инасии все глупости, ему захотелось погладить ее по голове, сказать самые прекрасные слова, обещать все самое лучшее, сделать все самое доброе, но единственно, что он смог,—это только нагнуться, ласково улыбнувшись, и обнять ее, совсем не так, как он желал этого всего несколько минут назад, без пламени страсти, без всякого стремления к обладанию, просто слегка погладил ее волосы, положил руку на круглые плечи и шепнул тихонько на ухо слова, которые ей так нравились.

А если бы не нахлынувшее умиление, если бы он не был полон этой радости, которая появляется обычно, когда один человек желает добра другому,—он должен был бы просто отколотить Инасию, она не имела права так издеваться над ним. Но он этого не сделал. Он ее слишком любил. Именно поэтому он застыл, потрясенный, только в глубине широко открывшихся глаз отразился безмолвный ужас, когда Инасия ударила его по лицу.

А дальше все происходило как в каком-то страшном сне: злобный крик Инасии, ее слезы, ее бегство из темного двора в освещенную дверь лавчонки.

— Ах ты, подлый бродяга! Сын хромой матери! Безногая уродина! Думаешь купить меня своими обезьяньими фокусами, да? Негодяй! Пошел прочь, пошел к черту, обезьяний мулат, паяц...

Медленно, волоча больную ногу, с разбитым сердцем, осколки которого жгли и кололи все его тело, с оледеневшей кровью, более холодной, чем ночной туман и туман, застилающий глаза, шел Гарриду, сам не зная куда, и долго еще слышал свист и издевательский голос попугая Жако, кричавшего ему вслед из-под маниокового куста:

— Камутута... Хромая Нога... га... га... га...

Жоан Мигел, по прозванию Быстроногий, был их предводителем. Никто против этого не возражал, это произошло само собой, и иначе уже быть не могло. Но доверенным лицом был Ломелину душ Реиш, только ему одному поручалось вести переговоры с Кабулу, а без этого белого торговца их дело не двигалось бы. Четвертым членом шайки был Гарриду Фернандиш, Камутута. Никто эту шайку не организовывал, она сама сложилась не то случайно, не то по необходимости, ведь хижины их стояли рядом, по соседству, вместе они и выпивали. Началось с того, что они однажды ограбили витрину парикмахерской; Ломелину был исполнителем, Быстроногий — зачинщиком, а Камутута стоял на страже, выглядывая, не появится ли патруль. Кабулу охотно скупил у них всю украденную парфюмерию. А потом так и осталось: предводителем стал Быстроногий, он же делил вырученные деньги, а приносил их Душрейш, продавая духи и разные другие штуки этому Кабулу, белому торговцу.

Душрейш пользовался полным доверием своих товарищей, иначе они не могли бы работать вместе. А Гарриду Камутута обычно только сторожил. Порою его даже не посвящали в подробности, что и где будут воровать, порою вообще не звали, если были уверены, что их не прихлопнут на месте, но, так или иначе, после каждого воровства он получал свою долю — половину от половины.

Собирались всегда здесь, в лавке Амарала, в восемь или в половине девятого вечера, когда, кое-как набив животы, все уже в состоянии были выйти из хижин, проведя целый день в Нижнем городе в поисках настоящей, дельной работы или высыпаясь после бессонной, трудовой ночи. Жоан Мигел всегда приходил первым. Когда появлялся Душрейш, парень обычно уже успевал выпить свои пол-литра, разбавленные, как он любил, газированной водой. Но в эту ночь, когда случилась история с утками, все происходило вовсе не так, настолько иначе, что с самого начала можно было предвидеть нечто необыкновенное.

Когда Ломелину, усталый после визита в Рангел, к Кабулу и обратно, вошел в лавчонку, против обыкновения он не увидел Жоана Мигела. Удивленный Душрейш спросил маленького Луиша, который мыл стаканы, не приходил ли Быстроногий, но мальчик сказал, что его еще не было. Обычно, если Жоан Мигел собирался с какой-нибудь девушкой в кино, он предупреждал об этом товарища, а сегодня он непременно должен был явиться, ведь он сам передал Душрейшу через соседку Марикинью, что хочет встретиться с ним как всегда в восемь с половиной у Амарала. Ладно, он подождет.

Усевшись в их постоянном уголке, Ломелину закурил, но в голове все время вертелись беспокойные мысли. Он пытался успокоить себя, не так уж поздно сейчас, но мрачные предположения всплывали одно за другим. Очень обидно будет, если такая темная ночь, как сегодня, пропадет напрасно и намеченное дело с утками Рамалью да Силвы, там в Марсале, провалится. Он ходил туда много раз, все примеривался с того самого дня, как Жоан Мигел задумал эту операцию с утками. Он говорил, что ее нетрудно будет осуществить и прибыль получится изрядная. Но прибыль могла появиться, только если Ломелину постарается. Он должен был убедить Кабулу купить этих уток, а торговец не любил возиться с живностью, он предпочитал предметы неодушевленные, безмолвные — то, что может лежать спрятанным где-нибудь без всякого присмотра, а птицы шевелятся и орут, с ними надо возиться, того и гляди, нагрянет полиция... Душрейш долго убеждал его, говоря, что безмолвные вещи теперь здорово охраняются, и патрулей в тех краях больше, залезать в дома опасно, по нынешним временам люди сразу начинают стрелять, говорят: раз черный — значит, террорист, и все тут. Сегодня в семь часов он пришел за окончательным ответом и, облокотившись на прилавок, ждал, делая вид, что пьет свои пол-литра.

Со Кабулу, толстый и красный, прошел мимо и сказал только:

— Отнесешь их в дом к Зеке Дурачку!

Прекрасно, замечательно. Ломелину был очень доволен. Зеку он хорошо знал. Этот парень обычно убивал краденых коз, чтобы можно было продать мясо, но порою приходилось оказывать услугу и ему, сбывая мясо старых и больных животных. С ним все получалось просто, противно только было думать о том, что этот негодяй Кабулу заплатит им самую низкую цену, а потом получит от Зеки Дурачка в два раза больше! Утки были такие жирные, сразу видно было, что они не бродили по мусорным кучам в поисках еды. Среди них была одна почти белая, которую он хорошо разглядел, она наверняка весила уж никак не меньше четырех килограммов.

Выйдя из магазина Кабулу, он медленно зашагал в темноте, можно было пока не спешить, одышка и так постоянно мучила его, особенно в те дни, когда предстояла ночная работа, сердце начинало торопливо колотиться в груди, и кровь текла быстрее при мысли обо всем том, что предстоит совершить. А сегодня он еще беспокоился о том, что Жоан Мигел, вероятно, будет против участия Зеки Дурачка, ведь все они потеряют часть дохода от продажи жирных уток. Но, пожалуй, можно будет убедить Жоана Мигела, ведь он еще совсем мальчик, ему двадцать четыре

года всего, и обычно он слушался по-сыновьи и почитал Ломелину Душрейша, как старшего.

А может быть, он не пришел вовремя, потому что опять курил лиамбу? Курил он всегда в одиночестве, даже Камутута при этом не присутствовал. Да, собственно, хромой все эти дни вертелся возле лавчонки вдовы, любовался на свою Инасию. Пусть бог простит, нехорошо смеяться над калеками, но этот парень Камутута, с большой головой на тонкой шее, право же, похож на общипанного петуха!

— Добрый вечер, друг Душрейш!

Это был Быстроногий. Он тяжело опустился на скамью, как будто ноги его больше не держали. Налившиеся кровью глаза смотрели на Ломелину так, словно никогда до сих пор его не видели. Дыхание со свистом вырывалось из груди. Каждый раз, когда Жоан появлялся в таком виде, Душрейш думал о его сходстве с паровозом. И вовсе не потому, что тот был когда-то стрелочником, работал на железной дороге, и не потому, что он рассказывал множество случаев из своей жизни железнодорожника. Нет, просто потому, что его остановившиеся красные глаза напоминали фонари локомотива, а из ноздрей широкого приплюснутого носа вырывались клубы папиросного дыма, совсем как облака пара. Сейчас он сидел на скамье, могучий, безмолвный, сгорбившийся, положив огромные кулаки на стол, вытянув вперед жилистую, сильную шею,— казалось, будто, напрягая всю мощь, он толкает вперед целый состав вагонов, нагруженных рудой. Но в действительности Жоан Мигел чувствовал себя скверно, накурившись лиамбы, и не хотел разговаривать.

— Ты здоров, Жоан?

— Все в порядке, спасибо, Душрейш!

И снова воцарилось молчание. Трудно было вызвать его на разговор, и, пожалуй, лучше было бы оставить его в покое, пока ядовитые пары не вышли из его крови. Даже опасно было разговаривать с ним: накурившись лиамбы, Жоан Мигел становился злым, потому что вообще он не хотел курить, но когда его одолевали мысли о прошлом, он не выдерживал и хватался за трубку.

— Выпьешь стаканчик, Жоан?

— Спасибо, выпью.

Он рад был бы улыбаться, рассказывать интересные истории, петь песни, но тягостные воспоминания не покидали его, тоска была глубокой, очень глубокой, потому что Фелиш был его лучшим другом, и в такую глубину не проникало даже колдовство лиамбы. Как он ни старался вырвать корни своей тоски, ему не удавалось стереть из памяти кровь, брызнувшую на рельсы, на колеса паровоза, забыть раздавленное тело Фелиша, голова с одной стороны, на щебне, между рельсами, а тело, совсем еще детское тело,— по другую сторону, и ноги, которые поднялись почему-то, как во время гимнастики, когда тяжелое колесо придавило шею... Нет, не мог он забыть эту кровь, не мог забыть труп Фелиша, погибшего там, убитого именно им, Жоаном Мигелом. Он запомнил прекрасно: двести пятый подходил медленно, товарный поезд, машинист Шавеку со своей бригадой кончал смену, и Фелиш помахал ему рукой на прощанье, шутливо предупреждая:

— Смотри, не опоздай! В пять тренировка!

Ему казалось, что и сейчас он видит улыбки этих людей в темноте кабины паровоза, освещенных огнем топки, белый пар, который окутывал их, как облако тумана, и в ушах у него звучал этот смех... А потом?

— Брат Душрейш, это не вино, а дрянь...

— Такое же, как всякое другое, Жоан...

— Но это особенная дрянь...

— Знаешь, когда на душе скверно...

— Может быть! Но вот что я думаю: сидит человек, перед ним полный стакан, человек пьет водку, беседует с друзьями о жизни, о службе, о девочках, трубка его набита... Айюэ! Какая тоска, брат! Вот если бы закурить мутопу *, как когда-то, чтобы вода булькала в калебасе — буль... буль... Нет, это совсем другое дело, чем эта проклятая лиамба, чем это дрянное вино белых...

И опять он умолк, только вспыхивал огонек папиросы, и снова он видел эту кровь, слышал голоса бегущих надсмотрщиков, начальника, путевого сторожа, обходчика, и все его ругали, все его били, проклятый черный, пьяница, бандит... Но кто еще любил Фелиша так, как он? Может быть, только его мать... Жоан Мигел неправильно перевел стрелку... Это его рука, рука Жоана Мигела послала двести пятый навстречу другому поезду... Это его рука направила колесо двести пятого на шею Фелиша, слабого, худого мальчика, который не выдержал, от испуга спрыгнул вниз на землю и упал под паровоз, а стальная махина прокатилась еще несколько саженей вперед и остановилась...

— Нет! Не могу больше! Не могу, брат Душрейш, не могу!

— Успокойся, давай выйдем отсюда, я должен поговорить с тобой, есть серьезное дело, нам предстоит работа...

---

* Мутопа — ангольская трубка, сделанная из маленького калебаса, внутри которого находится глиняный сосудик. Стебель калебаса — это мундштук, через который идет дым. В глиняный сосудик кладут табак и уголек.

Прохладное дыхание тумана немного остудило горячую голову Жоана Мигела. Там, вдалеке уличные огни как будто таяли, оставляя на земле пену или поднимаясь в воздух, как дым от костра, горящего без хвороста.

— Ну так что, ты все устроил?

— Устроил. Конечно. Он сказал «да», мы можем передать товар. Но он не хочет их держать у себя дома. В полночь нас будет ждать человек. Ты знаешь Зеку Дурачка?

— Знаю. Это что, твой друг?

— Нет, так, знаком немножко,— соврал Душрейш.

— Ладно, давай обо всем договоримся.

Быстроногий понемногу приходил в себя. Правда, глаза его еще были открыты неестественно широко, кровь от них еще не отлила, но он мог уже давать дельные советы. Он хорошо знал этот двор, куда им предстояло забраться, он примыкал к дому в конце узенького переулка, а патрули обычно проезжали другой дорогой.

— А в котором часу?

— Лучше всего в полдвенадцатого. Быстро все закончим, и ты потом выйдешь вместе с толпой, которая повалит из кино...

Но Душрейш приберегал напоследок еще один вопрос, никак не решаясь его задать. Никто не знал почему, но в те дни, когда Жоан Мигел курил лиамбу, он не хотел встречаться с Гарриду. Обычно их часто можно было видеть вместе, но когда Быстроногий курил лиамбу и вспоминал Фелиша, он не желал видеть мулата.

— Жоан! А Камутуту мы возьмем?

«Нет» прозвучало так громко, так уверенно, что не оставалось никакой надежды на иное решение вопроса.

— Но послушай... он будет стоять на углу переулка и свистнет, если появится патруль...

— Нет! Не нужно. Я пойду туда, сам буду тебя сторожить. Ты засунешь их в мешок, и все. Не хочу, чтобы калека путался у меня под ногами.

— Но послушай, не сердись! Мы его очень часто теперь не берем с собой, а ведь он всегда на все соглашается...

— Не желаю видеть этого паршивого калеку! Я уже сказал! Он может выдать нас, донести в полицию, ты слышал, он собирается завести себе подругу...

— Ну что ты, это люди болтают, не может быть, не может он донести на нас, ведь я его знаю с детства, и ты с ним дружишь...

— Я, дружу? Мне нравятся только те люди, у которых все на месте... А Камутута — полчеловека!

— Не думал я, что вы скажете такое у меня за спиной, друзья...

Жоан не успел еще договорить, когда этот голос прозвучал в темноте. Доброе сердце Ломелину застыло от ужаса и от стыда, как будто вся кровь вытекла из него. А в груди Жоана Мигела, наоборот, вскипела дикая ярость, неудержимое желание ударить, разбить, уничтожить того, кому принадлежал этот голос.

Волоча ногу, всегда как будто отставшую от него, из темноты, из-за угла лавчонки появился Гарриду и, высоко подняв голову, медленно двинулся к ним. Душрейш шагнул ему навстречу, а Жоан Мигел попятился и прислонился к стене.

— Послушай, Гарриду! Я объясню тебе...

— Не нужно, друг Душрейш! Я все слышал. Когда я подошел, вы говорили о том, в котором часу начнете работу... Я остановился, чтобы послушать...

Жоан Мигел подскочил, как бешеный:

— Что я говорил? Что я говорил? Теперь он нас выдаст!

Душрейш удержал его, стал между ними, отгородив их друг от друга своим старческим телом.

— Только не оскорбляй меня, Жоан! Почему-то до сих пор я был твоим другом, но теперь, когда я знаю, как ты издеваешься надо мной, я тебе больше не друг, можешь не беспокоиться, клянусь тебе!

Что-то новое появилось вдруг в глазах хромого парня. Ломелину никогда не видел его таким. Казалось, что даже нога у него была здоровая, так прямо она стояла. Гарриду весь выпрямился, все его тонкое тело напряглось, но самым удивительным было спокойствие, разлитое на его детском лице, и глаза, смотрящие в упор на Жоана Мигела. И тот не выдержал этого взгляда, опустил свою большую, тяжелую голову. А Камутута медленно произносил слово за словом:

— Все издеваются надо мной, но с этим покончено, друг Душрейш! И ты тоже, Жоан Мигел, мой друг! Тебя я хочу предупредить первым, ты злишься на меня, но я тебе ничего плохого не сделал. Всегда, когда вы шли на работу, я был с вами. Я ни в чем не виноват перед вами. Когда вы подошли, я был уже здесь. Я ничего не хотел подслушивать. Вам интересно знать, почему я оказался тут? Потому что я хромой, да, хромой, полчеловека, как ты сказал! Но больше этого я не потерплю, никто больше не посмеет издеваться надо мной! Я буду драться, клянусь, что буду драться! Даже если ты меня убьешь, слышишь, слышишь, Жоан Мигел?

Парень словно сошел с ума. Он отстранил Душрейша с дороги, и старик, пораженный этим новым Гарриду, пропустил его. Он надеялся, что ничего не произойдет, не станет же Быстроногий драться с Камутутой!

— Слушай внимательно! Случайно ты был моим другом, и только поэтому я предупреждаю тебя, понял? Навсегда запомни, я теперь никого не боюсь! Ни тебя, ни любого негодяя из муссека... Подлец! «Хромой, полчеловека!» Слушай, ты такой огромный, но куда ты годишься? Твое тело выросло, но сердце у тебя маленькое, трусливое, злое, полное глупости...

— Замолчи! Замолчи, Гарриду, или...

— Ударь, если ты способен! Бей! Этого я и хочу, разве ты не понял? Я хочу драться, так хоть один раз подерись с человеком, который тебя не боится! Ударь, ударь, если у тебя есть мужество!

Гордо выпрямившись в темноте ночи, Гарриду Камутута, казалось, все рос и рос, он уже не был жалким хромым мальчишкой с всегда опущенной головой, прячущимся по всем углам, убегающим от криков детей, которые его дразнили: «Камутута! Хромая Нога!»

А потрясенный Жоан Мигел видел, как снова перед ним возрождается его любимый друг Фелиш, это опять его друг разговаривал с ним, это он возрождался в Камутуте, возрождался в каждой мужественной фразе, которую он произносил, в этой решимости чувствовать себя победителем даже под угрозой побоев. И Быстроногий крепко сжал кулаки, спрятанные в карманы. Против его воли они стремились вырваться и отколотить Гарриду, если он не замолчит. Жоан не мог больше слушать, не мог больше допустить, чтобы эти слова растравляли его душу, разрушали все то, что удалось сделать лиамбе. Он не мог слушать эту жестокую правду, обжигающую его уши, проникающую внутрь, в самую глубину души... Уж лучше убежать, если невозможно отколотить мулата, ведь он такой слабый...

— Пусть он замолчит, Душрейш, вели ему замолчать, иначе я убью его!

— Это чепуха, ты сам знаешь, Жоан! У тебя не сердце, а гнездо трусливых крыс! Сознайся в том, что ты сделал, искупи свою вину! Не будь трусом, не прячься в дыму лиамбы, борись с тоской, борись с жизнью, не убегай, не убегай, трус, ты только и умеешь бить тех, кто слабее, даже со мной ты не можешь подраться, ты боишься... Ты дрянь! Мне стыдно, что я был твоим другом!

Ломелину подбежал, чтобы его удержать, но не успел. Мулат рванулся в исступлении, прыгнул, как будто нога у него вовсе не была хромой, и ударил Жоана Мигела.

— Не тронь его, Жоан! Он же пьяный!

Но Жоан Мигел уже не слышал слов Душрейша. В эту минуту его сжатые кулаки корчились от ярости в карманах, он видел только тонкую шею мулата, эту костлявую и жилистую шею, которую ему так хотелось сдавить. В ушах его гремели слова, которых никто никогда не отваживался сказать ему, они грызли его, впивались во все уголки тела. И голова его уже не вмещала всего того, что он думал в эти минуты, всего того, что вырвало из глубины души слова Камутуты, о чем его уже нельзя было заставить молчать.

Он шагнул к Гарриду, одной рукой оттолкнул Душрейша к стене и остановился прямо напротив мулата, так что чувствовал на себе его взволнованное дыхание. Удар, полученный им,— это был пустяк, но огромные глубокие глаза, неправдоподобные на этом худом детском лице, смотрели на него таким взглядом, которого он не мог вынести. Он занес над головой Камутуты большой и твердый, как шатун локомотива, кулак, готовый размозжить ему череп.

— Ударь! — спокойно сказал Гарриду.

Ничего. Только ветер зашелестел между хижинами.

— Ударь, трус! — повторил Камутута.

Рука, огромная, как ветвь баобаба, застыла в воздухе, и Ломелину только молился про себя, чтобы ничего не случилось, чтобы Жоан не опустил руку. Для Гарриду это была бы смерть.

— Ударь, если у тебя хватит мужества! — Голос Гарриду уже дрожал, но глаза по-прежнему смотрели прямо в лицо Жоану Мигелу. И он не мог бежать от их света, он был скован, связан этой неожиданной отвагой такого слабого человека, которому не нужно было обладать могучим телом, чтобы бросить вызов, чтобы показать, что даже калека способен устоять перед опасностью, если это необходимо.

— Оставь парня, Жоан, прошу тебя...

Умоляющий голос Душрейша проник прямо в сердце Жоану, причинив нестерпимую боль. Старший друг, такой как Ломелину, обычно не просил, он только приказывал... Стыд охватил Жоана Мигела, кровь отлила от его лица. Хриплый голос Ломелину заставил его разжать кулак, опустить глаза, расслабить окаменевшее от ярости тело. И, разозлившись теперь уже на Душрейша, не зная, что делать, Жоан Мигел бросился бежать в сторону далеких огней, растворенных в тумане. Ломелину побежал вслед за ним.

А Гарриду Камутута поплелся в темный угол, снова волоча за собой хромую ногу. Все мужество покинуло его теперь, и, прислонившись к стене лавчонки, обессиленный и несчастный, он медленно опустился на землю и заплакал горькими, тихими слезами.

В тот самый час, когда патруль повстречал Ломелину душ Реиша и захватил его с мешком, в котором были утки, Гарриду Фернандиш Камутута похищал попугая. Но перед этим ему пришлось выстрадать больше, чем за все те ночи и дни, когда, лежа в своей каморке, он с горечью размышлял о том, чего лишился в жизни, оставшись хромым после перенесенной в детстве тяжелой болезни.

Эта ночь была совсем другая, ведь раньше он никогда не испытывал ни к кому ненависти, не думал о мести, он считал, что все должно разрешаться само собой. А теперь было уже больше десяти часов, но слезы все еще не высыхали на его глазах, и сердце мучительно сжималось от новых приступов злости. Слишком много плохого произошло сразу. Жестокая шутка Инасии, нежности ее с попугаем — все это глубоко ранило его душу. Он ненавидел себя за свою нерешительность, снова и снова возвращался к мысли о самоубийстве. Для чего ему жить такому, над которым все только издеваются? Потом постепенно ненависть перешла на Инасию, и он представил себе, как сжимает руками ее нежную черную шею, сдавливает все сильнее. О, ему так сладко будет увидеть ее бледнеющее лицо, ее медленную смерть, наблюдать, как меркнет огонь в ее глазах...

Но раздумывая обо всем этом, он вдруг опять чуть не заплакал... Ведь ему захочется потом приходить на ее могилу, каждое воскресенье носить туда цветы, а полиция ни за что не догадается, что он ее убийца, все знают, что он, Камутута, такой слабый, люди постоянно оскорбляют его, а он ничего не говорит, только молча слушает... И перед ним в темноте предстала Инасия, вся в белом, она лежит в гробу, такая прекрасная, но никто не закрыл ей глаза, они открыты, большие, но уже угасшие, затуманенные. Хуже всего, что если долго думаешь о чем-нибудь со злостью — злость как будто выдыхается и исчезает. Вот так постепенно и его ненависть утихала, вместо нее пришла жалость, он немного успокоился и даже почти простил Инасию, но огромный кулак Жоана Мигела как будто бы все еще висел над его головой.

И, пожалуй, больнее всего было Гарриду оттого, что он всегда считал Быстроногого своим другом, единственным человеком, с которым он мог говорить обо всем, делиться самыми сокровенными мыслями. Поэтому было так мучительно вспоминать слова, услышанные в темноте... Даже его друг, Жоан Мигел, считает, что он не человек, а полчеловека, что он не способен участвовать даже в краже уток... Его отбрасывают, как старую тряпку, годную только на свалку... Вот это было больнее всего.

Кроме того, Гарриду мучало, что он никак не мог вспомнить свои слова, сказанные Жоану Мигелу. Он ничего не сознавал в те минуты, слова сами вылетали у него изо рта, он не мог их остановить, как будто какой-то злой дух вселился в него тогда, и он, Камутута, говорил то, что этот злой дух ему приказывал. А если Быстроногий теперь рассердился на него? Теперь, когда Гарриду не может больше разговаривать даже с Инасией? А Душрейш, которого он уважал, как отца, почему он не защитил его, почему не поддержал?

Все эти мысли кружились у него в голове, призывая встать, сделать что-нибудь, не валяться здесь в привычном ожидании какой-нибудь случайности... И тут он вспомнил наконец одно слово из тех, которые бросал в лицо Жоану Мигелу... «Борись!..» — крикнул он... Да, именно борись... Бороться, надо бороться... Но если бороться — то как? Он, калека, отвергнутый даже обыкновенными ворами, сапожник по специальности, но без работы, о котором всем было известно, что он принадлежит к воровской шайке, и поэтому его нигде не принимали на работу, как же он может бороться? А если бороться — то с кем? С Жоаном Мигелом? С Быстроногим? Нет, ведь он все-таки не опустил кулак на голову Камутуты, значит, возможно, они еще смогут помириться, даже после того, что произошло.

С Ломелину? Но Душрейш был почти отцом ему, ведь настоящего отца Камутута не знал, это был просто какой-то случайный белый, и потом ведь, в конце концов, Ломелину ни в чем не был виноват...

С Инасией? Да, конечно, она подлая, злая... Она всегда издевалась над ним, но кроме ругательств она порою говорила и хорошие слова, иногда смотрела на него ласково, а ведь это тоже кое-что значило...

Так с кем же все-таки? Каждый из людей был и хорошим и плохим одновременно, правда, Ломелину и Быстроногий сегодня не взяли его с собой, но завтра без всякого риска он, Камутута, получит свою законную долю от общего дохода. Кто же был его настоящим врагом? Может быть, попугай Жако? Да, наконец-то он нашел истинного виновника всех своих бед! Злодеем была именно эта мерзкая старая тварь! Но тут Камутута вдруг улыбнулся. Ему стало смешно при мысли, что его врагом может быть облезлая, грязная птица... Какая чепуха! Но все-таки, возникнув, эта мысль стала расти, как трава, расти в голове и в сердце... Не может этого быть, нет, нет! Но ведь мальчишки дразнили его Камутутой, а услышали они это слово от попугая... А придумала ему такое прозвище Инасия, и попугая научила она! Попугай не способен сам думать, он только повторяет слова, которые слышит, слова, которые ему говорят...

Но разве это не дерзость — залезать под одежду Инасии, в такие места, куда Гарриду не осмеливался даже заглянуть? Разве не враг его такая птица? Подлый

попугай, которого она ласкает больше, чем человека? Так, значит, все-таки его враг Жако? Не может этого быть! Жалкая тварь, он стал наглым только потому, что когда-то его научили ругаться, несчастная старая птица, которой никто даже не почистит хвоста, перья у него всегда грязные, полные вшей, и спит он на ветке, нет у него даже насеста; никто не научил его ничему хорошему, а ведь он умеет здорово насвистывать... Нет, не может человек считать его своим врагом.

Еще по дороге домой Камутута раздумывал над всем этим. И в конце концов, когда он уже лежал в темноте своей каморки, старый и грязный попугай Жако представился ему спасением, он освободит Камутуту от множества неприятностей, при его помощи Камутута будет бороться со всеми остальными несчастьями.

Во-первых, Ломелину и Жоан Мигел увидят, что он, Камутута, молодец, что он годится не только для того, чтобы сторожить на углу, раз он сам сумеет украсть попугая, птицу, которая говорит, как человек; после этого его всегда будут посылать на кражи в курятники, а он сам будет решать, соглашаться ему или нет.

Во-вторых, наконец прекратятся эти крики: «Камутута Хромая Нога...» А ведь если их не будет слышно — и мальчишки их забудут, ему нужно только некоторое время не показываться им на глаза... Тогда все отвыкнут от этого прозвища...

И, в-третьих, а это было самое главное: негодяй не будет больше приставать к Инасии, ему больше не достанутся ласки, предназначенные человеку.

И Камутута даже засмеялся, удовлетворенный таким решением. Злость и ненависть наконец покинули его, радость и злорадство теперь кривили его губы. Он нашарил в темноте дырявые кеды, надел их, натянул рубашку, куртку и, тихонько насвистывая, вышел на улицу. Он представил себе лицо Инасии, когда она проснется утром и не увидит попугая. Вот здорово, он не сможет больше вытаскивать орехи у нее изо рта, он не будет щекотать ее грудь своими крыльями. Этого больше никогда не будет!

— Черт возьми! И я сам потом стану этим попугаем!

Звук собственного голоса, неожиданно для него самого вырвавшегося наружу, испугал Камутуту, но остановившись на мгновение, он даже расхохотался. Они еще увидят, кто такой Камутута, как его называли, он, он самый, Гарриду Фернандиш, случайно родившийся мулатом, случайно ставший калекой, но все-таки ума у него в голове побольше, чем у всех у них, у тех, у кого две ноги!

Ночь была скверная. Темная, без единой звезды. Луна спала, спрятавшись в тумане, настолько густом, что он оседал на землю мельчайшими капельками влаги. Тишина стояла над хижинами. Только те, кто здесь родился и вырос, могли в такую ночь пробраться по задворкам и тропкам между дворами, не натыкаясь на стены и ограды. Вот так крался Гарриду, ступая осторожно и неслышно, и по пути с наслаждением думал о том, как он похитит Жако, свернет ему шею, уничтожит проклятую птицу.

Он шел и потихоньку насвистывал, повторяя мотив, который обычно насвистывал Жако. Песок скрипел под кедами, хромая нога, волочась за ним, оставляла след, похожий на след улитки. Еле слышно он стал напевать, придумывая на ходу слова песенки:

Попугай, попугайчик,
Бестолковая птица...

Он шел, продолжая петь в ритме самбы:

Скоро будет повешен,
Скоро с жизнью простится.

Среди тумана там, впереди появилось черное пятно большого маниока, растущего во дворе вдовы, и сердце Гарриду забилось сильнее. Когда он приблизился к месту своего мщения, радостное настроение покинуло его и он умолк. Пристально всматриваясь в темноту, все медленнее, все осторожнее пробирался он вперед.

Открыть маленькую калитку в глубине двора около курятника было минутным делом. Он изучил ее хорошо, через нее он всегда поспешно удирал, когда появлялась хозяйка Инасии. Она не разрешала ему приходить, ведь весь муссек знает, говорила она, Гарриду — вор! Не годится ассимилированной девушке, такой, как Инасия, которая работает у белой хозяйки, водиться с этим бродягой, с этим калекой... Калитка открылась без малейшего шума, но все-таки какой-то петух встрепенулся в курятнике. Гарриду замер и, выждав немного, двинулся дальше, затаив дыхание.

Ему вовсе не нужна была луна, но как раз в эту минуту она все-таки решила помочь ему, прорвавшись сквозь туман и на мгновение озарив двор. Маниоковый куст был уже совсем близко, не дальше трех шагов, но Гарриду теперь особенно старался не шуметь, подкрадываясь как тень, потому что здесь, рядом, обычно спала Инасия в маленькой каморке около сарая с углем. В гуще листвы совсем ничего не было видно. Тень большого куста лежала, как черное пятно, на чуть освещенной красной земле. Еще только один шаг оставалось сделать Камутуте, и он тихонько шепнул:

— Жако! Жако!

Ему показалось, что справа во мраке что-то зашуршало. Гарриду замер от страха, но все кругом опять стихло, должно быть, это ветер зашелестел листьями маниска.

— Жако!.. Жако!.. Где ты? Жакозинью...

Вот уже его рука прикоснулась к птице; попугай был здесь, на ветке, совсем рядом... Камутута осторожно погладил облезлую шею и почувствовал, как птица встрепенулась, высунув голову из-под крыла. Бережно он накрыл попугая ладонью и зашептал ласково, совсем как Инасия:

— Жако... Дай лапку... миленький, дай...

Дурак даже не пошевельнулся, очень довольный, что его гладят. Тогда Камутута быстро сунул его под куртку и прижал к груди, радостно улыбаясь. Наконец-то исполнится его желание — он унесет эту мерзкую птицу, завтра свернет ей шею и все его неудачи окончатся. Гарриду сделал шаг назад, осторожно ощупывая землю ногой, где-то здесь должны лежать закопченные камни очага, и он опасался задеть в темноте какую-нибудь жестянку... Но он не коснулся ни камней, ни жестянки, нет... Он почувствовал под подошвой кеды что-то мягкое, круглое, как будто какое-то большое животное лежало там и сразу зашевелилось, задвигалось, зашуршало соломой... Камутута громко вскрикнул от испуга, отдернув ногу, и мгновенно проснувшийся петух заорал в курятнике, закудахтали куры, а гуси загоготали, как сумасшедшие. Гарриду торопливо заковылял к калитке, уже не стараясь ступать неслышно и думая только о том, чтобы удержать Жако, спрятанного под курткой.

Попугай тоже проснулся от шума и, впившись когтями в грудь Камутуты, клевал его и царапал, стараясь вырваться. И вдруг, когда мулат был уже совсем рядом с калиткой, сердце его застыло, оледенело, стало холоднее, чем ночной туман... Все чувства его замерли, только ноги продолжали шагать... Потому что там, под маниоковым кустом прозвучал знакомый, наглый голос Инасии... Смеясь, она говорила какому-то мужчине, лежавшему с ней на циновке:

— Не уходи, не обращай внимания, я его знаю. Это шутка, утром я получу обратно то, что он унес...

Рассвирепевший Камутута хлопнул калиткой и погрузился в туман, который стал еще гуще и опять скрыл луну. Убегая, он слышал несущийся ему вслед голос Инасии:

— Камутута! Камутута! Поспи с попугаем... Сделай ему ребеночка!

А птица, крепко сжатая свирепой рукой Гарриду, слыша голос хозяйки, кричала и ругалась, как всегда:

— Камутута... тута... Хромая Нога... га... га... га...

■

И все-таки Гарриду повезло, потому что, когда он явился в тюрьму, Ломелину не было в камере. Его вызвали получать передачу, а то обязательно сразу же началась бы драка. Встретил мулата этот самый Шику Фута. Гарриду его сразу узнал, как только вошел, смущенный, волоча ногу и опустив глаза, стараясь ни на кого не смотреть.

Потому что полиция поступила так: они ворвались в дом его хозяйки, не спрашивая даже разрешения, и закричали сразу, где этот парень, мулат, хромой, Гарриду Фернандиш, а когда он появился на пороге, совершенно заспанный, хлопая глазами от яркого света их фонариков, они заявили, что это он забрался с Душрейшем во двор Рамалью да Силвы и украл уток; сам Ломелину сказал им об этом, так что пусть лучше не отпирается, а надевает рубашку и идет с ними.

Но Гарриду стал спорить, вместе с хозяйкой он убеждал их, показывал все углы хижины, пусть сами посмотрят, здесь нет ничего краденого. Хозяйка тоже клялась, что в эту ночь мальчик лег спать совсем рано, пришел больной, она сама видела, как он вошел в комнату и сразу лег, она слышала, как он кашлял, вот и все, как же он мог воровать уток?

— Клянусь, господин начальник! Я еще его спросила: «Гага, тебе нужно что-нибудь?», а он мне ответил: «Нет, спасибо...» Ведь он так измучен... Правда, правда истинная, он не может найти никакой работы, никуда его не берут, все из-за ноги...

Но разве можно убедить полицию? Схватили Гарриду, как он был, в одних штанах, чтобы он не убежал через дворы, и собрались уводить. Один из них сказал, что если это клевета — то тем более необходимо его забрать, чтобы узнать правду. И вот тогда Гарриду еще себе напортил. Думая выгородить себя, он взял да и рассказал о том, что украл попугая, даже вернулся в комнату и принес корзину, в которой сидел мрачный Жако, ожидая того часа, когда мулат свернет ему шею.

— Ах так? Значит, ты действительно вор? Идем, поворачивайся!

И вталкивая в джип, прямо на глазах у хозяйки ударили его по шее, чтобы живее лез и не разговаривал.

— Клянусь, господин начальник! Его хозяйка все знает, она видела, даже сама сказала, чтобы я его взял... Это была просто шутка...

Но сердца полицейских сделаны из камня. Его втолкнули в машину и увезли, очень довольные тем, что раздобыли еще одно доказательство его преступной деятельности.

Все это Гарриду рассказал Шику Футе, потому что тот сразу подошел к нему, как только мулат появился в камере и, обессиленный, чуть не плачущий, сел прямо на пол. Он никак не мог поверить в такую подлость Душрейша.

Шику Фута попробовал его успокоить, сказал, что он друг Ломелину, что ему все известно, но Гарриду сначала вовсе не хотел отвечать, твердил, что пусть его оставят в покое, а когда старик вернется, он ему покажет, как издеваться над людьми. Но Шику Фута никогда не отказывался от возможности помочь человеку, а этого мальчика, Гарриду, ему было очень жаль.

— Послушай, однако... Злость ничего не решает. Если ты нападешь на него, когда он придет, ничего хорошего не получится. Во-первых, потому, что Ломелину тебе даст сдачи. А, во-вторых, еще сипай огреет тебя бичом по спине. Что ж тут хорошего, а?

— Отстань от меня! Я сам знаю, что мне делать! Я буду драться! Как он смеет, негодяй, говорить, что я воровал уток?

— Послушай, парень! Всегда может произойти ошибка, ты рассуди. Ведь только ты знаешь, что произошло на самом деле... Подумай только, Гарриду, ведь Душрейш сам был на тебя зол, он был уверен, что ты его выдал, потому что они тебя не взяли с собой...

Камутута хотел вскочить, его глаза засверкали от злости:

— Еще чего! Как это может быть! Человек меня знает с самого детства и такое обо мне думает? Как это может быть? Скажи мне!

И Шику Фута согласился с ним, сказал, что Гарриду говорит верно. Но ведь Ломелину обещал сказать полиции всю правду, он, Шику Фута, сам это слышал, значит, через два-три дня Гарриду выпустят...

— Ах... Всегда ты прав, во всем ты прав... Но ты забываешь о попугае! Вот что хуже всего, брат Шику! Хуже всего! И не то, что я украл эту проклятую птицу! Нет, мне все равно, сколько времени я здесь пробуду, два или три дня, два или три месяца... Но я его не убил! А ведь я украл его для того, чтобы свернуть ему шею!!!

Он умолк и задумался. Шику Фута зажег папиросу и протянул ее Гарриду, но парень отказался. Он думал о том, что, может быть, именно сейчас Инасия идет к его хозяйке за своим попугаем, а может, потом она подаст жалобу в полицию, чтобы ей вернули Жако. И когда Гарриду выйдет из тюрьмы, все останется по-прежнему: Жако, сидя на ветке, будет его дразнить, Инасия, как бывало, опять начнет нежничать с попугаем и, что хуже всего, Ломелину и Жоан Мигел выгонят Камутуту из своей шайки. А виноват во всем будет он, Лоло, Ломелину,— кто заставлял его врать, что Гарриду воровал вместе с ними уток?

— Клянусь, я изобью его! Подожди только, пусть он вернется!

Слабый свет угасающего туманного дня проникал сквозь решетку. На нарах и на полу места было мало, арестованных — много, некоторые лежали, закрыв глаза, чтобы отдохнуть, другие — с открытыми глазами, думали о чем-то. Несколько человек, собравшись в углу, потихоньку разговаривали между собой. Шику Фута вытянул на голом полу свои длинные ноги, снова зажег папиросу и протянул ее Гарриду. На этот раз мулат согласился закурить. Сидя рядом с ним, Фута вдруг засмеялся, сначала потихоньку, стараясь сдержаться, потом все сильнее, наконец слезы выступили у него на глазах не то от смеха, не то от дыма папиросы.

— Отчего ты смеешься?

— Ничего... Ничего... Так просто...

Но это была неправда. Он смеялся, потому что представил себе, как Гарриду Камутута крадется во мраке туманной ночи только для того, чтобы украсть попугая... Взглянув еще раз на худое, жалкое мальчишеское лицо, Шику Фута почувствовал, как сердце его сжалось от сочувствия:

— Послушай, братец Гарриду! Как ты не побоялся идти вот так, совсем один за этим попугаем? Я понимаю, когда человек рискует из-за какой-нибудь стоящей вещи... Но ведь эта птица ни на что не годна...

Голос Шику Футы был таким же добрым, как голос Ломелину, когда он называл Гарриду своим сынком, или голос Жоана Мигела, когда они беседовали с ним по-дружески, как раньше... И Камутута улыбнулся в ответ на эту, как ему показалось, похвалу из уст сильного и смелого человека. Действительно, он ни о чем не думал, когда принимал свое решение, только ненависть к попугаю заставила его пойти туда.

— Пустяки! Я так хорошо знаю этот двор и дом...

Он нарочно скромничал, чтобы услыхать, как Шику Фута похвалит его еще раз. Вот было бы хорошо, если бы Душрейш и Жоан услыхали их разговор, тогда они не стали бы больше пренебрегать услугами Камутуты... Но Шику Фута почему-то заговорил о другом:

— Послушай-ка! Ты уже больше не злишься на Ломелину?

Гарриду очень хотелось ответить, что он по-прежнему с нетерпением ждет Душрейша, чтобы отколотить его как следует, но язык не повернулся; если бы он так сказал — он солгал бы; Шику Фута уже прогнал всю его злость своими ласковыми словами, дружбой, папиросой... Поэтому он смог только пробормотать неуверенно:

— Ох, отстань от меня!

— Нет, Гарриду, послушай! Ломелину уже скоро вернется, ведь он пошел только получить передачу, которую ему принесла жена... Я не хочу, чтобы ты нападал на него, слышишь... Обещай мне, что не будешь...

— Нет, отстань! Не могу!

Это была неправда, и очень скоро все смогли в этом убедиться. Когда Зузе открыл дверь, чтобы впустить Душрейша в камеру, Гарриду даже не шевельнулся. А вот кто действительно вскочил и бросился между ними, чтобы помешать, если они начнут драться, так это Шику Фута. Но Ломелину стоял, растерянный, прижав к груди сверток с едой, моргая подслеповатыми глазами, глядя на поникшую голову парня, на его короткие волосы, на бессильно упавшие руки, и не мог даже двинуться. Потом старик исподлобья взглянул на Шику, но Фута сделал вид, что смотрит в окно, в которое проникал тонкий луч солнца. Почувствовав себя в одиночестве оттого, что даже друг отвернулся от него, сконфуженный Душрейш молча приблизился к Гарриду. В конце концов мальчик был арестован, и он, он, старый Лоло, был в этом виноват, он был предателем...

— Гарриду,— с трудом выговорил он.

Камутута только молча поднял на него глаза, в этот миг они казались маленькими и холодными.

— Ты... Ты сердишься на меня?

Ни слова в ответ. Ни единого слова. Только глаза смотрели прямо в лицо Душрейшу, как будто не узнавая его. Ломелину почувствовал какую-то странную боль в животе от этого непрощающего взгляда, устремленного прямо на него, и попытался пойти на хитрость:

— Послушай, Гага! Эмилия прислала для тебя фасоль — она ведь знает, что ты ее любишь...

Эмилия — это была жена Душрейша. Добрая женщина всегда считала Камутуту совсем ребенком, ей нравился печальный вид мальчика, она любила болтать с ним, вставляя креольские слова и выражения, рассказывая о родных островах Зеленого Мыса, а он слушал ее удивленно, потому что она рассказывала только прекрасные, чудесные истории и никогда ничего не говорила о действительной нищете этих островов.

— Слышишь, Гага? Это Эмилия прислала...

Но Гарриду уже встал и, чтобы скрыть от Лоло свою радость, отвернулся, медленно подошел к решетке, погасил окурок и выбросил его. Ломелину сделал было движение, чтобы пойти за ним, но Шику, схватив старика за руку, удержал его.

— Оставь, кум... Пусть вся злость выйдет из него... Пусть еще побудет один...

Они сели рядом на нары, там, в глубине камеры, где было место Шику Футы, и начали разворачивать сверток с едой. Там был горшок с фасолью, приправленной пальмовым маслом, жареная рыба, бананы и хлеб. Любимая еда всех жителей муссеков, фасоль была еще совсем теплая, хотя с тех пор, как Эмилия вышла из дому, прошло уже довольно много времени.

Шику Фута сразу начал есть, он положил рыбу на хлеб и стал жевать ее своими сильными зубами. Но Душрейш не мог. Он смотрел на еду, опустив голову, стыд, который он сразу почувствовал, войдя сюда и увидев Гарриду, оказался сильнее, чем голод. Он потянул друга за руку и попросил:

— Позови его, брат Шику!..

Шику улыбнулся:

— Гарриду! Иди с нами есть, мы ждем тебя!

Прижавшись лбом к решетке, глядя остановившимися глазами в коридор, Камутута вздрогнул, как будто его ударили. Он подумал о желтой блестящей фасоли, заправленной мукой и маслом, и слюна наполнила его рот. Голод прогнал из головы все остальные мысли. Но все-таки он не повернулся. В сердце снова встрепенулась злость, хотя он хорошо видел потрясенное и печальное лицо Ломелину. Нет, не станет он есть вместе с предателем!

Он плюнул в коридор, пробормотал что-то и попытался снова вернуться к прежним мыслям. Но не смог. Он думал теперь только об этой фасоли, вся чепуха, наполнявшая его голову несколько минут тому назад, куда-то улетучилась... О чем он думал? Да о том, что имя его появится в газетах, появится заметка о краже попугая, и он будет ее хранить, чтобы потом показать Инасии — вот, мол, гляди, про тебя небось никогда не писали в газетах, а может быть, кто знает, напечатают и его фотографию... Но голос Ломелину, строго прозвучавший из глубины камеры, прервал его мысли:

— Камутута, эй, парень! Ты что, ждешь, чтобы мы просили тебя на коленях! Иди сюда сейчас же! Слышишь?

Да, Гарриду слышал. Он улыбнулся в ответ на эту угрозу друзей и сел рядом с ними.

■

Вот и вся моя история. Хороша она или плоха — скажут те, кто умеет читать. Но клянусь, что мне рассказали именно так, и я никому не позволю сомневаться в существовании Душрейша, у которого есть жена и два сына и который ворует уток, потому что его не допускают к честной работе; в существовании Гарриду Камутуты, хромого калеки, над которым издевается даже попугай; Инасии Домингаш, дерзкой девчонки, вообразившей, что слуга белого сам становится белым; Шику Футы, кото-

рый старается быть разумом и совестью народа; надсмотрщика Зузе, который не имеет права быть добрым; Жоана Быстроногого, курящего лиамбу, чтобы забыть то, о чем он постоянно вспоминает; Жако, несчастного попугая из муссека, которого научили только ругательствам и у которого нет ничего, даже насеста.

Уж это-то все истинная правда, даже если события, о которых здесь шла речь, не происходили на самом деле.

Аморину и его барабану,
Звучным сердцам нашей земли.

История про курицу и про яйцо

Теперь я расскажу вам историю про курицу и про яйцо. Все это произошло в муссеке Самбизанга, на земле нашей родной Луанды.

Было около четырех часов пополудни. Вот так же, как иногда случается, что с той стороны, где солнце прячется в море, вдруг появляется маленькая темная тучка и в быстром беге по голубому небу начинает расти, вытягивая щупальца во все стороны, и эти щупальца все удлиняются, захватывая все больше голубого пространства, а из них вырастают новые, потоньше и посветлее, и все вместе эти внезапно охватившие небо тучи напоминают качающиеся ветви старой мулембы, покрытые многоцветными листьями, среди которых есть и сухие, окрашенные солнцем, а в конце концов уже никто не знает, где родилась, где началась, где кончается эта сумасшедшая вереница туч, которые бегут над городом, несут тяжелую и теплую воду, усмехаются длинными и кривыми молниями, говорят грозными голосами грома,—вот так же начался и этот вечер в муссеке Самбизанга.

Со Зе, стоя у дверей своей лавчонки, увидал Зефу, которая волокла за руку младшего сынишку Бету и сердито говорила ему, чтоб он не смел врать, иначе она ему насыплет жиндунго на язык. Но мальчик упорствовал, повторяя:

— Честное слово, мама! Честное слово, я ее хорошо разглядел, это Кабири!

И он говорил правду, потому что все соседки, проходя мимо, видели то же самое: толстая рябая курица, недоверчиво посматривая на людей, сидела под большой старой корзиной. Это и было причиной ругани, которую Зефа обрушила на свою соседку Бину: и воровка-де она, и колдунья, украла у нее курицу, подумать только! Бина была беременна, но несмотря на то, что в животе у нее был ребенок, Зефа не смогла удержаться от оскорблений.

Когда-то, уже давно, Бету и его старший брат Шику, обученные дедушкой Петелу замечательному искусству передразнивать голоса животных, забрели на двор к маме Бине и здесь остановились удивленные. У мамы Бины не было кур, это все знали. Почему же слышался ее голос — пи, пи, пи, пи,—зовущий курицу, и постукивали кукурузные зерна, падая на чисто выметенную сухую землю? Правда, Бету вспомнил этот случай не скоро, только когда услышал, как мать жалуется отцу, в восьмом часу вернувшемуся с работы:

— Я ее побью, Жоан! Приучает курицу, чтобы она неслась у нее во дворе!

Мигел Жоан не придал этому значения: женщина беременна, сказал он, а в это время у многих появляются причуды, незачем устраивать скандал, ведь все равно курица возвращается в свой курятник, и ты получаешь яйца... Но Зефа осталась недовольна, она обозвала мужа растяпой и крикнула, что если только нахалка притронется к курице, пусть пеняет на себя.

— Оставь, Зефа, все это чепуха!— успокаивал жену Мигел.— Как-никак женщина беременна, муж ее арестован, а ты еще на нее нападаешь... Ты не права!

С утра до вечера Зефа следила за своей курицей, смотрела, как она разгуливает по песку, разгребая его в поисках червяков, но в конце концов путь ее всегда оказывался одним и тем же, как будто ее заколдовали: между двумя поломанными досками Кабири пробиралась во двор к соседке, и Зефе видно было, как она, очень довольная, гуляла там в тени свежих маниоковых кустов. Много раз Зефа сама видела, как Бина бросала курице зерна кукурузы или массамбалы, и они падали на землю, а курица сначала удивленно смотрела на дверь хижины, из которой неожиданно появлялась эта прекрасная пища, а потом начинала не спеша подбирать зернышко за зернышком, как будто знала, что в этом дворе нет больше ни одной птицы, которая могла бы налететь и отнять у нее лакомое угощение Зефа не протестовала, хотя сердце ее замирало от страха, как бы курица не привыкла к чужому двору. Но зато

она наконец ест досыта, а яйцо снесет все равно рано утром там, в маленьком курятнике, в глубине двора, у себя дома. Только это и было важно.

Но сегодня наконец случилось то, чего опасалась Зефа. Все утро Кабири прохаживалась по двору, по улице, в тени, на солнце, разинув клюв, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, легкое квохтанье переливалось у нее в горле, но снести яйцо она не желала. Казалось, она все подыскивает местечко получше. Зефа открыла дверку курятника, поправила гнездо и даже положила туда пустое яйцо — ничто не помогало. Курица оставалась непреклонной, ее маленькие глазки, круглые и желтые, поглядывали на хозяйку, а в горлышке переливалась обычная песенка:

...Нгала нго ку какела,
ка... ка... ка...
какела, какела...

И понятно, что когда малыш Бету позвал мать и стал рассказывать, что Кабири сидит в плену под корзиной у Бины во дворе — они с Шику сами видели, как Бина бросала курице кукурузу,—Зефе сразу все стало ясно: Кабири снеслась во дворе у соседки. Она выбежала на улицу, сгорбившаяся, костлявая, готовая дать выход всей своей накопившейся ярости, и со Зе, стоя на пороге лавочки, ясно видел, с каким злобным лицом ворвалась она во двор к соседке. Началась драка, пошли в ход ногти и кулаки, пострадали волосы, были произнесены все ругательства — и воровка, и потаскуха, и колдунья... Шику и Бету спрятались в уголке, и только когда на шум сбежались соседки, мальчики вышли из своего укрытия. Кабири сидела, накрытая большой старой корзиной, но сквозь редкие прутья была хорошо видна, совсем как арестант за решеткой. Она поглядывала на кричащих людей своими маленькими глазками, круглыми и спокойными. Клюв ее уже был закрыт, а рядом с ней, на кучке зеленой травы, которая попала туда вовсе не случайно, сверкало, вызывая ярость Зефы, прекрасное белое яйцо, еще как будто совсем теплое.

Ссора не прекращалась, хотя соседки разняли подравшихся и теперь, стоя кружком, все вместе обсуждали случившееся. Шику и Бету, охваченные страхом и любопытством, норовили протолкаться в центр круга, к матери.

Высокая, тощая Зефа, уперев руки в бока, говорила, сверкая глазами:

— Ты думаешь, я тебя не знаю, Бина? Да? С виду ты будто бы и похожа на порядочную женщину, но люди-то знают... Воровка ты, вот кто!

А соседка, молодая и полная, поглаживая широкой ладонью свой большой живот, старалась улыбнуться, обращаясь к собравшимся:

— Смотрите-ка, люди, как она меня оскорбляет! Пришла в мой двор, чуть не влезла в дом, начала драться. Нахалка! Никакого уважения у нее нет, ведь я беременна, а ей хоть бы что...

— Об этом не будем говорить, Бина! Ты хочешь украсть у меня Кабири и ее яйцо!

— И, и!.. Украсть у тебя Кабири и яйцо? Но ведь яйцо мое!

Зефа так и ринулась на нее, тыча пальцем ей прямо в лицо:

— Яйцо твое? Ах ты, дряня! Курица моя и мое то, что она снесет!

— Может быть, но это яйцо она снесла в моем дворе!

Все женщины разом заговорили, одни одобрительно, другие осуждающе, в общем гомоне одна только старая Бебека старалась оттащить Зефу за руку и благоразумно уговаривала:

— Успокойся, однако. То, что голова говорит, сердце должно слушать. Ну, зачем так ругаться? Тот, кто говорит одновременно с другими, никогда не будет понят! Говорите каждая в отдельности, тогда все поймут, кто прав. Ведь мы же люди, а не скоты!

Женщины шумно одобрили слова старухи. И все действительно замолчали. Зефа почувствовала, что гнев ее стихает, она обвела взглядом лица ожидающих подруг, огромный живот Бины и, как бы ища поддержки, позвала:

— Бету, иди-ка сюда!

Потом снова повернулась к людям и не очень убежденно проговорила:

— Вот и ребенок видел...

И медленно, словно не доверяя собственным словам, жена Мигела Жоана стала рассказывать, что давно уже она заметила, как курица ходит во двор к соседке, она так и знала, что эта ссора рано или поздно обязательно произойдет, она много раз видела, как соседка бросала корм Кабири, чтобы ее приручить. А сегодня ее мальчик, вот этот, видел и Шику тоже, как воровка заманила курицу, вот так, бросая ей зерна, а потом посадила под корзину, чтобы получить яйцо. Кабири принадлежит ей, Зефе, всем это известно, и даже сама Бина этого не отрицает, а яйцо снесла Кабири, значит, и яйцо тоже принадлежит ей, Зефе.

Одни соседки закивали головами, поддерживая ее, другие стали спорить, какая-то девушка начала задавать вопросы Бету и Шику, но старуха велела всем замолчать.

— Нет, теперь скажет свое слово Бина,—сказала старуха, обращаясь к беременной женщине.

— Да что же еще я должна говорить, бабушка? Все люди уже слышали правду. Курица принадлежит Зефе, мне она вовсе не нужна. Но ее курица пришла на мой двор, ела мою кукурузу, клевала листья моего маниока, спала в тени под этими прутьями и потом снесла там яйцо. И что ж, теперь яйцо ее, Зефы? Нет уж, яйцо мое, потому что кукуруза была моя. Если бы я не кормила курицу, у бедняжки не было бы сил даже чтобы кудахтать... Теперь яйцо мое, яйцо мое! Вот и все!

И она повернулась задом к соседке, довольная и смеющаяся, подмигивая подругам. А Зефа уже снова была в кругу женщин и показывала на пойманную курицу, сидящую за прутьями старой корзины:

— Смотрите только! Курица моя, даже сама воровка говорит это! Вон и яйцо там, на подстилке из травы. Пощупайте его! Пощупайте его, оно еще совсем теплое! А она смеет говорить, что яйцо ее! Врунья! Курица моя, и яйцо мое...

И снова все женщины заговорили одновременно, каждая свое, и голоса их смешивались с тихим шумом деревьев. Кабири все больше пугалась, она то поднимала, то опускала голову, поворачивала ее из стороны в сторону, оглядывая женщин и будто силясь что-то понять. Но вид кричащих женщин ничего ей не объяснил, и тогда она перевела взгляд на Шику и на Бету, на мальчишек, друзей всех животных, знатоков их повадок и голосов. А мальчишки в свою очередь грустно смотрели на корзину и думали о том, что бедняжке уже давно, наверное, хочется выйти оттуда и погулять, но никто ее не выпускал, потому что все были заняты спором.

Теперь жалобно говорила Бина, пытаясь вызвать к себе сочувствие подруг:

— Вот так-то, подруги мои... Я же еще и виновата! А она небось все дни смотрела, как я кормлю ее курицу кукурузой, даю ей массамбалу, она небось ничего не говорила, молча на все смотрела и не благодарила даже, вот как... Разве это ничего не значит? Каково? Курица разжирела на моей кукурузе, а яйцо теперь собирается съесть она?

Но старуха перебила ее, обернулась к другим женщинам. Ведь здесь в этот час были одни женщины и дети, все мужчины еще находились на работе, только лодыри и пьяницы спали в своих хижинах. Бебека сказала:

— Значит, Бина, ты хотела, чтобы курица снесла для тебя яйцо?

Молодая женщина улыбнулась, взглянула на хозяйку курицы, увидела лица подруг, одни дружелюбные, другие сомневающиеся, и, как будто извиняясь, проговорила:

— Знаешь что... Ведь многие из вас уже рожали... И ты, бабушка, знаешь, что когда появляется вот это желание съесть что-нибудь, невозможно ничего с ним поделать. Это ребенок, который живет в моем животе, требует яйцо. Что я могу поделать, скажите мне только?

— Но яйцо не твое! Курица моя, и яйцо мое! Ты попроси! Если я захочу — дам. Не захочу — не дам! — снова разозлилась Зефа. Голос Бины, такой жалобный и слабый, говорящий об этом ребенке в животе, о необъяснимых желаниях, которые бывают во время беременности, видимо, уже тронул сердца женщин, и было ясно, что, если Бина станет и дальше говорить с этим видом скромницы, все время поглаживая ладонью свой круглый живот, собравшиеся пожалеют ее, простят это желание, скажут, что она не виновата...

И Зефа повернулась к старухе. Та в это время затянулась папироской, вдохнула дым и сплюнула на землю.

— Ну, так как, бабушка? Скажи ей что-нибудь, ты ведь старшая среди нас...

Все стояли молча, внимательно глядя на изборожденное морщинками мудрое лицо старухи. Только Бету и Шику, нагнувшись над корзиной, разговаривали с курицей, любуясь пестрыми перышками. Ее круглые глаза спокойно смотрели на знакомые улыбающиеся лица мальчишек. Поправив ткань, спадающую с плеча, старая Бебека начала:

— Подруги мои, кобра обвилась вокруг глиняного сосуда... Если я трону сосуд — кобра меня укусит, если я убью кобру — разобью сосуд! Ты, Зефа, права: курица твоя, и яйцо, вышедшее из ее живота, тоже твое! Но ведь Бина тоже по-своему права: яйцо снесла курица на ее дворе, эта курица ела ее кукурузу... Давайте-ка лучше всего спросим со Зе... Он ведь белый...

Одноглазый и тощий хозяин лавчонки со Зе, приглашенный рассудить женщин, не заставил себя ждать. В это время в лавчонке посетителей не было, он мог спокойно уйти.

— Со Зе! Сделайте милость, послушайте, что у нас случилось, и скажите, как бы вы поступили... Вот эта моя подруга...

Но все остальные женщины остановили старуху.

— Нет, сеньор, уж кто должен рассказывать, так это они сами, соседки, а старуха может рассказать не так, как нужно, здесь недомолвит, там лишнего наговорит.

Со Зе согласился, подошел совсем близко и, уставившись своим единственным голубым глазом прямо в лицо Зефе, спросил:

— Ну, так как же все произошло?

Зефа начала по порядку, но забыла сказать о том, что каждый день соседка кормила ее курицу кукурузой. Тогда старуха перебила:

— Нет, ты скажи и о том, что ты видела, как она кормила Кабири...

— Да, я забыла. Право, это не нарочно...

Со Зе пригнулся пониже, понимающе улыбнулся и дернул Бину за руку:

— Ладно, теперь я уже все понял! Так ты говоришь, что курица снеслась на твоем дворе, что кукуруза, которую она клевала, твоя, и поэтому ты хочешь получить это яйцо? Не так ли?

Услышав столь сочувственные слова со Зе, молодая женщина рассмеялась, ей показалось, что яйцо уже у нее в руках, что ей остается только пробить в нем две маленькие дырочки, высосать его содержимое и потом облизать губы на глазах у обидчицы. Но когда она снова взглянула на со Зе, его лицо совершенно изменилось. Оно превратилось в загадочную маску, всю покрытую морщинами и безобразными рытвинами, среди которых сверкал единственный голубой глаз. Словно со Зе опять стоял у себя за прилавком, привычным взглядом наблюдая за чашками весов, норовя поставить перцу побольше и положить товара поменьше.

— Слушай-ка! — сказал он Бине, и на лице ее погасла улыбка, только рука все еще продолжала поглаживать живот.— Эта кукуруза, которую ты давала Кабири... та самая, которую ты вчера купила?

— Вот именно, со Зе! Хорошо, что вы знаете...

— Ах так! Кукуруза, которую ты взяла у меня вчера? И еще смеешь говорить, что яйцо твое? Тебе не стыдно?

Он положил костлявую руку на плечо старухи и со злобной улыбкой медленно произнес:

— Дона Бебека, яйцо мое! Скажи ей, чтобы она отдала яйцо мне. Она еще не заплатила за эту кукурузу...

Громкие крики заглушили его слова, раздались даже угрозы. Женщины, окружив торговца, осыпали его ругательствами, толкали в спину, выпроваживая со двора:

— Убирайся, подлый человек!

— Смотрите-ка на него, на этого вора! Смотрите-ка!

А когда со Зе уже скрывался за дверью своей лавчонки, Зефа совсем разошлась и крикнула ему вслед:

— Подлец! Получил? Мало с тебя, что ты нас обвешиваешь и обворовываешь? А?

Однако спор так и не был разрешен. Когда замолкли крики и смех после изгнания белого торговца, Зефа и Бина снова посмотрели на старуху, надеясь, что она все-таки что-нибудь придумает. Солнце спускалось по своему обычному пути к морю, и уже подул ветер, всегда поднимавшийся перед вечером. Бету и Шику опять подошли к корзине, под которой сидела Кабири. Курица, напуганная шумом, который подняли женщины вокруг со Зе, теперь почувствовала свежий ветерок, ворошивший ей перышки, и начала потихоньку квохтать.

— Слушай, Бету! — прошептал Шику.— Слушай, что она нам говорит!

И оба засмеялись. Они понимали все, что она говорила, потому что старый Петелу давно уже научил их этому.

— А ну-ка, мальчики, замолчите! Вы чего смеетесь? — раздался сердитый голос старухи.

— Бету, уходи отсюда! Чего ты хохочешь? У твоей матери хотят отнять яйцо, а ты смеешься?

Мальчишка шмыгнул под куст, опасаясь, что его выдерут за уши или дадут подзатыльник. Но Шику заступился за брата:

— Да нет, бабушка! Мы только слушаем, что говорит курица!

— О, я знаю, что животные всегда разговаривают с сумасшедшими... А что же все-таки она говорит? Не говорит ли она, кто хозяйка яйца?

— Все время говорит, бабушка! Со Петелу сам хорошо понимает, он и нас научил!

Бабушка Бебека сверкнула глазами, улыбнулась и, чтобы окончательно смягчить бранящихся, продолжала поддразнивать мальчика:

— Так что же она говорит? Может быть, про яичко?

Тогда Бету вылез из-под куста маниока и, не дав Шику даже начать, сказал сам:

— Курочка говорит вот что, бабушка:

Отдайте яичко сестре Зефе,
Куа, куа, куа, куа...

Шику тоненьким голоском подхватил, и оба они закудахтали совсем так же, как Кабири, так что курица недоуменно завертела головой, удивляясь, что рядом разговаривают ее сестры, а она никого из них не видит.

Мальчишки разошлись вовсю — они кудахтали и квохтали, как куры, когда клюют зерна, они веселились до тех пор, пока бабушка не остановила их, а Зефа не прикрикнула на сыновей, только тогда оба брата бегом умчались со двора Бины.

Но и минуты не оставались они на улице. Шику вернулся первым, довольный, что может сообщить бабушке Бебеке новость:

— Бабушка, там идет Азулиньо!

Радостная улыбка осветила все лица, Зефа и Бина облегченно вздохнули, старуха тоже улыбнулась, и строгие морщины на ее лице разгладились.

Слава Азулинью шла по всему муссеку, не было парня умнее его, он не только был гордостью своей матери, даже святой отец из семинарии говорил, что собирается послать Азулинью учиться в Рим. И хотя другие парни его возраста не особенно охотно с ним водились, потому что Азулинью был хилым и от одного нечаянного удара во время игры начинал плакать, — все прекрасно знали, что никто лучше его не разбирается в религии, в латыни и в математике. Настоящее имя его было Жоан Педру Капита, а прозвали его Азулинью* потому, что он никогда ни в жару, ни в дождь не снимал свою синюю, тщательно накрахмаленную одежду.

Старуха позвала его, подвела к женщинам, чтобы рассказать о случившемся. Парень слушал и мигал глазами, скрытыми за стеклами очков. Видно было по его лицу, что его очень смущают все эти женщины, иные совсем молоденькие, так плотно его обступившие. Он даже на всякий случай выставил вперед руку, чтобы Бина не коснулась его своим круглым торчащим животом.

— Слушай хорошенько, сынок! Все это уже принесло много волненья. Теперь только ты можешь нам помочь. Твоя мать говорит, что ты все знаешь!

Стараясь подавить улыбку гордости, Жоан Педру сложил руки так, как будто он уже был священником, и сказал:

— Говорю тебе, женщина... Правосудие слепо, и в руках его меч...

Он откашлялся, подыскивая нужные слова, и люди видели, как блуждает по его лицу тень улыбки от мыслей, которые рождались и пробегали у него в голове:

— Вы искушаете меня лестью! И, как Иисус Христос сказал писцам, я говорю вам: не искушайте меня! И прошу вас показать мне это яйцо, так же как Он просил показать ему монету...

Только Шику с его ловкостью смог вытащить яйцо из-под корзины, не испугав Кабири, которая всегда норовила клюнуть того, кто отнимал у нее только что снесенное яйцо. Он тихонько пропел ей все, что узнал, когда учился у дедушки Петелу разговору животных. И теперь, держа яйцо в руке, поворачивая его на светлой ладони, Азулинью продолжал так, как будто бы он был один и разговаривал сам с собой. Женщины не понимали ни слова, но никто его не перебивал. Такая уж была слава у этого парня.

— Здесь нет ни изображения Цезаря, ни изображения бога! — он поднял хитрые глаза, мигающие за стеклами, пристально посмотрел на Бину, потом на Зефу и заключил: — Здесь нет печати твоей курицы, Зефа, здесь нет печати и твоей кукурузы, Бина! Я не могу отдать ни Цезарю Цезарево, ни богу богово! Один только святой отец Жулиу сможет нам сказать истину... Поэтому я забираю яйцо, бабушка Бебека!

Пронесся ропот возмущения, но Зефа не растерялась. Не могло же яйцо ускользнуть от нее после стольких разговоров... В один прыжок она очутилась около парня, схватила яйцо и крикнула:

— Ах, ты этакий! Видели каков? Ты хочешь теперь отнести яйцо святому отцу, не так ли? Нет! Не понесешь! Ты своей ученостью меня не запугаешь, хоть я ни писать, ни читать не умею!

Рассерженный Азулинью в сердцах отмахнулся от нее, втянул голову в плечи, поднял руку, сложив пальцы для крестного знамения, как это делал святой отец, и гордо удалился, приговаривая:

— Грешницы! Хотели меня искусить! О, все женщины — порождение дьявола!

Время близилось к вечеру, многие женщины спохватились, что пора готовить ужин, скоро их мужья вернутся с работы. И хотя удовлетворенных таким окончанием дела не было, некоторые женщины разошлись по домам, говоря, что, вероятно, старухе не справиться — непременно драка разгорится еще раз. Зефа не смирялась, она хотела получить и курицу и яйцо. Но старая Бебека яйцо у нее отняла, опасаясь, как бы оно не разбилось, и строго велела Зефе идти домой. А бедняжка Кабири, утомленная всем происходящим, по-прежнему сидела в гнезде под корзиной, ожидая конца разбирательства.

В это самое время Эмилия заметила на другом конце улицы со Виталину, вылезающего из автобуса.

— Айюэ, вот несчастье! Опять идет этот человек за своими деньгами. Жоан еще не вернулся из Лукалы, и я не могу заплатить за квартиру! Убегу скорее! Прощайте!

И она скрылась тайком через дырку в заборе, чтобы не попасться на глаза старику.

Все в этой части муссека боялись со Виталину, человека, который на исходе каждого месяца непременно появлялся на улице, вылезал из автобуса, держа за серебряный набалдашник толстую палку, и шел, облаченный в старый коричневый костюм и в большую фуражку цвета хаки, собирать арендную плату за хижины, которые все здесь принадлежали ему.

Он никому не прощал долга, даже если жилец валялся на циновке, скрюченный болезнью. Сам со Виталину не расправлялся с должниками, за него это делали его

---

* Азул — синий (*порт.*).

друзья из полиции или из администрации, он только никогда не соглашался подождать, пока пройдут трудные времена.

В этом месяце он уже приезжал сюда и только от Эмилии не получил ничего, кроме извинений. Действительно, все знали, что ее муж, кузнец, еще работал в Маланже. Но у старика было иное на уме. Он с удовольствием пожимал красивую коричневую круглую руку Эмилии, пуская слюни сквозь дырявые зубы, и говорил, что она может не беспокоиться, ведь она серьезная женщина...

Он просил разрешения войти в хижину, чтобы выпить свежей воды из глиняного сосуда, гладил детей по голове и уходил, всегда говоря одно и то же, и Эмилии никак не удавалось понять, где кончаются дружеские слова и где начинаются угрозы:

— Будь умницей, Эмилия! Ты молода, эта тяжелая жизнь не для тебя... Я подожду, приду через неделю, но раскинь своим умом: ты не захотела жить на Новой Земле,* в хорошем доме, около которого растут фруктовые деревья. Никто теперь не заплатит за тебя в конце месяца аренду... Смотри сама!

Эмилия делала вид, что не слышит, но в сердце у нее кипела ярость, она хотела только одного — чтобы ее муж оказался рядом, когда старик болтал свои мерзости... Вот бы набил он эту свинячью морду!

Глядя на хозяина, который приближался, опираясь на палку и волоча по песку тяжелые башмаки, старая Бебека думала о том, что нужно спасать Эмилию и что лучше всего для этого — немного задержать старика:

— Добрый вечер, со Виталину!

— Добрый вечер!

— Как поживаете, дедушка Виталину?—хором поддержали Бебеку все остальные женщины. Шику и Бету уже были тут как тут и, разглядывая палку и фуражку старика, вертелись вокруг. Они просили то, чего еще никогда не получал от старого скряги ни один ребенок:

— Дай мне монетку!

— Дай пять анголаров, дедушка Лину! Купить конфетку!

Старик остановился, снял фуражку и вытер лысину большим красным платком. Потом аккуратно сложил платок и спрятал его в карман куртки.

— Добрый вечер, сеньоры! — А глаза его, маленькие, как бисеринки, искали среди женских лиц то, которое ему нравилось больше всех. Старуха сказала:

— Как хорошо, что вы пришли, сеньор Виталину! Вы нам скажете ваше мнение о том, что у нас произошло. Мои подруги здесь спорят...

Она говорила медленно, и никто ее не перебивал. Только одна она, старая Бебека, могла говорить как равная с со Виталину, с хозяином многих хижин, с человеком, который жил, не работая, сыновья которого даже учились в лицее...

— И ты хочешь сказать, дона Бебека, что яйцо снесла курица там, во дворе у Бины, так?

— Правда, правда!—радостно засмеялась Бина.

Сняв с головы фуражку, со Виталину ястребиным взглядом впился в лицо Зефы и, схватив ее за руку, насмешливо проговорил:

— Девочка моя, Зефа! А ты знаешь, кому принадлежит хижина, в которой живет твоя соседка Бина?

— Э-э... Вам, сеньор Виталину...

— И знаешь также, что твоя курица снесла яйцо во дворе этой хижины? Кто же хозяин?

— Эге! Нечего так выворачивать, со Виталину!

— Замолчи!—рассердился старик.—Моя хижина или нет?

Женщины уже поняли, куда гнет со Виталину, и негодующе переговаривались, возмущенные старым скрягой. Но Бина не сдавалась, она подошла вплотную к старику, уперлась в него своим толстым животом, как будто желая вытолкнуть его со двора:

—А разве я вам не заплатила аренду? Скажите-ка, не заплатила, а, со Виталину?

— Правда, моя девочка, заплатила! Но аренда — это не хижина, это не двор! Они остаются всегда моими, даже если ты заплатила, понимаешь?

Женщины еще больше возмутились, а Бина все не отступалась.

— Согласна, со Виталину, ясно, что хижина ваша. Не спорю. Но ведь люди всегда платят аренду в конце месяца, разве не так? И до конца следующего месяца человек остается хозяином... А? Разве не так?

Старый Виталину засмеялся, показав мелкие гнилые зубы, но не пожелал согласиться:

— У каждой из вас свое на уме... Все равно, яйцо мое! Оно находилось во дворе, который принадлежит мне! Позову-ка я лучше своего друга из полиции...

Всем уже были знакомы эти штучки, и девушки постарше постарались отвлечь старика. Шику и Бету продолжали дергать его со всех сторон, выпрашивая монетку, а старая Бебека вместе с Биной не то шутя, не то всерьез выталкивали старика на улицу.

Наконец, когда старый скряга, опираясь на палку и волоча ноги по красному песку, двинулся по дороге к хижине Эмилии, старая Бебека насмешливо крикнула:

---

* Так называется один из новых, зажиточных кварталов Луанды.

— Не теряйте даром времени, со Виталину! Эмилия только что ушла к своему другу... Это один перець из полиции... Такой вам не по зубам!..

Дружный смех раздался вслед растерянному, смущенному старому Виталину.

Был уже шестой час, и солнце начинало менять окраску. Из желтого оно становилось красным, этим цветом постепенно покрывались и небо, и тучи, и ветки деревьев перед тем, как солнце отправлялось спать в глубину моря и оставляло ночь во власти луны и звезд. С уходом со Виталину стало ясно, что спор уже никогда не будет разрешен. Зефа, такая разъяренная вначале, теперь молча посматривала на Кабири, все еще сидящую под корзиной. Только Бина еще пыталась убедить соседок, что она одна имеет право на яйцо.

— Разве не так? Разве я лгу? Скажите только... Ведь правда, когда вот так хочется чего-нибудь, надо посочувствовать...

Она не успела еще договорить, как с другой стороны улицы раздался злобный женский крик, и все повернули туда головы. Крик доносился из хижины Розалии. Соседки давно уже удивлялись, что в ее хижине так тихо. Но сегодня, как видно, ей снова представился случай покричать вволю. Стоя в дверях, показывая еле прикрытое тело, уже не молодая, но все еще привлекательная Розалия орала на мужа:

— Убирайся вон, слышишь? Уже полшестого, а ты все дрыхнешь... Думаешь, так и буду тебя кормить? Иди ищи работу, лодырь!

Старый Лемуш ни слова не говорил жене, когда она по вечерам готовилась к приему гостей и выставляла его из дому. Все в муссеке знали об этом, и, вероятно, он один только делал вид, что ему неизвестно, откуда берутся деньги, на которые они живут. Он засунул руки в карманы дырявых штанов и, волоча больную правую ногу, толстую и неповоротливую, как обрубок дерева, заковылял в своих кедах по песку. Он отправился по трактирам и лавчонкам — может, где-нибудь подвернется работа и можно будет разжиться деньгами на вино и папиросы.

Жизнь обошлась с ним жестоко. Когда-то, еще до того как он начал пить, до того, как что-то повредилось в его голове, со Артур Лемуш был секретарем нотариуса. В его доме можно было видеть толстые книги, уголовный кодекс, гражданский кодекс, официальный бюллетень, и это делало его жилище похожим на дом адвоката. Он был единственным человеком, который помогал беднякам, когда они в этом нуждались, запутавшись в сложных и непонятных отношениях с местной администрацией или с другими властями.

Сегодня, когда соседки увидели разгневанную Розалию, ждущую посетителей, никому из них сначала и в голову не пришло, что ее муж может уладить спор. Правда, Розалия, несмотря на то что сама постоянно издевалась над ним, бесилась как дикая кошка, когда кто-нибудь другой начинал ругать ее мужа:

— Да знаете ли вы, что это за человек! Второго такого не сыскать! Потому я и злюсь! Правда, мужчина он уже никудышный, но голова у него в порядке, столько, сколько знает он, никто другой не знает!

Она никому не разрешала копаться в книгах, покрытых пылью и паутиной, и всегда с гордостью показывала на них.

— Смотрите, смотрите, и все это у него в голове. А ваши мужья? В постели еще кое-что умеют, но в головах у них пусто!

И вот этого-то человека, с его опытом в сложных судебных делах, решила позвать старая Бебека, когда все уже потеряли надежду разрешить великий спор. Предупредив Бету и Шику, чтобы они не дразнили старика, Бебека с помощью Бины и Зефы стала объяснять, что произошло.

Как будто новая жизнь влилась в изможденное тело бывшего секретаря нотариуса. Грудь его задышала ровно, глаза перестали слезиться, и даже больная нога не хромала, когда он принялся расставлять женщин по местам: Бебеку прямо перед собой, Бину — справа, Зефу — слева, и, почесав кончик носа, начал:

— Согласно увиденному и услышанному от докладчика и от сторон речь идет об установлении права собственности на обычных основаниях...

Женщины испуганно смотрели на него, но никто не произносил ни слова. Старый секретарь нотариуса продолжал, обращаясь к Зефе:

— Скажите, сеньора, курица ваша?

— Да, со Лемуш!

— Имеется ли у вас документ о ее приобретении?

— Э... имеется что?..

— Документ, сеньора! Документ о приобретении. Квитанция или расписка о том, что курица действительно принадлежит вам!

— Ох, что за человек... Да я ее и не покупала никогда! Если моя курица родила мне другую курицу в моем дворе, какую же я могу иметь квитанцию?

Потеряв терпение, со Лемуш сделал ей знак замолчать:

— Ну вот! Как же люди могут пользоваться законами и судом, если они даже не имеют необходимых документов?

Еще раз почесав нос, он взглянул на Бину, которая смеялась, обрадованная словами старика, и спросил:

— А вы, сеньора Бина, можете показать квитанцию о покупке кукурузы? Ах, нет!

Так как же я могу сказать, кто из вас прав? Как? Без всяких документов, без доказательств? Ну, хорошо...

Он посмотрел на всех стоящих перед ним, потом на Бету и на Шику, наклонившихся над корзиной, под которой сидела Кабири, и взял яйцо из рук старой Бебеки:

— Сеньора Бина, давайте предъявим иск к вашей соседке за проникновение на чужую территорию с присвоением собственности... Это насчет кукурузы...

Бина разинула рот, попыталась что-то сказать, но он продолжал:

— Что касается вас, сеньора Зефа, то вы обвиняете вашу соседку в попытке кражи и использовании украденного. Теперь требуются пять эшкуду с каждой из вас на бумагу...

Взрыв хохота заглушил его последние слова. Когда смех утих, старая Бебека еще раз попробовала добиться ответа:

— Но, со Лемуш! Скажите все-таки... кто из них прав?

— Не знаю, дона, не знаю! Без судебного процесса невозможно уяснить истину, сеньоры... Напишем ходатайство...

Однако все продолжали хохотать, и удрученный общим смехом, видя, что ему здесь не удастся получить денег на выпивку с друзьями, со Лемуш, подталкиваемый старухой, на глазах у которой от смеха выступили слезы, сделал последнюю попытку:

— Послушайте, однако... Я возьму яйцо, отнесу его на суд моему другу, и он решит...

— Яйцо? Еще чего!—крикнула разозленная Зефа.

Время шло и шло, а дальше разговоров дело не двигалось... Из-за этой пустой болтовни нахалка Бина в конце концов высосет ее яйцо...

— Давай сюда!—рука Зефы мелькнула в воздухе, и яйцо снова оказалось на ладони у Бебеки.

Уже с улицы донесся хриплый голос со Лемуша.

Подняв иссохший кулак, старик кричал на Бету и Шику, донимавших его своими насмешками:

— Невоспитанные дети! Бродяги! Преступники!

Потом, остановившись и набрав побольше воздуха в легкие, он отважно бросил слово, которое все время вертелось у него в голове, слово, которое он частенько видел в газетах:

— Гангстеры!

И очень довольный своей смелостью, старик поплелся по кривым дорожкам муссека, волоча распухшую ногу.

Когда женщины увидали, что и со Лемуш не смог разрешить затянувшийся спор, когда они почувствовали дуновение свежего ветра с моря, куда уже клонилось солнце, покидая Верхний город, они заговорили о том, что лучше всего будет дождаться возвращения с работы мужей. Только Бина не согласилась:

— Еще чего! Мой муж в тюрьме... Так кто же станет меня защищать?

А Зефа, которая была уже просто в бешенстве, потянула за собой с улицы старую Бебеку назад во двор к Бине, чтобы наконец расправиться с обидчицей, поднять корзину и освободить Кабири. И тогда опять началась свалка. Бина дернула Зефу за платье, и оно разорвалось возле плеча. Тут Зефа толкнула Бину и стала защищаться от ее ударов, царапаясь и размахивая кулаками.

— Ты воровка! Потаскуха, захотела сожрать мое яйцо!

— Айюэ, помогите! Бьют беременную, помогите...

Страсти еще пуще разгорелись, драка завязалась не на шутку, женщины пытались разнять спорщиц, а те в свою очередь награждали их тумаками. Бету и Шику, давясь от смеха, сидели в уголке двора около хижины, там, где до сих пор томилась Кабири. Она все больше и больше волновалась, вытягивала шею и вертела головой. И только мальчишки знали, что означает ее торопливое «ке-ке-ке-ке».

Свалка стала общей. Уже невозможно было понять, кто кого защищает, слышались крики, жалобы, ругань, вперемежку с кудахтаньем испуганной курицы, со смехом мальчишек, с шумом деревьев, и вся эта сумятица усиливалась с приближением темноты, когда рабочие обычно возвращались в свои хижины. Никто и не подумал о том, что может появиться патруль. И только когда сержант начал колотить кулаком по спинам, все быстро замолчали. Удивленно озираясь, женщины стали поправлять на себе одежду, платки на головах и почесывать ушибленные места. С начальником явились два солдата и, не дожидаясь приказа, встали по обе стороны толпы, смеясь и в то же время угрожая скандалисткам новенькими белыми дубинками. Но толстый низенький сержант обливался потом и не был склонен веселиться. Он снял с головы каску и заорал:

— Эй вы, стадо коров! Что тут случилось? А? Говорите! Что произошло?

Никто не отвечал, только некоторые перешептывались. Старая Бебека выступила вперед.

— Не слышите, что ли? Скандалистки! Крикуньи! Что здесь такое? Митинг, что ли?

— Что? Какой митинг? — не поняла Бебека.

— Ну-ка, иди сюда, рассказывай, бабка! Почему тут началась драка? Ну, скорей говори, а то всех вас потащу в полицию!

Бебека поняла по грозному виду сержанта, что он вовсе не шутит, и оглядалась вокруг, как бы ища поддержки. Но на лицах женщин ничего нельзя было прочесть. Все смотрели в землю, опустив глаза, или по сторонам, или в угол, где возле корзины сидели Шику и Бету, или на солдат. Тогда, еще раз взглянув на толстого сержанта, Бебека наконец заговорила:

— Знаете что, сеньор солдат, извините уж нас...

— Солдат! Ах ты, негодяйка! Я сержант!

— Э... А разве сержант не солдат?

— Молчать, мерзавка! Я уже теряю терпение. Что за безобразие тут творится?

И старуха заговорила, посматривая все время на Зефу и на Бину, как бы ища у них подтверждения своим словам. Она рассказала, в который раз, всю историю этой ссоры из-за курицы и яйца. Сержант уже не так злобно смотрел на женщин, стараясь понять, что же произошло на самом деле, подозревая, что его хотят надуть.

— А где ваши мужья?

Бина ответила первая, объяснив, что ее муж в тюрьме, что она захотела взять яйцо, потому что во время беременности у женщин иногда бывают разные необъяснимые желания. Но сержант пропустил ее последние слова мимо ушей и, покачав головой, процедил сквозь зубы:

— В тюрьме! Ага, значит, он, он — террорист? А где курица?

Все повернулись в ту сторону, где мальчишки сидели возле корзины, охраняя Кабири. Один из солдат, презрев протесты Зефы и крики женщин, подошел, сунул руку под корзину, схватил курицу за крылья и вытащил, чтобы вручить сержанту. Кабири даже не пикнула, только полными ужаса глазами смотрела на своих друзей-мальчишек, забившихся в угол. Сержант тоже взял испуганную птицу за крылья, пощупал ее толстый живот, плюнул на землю и, в воцарившейся напряженной тишине, когда Зефа слышала только, как стучит ее сердце, превратившееся в тамтам, а Бина торжествующе хихикала про себя, произнес:

— Поскольку вы не пришли ни к какому соглашению насчет курицы и яйца, я решаю так!

И тут сержант загоготал во все горло. Маленькие глазки его совсем потонули в жирных складках щек, и, еще раз поглядев на оторопевших женщин, он заявил:

— Вы нарушили правила общественного порядка, скандалистки! Вы собрались в количестве, большем, чем два человека, а это запрещено законом! Кроме того, вам, дурам, взбрело в голову самим разбирать свои ссоры, чтобы избежать законного суда! Поэтому курицу я беру под арест, а вы немедленно должны разойтись. Поворачивайтесь, поворачивайтесь, по домам марш!

Солдаты по знаку начальника стали молотить дубинками по головам. Многие женщины сразу же обратились в бегство, но Зефа решила бороться до последнего, не допустить, чтобы курица досталась солдатам на жаркое, чего, видимо, добивался сержант. Бросившись на него, она попыталась вырвать курицу из его рук. Но сержант со смехом оттолкнул женщину и поднял Кабири высоко над головой. Обалдевшая курица громко закудахтала и стала вырываться, царапая когтями руку сержанта.

— Эй, эй, тетенька! Спокойно! А то арестую и тебя, вот увидишь, успокойся лучше!

Но пока Зефа пыталась спасти курицу из рук толстого сержанта, а Бина и все другие женщины, еще остававшиеся на поле боя, под грозным взглядом старой Бебеки смирно стояли вокруг, произошло нечто, похожее на чудо, нечто такое, что потрясло всех и оставалось непонятным до тех самых пор, пока не открылась правда.

Когда солдат вытаскивал Кабири из-под корзины, Бету и Шику даже бровью не повели — сразу было видно, что даже солдаты не могут устрашить мальчишек из муссеков. Бету шепнул на ухо Шику:

— Слушай, не позволим этим типам забрать Кабири. Давай сделаем, что нужно, по нашему способу!

— Идем, Бету, скорее!

— Нет, ты оставайся! Для отвода глаз!

И Бету, как кошка, пролез через дырку в дощатом заборе и мгновенно исчез за соседским домом. Шику навострил уши, ожидая сигнала, который должен был спасти Кабири. Вот его-то, этот сигнал, и услыхали потрясенные люди в ту минуту, когда сержант пытался оградить курицу от длинных и цепких рук Зефы.

Было только самое начало шестого, и солнце, хотя и красное, светило вовсю. Если бы еще было прохладно, но нет, тяжелый и душный зной висел над муссеком... Как же мог в этакое время запеть петух, весело и задорно запеть свою песню, будоражащую кур? Люди оцепенели, и Кабири перестала биться в руках у сержанта. Только голова ее поворачивалась во все стороны, только глаза ее всматривались вдаль. Она прислушивалась: откуда доносит ветер эту знакомую призывную песню, говорящую ей о том, что супруг отыскал великолепного червяка или хорошее местечко для купания в песке? Из-за соседних домов, из-за лавчонки со Зе, заглушая все остальные звуки, раздавался прекрасный, молодой и уверенный голос петуха, призывающего Кабири.

И вот что произошло. Кабири глубоко вонзилась всеми когтями в руку сержанта, потом собрала все силы, рванулась и высвободила крылья. Люди захлопали в ла-

доши, закричали, засмеялись, увидав, как толстая большая курица взлетела над двором — легкая, быстрая, стремительная, совсем как птица, которая всю жизнь летала. И так как уже было, наверное, половина шестого и на небе, с той стороны, где солнце садится в море, не появилось ни одной тучки, все, кто провожал глазами Кабири в ее полете, вдруг увидели, как птица, удаляясь, стала черной посередине, ярко-красной по бокам и потом исчезла совсем, словно растаяла в пламени солнечных лучей.

Загораживая ладонями глаза от слепящего солнца, сержант и солдаты с ворчаньем ушли, жалея о потерянном бесплатном ужине. Женщины смотрели им вслед озорными глазами, девушки посмеивались, ветер медленно шевелил листья маниоковых кустов. Зефа почувствовала вдруг, что в груди у нее стало пусто и легко и какое-то хорошее тепло разлилось по всему ее телу. В пенье петуха она сразу узнала голос своего сына, этого хитрого мальчишки, который умел подражать голосам всех животных. Она подозвала Шику, улыбнулась соседкам и, поглаживая ребенка по голове, сказала:

— Это сделал Бету! Он кричит, совсем как настоящий петух! Наверное, Кабири уже сидит в своем курятнике!

Старая Бебека засмеялась. Сухая и сморщенная от множества прожитых лет, она протянула Бине яйцо, которое все еще лежало у нее на ладони.

— Можно, Зефа?

Слегка пристыженная, мать Бету постаралась скрыть улыбку, блеснувшую на ее лице, и заговорила быстро, не глядя на соседку:

— Конечно, бабушка! Я знаю, это беременность... Когда так хочется чего-нибудь... И потом... ведь ребенок, там, в животе, это он требует...

Яйцо уже лежало на ладони у Бины, и она улыбалась. Легкий ветер дышал осторожно и ласково, шевеля старенькую, изношенную одежду, под которой скрывалось молодое сильное тело. Погружаясь в море, солнце разбросало там, внизу, на тихих водах залива, маленькие красные чешуйки. А глаза всех людей и удивленные детские глаза Шику смотрели на круглый и твердый живот Бины, похожий на яйцо... большое-пребольшое...

Вот и вся моя история. Хороша она или плоха — это вам судить. Я только уверяю, что не солгал, что это в самом деле произошло на земле нашей родной Луанды.

ДОРА ГАБЕ

Помедли, солнце

* * *

Помедли, солнце,
я не готова
ко встрече ночи —
еще не завершен мой день
и с совестью не кончен спор,
ей право не дано на отдых.
Я только-только научилась говорить
с деревьями, с камнями
и не наполнила свой день
их мудростью.
А ты велишь мне отдыхать
и исчезаешь так спокойно
и торжественно
с багряными вершинами Витоши
и селами в обнове зарева,
с иллюзиями о грядущем дне.
Помедли, дай мне время
понять, как можно засыпать
в тревожном этом мире,
когда бессонница что совесть,
а совесть — это день?

Помедли, солнце!

Вечер

Окутанное сумерками море.
Я ничего не вижу, только ощущаю...
Мигает издали маяк на Калиакре.
Приморский тихий вечер.
День кончается,
день или жизнь?
Это в сумраке невидимое море
поглощает мой мир
и в себе его растворяет.
Но вспыхнет маяк,
спугнет темноту,
и все оживает.

Какая игра!
Какая прекрасная репетиция:
наблюдать, как умираешь
и как рождаешься вновь.

* * *

Горизонта нет.
Море вылакало молоко облаков
и напоило им
все пространство.
Нет горизонта,
а только светло-сизый полусвет.
Ни моря нет, ни неба, ни земли.
Где я?
Где темный тополь,
кинжалом полоснувший море?
Где тот взгляд,
меня пронзивший неизбывной красотой
и поглотивший с морем заодно?
Нет.
Нет ничего.

Перевод с болгарского ЛЬВА ОЗЕРОВА

Противоречие

Ты, грусть моя, как монотонный дождь,
стучащий до утра в стекло оконное.
А иногда ты — лунный свет,
обнявшийся с моими волосами,
в мой сон пробившийся,
во тьму пролившийся
неслышными слезами.

Но на заре,
едва окно открою,
ты вспархиваешь ввысь и таешь в небе...
О, день работы, юности и солнца!
Увижу птицу над собой —
и собственные крылья ощущаю,
услышу говор, смех
идущей молодежи —
и шаг свой вместе с нею учащаю,
глазами встречу взгляд ребенка —
и словно в светлом роднике плещусь.

А вечером
все та же грусть,
как будто и не разлучались,
меня охватывает, все сильней тревожа.
И понимаю я, что быть самой собою
без солнца не могу,
без грусти — тоже.

Шторм

Твой рев и грохот, смешанные с гневом,
бьют в берега, окатывают камни.
Не пронзено ли существо твое
предсмертным криком?
Или зловещую несешь ты весть
из мрака, изрыгающего залпы
на все, что светит, что живет?
Ведь я здесь отдохнуть хотела,
а ты так яростно, как будто бы стращая,
швыряешь ветер в дверь мою.
Ну, перестань же,
не дуй, не дыбься, словно змей стоглавый!
И так моей тревоге спится плохо:
хватило бы, поверь мне, всплеска, вздоха,
чтоб разбудить ее...

Беспокойство

Сверчки стрекочут — словно в дверь стучатся,
деревья ропщут, шелестя,
и на ветру ветвями машут.

Как неспокойна ночь!

Мне боязно от хлопающих ставней,
меня волнует каждый звук — и я
вдруг остро чувствую вращение земное,
и бег ручья, и спешку муравья...

Когда хоть дух переведут они?
Когда?
«Не бейся так!» — упрашиваю сердце.
«Где взять покой?» — кричит оно в ответ.

И даже звезды не стоят на месте,
и даже звезды
не льют свое сияние спокойно,
а все мигают, все мигают, все мигают...

Улыбка

Одна улыбка —
и все омылось розовым цветеньем,
ликующим жужжаньем пчел.
Одна улыбка только —
и, как миндаль, весь мир зацвел.
Одна улыбка —
и небо рассинелось так, что больно,
а воздух рассмеялся, опьяненный,
а горы сблизились
и обняли друг друга.

Не надо ничего! — одной улыбкой
я осчастливлена вполне:
одна улыбка уместила
всю, всю вселенную во мне!

Возвращение

Мой дом родной
когда-то был огромен:
трубою — вровень с облаками.
Обидно было мне, что медленно расту
и что до облаков не дотянуться.
«Как? Почему?» — я всех одолевала,
однако не услышала ответа...
И вот я бросилась, оставив это,
за горизонтами, высотами в погоню.
Но горизонт догнать нельзя,
за высью высь встает другая!
Я с теми же вопросами вернулась.

А низенький, осевший, старый
мой дом родной
вдруг целиком вошел мне прямо в сердце,
чтобы во всех погонях быть со мной.

Перевод с болгарского ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

По воздуху

Яннису Рицосу

Нет власти, Яннис,
над слезами нет у меня власти!
Рвут мою душу
песни твоей родины.
Не могу руку тебе подать,
потому что нет тебя нигде,
потому что тебя превратили в камень
и оглушили камнями,
которые заставляют таскать тебя
и обрушивать на голые скалы
острова Лерос.

Голос мой стал голосом в пустыне,
а голоса тех, кто зовет тебя,
стынут, гаснут, исчезают, не долетев до тебя.

Что нам делать, Яннис?
Неужто ждать,
когда вылетит из Лувра
изгнанница столетий
богиня победы
наша Ника Самофракийская, —
вылетит,

развернет над тобой мощные крылья,
чтобы вырвать тебя и унести.
О, Яннис!

Два мира

Обнялись двое
и через взгляды,
через пожатья рук
перелили друг другу
свою кровь —
счастливые, земные, видимые...

А ты в моем сне
и никогда не существовал вне его,
и никогда наяву
не смотрел близко в мои глаза,
не касался рукой руки,
а явился прямо в мой сон.

Годы прошли, ты все со мной,
и никто никогда не сможет
отнять тебя
и никогда не поймет,
как все возможно в снах,
и какой ты добрый, и как меня любишь,
счастливый, неземной и невидимый...

Непримиримая

Пугаешь меня,
великое Мирозданье,
растягивая мою мысль
до своей неизмеримости.
Земля наша лишь точка в тебе,
но в этой точке
моя любовь и ненависть
и сила моя —
а не могу разлить их
до твоих размеров.

Ты мне дало:
свет твоего величия
и разум, чтобы проникнуть в тебя
и жажду тебя познать,
а день идет, и я должна исчезнуть
и вернуть тебе все!

Смотрю на Восход
и Заход,
поглощаю вечность твою
и жду своего конца
непримиримая...

Перевод с болгарского ЛЬВА ОШАНИНА

ГОР ВИДАЛ

Вашингтон, округ Колумбия

РОМАН

Перевод с английского
В. СМИРНОВА и А. ФАЙНГАРА

IV

Неторопливый ритм жизни довоенного Вашингтона сменился бурлением людских волн, поистине нью-йоркских масштабов; особенно бросались в глаза женщины, спешившие заменить мужчин на их рабочих местах: короткие юбки выше колен, копны волос, ниспадающих на плечи вопреки предостережениям о том, что длинные волосы, попадая в машину, не только снижают производительность труда и отдаляют неизбежную победу Америки над тиранией, но и ведут к оскальпированию их обладательницы. Полчища женщин на улицах (военнослужащие разумелись само собой) и поразили Питера больше всего, когда он теплым июньским днем вернулся в город с усиленных стрелковых учений в болотах Флориды. Связи спасли его от более непосредственного участия в войне. Теперь он был приписан к Пентагону и хотел только одного — пережить войну, которая его совершенно не интересовала.

Такси остановилось перед большим зданием на Коннектикут-авеню. Закинув за плечо вещевой мешок, он вошел в дом, принадлежавший некоей даме, которая недавно потеряла мужа, а он без ее ведома «потерял» все ее состояние. Однако дама была уверена, что не пропадет, и с помощью Фредерики превратила свой дом в местный клуб, процветавший благодаря превосходному повару, совершенно исключительному подбору членов правления и необходимости именно в таком месте, где люди, принадлежащие к известным кругам вашингтонского общества, могли бы устраивать интимные приемы, а то и просто спокойно позавтракать, планируя очередную любовную интрижку или прослеживая путь, ведущий сквозь лабиринт правительственных комиссий к некоему сокровищу.

Окончание. Начало в № 11.

Вещевой мешок Питера взял Джон — старший лакей, которого Питер знал с незапамятных времен.

— Вам очень к лицу военная форма, мистер Питер,— сказал Джон, между делом играя роль семейного слуги. Когда Питер спросил, как идут дела, Джон вдруг показал себя настоящим коммерсантом.— Потрошить их мы начинаем за ленчем,— не без удовлетворения заявил он, пряча в шкаф вещевой мешок Питера.— А потом почти каждый вечер устраиваем минимум два приема. Конечно, у нас бывает и масса *новых людей.*

Ущемленный тон, каким Джон произнес слова «новых людей», выдавал его выучку. Поскольку городских заправил — по крайней мере на первых порах — создавали избиратели, в Вашингтоне всегда существовало разделение на «нас» и новых людей; и люди эти могли быть как угодно милы, но лишь время решало, превращались «они» в «мы» или нет. А время, разумеется, работало не на новых людей. Избиратели — капризный народ. Многим из «новых» приходилось возвращаться в свои медвежьи углы, тогда как другие двигались дальше — в Нью-Йорк, к большим деньгам. Тем не менее чрезвычайно многие из числа отвергнутых избирателями оседали в Вашингтоне и становились адвокатами или специалистами по закулисным махинациям в сенате; они жили припеваючи и в конце концов превращались либо в «нас», либо в обитателей многоквартирных домов — «квартирантов», как именовали их преуспевающие агенты по продаже недвижимости и оформители страховых полисов, врачи и содержатели похоронных контор, которые на то и существовали, чтобы их обслуживать.

— Мистер Сэнфорд еще не приезжал.— Джон провел Питера в гостиную, где сейчас никого не было. Над камином висел портрет покойного мужа хозяйки, который промотал ее состояние. Он смотрел с таким видом, будто был страшно доволен, что все денежки супруги уплыли. Служанка вдовы, старая немка, просунула голову в дверь и выразила свою радость по поводу того, что мистер Питер вернулся целый и невредимый. Питер, имевший дело с войной только на учениях в Таллахасси, вовсю старался напустить на себя вид обреченного на заклание, но вашингтонцам, думавшим главным образом о нехватках у себя дома, было не до героя, которого, возможно, ждет безвременная кончина.

— Ты похудел! — такими словами встретила его мать и прижала к груди.— Уж не болен ли? Господи, какой бледнущий!

— Чувствую себя отлично.— Это был его обычный ответ, и он вполне соответствовал истине. Прежней полноты в груди и бедрах как не бывало — одни мускулы. Жирным он теперь уж никогда не станет.

— Тебе нужно позавтракать. А мне-то, господи, мне-то сколько всего нужно! Я делаю закупки. Это нормирование все перевернуло вверх дном. Похоже, мы потеряли все районы в Азии, где добывают каучук. Блэз рвет и мечет.

Они прошли в сад. Под деревьями, бросавшими узорчатые пятна зеленоватого света на белые скатерти, сидели и закусывали люди. Он насчитал с десяток таких, кого можно было отнести к «нам», остальные были «они», по большей части в военной форме.

Питер принялся за булочки с маслом, а Фредерика стала обмениваться приветствиями с друзьями, и несколько генералов и адмиралов засвидетельствовали ей свое почтение; она каждому представляла своего «верзилу сына», и Питер не без гордости подумал, что вот и он тоже, хотя бы через свою семью, соприкасается с высшей военной иерархией, в которой он так явно был одним из низших.

— Отец всю эту неделю в Уотч-хилле. Я сказала, пусть сам открывает дом, я не собираюсь уезжать из города, когда ты вот-вот должен вернуться.

Она радостно улыбалась ему, он радостно улыбался ей. Они любили друг друга. Жаль только, им не о чем было говорить.

— Ты понятия не имеешь, чего стоило отцу сунуть тебя в военное министерство.— Фредерика считала само собой разумеющимся, что связи пускают в ход совершенно открыто.

— Представляю,— сказал Питер, хотя он вовсе не желал представлять себе, как Блэз нажимает на все пружины, чтобы поудобнее устроить ему жизнь.

— Мне кажется, он даже добивался, чтобы тебе присвоили офицерское звание.

— Это уж слишком.

— Я тоже так думаю.— Она ничего не утаивала от него.— Но его, по-моему, раздражает, что ты всего-навсего солдат, сержант.

— А меня это устраивает.— Питера действительно устраивало то, что он простой сержант, особенно теперь, когда ему уже не придется жить в бараках. Быть чином выше значило бы принимать более деятельное участие в войне, а это не входило в его расчеты. Он был уверен, что на фронте его убьют. Этим он отличался от своих сверстников: те были решительно не способны вообразить себе свою смерть. Он же умел ее вообразить, пожалуй даже слишком наглядно, и предпочитал оставаться в живых. Пусть другие исполняют свой долг.

— Клей приезжает в отпуск. Его произвели в ... — Она не докончила фразы.— Что, *что* нам делать с Инид?

Питер внутренне ликовал: наконец-то его причислили к взрослым, которым постоянно приходится что-то с кем-то делать.

— Ты должен поговорить с ней! — Фредерика произнесла это таким тоном, будто нашла великолепное разрешение проблемы.— Да, да! Она тебя слушает. Она не слушает ни меня, ни Блэза, они почти не разговаривают друг с другом.— От удивления она раскрыла рот: — Боже мой, да ведь это же Блох!

Посмеиваясь про себя, Питер наблюдал, как Айрин Блох прошла через сад с гордо поднятой головой: она была в стане врага, и она это знала.

— Эта женщина везде пролезает.— В голосе Фредерики звучала неподдельная боль.— А ведь мы, между прочим, для того и основали наш клуб, чтобы не пускать ее сюда.

Айрин Блох подошла к столу, где сидели генералы и их жены.

— Слабое основание, чтобы открывать клуб.— Питер был искренне тронут огорчением матери.

Она снова заговорила об Инид. Из рассказа Фредерики выходило, что Инид слишком часто видится с неким морским офицером. Она не ответила ни на одно письмо Клея. Он соглашался дать ей развод, но она не хотела ни с кем об этом говорить.

— Она пьет?

Фредерика неожиданно стала выгораживать дочь: мать была готова на все, даже на лжесвидетельство.

— Что значит — пьет? Разумеется, выпивает, как и все прочие.

— В прошлую зиму она явно перебирала.

— Ну так что же, время от времени это с каждым случается. При таком... напряжении,— туманно пояснила Фредерика, подставляя щеку для поцелуя Люси Шэгтак.

Питер поднялся, продолжая жевать. Люси сказала:

— Фредерика, не слишком ли он для тебя молод? Да уж не Питер ли это? Господи боже, ведь это он и есть! А я-то подумала, что твоя мать, как все наши девушки, внесла свой вклад в дело победы и отдала дань нашим мальчикам!

Из всех светских зубоскалок Вашингтона сардонически-язвительная Люси казалась Питеру самой занятной. Ее муж был один из лидеров республиканской партии, казначей и оптимист. Люси была пессимистка.

— В этом году наше дело дрянь, как всегда.

— Все из-за этого ужасного Рузвельта,— автоматически отреагировала Фредерика.

— Знаешь, мне кажется, он бессмертен. Во всяком случае, я так и говорю своему Лоренсу: можешь примириться с тем, что теперь мы на сто лет вперед обеспечены такими радетелями об общественном благе, как Гарри Гопкинс. Да, кстати, раз уж мы заговорили об этом зануде Гарри: ты слышала, что случилось на прошлой неделе в Мидлберге? — Блестя глазами, она начала рассказывать.

Как только Люси сделала передышку, Фредерика указала на миссис Блох.

— Она тут.

— Да уж вижу. Это на нее похоже. Явилась в натуральную величину — вот ведь денежный мешок. Я велела Лоренсу быть к ней повнимательней. Мы *должны* выжать из нее деньги на прием.

— Ее денежки достаются только Бэрдену Дэю и демократам.

— Старый козел,— лаконично отозвалась Люси Шэттак.— Между прочим, ему придется начинать борьбу уже на первичных выборах. Говорят, Рузвельт кого-то поддерживает против него и...

— Какой мстительный! — вставила Фредерика.

— Просто изверг, когда с ним не соглашаются. Всегда с ножом наготове, правда?

Люси выжидающе посмотрела на Питера, и тот нехотя опустил полную ложку домашнего ванильного мороженого с густым шоколадным кремом.

— Он поступает с другими так же, как, на его взгляд, они при малейшей возможности поступили бы с ним,— изрек Питер и отправил мороженое в рот.

Люси поднялась:

— Вы будете завтра вечером у Инид? Насколько я понимаю, ее третирует только отец?

Питер отдал должное Люси: положил ложку с мороженым. Слов нет, она проницательна.

— Да, конечно,— быстро ответила Фредерика, и Люси с Питером стало ясно, что она впервые слышит о приеме у дочери.

— Это в честь Гарольда Гриффитса,— сказала Люси.— Он уезжает на Тихоокеанский фронт — военным корреспондентом.

— Я знаю.— На этот раз Фредерика опоздала с репликой: так ошеломила ее новость. Когда она произнесла это, Люси Шэттак уже ушла.

Фредерика повернулась к Питеру.

— Теперь все зависит от тебя,— сказала она, благословляя его на бой, его, свою опору и защиту.— Ты должен вразумить Инид.

Но Инид не нуждалась в том, чтобы ее вразумляли. Во-первых, она больше не пила. Во-вторых, она была счастлива. Она горячо обняла брата:

— Ты похудел! Наконец-то!

Потом она стала показывать ему свой новый дом, небольшой, но уютно обставленный. У нее был талант декоратора, и она поговаривала о том, чтобы дать ему коммерческое применение. Она всегда мечтала о собственном заведении с горсточкой преданных служащих и большой бухгалтерской книгой, в которую можно вносить всякие счеты-расчеты или что там еще вносят в бухгалтерские книги. Как сказал Гарольд

Гриффитс: «Каждый старается забыть о своем купеческом происхождении, и только Инид тянется к прошлому. Она хочет вернуться к фамильным истокам и завести лавку, она хочет знать, что всякий раз, когда раздается звонок кассового аппарата, это не для кого-нибудь, а для нее».

— Все хорошо,— сказала она, садясь на софу в фонаре, выходящем в обнесенный стеною сад.— На этой неделе ко мне придут фотографы из «Дома и сада» — делать снимки, это будет хорошая реклама. Я совершенно серьезно настроена работать. У меня даже визитная карточка есть.— Карточка лежала на кофейном столике, под который были приспособлены детские санки прошлого века.— «Инид Сэнфорд, декоратор».

— Почему Сэнфорд, а не твоя фамилия по мужу?

Инид нахмурилась:

— Я ее не ношу. С этим покончено. Да, вот что еще: я снова занялась живописью.

— Клей приезжает в отпуск. Он писал матери.

Инид отхлебнула кока-колы.

— Я хочу развестись с ним.

— Из-за какой-то истории с латиноамериканкой?

— Это еще что! Потом я такого наслушалась! Ты же знаешь: никто ничего не скажет, пока что-нибудь не случится, но уж если случится — такого наговорят, что только держись. Впрочем, мы, в сущности, совсем не подходим друг к другу. Перед тем как уйти в армию, он хотел помириться, и я согласилась, но попросила дать торжественное обещание, что он никогда больше не поставит меня в такое положение. Так вот, он отказался.

— Отказался? — Питер смотрел на нее скептически. Мужчины всегда щедры на обещания.

— Ну ладно, не будем об этом. Оставайся обедать. Я пригласила нескольких друзей. Ты их знаешь. Вашингтон сильно изменился. Очень много новых интересных людей.

Гости были действительно новые, но неинтересные: бригадный генерал авиации с женой, военно-морской капитан (женатый, но с приятельницей), а также Джо Бейли, тоже военно-морской капитан, разведенный, любовник Инид. Все пили сверх меры, кроме Питера (он пил пиво) и Инид (она пила кока-колу). Разговор, который, как Питер и предполагал, вначале был совершенно банальным, к полуночи вдруг принял фантастический поворот.

— Нет ничего легче.— Бригадный генерал, по натуре отличавшийся тяжеловесностью, от спиртного и подавно словно налился свинцом; его жена, по большей части помалкивавшая, время от времени разнообразила замедленную речь супруга пронзительными вскриками не то одобренья, не то отчаяния.— Для этого за глаза хватит полка военной полиции.

— А я, с вашего позволения, использовал бы военных моряков,— сказал Джо Бейли.— Крепкие ребята и не задают лишних вопросов.

— Возможно, вы правы. Проведение этой части операции мы поручим вам. Пришлете нам морских пехотинцев! — отрывисто прокаркала генеральская жена в рюмку с виски. У капитана и его приятельницы был очень довольный вид.

— Но ведь это только Белый дом,— сказала Инид.— А как быть со всей страной?

— Нет ничего проще. Видишь ли, у нас своя иерархическая лестница,— ответил ее любовник.— Каждый приучен получать приказания от вышестоящего начальника и не задавать при этом вопросов. Поэтому, когда мы накроем Белый дом и Пентагон...

— Вот тут-то нам и понадобится ваш второй полк,— сказал бригад-

ный генерал.— Мы выступим в воскресенье. Пока мы будем сажать под домашний арест начальников штабов, вы надежно упрячете президента. Потом, в понедельник, пораньше, мы устроим пресс-конференцию в Белом доме, дадим объяснение событиям и выиграем войну.

— Какое же вы дадите объяснение? — Питер спрашивал себя, уж не сходит ли он с ума.

— Что мы спасли страну,— спокойно ответил генерал.— От ваших комми, от Нового курса.

— Мы должны это сделать! — Инид была неподражаема.— Мы и только мы.

Джо Бейли кивнул.

— Видишь ли, Питер,— он быстрым движением взболтал виски со льдом,— дело в том, что настоящие наши враги не немцы, а японцы. В сущности говоря, у нас с немцами общие интересы, потому что они против комми и мы тоже, если не считать кучки сторонников Нового курса.

— Да, им придется убраться восвояси.— Собрат Бейли по флоту сказал это с очень суровым видом.

— Расскажи ему про донесение, которое твой друг разведчик получил из Швейцарии! — Питер впервые видел Инид в таком ажиотаже. Интересно, подумал он про себя, от любви это или ее действительно волнует перспектива государственного переворота.

— Если мы поможем Гитлеру в России, он поможет нам против японцев. При глобальном разделе мира мы получим Азию, а он оставит за собой Европу, и все будут довольны.

— Видите ли,— сказал генерал с трудом, словно язык его вдруг распух и занял весь рот,— как только вся эта шайка уберется из Белого дома, страна снова станет какой была прежде — настоящей страной с настоящими ценностями.

Его жена одобрительно каркнула.

Тут Джо Бейли набросился на рояль и стал наигрывать романтические баллады; Инид пела вместе с ним громким контральто.

Когда Питер уходил, гости все еще продолжали пить. В дверях он повернулся к Инид:

— Эти шутники — всерьез?

— Что — всерьез?

— Ну, о том, чтобы захватить Пентагон, упрятать президента?

— Но ведь надо же что-то делать! — Она была на грани неистовства.— Это каждому ясно. Я хочу сказать, дальше так продолжаться не может. Ты понимаешь, что мы проигрываем войну? Ну да где тебе знать, ведь это скрывают от народа — цензура и все такое прочее. Но мы проигрываем войну, это точно, и есть только один человек, который может нас спасти.

— Твой друг капитан Бейли?

— Ты недооцениваешь его. Факт, он сильная личность среди всех этих слабаков. Но я говорю не о Джо. Я говорю о Макартуре.

— А что, он тоже заодно с вами?

— Тебе скажешь, так ты всем разболтаешь. Ты никогда не умел хранить секреты. Ну ладно, увидимся завтра. Я даю прием в честь Гарольда. Он уезжает на фронт.— Она поцеловала его в щеку.

— Хорошо.— Питер хотел еще порасспросить ее про заговор, но пронзительное карканье генеральской жены отбило у него охоту.— Спокойной ночи,— сказал он.— А что думает о «сильной личности» отец? — Он задержался на пороге.

— Мы с ним не разговариваем,— ответила Инид.— Спроси у него сам. В конце концов, он твой отец.

— И твой тоже.

V

Алой дугой на зеленом фоне кардинал стремительно пал на землю. По саду летали пчелы. Из лесистой глубины его тянуло свежим ветерком.

— Да, времена нынче пошли невеселые, совсем невеселые.— В самом веселом расположении духа Бэрден сидел в шезлонге — ноги задраны кверху, голова прикрыта от жаркого июльского солнца шапочкой для гольфа. Рядом с ним сидел на стуле Сэм Бирман, вашингтонский корреспондент главной республиканской газеты штата. Они были знакомы давно, и в их отношениях часто бывали трудные моменты. Редакторы партийной газеты сплошь и рядом безжалостно кромсали корреспонденции Сэма и вымарывали самые важные пассажи, в которых пелись славословия сенатору Дэю; случалось даже, они перекраивали оригинал таким образом, чтобы бросить на него тень. Бэрдену ничего не оставалось, как принимать извинения Сэма: у него не было выбора, Сэм был ему нужен. Но он часто спрашивал себя, до какой степени тот действительно преклоняется перед ним. Если бы Сэм поменьше льстил, он доверял бы ему больше.

Сэм носил галстуки из шнура и жевал сигары желтыми зубами — такими же желтыми, как лосиный зуб, который болтался у него на цепочке для часов и всем изрядно надоел.

— Предвидите ли вы затруднения на первичных выборах в сорок четвертом году, сенатор?

Во время интервью Сэм всегда обращался к Бэрдену официально — это служило постоянным напоминанием о том, что все слова сенатора заносятся на бумагу. Потом они переходили на непринужденную болтовню и называли друг друга просто по имени.

— Не для печати,— зловредно предупредил Бэрден, чрезвычайно затрудняя интервью.— Предвижу, и притом немалые. Франклин проталкивает своего человека — мы отлично знаем кого. Бывшие служащие из управления научными исследованиями уже работают на него.

— Значит, вы полагаете, что на первичных выборах он выступит против вас?

Бэрден кивнул. Мысль о борьбе не была ему неприятна. Он должен победить. Это он и сказал для занесения в текст интервью, сделав по обыкновению скромную оговорку, что, разумеется, все зависит от славного простого народа его штата. Пока Бэрден распинался в любви к простому народу, Сэм с серьезным видом покачивал головой, и, хотя он ничего не записывал, Бэрден знал, что его слова будут приведены в интервью самым добросовестным образом.

— Ваше самочувствие? — Вежливый, осторожный вопрос, к которому он уже привык.

— Чувствую себя как нельзя лучше! — Бэрден придал неожиданную звучность своему голосу, в котором обычно преобладали заговорщически-вкрадчивые нотки.— Это была какая-то нелепая случайность — удар в *сравнительно* молодом возрасте! — Он сам удивился и обрадовался собственной дерзости.— Политические планы? — Выиграть войну, конечно. А также разгрести груды щебня, оставленные Новым курсом. Уж если думали об охоте, следовало заранее накормить собак.— Бэрден надеялся, что это его замечание Сэм воспроизведет слово в слово. За Сэмом водилась такая слабость — злоупотреблять пересказом, а прямую речь лепить где-нибудь сбоку. Это портило все.

Затем Бэрден принялся рассуждать на тему, которая его, в сущности, совершенно не занимала, да и не должна была занимать теперь, когда выборы были на носу.

— Облавы на японцев, устроенные правительством на Западном побережье,— самое постыдное, наиболее вопиющее нарушение первых десяти поправок к конституции за всю историю нашей страны.— Ему никогда не приходилось произносить речи на эту тему, и теперь его буквально распирало от неизлитой риторики.— Многие из этих людей — американцы уже в четвертом, а то и в пятом поколении, и не более опасны, чем мы с вами. Но если даже их в чем-то подозревают, дайте им возможность как положено предстать перед судом. Не запихивайте их в концлагеря без соблюдения установленной законом процедуры.

— Концлагеря?

— Да, концлагеря. Другого названия этому нет.

— Вы хотите, чтобы я *так и записал* в интервью — «концлагеря»?— Сэм был удручён, словно крупье, забирающий остатки сбережений всей жизни у своего друга.

Какую-то секунду инстинкт самосохранения боролся в Бэрдене с чувством справедливости. К его ужасу и вместе с тем тайной радости, справедливость восторжествовала.

— Да,— сказал он,— это не что иное, как концентрационные лагеря, поэтому так их и назовем.

— Намерены ли вы поднять в сенате какой-нибудь вопрос?

Бэрден кивнул:

— Вопрос о Юридической комиссии, и как можно скорее.

— На этом вы едва ли завоюете популярность.— На Сэма было жалко смотреть. Он четверть века «выхаживал» сенатора Дэя, и перспектива начать теперь все сначала была для него явно невыносима.

— Американских граждан лишают их конституционных прав. Да я скорее проиграл бы войну, чем допустил такое.

Сэм готов был расплакаться:

— Вы это всерьез — насчет того, чтобы проиграть войну?...

Бэрден рассмеялся и произнес сакраментальные слова:

— Не для печати.

Сэм с облегчением вздохнул: кандидат в самоубийцы слез с подоконника.

— Но вы должны написать, как оскорбляет меня это нарушение законности, какую иронию судьбы я вижу в том, что на долю администрации, гордящейся своим либерализмом, выпало совершить самую тираническую акцию за всю нашу историю.

Сэм согласно кивал, почти счастливый. Так-то оно лучше. Можно защищать даже права японцев, если спор имеет чисто партийную подоплеку. Сенатора еще можно спасти.

Тут из бокового входа показалась Диана в сопровождении армейского офицера. Бэрден не сразу узнал Клея. Они тепло поздоровались. Худой и поджарый, Клей держался стесненно, словно боялся что-нибудь разбить: избыток физической силы делал его неуклюжим. Диана тоже чувствовала себя неловко: как видно, подобно героиням викторианских романов, ей всю жизнь суждено было любить Клея безответной любовью. В глубине души Бэрден гордился одержимостью дочери: это было свидетельством если не силы характера, то по крайней мере силы чувства.

— Я вижу, Диана прочно заняла мое место,— сказал Клей.

— О нет, это так кажется.— Она ответила чересчур поспешно.— Я лишь немного помогаю отцу вести дела в приемной.

— Она считает, что мне слишком мало платят и я не могу позволить себе нового помощника.— Бэрден подмигнул Клею.

— Когда же все-таки вы подберете замену Клею?

— После выборов. Если это вообще возможно! — с чувством добавил Бэрден.— Быть может, война закончится. Быть может, он вернется.

— Эх, если бы война закончилась! И если бы я мог вернуться! — в тон ему ответил Клей и сказал, что это его последний отпуск перед отправкой за океан. Он был в чине пехотного капитана, и его направляли на Гавайские острова. Скорее всего, ему придется воевать на Тихоокеанском фронте.— А впрочем, нам ничего не говорят.

— Вы по-прежнему собираетесь баллотироваться в палату представителей по Второму избирательному округу?—Сэм взял быка за рога.

Клей замялся. Бэрден уверенно ответил за него:

— Скажем так: мы держим порох сухим.

Интервью окончилось, Сэм распрощался, Диана пошла его проводить.

— Как дела? — По старой привычке мужчины перешли на тон политикана-заговорщика и его верного приспешника.

Бэрден нахмурился:

— Неважно. Предвыборная борьба.

— Республиканцы полезут?

— Еще не известно. Наше ремесло легче не становится.— Тут ему пришло на ум, что он — старый человек, провожающий на фронт молодого. Эта роль открывала кое-какие возможности.— Ну, как служба в армии... тяжело?

— Нет. Не бей лежачего. Но теперь, в штабе дивизии, все, наверно, переменится.

— Военное министерство выручает?

Клей ухмыльнулся:

— Что-то непохоже, чтобы у меня были связи.

Бэрден рассмеялся из вежливости:

— Ну еще бы! Я, наверно, тебе только помеха.

— Блэз, к счастью, нет.

Бэрден вдруг приревновал:

— Ну, Блэз, конечно, может все.— Этим он воздал хвалу своему сопернику.— Чинуши из правительственного аппарата трепещут перед ним. Но...— Он поставил под сомнение добрую волю соперника:—...захочет ли он что-нибудь сделать?

— Кто знает? Так или иначе, это абстрактный вопрос. Я ничего от него не хочу. Посмотрим, как пойдет там, на фронте.

Внезапно в зеленом саду возникло копошение тел в серой форме. Лязг оружия заглушил щебет птиц. В его отца попала пуля. Она разорвала серую ткань, белую кожу и красную плоть, раздробила кость. Бэрден схватился за левое плечо, ощутил жжение от кусочка свинца.

— Что с вами, сенатор?

Бэрден опустил руку.

— Невралгия,— непринужденно ответил он и спросил, как поживает Инид.

— Похоже, я буду с ней разводиться.

— Ты с ней? Или она с тобой?

— Я с ней. Она совершенно открыто... живет с флотским капитаном.

Бэрден беспокойно поерзал в шезлонге. Не такие разговоры полагается вести с молодым воином, отправляющимся на битву.

— Понимаю,— сказал он, страстно желая, чтобы Диана поскорее вернулась. Об иных сторонах человеческого существования он предпочел бы вовсе не знать.

Но Клей был явно намерен не щадить его:

— Перед отъездом я должен принять окончательное решение. Я уезжаю сегодня ночью. В конце дня я увижусь с ней.

— Она хочет развода? — Клей явно ждал от Бэрдена вопросов, и тот стал их задавать.

— Хочет, когда я не хочу. Не хочет, когда я хочу.

— Клей! Если ты хочешь пройти в конгресс от Второго округа, нельзя допустить, чтобы *она* развелась *с тобой*. Ты можешь развестись с ней и быть избранным, но зачем осложнять и без того трудные выборы?

— Значит, альтернатива: мне жить в отеле, а она пусть живет в нашем доме с любовником? Вы думаете, избиратели не узнают об этом?

— Но ты вовсе не живешь в отеле. Ты служишь в армии. Ты отправляешься за океан. Ты разлучаешься с женой на вполне законном основании. Кто знает, какими вы будете через год или два? — Бэрден проповедовал бездействие — это всегда наилучшая политика в личных делах. Ему самому предстояло порвать с Айрин; пока он не предпринимал никаких шагов, и в результате ему не приходилось выслушивать упреки, не было никакой сцены под занавес, а в тех редких случаях, когда они встречались на нейтральной почве у кого-нибудь в гостях, возникало лишь чувство взаимной симпатии.

Тут вернулись Диана и Китти. Они шумно засуетились вокруг уходящего на войну солдата. Диана пошла проводить его через розовый сад к подъездной аллее. Китти секунду смотрела ему вслед.

— Ах, как мне хотелось, чтобы она вышла за него замуж.

— А! — произнес Бэрден, печально соглашаясь с ней.

— А не за Билли.

— А! — Бэрден взял еще одну сочную ноту. Ветерок донес запах роз.

VI

— Нравится Билли в газете?

— Очень. Как Инид?

— Прекрасно. Она живет в Джорджтауне.

— Очень мило. А мы теперь на Висконсин-авеню.

— Тебе нравится работать в приемной отца?

— Да, это интересно. Вот только избиратели...

Клей сел в машину. Разговаривать с Дианой никогда не было особенно легко, а теперь и подавно. Мало помогало даже то, что они избегали смотреть друг другу в глаза.

— Береги себя,— сказала она.— Ну, там, на фронте.

— Ладно. Береги... отца.— Они попрощались за руку. Он пустил мотор. Хорошо, что он на ней не женился и для него все свелось к неклеившимся разговорам. Даже Инид была лучше: во всяком случае, никогда заранее не знаешь, чего от нее ждать.

— Тебя могут убить! — в неистовстве воскликнула она.

— Это решило бы все.

— Я никогда не прощу себе, если тебя убьют! Никогда! У меня будет такое ощущение, что я невольно приложила к этому руку. Ты нравишься Джо, ты знаешь?

— Интересно, с чего бы?

— На него произвели большое впечатление какие-то твои слова, которые я ему передала. Джо прекрасно разбирается в людях, а уж на рояле играет как бог.— Инид сделала затяжной глоток из бутылки с кока-колой. По ее словам, вот уже несколько недель, как она перестала пить: «Пока не кончится война. Это мой вклад в победу».

— Ну, с ним-то ты не перестанешь встречаться, пока я буду на фронте.

— Если ты этого хочешь, *действительно* хочешь — перестану.— Она смотрела на него в упор. Не в пример Диане, она всегда смотрела ему прямо в глаза. И взгляд ее был особенно тверд и чистосердечен именно

тогда, когда она лгала. Интересно, врет она сейчас или нет, подумал он.

— Я действительно этого хочу,— привычной фразой ответил Клей.

Она вздохнула:

— Таких эгоистов, как ты, я еще никогда не встречала. Ты думаешь только о своем удобстве. Если б ты хоть на минуточку подумал обо мне, этого никогда бы не случилось.— Она обвела рукой гостиную. Под «этим» явно подразумевался ее дом в Джорджтауне.

Он поспешно сделал несколько следующих ходов:

— Если бы я каждый вечер водил тебя в гости, ты бы не переспала с Эрнесто. Но я предпочел делать карьеру, из которой, между прочим, ничего не вышло, вместо того, чтобы быть с тобой двадцать четыре часа в сутки, и тогда ты стала спать с морячком Джо. Да, да, да.

Она с упреком глядела на него. Правила игры были священны. Никому не дозволялось перескакивать через чужой ход.

— Если ты намерен говорить со мной таким тоном,— сказала она, сама впадая в этот тон,— зачем ты вообще сюда пришел?

— Оставить тебе машину и проститься с девочкой.

— Она гуляет с няней. В зоопарке. Они вернутся не раньше пяти. Разумеется, ты можешь зайти еще раз. А машина мне не нужна. Скорее всего, ты просто-напросто хочешь иметь даровой гараж.

Перебивая друг друга, они пустились, каждый на свой лад, объяснять, почему он хочет оставить ей машину, и предмет спора был далеко не исчерпан, как вдруг приехал Блэз.

— Опять ссоритесь? — Блэз казался холодным и каким-то особенно компактным в своем летнем костюме; лицо его не лоснилось от жары, а только покраснело — это было для него обычно.

— Папочка! А мне-то говорили, что ты в Уотч-хилле. Получается, что все семейство в сборе. Питер тоже недавно вернулся, вот все мы и вместе.

— Пока я не уеду,— бесцветным голосом сказал Клей.

— Пока ты не уедешь. Это ужасно, папочка. Ты понимаешь, что его могут убить? Неужели ты не можешь оставить его дома, как Питера?

— Он не хочет оставаться дома. Я уже предлагал ему. Он упрямый.— Блэз улыбнулся Клею. Мир мужчин сомкнул ряды.

Увидев себя в изоляции, Инид решила мстить:

— Послушай, папа.— Когда «папочка» сменялся на «папу», это означало, что Инид переходит к серьезному разговору.— Он требует развода.

— Я выразился не совсем так...— Но Клей уже потерял инициативу.

— Нет так. И по-моему, это глупо. А по-твоему, папа? Особенно сейчас, когда у нас есть ребенок и Клей может сколько угодно развлекаться на Гавайских островах.

— Да, я тоже думаю, что это глупо.— Блэз произнес эти слова совершенно спокойно. Он повернулся к Клею: — Мы не хотим тебя терять.

Клей был признателен за это проявление интереса. Он еще может выиграть игру против Инид. Перспектива победы вдохновила его:

— Будь Инид чуточку благоразумней, я бы не особенно возражал, принимая во внимание все обстоятельства.

Его наглость возымела действие. Инид тигрицей вскочила на ноги, произведя впечатление даже на матерого тигра — своего родителя и собрата по хищничеству.

— Благоразумна! Будто не он первый все начал!

Ее голос повысился, но она абсолютно владела собой Клей как завороженный смотрел на нее, а она без запинки излагала свое дело перед апелляционным судом, не оставляя ни одной лазейки, сквозь которую могла бы просочиться правда. Когда она описывала его прелюбодеяние с

мнимой аргентинкой, он был поражен: неужели она действительно верит в то, что говорит? Клей с беспокойством поглядывал на Блэза: верит ли он? Инид расхаживала перед камином, словно оружие сжимая в кулаке бутылку кока-колы. Но судьба благоволила Клею: с громким «Привет, детка!» Джозеф Бейли, капитан военно-морского флота Соединенных Штатов, ввалился в комнату, неся целую охапку пластинок в руках.

Инид осеклась. Блэз в изумлении воззрился на пришельца. Клей сказал:

— Здравствуйте, я муж,— собираясь если не продолжать игру, то по крайней мере взять реванш.

— Я принес Инид пластинки.

Джо положил их на патефон. Инид поставила бутылку: королева, расстающаяся со скипетром.

— Папочка, это капитан Джо Бейли, мой друг.

Они обменялись рукопожатием, и Клей с замиранием сердца увидел в глазах Блэза ту ярость, которая вплоть до последнего времени предназначалась только ему, а теперь была направлена на Джо.

— Я как раз проходил мимо. Шел на службу.— Молчание Блэза растекалось по комнате, словно весть о чуме. Но Джо не сразу сообразил, что к чему.— Инид много рассказывала мне о вас,— обратился он к Клею с деланной непринужденностью, не подозревая о том, что его час уже пробил.

Инид смотрела на отца с зачарованностью ребенка, ожидающего скорого и неминуемого наказания.

— Надеюсь, она не слишком меня очернила.— Клей начал входить во вкус ситуации.

— Вовсе нет. Вовсе нет.— Капитан повернулся к Блэзу и открыл свой второй фронт.— Сэр, нас страшно обрадовала передовая статья в вашей газете на прошлой неделе, ну, насчет сдерживания коммунизма после войны. Это была потрясная штучка.

Клей не мог сказать в точности, что именно рассмешило Блэза; возможно, роль детонатора сыграла «потрясная штучка». Так или иначе, Блэз расхохотался. Это был не его обычный нарочито оглушительный смех, от которого людям становилось не по себе, а неподдельно веселый, заражающий своей непосредственностью. Инид не могла прийти в себя. Она хватала руками воздух, словно ловила невидимые бутылки кока-колы. Капитан не знал, что думать.

— Не пойму, что вас так рассмешило, сэр.

— Ничего, ничего.— Блэз приложил короткий, словно обрубленный, палец к глазу, снимая прозрачную, как алмаз, слезу.— Я его уволил, только и всего. Человека, который это написал.

— На каком основании, сэр?

— Основании? — Знакомо грозное, нахмуренное выражение расползлось по лицу Блэза, глубокими морщинами залегло между бровями.— Мы союзники с Советами. Они нужны нам для войны с японцами. Мы не должны подрывать их силу. Сейчас еще рано говорить о сдерживании коммунизма.

— Говорить об этом никогда не рано.— Капитан был мрачен, словно туча. Его голос дрожал от идейного накала и недомыслия.

— Возможно, это так — во флоте.— Блэз указал на его форму, словно не видел разницы между нею и формой билетерши в кино.

— Некоторые из нас смотрят вперед. Мы всегда считали вас своим человеком.

— *Своим?* — Презрение было выражено бесподобно.— По-моему, все, что вам надо — это послужить как следует в армии, вот как Клей. В Вашингтоне можно вконец разложиться, если не заниматься настоя-

щим делом.— Сразив наповал капитана, Блэз окрылил надеждой Клея:— Тебя подвезти? Я на машине.

Тут только Инид вернулась к жизни:

— Клей, я хочу сказать тебе пару слов, это ненадолго.— Она повернулась к уничтоженному капитану.— Увидимся потом.

— Конечно.— Джо пытался вложить в свой голос первоначальную бодро-радостную интонацию, но безуспешно. Он удалился, не подав никому руки и лишь обведя неопределенным жестом комнату — это была его единственная дань уважения хозяину, с которым он так внезапно столкнулся.

— Папа, ты не мог бы подождать Клея в машине?

— Как угодно, дорогая.— Он поцеловал дочь в щеку и вышел.

— Он очень мил, этот твой морской капитан.

— А, заткнись. Послушай, ты хочешь развода или не хочешь?

— Тебе решать.— Это был его обычный ответ.

Инид налила себе в стакан виски, рука ее дрожала.

— Ну так я не хочу. У нас дочь, хотя, видит бог, ты совсем не уделяешь ей внимания. Джо много возится с ней, водит по разным местам.

— А я-то думал, он все время только тем и занимается, что сдерживает коммунизм.

— Вы с отцом можете смеяться сколько угодно, но они действительно прибирают к рукам страну.— Инид без всякого перехода яростно обрушилась на «элементы», которые строят козни против добродетельных американцев, но затем — это было так на нее похоже — что-то из сказанного напомнило ей о себе; она оставила республику в руках красных и снова принялась спасать свой брак.— Я перестану с ним встречаться, если ты действительно этого желаешь, хотя он настоящий мужчина, каких мало.

— Хорошо,— сказал он.— Не будем ничего решать до моего возвращения, если я вообще вернусь.

— Не уезжай! То есть уезжай, конечно, на Гавайские острова или куда-нибудь еще. Только не туда, где бои. Что я буду делать, если тебя убьют?

На этот явно риторический вопрос было слишком много ответов. Он утешил ее. Поцеловал. Рука об руку они спустились по кирпичной лестнице к длинному «кадиллаку», в котором сидел Блэз и спокойно читал газету. Шофер открыл заднюю дверь. Блэз поднял на них глаза:

— Все улажено?

Инид обняла Клея так, словно он шел на верную смерть. А что, очень даже может быть, что он идет на верную смерть, подумал Клей, мягко высвобождаясь из ее объятий и садясь на заднее сиденье. Шофер захлопнул дверцу. Теперь его отделяли от Инид металл и стекло. Ее губы продолжали шевелиться, но он не слышал слов через закрытое окно, к тому же начал работать мотор. Когда машина тронулась, Инид большим глотком осушила стакан, который держала в руке, и побежала обратно в дом. Интересно, подумал Клей, суждено ли им еще когда-нибудь свидеться.

— Кажется, она снова начала пить?

— Пить? Не думаю. По-моему, она пила кока-колу.

— Когда она вышла, в стакане было виски.— Блэз констатировал это тоном бесстрастного наблюдателя.— Развода не будет?

— Не будет. По крайней мере в ближайшее время.

— Хорошо.

Оба замолчали. Машина выехала из Джорджтауна и свернула на широкую улицу, застроенную низкими зданиями.

— Ты должен ехать, если хочешь, чтоб мы протолкнули тебя в конгресс.

Клей повернулся и взглянул на Блэза:

— Знаете, я страшно признателен вам за помощь — тем более после того, что случилось между мною и Инид.

Блэз отвел глаза, явно смущенный.

— Инид — проблема. Мне не нравится, что она с собой делает. Эти ее запои. И этот флотский болван.

— Должно быть, я сам во многом виноват.

Клей пустил пробный шар, и Блэз немедленно откликнулся:

— Совершенно верно. Кстати, я велел Гарольду Гриффитсу не спускать с тебя глаз. Он все время будет где-нибудь поблизости.

— Нельзя сказать, чтобы мы с ним особенно дружили.

— Это не имеет значения.— В холодных интонациях Блэза Клей услышал голос власти.— Если ты совершишь что-нибудь примечательное, Гарольд напишет, а я напечатаю. Я хочу, чтобы ты пошел далеко.

— Почему? — Простота, с какою выразил свою мысль Блэз, требовала прямого вопроса.

— Мы как-то уже говорили об этом — в Лавровом доме, несколько лет назад.— Блэз был предельно точен.— Я тогда еще сказал, что ничем не стану облегчать тебе продвижение в жизни. У меня были на то причины, и у меня есть свои причины теперь. Они сугубо личного свойства и, возможно, не особенно благовидны.— Блэз отвел взгляд.— Я сказал тебе, что хоть теперь я и *богатей,*— его хрипловатый голос искусно выделил курсивом пренебрежительное слово,— в свое время я хотел в общем того же, что ты сейчас, и я своего добился. Своим собственным путем, который, наверно, и вполовину не так хорош, как твой.— Он нахмурился.— Если б республиканцы победили на последних выборах — у них заведомо не было шансов, но предположим,— я бы стал послом в Италии. Только, видишь ли, все это так, второй сорт.

— Быть послом в Италии?

Блэз кивнул.

— Для меня — второй.— Он констатировал это как факт.— Но на большее я не могу рассчитывать, у меня нет будущего. А у тебя будущее есть. И оно может быть прямо-таки великолепным. Ты хоть сам-то это понимаешь?

— Да.— Клей не уступал Блэзу в горделивом прямодушии.— Я всегда это знал.

Блэз рассмеялся:

— Молодец! Ты совсем как я, вот только не богатей, а потому и возможностей у тебя больше.

— Без денег у меня вообще нет шансов добиться чего-либо действительно грандиозного.

— Не беспокойся, у тебя будет все, что надо.

Клей невольно подивился, *почему* Блэз решил оказать ему поддержку. Уж конечно не ради Инид, ибо теперь стало ясно, что Блэз променял дочь на зятя, словно он не мог одновременно любить обоих или, лучше сказать, быть «заинтересованным» в обоих, поскольку Блэз, похоже, вообще никого не любил. В зависимости от настроения он мог с одинаковым благодушием или пренебрежением отзываться о жене, сыне, дочери.

Пока что — Клей это понял — он заручился заинтересованностью Блэза и должен выжать из нее все. Как бы между прочим он заговорил о значении денег в политике, о том, как трудно людям вроде Бэрдена выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. При упоминании о Бэрдене Блэз резко выпрямился, так что спинка сиденья отлетела назад.

— Ох, этот Нилсон!

— А что с ним такое?

— Вы... вы вели с ним какие-нибудь дела?

Клей заставил свой голос звучать ровно, вынудил себя к хладнокровию:

— Вели — и притом целую кучу. В конце концов, он заправлял нашими финансами в сороковом году.

— Ты не заметил ничего подозрительного?

Клей отрицательно покачал головой.

— Нет, не заметил. То есть, понятно, мы обходили закон об ограничении расходов на предвыборную кампанию, но...

— Нет, не то. Что-нибудь сомнительное между ним и сенатором?

— Если что и было, то мне об этом неизвестно.— Говорить правду в таких случаях почти никогда не следовало.— А что вы узнали?

— Нилсона хотят судить. Правительство. За какую-то мошенническую проделку. Подробности неизвестны. Я узнал об этом от нашего специалиста по финансам в Нью-Йорке.

— Надеюсь, сенатор непосредственно не замешан?

— Нет. Но он затронут постольку, поскольку Эд собирал для него деньги.

Клей с облегчением вздохнул. Очевидно, речь шла не о покупке земли у индейцев, а о чем-то другом.

— Ему ставят в вину связь с подсудимым?

— Бедный Бэрден. Туго ему придется на первичных выборах.

— Вы поддержите его?

Блэз кивнул.

— Но я рад, что ты теперь встал на ноги. У него могут быть неприятности.— Блэз предложил Клею сигару. Оба не спеша закурили. Когда дым наполнил машину, Блэз открыл окно и мягко сказал:— Я любил Эда.— Клей обратил внимание на прошедшее время.— Он был с нами в одном клубе. Плохие для нас настали времена.— Блэз коротко рассмеялся.— Уитни тоже был членом клуба. И угодил в тюрьму. Что-то скис наш капитализм, а?

— Может, им еще не удастся съесть Эда.

Но Блэз уже устал от этой темы. Он повернулся к Клею: темно-желтые белки глаз, черная радужная оболочка неотличима от зрачков.

— Мы своего добьемся! Слышишь?

Глава пятая

I

— В Вашингтоне это единственное место, сколько-нибудь похожее на салон, — сказал сержант Иниэс Дункан старшине младшего разряда Питеру Сэнфорду, выходя с ним на Дюпон-сэркл.

Питеру захотелось поершиться:

— А что такое салон? Да и нужна ли нам такая штука в Вашингтоне? И для чего идти в «место, сколько-нибудь похожее»?

Иниэс терпеливо объяснил, что там можно хотя бы по-человечески поговорить, почти так же, как в Нью-Йорке — городе, где Иниэс вступил в армию, чтобы убивать нацистов. Но вместо этого его послали в Вашингтон придумывать средства и методы поднятия морального духа войск, уставших от скуки и безделья за три года войны. До войны Иниэс преподавал философию и писал бесчисленные статьи о литературе и политике. Несмотря на возраст (ему было сорок пять) и слабое здоровье (он стра-

дал астмой, слишком много курил и из-за плохого зрения был не пригоден к несению воинских обязанностей), он был зачислен на военную службу и попал в соседний с Питером отдел, где выдавал чудовищную массу писанины, значительная часть которой размножалась на мимеографе. Ему не нравился Вашингтон, но он добросовестно старался прижиться в этом, на его взгляд, провинциальном городке и, подобно чеховскому герою, с печалью говорил о своем отлучении от настоящей столицы. Вашингтон для него попросту не существовал. Он обожал теоретические аспекты политики, практическая же ее сторона его не интересовала. До тех пор, пока общественная система не будет коренным образом изменена, утверждал он, бессмысленно даже пытаться понять нынешнюю структуру власти.

Иниэс недавно развелся с женой, жил один и часто проводил свободные от службы часы с Питером. Поменявшись с ним ролями, Питер, коренной вашингтонец, видел только нью-йоркских друзей Иниэса, по большей части прикомандированных к Пентагону писателей. Некоторые из них, как ему говорили, были знамениты, хотя он ни одного не знал. Но ему импонировало их лютое презрение ко всему тому, что его учили ценить.

Как-то вдруг, прожив с год в Вашингтоне, Иниэс открыл для себя коренных вашингтонцев.

— Знаешь, тут есть интересные люди, я имею в виду человеческие типы, конечно. Ну вот, про каких читаешь в романах, написанных дамами с двойным именем. Одна такая тетя мне особенно нравится. Она представляет старую Америку в лучшем смысле слова, если только эти понятия совместимы.

Без особой охоты Питер согласился пойти в гости к этому воплощенному совершенству, понимая, что, если он с ней знаком, его песенка спета и его новые друзья узнают, что он — сын известного фашистского негодяя, как они именовали его отца.

Когда они вышли на Дюпон-сэркл, Иниэса тоже взяло сомнение: он вовсе не был убежден в том, что Питер понравится хозяйке дома.

— Богачи — премерзкий народ, — с беспокойством начал он. — Если ты уверен, что сможешь ее переварить...

— Постараюсь, — кротко ответил Питер.

Иниэс и его нью-йоркские друзья полагали, что отец Питера был скромным правительственным чиновником. В результате этой лжи во спасение он впервые в жизни получил возможность быть всецело самим собой, избавившись от необходимости оправдывать или осуждать своего отца. Это было весьма приятное ощущение. Он только сейчас осознал, как много он терял от обсуждения или, еще хуже, от намеренного необсуждения Блэза, «Вашингтон трибюн» и запутанных связей его семьи.

Иниэс остановился перед большим желтым особняком с затейливыми коваными воротами.

— Это здесь,— сказал он.

— Милисент Смит-Кархарт! — не удержавшись, воскликнул Питер. Вот и конец маскараду.

Иниэс был поражен:

— Ты с ней знаком? Ну, естественно, — ответил он самому себе. — Можно ли жить в Вашингтоне и *не* знать этого места. В те дни богатые полагали, что они должны выделяться. — Сделав такой вывод, он нажал кнопку звонка.

Им открыла служанка. На мгновение Питеру показалось, что она узнала его, и он быстро надвинул на глаза пилотку, маскируя лицо.

— Мадам в библиотеке, — сказала служанка, явно не в восторге от их внешности.

Питер повернулся и пошел в библиотеку.

— Верно, — сказал Иниэс, — это там. Надеюсь, она не назначит нам темы для обсуждения. Иногда это с ней случается.

— По-моему, ты сказал, что мы будем просто беседовать, а не участвовать в семинаре.

Милисент знали все. Она была племянницей забытого ныне президента, который управлял страной в безмятежные годы конца прошлого столетия.

Гостиная, по замыслу хозяйки, должна была производить впечатление — изысканные панели, китайские ширмы, но, как и сама Милисент, имела вид несостоявшегося великолепия. Занавеси были истрепаны и поблекли, стулья расшатались и требовали ремонта, неизбежные портреты королевских особ в серебряных рамах потускнели.

— Как хорошо, что вы пришли, мистер Дункан! — Милисент схватила Иниэса за руку с таким видом, словно он принес ей счастье. Она была высокого роста, от дяди-президента унаследовала массивную челюсть, но глаза цвета гальки у нее были свои.

Иниэс нервничал.

— Миссис Кархарт, ничего, что я привел с собой друга?

— Конечно, конечно.— Милисент протянула было Питеру руку, но, услышав имя «Питер Сэнфорд», обняла его, к великому изумлению Иниэса.— Господи боже, и что только делают в армии такие дети!

— Я уже вырос, миссис Кархарт. Я больше не ребенок.

— Ух, время! — выкрикнула Кархарт имя своего врага. — Где Блэз? Где Фредерика?

— Они в Хоб-Саунде, — доложил Питер, — но к рождеству должны вернуться в Лавровый дом.

— У них будет новогодний прием?

— Да, конечно.

— Тогда я там буду. Это единственный раз в году, когда меня приглашают в Лавровый дом. Я для них недостаточно именита. Подумать только, он уже в армии! Дэниел! — позвала она своего мужа, высокого, удивительно спокойного человека с лицом в красновато-коричневых пятнах.— У нас Питер Сэнфорд и мистер Дункан, тот самый критик, о котором я тебе говорила,— или, может быть, мне следует называть вас капитан?

Иниэс отрицательно покачал головой, дивясь неожиданному преображению Питера. Но не успел Иниэс накинуться на своего приятеля с расспросами и упреками, как мистер Кархарт увел Питера с собой, а Милисент начала представлять Иниэса — «знаменитого критика» — своим гостям, которые никогда о нем не слыхали. Но это не имело значения для Милисент: она старалась создать салон. Питер не очень ясно представлял себе, что такое настоящий салон, но почему-то считал, что наряду с блестящими рассказчиками в нем должны быть превосходные слушатели, достаточно образованные, чтобы оценить все намеки и нюансы, содержащиеся в разговорах. Однако ему еще ни разу не довелось побывать в таком месте. В домах, куда он был вхож, говорили только о политике, все прочие темы, как правило, вызывали либо замешательство, либо скуку.

— По-моему, на чай звана твоя сестра Инид, — медленно произнес мистер Кархарт, подводя Питера к длинному, застланному кружевной скатертью столу, за которым разливали чай и кофе две пожилые служанки в серых форменных платьях. Потом он вежливо спросил: — Когда же кончится эта война? — и, не ожидая ответа, исчез. Никто не знал теперь ответа на этот вопрос. До недавних пор казалось, что надоевшая всем война близится к концу, но затем у Германии и Японии открылось

второе дыхание. Японцы это называли «божественным вдохновением»: камикадзе, пилоты-смертники, направляли свои самолеты прямо на врага и сами погибали при взрыве. В Европе немцы неожиданно остановили наступление союзных войск. Союзники несли тяжелые потери. Питер получал письма от своих друзей из Первой армии: они писали, что дела на фронте дрянь, и хвалили его за то, что он так предусмотрительно остался в Пентагоне. Но чувство вины не мучило его. Он с самого начала решил выжить, и пока что это ему удавалось.

Внезапно перед ним выросла Диана. Он чуть не подавился, одним глотком допил чай и пожал ей руку.

— А я и не знала, что ты бываешь у Милисент, — насмешливо сказала она.

— Меня привели. — Она показалась ему необычайно миловидной.— Где Билли?

— А я откуда знаю? — Голос ее звучал резко. — Мы с ним поцапались.

— Хуже обычного?

— Куда там! Он дал показания против Эда Нилсона. Отец в бешенстве. Я тоже.

— А кто такой Эд Нилсон?

— Он собирал деньги для отца в сороковом году. Нефтепромышленник...

Питеру смутно припомнилось, что он читал недавно в газете о нефтепромышленнике, обвиненном в каких-то махинациях.

— ...Его судят в Нью-Йорке. И Билли дал против него показания. Он даже втянул в это дело Белый дом. После всего, что Эд сделал для отца и для меня, это так... гнусно.

— А что ты тут делаешь? — спросил Питер.

— Хочу немножко порастрясти мистера Кархарта. Для журнала.

— Все ищешь благодетеля?

Диана кивнула.

— Если хочешь, я возьму его за бока.— Ему очень хотелось сделать что-нибудь для Дианы, потому что она была зла на Билли, и если бы он мог теперь сослужить ей службу... Она страшно обрадовалась, и это обрадовало его.

На полпути к мистеру Кархарту его остановила Люси Шэттак. Она познакомила его с морским офицером: выяснилось, что это знаменитый киноактер, приписанный к Пентагону. Актер оказался низкорослым и удивительно чопорным человеком. Вашингтонские дамы были от него без ума.

— *Он* ни за что не протянет еще один срок,— выразительно заявила Люси.

«Он» — это, конечно, был президент, который преследовал их всех, как кошмар. Однако люди восприняли четвертый срок его президентства гораздо легче, чем третий: они явно сообразили, что для них же лучше, если в нынешние кровопролитные времена этот курицын сын будет править ими. Что касается Питера, то ему этот стареющий Люцифер казался скучным и многословным, и всякий раз, наткнувшись в газете на его фотографию, он спешил переключиться на какой-нибудь другой раздел, чтобы не видеть этого изможденного, сосредоточенного лица со странным темным пятном над левой бровью, как будто техника печати каждый раз давала осечку и капля типографской краски расплывалась на одном и том же месте из года в год, из номера в номер.

Актер с этим не согласился.

— Не то чтобы я был за Новый курс, — мягко сказал он тем самым голосом, который доставлял столько удовольствия миллионам людей, в том числе и Питеру, которому вдруг захотелось, чтобы все это было филь-

мом и каждому была отведена волнующая и уже разученная роль. — Но не далее как на прошлой неделе я был на обеде в Белом доме, и мне показалось, что он в отличной форме. А вот Дьюи был какой-то чудной. Должен признаться, он меня просто рассмешил, хоть я и голосовал за него.

Люси воздала должное герою экрана, рассказав ему одну важную сплетню. Судя по всему, президент, умирая от неоперабильного рака, завел интрижку с норвежской наследной принцессой, которая что-то слишком много времени проводит в Белом доме.

— В довершение всего он подарил ее стране истребитель подводных лодок! — Люси разразилась хохотом, и кончик ее носа заходил вверх и вниз.— Ну, чего еще можно от него ожидать? Люди дарят любовницам бриллиантовые браслеты, а он подарил своей истребитель подводных лодок!

Прямо перед собой, на другом конце комнаты, Питер увидел Айрин Блох, с которой чрезвычайно радушно здоровалась хозяйка. Что это, новый союз? — не без любопытства подумал Питер.

— У миссис Кархарт интереснейшие гости, — осторожно заметил актер.

— Всякой твари по паре, — несколько неосмотрительно заявила Люси, ибо как раз пара вышеназванных «тварей» стояла перед ней.— Я хотела сказать, — поправилась она, — теперь у нее совсем не то, что в добрые старые интеллигентные времена, когда меня сюда не пускали, а Генри Адамс читал здесь свои лекции. Ну, а теперь Милисент довольствуется простым людом, вроде нас с вами. — Однако присутствующих никак нельзя было назвать «простым людом», притом их связывало между собой разве только сознание того, что комната, куда они ненадолго попали, была одним из последних мостов между Вашингтоном девятнадцатого века и столицей новой империи, армии и флоты которой распространились по всей земле от Борнео до Рейна.

Питер взглянул на портрет кряжистого президента, висевший над камином, и попытался угадать, что бы подумал тот о новоявленной Американской империи, столь не похожей на старую республику, веселым слугой которой он был. Перемены в стране, отразившиеся и на городе, произошли столь внезапно, что Питер вовсе не удивлялся тому, как мало людей их замечает. Люди проснулись в один прекрасный день и обнаружили, что по божьему велению, а не по чьему-либо расчету родилась Американская империя, призванная управлять миром. Он вовсе нам не нужен, этот мир, ворчали заправилы из высших сфер, прибирая к рукам базы и торговые пути, но кто еще может обуздать наци и япошек? Кто еще может сохранить мир путем войны?

— Эта война — просто кошмар какой-то. — Похоже было, что Люси задумывалась над этим больше, чем над многим другим. — В конце прошлой недели я была у Милисент в Мэриленде. У нее там дом в очень красивом месте, — пояснила она актеру, и тот сказал: да, он знает. — Так вот, к ней приехала погостить на денек миссис Осборн, ну, знаете, которая всегда ратует за то, чтобы сохранить Джорджтаун так, как он есть. — Питер сказал: да, он знает. — Она хотела, чтобы Милисент стала членом какого-то там комитета, и мы всё подробно обсуждали, а день был такой теплый... Воскресенье, совсем как весной... Ну, мы сидели на воздухе внизу, возле этого ужасного пруда, в нем еще столько тины, что иначе как трясиной его не назовешь. Так вот, зазвонил телефон, Милисент сняла трубку и сказала, что просят миссис Осборн. Ну, не поговорила она и двух минут, как вдруг попятилась от телефона, зацепилась за удлинительный шнур и полетела вверх тормашками прямо в пруд. Хорошо еще, Милисент здорова, как бык, она вытащила миссис Осборн на берег. Так вот, стоит она, бедняжка, перед нами — сухой нитки на ней

нет, зубы лязгают от ужаса, вся облеплена листьями — и говорит нам, что ее сын Скотти, этот славный парень...

Рука, сжимавшая шоколад, оледенела. «Мертв», — пронеслось в голове у Питера за мгновение до того, как Люси Шэттак сказала:

— ...убит на острове Сайпан, пуля попала прямо в голову. Он служил в морской пехоте.

Люси все говорила и говорила, и ее голос звучал словно издалека, как по телефону, когда плохая слышимость.

— Пойдем, — сказала Диана, беря его за руку. — Извините, миссис Шэттак. — Она оторвала его от гонца, принесшего печальную весть.

— Куда? — спросил он, удивляясь тому, что еще может говорить. Он попытался мысленно представить себе момент смерти Скотти и был вознагражден застывшим кадром: Скотти подает мяч в бейсбольном матче под пальмами, а из пианолы-автомата по соседству несутся звуки песни «Ты — это все», исполняемой бесцветным басом самого Скотти— голосом, которого он, Питер, никогда больше не услышит.

— Мистер Кархарт ждет. Он у себя в кабинете.

— Ждет чего? — Питеру не хотелось больше жить, хотелось, чтобы все остановилось, сказать: «Спасибо, с меня довольно», и рухнуть на пол с пулей во лбу.

— Вот макет. — Диана подала ему пробный номер «Американской мысли». — Идем. Вон туда. — Она подтолкнула его к двери.

Мистер Кархарт стоял за столом, на котором были разложены какие-то таблицы с множеством небольших квадратиков, частью пустых, частью надписанных.

— Генеалогическое древо, — любезно пояснил он. — Я проследил род Кархартов вплоть до Роберта Брюса, по обеим линиям.

— Это должно быть интересно, сэр. — В одной руке Питер судорожно сжимал макет «Американской мысли». Растаявший шоколад в другой грозил закапать на ярко-красный ковер. Не без отвращения Питер понял, что драматизирует не смерть Скотти, а собственное горе.

К счастью, слухи о том, что мистер Кархарт зануда, не были преувеличены. Подобно всем величайшим занудам, он не только имел набор своих тем и анекдотов с бородой, но и был способен на стихийные вспышки непроходимой тупости. Как раз это и было нужно сейчас Питеру.

— Вот видите, у меня все в порядке с девятнадцатым и большей частью восемнадцатого века. Разумеется, тут и там встречаются лакуны, но в общем линия Кархартов ясна. Ну, а в семнадцатом веке есть несколько небольших проблем. — Он нахмурился: очевидно, проблемы были достаточно серьезные. — Вот тут у нас связь с сэром Томасом Брауном, это весьма интересная связь, но она целиком зависит от этой вот дамы.— Он ткнул в один из квадратиков.— *Кто* был ее первый муж? Связаны ли мы с ее детьми от первого брака или от второго?

Пока выяснялся этот вопрос, Питер присматривал, куда бы сгрузить шоколад, который он держал в руке. Это было дело рискованное, так как мистер Кархарт, требуя от жертвы безраздельного внимания, обладал способностью холодным взглядом пригвождать к месту всякого слушателя, которому вздумалось бы заерзать или зевнуть, не открывая рта.

Наконец обязательный номер программы закончился, и Питер вручил Кархарту макет «Американской мысли» и одновременно произнес перед ним речь.

На Кархарта его доводы как будто произвели впечатление.

— Да, что-то в этом роде нам было бы полезно. Как говаривал мой друг Генри Адамс: «Вашингтон—это культурная пустыня». Представляю, какая это была для него пытка: жить напротив Белого дома и знать, что сам он там никогда жить не будет, в отличие от своего деда и прадеда, которые жили там.

Иниэс Дункан первый обратил внимание Питера на то, что каждый из именитых вашингтонских родов, подобно средневековой римской знати, основывался на одном-единственном выдающемся человеке. В Риме это был папа, в Вашингтоне — президент или прославленный законодатель. И еще долго после того, как имя знаменитости бесследно стиралось в памяти людей, ей продолжали поклоняться у домашнего алтаря, ибо она являлась единственным источником славы рода, основой всех его притязаний. К примеру, Милисент, говоря о дяде, называла его не иначе, как «президент», словно до него не существовало тридцати других.

— Я не стану вкладывать деньги в такое предприятие, — изрек наконец мистер Кархарт, прожевав длинный ряд воспоминаний о дне, проведенном с Генри Адамсом, дне, в течение которого, как выяснилось, не было сказано ничего такого, что так или иначе не касалось бы генеалогического древа Кархарта. — Но... — В маленьких тупых глазках за золотым пенсне вроде бы даже сверкнул огонек.—...я подпишусь на первый год издания.

Чтоб ты сдох, подумал Питер и, запустив руку с шоколадом под стул, мстительно вытер ее о сиденье, нисколько не заботясь о том, видит это мистер Кархарт или нет. Преступление прошло незамеченным, ибо как раз в эту минуту Милисент просунула голову в дверь.

— А ну-ка, вы там, займитесь лучше тем, зачем вас сюда позвали. Питер, твоя сестра здесь.

Джо Бейли сердечно хватил Питера по плечу:

— Как живешь, цыпленок?

— Что ты здесь делаешь? — одновременно спросили Питер и Инид друг друга и засмеялись, радуясь уже одному тому, что они такие одинаковые. Питер объяснил, по какому делу он пришел к мистеру Кархарту. Инид сказала, что Джо захотелось познакомиться с вашингтонским обществом.

Как обычно, вокруг Инид стал собираться кружок, и Питер оставил ее. Она уже успела выпить, но твердо держалась на ногах и говорила отчетливо. Однако Джо Бейли не отходил от нее ни на шаг, словно боялся, что она может упасть.

— Кто эта женщина? — Иниэс был тут как тут.

— Моя сестра.

— Это было свинство с твоей стороны — так меня надуть.

— Я хотел, чтобы вы полюбили меня ради меня самого.

Чтобы спасти лицо, Иниэс перешел к пассивной обороне:

— Пожалуй, это самые никчемные люди, каких мне приходилось встречать.

И он, Иниэс, принялся ожесточенно поносить заманчивый мир, в который ему так не терпелось протиснуться; желая сохранить его дружбу, Питер поддакивал ему. Тут появилась Диана — ей не терпелось узнать новости. Питер предпочел говорить без обиняков.

— Пустой номер. Он не дает ни гроша.

— Не может быть!

— А почему бы тебе не пустить в дело собственные деньги—сэнфордовские миллионы? — Иниэс решил: мстить так мстить.

— Миллионы не у меня. Миллионы у моего отца, и я не думаю, чтобы такой журнал пришелся ему по вкусу. Но... — Он повернулся к Диане и посмотрел ей прямо в глаза.—...я помогу тебе его выпустить. Обещаю.

Диана недоверчиво глядела на него.

— Правда?

Да, Питер сказал это всерьез. Пора бездействия кончалась. Годы, проведенные в школе и в армии, можно сказать, пропали зазря. Теперь он должен положить конец своей пассивности и сделать что-то само по себе важное и в то же время такое, что порадовало бы Диану, особенно

сейчас, когда она поссорилась с Билли. Нечестивое побочное соображение он попросту отмел.

— Ну, пошли, — сказал он Диане, удивив этим больше себя, чем ее.

— Хорошо, — ответила она. — Я только возьму пальто. Встретимся в вестибюле.

— Я знаю ее мужа. С ним нелегко иметь дело. — Иниэс смотрел на него проницательным взглядом.

— К счастью, мне не обязательно иметь с ним дело. — И Питер простился с Иниэсом, сохранив в целости уже потрепанные узы дружбы.

Проходя через всю комнату, чтобы попрощаться с хозяйкой, Питер услышал, как Инид говорила Айрин Блох:

— Нет, я, ей-богу, с удовольствием приду посмотреть ваш новый дом. Я слышала, теперь все к вам ходят. Вот уж никогда не понимала, за что они вас травили столько времени.

Айрин Блох побледнела еще больше, если это вообще было возможно, — снежный сугроб под безжалостным солнцем Инид.

— Да, да, — весело ответила Айрин. — Да, да, — с отчаянием повторила она, уповая на перемену погоды. И перемена явилась в лице Питера.

— Здравствуйте, миссис Блох.

— Ах, Пьер! — Она повернулась к нему, взяла его руки в свои и уже не отпускала. — Вы тоже приходите. У меня будет скромный прием. Un petit cocktail*.

Хотя Питер желал ей всяческого добра, его все же передернуло, когда она назвала его Пьер.

— Мы так редко вас видим, — оживленно продолжала она, и Питер мысленно спросил себя, кого она имеет в виду, говоря «мы». Он был с ней едва знаком, и лишь чудовищное поведение сестры заставило его прийти к ней на помощь. — Но я вас понимаю, эта ужасная война навалила на молодежь столько забот! Я уверена, что вся работа лежит на вас, ведь вы никогда не бываете в обществе, в то время как генералы чуть ли не каждый вечер на обедах.

— Хорошо еще, что... — Инид оскалила зубки, собираясь потянуть талой водицы. Но Питер отвел удар:

— Я вовсе ничего не делаю, миссис Блох. А хотелось бы.—И тут его вдруг осенило: — Я хочу издавать журнал. Почему бы вам не помочь нам деньгами?

— С удовольствием! — Вспомнив о богатстве своего князя от коммерции, она вновь обрела почву под ногами и выпустила руки Питера. Она даже позволила себе оговорку: — То есть если ваш журнал меня заинтересует. — И улыбнулась, не желая брать на себя никаких обязательств.

— О, я не сомневаюсь, что он вас заинтересует!

— А я так просто убеждена в этом, — сказала Инид. — В конце концов, это же общественный журнал, правда? Вроде «Города и провинции».

Но ее жертва уже ускользнула.

— Заходите ко мне. Под вечер я почти всегда дома, — бросила она Питеру через плечо и исчезла.

Питер повернулся к Инид.

— Ты ужасна, — сказал он, но Инид только расхохоталась до слез.

Перед ними неожиданно возник Джо Бейли.

Питер вдруг почувствовал, что у него болит голова и он просто лопнет, если сейчас же не даст выхода своему горю и ярости. Он повернулся к Джо:

— Как идет переворот?

---

* Скромный прием с коктейлями *(франц.)*.

— Переворот? — Джо озадаченно глядел на него.

— Ну да, захват Белого дома, искоренение комми и возрождение чистой, простой и богобоязненной Америки, преданной мелкому фермерскому хозяйству, бейсболу и рабству?

— Ну, ну, без нахальства, молодой человек!

Инид хотела что-то сказать, но промолчала. Облегчив душу, Питер распрощался с Милисент и спустился в вестибюль, где его ждала Диана. Взяв такси, он, не спрашивая ее, назвал шоферу свой адрес.

II

Издалека Бэрден слышал свой усиленный репродуктором голос, наполнявший зал. Он держал речь, и слушатели смеялись каждой его шутке. Публика была как раз в его вкусе: зажиточные фермеры, приехавшие в Вашингтон на ежегодный ленч, который в этом году был устроен в новом отеле «Стэтлер», где он сейчас и выступал перед ними. Он рассказал им старый анекдот — последовал взрыв смеха. Он с ложной скромностью опустил глаза, пытаясь разобрать заметки, которые сделал на меню. Пока зал смеялся, он быстро отхлебнул кофе и увидел при этом, что у него не убрали мороженое. Теперь оно растеклось. Это было отвратительно.

Внезапно смех прекратился. Бэрден хотел продолжать, но в мозгу крутилась лишь одна мысль — о растаявшем мороженом. В голове было пусто. На какое-то мгновение он перестал понимать, где он и что делает перед этим множеством незнакомых людей.

Бэрден в отчаянии схватился за меню, прочел: «Boeuf à la Washington» *. Это не помогло. Его замешательство росло. Зал с любопытством смотрел на него, удивляясь, почему он молчит. Он перевернул меню, увидел несколько наспех нацарапанных слов, среди них слово «Лусон». Это спасло его. Высадившись недавно на остров Лусон, Макартур начал битву за Филиппины. Вовремя придя в себя, Бэрден подпустил в свою речь немножечко ура-патриотизма, совсем чуточку: пора махания флагами прошла, и это было ему больше по нраву, чем его противнику на только что прошедших первичных выборах, заядлому стороннику Нового курса, проводившему свою предвыборную кампанию под лозунгами вроде «Не забывайте Пирл-Харбор!».

Бэрден избрал другой путь. Неназойливо и вместе с тем вполне обоснованно он напомнил избирателям, что за те тридцать лет, что он представляет их в сенате, их штат стал процветающим. Всякий другой на его месте развил бы эту тему во всех подробностях, но он ограничился одним лишь упоминанием и затем начал говорить о том, как за время его жизни Соединенные Штаты стали мировой державой и (это были перепевы Перикла) как чудесно, но вместе с тем и опасно быть великим. К его удивлению, эта часть его речи неизменно встречала живой отклик у зала. Когда он переходил к этой теме, он видел, как люди подавались вперед и с широко раскрытыми глазами жадно ловили каждое его слово. В такие моменты он познавал радость, позволявшую вынести мучительный процесс переизбрания.

Он не собирался говорить фермерам о том, как опасно быть мировой державой, но поскольку они так хорошо восприняли его славословие Макартуру, решил продолжать в том же духе. Однако, не успев сочинить и двух фраз о Державе, он вдруг сообразил, что слишком затянул свою речь. Ему следовало бы закончить на Лусоне. Пришлось самым решительным образом урезать Державу — и это было очень жаль, потому что он был признателен ей. Держава особенно действенно помогла ему против его противника из республиканской партии — бизнесмена грубых им-

* Говядина по-вашингтонски *(франц.)*.

периалистических устремлений с вдвое большей финансовой поддержкой. И хотя они шли примерно вровень, Держава в конечном счете побила деньги. Бэрден был так слаб финансами, что в последние недели предвыборной кампании ему стало нечем платить за место на доске объявлений и выступления по радио. Он был едва в состоянии оплачивать бесполезные, но необходимые объявления в еженедельниках. Бесполезные в том смысле, что они никак не влияли на избирателей; необходимые — потому что издатель неизменно поддерживал того кандидата, который давал больше объявлений.

К счастью для Бэрдена, на его связь с Нилсоном не обратили особого внимания. С одной стороны, обвинения, предъявленные Нилсону правительством, пока не касались покупки земли у индейцев. С другой стороны, хотя Нилсона и обвиняли сразу по нескольким статьям, он еще ни в чем не был признан виновным. В результате соперник Бэрдена на первичных выборах, равно как и его противник от другой партии, могли лишь выразить сожаление по поводу того, что сенатор Дэй знается с такими людьми.

По иронии судьбы именно чувство справедливости чуть было не стоило ему голосов избирателей. Он подвергался яростным нападкам за то, что отстаивал права американцев японского происхождения. «Защитник япошек» — то и дело писал кто-то на его предвыборных афишах. Перед самыми выборами его противник-республиканец решился на отчаянный шаг и объявил сенатора Дэя секретным агентом японского правительства (почему же еще сенатор виделся с японским послом Курусу за десять дней до Пирл-Харбора?). Из-за этой басни республиканец провалился — к тайной радости Бэрдена, который был уверен, что на этот раз он потерпит поражение, причем не имел ни малейшего представления о том, что с ним тогда будет. Ему нечего было делать вне стен сената. Но добродетель восторжествовала, и на ближайшие шесть лет его будущее было обеспечено.

В отличном расположении духа Бэрден закончил свою речь шуткой. Пока фермеры смеялись, он уронил меню в лужицу растаявшего мороженого. Председатель поблагодарил его. Еще одна речь была позади.

Усталый, но довольный, он стал проталкиваться через переполненный зал, обмениваясь рукопожатиями, раздавая автографы и позируя фотокорреспонденту (тот был в единственном числе — как скверно!) с разными людьми. Затем, помахав на прощание залу рукой, он пересек вестибюль и подошел к газетному киоску. Он просматривал вечернюю газету, отыскивая в ней свое имя, как вдруг знакомый голос сказал:

— Так-то ты блюдешь верность! Читаешь газету оппозиции! — Это был Блэз.

Бэрден поздоровался с ним зычным голосом, еще настроенный на выступление перед публикой. Они не виделись со времени выборов.

— Ну, что слышно о нашем мальчике?

Бэрден был озадачен. О каком мальчике? Чьем?

— Две недели назад Клей написал мне, что снова снимается с места, но, разумеется, не мог сказать, куда их направляют. Сейчас он на Гуаме—по крайней мере так доносят мне мои шпионы.

— Я ничего не слышал о нем за последнее время.

Строго говоря, Бэрден совсем не получал вестей от Клея, если не считать поздравления в ноябре. Это было странно: Клей всегда аккуратно «поддерживал связь». Интересно, подумал Бэрден, уж не история ли с Нилсоном отбила у Клея охоту писать ему. Молодой, идущий в гору, он не желает иметь ничего общего с падающим стариком. Но я еще не упал, мрачно подумал Бэрден, покупая журнал с надписью через всю обложку: «Обезьянья война на Тихом океане—репортаж Гарольда Гриффитса».

Блэз постучал по обложке пальцем-обрубком:

— Гарольд творит что-то феноменальное. Это черт знает что. Переплюнул самого Эрни Пайла. А знаешь,— продолжал он,— я буду гостем президента на церемонии его вступления в должность на будущей неделе.

— Предатель, — улыбнулся Бэрден.

— Я иду в Белый дом вовсе не потому, что люблю этого старого стряпчего по темным делам.

— Ты же поддержал его в прошлый раз.

— Только потому, что Дьюи для меня неприемлем. Нет, я иду исключительно из-за этой затеи с Объединенными Нациями. Я всецело за, Бэрден. — Голос Блэза звучал так, словно он предостерегал.

— Я знаю, — сдержанно ответил Бэрден.

— Ваша сенатская публика не поднимет из-за этого шума?

Бэрден почувствовал, что такой поворот дела ему по вкусу.

— Точно не могу сказать. Многое зависит от того, как Франклин будет вести себя.

— Во всяком случае, президент хочет с вами сотрудничать. Он для того и взял Трумэна себе в вице-президенты, чтобы заручиться поддержкой сената.

— Не исключено, что это была ошибка.

— Так вы будете шуметь или не будете?

— Шуметь? А разве это возможно? Два года назад мы одобрили вступление в послевоенную международную организацию.

— Но *ты* не голосовал.

— Нет, не голосовал. Однако я был за резолюцию, по которой любой договор входит в силу лишь после одобрения сенатом.

— Это означает, что решающее слово по любому вопросу остается за сенатом.

— А оно всегда было за нами. Конституция, статья вторая, раздел второй.— Бэрден переменил тему разговора.— Знаешь, мы все еще держим место от Второго округа наготове для Клея. Я не раз говорил о нем, когда бывал в округе. Его там любят.

При упоминании о Клее лицо Блэза просветлело.

— Это ужасно! Нам непременно надо найти какой-то способ избавиться от нынешнего конгрессмена, но так, чтоб не очень круто. В конце концов солдат в форме, вернувшийся с войны...

— Зачем же круто. — Молодые стучались во все двери, Бэрден слышал это повсюду.— Мы сделаем для Клея все. Будь покоен. Как Инид?

— Все в порядке. — Блэз стряхнул пепел с сигары, и разговор о дочери был на этом закончен.— Эд Нилсон к тебе не наведывался?

Бэрден вздрогнул.

— Нет. А он что, в городе?

— Я встретил его сегодня утром в Клубе журналистов. Он собирался к вам на Холм, хотел тебя повидать. Бедный Эд.— Блэз пустил большой клуб синего дыма в лицо Бэрдену.— Он очень затруднил вам перевыборы?

— Да. — Бэрден предпочел не вдаваться в подробности.

— Я так и думал. Но он хоть избежал тюрьмы. Это уже кое-что. Рад был тебя видеть, Бэрден.

Эд Нилсон у него в кабинете — так сказала ему мисс Перрин. Вид у нее был испуганный. Эд сидел на диване, подперев голову руками. Но, увидев Бэрдена, весело поздоровался с ним.

— Надеюсь, я не очень помешал вам своим вторжением. Ваша приемная — единственное спокойное место поблизости.

Бэрден был глубоко уязвлен меткостью этого замечания. Больше не кандидат в президенты, простой сенатор, как все прочие. Но это ненадолго. Пройдет несколько дней — и его имя вновь прогремит на всю Америку. При мысли о карте, которой он собирался козырнуть, Бэрден воспрял духом и заговорил почти жизнерадостно с человеком, который чуть не погубил его политическую карьеру.

— Вы хорошо выглядите, Эд. Я скучал без вас. Мы все скучали.

— Очень приятно слышать это от вас. — Нилсон был так же ласково-учтив, как в тот день, когда они впервые встретились перед Капитолием. Он не выдавал своей озабоченности даже теперь, когда Федеральный совет присяжных рассматривал возможность предания его суду — «в значительной степени из-за вашего зятя».

— Я знаю. И очень сожалею об этом. Я бы с удовольствием удавил его.

— Самое печальное то, что я отлично ладил с людьми из Налогового управления. Больше того, мы отлично ладили с министерством юстиции, но, по-видимому, был звонок из Белого дома от одного из друзей Билли. Это решило дело. Так родился последний обвинительный акт. Он мстителен по натуре.

Бэрден вздохнул:

— Объект его мести не вы.

— Если я и не объект, то по крайней мере главная жертва.

— Он метил в меня. Если помните, Билли выступил со своими разоблачениями как раз *перед* первичными выборами. Он хотел погубить меня. И того же хотел президент. Вот почему Белый дом помог ему.

— Нельзя сказать, чтобы он отличался лояльностью.

— Какая там лояльность! Но я уцелел. И вы тоже уцелеете.

— Ну еще бы,— непринужденно сказал Нилсон.— Теперь-то мне ничего не смогут пришить. Теперь под нас даже с продажей земли не подкопаешься.

Это «нас» заставило Бэрдена содрогнуться. Он уткнулся взглядом в «Ведомости конгресса», лежавшие на столе перед ним.

— Рад это слышать,— прошептал он.

— То, что мы до сих пор не нашли ни капли нефти на этой проклятой земле, нисколько не облегчило моего положения. Так вот, Бэрден, чего я хотел бы теперь от вас...

Бэрден окаменел. Нилсон рассмеялся.

— О нет, ничего страшного. Просто скажите своему зятю, что, если он от меня не отвяжется, я позабочусь о том, чтобы всем стало известно, что *в данный момент* он является руководящим деятелем коммунистической партии.

— У вас есть доказательства? — Бэрден был нисколько не удивлен.

— У меня уже с полгода есть доказательства.

— Так почему же вы их не использовали?

— Потому что вам предстояло переизбрание. Знакомство со мной уже само по себе бросало на вас тень. А если бы еще оказалось, что ваш зять коммунист, вам был бы конец.

Бэрден был ошеломлен. Человека практичнее Нилсона он еще никогда не встречал. И все же Нилсон подставил себя под удар, чтобы спасти карьеру друга. Бэрден почувствовал, как на глазах у него выступают слезы.

— Вы ничего не предприняли только ради меня? — запинаясь, пробормотал он.

Нилсон улыбнулся:

— И у воров есть своя верность.

Это было уже лучше. Бэрдена шокировало слово «воры», на что и рассчитывал Нилсон.

— Я не знаю, как вас благодарить.

— Предупредите его.

— Я это сделаю. Будьте покойны.— Бэрден ощутил легкое сердцебиение. Это дело будет ему по душе. И, как ему казалось, Диане тоже.

— Скажите ему, что, поскольку теперь вы на какое-то время в безопасности от избирателей, я не остановлюсь перед тем, чтобы испортить ему жизнь.

— Я помогу вам,— сказал Бэрден.

Нилсон встал:

— Надеюсь, вы поддержите эту затею с Объединенными Нациями.

— Если я вам что-то скажу, вы будете молчать?

После разговора с Блэзом Бэрдену не терпелось поделиться с кем-нибудь своей тайной.

— Постараюсь.— Нилсон с веселым удивлением глядел на него.

— На следующей неделе я намерен произнести речь — заклеймить изоляционизм и выступить в поддержку Объединенных Наций.

— Отлично! — Нилсон был искренне обрадован. Он улыбнулся.— Таким образом, вы правильно поступите и снова окажетесь в седле. А это не так уж часто случается.

— Совершенно верно,— ответил Бэрден. Они рассмеялись, как мальчишки, пожали друг другу руку, словно заговорщики, и расстались друзьями.

Уже стемнело, когда Бэрден вернулся домой. Ему открыл Генри. Жена крикнула сверху:

— Это ты, Бэрден?

И он ответил, как отвечал уже тридцать лет:

— Я дома!

Затем вошел в столовую.

На стуле у камина, прямой как палка, сидел Билли Торн. Против него на диване сидела Диана и какой-то плотный молодой человек в форме, показавшийся Бэрдену знакомым. На кофейном столике между ними лежали газеты и что-то вроде растерзанного журнала.

— Можно войти? — спросил Бэрден.

Диана подбежала к нему, поцеловала.

— У нас замечательная новость! — Молодой человек пожал ему руку, и Бэрден узнал в нем Питера Сэнфорда, симпатичного, хотя и несколько бесхарактерного юношу. Краешком глаза Бэрден заметил, что Билли нехотя поднялся со стула.

— Добрый вечер, Торн.— Бэрден налил себе виски покрепче, чего обычно никогда не делал.— Что же это за новость?

— Журнал. Мы раздобыли денег! Сейчас выходит первый номер.— Диана была в экстазе.

— Он выйдет не сейчас, а весной.— Билли с треском опустился на стул.

— Ну, все равно это скоро,— сказала Диана.

Бэрден занял свое обычное место у огня.

— Где же вы раздобыли денег? — Он указал на Питера.— У этого молодого человека?

— У этого молодого человека нет денег,— ответил Питер.— Я заставил раскошелиться некую даму — миссис Сэмюел Айрин Блох. Вы, наверно, ее не знаете, сэр.

Бэрден резко выпрямился. Айрин. Чай. Обморок.

— Представьте себе, знаю.

— Ну, конечно, знает! Она подобрала его на улице, когда с ним случился удар.— Диана была сама невинность.— Я же рассказывала тебе, Питер.

— Замечательная женщина.— Бэрден чувствовал, что произнес это так, словно охотился за голосами избирателей: замечательный парень, добрый друг, великий американец.

Он допил виски.

— Мне нравится миссис Блох,— сказал он и добавил: — Очень нравится.

— Нам тоже,— ответил Питер.— К тому же она дала нам полную свободу действий.

— Какую же это свободу она вам дала? — Его нисколько не интересовали их дела, и он мог позволить себе благодушие. Надо узнать фамилию того швейцарского врача, который успешно омолодил столько дряхлеющих людей.

— Свободу издавать приличный журнал социалистического направления,— проревел никогда не умолкавший надолго Билли Торн.

От звука его голоса Бэрдена передернуло. Он никак не мог к нему привыкнуть. На первых порах, пока они жили вместе под одной крышей, жизнь была для него сплошной мукой. Повсюду в доме он слышал голос Билли. Доходило даже до того, что он начинал нервничать, если этого хриплого голоса слишком долго не было слышно. К тому же Билли брал книги и никогда не клал их на место. Книги валялись в каждой комнате, раскрытые, с пространными пометками на полях. Поскольку многие из книг принадлежали Бэрдену, это неизбежно приводило к скандалам. В конце концов Билли добрался до биографии Цицерона и придал ей неудобочитаемый вид. Бэрден высказал ему свое возмущение. «Гнусный старый мошенник»,— заявил Билли, одним махом разделавшись и с Цицероном, и с его почитателем.

— Ну, разумеется, приличный,— мягко заметил Бэрден.

— Хватит с нас отчуждения. Теперь мы хотим действовать.

— Отчуждения? — Бэрден полагал, что он знает смысл этого слова, но Билли произнес его так, будто это была какая-то политическая партия.

— Да, отчуждения интеллектуалов.— Билли всегда любил объяснять.— Мы слишком долго были отчуждены от жизни Америки, лишены всякого влияния. Но когда кончится война, у нас будет реальная возможность установить связь с народом, с вернувшимися домой солдатами, и алчное общество мы превратим в общество щедрое.

Бэрден игнорировал этот зловещий вызов и предпочел зацепиться за слова «лишены влияния».

— Но ведь при Новом курсе вы пользовались большим влиянием.

— С Новым курсом покончено!

— Это правда, папа.

Тогда Бэрден решил переменить характер вопросов:

— У вас есть опыт издательской работы?

— Никакого! — Казалось, молодой человек считает это достоинством.— Но я наблюдал издателей...

— Вблизи. Он знает, чем не следует быть.— Это уже был удар по Блэзу.

— На свете есть много такого, чем не следует быть.— Питер бросил на Билли быстрый холодный взгляд, и Бэрдену это понравилось. Совершенно очевидно, что они терпеть не могут друг друга. Диану еще можно спасти.— Моей задачей было раздобыть денег, сэр.— Он повернулся к Бэрдену, и тот увидел, насколько Питер еще молод,— и я их раздобыл. Миссис Блох согласилась финансировать журнал в обмен на обед в Лавровом доме.

Это было сказано с такой потрясающей беспардонностью, что Бэрден резко выпрямился на стуле. Его не выручил даже всеобщий смех. Это была правда. За такое приглашение Айрин могла дать деньги, это было точно угадано. Лавровый дом был ее Версалем, и она не успокоится до тех пор, пока не займет место в священном кругу.

— Билли, разумеется, будет редактором,— продолжал Питер.— Он в этом деле разбирается. Диана будет... кем же будет Диана?

— Я буду отвечать на письма. Я хорошо печатаю на машинке. Нет, правда, папа, я уже научилась.

Тут вошла Китти и стала целовать всех подряд. Пока она целовала Питера и Диану, Бэрден повернулся к Билли и негромко сказал:

— Мне хотелось бы кое о чем поговорить с вами. В кабинете наверху.

Бэрден извинился и направился на второй этаж, наслаждаясь мыслью, что подниматься по лестницам для Билли затруднительно. Однако его радость по поводу несчастья Билли несколько омрачалась тем, что и для него самого хождение по лестницам стало делом отнюдь не легким: у него постоянно было такое ощущение, будто он вот-вот потеряет равновесие.

Кабинет представлял собой спальню для гостей, которую Китти так и не собралась обставить. На полу посредине, словно выдохшийся питон, лежал свернутый ковер: он оказался слишком велик для комнаты — это было лет двадцать назад,— и с тех пор никому не пришло в голову его убрать. Бэрден растерялся бы без дружеского присутствия ковра. Он сел за стол, составлявший единственный предмет обстановки, и сразу перешел к делу. Говорил он коротко и ясно.

— У Нилсона есть *доказательство,* что вы коммунист.

Билли пожал плечами.

— Ну и что?

Это упрощало дело.

— Он пустит его в ход, если вы не прекратите... преследовать его.— Слово было нешуточное, но оно в точности соответствовало тому, о чем шла речь.

— Этот человек мошенник,— сказал Билли весьма умеренным для него тоном.— Я не министерство финансов. Это они наседают ему на пятки.

— Ваши друзья в Белом доме...

— Им на это в высшей степени наплевать...

— ...поставлены вами под удар. Я советовал бы вам отвести от них удар.

— А если я этого не сделаю?

Бэрден впервые заметил, что один глаз у Билли серый, а другой карий. Он никогда раньше этого не замечал и предпочел бы не заметить и сейчас, когда он хотел тщательно, не спеша, черту за чертой вытравить Билли если не с лица земли, то хотя бы из собственной памяти.

— Тогда вы будете уволены из «Трибюн».

— Я и так собирался уйти оттуда, чтобы заняться журналом.

Бэрден ожидал этого.

— Но ведь журнал будет социалистического направления, не так ли? В таком случае я совершенно уверен в одном: если станет известно, что редактор «Американской мысли» является активным членом коммунистической партии, то не будет никакой миссис Блох, никакого Питера Сэнфорда, никаких денег для издания журнала, и скорее всего читателей тоже не будет, кроме тех немногих, которые читают «Дейли уоркер».

Наконец-то все карты были раскрыты. Билли не желал сдаваться, не оправдавшись. Но он сдался, как только Китти позвала их обедать. Он отступится от Нилсона Бэрден был удовлетворен.

III

— Бедный отец!— Диана, полуодетая, сидела на краю постели с газетой в руках, а Питер варил кофе в чулане с электроплиткой и маленьким холодильником: в Вашингтоне военного времени все это вместе взятое называлось кухонькой.

— Почему бедный?

— На, взгляни.—Она протянула газету. Ему бросилась в глаза шапка: «Ванденберг отвергает изоляционизм».

Питер ничего не понимал:

— А при чем тут отец?

— Но ведь он *сам* собирался на этом сыграть!— Она лихорадочно перелистывала страницы и нашла то, что искала, где-то в середине первого раздела.— Вот он — *погребен, погребен заживо!*

Питер налил кофе в две чашки и подошел с ними к постели.

— О чем ты говоришь?

Диана показала ему газету. Мелкий заголовок гласил: «Сенатор одобряет идею создания ООН». Питер пробежал глазами текст: Бэрден отрекался от изоляционизма.

— Ну и что тут такого? Ты должна радоваться за него.

— Я и радуюсь. Но как ты не понимаешь? Ведь это *он* должен был попасть в шапку. Он несколько месяцев работал над своей речью.

— Ну, значит, он плохо рассчитал.

— Он не ожидал такого от Ванденберга. Как он мог? Ах, как папе не везет! — Расплескивая кофе на простыни, она потянулась через Питера к телефону. Он обнял ее. Телефон сенатора был занят. Она положила трубку.— Это убьет его.

— Едва ли. Он живучий.— Питер притянул ее к себе, и они рассеянно предались любви. Она говорила об отце и размышляла о судьбе. В окне оранжевое зимнее солнце опускалось за деревья Думбартон-Окс.

— Нам пора собираться.— Она хотела встать, но он крепко держал ее.

— Еще есть время. Лишь бы попасть туда раньше Айрин.

Потребовалась неделя переговоров, прежде чем Фредерика нехотя согласилась пригласить Айрин Блох на обед.

— Чему ты улыбаешься?— Она приподнялась на локте.

— Эротическому наслаждению. Нормальному рефлексу возбужденного мужчины.

— Нет, это не так. Они хмурятся.

— А ты что, всегда держишь глаза открытыми? И кто это «они»?

— Я наблюдала. Конечно, я говорю о Билли.

Питер пришел в восторг. Они условились, что он никогда не будет упоминать о ее муже. И вот теперь не он, а она нарушила запрет.

— Как ты думаешь, он знает про все это?— Питер, неизвестно почему, указал на холодильник.

— Нет конечно. Если бы он знал, уж он такого бы наговорил. Нет, он вполне всем доволен. Он думает, что может вертеть тобой как угодно, и поэтому настроен миролюбиво.

Питер сделал вид, что не заметил шпильки. Придет время, и он справится с Билли. Но вот справиться с Дианой — это уже нечто другое.

— Тебе надо развестись с ним.

— Возможно. Когда-нибудь.

— Не то чтобы я верил в брак...— Он уже говорил об этом.

— Я тоже!— отозвалась Диана с необычной горячностью. Затем она соскочила с постели и стала надевать пояс.— Что ты читаешь?— Диана причесывалась, глядя в раскрытую книгу, лежавшую на столе.

— Как обычно, десять книг одновременно.

— Нет... Я спрашиваю про эту.— Прищурившись, она посмотрела на заглавие — уже смеркалось.— Уолтер Мэп. Кто это?

— Двенадцатый век. Историк. Поэт. Автор, как видишь, «De nugis curialium» *. Следовало бы притвориться, что я читаю его по-латыни. Но я не притворяюсь.

Диана полистала страницы, остановилась на подчеркнутом Питером месте.

— «Когда я начну гнить, эта книга начнет попахивать... наступит век обезьян (как сейчас), а не людей; они будут глумиться над своим настоящим, и у них не будет терпимости к достойным людям. Каждому веку претит его современность; каждый век, начиная с первого, завидовал прошлому, предпочитая его самому себе».— Диана закрыла книгу под явным впечатлением от прочитанного.

— Ты действительно читаешь все.

Они кончили одеваться уже в полутьме. Затем они сблизились, словно две тени, и Диана неожиданно спросила:

— А мы ведь стареем. Как ты к этому относишься?

— Жду не дождусь!

— Ты серьезно?

— Ну, конечно. Я хочу быть человеком средних лет. Быть всецело самим собой, целиком войти в жизнь на радость или на горе. Только худощавым,— добавил он.

Она засмеялась.

— Я, кажется, тоже не прочь стать постарше,— задумчиво сказала она.— Но почему людям средних лет так хочется казаться молодыми, в то время как мы... в то время как я ничего не получаю от своей молодости?— Ее лицо было печально.

— Спасибо,—сказал он, одновременно развеселившись и обидевшись.

— Ой!— рассмеялась она, и он с неожиданной болью понял, что захвачен ею сильнее, чем она им. К счастью, отчаиваться было ему не свойственно. Выходя из квартиры, он знал, что рано или поздно причинит ей боль и таким образом уравняет счет.

■

Фредерика встретила их радушно:

— Диана! Ты такая милашка! Как Билли? Почему он не пришел?— Пока Диана отвечала, Фредерика прошептала Питеру: — *Ее* еще нет.

— Не беспокойся, придет.

Ужас матери не только забавлял, но и производил на Питера глубокое впечатление, поскольку лично Фредерика ничего не имела против Айрин. Но два тысячелетия христианского вероучения сделали свое дело. Так как Айрин Блох терзала священную плоть и в безумном ослеплении запятнала себя кровью Агнца, она была нечиста, и ей не следовало бы обедать в Лавровом доме.

— Славу богу, они все говорят по-английски,— сказала мать, перечисляя ему гостей.— Теперь у нас уже не то, что прежде,— добавила она, и непонятно было, жалеет она или радуется. С началом войны конгресс потерял свой общественный вес. Сенаторов теперь не часто можно было увидеть в Лавровом доме. Значительными людьми стали главы правительственных комитетов, ведавших стабилизацией цен и увеличением производства. Этих царей, как называла их печать, обхаживали все. Некоторые из них присутствовали и в гостиной Блэза, к восторгу остальных гостей, по большей части иностранцев — членов различных миссий. Старый Вашингтон представляла лишь «общительная» чета Шэттак. Эти умели ладить с кем угодно.

* «О забавах священников» *(лат.)*.

— А вот и наш юный издатель!— весело воскликнул Блэз, вкладывая в свой голос презрение и одновременно нежность.

— А это наш... старший издатель,— ответил сын, не собираясь служить ковриком для ног даже такому почтенному зубру среди продувной братии.

Однако Блэз сделал вид, что не слышит. Он повернулся к своим собеседникам — сплошь иностранцам, за исключением министра, недавно введенного в состав правительства, новичка в Вашингтоне.

— В сущности, мой сын не солдат, хотя и носит военную форму. Он издает журнал. Скажи им, что за журнал.— Блэз по-волчьи осклабился, глядя на Питера, который понял, что отец говорит это вовсе не с одной только злости.

— Журнал,— начал Питер звонким, как у школьника, голосом,— несколько длиннее в длину, чем в ширину, и печатается в два столбца на грубой оберточной бумаге.— Он сделал паузу и улыбнулся отцу.— Думаю, примерно так можно его описать.

Гости ограничились неуверенными смешками, не зная, как отнесется к этому хозяин. Но Блэз от души расхохотался.

— Да, примерно так, джентльмены. Вот только цвет у него будет розовый!

— Да, он будет социалистический,— сказал Питер так, словно речь шла о шрифте.— Но не догматический.

— Ну что за прелесть эти ребята! Сами не понимают, до чего хорошо им живется. Не долго думая, он основывает на деньги капиталиста журнал, который хочет покончить с капитализмом.

— Во всяком случае, это не *твои* деньги.— Питер хотел, чтобы это сразу стало всем ясно.

Блэз впервые проявил признаки раздражения.

— Нет, не мои, и мои деньги никогда на это не пойдут. Это деньги...

В эту минуту источник поддержки Питера со стороны капитала вошел в комнату. Вечернее платье Айрин выглядело слишком ярко, слишком индивидуально, слишком модно на фоне тонко рассчитанной старомодности Лаврового дома. Все взгляды устремились на нее. На какой-то момент она задержалась в дверях, затем увидела Питера и двинулась к нему, как раз когда он направился к ней.

Фредерика перехватила обоих под люстрой. К удивлению Питера, Фредерика была болтлива, Айрин — безмятежно-спокойна. Пока что все хорошо, подумал он с гулко стучащим сердцем, уповая на то, чтобы Диана поскорее присоединилась к ним и отвлекла всеобщее внимание. Ибо в гостиной наступила тишина.

Питер так и не мог вспомнить впоследствии, каким образом Айрин это удалось, но так или иначе, за несколько минут искусного маневрирования она оказалась перед Блэзом и совершила свою первую ошибку: она прервала его. Протянув руку, она сказала:

— Здравствуйте, мистер Сэнфорд.

— Ты помнишь, Блэз...— поспешно начала Фредерика, но было уже поздно.

Блэз медленно взял руку Айрин и сказал:

— Здравствуйте, миссис Блэк. Очень рад, что вы смогли прийти.

— Да нет же, Блох!— весело воскликнула Айрин, и это была ее вторая ошибка.

Питер обливался потом.

— Ну да,— сказала Фредерика.— Универсальный магазин, я его так люблю. Ну ты же знаешь: магазин Блоха.

— Простите... Да, конечно.— Блэз выпустил руку Айрин.

Неотвратимо нацеленная на катастрофу, Айрин совершила третью ошибку. Она обвела взглядом гостиную.

— Боже милостивый,— громко сказала она,— я не была у вас... o, pas depuis longtemps *.

Все взоры вновь обратились к Айрин. Питер взглянул на Диану: глаза ее были закрыты.

— Что такое?— не менее громко спросил Блэз. И, как Питер и ожидал, Айрин повторила французскую фразу. Европейцы стали пересмеиваться. Совершенно не отдавая себе отчета в производимом ею впечатлении, Айрин перевела Блэзу свои слова. Но прежде чем она успела навредить себе еще больше, Фредерика взяла ее под руку и увела. В другом конце комнаты Люси Шэттак сложила лорнет и сказала что-то своему мужу. Тот улыбнулся. Новая вашингтонская легенда родилась.

Диана подошла к Питеру — увы, слишком поздно.

— Почему ты не вмешался?— без всякой логики спросила она.

— А что я мог поделать? — Вдохновленный Айрин, он процитировал по-латыни:— «Тех, кого боги хотят погубить, они лишают разума»,— и тут же перевел.

— Спасибо, милый.— У Дианы испортилось настроение.— Теперь, когда твой отец так царственно ее обхамил, прощай, денежки.

— К счастью, мне кажется, она вовсе не понимает, что ее обхамили.

— Она может вести себя ужасно, но она не глупа.

— В этом-то все и дело. Неужели не ясно? Отец ведет себя именно так, как она и ожидала. Если бы он был настроен миролюбиво, он не произвел бы на нее впечатления, а в таком случае ей незачем было бы сюда стремиться, и вот тогда уж действительно мы остались бы без журнала.

Диана сомневалась, так ли это. Но Питер был уверен, что это так.

За обедом слева от Питера оказалась черноволосая девушка с бледной кожей, продолговатыми темными глазами и таким тихим голосом, что ему приходилось напрягать слух, чтобы разобрать, что она говорит.

— Вы меня не помните?

Он ответил, что не помнит, и увидел пустое место на той стороне стола: Инид еще не приехала.

— Я Элизабет Уотресс.— Это имя ничего ему не говорило.— Дочь миссис Шэттак. Один только раз мать привезла меня к вам на уик-энд, это было еще до войны, и мы с вами познакомились, только вы этого не помните. Но я тогда здорово отличилась. Поехала кататься верхом вместе со всеми, и моя лошадь — ее звали Антик — понесла.— Это происшествие Питер помнил.— Ваша сестра Инид схватила лошадь под уздцы и остановила ее. Если б не она, я бы наверняка разбилась. Она будет на обеде?

— Она задержалась в городе и приедет попозже,— небрежно отговорился Питер. В сущности, он испытывал облегчение от того, что Инид нет на обеде, она бы не устояла против искушения поиграть с Айрин, как кошка с мышкой.

Элизабет так ему приглянулась, что после первого он не обратился, как положено, к даме справа, а продолжал болтать с ней. Неожиданно Элизабет спросила его про журнал. Он удивился:

— Откуда вы это знаете?

— Ах, мама и ее друзья только и говорят что о журнале и о вас.— Ему льстила мысль, что он оказался в центре внимания взрослых. Он все еще не мог отучиться думать о себе как о мальчишке, не представляющем никакого интереса для взрослых.— Но они вообще любят говорить о вашей семье и Лавровом доме.— Его радость несколько померкла. Стало быть, им интересуются лишь постольку, поскольку он из Лаврового дома. Но ничего, скоро все переменится.

---

* О, не так уж давно *(франц.)*.

— Журнал будет социалистическим по направлению.— Он машинально пустил пробный шар и при этом следил за выражением ее лица. Она слушала внимательно и ничуть не встревожилась.

— Жду не дождусь первого номера,— сказала она наконец.

— Я тоже,— сказал Питер. Вечер был еще не закончен. Айрин еще могла пойти ко дну, и тогда прощай сокровище.

— Я очень глупая,— неожиданно сказала Элизабет.— Вы должны вылечить меня от этого.

— Сомневаюсь, чтобы это было так. Но я берусь вас лечить.

Она рассмеялась каким-то особенно зазывным смехом, низким и искренне веселым.

После обеда Блэз предложил мужчинам немедленно присоединиться к дамам: у него важное сообщение для всех. Питер редко видел отца в таком хорошем, можно даже сказать, игривом настроении.

— Ma foi *,— сказала Айрин, задержавшись в дверях.— Что бы это могло быть? Безоговорочная капитуляция?

— Это появится завтра в газете.— Громкий голос Блэза водворил в комнате молчание.

Питер опустился на стул. На низеньком столике рядом с ним стояло серебряное блюдо с мятными шоколадными конфетами. Он воспринял это как дурное предзнаменование. Он больше не собирался ничего есть, и вот, пожалуйста,— конфеты. У него под ногами разверзся ад.

— ...передано Гарольдом Гриффитсом.

Что там еще передал Гарольд Гриффитс? Он спросил у Элизабет, которая словно по волшебству села на соседний стул.

— Сообщение,— прошептала она.— С Филиппинских островов. Мне нравится, как он пишет, а вам?

Питер отрицательно покачал головой. Он предпочитал прежнего Гарольда и не понимал, что случилось.

— «Тихоокеанский фронт».— Голос Блэза преисполнился драматизма, когда он начал читать отрывистые фразы Гарольда.— «Рассвет. Мы высадились на берег. Нас ждали... Слева от нас была огневая точка. Пули жужжали, словно комариный рой. Но только *их* жало несло в себе смерть!»

Питер выбрался на береговую полосу и упал плашмя, зарылся лицом в мокрый шершавый песок, а комары... нет, пули бесновались над ним и вокруг (это была Гарольдова проза). Ему казалось, что теперь он никогда не найдет в себе силы пошевелиться.

— «Наша цель — аэродром Лингаен. Я поворачиваюсь к майору. У него молодое лицо, но если вы заглянете в его глаза, вы увидите, что он пришел в этот ад нелегким путем»,

Питер почувствовал, как его лицо обдало жаром стыда за старого друга, который некогда был столь сардоническим свидетелем вашингтонских безрассудств. Гарольд, несомненно, пустился на тонко рассчитанное жульничество.

— «Храбрые люди немногословны. Они делают свое дело. Как этот майор. Храбрый человек. Один из самых храбрых людей, которых я видел. Он отдал приказ атаковать. Когда японцы открыли огонь, у нас создалось такое впечатление, будто это — фейерверк в День независимости».

Питеру вдруг стал ясен замысел отца.

— «Он вбежал в горящий ангар. Обратно он выбежал с молодым солдатом на руках. Тот был еще жив... Я увидел героя. И теперь, когда я сижу на берегу и пишу эти строки, генерал Крюгер ходатайствует перед президентом Соединенных Штатов о награждении Крестом за Отличную

---

* Черт возьми *(франц.)*.

Службу майора Клея Овербэри».— На имени майора голос Блэза пресекся.

Раздались аплодисменты. Питер взглянул на Диану: глаза ее были крепко зажмурены. Что она видела: языки огня или дарованную президентом медаль? Прошло некоторое время, прежде чем Питер сообразил, что шепот, который он вначале принял за собственный внутренний голос, был на самом деле голосом Элизабет, говорившей ему на ухо:

— Вы можете гордиться. Ведь это ваш зять. Как должна быть счастлива Инид!

Питер съел последнюю конфету.

Глава шестая

I

Бэрден и Диана молчали, когда Генри вез их мимо кирпично-красных трущоб Джорджтауна. В это влажное апрельское утро негры, как и все остальные люди, были мрачны, задумчивы, сдержанны. История добралась до всех, белых и черных, и флаги республики были приспущены.

Бэрден сначала не поверил посыльному, который вбежал в парикмахерскую сената с криком: «Он умер! Президент умер!» Но это была правда. Овеянный славой враг скончался в четверг утром в Уорм-Спрингсе, штат Джорджия, позируя художнику, писавшему его портрет. Последние слова президента были: «У меня чудовищно болит голова» (или «дьявольски», в зависимости от того, чей отчет вы читали в газете), и лопнувший кровеносный сосуд в этой громадной голове внезапно подвел черту под всем его величием.

Услышав новость, Бэрден вскочил с кресла и, хотя сенат был уже распущен, помчался в зал заседаний, забыв про завязанную вокруг шеи белую простыню. И только добежав до сенатского гардероба, он сообразил, что похож, вероятно, на помпейского сенатора в тоге, опаздывающего в театр. Он сорвал простыню, швырнул ее посыльному. Сенаторы, оказавшиеся в здании, были ошеломлены не меньше, чем он сам. Одни из них ненавидели президента, другие зарились на его место — и все завидовали ему. Но даже в смерти он посмеялся над ними: никто из конкурентов не займет его места, он позаботился об этом. Америка получила нового президента, а Бэрден уже слишком стар.

Два дня Вашингтон гудел всевозможными слухами. Говорили, что до этого последнего удара президент перенес еще несколько. В Ялте он был в кататоническом состоянии, и врач Сталина утверждал, что президент скоро умрет. Ходили и скандальные слухи. Перед смертью он находился в обществе отнюдь не жены, а старой любовницы. Было много слухов, было много печали.

Все говорили о Линкольне; как и тот чародей, Рузвельт умер в дни военной победы, был сражен в зените славы, когда цвела сирень. По мере того, как город проникался настроением давно ушедшего апрельского дня, когда черный катафалк проезжал по запруженным народом улицам и люди плакали, все чаще вспоминали и торжественно цитировали Уитмена. Даже Бэрден, взволнованный трауром этого весеннего дня, поднес к лицу веточку пурпурной сирени, чтобы прослезиться: свежая пыльца вызывала у него аллергию. Позже он плакал уже почти всерьез над своим прошлым, когда в субботний день *его*, спящего вечным сном, положили в розарии Гайд-парка, в штате Нью-Йорк. «О, капитан! Мой

капитан!* Как я тебя ненавидел, а теперь ненавижу еще сильнее, потому что мне тебя не хватает. Что же осталось?» — размышлял Бэрден, когда его машина остановилась у вокзала Юнион-стэйшн.

Диана взяла отца за руку, как будто желала защитить его, внезапно ставшего таким хрупким и бесценно дорогим. Он был благодарен ей за этот знак внимания.

— Как хорошо, что ты поехала,— сказал он.

— Я очень хочу снова его увидеть,— ответила Диана, хотя думала вовсе о другом.

Они прошли через зал ожидания, заполненный военнослужащими. Война в Европе, к счастью, почти закончилась, скоро распустят армии, и молодые люди вернутся домой, где им и место, а путешествовать предоставят дряхлым сенаторам.

В здании вокзала около железной решетки полиция оцепила небольшое пространство, где стояли Блэз, Инид и Питер, окруженные фотографами. Напротив железных ворот расположилась вокруг съемочной камеры группа кинохроникеров. Блэз, как всегда, все предусмотрел, подумал Бэрден, поправляя непослушную прядь волос. Затем, готовый к встрече с кинокамерой, к встрече с Историей, он поздоровался с Блэзом.

Диана подошла к Питеру, стоявшему возле ворот, а Бэрден, обмениваясь любезностями с взбудораженным Блэзом, следил за этой молодой парой и, как всегда, размышлял, вызван ли их взаимный интерес только совместным изданием журнала, от которого у него уже побаливало сердце, или, как он надеялся, чем-то более серьезным. Самого Питера он находил чересчур гладким, лишенным острых граней, за него нельзя было ухватиться; но несмотря на такую увертливость, он, конечно, куда предпочтительнее Билли. Хотя Бэрдена приучили неодобрительно относиться к разводу, он скорее согласился бы видеть себя сводником, а свою дочь блудницей, одетой в пурпур, чем замужем за Билли Торном.

— Вот не думала, что в Клее это есть,— тщательно выговаривая каждое слово, сказала Инид. Только замедленность ее речи и запах джина выдавали, что перед этим она изрядно выпила.

Железные ворота распахнулись, и с чемоданом в руке появился Клей. Зашипели, захлопали вспышки. Бэрдена ослепило. Он вытянул руку куда-то перед собой и почувствовал, как ее сжала твердая, сухая рука Клея.

— Добро пожаловать,— сказал он голосом, еле слышным из-за рева Блэза.

— Так, так, прекрасно. Хороший кадр с сенатором. А теперь назад. Не толкайтесь. Пусть отснимет свое кинохроника. Отлично. А теперь идите сюда.

Бэрден послушно шагнул вперед, но его тут же оттолкнули.

— Не вы, сенатор. Только полковник с супругой.

Бэрден скорчил недовольную гримасу, забыв о камерах: он не привык прощать такую бесцеремонность. Но этот момент принадлежит не ему, а Клею, он снова улыбнулся, и словно в награду к нему возвратилось зрение.

Клей стоял в нескольких шагах от него лицом к фотоаппаратам. Бэрдена поразила перемена, происшедшая в Клее: исчезли мягкая линия подбородка, гладкость щек, яркость губ. Теперь миру предстало резко очерченное, зрелое лицо мужчины.

— Инид, подойди сюда.— Голос Клея, по крайней мере, не изменился. Он протянул руку. Но Инид, казалось, была не способна сдвинуться с места. Приоткрыв рот, растерянная, она тупо смотрела на софиты.

---

* Строка стихотворения Уитмена, написанного на смерть Авраама Линкольна.

Блэз вмешался. Он грубо взял ее за руку и выдернул с корнем, как растение из земли.

— Подойди к нему!— он обращался с дочерью, как картежник с игральной картой.

— Я так рада, что ты снова дома, живой и невредимый,— сказала она, тщательно выговаривая каждое слово.

— Теперь поцелуй его,— процедил Блэз с красными от гнева глазами. Инид поцеловала мужа, кинокамеры загудели; все пошло своим чередом.

II

— Это непристойно! — Еще утром остановившись на этом слове, Питер весь день держал его наготове, пока не остался наконец наедине с Дианой на пятом этаже Юнион Траст-билдинг в двухкомнатной редакции «Американской мысли»; он швырнул к ее ногам целую кипу газет.

— Во всех газетах?— У нее был такой вид, словно ей жали туфли.

— Во всех до единой.— Питер ткнул кипу газет ногой. Пол покрыли бесконечные фотографии обнимающихся Клея и Инид.

— Дело рук отца. У меня такое ощущение, что он спятил.

— Он не спятил. Он хочет провести Клея в конгресс. И я знаю почему. Им движет злоба. Только злоба. Чем еще может он досадить Инид? Или тебе?

— Ты переоцениваешь его интерес ко мне.

— Зато ты недооцениваешь. Если он не любит тебя, это не значит, что ты его не интересуешь. Скорее наоборот.

— Мне кажется, дело в другом: она довела отца. Его раздражает ее пьянство, и в этом он прав. От нее все идет вверх дном.

В комнату вошел Иниэс, спросил, где Билли.

— Билли в типографии,— Диана, номинальная жена, ответила вместо Питера, фактического издателя. Отношения между мужем, женой и любовником развивались удивительно гладко в течение шести недель их совместной работы над первым и вторым номерами журнала, который, по выражению одного из критиков, «отвечает определенной потребности», но какой именно, Питер так и не отважился спросить себя, опасаясь, что ответ может быть только один: это предлог для того, чтобы находиться вместе с Дианой.

В дверь постучали, Иниэс открыл ее, и в комнату вошел Клей.

— Разрешите?

Диана покраснела. Питер вскочил на ноги. Стремительно, словно в предчувствии нападения, Иниэс сделал несколько шагов назад. Но Клей был сама любезность.

— Мне нужно было зайти к нотариусу.— Клей держал в руке конверт из плотной манильской бумаги, как будто ждал, что ему не поверят и потребуют доказательств.— Внизу нотариальная контора. Я увидел вашу вывеску. И решил зайти. Надеюсь, я не помешал?

— Нисколько.— Питера поразила его собственная сердечность.— Присаживайся. Вот наш первый номер...

— Видел.

— Вот второй. Познакомься, это Иниэс Дункан.

— Читал вашу статью. Кто это здесь собирает прессу обо мне?— Клей разглядывал разложенные веером на ковре газеты.— Ты, Диана?

Диана побледнела и отрицательно помотала головой.

— Это Питер. Но ты на всех нас произвел большое впечатление. Ты герой.

— Знаете, так здорово снова быть дома,— нейтрально заметил Клей, взяв первую правильную ноту в полной диссонансов прелюдии.

В политическом смысле Клей — враг. Это ясно. Но Питер никак не мог понять почему. В конце концов честолюбие само по себе еще не грех.

Иниэс, конечно, был готов к спору.

— Вам, должно быть, нелегко сносить...— он подозрительно посмотрел на Клея через мутные стекла очков,— ...весь этот тошнотворный бред.

— Какой бред?— несколько недоуменно спросил Клей.

— Ну, то, что пишет этот сентиментальный сочинитель, как его?

— Бедный Гарольд.— Питер назвал имя, снабдив его этим патетическим эпитетом.

Иниэс кивнул.

— Как вы терпите, когда о вас пишут так, будто вы герой рекламной радиопередачи для домашних хозяек... мало того, будто вы и есть то мыло, которое им советуют покупать, хотя оно вовсе не обладает качествами, какие ему приписывают?

— О господи,— лицо Клея приняло подчеркнуто равнодушное выражение.— Гарольд, возможно, несколько перестарался, но...

— Да, да. Это нам известно. Гарольд Гриффитс возвел безграмотность в одну из форм высокого искусства. К тому же он намеренно лжет...

Питер давно уже не пытался защищать старого друга Гарольда от своих новых друзей. Конечно, они правы. Военные репортажи Гарольда были особенно ужасны. Скоро он вернется (последняя корреспонденция с Тихого океана, из Манилы, начиналась так: «Жемчужина Востока в руинах. Японцы предались оргии разрушения...»), и Питер постарается узнать, намеренно или нет Гарольд издевается над всеми.

— Почему? Вы не верите тому, что написал обо мне Гарольд?

— Это, несомненно, правда...

— Что же тогда сбивает с толку?

— Стиль, манера, в какой вы были поданы публике, словно герой дешевой беллетристики...

— Это не в моей власти.

— Я критиковал не вас.

— Кого же тогда? Гарольда?

— Их всех!— Иниэс презрительно окинул взглядом разбросанные по полу газеты.— Все, к чему они прикасаются, гибнет, превращается в дешевку.

— Уверен, что «Американская мысль» направит всех нас на путь истинный.

— Мистер Сэнфорд, очевидно, проделал громадную работу,— сказала Диана, доставая свой меч из ножен.— Я имею в виду прессу. И все прочее.— Этот переход к рукопашной заставил Клея выпрямиться в кресле, блеск его глаз выдавал, как больно задела его Диана.

— Блэз оказал мне немалую помощь.

— По-видимому, ты будешь добиваться избрания в конгресс в будущем году — со всей этой рекламой?— Питер больше не прятался. Он вступил в игру.

Но Клей внезапно повеселел. Он их раскусил.

— Кто знает? Меня так долго не было дома.— Одним словом, он напомнил им о своем статусе воина.— Я слегка потерял почву под ногами. Думаю заняться юридической практикой. Заработать денег. В конце концов, Блэз — это не *мой* отец.

Клей встал, собираясь уходить. В руке, как щит, прикрывающий самое уязвимое место, он держал конверт из манильской бумаги.

Когда Клей ушел, Питер подвел итог:

— Все очень просто. Ему *чертовски* везет. Но мы не можем с этим примириться.

III

Осторожно, чтобы не поднимать шума, горничная-негритянка открыла дверь. В комнате было темно, как в пещере, стоял сильный запах табачного дыма, стойких духов, Инид.

— Инид?— Когда Клей заговорил, служанка удалилась, не желая присутствовать при преждевременном пробуждении своей госпожи. Но было два часа дня, и Клей пришел на ленч к своей жене, которая исключительно приветливо говорила с ним по телефону. «Не понимаю, почему мы не можем быть друзьями после стольких лет». Но предполагаемый друг храпел, и Клей раздвинул шторы и впустил в комнату день.

В путанице простыней посреди постели, свернувшись, словно плод в утробе, лежала Инид. На кресле висело аккуратно сложенное белье — верный признак того, что накануне она напилась. Трезвая, она швыряла белье на пол, пьяная была до одержимости аккуратна. На ночном столике стоял пузырек с таблетками снотворного. Рядом, прямо в пепельнице,— полстакана виски.

Инид зашевелилась, слабо застонала, затем, откинув с лица темные волосы, посмотрела на него красными глазами.

— Какого черта тебе здесь нужно?

— Ты же пригласила меня на ленч. Помнишь?

— Послушай. Сходи в ванную и принеси мне две таблетки аспирина. У меня дьявольски болит голова. Ты похудел. Но это так соблазнительно,— сказала она, глядя на его спину, когда он входил в ванную, где прежде всего и увидел, не без сожаления, те исторические принадлежности Инид, которые изменили ход их жизни.

Инид приняла лекарство и мягко икнула, скорчила гримасу, вздохнула, потянулась и улыбнулась.

— Садись.— Она указала ему на самый край постели. Вместо этого он придвинул себе стул. Она сделала вид, что не заметила. Если не считать красных глаз, у нее было ясное лицо младенца. Она не забыла вечером смыть грим, но на лице еще были следы крема.— Я вчера надралась,— сказала она, употребив эвфемизм, который, как понял Клей, был популярен среди людей, казавшихся ей забавными: офицеров армии и флота, проводящих время в беспрерывных попойках.— Я праздновала твое возвращение.

— Не сомневаюсь.

— Почему бы тебе не переехать сюда? Ты бы мог жить в комнате для гостей.

— Что скажет Джо?

— Ты ему нравишься. Послушай, я хочу поговорить с тобой о Джо. Эллен! — крикнула она вдруг, почти оглушив его.— Эта чертова черномазая неподвижна, как патока в зимний день. Но я без нее не могу обойтись, пусть она хоть на тотализаторе играет.

«Патока» испуганно застыла в дверях, госпожа приказала ей принести кофе, *два* кофе («это будет твой ленч») и виски с апельсиновым соком.

— Мне надо опохмелиться. Но вообще-то я могла бы выпить как следует.

Инид улыбнулась ему своей озорной улыбкой, и, вопреки здравому смыслу, он почувствовал желание. Закинул ногу на ногу. Она, если хотела, замечала все.

— Так, так.— Она снова потянулась. Затем сказала безучастно: — Я собираюсь за Джо замуж.

— Прекрасно.

— Это все, что ты можешь сказать? — Она раздраженно нахмурилась.

— А что мне остается? Ты собираешься замуж. Валяй, получай развод.

— Алиса останется со мной. *Окончательно и бесповоротно.* Дай мне закурить.— Рука ее дрожала. Клей передал ей зажженную сигарету. Она жадно курила, пепел сыпался на подушку.— Я считаю, что ребенка нельзя разрывать на части из-за того, что родители не смогли ужиться. Кроме того, она тебя не любит.

Клей, как всегда, восхищался безошибочной способностью Инид заходить слишком далеко. Желание причинить максимальную боль перевешивало всякую природную хитрость, которой она обладала. Она всегда сжигала за собой мосты.

— Если я ей безразличен,— спокойно сказал Клей,— в этом виновата ты.

— Ушел ты, не я. Поэтому мне не осталось ничего другого, как стать мужчиной, создать дом, быть и матерью и отцом.

В комнату с подносом в руках вошла служанка.

— Поставь здесь, дорогая.— Как и у большинства вашингтонцев, у Инид в разговоре с неграми появлялся сильный южный акцент.— Дочь завтракает сегодня у Клейпулов, да? А потом идет в зоопарк? Боже, у нее настоящая светская жизнь! — кудахтала Инид. Служанка подтвердила, что все обстоит именно так, и вышла, а Инид, все еще кудахтая, взяла дрожащей рукой стакан виски с апельсиновым соком и залпом осушила его. Рука стала дрожать заметно меньше.— Это было прекрасно. Пей кофе. Что же мы будем делать?

— Ты поедешь в Неваду и получишь развод.

— А тебе это не повредит? Не будут ли шокированы эти чучела с красными шеями, которые, как ты предполагаешь, за тебя проголосуют?

— Возможно. Но у меня нет выбора.

— Да, это так.— Она глубоко затянулась и закашлялась, заметалась.— Клинекс! В верхнем ящике! — В верхнем ящике лежала коробка надушенной туалетной бумаги клинекс и маленький пистолет. Откашлявшись, отдышавшись, она сказала: — Одинокой женщине нужно средство самозащиты в этой части города. Черномазые запрудили столицу и вконец обнаглели.

— *Ты* боишься? — Клей был поражен. Инид никогда не запирала дверей, не боялась темноты, вообще ничего.

— Да. Теперь положи пистолет на место. Итак, я получаю право опеки. Да или нет?

Перед глазами Клея возникло лицо дочери, он ее почти не знал. Его белокурые волосы, темные глаза Инид и, по мнению Блэза, обожавшего девочку, бешеный характер. «Заводите внуков,— говорил он,— минуя детей, если удастся». Клей миновал своего ребенка без сожалений.

— Ты получишь право опеки.

— Ну и ну! — Она вдруг рассердилась.— Ну что ты за отец? Понятно, почему она тебя ненавидит. Ты чудовище. У тебя нет никаких чувств.— Она поносила его еще какое-то время, но брак их был уже в прошлом, и Клей даже для забавы не хотел возобновлять игру в обвинения и контробвинения. У него не было больше не только жены, но и ребенка, которого он, по существу, не знал.— Сколько ты еще думаешь пробыть в Лавровом доме?

— Пока не решу, что делать дальше.

— Это смешно. Ты в конце концов оказался в моей старой комнате, а я — здесь, одна, и некому меня согреть.

— По-моему, ты не очень замерзла. У тебя есть Джо.

— У отца наверняка связаны с тобой грандиозные планы. Никогда не видела такой рекламы. Знаешь, если бы ты дал мне хоть малюсенький шанс, я не вышла бы замуж за Джо. Мы могли бы остаться вместе.

Клей встал. Знакомая тактика. Он никак не откликнулся...

— Я должен идти. Спасибо за ленч.

— Ты сука,— сказала она злобно.— Должна заметить, что вы с отцом — прекрасная пара. Надеюсь, что вы будете очень, очень счастливы вместе.

— Спасибо, Инид.— Клей подошел к двери в тот момент, когда в комнату входил Джо. Оба испуганно отпрянули назад. Клей первый пришел в себя.— Она ваша. Я согласен на развод. Она забирает ребенка и все, что пожелает.

— Джо, почему ты не сломаешь ему шею? — раздался громкий, отчетливый голос Инид.

— Что ты, дорогая,— пробормотал Джо, улыбнувшись Клею и выказывая ему свое расположение.— Вы знаете, я читал, что писали о вас. Это шикарно — то, что вы сделали.

— Джо, заткнись! — отчаянный крик Инид исходил из самого сердца.

— Спасибо, Джо. Прощайте.— Клей выскользнул из комнаты мимо своего преемника и оставил позади свою супружескую жизнь.

В этот вечер Клей рано лег спать в старой комнате Инид, из окон которой виднелась за деревьями знаменитая купальня, и принялся изучать вырезки из газет штата, которые передал ему Бэрден. Считалось само собой разумеющимся, что Клей на будущий год примет участие в первичных выборах и победит, «оказав честь штату».

В дверь постучали. Вошел Блэз в белом шелковом китайском халате с витиеватым вышитым драконом на спине и сделал Клею знак оставаться в постели.

— Боже, до чего здесь жарко. Ну ничего, скоро поедем в Уотч-Хилл. Что сказала Инид?

— Она требует развода. Я не стану возражать. И против опеки над дочерью тоже.

— Это создаст нехорошее впечатление,— нахмурился Блэз.

— Вся эта история выглядит не слишком красиво, но что я могу сделать? — Клей уже примирился с тем, что его политической карьере поставлен предел. Разведясь, он может еще быть избранным в палату представителей по своему округу, во всяком случае в будущем году, пока не померкнет его военная слава. Но выше он вряд ли поднимется. Ведь разведенный человек не может быть кандидатом в президенты, и хотя об этом еще рано было думать, мысль не уходила, она прочно застряла в его сознании и руководила всеми его поступками; нет смысла стремиться к политической карьере, если высшая цель даже теоретически недостижима.

Те же самые мысли занимали и Блэза.

— Должен быть какой-то другой выход,— пробормотал он, взяв у Клея газетные вырезки.— Жаль, что ты избираешься от своего паршивого округа, а не от всего штата.

— Это *мой* округ,— ответил Клей с шутливой горделивостью.— Я там родился. Я один из них.

— У тебя не такая красная шея.

— У них тоже. В конце концов цивилизация добралась и до нашего штата.

Блэз считал, что война продлится еще минимум год. По мнению Клея, худшее было впереди.

— После поражения Германии япошки будут драться куда ожесточеннее.

— Мы болваны,— сказал Блэз. Он отвергал политику покойного президента, требовавшего «безоговорочной капитуляции», которая

столь эффективно удерживала от капитуляции немецкую армию и одновременно усиливала наиболее фанатичные элементы в Японии.— А он еще считал себя выдающимся государственным деятелем мирового масштаба, подобным Вильсону. Что же, в этом он был прав. Он был так же ужасен, как и Вильсон.

— Но ведь он добился создания *своей* Лиги Наций.

После того как разразилась война, Клей проникся уважением к элегантному, старому, больному президенту, который, даже умирая, продолжал преследовать свою высокую цель собирания осколков рухнувших империй в новое единство, во главе которого будет стоять он сам, гордый созидатель новой империи. Теперь его уже нет, но цель осталась. Соединенные Штаты стали хозяином Земли. Ни Англия, ни Франция, ни Германия, ни Япония (ее крушение не за горами) не смогут больше оспаривать волю Республики; выжить удалось только загадочным Советам, и вновь установилось равновесие сил. Клею казалось, что он проник в суть нового мира. Он ничуть не сожалел об исчезновении старой Америки — в отличие от Бэрдена, который искренне верил в свою демагогию и умилялся собственной сентиментальности. Бэрден хотел одарить всех отверженных чувством собственного достоинства, в этом, по его мнению, состояла особая миссия Америки в мире. Но Клей в роде человеческом нигде не видел достоинства, и Соединенные Штаты, по его мнению, были не чем иным, как еще одной державой; пришла ее пора стать империей, и в ней он хотел обладать властью для себя самого. Эта точка зрения сближала его отнюдь не с Бэрденом, застарелым идеалистом, а с покойным президентом, который властвовал, соединяя лицемерие с хитростью, вдохновляя своих сторонников и запутывая врагов, никто из которых так до конца и не понял его замыслов, пока всем, кроме вконец ослепленных, не стало ясно после его смерти, что автор Четырех свобод * сумел силой оружия и лукавым маневрированием превратить изоляционистскую республику в то, чему явно суждено стать последней империей на земле. Клей считал его великим человеком.

— Пожалуй, Бэрден не сумел найти верный ход,— заметил Блэз. Было хорошо известно, что Бэрден хотел быть включенным в состав американской делегации на первую сессию Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. Но незадолго до своей смерти старый президент отверг его кандидатуру, а всякая возможность того, что его назначит новый президент, исключалась,— ...из-за той глупейшей фразы, которую Бэрден сказал в день смерти президента, ты слышал? Он назвал Трумэна «первосортным человеком второго сорта».— Блэз рассмеялся.— Говорил это каждому в кулуарах сената. Нужно ли объяснять, что маленький Гарри узнал об этом в тот же вечер, и это был конец Бэрдена.

Неожиданно Блэз взял с ночного столика журнал. Это была «Американская мысль». Он повернулся к Клею.

— Что ты об этом думаешь?

— Очень живой журнал.— Выжидая, Клей держался нейтрально.

— Коммунисты! Все они. Вроде Иниэса Дункана. Я приказал проверить его. Но... мне журнал нравится.

Положение прояснялось. Клей мог теперь высказаться.

— Это замечательно, что Питер... нашел себе наконец занятие...

— Он умен. Не выпускай его из поля зрения.

— Почему? — Клей был озадачен.

— Предчувствие. Ничего больше.

— Инид?

---

* Цели, которые, по мнению Рузвельта, должна была преследовать политика США, провозглашенная им в послании конгрессу «О положении страны» 6 января 1941 года: свобода слова и выражения мнения, свобода вероисповедания, свобода от нужды и свобода от страха.

— Да. Он будет на ее стороне, что бы ни случилось.

— Какие тут стороны? Я ухожу. Она остается.

Но Блэз предпочел уклониться от этой темы:

— Встретил на днях приятеля из Нью-Йорка. Очень умный тип. Журнал Питера прямо-таки поразил его, «лучше «Нью рипаблик», сказал он. Он считает это комплиментом.

— Питер умен,— повторил Клей. Это была теперь уже согласованная характеристика его шурина, которого он скоро должен был потерять.

— Смешно. Мне казалось, что из него вырастет повеса, и я уже был готов с этим примириться. Я бы не имел ничего против, если бы только он умел шалопайничать со вкусом. Иногда я тоже сожалею, что не увлекался лошадьми, женщинами, прочими веселыми делишками. Конечно, я ему этого никогда не скажу. Да и ты не сможешь. Так или иначе, она положила этому конец. Взяла его в свои руки.

— Диана?

— Твоя бывшая пассия,— кивнул Блэз. Он помахал своей широкой ладонью, чтобы разогнать дым и лучше видеть Клея.

— Она умна,— неуклюже сказал Клей, сознавая, что он повторяется.

— Какая бы она ни была, она нацелилась на моего сына, и, пожалуй, для него это отнюдь не худший вариант. У *нее* уже был худший вариант. Тот одноногий мерзавец. Почему *ты* на ней не женился?

— Я объяснил вам это тогда в купальне. Из-за Инид.

— Ты в самом деле любил Инид? Или же меня?

— Вы хотите сказать, ваши деньги?

— Разве это одно и то же?

— Это сказали *вы,* а не я — в тот день, когда предложили мне деньги, чтобы я исчез.

— Я тебя испытывал.

Клею оставалось только притвориться, что он верит Блэзу. Приспосабливаясь к нему, он нервничал, потел в маленькой комнате, голубой от сигарного дыма, полной приторного запаха жасмина, ему не хватало воздуха.

— Ты, конечно, прав,— заметил вдруг Блэз, вспомнив слова Клея.— Развод — политическое самоубийство в вашем штате. Не говоря уже о дальнейших последствиях.

— У меня нет выбора.

— Если ты согласен, я добьюсь, чтобы ее признали сумасшедшей и до конца жизни продержали в клинике.

Несколько картин, стремительно сменяя одна другую, промелькнули перед глазами Клея. Инид, одетая для загородного приема, со спущенной петлей на чулке. Инид протягивает обнаженные руки, от которых исходит лимонный запах. Инид скачет на одном каблуке — другой сломан. Инид среди измятых простынь, пахнущих любовью и пеплом от сигарет. Инид, напившись, кричит: «Что же, давай решать». И вот теперь они должны решать, все они. Блэз ждал ответа, но Клей стремился от него уклониться. Всю ответственность должен взять на себя Блэз.

— Я знаю, это чудовищно. Но она безнадежна. На самом деле. Прошлой весной я направил ее к психиатру. Она тебе рассказывала? Она была у него раз шесть, затем бросила. Он как-то назвал ее недуг. И он готов сделать так, чтобы ее... забрали. Недалеко отсюда, в Мэриленде. Он сказал, они хорошо лечат такие именно случаи.

По крайней мере полмиллиона долларов, решил Клей, в тщательно замаскированном виде — новый корпус клиники, например, хотя нельзя исключать и оплату наличными. Блэз в таких делах шел напрямик.

Следующую паузу Клей намеренно затянул до того момента, пока не насладился вдоволь видом Блэза, дрожащей рукой мявшего в пепельнице потухший, разлохматившийся окурок сигары. Тогда он спросил:

— *На всю жизнь?*

Блэз кивнул.

— Но разве не бывает повторных консилиумов? Не выпустят ли они ее при случае? В конце концов, когда она не пьет, она абсолютно нормальная.

— В том-то все и дело, что нет. Он говорит, что она больна.

— Но ведь это мнение *одного* врача?

— Можно пригласить и других.— Блэз беспокойно ерзал на стуле.

— И они подтвердят диагноз?

— Да.

— Это предусмотрено?

— Да. Для ее же пользы.

— И нашей?

— Клей, она больна. Ты не можешь этого отрицать. И если ее не запереть, она будет только страдать, убьет себя... Ты же знаешь, какая она...

— Итак, мою жену объявят сумасшедшей...

— Мы не скажем, что она сумасшедшая. Просто нуждается в лечении.

— И я не смогу больше жениться?

— Ты собираешься? У тебя кто-то есть? — молниеносно спросил Блэз.

— Нет. Я спросил так, теоретически.

— Не сможешь. Идеальная ситуация, а? Женатый — и одинокий. Свободный — и застрахованный от опасности. Что скажешь?

Теперь Клей был хозяином положения, а Блэзу приходилось привыкать к непривычным для него цепям рабства. Клей посмотрел на него, увидел черные, расширившиеся от страха глаза. «Наконец в моих руках власть»,— подумал Клей, он смотрел прямо в глаза Блэза, пока они не увлажнились и старик не отвернулся.

— Согласен.

Они договорились начать действовать немедленно. Достать нужные документы, медицинское заключение.

— Все должно быть устроено за одну-две недели. Бедная девочка,— добавил Блэз.

— Да. Бедная девочка,— холодно передразнил Клей. И сказал тоном, каким хозяин отпускает слугу: — Устал... хочу спать... такой трудный день.

— Да, да, конечно... прошу извинения... трудный день,— ответил Блэз.

Блэз ушел, и Клей выключил свет. Долго еще лежал он без сна в душной темноте комнаты, думая о том, что все наконец стало возможным. Инид проиграла. А он совершенно чист, потому что Блэз, а не он нанес последний удар.

IV

Германия капитулировала восьмого мая, и Блэз устроил пышный прием, как будто он, а не маленький бесцветный президент, чья нога еще не переступала порога Лаврового дома — и вряд ли переступит, несмотря на то, что судьба так нелепо вознесла его,— был вождем победоносной нации.

— В Белом доме сегодня никого не будет! — воскликнула Элизабет Уотресс, глядя на павильон в конце лужайки, сооруженный специально для приемов в «открытом доме» Сэнфордов.— Все *они* здесь, в том числе и эта отвратительная миссис Блох.

Они и в самом деле все были здесь сегодня, сгрудившись под навесом, где рядом с баром стояли Блэз, Фредерика и военное начальство,— это был их день, так как косвенно (всего лишь косвенно, угрюмо отметил про себя Питер) они были причастны к победоносному окончанию войны.

— Посмотри! Это он. Я должна с ним познакомиться. Ну, пожалуйста! — Элизабет повернулась к Питеру, умоляюще протянув к нему руки. Всякий раз, как они шли куда-нибудь вместе и там оказывалась очередная знаменитость, она должна была с ней познакомиться.— Позови его!

Питер окликнул Клея. Тот подошел к ним, его нашивки сразу сделали незначительным Питера, который все еще носил форму, хотя скоро его должны были уволить со службы на том веском основании, что теперь, когда одна из двух войн закончилась, ни ему, ни другим инакомыслящим нечего больше делать в Пентагоне; их мусорные корзины регулярно просматривались офицерами разведки, стремившимися раскрыть код, которым пользовался Иниэс Дункан в своих стихах.

Элизабет держалась холодно, Клей приветливо. Каждый был полной противоположностью самому себе, да так оно и должно было быть. Элизабет не говорила о героизме. Своим приглушенным голосом она поведала, как она любит Инид, и спросила, где Инид сейчас. Питер оживился: как Клей выйдет из положения? Очень просто:

— Она последнее время немного нездорова. Сейчас она в больнице, ей делают анализы.

— Бедняжка Инид. Я бы хотела ее повидать.

— Это нетрудно устроить. Я уверен, что она будет рада с вами встретиться.— Клей повернулся к Питеру, и они стали расспрашивать друг друга о военной службе. Клей сказал, что он демобилизуется, как только завершит турне по стране с целью продажи облигаций займа.

— Конечно, твой штат включен в это турне?

Клей глазом не моргнул.

— Да. По правде говоря, я закончу турне в Капитолии штата, в ротонде, губернатор собирается обратиться ко мне с приветственной речью.

— И тебе не стыдно? — попытался пошутить Питер.

— Нисколько.— Клей по-прежнему невозмутимо улыбался.

— Это восхитительно,— вздохнула Элизабет.

— Что? — Клей еще не научился слушать Элизабет. То, что другие говорили громко, она произносила шепотом. Но она никогда не повторяла своих слов и продолжала говорить дальше:

— Я читала, что о вас пишут книгу!

— Что вы, какую книгу, просто довольно большую статью для журнала. Ужасно скучную. Но полезную.

Питера восхищала прямота Клея. Он нисколько не любовался собой, как будто понимал, что реклама, которую ему создают, хотя и необходима для его политической карьеры, сама по себе — чушь. Казалось, ему никогда не приходила в голову мысль, что он настоящий герой и заслуживает преклонения.

— Книга... пропаганда... все прочее — так редко удается встретить настоящего человека, который действительно существует.— Питер с изумлением слушал незнакомую ему Элизабет.— Который знает, чего хочет.— В стремительном потоке слов она обрела красноречие. Этот момент принадлежал Клею, нет сомнения, и Питер изо всех сил старался

что-то придумать, чтобы его испортить. Он был почти готов объявить во всеуслышание: «Мой отец и мой зять хотят избавиться от моей сестры, а она вовсе не сумасшедшая, просто взбалмошная. Она слишком много пьет и устраивает сцены — но никто не смеет упрятывать ее в сумасшедший дом».

Но Питер ведь уже произнес однажды такую речь перед отцом вскоре после того, как Инид, в истерике, но трезвая, рассказала брату, как с ней собираются поступить. Блэз спокойно выслушал его. И ответил вполне здраво. Что будет с Инид — решать докторам, сказал он. Он сам надеется, что ее не заберут. Но ведь ей нужна помощь, верно? И Питер был вынужден с этим согласиться. А пока она ляжет в больницу, и ей сделают необходимые анализы.

В это утро анализы были получены, и Блэз позвонил Питеру (факт поразительный: никогда прежде они не звонили друг другу).

— Похоже, что она здорова. Ей потребуется, правда, несколько месяцев, чтобы прийти в себя, но и только.

Когда Питер спросил о разводе, отец, чуточку поколебавшись, ответил:

— Думаю, что Клей не должен бросать ее сейчас, когда она попала в беду. Позже — может быть, когда она поправится. Но это их дело. Так или иначе, Инид будет сегодня дома, и мы узнаем, как она себя чувствует.

Это усыпило подозрения Питера. В конце концов Инид всегда была чуть-чуть параноичка, мания преследования вполне могла быть и сумасшествием, а в том, что Инид слегка «того», Питер никогда не сомневался. Но кто не сумасшедший? Накануне вечером, оставшись один, он сожрал целую плитку шоколада Херши весом по крайней мере в фунт и в результате плохо спал и проснулся больной. Утром он виртуозно избежал завтрака, а сейчас отказался идти под тент, где стояла еда.

Инид нуждалась в виски, он — в еде. Каждый требовал больше, чем это нужно нормальному человеку для того, чтобы не было никаких последствий. Они могли, конечно, винить в этом Блэза, Фредерику, Вашингтон, жизнь. И Питер винил их время от времени, но без особого энтузиазма, так как уже давно признал, что абсолютных злодеев не существует. Каждый есть то, что он есть, и нет зла в вечности.

— Я хотела бы чего-нибудь выпить,— прошептала Элизабет Клею. Она повернулась к Питеру и поддразнила его своей ослепительной улыбкой.

— Ваша взяла,— любезно сказал Питер им обоим.

Солнце жгло брезентовую крышу, и несмотря на громадные вентиляторы, в павильоне было очень жарко. Бэрден нашел спасение рядом с ледяным лебедем в натуральную величину. Лакеи ходили мимо, разнося напитки, и многие гости уже были пьяны. Муссолини и Гитлер низвергнуты, скоро падет Япония, и снова начнется нормальная жизнь.

Один из самых неистовых сторонников Нового курса говорил с Блэзом, его манеры стали многозначительно кроткими с тех пор, как иссяк источник его величия и ему на смену волею случая пришла эта посредственность (другого слова не подберешь), воцарившаяся теперь в Белом доме. Бэрден понимал, что он несправедлив к новому президенту, которого он, пожалуй, даже любил, когда тот был сенатором. Но что поделаешь. Рузвельт и в мести остался верен себе. Зная, что не доживет до конца четвертого президентского срока, он и в смерти своей разметал планы более достойных, как делал это при жизни. Он уничтожил их всех, друзей и врагов, возвысив посредственность, которая может теперь наслаждаться зрелищем поочередного увядания более до-

стойных, по мере того как на арену выходят новые и новые люди. Я буду ненавидеть тебя еще сильнее, Франклин, после твоей смерти.

— Миссис Барбур, какой сюрприз! — услышал он рядом голос Фредерики.

— О, миссис Сэнфорд, я никогда не видела такого приема! Этот павильон, эта прелестная обстановка!

— Блэз хочет поговорить с вами, дорогой.— Фредерика повернулась к Бэрдену.— Простите, миссис Барбур.— Фредерика увела Бэрдена, прервав миссис Барбур на полуслове.— Ее не приглашали.

— Она ведь работает у Блэза.

— Я ненавижу репортеров светской хроники, даже своих собственных.— В этот неподходящий момент, отделившись от двух адмиралов, к ним подошла Айрин Блох.

— Дорогая миссис Сэнфорд, какой замечательный fête *! Я пришла с адмиралом Чини,— добавила она предусмотрительно.

— Рада вас видеть.— Фредерика нахмурилась, хотя хотела улыбнуться.— Питер здесь,— добавила она, надев на лицо трагическую маску.

— Я знаю. Я его видела. Какой успех имеет *наш* журнал! Вы видели журнал, сенатор? Что я говорю, конечно, видели, благодаря Диане, *une jeune fille très rafinée* **. Но не буду отнимать вас у гостей, миссис Сэнфорд.— Она изящно повернулась спиной к адмиралам, словно этот день всецело принадлежал ей, в том числе и победа на западном фронте.

— Это просто беда,— прошептала Фредерика, крепко сжимая руку Бэрдена.— Никому теперь не запретишь бывать здесь.

— Конечно, если вы держите открытый дом. Сами виноваты.

— Это Питер виноват. Я принимаю ее ради него.

— Мы должны благодарить вас за это. Диана тоже пользуется благодеяниями Айрин... плодами ее светского честолюбия.

Фредерика вдруг остановилась и посмотрела Бэрдену прямо в глаза.

— Диана разводится?

— Мне это неизвестно.— Он говорил чистую правду, но голос его звучал фальшиво.

— Я слышала, что разводится. Я также слышала...

— ...что Питер и Диана?..

— ...да. Он слишком молод. А вот и Блэз.

Бэрден вдруг почувствовал себя оскорбленным. Хотела ли она сказать, что Диана недостаточно хороша для Питера? Он выкинул эту мысль из головы. Конечно, она имела в виду только то, что сказала, но даже если так, он стал вдруг таким уязвимым в последнее время, всюду ему чудилось ущемление его прав и пренебрежение к нему, чего и в помине не было.

Но Блэз, к счастью, и не думал обращаться с ним, как с закатившейся звездой; в худшем случае он, казалось, относился к Бэрдену как к солнцу во время короткого затмения, ублажая его мыслью о том, что лишь только пройдет лунная тень, снова вернется свет. Жестом руки он отстранил собеседников и притянул к себе Бэрдена. Позади них вентилятор едва волновал теплый воздух.

— ...турне для продажи облигаций военного займа... губернатор... все устроено... а как вы?

Бэрден сказал именно то, что от него и ожидалось.

— Я буду там, конечно.— Конечно, будет. Он все еще один из политических боссов штата. Ни одна звезда не может взойти над ровным горизонтом этого изменчивого района без его благословения, искреннего или притворного. Во всяком случае, он не мог себе позволить, чтобы его

---

* Праздник *(франц.)*.

** Чрезвычайно рафинированная молодая особа *(франц.)*.

игнорировали, хотя выбор кандидатов уже не принадлежал всецело ему, как это было в предвоенные годы, когда слова, брошенного им нескольким главарям, было достаточно, чтобы энергичный (но не слишком энергичный) политик, на чью безусловную преданность в течение всего срока он мог полностью рассчитывать, получил место в палате представителей.

— Мы хотим сделать так, чтобы никто не выступил против него на первичных выборах.— Это «мы» было для Бэрдена как удар ножом в спину. Какое право имеет Блэз, вашингтонский издатель, говорить «мы», когда речь идет о политических делах его родного штата?

— Но как это можно сделать? — слабо откликнулся Бэрден.— Нынешний конгрессмен захочет сохранить свое место. Это честолюбивый человек, не старый, к тому же.

Слово «старый» начинало преследовать Бэрдена. Во время последних выборов его называли старым, хотя для самого себя он оставался точно таким же, каким был, когда приехал в Вашингтон с двумя плетеными чемоданами. Он зарезервировал номер в гостинице на полпути между вокзалом и Капитолием, где ясным днем, дрожащий от напряжения, он был подведен к сенатской трибуне старшим сенатором штата, уже давно умершим, для принесения присяги, и Китти в громадной шляпе и полосатом платье с гордостью наблюдала за ним с галереи. Старый!

— Мы позаботились о нем.— Бэрдена снова всего передернуло от боли при этом «мы», но он продолжал улыбаться.— Есть вакантное место федерального судьи. Он не прочь получить его. Как мне доносят мои шпионы, президент назначит его на этот пост только в том случае, если вы и Момбергер...

— Конечно, я буду его рекомендовать,— сказал Бэрден, который уже раньше обещал пост судьи другому человеку.

— Ну вот и прекрасно! Я всегда знал, что мы можем на вас рассчитывать! — Блэз похлопал его по плечу.— С Момбергером затруднений не будет. Итак, все ясно. Наш мальчик победит!

Бэрдену пришлось утешиться мыслью, что ни про кого никогда нельзя с уверенностью сказать «наш». Время еще проучит Блэза.

V

Два специальных ночных фонаря были установлены перед домом для того, чтобы приманивать и сжигать в желтом пламени насекомых. На террасе под лампами на прямых железных стульях сидели Блэз и Клей и слушали доктора Полэса, говорившего с мягким акцентом южанина.

— Ее душевное равновесие глубоко нарушено, это очевидно даже неспециалисту, ее поведение во многих отношениях чрезвычайно ненормально. Но среди моих коллег существуют некоторые расхождения относительно точного характера ее заболевания.

— А мне казалось, что проблема эта совершенно ясна — даже для ваших коллег.— Блэз взял разговор в свои руки, как на то и рассчитывал Клей. С полной невозмутимостью он курил предложенную ему Блэзом сигару, глаза его смотрели в ту точку сада, где несколько часов назад Бэрден сказал ему, что он, Клей, победит на первичных выборах, так как нынешний конгрессмен, его соперник, вскоре будет назначен федеральным судьей.

«Нелегко это было устроить»,— сказал пожилой сенатор с той удивительной замирающей интонацией в голосе, которой Клей часто пытался подражать.

«Президент... как странно называть *этого* человека президентом.... и я отнюдь не в близких отношениях, мягко выражаясь... Но...» — Легкая, как перо, рука Бэрдена опустилась на руку Клея. Сидя теперь в темноте, Клей видел себя в тот день, когда он жадно вслушивался в детали хитроумного плана, который разработал Бэрден, чтобы поймать в ловушку нынешнего конгрессмена и наивного президента. Очевидно, план удался. Объявление об этом будет сделано с таким расчетом, чтобы оно совпало с церемонией в Капитолии штата.

«Смогу ли я когда-нибудь вас отблагодарить?»

«Может быть, и нет»,— в улыбке Бэрдена таилась злость, которая не укрылась от Клея, он заметил, как постарел сенатор за время его отсутствия. Рот его навечно принял трагический изгиб, глаза наполнились тоской.

«Тебе понравится в конгрессе. Мне нравилось, когда я был в твоем возрасте».

«Это значит, что теперь не нравится?»

«Теперь мне ничто уже не приносит радости. Но должен сказать... у меня нет жизни вне стен сената. С течением времени все перестает быть реальным, все, кроме твоей работы и патологического изучения всякого, кто оказывается на другом конце Пенсильвания-авеню*. Президент... любой президент... наш естественный враг, и так оно и должно быть. Не будь одним из тех, кто полагается на президентские милости. В конечном счете — это ошибка. Правда, в конечном счете не очень мудро вечно стоять в оппозиции, как это делал я. Но так уж это случилось... такой уж я есть».

Клей моментально уловил это столкновение прошедшего и настоящего времени. Он подумал, не заболел ли старик, ведь он никогда не был мнительным.

«Вряд ли новый член палаты представителей непременно будет замечен, что бы он ни делал»,— сказал Клей.

«Есть разные способы быть замеченным.— Длинная рука с голубыми прожилками откинула волосы с усталых глаз.— Быть замеченным лидерами. Но только *внутри* палаты. Никогда не ищи славы за ее пределами. Если они про это узнают, ты будешь бессилен что-либо предпринять. А ведь именно это, в конечном счете, имеет значение. Делать то, что надлежит делать.— Поняв, очевидно, что он зашел слишком далеко в восхвалении добродетели, Бэрден улыбнулся: — Так редко удается действовать для себя и одновременно приносить пользу другим, хотя бы даже случайно, но в этом источник высшего удовлетворения».

Клей засмеялся: он решил, что на такую именно реакцию и была рассчитана последняя тирада сенатора. Но старик вдруг взглянул на него искоса, и трудно было понять, что означает этот взгляд. Когда он заговорил снова, в его тоне не было больше иронии.

«Должен сказать, что люди, как таковые, никогда не вызывали во мне любви, но иногда они вызывают некоторое сострадание. Особенно дома, в нашем штате, когда едешь по этой нескончаемой плоской равнине, от одного маленького городка к другому...»

Клей с волнением представлял себе свое будущее, когда он так же будет объезжать этот штат.

Сидя в полутьме, глядя на то место, где раньше стоял Бэрден, Клей видел его так же ясно, как это было днем, когда они стояли рядом и разглядывали гостей Блэза на лужайке.

Доктор Полэс продолжал говорить:

— Конечно, мистер Сэнфорд, ваша дочь нездорова, и мы сделаем все, от нас зависящее, чтобы помочь ей.

---

* Имеется в виду Белый дом.

— Я знаю, что она нездорова и что вы хотите ей помочь, но *как* можете вы помочь, если она не желает оставаться в вашей клинике?

— Мы надеялись, что она останется добровольно, и тогда ее заболевание могло бы...

— Но она не желает оставаться! Она алкоголичка. Она не отвечает за свои поступки.

— Но, мистер Сэнфорд, трудность состоит в том, что ее нельзя назвать невменяемой. Она, согласно самым авторитетным заключениям, отвечает за свои действия в обычном юридическом смысле.

Тут наконец вмешался Клей:

— Мне кажется, что суть проблемы... — он нахмурился при этом слове,— в том, чтобы найти какой-нибудь законный способ заставить ее лечиться.

— Я бы и сам хотел, честно говоря, чтобы такой способ был, мистер Овербэри, и я не переставая думаю, как помочь вашей жене, которая серьезно больна...

Надо сказать, что слова «серьезно больна» едва ли соответствовали состоянию Инид, когда она появилась в тот вечер в Лавровом доме. Она пришла сразу после ухода последних гостей, прекрасно выглядела, была трезва, в руках у нее была сумка с вещами, которую берут с собой, собираясь остаться на ночь.

«Мне надо серьезно поговорить с тобой, отец. И с тобой, Клей.— Голос ее звучал резко.— Но прежде всего мне надо хорошенько выспаться. Я не спала целую неделю, так как мне не давали снотворного в том очаровательном заведении, куда вы меня упекли. Поэтому мы поговорим утром, когда я буду свежа как огурчик».— На этой зловещей ноте она поднялась наверх вместе с Фредерикой.

За ужином, когда Блэз спросил Фредерику, что говорила ей Инид, мать не сказала ничего, кроме:

«Она показалась мне вполне нормальной. Она не пьет уже несколько недель и не собирается начинать снова».

«Но чего же она хочет?» — настаивал Блэз.

«Чтобы ее оставили в покое,— резко ответила Фредерика.— Чтобы позволили развестись с Клеем и жить спокойно. Вряд ли можно ставить ей это в вину».

«Конечно».— Клей был доволен, что его голос, хоть хриплый после долгого молчания, прозвучал искренне и с чувством.

Блэз все еще говорил с незадачливым доктором Полэсом, который уже встал, собираясь уходить; круглое, мягкое лицо доктора казалось болезненным в желтом свете противокомарных ламп.

— Конечно, я потребую пересмотра этой проблемы, безусловно, сэр. Вы можете быть уверены.

— Я полагаюсь на вас.— Блэз взял доктора за руку, словно собираясь надеть на него наручники, и повел его в дом через балконную дверь, которая звонко захлопнулась за ними.

Спустя некоторое время Клей тоже вошел в дом. В большой гостиной он остановился. Блэз все еще стоял у парадной двери, припугивая доктора. Почувствовав вдруг жажду, Клей открыл дверь в библиотеку и включил свет.

Инид сидела в кожаном кресле отца, положив голые ноги на медную каминную решетку. От внезапного света она зажмурилась.

— Как ты находишь доктора Полэса? Какое впечатление? — она говорила, подражая жалобному голосу доктора.— Он, конечно, понимает, в чем моя *проблема*. Или... — она заговорила своим обычным голосом,— твоя проблема, как выясняется.

Холодным взглядом диагноста Клей искал знакомые симптомы и нашел их: рядом с креслом на полу стоял высокий стакан; конечно, в

нем могла быть и вода, однако лихорадочный блеск ее глаз доказывал, что в нем было виски. Предположительный диагноз подтвердился.

— Ты пила,— заметил он безучастно.

— Интересно, чем бы ты занимался на моем месте,— ответила она со своей обычной отрешенностью,— после того, что вы с отцом сделали со мной.

— Он только хотел помочь тебе.— Клей благоразумно решил отделить себя от своего сообщника.

— Да, да, конечно. Ну что же, а знаешь кто ты такой? Кто такие вы оба? — Она выпрямилась и плотно запахнула халат.

— Не лучше ли тебе лечь в постель?

С шоссе донесся хруст гравия. Это отъехала машина доктора Полэса.

— Но вам не удастся добиться своего. Нет. Нет. Вам это не удастся.— Она мотала головой, пока все не поплыло у нее перед глазами. Клей, пристально наблюдавший за ней, не заметил, как вошел Блэз, но по неожиданной гримасе на лице Инид он понял, что главный виновник и ее страданий, и самого ее существования присоединился к ним.

— Ты пьяна! — Блэз скорчил ей в ответ ту же гримасу.

— Ну и что? Лучше уж пить, чем...

— Доктор Полэс говорит, что у тебя душевное расстройство. Что тебе нужна помощь.

— Мало ли чего он травит! — Клея всегда интересовало, из какой субкультуры черпает Инид в минуты опьянения свой словарь. Трезвая, она говорила на нормальном английском языке, а выпив, превращалась в своего в доску парня, который за словом в карман не полезет и пойдет в огонь и в воду, чтобы помочь приятелю. Наверно, она втайне от всех зачитывалась ковбойскими романами.

— Конечно, мне нужна помощь, и я уже нашла ее. Это отличный адвокат, лучший в городе. Я говорила с ним сегодня утром и все ему объяснила.

— Зачем тебе адвокат? — Блэз старался говорить спокойно и рассудительно, но пальцы его были сжаты в кулаки.

— Во-первых, чтобы избежать одного веселенького учреждения...

— Чего-чего? — Клей не собирался прерывать, но он не понял Инид.

— Ну, сумасшедшего дома, куда вы горите желанием меня упечь.

— Мы хотели тебе помочь. И ничего больше.— Блэза трудно было заподозрить в неискренности.

— Кому помочь? Себе и Клею или мне? — Инид не ждала ответа на свой вопрос.— Но мой новый адвокат добьется развода со всем полагающимся гарниром.

— С каким еще гарниром? — Клей почувствовал, как холодеют его руки.— Ребенок остается у тебя. И все остальное.

— А деньги?

— У Клея нет денег. Деньги есть у тебя.— Блэз был раздражен и, истолковав расплывчатость ее слов как проявление слабости, решил ответить ударом на удар.

Но Инид овладела собой:

— Мне нужны твои деньги, а не Клея.

— У тебя есть все, что ты пожелаешь. И всегда было.

Клей почувствовал тревогу. Надвигалось что-то непонятное. Инид никогда не проявляла ни малейшего интереса к деньгам; в худшем случае в прежние времена она злилась, если их не хватало, но теперь, когда она получала доход с положенного на ее имя наследства, она была совершенно безразлична к собственности.

— Это ты теперь так говоришь,— сказала она, с трудом выговаривая слова, как будто забыла, почему возник разговор о деньгах. Она сделала большой глоток из стакана, виски освежило ее память.— *Он* говорит... Хартшорн, адвокат, говорит... это, самое меньшее, что тебе придется для меня сделать после всего, что ты собирался сделать, учитывая то, что мне известно.

— Что тебе известно? — мягко спросил Блэз.

— Что ты хочешь убрать меня с дороги, потому что развод испортит Клею всю карьеру.

— Я всегда был согласен на развод. И сейчас согласен,— осторожно сказал Клей.

— Говорить-то ты говорил, но я знаю кое-что другое.— Голос ее становился резким.— Я знаю, что к чему, и адвокат это знает, и не думайте, будто я у вас в руках, а не наоборот. Давайте смотреть фактам в глаза: у меня все козыри.

— Какие же это козыри? — Хотя в голосе Блэза слышалась угроза, он сделал шаг назад, прочь от нее, словно ища защиты.

Инид нетвердо встала на ноги, засунув руки в карманы халата.

— И не надейтесь, что, когда со мной будет покончено, об этом никто не узнает. Узнают все.— Она сделала шаг в сторону Блэза, восстанавливая прежнее расстояние между ними.— Ты влюблен в него.

Блэз ничего не сказал. Он стоял, сжав кулаки, приоткрыв рот, тяжело дыша. Инид смотрела то на одного, то на другого, словно они чем-то ее забавляли, она уже не держалась как пьяная, словно сбросила маску, которую могла снимать и надевать по своему желанию.

— Не думали, что мне это известно? — Она повернулась к отцу.— Ты его ненавидел, когда я вышла за него замуж, потому что ты хотел заполучить его для себя, а потом возненавидел меня, потому что это мне удалось его заполучить, хотя, ей-богу, я охотно бы им поделилась. Довольно ходить вокруг да около, а, Клей? — Она посмотрела на Клея, который стоял, не шелохнувшись, не говоря ни слова.

Разочарованная его молчанием, Инид снова повернулась к Блэзу.

— Клей ведь готов на все, что помогает его карьере. Вот почему он позволил тебе влюбиться в него, хотя на самом-то деле он считает тебя омерзительным, грязным, старым...

С протяжным воплем Блэз кинулся на нее, выставив перед собой, как таран, сжатые кулаки. Инид была к этому готова. Как матадор, она прыжком уклонилась от удара, для равновесия широко раскинув руки. Халат распахнулся. Но в этот момент Клей видел не ее тело, а пистолет, который она сжимала в правой руке. Он хотел было крикнуть что-то, предупредить, но не мог. Для него не было больше роли в этой пьесе.

Блэз снова бросился на нее, высоко подняв для удара руку, не замечая пистолета, который Инид разрядила прямо в него. Раздался звук лопнувшего воздушного шара. Тоненькая струйка белого дыма протянулась между ними.

Долго они стояли кружком, и руки Блэза все еще были протянуты вперед. Одна рука Клея тоже была вытянута вперед, словно хотела остановить пулю, прорезавшую воздух. Так они и стояли, точно замороженные, пока дверь в библиотеку не распахнулась и не вошла Фредерика; без грима лицо ее выглядело совсем старым, она стояла в дверях и смотрела на них, точно перед ней были живые статуи. Когда она наконец заговорила, голос ее звучал поразительно спокойно и печально:

— Что ты наделала, Инид?

Инид повернулась к матери и бросила пистолет на коврик перед камином.

— Ничего, мама,— сказала она.— Ровным счетом ничего.

Глава седьмая

I

— Но не счастлива?

— Счастье — понятие относительное, мистер Сэнфорд. У каждого из нас бывают свои светлые и черные дни. Взгляните только, какой сегодня день, взгляните! — Маленькая ручка мягко указала на окно: гонимые ветром струи дождя, словно водяные плети, хлестали по стеклу.

— Никто, конечно, не бывает *абсолютно* счастлив,— заметил Питер, глядя на черно-серое ноябрьское небо. Это было все, что он мог увидеть: окно находилось слишком высоко, вне сомнения, для того, чтобы затруднить побег.— Но, как по-вашему...— Он остановился, подыскивая слово, которого ждал от него доктор Полэс.—...*приспособилась* ли она к своему теперешнему положению?

— Я думаю, что да. Да, конечно.— Врач бросил на него жуликоватый взгляд, словно желая сказать: «Мы все одной веревочкой связаны» — и не подозревая о том, что перед ним — враг.— Ей назначено лечение. Сейчас она увлекается живописью, и надо сказать, у нее есть талант. Совсем недавно миссис Полэс даже попросила у нее одну из картин...— Легкая тень, промелькнувшая на лице доктора Полэса, давала понять, что о приспособлении не может быть и речи.— Она сказала, что отдаст картину, как только положит последний мазок! — гладко закончил он.

Питер улыбнулся, представив себе этот диалог.

— Стало быть, с таким улучшением ее можно выписать в ближайшие дни?

Белый гладкий лоб врача прорезался необыкновенно глубокими поперечными и косыми складками.

— Знаете ли...— начал доктор Полэс.— Знаете ли,— повторил он,— спешить не стоит. Она в хорошем состоянии... относительно хорошем, но это еще мало о чем говорит. У нее, видите ли, шизоидный характер...

— Мы все шизоиды, доктор. Но есть ли у нее шизофрения? — Питер сообразил, что взял слишком резкий тон и слишком многое выдал. Подобно всем жрецам, врачеватели человеческих душ не любят, когда прихожане обнаруживают слишком близкое знакомство с их священным ремеслом.

— Да, мистер Сэнфорд, у нее шизофрения. Консилиум специалистов подтвердил мой диагноз два года назад.

— И пересмотр диагноза невозможен?

Складки исчезли. Щеки врача округлились в мягкой улыбке. и на них выступили ямочки.

— Мне кажется, вы не вполне понимаете нашу методику. Болеть шизофренией все равно что болеть лейкемией. Это неизлечимая, постоянно прогрессирующая болезнь.

— Бывает, лейкемия дает ремиссии.

— Что касается шизофрении, то она ремиссий не дает.

Врач начинал испытывать раздражение, но Питер гнул свое.

— А как насчет новых лекарств? Как насчет предсказания Фрейда, что настанет день — и причиной шизофрении признают нарушение обмена веществ, которое можно сбалансировать посредством инъекций?

— Этот день еще не настал, и, пока он не настанет, мы будем держать шизофреников в изоляции как в интересах общества, так и в их собственных интересах. В конце концов, некоторые из них опасны для окружающих.— Многозначительно произнеся этот окончательный приговор, доктор Полэс препоручил Питера санитару, и тот провел его по коридору готического особняка в большую угловую комнату. Там за моль-

бертом с натянутым полотном сидела Инид, полотно было чисто, если не считать одного-единственного ярко-красного мазка чуть пониже центра.

Ни слова не говоря, санитар зажег верхний свет и удалился. День за окном стал черен, как ночь.

Брат и сестра разглядывали друг друга. Инид нисколько не изменилась. Пожалуй, после трех лет вынужденного воздержания она стала выглядеть еще моложе, чем была.

— Привет от психов,— сказала она наконец.

— Во всяком случае, они еще не довели тебя до ручки.— Он поцеловал ее в щеку.

— Да уж хоть бы и довели. Погаси этот проклятый свет, ладно?

Питер повернул выключатель. Окно из черного стало серым. В сумеречном свете черты Инид казались призрачными — видимое сквозь воду лицо утопленника, лишь недавно утонувшего.

— Мне сказали, ты стала художницей.

— Он совсем свихнулся, этот ваш доктор Полэс. Ей-богу, я знаю теперь все его симптомы. Моет руки двадцать раз на дню и без конца смотрится в зеркало, чтобы убедиться, не испарился ли он. А эта его миссис Полэс, такой халды с помойки еще поискать. У нее тоже бзик — воображает, будто она леди, сукина дочь. Дай мне сигарету. Я уже выкурила свою дневную норму.— Она взяла сигарету, огонек спички дугой прорезал полумрак. Инид затянулась и сказала: — Ах, чего бы я только не отдала за рюмку сухого мартини.

— Ты еще не отвыкла?

— Какое там! Знаешь, они, должно быть, правы. Похоже, я и вправду никогда не смогу бросить пить по собственной воле.

— А как ты себя чувствуешь, когда не пьешь? — Питера это очень интересовало. Сидя на диете, он казался себе страшно добродетельным и думал, что Инид должна чувствовать себя так же.

Но с ней было иначе.

— Я места себе не нахожу, хорошо еще, мне дают люминал. Это помогает, но этого мало. Я из собственной шкуры готова выскочить. Но в конце-то концов, кому от этого плохо, что я пью? Я сама себя гублю, сама себя хороню.

— Все наши...

— Я все про них знаю.— Ее голос прозвучал резко.— Как они?

— Клея переизбрали...

— Знаю. Я читаю газеты.

— Ну, значит, ты знаешь о нем столько же, сколько и я. Я почти с ним не виделся после того, после того, как...

— Я пыталась убить отца? — Инид вдруг рассмеялась и мгновенно стала сама собой, упиваясь собственным безрассудством.— А что, на их лица стоило посмотреть! Насколько мне помнится,— задумчиво добавила она,— я была здорово набравшись. Не то я наверняка отстрелила бы голову папуле, вместо того чтобы всадить пулю в левый глаз Аарону Бэрру.

— Ты думаешь, убив отца, ты многого бы достигла? — Питер улыбался сестре в сером сумраке, хотя знал, что она не может видеть его лицо, точно так же как он не мог видеть ее из-за серой клубящейся пелены между ними.

— Я была бы очень счастлива, по крайней мере, на время.— Она вздохнула.— Ведь он сущий изверг! Я пробовала объяснить это доктору Полэсу, но, кажется, он не может мне сочувствовать, потому что связан обязательством перед отцом. Ведь в конце концов, ему платят за то, что он ведет себя так, будто я действительно сумасшедшая. Я сумасшедшая?

— Нет.

— Иной раз мне кажется, что я и вправду сумасшедшая. Знаешь, как бывает: начинаешь становиться тем, кем тебя считают.

— Ну, во всяком случае *я* этого не считаю.

— Оказывается, ты мне друг! А я-то никогда тебе не доверяла. А почему, собственно?

Питеру стало горько. Он почти всю свою жизнь отчетливо понимал, какое чувство он испытывает к Инид, но ему было отказано в том, чего он хотел больше всего в жизни, а потому он удовольствовался дружбой. А вот теперь, оказывается, дружбы-то и не было.

— Клей больше не живет вместе со всеми. У него свой дом на Вудленд-драйв.

— Он живет с Алисой? — Она произнесла имя девочки нарочито безжизненным тоном.

— Нет. Алиса у матери. Говорят, ей там очень хорошо.

Инид притушила сигарету, искры ярким снопом брызнули в темноту.

— Я читала, в прошлую субботу Клей был на скачках с Элизабет Уотресс, дочерью Люси Шэттак и Шэйлера Уотресса из Ойстер-Бей, ее знает весь Вашингтон.

— Они видятся изредка,— Питер сказал это безразличным тоном.— Но вообще-то говоря, я с ними теперь почти совсем не встречаюсь.— Сблизившись с Клеем, Элизабет объяснила Питеру, что в новых обстоятельствах требуются новые друзья. Он не обиделся. В лучшем случае, она была приятной подругой, время от времени заменявшей ему Диану, которая по-прежнему интересовалась им гораздо меньше, чем он ею, подобно тому как «Элизабет нравится Клею, но не настолько, насколько он нравится ей».

— Он использует ее — так или иначе. Точно так же, как он использовал меня, и точно так же, как он использует отца. Как *по-твоему,* есть что-нибудь между ними — между отцом и Клеем?

Питер рассмеялся.

— Это только ты так думаешь, не я.

— Клей согласился бы, ты знаешь, лишь бы добиться своего.

— А отец — нет.

— Не ручаюсь,— упорствовала Инид.— Я уверена, что между ними что-то есть. Бога ради,— ее голос вдруг перервался,— вызволи меня отсюда. Я тут долго не выдержу.— В темноте она походила на статую сидящей женщины.— Я уже думала о побеге, это возможно, но потребуется твоя помощь.— Она шепотом рассказала ему о своем плане. Она угонит автомобиль доктора Полэса («он всегда оставляет ключи в машине»). Затем Питер встретит ее в Силвер-Спрингс на другой машине, с фальшивым паспортом, и она направится прямо к мексиканской границе. Ей бы только попасть в Мехико — там у нее есть друг. Он ей поможет. Излагая ему свой замысел, она говорила горячо и взволнованно, словно ребенок, рассказывающий о празднике. Питер согласился, что теоретически ее план имеет несомненные достоинства, но сперва все же следует выждать, не пересмотрит ли консилиум ее дело. Самое главное для нее теперь — быть терпеливой.

— И встретить здесь еще одно рождество? Нет уж, спасибо.— В голосе ее прорвалась лютость.— Здесь подают индейку, сухую, как бухгалтерская книга, а потом мы сидим вокруг елки, украшенной комками ваты и разноцветными бумажками — ее устанавливают два старика с приветом, они просидели здесь тридцать лет и живут только для того, чтобы наряжать елку раз в год,— а миссис Полэс все время долбит на рояле, и психи поют хором. Ей-богу... я больше... этого не вынесу!..— Ее душили слезы, но она не расплакалась, а вскочила на ноги, зажгла свет

и взяла одну из картин, стоявших у стены.— А теперь я покажу тебе мои картины,— весело сказала она.— Вот эта последняя. Отца поджаривают в аду. Здорово похоже, как по-твоему? А вот это — я с кочережкой.

II

Серые диагонали дождя секли мертвую, превратившуюся в грязь лужайку. Увидев это, Бэрден тихонько простонал и сказал:

— Разумеется, я буду баллотироваться опять. Я чувствую себя отлично.— Его сердце болезненно трепыхалось в груди, между ним и Сэмом Бирманом повисла дождевая завеса из черных точек; истерия, холодно подумал он, и завеса исчезла. Он уже научился справляться со многими фокусами, которые его мозг выделывал с восприимчивой и дряхлеющей плотью, все больше и больше напоминавшей бомбу замедленного действия, которая должна взорваться в определенный момент — и нет никакой возможности вынуть взрыватель. С каждой секундой он приближался к концу, и он надеялся и боялся, что конец этот будет «ничто». Надеялся потому, что «ничто»—это ничто и в нем нет ничего плохого. Боялся потому, что в «ничто» нет и ничего хорошего. От созерцания дождя и «ничто» он вернулся к жизни и политике, к Сэму Бирману, давнему рупору своих взглядов и идей.

— Я вижу, у вас совсем нет конкурентов. Да и в масштабе всей страны нынешний год должен быть благоприятным для вас, демократов, особенно теперь, после переизбрания президента. Разумеется, вам придется повоевать на первичных выборах.

— Теперь мне постоянно приходится это делать.— Вплоть до прошлых выборов ни один из собратьев Бэрдена по партии не осмеливался бросить ему вызов, так как он был наиболее прославленным сыном своего штата. Но теперь сотни молодых не прочь были захватить его место. И в конечном счете кому-то суждено было это сделать. Но пока что он цепко удерживал добычу, честно взятую с боя.

— Вы не думаете, что Клей выступит против вас на первичных выборах?

Бэрдена это позабавило.

— Никогда!

— Почему вы так в этом уверены? — Сэм пристально изучал его печальными глазами.

— В политике я ни в чем не *уверен*.— Бэрден почувствовал, как в нем поднимается раздражение. Он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, чтобы не поддаваться уже знакомому состоянию.— Но, между нами говоря, Клей метит на место Момбергера, а не на мое. Это больше похоже на правду, не так ли? Джессу придет пора переизбираться в пятьдесят втором году. К тому времени Клей уже шесть лет пробудет членом палаты представителей. Он приобретет какую-то политическую известность — сейчас ее у него нет, но она ему совершенно необходима. Никто не может попасть в сенат просто так, ниоткуда. Человек должен что-то собою представлять.— Произнося эти слова, Бэрден со всей прямотой спросил себя, что *он*-то собою представлял, когда впервые встретился с избирателями — никому не известный молодой адвокат, хотевший стать президентом. Ответ был: не бог весть что. Но шли годы, он работал над собой и в конце концов действительно стал тем, за кого его принимали — это был максимум того, на что может рассчитывать человек в государстве, где единственный непростительный грех — говорить опасную правду. «Лицемерие — наш щит, бездействие — наш меч»,— заметил он как-то в кулуарах под смех своих собратьев: они прекрасно поняли, что он хотел сказать. Он очень скоро сообразил, что для того,

чтобы сотворить в сенате добро, надо сперва сделать вид, что тобою руководят чисто эгоистические побуждения, ибо творить добро ради самого добра было в высшей степени подозрительно.

— Во всяком случае, теперь никто не точит на вас зубы, как в прошлый раз. Помните тех калифорнийских япошек? — Сэм печально покачал головой, вспоминая.— Это была ошибка.

— Но я был прав.— Бэрден нарушил собственное правило никогда не подпускать добродетели в разговор с глазу на глаз.

— Правота еще никому не завоевывала голосов.

— Это верно. Вы полагаете, мне следовало бы совершить весной поездку по штату, напомнить о себе?

— Да. Вы так долго были сенатором, что новое поколение избирателей понятия не имеет, кто вы такой. А старые думают, что вы уже умерли.

Бэрден ничем не выдал своего беспокойства.

— Это меня не удивляет. Последнее время я был не особенно деятелен. Мне недостает...— Он сделал глубокий вдох, прежде чем произнести ненавистное, новое для него слово: — ...рекламы.

Сэм кивнул.

— Это верно. Теперь все не так, как прежде. Теперь вдобавок к радио и кинохронике появилось телевидение, а журналы читают даже в провинции. Это совсем не то, что в те времена, когда избиратели читали только одну газету — *нашу* газету. Это несомненно принесло вред! В данный момент Клей самый популярный человек в штате, и все благодаря этим журналам и кинохронике, а теперь, говорят, о нем собираются ставить фильм в Голливуде! Словно он какой-нибудь сержант Йорк*. Уму непостижимо!

— Да, на него тратят уйму денег,— нейтральным тоном заметил Бэрден, радуясь, что ему никогда не придется бороться с Клеем на первичных выборах. Клей дал ему это понять во время предвыборной кампании 1946 года, когда Бэрден представлял его всему округу, особенно в маленьких сельскохозяйственных городках, где у Бэрдена были сильные позиции, а на Клея смотрели с недоверием. Ходит ли он в церковь? Пьет ли он? Правда ли, что его жена сумасшедшая? Бэрден осторожно усыпил все опасения.

В ту ночь, ожидая первых сведений о результатах голосования в отеле «Санфлауэр» в главном городе округа, Бэрден сказал:

«Ты должен одержать блестящую победу».

Клей согласился.

«Но я никогда не забуду того, что обязан всем этим вам».— И он проникновенными сыновними глазами посмотрел на Бэрдена.

Бэрден смешался: искренность всегда обезоруживала его.

«Ты больше обязан Блэзу. Себе самому. Тому, что ты сделал на фронте».

Но Клей отрицательно покачал головой.

«Все это стало возможным лишь благодаря тому, что я столько лет проработал с вами. Что я наблюдал вас, изнутри постигал хитрую механику дела. В этом вся суть.— Затем Клей дал понять, что, если все сложится удачно, на выборах 1952 года он намерен пойти выше. На этот счет он с предельной откровенностью заявил: — Я в любое время поддержу вас по любому вопросу точно так же, как вы поддержали меня».— В ту ночь Клей побил своего противника из республиканской партии, собрав самое внушительное большинство голосов за всю историю округа.

Так был заключен союз. С тех пор прошло четыре года, но по-прежнему молодой член палаты представителей и старый сенатор были свя-

* *Йорк, Элвин Кэллэм — американский солдат, героически сражавшийся в первую* мировую войну на франко-германском фронте.

заны сердечными узами, и хотя отношения отца и сына сменились на отношения благодарного ученика и почитаемого учителя, это их вполне устраивало. Бэрден даже счел возможным раскрыть перед учеником ряд приемов, сокращавших путь к власти сквозь сомкнутые дисциплиной ряды иерархии в палате представителей, которая в этом отношении была так не похожа на расхлябанный и даже анархичный сенат, где коллега Бэрдена Джесс Момбергер враждебно следил за ростом новой политической силы в его штате и думал о том, каким образом можно ее сдержать. Но сдержать ее было невозможно, потому что источником этой силы был Лавровый дом, откуда без конца текли деньги и реклама. Даже сам Бэрден временами уставал от вечного вопроса: «Какое впечатление произвел на вас Клей Овербэри, когда вы впервые встретились с ним?»

Голос Китти положил конец интервью.

— Она уже здесь. Здесь! — Так оно и было на самом деле. Диана появилась на крыльце в сопровождении матери и Питера Сэнфорда — «он встретил меня на вокзале». Она радостно поцеловала отца и поздоровалась с Сэмом. Тот быстро обменялся рукопожатиями со всеми и отбыл.

— Ну, не красотка ли она! — воскликнула Китти, с невинным удовольствием обнимая дочь, и Бэрден с ней согласился. Даже в сумрачном свете ноябрьского дня рдели щеки Дианы, загоревшие под солнцем пустыни.

В продуваемой сквозняками столовой они сели у нового камина, и это несколько успокоило Бэрдена. Диана рассказывала им о Неваде.

— Мы жили там в хижинах, ели жесткую говядину и увертывались от гремучек и похотливых ковбоев.

— Диана! — глаза Китти светились от радости.

— Не бойся, мама. Я избежала и тех, и других. Но вот многие дамы пали жертвой ковбоев. Бедняжки. Они всегда плакали, если не о прошлом, так о будущем. Ковбои хоть на время заняли их. Так или иначе, я научилась играть в бридж и прочла «Воспитание чувств» по-французски, медленно, от корки до корки.

— Значит, теперь ты свободна.

Хотя холодноватость Дианы всегда действовала на Бэрдена освежающе, он иногда спрашивал себя, не является ли эта холодноватость холодностью. Насколько он знал, с тех пор как она пережила разрыв с Клеем, ничто больше не волновало ее, и это был нехороший признак, так как вот уже несколько лет у нее не было никаких сердечных привязанностей. Он понимал, что Диана возненавидела Билли Торна, но ни разу не слышал об этом от нее самой и тем самым был лишен удовольствия сознавать, что он может напомнить ей (хотя он никогда не сделал бы этого), что с самого начала был прав. Но прав или не прав, ее брак теперь дело прошлого.

— Где Билли? — спросила Китти.— Я не видела его целую вечность.

— Не знаю.— Диана повернулась к Питеру.— Где мой бывший муж?

— Этого никто не знает. Он ушел от нас в прошлом месяце, обвинив Иниэса Дункана в том, что он орудие буржуазии, очевидно, он имел в виду меня. Он вышел из редакции без пальто и шляпы. Мы бережно их храним, быть может, тебе захочется иметь сувенир.

— Нет, спасибо.— Диана потянулась, как кошка.— Хорошо быть свободной, правда?

Бэрден сказал, что очень рад видеть ее счастливой. Но при этом он смотрел на Питера, который, улыбаясь, молодым Буддой восседал перед огнем.

— Я с интересом прочел вашу статью о Хиросиме. Очень речисто изложено.

— Вы в самом деле прочли ее? — Питер взглянул на него с неподдельным удивлением.

— Я всегда читаю ваш журнал.

— Когда ему грозит кондрашка,— заметила Диана.

— Мне вовсе не нравится, какой у него вид,— подхватила ее мать.— У него слишком красное лицо. И это нездоровая краснота, это означает, что у него будет удар, и тогда мне придется помирать голодной смертью, потому что в банке у нас ни гроша, а по страхованию что там получишь.

Чувствуя приближение этого последнего удара, Бэрден возвысил голос, чтобы если не сдержать, то по крайней мере перебросить мост через клокочущий поток сознания Китти.

— Это верно. Когда я читаю Иниэса Дункана, у меня всегда повышается давление.

Китти умолкла и счастливо улыбнулась своей воссоединенной семье. Диана взглянула на мать с такой ненавистью, что та приняла ее за любовь. Она взяла руку дочери и крепко сжала ее.

Питер попытался выправить положение.

— Иниэс живет теперь в Нью-Йорке и, по-моему, почти не пишет о политике. В данный момент он предпочитает расправляться с поэтами.

— Его отсутствие скажется,— просветлев, отозвался Бэрден.— Но теперь *вы сами* начали писать. Это ваша первая статья, так ведь?

Питер смешался. Он застенчив, отметил про себя Бэрден и продолжал преследовать свою жертву:

— Вы собираетесь писать еще?

— Если будет спрос.— Питер взглянул на Диану, словно ожидая услышать от нее отрицательный ответ.

— Спрос будет! Он хорошо пишет, правда, папа?

— Да, внушительно и без воплей, не то что мистер Дункан. Для него обычный тон — нравственное неистовство.

— Но мы и живем в неистовое время,— мягко заметил Питер.

— Все времена неистовые,— категорически заявил Бэрден.— Но вам действительно кажется, что мы не имели права сбрасывать атомную бомбу на Японию?

— Нельзя сказать, что мне так «кажется». Я просто так думаю: да, мы не имели права. Нам следовало продемонстрировать бомбу в действии, ну, скажем, отшибить верхушку Фудзиямы или сделать что-нибудь еще столь же впечатляющее, и они бы капитулировали. Незачем было разрушать два города.

— Интересно.— Бэрдену и в самом деле было интересно. Расщепление атома ошеломило его, как и всех других. Стало ясно, что миру уже никогда не бывать таким, как прежде, но хорошо это или плохо — все зависело от твоего темперамента. Поскольку он был пессимист, он легко представлял себе атомные грибы, шквалы огня, радиоактивный пепел, а в перспективе — опустошенную планету, слепым глазом сверкающую в лучах солнца. Но он все же спросил: — А какая разница, в моральном плане, между одной бомбой и несколькими тысячами, которые все равно пришлось бы сбросить?

— Разница в том, что изобретение и демонстрация в действии одной такой бомбы давали нам возможность покончить с войной, что мы и сделали. Но при этом в угоду военным мы уничтожили двести тысяч гражданского населения, и на это мы не имели права.

Бэрдену были известны все эти аргументы. Его интересовала вдруг прорвавшаяся в Питере страстность. Куда делась та отрешенность, которая и привлекала, и озадачивала Бэрдена. Это хорошо, что у молодого человека есть что-то свое за душой, но, с другой стороны, печально было

думать, что его второй зять может оказаться таким же ярым фанатиком, как и первый.

— Вам, наверно, есть что сказать,— пробормотал Бэрден.

К его облегчению, Питер рассмеялся:

— Боюсь, мне нечего сказать, но есть что добавить.

— И он-таки добавил,— сказала Диана.— Питер будет сила, дайте только ему раскачаться. Он должен писать о политике в каждый номер.

— И притом его некому остановить,— заметил юный Вольтер.— Ведь он сам издатель журнала.

— К тому же мы пользуемся успехом. Мы остаемся при своих. Никакого дефицита. Айрин очень довольна.

Тут Питер принялся описывать Диане состоявшиеся недавно похороны Сэмюэля Блоха, который неожиданно умер в Джерси-Сити на заседании правления.

— Ему следовало бы поставить памятник,— сказал Питер,— и назвать его могилу могилой Неизвестного мужа.

— Надо полагать, теперь ты выйдешь за Питера,— сказала Китти, вдруг отпуская руку Дианы.— Он стал ужасно толстый, но все равно он богатый, и ты будешь обеспечена.

Диана выбежала из комнаты, Питер подтянул живот. Китти повернулась к нему:

— Я знала, что ты придешь, и испекла сегодня утром пирог. Ореховый, тот самый, который ты любишь. Хочешь попробовать?

— Я *не хочу* есть,— ответил Питер дрожащим от раздражения голосом.

— Но ведь он *всегда* хотел есть,— вслух размышляла Китти.— Уж не болен ли он? Наверно, слишком плотно позавтракал. Я бы на месте Дианы посадила его на диету. После свадьбы, конечно.

— Свадьбы не предвидится, миссис Дэй.— Питер решил нарушить домашний обычай воздерживаться от комментариев к откровениям Китти.

— Свадьбы? — Она с удивлением поглядела на него.— Какой свадьбы?

Бэрден поспешил успокоить Питера и утихомирить Китти. Как раз такой муж и нужен Диане, думал он, выполняя свою дипломатическую миссию. Ведь Диана в самом деле останется без гроша, когда он умрет, хотя он вовсе не торопится немедленно отбыть в мир иной,— нет, это произойдет не раньше, чем он устроит ее будущее и сам будет переизбран.

III

Элизабет ждала его в вестибюле отеля «Шорэм» среди плакатов и знамен, которыми радостно отмечалось избрание тридцать третьего американского президента. Клей направился к ней через весь вестибюль, она вскочила на ноги, и, как всегда, когда они некоторое время не виделись, он заметил сияющую сосредоточенность ее улыбающегося лица и ее глаза, в которых, как ни странно, не отражалось ничего, кроме блестящей черноты. Он быстро и целомудренно поцеловал ее в щеку. В конце концов, он женатый человек, а в вестибюле полно людей, которые его знают.

— Он здесь! — Элизабет была вне себя от восторга.— Президент только что прибыл! Все кричали ему «ура!», это было так здорово! Я не знала, сделать мне реверанс или нет. Мне хотелось. Сейчас он в танцевальном зале. Почему ты опоздал?

— Дела, что же еще?

Он взял ее под руку, и они направились в танцевальный зал, где губернатор со Среднего Запада с щедростью демократа и экстравагантностью республиканца принимал президента, который скоро должен был пройти церемонию вступления в должность.

У входа в танцевальный зал Клей задержался, пока шатавшиеся поблизости фоторепортеры и газетчики не сгрудились вокруг.

Клей знал одних по имени и делал вид, что узнает других. Элизабет вцепилась в его руку с выражением притворного ужаса, смешанного с восторгом. Как-то раз она открылась ему, что больше всего ей хочется быть кинозвездой — по тем чисто практическим соображениям, что если кто любит быть в центре всеобщего внимания (а она чистосердечно призналась, что ей очень хочется быть красивой женщиной, привлекательной для мужчин), то этого можно добиться, став кинозвездой, потому что только кинозвезды вызывают к себе всеобщий интерес. Даже сам президент не может соперничать со славой и сексуальной притягательностью искусно разрекламированной кинозвезды.

Клей с этим не согласился. Он не понимал, почему нельзя представлять публике политического деятеля, пусть даже такую традиционно скучную фигуру, как президент, на манер кинозвезды. «Но много ли у нас политиков, которые выглядят как ты! — возразила она.— И так же молоды! И герои!» Клей рассмеялся: «Да, ты все расставила по своим местам». Он умолчал о том, что именно эти принципы взяли на вооружение Блэз и рекламная фирма, нанятая, чтобы культивировать известность Клея в тенистых кулуарах палаты представителей. Эксплуатировалось все: его молодость (залог грядущего величия), военное прошлое (о его приключениях на фронте сейчас ставился фильм) и внешняя привлекательность (всякий раз, как он появлялся на людях, девицы начинали шумно аплодировать по подсказке фоторепортеров). Но Клей знал, что от постоянного повторения ложь становится правдой. Теперь девицы шли к нему косяками и без понуждения со стороны: им достаточно было знать, что раз другие реагируют на него таким образом, то и они должны тоже. И в довершение всего он удостоился высшей рыцарской почести — холодного оскорбления от председателя палаты: «Мне всегда нравится *смотреть,* как говорит этот молодой человек».

Блэз решил, что следующие несколько лет Клея следует представлять публике не только как юного идеалиста, но и как альтернативу обычному типу политического деятеля. Клей согласился, полагая, что он и вправду отличается от обычных политиков, хотя он сознавал, что с реальными свершениями у него слабовато. Он по большей части голосовал за увеличение военных расходов, со священным ужасом наблюдая за хищной Советской империей, угрожавшей подчинить своему господству Европу и превратить так называемую «холодную войну» в горячую. В палате он постарался завести себе столько друзей, сколько позволяло его завидное положение. Все считали само собой разумеющимся, что он скоро продвинется еще дальше. Но когда и куда — этого не знал никто, включая и самого Клея. Самым естественным местом был сенат. Но он поклялся не выставлять своей кандидатуры против Бэрдена на выборах 1950 года. С другой стороны, до 1952 года, казалось, была целая вечность, и перспектива провести еще четыре года в палате представителей его не радовала. Несмотря на свою легендарную молодость, он не считал себя молодым. Точнее говоря, через четыре года ему будет сорок два, и если ему суждено сделать чудо-карьеру в буквальном смысле этого слова, то к тому времени он должен совершить что-нибудь выдающееся как политик, а это было невозможно для члена палаты представителей, не имеющего старшинства и положенной при этом награды — председательства в какой-нибудь комиссии. Итак, он «вращался», выжидал и старался завоевать доверие президента.

— Рад вас видеть, Клей! — Президент был розовый от волнения, в ярком свете прожекторов кинохроники его редкие седые волосы сверкали, как металл, а толстые стекла очков чудовищно увеличивали маленькие пронзительные глазки.

— Рад вас видеть, господин президент! — Клей сердечно тискал руку своего партийного лидера.— Вы получили мое письмо?

Но ухмыляющимся президентом уже завладел хозяин — принимавший его губернатор. Большего и не полагается конгрессмену, пробывшему в палате представителей всего два срока, раздраженно подумал Клей: одна минута с владыкой — и посылай-ка побыстрее фотографию в свой родной штат.

— А ведь он такой... сексапильный! — воскликнула Элизабет, в восторге от того, что ей довелось поздороваться за руку с президентом.

— Сексапильный! Господи боже, ты с ума сошла! Да ведь это же президент.

— Ну да, о нем-то я и говорю,— спокойно ответила Элизабет. Клей рассмеялся. Не многие девушки так прямодушны. С Элизабет ему почти всегда было хорошо. Как на смех, их роман начался в застрявшем лифте нового многоквартирного дома. С тех пор они часто встречались, и если обилие его связей и расстраивало ее (он был откровенен с ней, в разумных пределах, конечно), то во всяком случае она старалась ничем не выдавать свою ревность. Между тем она была ему весьма полезна, ибо через многочисленных Шэттаков и Уотрессов она знала буквально всех во внешнем мире, иначе говоря — в городе Нью-Йорке.

Подобно антропологу, устанавливающему связь между собой и другой расой, Клей изучал нью-йоркцев, пытаясь определить, чем они отличаются от вашингтонцев. Во-первых, они были не так шумливы. Они были сдержанны в своих ответах и почти никогда не развивали бурной общительности, наигранной или неподдельной. Но одно в них было самым поразительным: они не верили и даже не делали вид, будто верят, что мудрость глубоко коренится в обыкновенном человеке; не верить в народ было бы в Вашингтоне ересью. В конце концов, разве не он посылал в столицу своих отцов, дедов, дядьев? Однако в клубе «Рэкет» обыкновенного человека не почитали, в клубе «Никербокер» о нем почти не упоминали, а у Брука он вообще не был известен.

Но хотя пренебрежительное отношение нью-йоркцев к народу и тревожило Клея (ведь, в конце концов, его собственная карьера всецело зиждилась на праве простаков участвовать в выборах), он все же с удовольствием слушал, как дядюшка Огден (по утверждению Элизабет, банковский гений) поливал грязью избирателей, которые навязали республике сперва демоничного Рузвельта, а потом эту посредственность Трумэна,— республике, «которой, видите ли, с самого начала не суждено было стать демократией». Однако, несмотря на все нытье нью-йоркцев, Клей с беспокойством сознавал, что в глубине души они не принимают политиков всерьез. Между выборами они смотрели на своего ставленника Дьюи не иначе, как с презрением, и то, что они каждые четыре года поддерживали его, было скорее результатом их страха перед народом, чем проявлением восторженной приверженности кандидату, который рано или поздно предаст священные деньги немногих и предпочтет им голоса профанов, составляющих большинство. Их уже не раз так надували. На свое счастье, Клей был настолько известен, что располагал к себе даже тех, кто немедленно обратился бы в бегство при одном только приближении конгрессмена с Запада. И уж, конечно, он от всей души помогал тем, кто в погоне за золотом вступал в лабиринты конгресса. В конце концов, все тянутся к человеку на взлете. А он действительно был на взлете. Вот ведь и президент, проходя, намеренно приостановил-

ся, чтобы репортеры могли запечатлеть его расположение к конгрессмену Овербэри.

— Старик Гарри не очень-то балует вас своим вниманием, а? — прозвучал в ушах Клея знакомый скребучий голос. Он принадлежал Билли Торну. Набравшись сладких коктейлей, Билли жевал стебелек вишни.

— Привет, Билли.

— Вы, наверно, меня не помните, мисс Уотресс, но мы с вами уже встречались...

— Нет, что-то не припоминаю,— пробормотала Элизабет голосом, в котором за гулкой медью слышалась флейта.

— Ах, Клей!.. Клей!

Это была Айрин Блох. Она схватила его своими длинными пальцами.

— Какой ужас! — При этом она повернулась к Элизабет, и та в испуге попятилась: неужели это о *ней* речь?

Айрин повела вокруг взглядом и лишь вскользь задержалась на Билли Торне. Он был не в счет. Одной рукой она повисла на Клее, другой притянула к себе Элизабет.

— Я услышала это по радио, в машине. Только что, на пути сюда. Что случилось? Вы знаете, как у них там, на радио: просто объявят, и никаких подробностей. Mais quel désastre! *.

— Что же вы услышали по радио? — осторожно спросил Клей. При этих его словах глаза Айрин расширились, и она еще ближе притянула к себе Элизабет. Таков был обычай ее единоплеменниц делить общее горе в грозные времена.

— Как? Вы не знаете? — В каждом ее слове звучало удивление и восторг.— Вы действительно ничего не слышали? — Она взглянула сперва на одного, потом на другого, вне себя от восхищения, что на ее долю выпала роль посланца судьбы.— Тогда понятно, почему вы здесь, на приеме. То-то я удивилась.

Лицо Клея обдало жаром, голова закружилась. Вот сейчас ему скажут.

— Ее больше нет,— сказала Айрин Блох, и по ее пепельно-белым щекам потекли слезы.— Инид нет больше в живых.

IV

— Я признаю, что это был мой недосмотр, и не уклоняюсь от ответственности.— Трижды на протяжении часа доктор Полэс повторил эту фразу, и каждый раз, к крайнему раздражению Питера, вместо «ответственность» у него выходило «отвевственность». Задерживаясь мыслями на таких мелочах, он не впускал в свое сознание «это в высшей степени трагическое происшествие», как опять-таки гласила одна из формулировок доктора Полэса.

Они собрались в библиотеке. Несмотря на холодный день, камина не затопили. Портрет Аарона Бэрра на темной панели, со свежеподправленным левым глазом, представлял Инид на семейном совете.

Доктор Полэс, принесший мрачную весть, сидел в кресле Блэза. Фредерика, одетая в яркий костюм из твида,— прямая противоположность трауру, являла собой загадку. Блэз сидел на скамье перед камином, подперев подбородок сплетенными в мостик руками. Клей глядел в окно на ряд елей, выстроившихся, словно пешки перед началом игры. Питер наблюдал за всеми со своего места в кожаном кресле у двери.

* Ах, какое несчастье *(франц.)*.

Доктор Полэс рассказывал. Он то и дело прикладывал к губам платок, и это выглядело несообразно, ибо губы у него были сухие, зато щеки блестели от пота.

— Не понимаю, как мог я забыть. Обычно я никогда не забывал. Во всяком случае прежде. Ну, просто ни разу за все те годы, что я держу клинику. А на этот раз забыл. Оставил ключи в машине. Конечно, мне не может служить оправданием то, что я очень устал — скорее от хозяйственных дел, чем душевно,— оговорился он, и на его лице промелькнуло обычное маслянисто-авторитетное выражение — напоминание себе о том, кем он был в то утро и скоро станет вновь, как только вырвется из Лаврового дома, из рук его свирепого владыки.— Это случилось в полдень, за тридцать минут... да, как раз за полчаса до ленча.

Питера передернуло как от слова «ленч», так и от мысли, что он собою представлял.

— Она была наверху вместе с моей женой почти до одиннадцати, они говорили об искусстве... это их... это была их излюбленная тема, когда они бывали вместе, моя жена, видите ли, училась на искусствоведа в Луизиане, и ей так нравились картины миссис Овербэри. Они были очень близки. Так вот, они пробыли вдвоем в ат-ли-е...— Им всем потребовалось время, чтобы разобрать «ателье» — так странно он произнес это слово.— ...почти до одиннадцати, когда миссис Овербэри сказала, что ей хочется прилечь перед ленчем, и миссис Полэс сказала: «Ну, конечно, моя радость»,— и оставила ее в ателье. Затем, насколько мы можем восстановить ход событий, миссис Овербэри собрала свои вещи и завернула их в кусок холста, того самого, на котором она писала. По вполне понятным причинам мы не позволяем держать в комнатах чемоданы. Ну, а затем часов в двенадцать она вышла из дома и направилась к моей машине...

— У вас что, нет охраны? Некому следить за тем, кто куда идет? — Голос Блэза звучал сварливо, но по выражению его лица Питер видел, что все это так, пустые угрозы.

— Вам отлично известно, мистер Сэнфорд, что у нас *нет* охраны, скажем, как в тюрьме, или в том смысле, что наши пациенты буйные или склонны к побегу... Нет, они не таковы, и мы проводим тщательный отбор в этом отношении. Они в душевном расстройстве, это так, они даже способны на небольшие... эксцессы, но они не буйные. Так что наше заведение не тюрьма, пусть даже некоторые и предпочли бы, чтобы оно было тюрьмой.

Браво, Полэс. Питер повернулся и посмотрел на отца. Тот вдруг застыл, словно окаменел, хотел что-то сказать, но передумал и резко прикрыл руками рот и подбородок. Что касается Клея, то он глядел теперь на доктора, и на лице его было приятное выражение. Питер не мог бы сказать, что чувствует Клей. Он приехал последним — новость застала его на приеме. Первые несколько минут он явно нервничал, но затем, заразившись настроением остальных, стал безучастным и даже почти безмятежным. Потрясение еще не сменилось горем, и все они были как боги, наблюдающие смерть героя на вершине, открытой ветрам.

— Но у нас, конечно, есть сиделки и другой обслуживающий персонал, и в некотором смысле наши пациенты всегда находятся под надзором. Но в тот день...— Он нахмурился и промокнул платком рот. Питеру показалось, что он услышал шуршащий звук, как от соприкосновения двух шершавых поверхностей...— Случилось так, что миссис Полэс ушла в новое крыло дома, а я занимался сложными хозяйственными делами, и как раз в этот момент миссис Овербэри села в мою машину и уехала.

Клей неожиданно насторожился.

— Если вы никогда раньше не оставляли ключи в машине, как она могла узнать, что именно на этот раз вы оставили их — ведь она заранее собрала свои вещи?

— Видите ли, конгрессмен...— Титул был произнесен сочным голосом, нараспев, с замирающей интонацией южанина, и вызывал в памяти образ старого конгресса — традиционного щита его народа против враждебного Севера.— Я уже думал об этом и подробно расспросил на этот счет жену и моих служащих. Выяснилось, что последнее время миссис Овербэри каждое утро прохаживалась перед главным зданием, где я ставлю машину, и таким образом, уже задним числом, становится ясно, что она действительно ждала случая, когда я по рассеянности оставлю ключи в машине.

— Но как было дело *сегодня?* — Голос Клея, внезапно ставший жестким, стер всю память о старом конгрессе. Он олицетворял новый порядок, нетерпеливый и требующий точности. В его голосе — Питер уже неоднократно замечал это — начинали звучать отчетливые интонации уроженца Запада всякий раз, как он говорил о своем штате или обсуждал положение дел в палате представителей, словно сдвигом в произношении он хотел напомнить себе и другим, что он в действительности является тем, кем его называют,— представителем.

Клей приступил к Полэсу с допросом. Он был и безжалостный инквизитор, и горюющий муж. Но уж, конечно, он не горюет, с горечью подумал Питер. В тусклом осеннем свете волосы Клея казались не светлыми, а седыми, и Питеру вдруг представилось, каким он будет лет через двадцать: с волевым лицом, благообразный — президент. В этом не было ничего невозможного. Ну, а пока что: могла Инид увидеть ключи до того, как она пошла к себе в комнату собирать вещи? Да, пожалуй, сэр. Это возможно, сэр. Это было все, что председатель комиссии палаты представителей мог выжать из уклончивого свидетеля, но этого было достаточно, чтобы оправдать бряцанье орудиями пытки со стороны инквизитора. Остальная часть допроса прошла очень просто.

— Она выехала на магистральное шоссе еще до часа дня. Она шла на очень большой скорости, потому что, когда это случилось, она была уже далеко к югу от Ричмонда.

Когда это случилось. Питер видел перед собой шоссе, видел крутой поворот между высокими соснами. Светило яркое и холодное солнце, он слышал запах смолы. Как раз за поворотом был перекресток, не видимый автомобилистам, едущим с севера, и вовсе не интересный *этому* автомобилисту, который хотел только одного — как можно скорее достичь мексиканской границы. Питер беспомощно наблюдал, как старый грузовик с двумя коровами в кузове медленно выезжал на шоссе с изрытого колеями проселка. На шоссе никого не было, когда фермер стал выруливать на правую сторону. Как раз в эту минуту Инид вылетела из-за поворота со скоростью восемьдесят миль в час.

Поставь на этом точку, сказал себе Питер. Начни правку. Инид резко берет влево — она спаслась, она не врезалась в грузовик с отвратительным глухим треском, не разбила вдребезги грузовик и самое себя.

— Водитель... фермер... получил сотрясение мозга, но теперь в сознании и выживет. Обе коровы убиты, и пострадавшей стороне должна быть выплачена компенсация в размере общей суммы потерянного оборотного капитала. Естественно, я поручил юристам со всей тщательностью просмотреть статью об ответственности, по которой...

Первый раз за все время рассказа Фредерика прервала Полэса:

— Она была пьяна?

Доктор Полэс ответил не сразу. На его подбородке, словно слеза, повисла капля пота. Он кивнул.

— Содержание алкоголя в моче — восемнадцать процентов. Она, должно быть, остановилась где-то по дороге и...

Теперь все равно, подумал Питер и закрыл глаза, веки его были сухи, как губы доктора Полэса. Он вновь и вновь повторял про себя: «Теперь все равно» — фразу, которая, он это знал, будет звучать у него в ушах много недель подряд. Нет, не все равно, с яростью подумал он и открыл глаза. Они убили ее, как они и хотели. Он повернулся к Клею и увидел, что тот следит за ним: широко раскрытые голубые глаза, ясные, понимающие. Каждый из них читал мысли другого. Нет, теперь действительно все равно.

■

Семья Сэнфордов и Клей сидели в первом ряду в переполненной церкви. На улице перед церковью собралась толпа — чужие люди, привлеченные если не трагизмом происшедшего, то возможностью скандала. Собратья Блэза по власти явились в церковь, чтобы утешить его, но из старых друзей Инид — тех блестящих девушек и ребят довоенного времени, которые танцевали в Чеви-Чейс, охотились под Уоррентоном, купались в Рехобот-Бич и напивались в Мидлберге, из той золотой молодежи, вся жизнь которой, насколько помнилось Питеру, проходила под звуки модной джазовой музыки, пришли лишь очень немногие. Шикарные мальчики в белых парусиновых брюках ухаживали за роскошными девочками в цветастых платьях, и казалось, стояло вечное лето; но потом упала багряная завеса войны, и война убила одних, а другие выжили и изменились, женились, стали старше, и музыка, которая все звучала и звучала, умолкла, для Инид — навсегда.

Все встали и запели: «Господь — твердыня моя и прибежище мое!» Питер присоединился к поющим — все что угодно, лишь бы не смотреть на гроб, не рисовать в своем воображении, что в нем. Лучше наблюдать живых, как они размышляют о мертвых. Элизабет Уотресс, Милисент Смит-Кархарт и Люси Шэттак сидели в переднем ряду наискосок от Сэнфордов. Все трое были в черном и походили на норн*. Лишь один раз Элизабет взглянула на Клея, но он не ответил ей, он сидел, потупив глаза,— послушный мальчик, которому сказали, чтобы он не вертелся в церкви. Рядом с ним сидела его дочь, завороженная пышным зрелищем. Время от времени она с любопытством поднимала глаза на бабушку, которая беззвучно плакала под черным покрывалом. Блэз, рассеянный и какой-то отрешенный, дважды ронял книгу песнопений, и Клей дважды поднимал и подавал ее ему.

Но вот священник произнес имя Инид, и Питер вдруг поймал себя на том, что смотрит на гроб. Но ведь крышка гроба — это на самом деле дверь, сказал он себе; медленно, как идиот, он вновь и вновь повторял про себя эту мысль. Дверь. Дверь. Ну так открой эту дверь, тяжелую, металлическую дверь. *Я нашел тебя, Инид. Выходи же. Зачем? Они ни за что не найдут нас здесь. А как же игра? Черт с ней, с игрой. Тут нет воздуха. Мы задохнемся. Ты вся желтая, так ведь? Слава богу, тут хотя бы пусто. Помнишь тех диких индюшек, что привезли из Эйкена? Только откусишь кусок — и уже полон рот дроби! Ну давай же, ты хочешь или не хочешь?* Дверь тяжело захлопнулась, сперва сдавив, а потом выдавив воздух. Машина врезалась в грузовик.

— «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто, пред Тобою. Подлинно совершенная суета — всякий человек живущий».

---

* Богини судьбы в скандинавской мифологии.

Снаружи черные лимузины вытянулись вереницей на Лафайет-сквер. Гроб уже установили на катафалк, когда Питер вышел на дневной свет и увидел Диану. Она сказала:

— Ах, как это ужасно! — И на это нельзя было ответить иначе, как:

— Да, это ужасно.

Небо без солнца; бурая трава; голые деревья, без листьев, без птиц. Между пришедшими на похороны метался холодный ветер. Но Питер не замечал ни примет дня, ни присутствующих: где-то глубоко за впадинами глаз он почувствовал боль, а в груди его нарастало и требовало выражения что-то пронзительно-громкое. Когда гроб опустили в свежевырытую яму, мир задернулся пеленой, глаза разъедала соль. На его счастье, священник читал заупокойную таким красиво поставленным голосом, что Питер смог легко задушить подымавшийся в нем животный крик.

— «Как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается».

После погребения Питер, не желая ни с кем разговаривать и не желая, чтобы на него смотрели, откололся от всех и поспешил к своей машине. Возле машины его дожидался какой-то совершенно незнакомый человек.

— Меня зовут Эл Хартшорн.— Питер позволил пожать себе руку. Хартшорн был низок ростом и невиден собой.—Адвокат,—сказал он Питеру.— Друг Инид. Собственно говоря, я собирался вести ее дело о разводе.

— Да, вспоминаю, она говорила что-то об этом... о вас...— Питеру хотелось, чтобы все остальные поспешили и спасли его от неприятного разговора. Но родные и знакомые, присутствовавшие на похоронах, медленно брели в отдалении среди каменных крестов и мраморных ангелов — темная, расползающаяся масса людей.

— Бедная девчонка. Когда они запрятали ее в сумасшедший дом, она сказала мне, что только вы один не оставили ее, только вы один.

— Ну, теперь с этим покончено.— Питер хотел быть резким, и это у него получилось.

Адвокат с удивлением взглянул на него.

— А по-моему, нет. Ведь муж-то ее жив.

Питера встряхнула и отрезвила неожиданная жестокость этого человека, которому следовало бы сказать не больше, чем положено говорить в таких случаях, и пристойно удалиться.

— Да, конечно, он жив.

Невдалеке от них Клей делал вид, что поддерживает Фредерику, которая вовсе не нуждалась в поддержке; зато они представляли собой такую трогательную картину для фоторепортеров, которые были тут как тут, чтобы запечатлеть каждый шаг возвышения Клея.

— Вы что, предлагаете убить его и этим отомстить за Инид? — накинулся Питер на адвоката, словно тот был его врагом.

— Но вы согласны, что он убил ее, запрятав в сумасшедший дом?

— Не он один.— Питер посмотрел на Блэза, который давал священнику подробные указания, несомненно, устраивая Инид удобную жизнь в епископальном раю.

— Ну, она-то думала, что идею подал Клей, а мистер Сэнфорд только поддержал его.

— Должно быть, она рассказала вам про нас кучу вещей.— Он слишком поздно сообразил, насколько иронически звучит это «должно быть»: не было человека, с которым Инид не обсуждала бы свои самые интимные дела. А уж со своим юристом и возможным спасителем она наверняка была откровенна до конца. Похоже, что она и после смерти будет продолжать свое бедокурство.

— Да, у меня такое ощущение, будто я член вашей семьи.— Что она там ему наговорила? *Ладно. Я закрою дверь. Воздуху хватит.* —Во всяком случае, я уже собрал целое досье на этого конгрессмена.

Перед высоким памятником Клей вытирал дочке глаза. Фоторепортеры, как ошалелые, отталкивали в сторону священника, Блэза, Фредерику. Для чего еще им было приходить на похороны? Питер отвел взгляд в сторону, не в силах снести это зрелище. К тому же с того места, где он стоял, ребенок как-то вдруг, совершенно неожиданно так напомнил ему Инид — Инид в миниатюре, сморкающуюся перед памятником Уильяму Кею Роллинзу... И его подобие тоже существует где-то в данный момент, полное жизни и тоже просмаркивающее нос. Семя продолжает жить. А мы? Да или нет? Если да — как это однообразно. Если нет — нет.

— Мы собрали множество доказательств его супружеской неверности. Разные девицы, обычная история, зато великое множество. Он любит развлекаться с двумя девицами одновременно. Пока одна ждет и наблюдает из одной постели, он обрабатывает другую в другой. А когда он кончит...

— Из-за разврата еще никто не терял голосов избирателей.

— Я в этом не так уверен,— мягко возразил юрист.— Но мне удалось раскопать кое-что действительно интересное.

— Только не говорите мне ничего про связь между отцом и Клеем.— Питера раздражала уже сама мысль об этом.

— Нет, ничего подобного. Я всегда говорил Инид, что тут она чуточку перехлестывает.

— Инид была страшная дура.— Питер удивился самому себе.

— В некоторых отношениях — да,— согласился адвокат.— Но ведь мы любили ее, правда? — Вопрос требовал ответа.

Питер избегал смотреть в маленькие блестящие глаза собеседника, они были так похожи на глаза плюшевого мишки, с которым он спал в детстве, пока в один прекрасный день Инид, назло ему, не выбросила мишку в реку.

— Да, мы любили ее. Так что там насчет Клея?

— Я знаю человека, который был с Клеем на Филиппинах. Больше того, этот человек был на месте происшествия, когда заварилась вся эта каша с геройством.

Питер уже понял, к чему идет дело.

— И ваш друг утверждает, что Клей не герой?

Юрист кивнул.

— Я этому не верю. Должны быть десятки свидетелей того, как Клей вынес солдата из горящего ангара.

— Солдат был мертв к тому времени, когда за него взялись врачи.

— Но Клей все же мог это сделать. Во всяком случае, вы не можете доказать, что он этого не сделал.

— Могу. Видите ли, Клея не было на аэродроме, когда все это случилось.

Ведя дочку за руку, Клей подходил к машине. Питер глядел на своего врага и отказывался верить, что он не герой. Клей должен быть великим, а потому опасным для республики, иначе их борьба теряет смысл.

Питер потребовал доказательств. По всем сообщениям выходило, что Клей командовал атакой на аэродроме.

— Да, он руководил атакой в том смысле, что он был командир, но фактически он не участвовал в боевых действиях, потому что в то утро он поранил себе ногу...

— Поранил себе ногу? Придумайте что-нибудь получше, ради бога!

— Я передаю вам лишь то, что рассказал мне мой друг, он знаком с врачом, который лечил Клею ногу в то время, как шла атака.

— Тогда как же его могли наградить, если он там не был?

— Он *был* там, уже под конец. Ну и, разумеется, бой вела его часть.

— Если он был там под конец, он все же мог вынести солдата из ангара.— Питер начал проявлять нетерпение.— В конце концов, раз его наградили, должен быть хотя бы один свидетель.

— Совершенно верно, один свидетель был. Но только один.— Юрист улыбнулся.— Гарольд Гриффитс.

Загадка разрешилась. Ему следовало бы догадаться обо всем с самого начала.

— Как это сошло им с рук? Ведь каждому должно было быть ясно, что все это липа.

— Никто, кроме доктора, не знал наверняка. В той неразберихе Клей *мог* сделать то, о чем написал мистер Гриффитс. К тому же Клей был всеобщим любимцем в части. Никто не завидовал, когда его наградили медалью.

— Кроме врача.

— Ну, он-то вообще никому и ничему не завидует. Собственно говоря, он давно забыл всю эту историю, но тут он как-то посмотрел со своими ребятишками кино про Клея и, конечно, вспомнил, как все было. Ему это показалось забавным, и он рассказал моему другу, а тот рассказал мне.

Клей был теперь так близко, что его можно было слышать. Холодный ветер донес его слова.

— Сейчас мы поедем прямо домой, крошка. Не плачь. Вот умная девочка.— Он подошел к ним вплотную.

— Я Эл Хартшорн, конгрессмен. Пришел отдать последнюю дань,— сказал юрист с нарочитой развязностью.

— Спасибо.— Клей подсадил девочку в машину.— Я очень хорошо вас помню,— сказал он, быть может, слишком нейтральным тоном. Затем он повернулся к Питеру.— Ты бы лучше помог своей матушке.

Питер повиновался. Как раз это ему и следовало сделать.

Глава восьмая

I

— Я хочу сделать заявление.

— Конгрессмен, начните, пожалуйста, снова. И отойдите на один шаг... вот так. А то на ваше лицо падала тень. Чуть-чуть влево. Прекрасно.

В совещательной комнате старого административного здания палаты представителей собрались едва ли не все аккредитованные в Вашингтоне корреспонденты. Клея встретили приветливо. Когда он вошел, начали даже аплодировать — редкий знак внимания со стороны прессы, обычно равнодушной к мелким политическим деятелям и их честолюбивым планам. За некоторыми исключениями, которые можно было предвидеть, пресса поддерживала Клея — он был привлекательной фигурой среди представителей своей профессии, которые обаянием отнюдь не славились; глава исполнительной власти, например, с его простонародными манерами, не привлекал к себе даже тот мифический простой народ, который за него проголосовал — и проголосовал главным образом потому, что народу еще меньше нравился лишенный всякой приятно-

сти человек с усиками. А Клей был молод, знаменит, вхож в тот мир, без расположения которого ни один политический деятель не может рассчитывать на успех; так, во всяком случае, утверждали некоторые мрачно настроенные обозреватели, объявившие Трумэна случайностью в обществе, в котором очень скоро только самые богатые люди или находящиеся у них в рабстве смогут позволить себе волнующую игру в королей.

Клей понимал, что эта удивительная ситуация автоматически дает ему виды на президентство; с удовольствием и некоторым удивлением он обнаружил, что мысль о его возможном возвышении не встретила возражений, очевидно, потому, что это еще вопрос отдаленного будущего, сейчас пока очередь других. Тем временем пресса его обхаживала, тактично не замечая того факта, что на сегодняшний день его политический багаж практически ничего не весил. Но разбойники пера отлично знали, что для достижения успеха честолюбивый политический деятель должен тщательно избегать действий, которые впоследствии могут причинить ему неприятности. До сих пор никто еще не осознал, что весьма скромный послужной список Клея был результатом не столько его малой усердности, сколько убеждения, что в данный момент истории Республики людям нужно только одно: чтобы их оставили в покое возле своих телевизоров и дали им возможность забыть о лишениях и испытаниях недавней войны.

Клей смотрел прямо на ослепляющий свет прожекторов. Его радовало, что в самый важный день его политической карьеры он нисколько не нервничает. Ему даже доставлял удовольствие ослепительный свет, делавший невидимой комнату: возникло ощущение, что он совсем один, если не считать запечатлевающей его камеры и безликих миллионов.

— Отлично, конгрессмен. Начали.

Клей повернулся лицом к камере. Он помнил текст наизусть. Слова были осторожные и искренние, не заключавшие в себе ничего тревожащего, ничего вдохновляющего. И все равно они приведут машину в действие.

— После долгих размышлений... по совету друзей... желая в дальнейшем послужить... проблем, ждущих нового подхода... действий... в будущем... Я объявляю о выдвижении своей кандидатуры в сенат Соединенных Штатов.

Вот оно. Никто не был удивлен. Все знали, что рано или поздно Клей будет добиваться избрания в сенат.

Огни слепили, превращали все в тьму. Он сощурил глаза, увидел поднятые руки. Пресса искала его внимания .

— Конгрессмен... Клей... Мистер Овербэри... У меня вопрос. Сэр...

Голоса сливались. Он указал на руку, поднятую где-то в конце комнаты. Незнакомый голос вознаградил его:

— Сэр, если предположить, что вы будете избраны в сенат...

— Я ничего не предполагаю.— Благожелательный смех. Постепенно комната снова вплывала в фокус. Рука принадлежала незнакомцу. Это плохой знак. Хотелось начать с заранее запланированных вопросов.

— Разумеется, сэр. Но все же, если бы вы были в сенате, я хотел бы знать ваше отношение к разбирательствам, которые ведутся сейчас в связи с разоблачениями,, сделанными сенатором Маккарти, по поводу точного количества коммунистов, состоящих на службе в Государственном департаменте.

У Клея было наготове несколько ответов — в зависимости от тональности вопроса. Он начал осторожно:

— Что ж, во-первых, я полагаю, что к следующему ноябрю рассмотрение этих обвинений будет закончено...

— Тем не менее, сэр, какова ваша нынешняя позиция?

Баритон Клея заглушил тенор задавшего вопрос корреспондента. Клей знал, какими приемами можно этого достичь, чтобы не создавалось впечатления, будто он повышает голос.

— ...закончено, а раз так, то комиссия Тайдингса * с помощью ФБР сможет точно выяснить, кто коммунист и кто — нет, и тогда правительство предпримет соответствующие шаги.

Клей собирался уже указать рукой на женщину в большой шляпе, но неутомимый тенор не замолкал.

— Это прекрасно, конгрессмен, но я думаю, что как кандидат в сенаторы вы должны с кристальной ясностью определить свое отношение к тому походу, который предпринял сенатор Маккарти ради искоренения из правительственных учреждений многочисленных коммунистов, свивших там себе гнездо за последние двадцать лет...— Вызывающе громко зашептались журналисты либерального толка, но Клей не собирался им подыгрывать. Одна оговорка, и он будет смешан с грязью в своем штате, как человек, занимающий мягкую по отношению к коммунизму позицию или даже того хуже. Проблема была слишком остра.

— К сожалению, мне лично неизвестно, сколько именно коммунистов работает в правительственных учреждениях. Но если они там есть, я абсолютно уверен, что они будут искоренены.

— Но как до них добраться, если такие сенаторы-демократы, как вы, не заявят президенту и его попутчикам, не *потребуют,* чтобы досье Белого дома, содержащие имена тысяч коммунистов, были переданы сенатору Маккарти?..— Тенор вдруг сбился на фальцет. Из конца комнаты послышался смех.

Клей улыбнулся: опасность миновала. Он держался непринужденно.

— Честно говоря, я не считаю президента попутчиком коммунистов.— В зале раздался нервный смешок.

Клей быстро указал на ближайшую поднятую руку, слишком поздно сообразив, что это Сэм Бирман, друг и союзник Бэрдена.

— Вот что, конгрессмен.— Бирман говорил медленно, в простоватой манере. Клей приготовился к схватке.— Есть запись вашего заявления о том, что вы не собирались выставлять свою кандидатуру в сенат по крайней мере до пятьдесят второго года, желая приобрести... сейчас приведу точную цитату... «максимум опыта в палате представителей...»

— Правильно, Сэм, я говорил это. Но откуда мне было знать, что я приобрету максимум опыта на два года раньше срока? — Все засмеялись, лицо Клея оставалось бесстрастным, словно у профессионального остряка.

Сэм не пожелал держаться шутливого тона.

— Вы сказали далее — это здесь же, в вашем интервью...— что вы никогда — и я цитирую,— «ни при каких обстоятельствах не выдвину своей кандидатуры на первичных выборах против сенатора Дэя, поскольку я считаю его не только своим ближайшим политическим другом, но и, если хотите, отцом, человеком, который ввел меня впервые в Вашингтон».— Неожиданно кто-то чихнул. Это получилось очень комично, но в напряженной тишине прошло незамеченным. Все ждали, какой будет ответ.

Клей ответил не сразу. Когда же он наконец заговорил то постарался произвести впечатление человека озабоченного, но верящего в свою правоту.

— То, что я сказал тогда, я готов повторить и сейчас. Я считаю се-

* Сенатор демократ от штата Мэриленд в 1927—1951 гг.

натора Дэя одним из самых блестящих людей, каких я когда-либо знал, и если бы не он, я никогда не был бы здесь сегодня. Все это верно. Верно и то, что я никогда не выступлю против него.

Клей сделал паузу, а затем — и решающий шаг:

— Я не собираюсь говорить за него. У меня нет на это права. И хотя сенатор не посвящал меня *лично* в свои планы, меня заверили другие, что после тридцати шести великих лет в сенате Соединенных Штатов Бэрден Дэй не выставит в этом году своей кандидатуры для переизбрания.

Взрыв возбужденных голосов заставил Клея почти кричать, чтобы быть услышанным:

— Позвольте повторить. Я вступил в предвыборную борьбу в твердом убеждении, что Джеймс Бэрден Дэй не будет добиваться переизбрания!

Журналисты размахивали руками. Выкрикивали его имя. Клей указал на Гарольда Гриффитса.

— Конгрессмен! — раздался горделиво-ясный голос Гарольда. В комнате воцарилась тишина. Хотя Гарольд был мишенью множества вашингтонских шуток, никто не мог отрицать популярности его статей, в которых упадок Запада ежедневно отмечался и соответственно оплакивался. Не было дня, чтобы свобода не находилась на грани безвозвратной гибели от руки антихриста. По мнению Гарольда, Армагеддон уже приближался, а Соединенные Штаты не были готовы сражаться за господа; некогда могучие американские армии давно уже распущены по домам политиками, обманутыми хитрыми либералами, убаюканными Элеонорой Рузвельт, сбитыми с толку начальниками штабов, которые систематически предают американского воина, променяв это восхитительное создание из гладкой плоти и горячей крови на сложное, утонченное оружие, как будто машина сможет когда-нибудь заменить мускулистую руку.— Я думаю, многие из нас согласятся с тем, что вы будете прекрасным пополнением верхней палаты. Наши власти нуждаются в притоке свежей крови. Однако, сэр, полагая, что ваша кандидатура будет утверждена в следующем месяце и избрана следующей осенью, я хотел бы знать, какую позицию вы займете по вопросу о военных ассигнованиях — учитывая ваш собственный военный опыт кавалера Креста За Отличную Службу, принимая во внимание нынешнюю советскую угрозу в Европе, и особенно в Берлине...— Гарольд продолжал разглагольствовать, пока несколько не смягчился шок от предыдущего заявления Клея.

Ответ Клея был столь же длинным и витиеватым, как и вопрос Гарольда. Посыпались еще вопросы. Худшее, казалось, было уже позади, когда раздался чей-то резкий голос:

— Скажите нам, конгрессмен, почему вы так уверены, что сенатор Дэй *не будет* добиваться переизбрания?

В дальнем конце комнаты стоял Питер Сэнфорд, с большим животом, но крепкий, громадный и — для Клея — совершенно непостижимо, почему тут появившийся. Они, безусловно, стали врагами. Смерть Инид довершила это превращение.

— Хэлло, Питер! — небрежно сказал Клей.— Это мой шурин.

Раздался довольно неловкий смешок журналистов, знавших об их отнюдь не приятельских отношениях.

— Я хотел знать,— сказал Питер,— почему вы так уверены, что сенатор...

— Видишь ли, Питер, ты понимаешь, что я не могу раскрывать некоторые источники, как, впрочем, и ты, и любой журналист. Разве я не заявил, что не собираюсь говорить за Бэрдена Дэя? И разве тот факт, что я выставляю свою кандидатуру, не доказывает, что он этого не

сделает? — Это была ошибка. Никогда нельзя самый слабый аргумент подавать в виде вопроса.

Клей хотел продолжить, но у Питера была слишком быстрая реакция:

— Нет, не доказывает. Это доказывает лишь одно: что *вы* выставляете свою кандидатуру...

— Но я никогда не выступил бы против него.

— Но предположим...— Питер повысил голос, и Клей позволил ему заглушить себя. Ему ничего не оставалось, как притвориться жертвой и вызвать к себе сочувствие.— Предположим, что ваша информация неточна. Предположим, что сенатор Дэй *выставит* свою кандидатуру. Что вы тогда сделаете?

Комната замерла. Риск был велик. И Клей пошел на риск.

— Сенатор Дэй не выставит свою кандидатуру для переизбрания. Но...— Клей сделал паузу. И решился: — ...если он выставит свою кандидатуру, я, конечно, сниму свою. Дамы и господа, благодарю вас.

Клей быстро пошел к двери. Выиграл или проиграл, он попадет на первые полосы газет. Следом за ним, столь же стремительно, из комнаты выходили корреспонденты.

■

— Но как же мы из этого выпутаемся? — Блэз совсем потерял голову.— Бэрден *выставляет* свою кандидатуру. Ты это знаешь. Все это знают.

Клей не слушал его, он говорил по телефону.

— Послушайте, это очень важно. Вы должны найти сенатора. Да, я знаю, что у вас свои дела. Прекрасно. Позвоните мне. Я в кабинете мистера Сэнфорда.

Клей положил трубку и ответил Блэзу:

— Я это улажу. Не беспокойтесь.

— *Как* вы можете уладить?

Но Клей повернулся спиной к разгневанному Блэзу и выглянул в окно. Девятая улица в дневном свете казалась убогой.

Блэз продолжал:

— Стратегически правильно было бы сказать: «Он, по-видимому, не будет добиваться переизбрания», так как он болен, стар, но заявить, что ты уступишь ему, если он выставит свою кандидатуру, тем более что отлично известно...

— Там был Питер.— Пока Клей говорил, какая-то ярко размалеванная девица остановила двух моряков у входа в бар-ресторан «Старый доминион».— Это он подпустил шпильку. Он задал вопрос, на который я должен был ответить. Он собирается ставить нам палки в колеса, а? — Клей смотрел на отражение Блэза в окне. Блэз вцепился в ручки кресла, словно пациент при виде бормашины или пассажир в падающем самолете.— Не думаю, что вы сможете что-нибудь с ним поделать.— Это было утверждение, не вопрос.

— Нет,— отрывисто бросил Блэз.— Он поступает как ему заблагорассудится.

— Понимаю.— Клей решил не говорить больше об этом. Достаточно того, что он об этом упомянул. Тем временем девица ушла с одним из моряков, а второй скрылся в баре, где Клей однажды подцепил девушку из города Рэли. Он привел ее в свой кабинет, и они занимались любовью на диване. Она не носила чулок и отказалась взять деньги. Вспомнив о ней, Клей вдруг захотел стать тем моряком в баре, почувствовать себя свободным, подцепить девушку, заняться с ней любовью, а не слушать Карла, своего секретаря, который только что, встревоженный, появился в комнате:

— Результаты последнего опроса.

Клей взял лист бумаги. Он не разделял старомодного пренебрежения к новой науке опросов общественного мнения.

— Что-нибудь не в порядке? — Блэз повернулся к помощнику.— Он отстает?

— На три процента,— сказал Карл.— Но не в этом дело.

— Популярность Бэрдена поднялась на пять процентов.— Клей швырнул листок бумаги на стол Блэза.— Что же случилось? — Он повернулся к Карлу с таким видом, будто тот нес за это ответственность.— Чем это можно объяснить?

— Мы еще не знаем. Быть может, это речь, которую он произнес в понедельник на собрании Исторического общества штата. Она транслировалась по радио. Произвела большое впечатление. У меня есть запись, если вы хотите...

— Одна паршивая речь не могла обеспечить ему такой взлет. Что замышляет старый мошенник? Куда он ездил? С кем говорил?

— Я точно не знаю...

— Но вы обязаны знать точно.— Клей редко выходил из себя, разговаривая с подчиненными.

— На мой взгляд, в его успехе есть что-то сентиментальное.— Карл расправил скомканный листок с результатами опроса.— Он был сенатором еще до того, как большинство из нас появилось на свет, и теперь он ездит по штату и напоминает всем о славных старых денечках.

— Тут дело не в поездках,— пробормотал Клей. Больше половины избирателей не знали, что в тридцатых годах была депрессия, а треть не могла узнать ни одного сенатора в лицо. Зато почти все слышали о Клее. Хотя фильм о нем не имел успеха в стране, Блэз позаботился о его демонстрации в штате.

— Только что звонил судья Хьюи, он сообщил, что Бэрден определенно объявит о выдвижении своей кандидатуры не позже субботы. Если он это сделает...

— Я выйду из игры. У вас найдется для меня работа, Блэз?

— Не уверен, что мы будем заинтересованы в вас после этого.— Блэз был растерян и взбешен нежеланием Клея быть с ним откровенным Но Клей ни с кем не собирался откровенничать. В критический момент он предпочитал действовать самостоятельно.

Позвонили из канцелярии сенатора Дэя. На вопрос Клея, где сейчас сенатор, чей-то враждебный голос (может быть, Долли Перрин?) ответил:

— Сенатора сегодня здесь уже не будет. Но он ужинает дома...

— А где он *сейчас?* Сию минуту?

— Он у миссис Кархарт, но...

II

Бэрден прислонил больное плечо к спинке кресла. Чистенький перелом, сказал доктор, осматривая Бэрдена, лежавшего на спине в рентгеновском кабинете госпиталя, куда его доставила скорая помощь с места происшествия, когда он упал с сенатской лестницы Капитолия. Он рухнул с верхней ступеньки и пролетел до нижней, и косточка в его плече надломилась с хрустом, который он услышал сквозь плоть. От жгучей боли ему вдруг представилось, что человек — это растение: разве кости — не ветки? А сок — не кровь? И что в природе больше напоминает ладонь, чем лист? Успокоенный этим прекрасным ощущением, он потерял сознание у нижней ступеньки лестницы.

Теперь, через пять месяцев после этого чистенького перелома, плечо все еще болело. Но что делать? Раз он вступил в возраст, когда кости стали хрупкими и ломкими, так будет продолжаться до той минуты, пока, прикованный к постели, он не поддастся стремительным приступам пневмонии, которые, наполнив легкие водой, завершат затоплением этот великий цикл, начавшийся с потока утробных вод. Лучше, решил он, приставить дуло к виску и дать волю огню, хотя из этих двух стихий, огня и воды, он предпочитал более прохладную.

Отношение Милисент Смит-Кархарт к сенатору Джозефу Маккарти было двойственным. С одной стороны, она была убеждена в том, что на всех уровнях американской жизни действуют тайные коммунисты (посмотрите на поведение негров после войны!), и тем не менее:

— Он такой отвратительный человек. Это ужасное лицо, эти челюсти, этот голос.

— Не волнуйтесь, дорогая. Долго он не продержится,— попытался утешить ее Бэрден.

— Как не волноваться. Он еще может причинить столько вреда! — Она разлила чай. Пар на короткое время скрыл ее лицо. Бэрден подумал об оракулах. Что сказал о них Цицерон? Но не смог вспомнить. В последнее время, когда он начинал цитировать по памяти, слова зачастую отказывались идти в нужной последовательности, оставляя его в полном отчаянии от того, что врата его сознания наполовину закрылись.

— Сенатор Тайдингс прикончит его. Помните, Джо сказал, что он ставит всю свою кампанию в зависимость от того, коммунист ли Оуэн Лэттимор. Что ж, он проиграл — благодаря сенатору Тайдингсу.

— О, я полагаю, Лэттимор все-таки коммунист.

— Нет доказательств, что он коммунист.

— Да, но нет и доказательств, что он не коммунист.

— Теперь *вы* говорите, как Джо Маккарти.

Милисент нахмурилась.

— Я знаю, конечно, что он, видимо, повредил многим невинным людям, это ужасно, но в конце-то концов в правительстве *действуют* коммунисты, и они перекраивают нашу страну, и если он в состоянии выявить их, то, может быть, некоторая доля путаницы оправдана?

— Президент,— Бэрден показал на портрет ее дядюшки,— никогда не согласился бы с вами.

— Я в этом не уверена. Да и времена изменились. Но скажите мне, какой он на самом деле? Я не решаюсь пригласить его к себе в дом.

— Слава богу, я сам с ним едва знаком.— Антипатия Бэрдена к этому демагогу была не только политической, но и физической. Он не переносил даже его вида. Только однажды ему пришлось говорить с ним. Когда какой-то журналист написал, что Бэрден, вероятно, возглавит подкомиссию, которая будет расследовать выдвинутые против Маккарти обвинения, сам Маккарти явился к нему в кабинет и, стоя перед бюстом Цицерона, обнял Бэрдена своей тяжелой рукой и заявил с усмешкой, что, хотя они и занимают противоположные политические позиции, оба являются противниками коммунизма. «Во всяком случае, я так полагаю»,— добавил он бодро, но угрожающе. Он выразил уверенность в том, что факты будут говорить сами за себя, и как бы мимоходом добавил: «Вы давно видели вашего бывшего зятя?»

Бэрден постарался полностью устраниться от работы подкомиссии. И без обвинений в коммунизме у него будет вполне достаточно затруднений на предстоящих выборах. В нормальное время подобные обвинения могли вызвать лишь смех. Но времена давно уже перестали быть

нормальными — с тех пор, как Советы создали атомную бомбу. Тот факт, что это примитивное общество сумело с очевидной легкостью добиться военного равенства с богоизбранной страной, мог означать только одно: секрет бомбы был украден из Лос-Аламоса и передан врагу какими-то высокопоставленными предателями. Именно тогда, совершенно случайно, безвестный сенатор, стремившийся к переизбранию, и обнаружил, что обвинить других в предательстве — наипростейший способ стать героем для большинства, злодеем для некоторых и таким образом привлечь к себе внимание всех.

Однако Маккарти несомненно скоро сам себя угробит, это лишь вопрос времени, и его сумасбродные выступления перед комиссией Тайдингса с очевидностью доказывали это. Сначала сенатор заявил, что в Государственном департаменте двести пять коммунистов, затем сказал, что их пятьдесят семь, а в последнюю пятницу — восемьдесят один. И так он продолжал перескакивать с одной мысли на другую, выдвигая настолько дикие обвинения, что их было трудно привести в какую-нибудь систему и еще труднее — опровергнуть. Если бы не предстоящие первичные выборы, Бэрден, без сомнения, выступил бы в тот или иной момент против этого демагога. Но пока это было невозможно. После переизбрания у него будет масса возможностей разделаться с этим грязным типом.

— Но если все его обвинения лживы, почему никто из сенаторов не поставит его на место?

Врата в сознании Бэрдена распахнулись настежь. Он процитировал:

— «Он узнает, что обвинять и доказывать — вещи глубоко различные, а упреки, не подкрепленные доказательством, отражаются лишь на репутации тех, кто их бросает».

— Кто это сказал? — спросила она, но в тот же момент врата снова захлопнулись, скрыв сокровища, которые он хранил всю жизнь. Его спасла горничная, сообщившая, что конгрессмен Овербэри направляется в Дюпон-сэркл, чтобы поговорить с сенатором, если, конечно, не будет возражений со стороны миссис Кархарт. Разрешение было дано, и горничная удалилась.

— Что случилось? — спросила Милисент.

Бэрден пожал плечами. Боль в ключице то пропадала, то возвращалась снова.

— Клей только что объявил о выдвижении своей кандидатуры на первичных выборах, которые состоятся в следующем месяце, *если* я не буду добиваться переизбрания.

— Но вы, конечно, выставите свою кандидатуру? — Милисент была встревожена. Самая грустная сторона постоянной жизни в Вашингтоне заключалась в том, что друзья вдруг стремительно исчезали, отвергнутые избирателями. Однажды она рассказала Бэрдену, что в юности ее забавляли эти непрерывные появления и исчезновения, за которыми она наблюдала из Белого дома. Но теперь, когда она состарилась, она не желала никаких перемен, в том числе и смерти, которую она считала конечным Избирателем, выдергивающим из жизни по своему капризу одного за другим своих любимых сынов.

— Конечно, я буду добиваться переизбрания.

— Но почему Клей это сказал?

— Мы скоро узнаем.

— Люси его презирает, вы это, конечно, знаете.— Милисент задумчиво смотрела на свою чашку, напоминая ему... как ее звали, ту, что гадала на картах? «Все приветствуют Бэрдена Дэя, будущего короля!» Он в конце концов отказался от ее услуг, когда всем, кроме карт, стало ясно, что у него нет шансов стать президентом. Миссис Фоскетт. Запах капусты в комнате. Прием в саду в честь короля и королевы. Жара.— Из-

за Элизабет. Вы знакомы с дочерью Люси от Шэйлера Уотресса?

Бэрден кивнул.

— Видите ли, когда Инид еще была жива, но упрятана в сумасшедший дом, он постоянно встречался с Элизабет, а как только Инид умерла, он ее бросил.

— Совесть замучила, наверно.— Так было принято говорить в подобных случаях. Но теперь вряд ли кто-нибудь еще притворялся, что его волнует проблема добра и зла. Сегодня люди не знают иного мотива, кроме выгоды, не признают иного критерия, кроме успеха, иного бога, кроме честолюбия. Клей самым великолепным образом соответствовал своему времени.

Они спокойно беседовали о Клее и Элизабет, о свадьбах и разводах, о старом и новом Вашингтоне. Они говорили даже о Диане и Питере. Бэрден сказал, что ему очень нравится Питер. Милисент находила его заносчивым острословом. Но Бэрден ответил, что это всего лишь дань моде. В наши дни журналисты пренебрежительно отзываются о людях, обладающих реальной властью, как об уродах, шутах и кретинах. Они с радостью продолжили то, что в свое время начал Менкен *. Они относятся свысока ко всем без исключения. Только неделю назад Гарсльд Гриффитс назвал президента безмозглым человеком, которым руководит государственный секретарь, юрист-профан, пользующийся услугами плохого портного.

Мистер Кархарт под руку с Клеем появился в пыльной гостиной.

— Посмотри,— сказал он,— что за юноша прятался у нас в прихожей.

— Я ведь ваш кузен, вы не забыли? — Клей довольно мило напомнил о связывающем их генеалогическом древе, что всегда доставляло удовольствие мистеру Кархарту, который ничего так не желал, как заманить Клея в кабинет и показать ему это «древо»; миссис Кархарт называла его, правда, «лесом опасных связей». Дело в том, что каждая знатная или знаменитая личность могла обнаружить среди этих бесчисленных ветвей тысячи воров и убийц, евреев и мусульман, расцветших пышным цветом в дальних ответвлениях династии.

— Не мучай мистера Овербэри, дорогой. Он пришел поговорить с Бэрденом, не с нами.

— Это ужасно грубо с моей стороны — ворваться к вам без приглашения.

— *Мой* кузен Клей...— всегда желанный гость в этом доме.—Мистер Кархарт любовно посмотрел на Клея, как будто он уже повис на одной из веток и уже обведен рамкой, наподобие мандалы **. Милисент, умело маневрируя, подвела мужа к двери.— Дайте знать, когда нам можно будет прийти.

Плечо у Бэрдена болело. Он нашел наконец положение, в котором боль несколько утихла. Клей продолжал стоять под портретом президента. Он казался необычно внушительным, уверенным в себе, и Бэрден вспомнил себя таким же молодым и подумал, что бы произошло, если бы они встретились молодыми. Кто кого одолел бы?

— Вы, наверно, слышали, что я сказал на пресс-конференции?

Бэрден кивнул. Пока он предпочитал слушать.

— Кстати, вопрос задал Питер Сэнфорд.

Бэрден снова кивнул; его вдруг позабавила мысль о жестокой схватке между сыном и зятем, полем битвы которой служил Блэз. Трудно сказать, кто из них возьмет верх. Клей, конечно, уже держит Блэза в руках, но ведь Питер не считает это потерей. Нахмурившись, Клей

* Генри Менкен (1880—1956) — американский писатель и журналист, зло высмеивавший политические нравы США

** Мистический знак в индуизме и буддизме.

с задумчивым видом уселся на стул и принялся поигрывать тиковой рукояткой чайника для заварки. Он начал пространно объяснять свое заявление, но так ничего и не объяснил.

— Понимаете, я действительно думал, что вы, учитывая ваше здоровье, не захотите баллотироваться,— закончил он.

Бэрден выпрямился. Боль пронзила плечо, но он стоически превозмог ее. Он не был ни больным, ни старым.

— Мое здоровье? — воскликнул он так, словно был искренне изумлен.— Но я абсолютно здоров.

— А тот удар, который случился у вас тогда с миссис Блох?

Отлично разыграно, холодно подумал Бэрден: «с миссис Блох». Он это запомнит.

— Я потерял сознание. Но пришел в себя. Я здоров.

— Конечно, вы здоровы. Для ваших лет вы удивительно...

— Мне еще не сто лет! — зарычал Бэрден, и Клей, словно обжегшись, отпустил ручку чайника.— Я вполне в состоянии прослужить еще один срок в сенате Соединенных Штатов, и я намерен это сделать, как ты знаешь.

— Честно говоря, я этого не знал.— Клей посмотрел на него невинными глазами.— Ну что ж, будем считать, что меня неправильно информировали.

— Тебя неправильно информировали. Я собирался в четверг объявить о выдвижении своей кандидатуры, но после твоего... поразительного заявления я сделаю это завтра, слишком поздно для субботнего выпуска, но...— Он улыбнулся, словно намекая, что переизбирающийся сенатор может обойтись и без воскресных выпусков газет.— И тогда все, я полагаю, будет представлять лишь академический интерес. Тебе придется снять свою кандидатуру, не так ли?

Нанеся удар, Бэрден подумал: «Я хочу знать всю правду, знать худшее, чтобы подготовиться к нему. Кто, о боже, это сказал?» На мгновение Бэрден вцепился во врата своей памяти, взмолился, чтобы они распахнулись и он смог прочесть следующую страницу, написанную огненными буквами: «Он обвинен во взяточничестве и признал себя виновным. Покрытый позором, он закончил свои дни в изгнании. Так это случилось с сэром Фрэнсисом Бэконом *».

Теперь настала очередь Бэрдена предстать перед судом. Он смотрел на своего обвинителя и чувствовал любовь к нему.

— Ты сильно к этому стремишься? — Он, как ему казалось, обезоруживающе улыбнулся.

— А вы, в мои годы?

— Но не любой ценой.

— *Это* такая уж высокая цена? — Клей смотрел на него с искренним изумлением.

Бэрден непроизвольно вздрогнул. Правда невыносима, но и неотвратима. Он принял взятку. Разоблачен. И заслужил наказание. Но не от Клея: хотя, конечно, если ад действительно существует...

— Для тебя это плохое начало.

— А для вас — плохой конец. Вот почему этого надо избежать.— Сценическая пауза, из самых лучших намерений, несомненно.

— Ты ждал так долго.

— Я никогда не собирался воспользоваться...— Снова незаконченная фраза, из деликатности, конечно. После жестокого удара пусть тело врага мягко покоится в могиле.

— Но ты воспользовался. Или намерен...

---

* Фрэнсис Бэкон (1561—1626) — английский философ и политический деятель, был уличен во взяточничестве.

— Я должен. Вы сами понимаете.

— Возможно ли, в самом деле, что ты держал это наготове десять долгих лет, так, на всякий случай? — Более всего поразил его этот многолетний улыбчивый обман.

Клей не лгал — это был дурной признак.

— Да, только на всякий случай.

— В тихом омуте...

— Вода не течет,— Клей засмеялся. Комбинация из двух пословиц была их старой шуткой. Бэрден улыбнулся своему убийце. Он относился к Клею, как к сыну, который, как и положено в легенде, поднимает на него руку, чтобы занять его высокое место.

— Ты говорил об этом с Эдом Нилсоном тогда? — Бэрден удивлялся, откуда у него такое любопытство к деталям.

— Да. Он заплатил конгрессмену, который передал мне запись и сказал, чтобы я вас не тревожил.

— Жаль, что не потревожил.— Лицо Бэрдена исказилось.

— Знаете, в те дни я был так невинен.— Клей внезапно решил исповедаться. Даже in extremis * их отношение друг к другу не изменилось.— Я не мог поверить, что вы на это способны.

Бэрден закрыл глаза, ища смерть под веками, но вместо нее увидел лицо своего отца. Наконец, победа! Сын, вызывавший зависть, сломлен и обесчещен. Капрал конфедератов восторжествовал, как оба они и предполагали с того самого дня, когда сын объявил: «Я добьюсь успеха», а отец сказал: «Ты достаточно лжив, умеешь произносить вкрадчивые речи и выбираешь кривые дороги. Почему бы тебе не стать президентом? Стране это пойдет на пользу. Все кругом воры, все лгуны! О, ты пойдешь далеко». На что юноша ответил: «Я пойду далеко, потому что я не такой слабый, как ты. Я никогда не жалуюсь. Я добьюсь победы своим путем». Иронический смех: «Это путь проститутки. Что ж, иди им. Почему бы и нет? Я же предпочитаю остаться самим собой, со своими ранами...» — «Будь они прокляты, твои раны!» — «Правильно, мистер Президент. А теперь убирайся в ад!».

И вот он убрался в ад, и дьявол сидит напротив, заставляя его вспоминать, как он совершил то, чего надеялся никогда не совершить. И самое главное, что путь проститутки никуда его не привел.

Клей продолжал исповедоваться.

— Я считал, что это совершенно немыслимо. Вы, самый неподкупный человек в сенате, так я считал, во всяком случае. Вот почему сначала я отказывался верить. Но затем понял, как все это увязывается одно с другим. В тот год вы хотели подняться на самый верх. И нам нужно было достать денег. Где еще могли вы достать сразу так много?

Бэрден намеренно прижал больное плечо к ручке кресла. Боль приходила и уходила острыми приливами, но подлинная агония продолжалась, ничуть не ослабевая.

— Я даже искренне восхитился вами. Суметь так, как вы, сохранить облик политического святого, такого праведного, что дух захватывало, а на самом деле...

— Я рад, что ты действительно восхищался мной.— Бэрден хотел быть ироничным, но слова звучали жалко.— Что же, теперь все это в прошлом, да?

— Пока — в прошлом.— В первый раз Клей угрожал.

— Милисент! — Голос Бэрдена показался неожиданно резким ему самому, это был крик Прометея: клюв орла вонзился в его сердце.

В дверях появилась Милисент.

— Разрешите?

---

* При смерти, на смертном одре *(лат.)*. Здесь. в минуту крайних испытаний.

— Пожалуйста,— сказал Бэрден. Превозмогая боль, он попытался встать с кресла. Клей подбежал к нему, взял под руку. Все было как в доброе старое время.

III

— Я хотел бы сказать несколько слов перед этой комиссией, состоящей из необычайно... даже *пугающе* представительных американцев. Я обратил внимание, что ваше, без сомнения, искреннее стремление к конформизму в политике, подчинено вашей коллективной... простите мне это слово... страсти к рекламе. Ведь политика — это единственная профессия, в которой посредственности могут привлечь к себе внимание мира своими клеветническими выпадами.

Председатель комиссии подал знак сенатскому приставу.

— Выведите его!

Другой член комиссии закричал:

— Он проявляет неуважение к конгрессу!

Но Питер не двинулся с места. Он невозмутимо продолжал:

— Господа, вы пригласили меня для обсуждения проблемы коммунизма, именно это я и делаю. Как все мы знаем, коммунисты проникли в Белый дом, Пентагон, в школы, печать, церкви, кинопромышленность. Они всюду заняты своей тайной подрывной деятельностью. Что же следует предпринять? Как можем мы остановить эту ужасную болезнь нашего общества? У меня есть рецепт. Каждый гражданин должен *ежедневно* приносить клятву верности флагу. Таким образом мы сумеем скоро выяснить, кто хороший американец, а кто — нет, потому что, как нам известно, агенты Советов предпочитают смерть клятве верности нашему довольно-таки неугомонному флагу. А если мы обнаружим врага, мы сможем выслать его в Россию, предоставив возможность Федеральному бюро расследований заняться своим настоящим делом — взнузданием черномазых.

— Вот его показания. Чем, черт побери, ты занимаешься? — Иниэс появился в комнате в тот момент, когда Питер изображал, как он угрожающе подносит палец к носу председателя комиссии.

— Я разговаривал сам с собой,— сказал Питер.

— О чем?

— На разные темы. В данный момент я выступал с речью перед комиссией палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности.

— Очень похоже, что тебе действительно придется ее произнести. Ты будешь ссылаться на Пятую поправку *, как поступили все, кроме Билли Торна. Он пел соловьем. Посмотри.— Иниэс швырнул показания Торна в постель, где восседал Питер среди подушек и гранок дюжины статей для журнала. Он полдня проводил в постели, работая, разговаривая по телефону, принимая сотрудников журнала, чьи рабочие кабинеты помещались на первом этаже большого дома в негритянском квартале, который Питер купил для себя и редакции.

Билли Торн согласился дать показания комиссии. Он согласился также не настаивать на соблюдении Пятой поправки, так как, по словам адвоката комиссии, хотел «чистосердечно во всем признаться». Что он и проделал. На двадцати страницах своих показаний он назвал всех своих знакомых в правительственных учреждениях, которые были или могли быть коммунистами.

— Почему он это сделал?

---

* Пятая поправка к конституции США устанавливает, что граждане могут привлекаться к ответственности лишь по постановлению совета присяжных.

— Он хочет получить работу.

— Кто его возьмет? Правительство не возьмет. Особенно теперь.

— Почему бы и нет? Сегодня требуется только одно: сказать, что ты сожалеешь, и обвинить других. Кайся и процветай. Читал, что он сказал о нас?

Питер кивнул. Глаза его прежде всего отыскали в тексте собственную фамилию.

— Я болван. Ты попутчик. Но мы не коммунисты, и он это знает. Никогда не думал, что он такой.

С улицы донесся звук выстрела.

— Теперь они стреляют в нас! — Питер натянул простыню до подбородка.

Иниэс подошел к окну.

— Я не вижу винтовок. Может быть, это выхлоп автомобиля?

— Человек все еще там?

Иниэс кивнул.

— Как он сегодня одет?

— Цилиндр. Красно-сине-белая жилетка. Как у дяди Сэма.

— Прекрасно. А какой лозунг?

— «Здесь живут коммунисты». Это первая строчка, а под ней: «Убирайтесь в Россию, если вам не нравится Америка». Иногда я думаю, что победят сумасшедшие.— Иниэс отвернулся от окна.— Ты видел сегодня почту? Одно из писем было написано на туалетной бумаге. Использованной.

— Красноречиво.

В комнату вошла Диана.

— Питер, я должна поговорить с тобой! Извини, Иниэс.

Когда Иниэс вышел, Диана села на край постели Питера. Впечатление было такое, что они женаты уже лет двадцать.

— Что-нибудь не в порядке?

— Все! — Она взяла показания Билли.

— Ты имеешь в виду Билли?

— Да нет же, боже мой! Я говорю об отце. Я не знала о пресс-конференции Клея до сегодняшнего утра, пока не увидела газеты. Я, конечно, сразу же помчалась домой и застала там мать, она болтала с корреспондентами, потому что отец отказался их принять. Он сидел на скамье в саду. Когда я заговорила с ним, он даже не услышал меня, да, наверно, не видел.

— Он сказал, что это правда?

Диана кивнула, и Питер понял, что она не опечалена, а разгневана.

— По его словам, он после длительного размышления решил, что нет никакого смысла добиваться еще одного срока в сенате, потому что это *ни к чему,* раз он выпал из борьбы за президентство. Он сказал, что устал от сената и хочет подзаработать, пока еще не слишком поздно, поскольку я...

— Поскольку ты не собираешься снова замуж?

— Благодарю вас.— Диана ткнула его пальцем в живот.— Но он не захотел рассказать мне, почему же он так решил.

— Но, может быть, он все-таки рассказал. Вполне возможно, что он действительно устал от сената. Я, например, устал.

— Это единственное, чем он жил.— Она нахмурилась.— Клей что-то такое с ним сделал.

— Что он мог сделать?

— Не знаю. Может быть, угрожал... чем-нибудь. Я вдруг подумала, что это из-за истории с Эдом Нилсоном.

— Но история-то была абсолютно невинная, кажется? Нилсона даже не упекли в тюрьму.

— Какое значение имеет невинность, если ты *выглядишь* виновным?

— Внешний вид — все, существо дела — ничто.— Любимая тема Питера, он не мог не затронуть ее.— Может быть, он еще передумает?

— Нет. Он объявит о своем решении в понедельник. Это конец.— Она заплакала, и Питер, пытаясь ее утешить, предался нелегким размышлениям.

Диана вытерла глаза простыней.

— Ты должен встать. Это безобразие — проводить полдня в постели.

— Ты знаешь, мне надоело стоять. В постели я думаю, планирую, размышляю, даже когда вытираю салфеткой твои глаза.

— Как я ненавижу Клея! — сказала Диана с неожиданной страстью.

Питер задумчиво смотрел на нее, желая понять, что она чувствует на самом деле. И решил ее испытать.

— Я могу сделать так, что его не выберут.

Диана посмотрела на него красными от слез глазами.

— Должен я это сделать?

— Да.— Категоричность ее ответа убеждала.

— Я тоже так считаю.— Питер был задумчив.— Это уничтожит моего отца.

Диана улыбнулась вопреки своему страданию.

— А ты не стремишься к этому?

Питер засмеялся.

— Да, пожалуй, я этого хочу. Лишенный любви отца, я был лишен и его ненависти. Теперь я добьюсь хотя бы этого.

— Добьешься. Он любит Клея.— Она встала и подошла к зеркалу.

— Что ты хочешь этим сказать? — Питер подозрительно взглянул на нее.

— Это же совершенно ясно.— Быстрыми движениями она поправила прическу.

— Так же считала и Инид.

— Я не имею в виду — физически. По крайней мере, мне это не кажется вероятным. Да я в этом ничего не понимаю. Но во всяком случае неестественно, чтобы один мужчина целиком отдавал себя карьере другого и был бы готов пожертвовать своей дочерью, не говоря уж...— Диана собиралась и дальше говорить о Блэзе. Но Питер этого не хотел. Он откинул простыню и сел на кровати.

— Давай вести себя этически, а также исторически.— Он снял пижамную куртку.

— Что это значит? — Она положила гребенку.

Он кинул ей книгу, где на заложенной странице была подчеркнута фраза: «История имеет дело с результатами, мотивы и намерения — предмет этики».

— Кьеркегор. Всегда приятно, когда модный автор может сообщить что-то полезное.

Он снял телефонную трубку, вызвал свою секретаршу и попросил ее соединиться с конторой Эла Хартшорна.

— Кто такой Эл Хартшорн и что ты намерен предпринять?

— Это адвокат, и я веду себя исторически.

— Ты уверен, что это сразит Клея?

Питер кивнул и сбросил на пол пижамные брюки.

— Ты выглядишь как японский борец,— сказала Диана.

— Скажи Иниэсу, что поиски своего «я» закончились.

Стоя в ванной под сильными струями воды, он начал обдумывать статью, которую ему предстояло написать.

IV

Блэз нажал кнопку телевизора. Глухой голос заполнил комнату: «...за рекой Хань. Согласно сообщениям, армия Корейской Республики отступает по всему фронту. Сегодня днем президент Трумэн будет совещаться с Национальным советом безопасности, и ожидается, что он...»

— ...ничего не предпримет! — зло выкрикнул Гарольд Гриффитс.

«Известно, что генерал Макартур стоит за непосредственное введение американских войск в Корею...»

— Слава богу, у нас есть Мак!

«В свете резолюции, принятой во вторник Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, свободный мир должен оказать помощь Корейской Республике... Однако лишь на пресс-конференции президента, которая состоится сегодня вечером, мы узнаем, в каких пределах будут использованы вооруженные силы Соединенных Штатов...».

— Выключите, Блэз,— не допускающим возражения тоном сказал Клей. Были дела поважнее азиатской войны.— Блэз послушно выключил звук в тот момент, когда на экран выплыло лицо генерала Макартура с длинной крашеной прядью волос, тщательно уложенной поперек лысины, что делало генерала похожим на стареющего повесу, с помощью косметики пытающегося вернуть себе былую внешность молодого любовника.

Клей повернулся к Карлу:

— Покажи им вырезки из газет штата. По-моему, могло быть и хуже.

Гарольд недоуменно посмотрел на него:

— Меня называют лжецом, ты понимаешь? Вот здесь...

— Да, Гарольд.— Спокойствие не покинуло Клея.— Меня тоже называют лжецом, и, кроме того,— мошенником.

— Я подам в суд за клевету. Я вынужден буду подать в суд за клевету.— Гарольд внезапно умолк, видимо, сообразив, что ответчик не кто иной, как сын его патрона. Какое-то мгновение Клея развлекала эта ситуация. Но Гарольд не был лишен сообразительности.— Знаете, кто на самом деле за этим стоит? Бэрден Дэй.

Блэз с рассеянным видом поднял на него глаза. Гарольд продолжал:

— Он и его дочь убедили Питера написать. А старому мерзавцу именно это и...

Клей жестом прервал Гарольда.

— Успокойся,— тихо сказал он. Клей подозревал, что Гарольду известно все не только про Нилсона и Бэрдена, но и про его собственные отношения с Бэрденом. К счастью, Гарольд, хорошо это или плохо, был его неизменным союзником.— Вообще-то пресса штата,— заметил он рассудительно,— не так страшна, как я опасался. Газеты, которые поддерживают демократов, пишут, что это клевета...

— Конечно! — закричал Гарольд.— К несчастью, большинство газет в этом вашем богом забытом штате поддерживают республиканцев, и они...

— ...они никогда не позволят избирателям забыть, что я мошенник. Это совершенно верно.

— Но ты же не мошенник! — Гарольд стукнул ладонью по пачке с газетными вырезками.

— Так по крайней мере написано.

Нападение Питера было тонко продумано. Он умышленно писал не о Клее, а об использовании денег и рекламы в политической жизни. Он рассказал несколько известных всей стране легенд, которые, утверждал он, были хладнокровно придуманы людьми, чье основное занятие — продажа товаров при помощи телевидения. Затем, почти вскользь, он рассказал, как создавался образ Клея. Он отдал должное его прирожденному обаянию, политической сноровке. Он отметил, что Клей ничего не сделал в палате представителей, но справедливо добавил, что это скорее вина системы, чем Клея. И, несмотря на то, что он ничем не заслужил преклонения, он рассматривается всеми как один из самых значительных политических деятелей в Соединенных Штатах. Питер спрашивал почему и отвечал: для продажи товара были истрачены огромные средства, и пока торговля шла бойко. С помощью прессы, которую всегда можно деликатно купить, и телевидения, время на котором прямо предназначено для продажи, такой представительный человек, как Клей, мог быть полностью преображен, чтобы соответствовать тому типу руководителя, какого предпочитали в настоящее время избиратели. Питер затем объяснил, какой тип политического деятеля был признан специалистами идеальным для 1950 года, и продемонстрировал, как был подан Клей, чтобы выглядеть молодым, но не зеленым, консервативным, но не реакционным, религиозным, но не фанатичным, хотя и вдовым (капелька трагедии всегда украшает легенду), но любящим отцом, как свидетельствуют многочисленные фотографии Клея с дочерью в Лавровом доме, занятых играми, верховой ездой, прогуливающихся среди ядовитых плющей на потомакских высотах. Затем, как бы вспомнив ненароком, Питер описал, что на самом деле произошло на аэродроме Лингаен.

— ...назвал меня лжецом. Это чистая клевета...

Клей оборвал Гарольда:

— Выживешь. Не волнуйся. Никто не ждет правды от прессы. Вопрос в другом: как *мне* слезть с крючка?

— Предполагается, что политические деятели должны быть честными? — отомстил Гарольд.

— Вот было бы хорошо,— сказал Клей, глядя на телевизор, на экране которого появился государственный секретарь, вылезающий из длинного автомобиля,— если бы удалось возбудить дело против «Американской мысли». — Воцарилась продолжительная пауза. Гарольд и Карл чувствовали себя неловко. Блэз с жалким видом уставился в пол. Клей терпеливо ждал. Блэз отмалчивался.— Я знаю, трудно возбудить судебное дело против сына. Но если вы согласитесь, это сделаю я.

— Ты сможешь выиграть? — Блэз посмотрел на него так, словно задавал совсем другой, не имеющий отношения к делу вопрос.

— Если я проиграю на выборах, я смогу доказать, что мне был причинен ущерб. Но к тому времени все это будет, конечно, представлять лишь академический интерес. А до суда дело вряд ли дойдет.

Однако Карл сказал наконец самое существенное:

— Все зависит от этого доктора, который утверждает, что вас не было на аэродроме во время боя.

— *Клей там был.*— Гарольд двигал нижней челюстью, пока не стал похож на генерала Макартура, который в этот момент снова выплыл на экран телевизора: ястребиный профиль на фоне грозового неба.

Теперь, когда Питер был снят с повестки дня, Блэз снова стал самим собой.

— Я не думаю, что будет очень трудно нагнать страху на этого доктора.

— Добиться, чтобы он отказался от своего заявления?

— Почему бы и нет? — проворно сказал Блэз.— Я знаком с одним из попечителей клиники, в которой он работает. Он обещал мне свое содействие. Не беспокойтесь.

— Но ущерб уже причинен,— мрачно сказал Гарольд.— Так или иначе, мы будем выглядеть чертовскими дешевками.

Неудачное выражение, подумал Клей, когда секретарь передал ему результаты последнего опроса. На сегодняшний день он отстает от своего республиканского конкурента на восемь процентов.

— Плохие новости? — спросил Блэз. Не желая отвечать, Клей включил звук телевизора. Некоторое время он слушал голос диктора: «...вчерашняя резолюция палаты представителей о продлении призыва на военную службу единодушно одобрена сегодня сенатом. Сенатор Тафт, однако, выразил сожаление по поводу узурпации президентом прав конгресса и вовлечения Соединенных Штатов в то, что по существу является войной...».

Клей принял решение и повернулся к Блэзу; впервые за этот день он улыбнулся.

V

Фальшиво-искренние голоса и чрезмерно вежливые жесты людей, чувствующих себя не в своей тарелке, превратили в сплошное мучение нечастые теперь визиты Бэрдена в кулуары сената. Для своих коллег, да и для себя самого он был уже вне этого мира, уступив свое место в нем человеку более молодому.

Тридцать шесть лет наблюдал Бэрден, как люди приходят в сенат и покидают его, и если покидают не по своей воле, это всегда невыносимо печальное зрелище. Как прежде он держал себя с другими, так теперь они держались по отношению к нему: с вежливой угловатостью и вместе с тем совсем не так, как полагается в предвидении их общего кошмара — конца карьеры. Потеряв надежду на президентство, он считал само собой разумеющимся, что будет оставаться в сенате до своей смерти; душещипательная картина: он лежит на кожаном диване в гардеробе, окруженный друзьями, к которым он обращает свои последние слова, для *Истории*. Но если только он не умрет до января, то и этой мечте не суждено сбыться. Он конченый человек; ему никогда не вернуться, и все это знали. Знали они и то, что его каким-то образом заставили выйти из игры, чтобы расчистить дорогу Клею. Никто, к счастью, не подозревал, в чем дело, и он по крайней мере мог удалиться с непоруганной честью.

Кулуары были переполнены, и впервые за последние недели Бэрден оказался не единственным объектом жалости. Вчера был первый вторник после первого понедельника в ноябре, день, когда голосует этот избранный народ.

— Это чудовищно,— сказал один из сенаторов.— Никогда не видел ничего подобного.— Он втащил Бэрдена в кружок испуганных сенаторов.— Вы счастливчик, что выбрались отсюда как непобежденный чемпион.

С ужасом говорили они о сенаторе Маккарти. Клуб до сих пор не принимал его всерьез. Только теперь они поняли, насколько они его недооценивали. Он провел победоносную кампанию против своих сенатских противников. Даже лидер большинства потерпел поражение в этой схватке и должен был уйти.

— Самая грязная кампания в истории политики,— сказал злой на язык пожилой сенатор.

— Люди просто с ума посходили на этой проблеме коммунизма. Вы только подумайте: назвать Тайдингса коммунистом!

Если удалось свалить Тайдингса, ни один сенатор не может чувствовать себя в безопасности. Они находились в невменяемом состоянии, и Бэрден весьма мудро делал все от него зависящее, чтобы успокоить и развеселить их. Настали мрачные времена в истории страны, и это даже радовало Бэрдена. Если ему суждено погибнуть, почему бы Республике не погибнуть вместе с ним? Мраморные руины на месте Капитолия, обожженные черепа в густой траве неподстриженных газонов. Славное зрелище!

Из зала заседаний в кулуары вышел Момбергер. Он подозвал Бэрдена.

— Новости — хуже некуда.— Это был очевидный вывод. С некоторой горячностью двое коллег поносили избирателей. Никто по-настоящему не винил Маккарти. Когда люди теряют разум, кто-нибудь подтолкнет их на еще большие глупости. Маккарти не отвечал за это, подлец был просто подлецом, иным он и не мог быть.

— Клей еле-еле пролез,— Момбергер показал Бэрдену бумажку с цифрами.— Вот окончательные итоги по округам.

Бэрден изучал список округов, *его* округов; он знал каждый из них как собственное дитя, знал, как они голосовали за последние сорок лет, знал почему и мог предсказать с немалой точностью, как они проголосуют. Цифры на листке бумаги представляли не абстрактных избирателей, а друзей и союзников, врагов и перебежчиков. Он нашел некоторое удовлетворение в том, что Клей победил крайне незначительным большинством: всего в двадцать две тысячи на более чем миллион поданных голосов.

— Мы едва не потеряли штат, черт возьми.— Момбергер был мрачен; через два года ему самому предстояло встретиться с теми же избирателями.

Бэрден пытался его утешить:

— Вам нечего беспокоиться. Через два года Маккарти и в помине не будет.

— Я в этом не уверен. Смотрите, что он сделал с Тайдингсом и Лукасом *. Ей-ей, он проглотил их с потрохами.— Свой лексикон пограничного жителя Момбергер почерпнул, как было известно Бэрдену, отнюдь не на границе, а из тысячи ковбойских романов, прочитанных в детстве, которое он провел в Потакете, штат Род-Айленд. Из всех сенаторов Бэрден один знал секрет Момбергера.

— Ты бы прошел куда лучше, старый дурак! Какого черта ты отказался от переизбрания? — Момбергер пристально посмотрел на него, чуть-чуть задрав голову и слегка прищурив глаза, привыкшие к яркому солнечному свету прерий.

— О, Джесс...— вздохнул Бэрден. Он выдумал уже такое количество историй, что забыл, какую именно он рассказал Момбергеру. Официальная версия заключалась, конечно, в том, что он покидает сенат, поскольку, по его убеждению, для него настала пора перестать быть актером и присоединиться к зрителям. К несчастью, подозрительные расспросы вынуждали к более сложным разработкам темы. Он говорил о книгах, которые намерен написать, об университетах, в которых собирался преподавать, о должности федерального судьи, которую хотел занять, и, конечно, о деньгах, зарабатывать которые он должен был

---

* Сенатор-демократ от штата Иллинойс с 1939 по 1951 г. Лидер большинства в 1949—1951 гг.

впервые в своей жизни. В последние месяцы он намекал на все — начиная с неизлечимой болезни и кончая желанием всей жизни стать послом в Ирландии (в этом заскоке он признался интимной подруге государственного секретаря и теперь терзался, представляя себе, что думает о его претензиях эта достопочтенная особа, так как знал, что правительство его никогда не жаловало).

— Тридцати шести лет вполне достаточно,— сказал он Момбергеру, на что тот ответил:

— Черта с два!

К Бэрдену подошел посыльный.

— Звонили из вашей канцелярии, сенатор. Просили передать, что пришел мистер Сэнфорд.

Момбергер несколько озадаченно посмотрел на Бэрдена.

— Зачем тебе теперь Блэз Сэнфорд? Уж не хочешь ли ты стать одним из этих паршивых обозревателей, а?

— Это не Блэз, его сын.

— Тот богатый маленький комми...

— Это друг Дианы, не забывай.

— Тебе не очень-то везет с зятьями, а?

В коридоре, куда он вышел из сенатского крыла Капитолия, его обняла Айрин Блох.

— Cher ami, * — звенел ее голос. На них глазели туристы.— Ну что за выборы! — Она держала его за запястья, словно он мог вознестись на небо, как святая Тереза.

— Цицерон сказал, что жизнь подобна месту в театре...

Но она не дала Бэрдену закончить:

— Столько милых друзей потерпело поражение! Бедный сенатор Лукас, этот святой, и он должен теперь уйти!

— Мы все должны уйти, Айрин. Я опаздываю, меня ждут.

— Но *вы* никогда не уйдете. Я хочу сказать, что вы ведь останетесь в Вашингтоне?

— Конечно, где же еще мне быть? Где еще могу я заработать на жизнь? — Но она его не слушала.

— Знать, что вы здесь,— это так помогает жить! Вы не видели сенатора Тафта?

Бэрден покачал головой и воровски освободил одно запястье.

— На Тафте практически единодушно остановили свой выбор республиканские лидеры, а это означает, что он абсолютно наверняка станет кандидатом в президенты.

Она нахмурилась, когда в сопровождении какого-то ирландца мимо прошел приземистый, улыбающийся сенатор Маккарти.

— А как же генерал Эйзенхауэр?

— У него никаких шансов,— решительно сказала Айрин.— Его не любят, и я его не люблю. Вы читали, что написал о нем вчера Гарольд Гриффитс? Даже *он* отвернулся от Эйзенхауэра, а вы знаете его пристрастие к военным.

— Меня ждет Питер Сэнфорд. — Бэрден высвободил второе запястье.

— Comme il est méchant ** — сказала она весело.— Вы должны поскорее прийти ко мне, мы будем пить чай, à deux ***.— Она многозначительно улыбнулась и потрепала его по щеке своей изящной лапкой. — Но только после января, до тех пор я ангажирована.

---

* Милый друг *(франц.)*.

** Как это скверно *(франц.)*.

*** Вдвоем *(франц.)*.

■

Питер сидел один в приемной, читая книжку в мягкой обложке, которую он с виноватым видом запихнул в карман при появлении Бэрдена, но с таким расчетом, чтобы сенатор успел заметить ее название: это были «Записки федералиста».

— Где миссис Блейн?

— Сказала, что уходит завтракать.

— Я всеми покинут. Ты видишь меня среди развалин Карфагена.

— У вас меланхолическое настроение, — понимающе улыбнулся Питер и вошел вслед за Бэрденом в кабинет. В центре его стоял огромный саквояж, наполовину набитый книгами. — Вы же пробудете здесь еще три месяца...

— Ну и что... — Бэрден развалился на кожаном диване. — Я хочу уйти незаметно, воровски, постепенно. И в тот день, когда истечет мой срок, я исчезну так, что этого никто не заметит.

Питер показал Бэрдену газету.

— Вот он, ему рассказывают о результатах выборов.

Бэрден без всяких эмоций посмотрел на фотографию. Клей в форме полковника пожимал руку генерала Макартура, который торжественно поздравлял вновь избранного сенатора. После утверждения его кандидатуры в июне полковник Овербэри отбыл в действующую армию в Корею. Фронтовой офицер Первой американской механизированной дивизии, полковник Овербэри отказался вести предвыборную кампанию, заявив, что «народ моего штата уже знает, на какой позиции я стою. Как солдат, я не вправе сказать что-либо, кроме того, что грязное дело нужно довести до конца, и я в меру своих скромных сил делаю все возможное».

Бэрден выпустил из рук газету.

— Он выиграл. Будет смешно, если он станет теперь настоящим героем только для того, чтобы опровергнуть твою статью.—Бэрден поймал себя на нелепом ощущении, что ему хочется нападать на Питера и защищать Клея.

— К счастью, до этого не дойдет. Большую часть времени он проводит в штабе, но кто узнает об этом? Особенно после всех фотографий, где он запечатлен в бою. Очевидно, он собирается оставаться в Корее до января. И тогда, овеянный славой, он вернется, чтобы занять свое место в сенате.

— Из него получится хороший сенатор. — Бэрден почти верил тому, что сказал.

— Хороший? — Недоумение Питера раздражало Бэрдена.

— Да, хороший. Он честолюбив и поэтому должен быть хорошим.

— Или, по крайней мере, не особенно плохим.

— Он, конечно, будет усердным...

— Или создаст такое впечатление.

— *Это* тоже требует усердия,— улыбнулся Бэрден.— Ты должен быть снисходительным. Нет ничего труднее для современного политического деятеля, нацелившегося на Белый дом, чем выглядеть занятым, не делая на самом деле ничего такого, за что потом приходится отчитываться. Он будет стараться изо всех сил, уверяю тебя.

— Для себя самого.

— Это только естественно.

— Тогда мне бы хотелось, чтобы нами управляли неестественные люди.

— *Управляли?* В этом доме никто не управляет! — взорвался Бэрден. Наконец он сказал правду.— Это никому не по плечу. Когда я впервые пришел сюда, сенатор, который хотел что-то осуществить, мог добиться успеха, если проявлял должное старание. А теперь? Мы голо-

суем «за» или «против», и эти наши «за» и «против», как правило, можно совершенно точно рассчитать заранее. Хочешь верь, хочешь нет, но действительно было такое время, когда законодательство исходило от конгресса. Я сам когда-то написал закон, ставший законом страны. Теперь же мы получаем законы готовыми — работа тысяч юристов в сотнях учреждений,— и никто здесь даже не читает того, что мы одобряем или отвергаем.

— Отдельные сенаторы еще обладают властью. Клей будет иметь власть.

Бэрден покачал головой:

— Но не в сенате. Здесь он будет еще одним «за» или «против», и сенатские лидеры заранее будут знать, как он проголосует.

— Надо, пожалуй, отказаться от этой системы.

— Мы уже от нее отказались,— сказал Бэрден.— Мы живем теперь под диктатурой президента и проводим периодические референдумы, которые позволяют нам сменить диктатора, но не диктатуру.

— Но, пожалуй, это единственный способ управлять таким обществом, как наше.

— Я бы постыдился так думать. Но ведь я консерватор, это естественное состояние в мои годы.

— Мы все считаем настоящее постыдным, хотя в прошлом тоже было не лучше,— мрачно заметил Питер.— В этом я убежден.

— Ну, что ты, лучшие времена были.

Бэрден поднялся навстречу брошенному ему вызову, вспомнил битву при Шилоу, хотел сказать о генерале Ли и Линкольне, но Питер не желал этого слушать. Он прервал Бэрдена:

— Нами всегда правили орангутанги, и наши жалобы — это просто мартышкина болтовня...

— Нет! — Бэрден поразился собственной горячности.— У нас был золотой век.— Он показал на портрет Джефферсона над камином.— Согласен, он был коротким, как и все человеческое, и в этом некого винить. Жизнь нами располагает, и ни твои мартышки, ни орангутанги не несут за это ответственности.

— Золотого века никогда не было,— упорствовал Питер.— Золотого века никогда не будет, сущий идеализм думать, будто мы можем быть другими, нежели сейчас,— ликовал Питер в своем отчаянии.

Бэрден вздохнул, это состояние было ему слишком хорошо знакомо.

— Что ж, скажем тогда так: были некогда в нашей истории времена, когда несколько влиятельных людей хотели сделать жизнь лучше, в отличие от сегодняшнего дня, когда важны стали только деньги...— Он замолчал и улыбнулся.— Но каково бы ни было положение вещей в прошлом, настоящем или будущем, ты, как и я когда-то, стремишься к лучшему. Если бы ты и в самом деле был таким пессимистом, ты не затеял бы издания «Американской мысли».

Долгое время оба молчали, Питер раскачивался в кресле, Бэрден рассматривал портрет Джефферсона. Затем Питер сказал:

— Как вы думаете, почему моя статья о Клее произвела такой слабый эффект? Ведь это была правда, уничтожающая правда.

— Очевидно, не уничтожающая. Во всяком случае, на публику производят впечатление лишь победители.

— Но победители превращаются в проигравших. Иногда даже садятся за решетку.

— Но сказать, что Клей — фальшивый герой...

— Я это *доказал*...

— ...значит лишь сбить с толку людей, которые уже приняли его за того, кем он, по их мнению, является,— за подлинного героя, получив-

шего необычайную рекламу. Важно только это их первое впечатление. А его-то ты и не изменишь, разве что устроишь публичный судебный процесс.

— Видимо, я наивен.

— Лучше сказать, ты оптимист. Ты думаешь, что твоей правоты уже достаточно. Так никогда не бывает. Хотя должен сказать, что если бы не война в Корее, ты бы, наверно, свалил его. Почему ты его ненавидишь? — Бэрден с нетерпением ждал, что ответит Питер.

— А вы почему?

— Я не чувствую ненависти.— Бэрден говорил правду.

— Но он выжил вас. Вы должны его ненавидеть.

Бэрден пересел на стул и вдруг насторожился, почуяв опасность.

— Ты так считаешь?

— Да.— Питер посмотрел Бэрдену прямо в глаза.— Это та старая история с покупкой земли у индейцев. И чтобы избежать разоблачения, вы вышли из игры.

— Как ты узнал об этом?

— У меня есть друг в «Трибюн», который при случае дает мне читать статьи до их опубликования. Гарольд Гриффитс описал всю сделку. Статья уже набрана.

— Почему он пишет об этом теперь, когда я уже оставил политику?

— Он считает, что вы имеете какое-то отношение к тому, что написал я. Он не может нападать на меня из-за отца...

Не в силах сдержаться, Бэрден задал вопрос, который не следовало задавать:

— Ты веришь, что я взял взятку?

— Почему бы и нет? — Питер встал и заговорил вдруг громким голосом: — Если учесть, какие люди вас окружают, непонятно, почему вы должны от них отличаться.

— Кто-то должен.— Голос Бэрдена был еле слышен.

Питер не слушал сенатора.

— Добродетели нет ни в ком из нас, сенатор. Мы дикари, и не пытайтесь мне доказать, что при нем было лучше.— Питер показал на Джефферсона.— Он лгал, надувал, писал прелестную прозу, собирал рецепты, которые силой хотел прописать нашей глупой стране, и наконец умер, и на этом все кончилось. И не говорите, что будущее мнение о вас имеет какое-то значение, потому что род человеческий умрет в один прекрасный день, отнюдь не преждевременно, и тогда уж, ей-богу, плевать, кто был в этой грязной клетке мартышкой, а кто орангутангом.

Питер подошел к двери, он закончил свою тираду и быстро взглянул на заключенное в рамку изречение Платона. Затем снова повернулся к Бэрдену и заговорил уже совершенно спокойно:

— На вашем месте я обратился бы к Блэзу. Он любит вас, если он вообще может кого-нибудь любить, кроме Клея, но и это не любовь, а то, что греки называли «роковой страстью», и если уж говорить о греках, то ваш Платон ошибается.— Он ткнул пальцем в висевшее на стене изречение: «Мы не рождаемся только для самих себя».— Это подделка. Платон никогда этого не писал. Он должен был бы, пожалуй, но не сделал этого. Чем я могу вам помочь?

■

Они пересекли Чейн-бридж и свернули влево на улицу, ведущую к Великим водопадам. Прошли годы с тех пор, как Бэрден был здесь в последний раз, и он с грустью замечал, как изменился пейзаж. Деревянные коробки новых домов светлыми пятнами выделялись на фоне темных деревьев, а рекламные щиты предлагали совершенно новые жилые

дома по умеренным ценам со всеми современными удобствами всего в двадцати минутах от деловой части Вашингтона. Бэрдену не нравилось то, что он увидел. Но сегодня он решительно не хотел расстраиваться. Он не будет думать ни о чем, кроме прохладных лесов, в которых пахло грибами и гнилью.

— Поворот там, сразу за заправочной станцией.

— О'кей,— сказал шофер, молодой негр, которого нашел ему Генри, ушедший работать в правительственное учреждение с благословения Бэрдена, хотя тот и дал его против воли. Потерять мрачного Генри было все равно что потерять брата, но он не мог лишить его возможности получить государственную пенсию.

Да и Китти не очень ему помогала. Она теперь не интересовалась ничем, кроме птиц, и проводила дни в их щебечущем обществе. В халате и шлепанцах, непричесанная, она редко с кем-либо разговаривала, что было не так уж плохо, ибо с годами ее мозги наполнились фантазиями, и теперь она выбалтывала не шокирующую правду, а свои эксцентрические мечты, которые ставили в тупик даже тех, кто хорошо ее знал.

— Куда теперь? — В голосе шофера слышались враждебность и раздражение.

Бэрден выглянул в окно. Они были на незнакомом шоссе с новыми домами по обеим сторонам, над каждым торчала высокая телевизионная антенна, ловящая в воздухе грубые картинки и лживые слова. «О, проклятый век!» — подумал он, ненавидя все вокруг.

— Прямо. Никуда не сворачивай.— Он узнал рощицу, в которой Генри обычно ставил машину. По крайней мере, сосны не изменились, не испортились.

— Но что я должен делать? — Черное лицо смотрело на него глупыми непонимающими глазами.

— Подождать,— холодно сказал Бэрден, он повернулся и зашагал к лесу, где Север и Юг сошлись в смертельной схватке, и, по крайней мере в тот день, Юг, его Юг, победил.

Репейники облепили его брюки, когда он продирался через высокую траву, но он не остановился, чтобы отодрать их. У него была одна мысль — отыскать свой холм. От этого теперь зависело все. Если он его разыщет, все будет хорошо. Он будет в безопасности от любого нападения, под защитой победы южан, исполненной добродетели, смелости, чести.

Поле не изменилось. Но на холме, где он любил сидеть, были выкорчеваны деревья, вырыт котлован и ровными рядами сложены цементные плиты. И пулю уже давно, конечно, зачерпнул своим ковшом экскаватор.

— Что вам здесь нужно? — Голос принадлежал человеку с мрачным лицом, в синих джинсах и куртке-штормовке.

— Простите,— вежливо сказал Бэрден.— Я сенатор Дэй.

— Я не спрашивал, кто вы такой. Я спросил, что вам здесь нужно. Это частная собственность.

Бэрден, ошарашенный, отступил от осквернённого холма.

— Прошу извинения. Я не знал, что здесь кто-нибудь живет. Я часто...

— Я установил щит с надписью. Надеюсь, вы умеете читать.

— Да. Конечно. Очень даже неплохо. Благодарю вас.— Разгневанный, он повернулся к мужчине спиной и зашагал обратно к машине. Он назвал себя, но на грубияна это не произвело никакого впечатления. Так проходит слава мирская.

Радио было включено на полную мощность. Шофер Бэрдена упивался звуками и, приоткрыв толстые губы, внимал любовным жалобам.

— Выключи эту мерзость! — Молодой негр неторопливо поднял на него глаза, постигая смысл приказа. Затем выключил радио и нехотя открыл Бэрдену дверцу.— Поедем вдоль реки. Я скажу, где остановиться.— Когда машина тронулась с места, Бэрден понял, что он весь дрожит. Он изо всех сил сжал руки, пытаясь унять дрожь. Но тело его все еще содрогалось. Очевидно, это была замедленная реакция на то, что сообщил ему Питер.

Он попытался представить себе, что произойдет в следующие дни. Статья появится в четверг. Он предчувствовал ее глумливый тон. Гарольд в последнее время увлекся разоблачениями мелкого (и никогда — крупного) взяточничества в конгрессе. Раздутые штаты помощников, незаконные пожертвования на проведение избирательных кампаний — это обычные преступления, и подобные разоблачения на короткое время ставили в неловкое положение того или иного законодателя, но никогда не причиняли серьезного ущерба. Американцы всегда считали, что их выборные представители продажны; они сами поступали бы точно так же на их месте. И рядовые граждане каждодневно обжуливали друг друга, всучали товары, не обладающие разрекламированными достоинствами, да и во всех других отношениях вели себя как и их правители. Если Клей Овербэри смог разыграть из себя героя войны и попасть в сенат, что ж, размышляли они, он заслужил большую власть. Лозунг «Если не можешь быть честным, будь по крайней мере осторожным» стал воплощенной мудростью нации, и ведь действительно глупо, когда тебя ловят на месте преступления. Людей совершенно перестали интересовать принципы морали. Нужно только побеждать, и Клей победил. Вот почему, победи он сам на президентских выборах сорокового года, взятые у Нилсона деньги рассматривались бы ретроспективно как приятная необходимость, чем они в каком-то смысле и были. Даже сейчас он сожалел не столько о том, что продал свой голос, сколько о другом: он не выполнил своего долга перед индейцами.

Пот катился по его лицу, а похолодевшие руки и ноги дергались, как будто кто-то, а не он сам, управлял ими. Он вспомнил, как недавно к нему пришел один из индейцев, земля которого была продана Нилсону. «Нам никогда еще так не везло, как с продажей этой земли. Ни черта, никакой нефти в ней не нашли, и если бы мы ее не продали, то и остались бы на ней по сей день дураки дураками. А теперь у меня собственное дело и...» Рассказ об успехе: хороший исход недобрых дел.

Но Бэрден не хотел легкого утешения. Всю свою жизнь он верил, что никто не должен вести себя неподобающе, невзирая на опыт других, и большую часть своей жизни он был честным. Но теперь все это позади, он разоблачен, и это тем более ужасно, что другие по крайней мере никогда не говорили, что лучше быть честным, чем бесчестным, благородным, чем подлым, хорошим, чем плохим; никакая софистика относительно того, что *истинно* хорошо, не могла спасти его от самого себя, не говоря уж о мировом презрении после появления статьи Гарольда. Правду сказать, наибольшую боль причиняла ему именно мысль о том, что скажут другие. Они будут смеяться над ним, радоваться краху его карьеры и затем с легкостью забудут о самом его существовании, ибо ведь в конечном счете он оказался всего-навсего еще одним продажным политиканом, дни которого миновали.

— Остановись здесь.

Шофер слишком резко нажал на тормоз. Бэрден стукнулся больным плечом о дверцу машины. Еле слышно выругался. Затем, не давая возможности этому идиоту спросить, что делать дальше, сказал ему, что он должен его подождать.

— Я хочу пройтись. Можешь включить радио.

Деревья с облетевшими листьями спускались по крутому склону к

Потомаку, коричневые воды бурлили среди рассекавших их острых скал, по которым, наверно, переправляются через реку гиганты.

Узкая дорожка вилась среди деревьев, и он побежал вниз, к реке, как мальчишка, думая только о том, чтобы скрыться от людей, от реальности.

За резким поворотом дорожки возникла разрушенная хижина с наполовину содранной крышей, проломленными дверьми и окнами. Бэрден остановился и заглянул внутрь. Пол был покрыт пожелтевшими газетами и пеплом давнего костра. Он подумал, что душа его — такой же темный дом, потрепанный и заброшенный; он впустил свет — и при ближайшем рассмотрении увидел пустые пивные бутылки, использованные презервативы — и почему-то один ботинок. Он пошел дальше вниз, радуясь прохладе леса, шуму воды среди порогов, который нарастал с каждым его шагом.

Тропинка выводила на узкий каменистый пляж. Между высоких камней, сглаженных последним оледенением, стоял его отец в рваном мундире конфедератов, с ружьем в руках, как и в тот день на поле битвы, когда сын не узнал его. Но теперь ошибки не могло быть. Пылающие глаза разгневанного юноши, которого он никогда не знал, принадлежали человеку, который всю жизнь был его главным мучителем.

Бэрден заговорил первый.

— Ты был прав,— сказал он.— Все пошло прахом. Ты можешь радоваться.— Он попытался сделать шаг к капралу конфедератов, но тот отступил, и Бэрден заметил его рваный мундир и свежую рану.— Она все еще кровоточит! — Этот торжествующий крик заставил юношу направить на Бэрдена ружье, не давая ему приблизиться. Но в страстном порыве Бэрдена не могла сдержать даже смерть. Вся его жизнь в это мгновение сосредоточилась на этой зияющей ране, и у него было только одно желание на свете — остановить кровотечение.

Застывшими пальцами он вытащил из кармана носовой платок. Затем он пошел к раненому солдату. Ведь это был его отец, сраженный в честном бою вражеской пулей. Капрал армии конфедератов не уклонился от встречи, и наконец они стали лицом к лицу.

Бэрден долго смотрел в голубые глаза, в которых с необыкновенной точностью отражалась пустота неба. Затем медленно протянул руку с носовым платком. Только ружье преграждало ему дорогу. Он терпеливо ждал, пока наконец, точно по волшебству, ружье не опустилось. С криком бросился он к юноше, который был его отцом, приложил платок к его ране, потерял равновесие, навалился на любимое существо, был принят в объятия его давно умерших рук, и, как нетерпеливые любовники, они сплелись и вместе рухнули вниз.

Глава девятая

I

Словно чужак, не уверенный в ожидающем его приеме, Питер вошел в переполненную гостиную и увидел, что люстру с эмблемой принца-регента сменило фантастическое сооружение из цветного венецианского стекла. В доме переменилось все, кроме людей: регентский хрусталь мог уступить место венецианскому стеклу, но Люси Шэттак была тут, и лишь некоторая задубелость ее лица говорила о том, что, возможно, со временем она тоже перестанет существовать.

— Питер, голубчик! — Она, как положено, обняла его и шепотом

проговорила ему на ухо:— Что она сделала с домом! Никогда не видела ничего подобного!

— Все это не так уж страшно.— Яркие пятна материи, экзотическое стекло и современная мебель в экстравагантном вкусе сочетались таким образом, чтобы создать впечатление дерзкого изобилия, которое ему, пожалуй, даже нравилось, поскольку он давно уже привык к мысли, что Лавровый дом всего-навсего здание, как и все прочие,— недвижимость, которая, сменив хозяина, неизбежно должна изменить и свой характер. Таким образом, фон его юности был жизнерадостно стерт рукою декоратора, претворившего в жизнь мечту клиента.

— Фредерика, наверно, умерла бы, если б увидела это! — Казалось, мысль о смерти ее давней подруги от удара приводила Люси в восторг.

— Но она этого не увидит. Она поклялась, что никогда больше не переступит порог своего бывшего дома.— Хотя Фредерика чуть ли не больше всех хотела продать дом («слишком много воспоминаний»), она очень огорчилась, когда в конце концов дом купила миссис Огден Уотресс. К счастью, хлопоты по воссозданию Лаврового дома в особняке на Массачусетс-авеню, построенном еще до депрессии, отвлекали ее от мрачных мыслей; со своей стороны, Блэз был страшно рад переселиться в город, поближе к своей штаб-квартире на Девятой улице.

— Твой отец здесь, хочешь верь, хочешь нет.

— Очень даже верю. Почему бы нет?

Миссис Уотресс, увидев Питера с другого конца комнаты, издала радостный крик и покинула своих собеседников (членов правительства в одинаковых очках без оправы), чтобы приветствовать его в его бывшем доме.

— Ну, как вы на это смотрите? Разве я не сотворила чудеса? — Айрин указала на образчики примитивного искусства, венецианское стекло, картину Моне над камином.

— Дом стал неузнаваем,— прохладно констатировал Питер.— Вот только снаружи он все тот же.

— Это ненадолго. Я пристраиваю крыло в стиле Палладио для Огдена и его охотничьих трофеев. Мы устроим целую галерею, в ней будут одни только звериные головы.

— Вам надо бы установить плату за вход,— сказала Люси Шэттак.— Я с удовольствием буду платить.

Питер сделал вид, что не заметил устремленного на него взгляда Люси.

— Как нравится мистеру Уотрессу Вашингтон?

— Понравится.— Айрин еще никогда не была столь великолепно самоуверенна.— Ну, а уж о людях Эйзенхауэра—таких как Фостер Даллес,— он знает все. Собственно говоря, cher* Фостер был стряпчим у Уотресса.

— Знаю,— сухо ответила Люси.— Я тоже была женою Уотресса. Но даже с таким адвокатом, как cher Фостер, Огден и Шэйлер прогорели.— В буйном злопыхательстве Люси не было ничего личного. Она всегда знала подноготную решительно всех, однако относительно Уотрессов даже она не смогла бы раскопать ничего нового, ибо это севшее на мель семейство оказалось в центре всеобщего внимания с тех самых пор, как сенатор Клей Овербэри женился на Элизабет Уотресс.

Свадьбу праздновали в Лавровом доме, и хотя никто не знал, приглашена ли Айрин Блох, она была тут как тут и творила историю. За несколько минут знакомства с Огденом Уотрессом она решила, что для нее настала пора снять вдовий траур, и хотя она впоследствии призна-

---

* Дорогой *(франц.)*.

лась Питеру, что ей было очень жаль расставаться со своей прежней фамилией, в конце концов она принесла и эту жертву ради любви. После церемонии бракосочетания, совершенной на борту парохода компании «Кьюнард-лайн», направлявшегося в Гавр, она стала миссис Огден Уотресс. Уже в качестве предмета чистого интереса и восторженных сплетен второй брак Айрин произвел в городе почти такую же сенсацию, как и гораздо более пышное венчание Клея и Элизабет, и все дамы сошлись на том, что Айрин достойна всяческого восхищения. Ее борьба увенчалась успехом. Теперь на нее уже не посмотришь свысока или покровительственно. А с покупкой Лаврового дома ее триумф стал полным. Все бывали у нее в гостях, кроме матери Питера, но о ней никто не вспоминал.

— У Огдена исключительные деловые способности! — Айрин благожелательно смотрела на своего высокого, неуклюжего, краснолицего мужа, который давал пояснения нескольким озадаченным гостям перед скульптурой в стиле модерн, такой огромной, что она загораживала чуть ли не весь проход в зал, служивший при Питере для игры в карты, а теперь, насколько он мог разобрать с того места, где стоял, приспособленный под замысловато освещенную картинную галерею.

— В таком случае, он сильно изменился с тех пор, как я была замужем за Шэйлером. В мое время братья соревновались между собой, кто больше денег просадит.

— Мы с Питером терпеть не можем бизнеса, правда? — Айрин с улыбкой посмотрела на Питера, и он согласился, что бизнес — это не по его части.— Мы au fond spirituel *, и тем более удивительно, что мы зарабатываем деньги.

Люси была заинтригована.

— Неужели этот ваш Коммунистический манифест приносит доход?

— Да, конечно,— мягко ответил Питер: нападки на «Американскую мысль» никогда его не огорчали.— В сущности говоря, благодаря сенатору Маккарти наш журнал стал чуть ли не массовым изданием.— Во время заседаний сената, когда этот демагог усмотрел знаменательный и зловещий симптом в повышении по службе некоего безвестного армейского зубного врача, подозреваемого в симпатиях к левым, «Американская мысль» в ряде статей выступила против сенатора, дела которого вслед за тем пошли все хуже и хуже, и Питер льстил себя мыслью, что закат Маккарти хотя бы отчасти был делом рук его и Иниэса. Расследователь сам попал под расследование, и после четырех лет национального бедствия сенат Соединенных Штатов с присущей ему тяжелодумностью собирался вынести Маккарти вотум недоверия за недостойное поведение в их общем доме.

— Элизабет! — Айрин обняла дочь Люси, которая, на взгляд Питера, стала еще красивее, чем до замужества.

Айрин была с этим согласна.

— Это все материнство! Посмотрите на нее, Люси! Посмотрите, какой милой стала *наша* девочка!

— Да, конечно, она выглядит лучше, чем во время беременности, тогда она была вся в пятнах. Здравствуй, дорогая.— Люси небрежно поцеловала дочь. Затем, выступая в своей обычной подстрекательской роли, повернулась к Питеру:— В этом году вы настроены миролюбиво или нет?

— Я всегда миролюбивый,— ответил Питер, но руки Элизабет не подал. С ее лица ни на секунду не сходила широкая улыбка.

— Я тоже! — Ее глаза сияли.— Во всяком случае, я стараюсь, потому что Клей говорит: не примешивай к политике личное. Только у

* В сущности люди духовного склада *(ломаный французский)*.

меня не всегда это выходит. Иной раз, когда какой-нибудь ничтожный хам нападает на Клея, я выхожу из себя и говорю что-нибудь прямо-таки ужасное, и тогда Клей набрасывается на *меня*!

— Подразумевается, что только ничтожный хам может выступить с нападками против нашего Клея? — Когда Люси была не в своей стихии, можно было не сомневаться, что она создаст ее.

Айрин поспешно принялась спасать подорванный мир между ними:

— Мы все должны быть друзьями! К тому же ведь мы все родственники! Я tante * Элизабет, а Клей и Питер...

— Вы приходитесь мне тетушкой, не так ли? Ой, как я рада! — Питер просто поражался Элизабет. Прежде она невероятно презирала «эту ужасную» Айрин, а теперь прямо-таки воспылала к ней любовью, не в пример своей матери, которая продолжала изводить Айрин, словно та по-прежнему была миссис Сэмюел Блох, незваной гостьей на всех приемах, а не спасительницей братьев Уотресс, вместе с Блэзом взявшей на себя заботу о карьере сенатора Овербэри.

— А Клей — зять Питера...

— Он *был* моим зятем.— Голос Питера прозвучал резче, чем ему этого хотелось.

Широкие челюсти Элизабет плотно сомкнулись, но улыбка не сходила с лица.

— Но ведь семейная верность живет, несмотря ни на что.

— Моя — да.— Питер спрашивал себя, неужели она когда-нибудь по-настоящему нравилась ему.— Но только по отношению к *моей* семье, а не к нему. Вернее говоря, к Инид.

— А вон сенатор Уоткинс! — Айрин покинула своих родственников.

— Инид была чудесная девчонка.— Элизабет говорила так, словно защищала покойную.— И она была ужасно верная, а это, по-моему, самое важное на свете.

— Да ну? — искренне удивилась ее мать.

— Возможно, важнее верности действительно нет ничего на свете,— сказал Питер,— но как раз этого-то Инид и недоставало.

— Да как ты можешь так говорить о ней? — Ярость Элизабет, никогда не загоняемая вглубь, наконец излилась, к явному удовольствию ее матери.— Почему тебе обязательно надо на кого-нибудь нападать? В особенности на бедную покойницу Инид.

— А я вовсе на нее не нападаю, я только сказал, что верность не была в числе ее сильных сторон.

— Элизабет совершенно помешана на верности,— сказала ее мать.— По-моему, это у нее от Клея. Прежде мы и слова-то этого не знали, не так ли, дорогая?

— Нет, знали, уж я во всяком случае.— Оказавшись на знакомой почве, Элизабет обрела утраченное равновесие.— Мне всегда казалось, что человеку следует точно знать, кто его друзья и чего можно от них ожидать.— Она повернулась к Питеру: — У меня уже набрался маленький черный список.

— Друзей или врагов? — Питера это позабавило.

— Конечно врагов! В конце концов месть может быть так же сладка, как и любовь.

— Господи боже, ну и ребеночка я родила! — Голос Люси звучал чуть ли не почтительно. Она переменила тему разговора, словно опасаясь, что список начинается с ее собственного имени.— Клей с тобой? Он приехал?

— Да Он в библиотеке с мистером Сэнфордом. Они смотрят Клея по телевизору, его интервью, заснятое на пленку.

---

* Тетя *(франц.)*.

— Тебе бы не мешало присоединиться к ним,— сказала Люси Питеру. Он ответил, что ему не хочется.— Ну хотя бы посмотри, что Айрин сделала с комнатой. Она завесила стены холстом. Вот интересно, каково Блэзу, когда он приезжает в Лавровый дом и видит такие перемены?

Хотя вызов Питеру бросила Люси, ответила Элизабет.

— Мистер Сэнфорд обожает Айрин и считает, что она сделала с домом чудеса.— Элизабет взглянула на Питера, вызывая его на спор.

— Разумеется,— безмятежно ответил Питер.— Айрин всегда была одной из любимиц отца. Вообще-то говоря, это при вас она впервые попала к нам на обед.

Элизабет не помнила этого случая. Улыбаясь, она шепотом сказала, что хочет шампанского. Питер и Люси наблюдали, как она шла через комнату. Все взгляды были устремлены на нее.

— Прелесть как хороша,— сказал Питер.

— Но в другом стиле, чем Инид,— неожиданно сказала Люси.

— Это верно,— согласился Питер.— Будем надеяться, ей больше повезет.

— Так оно и будет, если только она не запьет, как ее отец. Во всяком случае, они прекрасно подходят друг к другу.

Питер кивнул:

— Она всегда очень любила Клея.

— Не знаю, как насчет Клея, но вот славу она действительно любит. Она пойдет на что угодно, лишь бы отличиться.— Обычный иронический тон Люси вдруг пропал. Питер с удивлением взглянул на нее.

— Большинство людей таково,— уклончиво заметил он.

— Большинство пойдет на многое, но не *на что угодно.*

— Ну, если бы не было таких, как Клей и Элизабет, то не было бы и истории. Великое — удел ненасытных.

— А нужна она нам, история? — вдруг усмехнулась Люси, в горячем свете гостиной Айрин она походила на высохшую ящерицу.

— С ней проходит время.

— О, оно так и так проходит. В сущности говоря, я восхищаюсь дочерью. Из всех известных мне женщин она одна добилась того, чего хотела, за исключением разве что...

— Айрин! — одновременно произнесли оба.

— Tante Irène *,— весело повторила Люси.— Бедный Огден! Он всегда был таким снобом, а теперь только взгляни на него! Но ведь Уотрессы для того и родились, чтобы их унижали женщины. Уж конечно его брату досталось от меня.

Появление Милисент Смит-Кархарт положило конец их интимной беседе. Люси присоединилась к своей приятельнице, и, пока они шли через переполненную комнату, Питер размышлял о природе игры, в которую играли присутствующие. Попросту говоря, это была война. А покоряет Б, Б покоряет В, В покоряет А. Каждый на свой лад борется за первенство, и отрицать эту изначально присущую людям хищность значило бы проявить сентиментальность, пытаться приспособиться к ней было бы ошибкой, изменить ее было невозможно.

Чувствуя себя глубоко несчастным, Питер направился в столовую. Хотя стол в большей своей части был заполнен неизбежной копченой ветчиной и копченой индейкой, ряд серебряных кастрюлек выглядел многообещающе. Он приподнял крышку одной кастрюльки, и его настроение улучшилось при виде некоей смеси из куриной печенки и водяных каштанов. Когда Питер принялся за вторую кастрюльку, голос Гарольда Гриффитса за его плечом произнес:

---

* Тетушка Ирэн *(франц.)*.

— У Айрин повар — армянин. Но он горазд на всяческие подделки в духе китайской кухни.

— Не такие уж подделки,— возразил Питер, его рот был теперь набит горошком с грибами.

— Подожди, вот отведаешь настоящей на Формозе. У Чан Кай-ши, пожалуй, лучший китайский повар в мире.

— Но уж конечно не раньше, чем будет развязана война.

Но Гарольд теперь был слишком важной фигурой, чтобы принимать такие шутки. Наиболее воинственно настроенный из газетчиков, он ратовал за немедленное вторжение в континентальный Китай и делал это всякий раз, возвращаясь из своего ежегодного паломничества к свергнутому главнокомандующему на Формозе.

Гарольд вежливо спросил, придет ли Диана, и Питер так же вежливо ответил, что придет. Но несмотря на эту кажущуюся непринужденность, Гарольд не простил Питеру его разоблачений относительно происшедшего на Филиппинах, а Питер не простил Гарольду, что тот отомстил не ему, а Бэрдену Дэю: объявление о смерти сенатора было помещено в том же номере газеты, что и статья Гарольда, разоблачавшая его продажность. Это мгновенно вызвало симпатию к Бэрдену: все полагали, что он покончил с собой от отчаяния, хотя Диана утверждала, что он утонул случайно и почти наверняка привлек бы Гарольда к ответственности за клевету. С горя она и сама собиралась это сделать, пока ей не сказали, что невозможно клеветать на мертвых.

Они заговорили о Маккарти — это был единственный вопрос, по которому их мнения сходились. Оба надеялись, что сенат вынесет вотум недоверия.

— Как раз об этом Клей и говорил сейчас по телевидению.

— Он проголосует за недоверие... в конце концов? — не удержавшись, спросил Питер.

Ответ Гарольда нетрудно было предугадать.

— Ты не понимаешь, какое давление на него оказывают.

— Как раз это-то я понимаю. Если он хочет, чтобы его выдвинули в вице-президенты, он должен искать поддержки в городах на Севере, в особенности среди ирландцев, ведь они видят в Маккарти божьего избранника, призванного оградить их от цивилизации.

— Клей проголосует завтра против Маккарти,— ответил Гарольд.

— Значит, это безопасно. Рад это слышать. Скажи мне, как по-твоему, пойдет Эдлай Стивенсон на то, чтобы Клей баллотировался в одной упряжке с ним в пятьдесят шестом году?

— Почему нет? Ему непременно придется взять кого-нибудь вроде Клея для равновесия, какого-нибудь... э-э...

— Реакционера?

— Клей не реакционер, и ты отлично это знаешь.

— В таком случае, как ты определишь политическую линию Клея? Я спрашиваю всерьез. Мне действительно хочется знать.

— Он прагматист. Ему приходится приводить свою линию в соответствие со стоящей перед ним задачей,— последовал быстрый ответ.

— Выходит, прагматист — это приспособленец?

— А ты считаешь, можно стать президентом и при этом не быть приспособленцем? — Гарольд говорил весело и напористо.

— Возможно, что нет. Собственно говоря, лицемерие Клея — вот что отталкивает меня больше всего. Читает пристойные маленькие проповеди, а сам повсюду шныряет, везде пролезает...

— Перестань! — Голос Гарольда звучал резко.— Это обычный способ.

— А мне этот обычный способ не нравится.

— Тем хуже для тебя.— Гарольд пальцами отодрал жир от куска копченой ветчины.— Потому что изменить мир невозможно.— Чудно́е дело,— продолжал он.— Недавно вечером мы были с Клеем в клубе «Салгрейв», он смотрит в танцевальный зал на девиц и вдруг спрашивает: «Со сколькими из них ты переспал?» — «С двумя-тремя»,— отвечаю я ему, а он говорит: «А я переспал со всей этой проклятой оравой!»

— А где была Элизабет, когда он это сказал?

Гарольд с подозрением присматривался к рису шафранового цвета.

— Он говорил о прошлом.

— О настоящем, судя по тому, что мне приходится слышать. Как она с этим мирится? — Это был явно риторический вопрос, ибо терпимость Элизабет к многочисленным и беспорядочным связям Клея уже стала достоянием вашингтонского фольклора. Было известно даже, что при случае Элизабет сама подсаживала красивых девиц к мужу за обедом, как будто это косвенно приобщало ее к любовным усладам, от которых она была столь неприкрыто отлучена. Но в конце концов она и Клей были скорее союзники, чем любовники, причем она нисколько не уступала ему в честолюбии.

Столовая начала наполняться людьми, жаждавшими послушать Гарольда. Питер предоставил Гарольда его слушателям и вышел в вестибюль — как раз прибыла новая группа гостей. Не увидев среди них Дианы, он направился в гостиную. В эту минуту из библиотеки вышел Блэз. Словно по уговору, отец и сын решили не подавать друг другу руки. Вместо этого Питер указал на огромную яркую кляксу — картину, висевшую на стене напротив.

— Теперь тут большие перемены!

— Это чудовищно! — Хотя Блэз и состоял в политическом союзе с миссис Огден Уотресс, он вовсе не собирался брать в придачу все ее причуды.— Слава богу, Фредерика ничего этого не видит.

— Как Клей? Он там? — Питер указал на дверь библиотеки.

— Да.— Отец, казалось, был чем-то обеспокоен.— Мы смотрели его выступление по телевидению. Ты видел, что Айрин сделала с комнатой для игры в карты? Музей орудий пытки.

Догадавшись, что отец не хочет, чтобы он шел в библиотеку, Питер сказал:

— Я уже несколько месяцев не видел Клея. Полагаю, что мне следовало бы повидаться с ним.— И он предоставил Блэза его обычной клиентуре, которая уже начала стекаться к нему.

Клей сидел у телевизора. Рядом с ним сидел Иниэс Дункан. Иниэс сказал:

— Я уже с утра в городе. Собирался позвонить тебе попозже.

Питер ответил, что все в порядке, не понимая, что может делать Иниэс в стане врага.

Питер поздоровался с Клеем, и тот ответил ему мальчишеской улыбкой, никак не вязавшейся с серьезным лицом сенатора Клея Овербэри, смотревшим на них с экрана телевизора. Программа подходила к концу, уже перечислялись ее участники. В сером неверном свете на экране Клей казался зрелым и преисполненным чувства ответственности — совсем не таким, каким он был теперь, словно ему на все наплевать.

— Я там раза два чуть не сыпанулся,— сказал он, указывая на телевизор.— Им очень хотелось меня угробить. Вот бы ты порадовался! — За последнее время в манере Клея появилось нечто подкупающе новое: со своими заклятыми врагами он обращался с той же доверительной непринужденностью, что и с союзниками.

— Они не раскололи тебя на Маккарти? — спросил Питер так же непринужденно.— Ты поддержишь вотум недоверия?

— А меня нечего было и раскалывать. Я сказал, что я за порицание. Нет, они хотели поймать меня на другом...

Питер не преминул отметить изменение формулировки.

— Так ты за порицание, а не за вотум недоверия?

— Это одно и то же.— Различие между двумя словами, казалось, мало занимало Клея.

— Нет, не одно и то же. Как по-твоему, Иниэс?

— Мм... нет, конечно.— Иниэс мог как угодно вилять мыслью в своих рассуждениях, но когда дело касалось фактов, он был предельно точен.— Порицание в сенате — это нечто гораздо более мягкое, чем недоверие. В данном случае это уловка, дающая всем возможность выпутаться из затруднительного положения.

— А Клею хочется выпутаться.

Но Клей, казалось, не слышал. Он задумчиво глядел на свое изображение в телевизоре.

— Эти прожекторы — чистое убийство,— наконец сказал он.— Смотрите, как они подсвечивают меня снизу. Создается впечатление, будто у меня двойной подбородок!

— Наверно, какой-нибудь кинооператор из либералов.— Питер заметил, что на том месте, где раньше висел портрет Аарона Бэрра, теперь тщательно наклеены вырезки из старых газет.

— Нет,— вдруг сказал Клей, выключая телевизор.— Мне ничто не грозит. Маккарти конец.— Он похлопал по телевизору.— И доконала его вот эта штука. Он плохо выходит на экране. Мне жаль его.

— Но все-таки ты за порицание, хотя бы в сенате?

— Конечно, конечно. Я вместе со всеми попляшу на его могиле.— Клей потерял всякий интерес к этой теме. Не в его натуре было тратить попусту время на теоретизирование или анализ того, что уже потеряло для него всякий смысл.— Я пишу книгу,— сказал он.

В этот самый момент Питер сел на некое подобие скамьи, в действительности оказавшееся лакированным чайным столиком китайской работы, под тяжестью Питера столик треснул и рассыпался на куски.

Клей рассмеялся. Иниэс встревоженно улыбнулся. Питер остался сидеть на полу среди обломков стола. Он с достоинством скрестил ноги и спросил, какова тема книги.

— Американская мысль, что же еще? Но с маленькой буквы. Может, ты выбросишь обломки в камин? Никто этого не заметит.— Происшествие насмешило Клея, но Питер предпочел игнорировать его.

— Ну и какие же у тебя мысли об американской мысли? — Со своего места на полу Питер производил впечатление очень рассудительного человека.

— Надеюсь, в книге будет все ясно.

— Что именно?

— Кто мы такие, по моему мнению, и какими нам следует быть.

— Так кто же мы такие?

— Прежде всего, наилучшая альтернатива коммунизму,— живо ответил Клей.

— Ну, тут тебе Иниэс все растолкует. А какими нам следует быть?

— Хорошими.

— Вот оно что! — фыркнул Питер.— Ведь это легко, не так ли? Во всяком случае, на словах.

— Это вовсе не легко,— обеспокоенно проговорил Иниэс.— В сущности говоря, это труднее всего поддается определению.

— Для нас — нелегко, согласен, но для Клея быть хорошим — значит сдерживать коммунизм, не допускать превышения расходов над доходами...

— Мне кажется, его амбиции идут дальше.

Сообразив наконец, что к чему, Питер даже не пытался скрыть изумление.

— Иниэс! Ты собираешься писать книгу за него?

— Я обещал помочь. Ну, знаешь, мыслишку здесь, мыслишку там.— Иниэс чувствовал себя неловко, однако не думал извиняться.

— *Но какую именно* из твоих мыслишек? Необходимость отойти от двухпартийной системы, сходство между оргазмом и атомной бомбой, телереклама как главная причина рака? — Отступничество Иниэса не только изумило, но и странным образом развеселило его. Он повернулся к Клею:— Иниэс набит идеями. Придется выбирать с осторожностью.

— Постараюсь.— Клей чувствовал себя как нельзя более непринужденно.— Я не собираюсь забираться слишком глубоко...

— Ну, естественно.— Питер посмотрел на встревоженного Иниэса и спросил:— Ну а ты, Иниэс, почему ты хочешь забраться так глубоко?

— Я смотрю на это дело иначе. В конце концов, я буду просто помогать.— Но Питер видел, что Иниэс страдает, что в нем идет ожесточенная внутренняя борьба.

— Он парень что надо,— сказал Клей.— И в философском плане мы не так далеки друг от друга, как можно подумать.

— Король-философ! — Питер медленно поднялся на ноги.— Вы меня поражаете. Оба.

— Спасибо.— Клей тоже встал. Он улыбнулся. Он был обаятелен, как никогда.— Не печалься, Питер. Все будет хорошо.

— Для тебя или для страны?

— А это одно и то же. Разве я тебе не говорил? — Клей произнес это так, словно хотел поддразнить его, но Питер знал, что он говорит совершенно серьезно.

— Нет, это не одно и то же.

— А кто может сказать? — Клей попытался обойти Питера, но тот намеренно закрыл собою проход, не желая упускать добычу.

— Я могу, в числе прочих.

— Ну так скажи! Объясни всем, что во мне не так. А что, в самом деле? — Клей не переставал обаятельно улыбаться.

— Я уже писал об этом,— ответил Питер.— По-моему, я сказал все.

— Но тебе никто не поверил.

— Но, несмотря на это, правда осталась правдой. Грубо говоря, ты не то, чем ты кажешься. Разумеется, и с большинством людей обстоит так же, но между тем, что ты есть на самом деле, и тем, чем ты кажешься,— на миллион долларов рекламы. Она старается внушить нам, будто ты герой войны,— а ты не герой; будто ты серьезный, думающий сенатор,— а ты не таков; будто тобою руководят лучшие побуждения,— а ты...

— А откуда ты знаешь, кто я и что я? — Голос Клея прозвучал резко, а лицо его было теперь таким же серым, как и то, что за минуту до этого глядело на них с экрана телевизора.

— Я знаю, что ты сделал и чего ты не сделал. В политике ты играешь в шахматы. Если опрос общественного мнения обнаруживает сдвиг влево, ты сдвигаешься влево. Счетно-вычислительная машина может предсказать твою позицию по любому вопросу.— Питер повернулся к Иниэсу: — Ты совершенно правильно разгадал его. Он занимается политикой в вакууме. В нем ничего нет, кроме желания быть первым.

Клей отступил от Питера и придвинулся к Иниэсу, словно ища в нем союзника, но затем вдруг остановился, поняв, что это может быть расценено как отступление. Он повернулся к Питеру и сказал:

— Ты завидуешь мне потому, что твой отец больше заинтересован в моей карьере, чем в твоей...

Выпад был настолько неожиданный, что Питер рассмеялся.

— Нет! Придумай что-нибудь получше.

— Ты ревнуешь меня,— упорствовал Клей.— К Инид.

Питер подумал, что, быть может, он недооценил Клея. Он знал, что наглости у его врага хоть отбавляй, но считал его по натуре не способным сказать правду.

— Я не уверен,— продолжал он,— что ревность — это то слово. Но я не отрицаю, что никогда не прощу ни тебе, ни отцу ее убийства.— Глазом врача-клинициста Питер увидел, что лицо Клея стало как маска.

Но вот Клей заговорил совершенно бесцветным голосом:

— Я делал то, что считал для нее наилучшим. Она была алкоголичкой, и мне сказали, что она неизлечима. Возможно, мы были неправы, поместив ее в лечебницу. Я не знаю. Но я любил ее, хотя, возможно, не так страстно, как ты.

Питер сжался, приготовившись к удару, который — он это знал — должен незамедлительно последовать.

Клей был решительно настроен идти до победного конца.

— Она рассказала мне, что случилось. Она все мне рассказала. Вот почему она всегда трепетала перед тобой. Из-за того, что произошло между вами в тот день, в этом доме, в подвале, в кладовой.

В наступившей тишине часы пробили один раз. Клей подобрал с полу обломки чайного столика и положил их на стол.

— Я скажу Айрин, что кто-то сломал столик. Наверно, его можно реставрировать.— Он направился к двери и задержался на пороге: — У Инид не было секретов. Но ведь она любила и врать...— Клей не договорил и вышел из комнаты.

— Ну что ж,— сказал Питер Иниэсу,— герой нашел своего автора.

— Дело обстоит вовсе не так.— Иниэс был потрясен услышанным не меньше, а пожалуй, даже больше, чем Питер. Оказывается, между средним классом, к которому он принадлежал, и классом, которому он нередко завидовал, существует гораздо более глубокое различие, чем он предполагал: греховные мечтания одного обертывались действительными поступками другого.

— Желаю тебе удачи,— сказал Питер и пошел к выходу, но Иниэс схватил его за руку, словно ища у него поддержки.

— Нет, я правда помогу ему, но это совсем не то, что ты думаешь.

— А я разве сказал тебе, что я думаю? — Голос Питера звучал очень вежливо.— Но объясни мне, почему ты помогаешь ему?

— Прежде всего, я думаю, что он станет президентом.— Иниэс проявил не свойственную ему прямоту.

— Это безусловно возможно, и как раз поэтому мы... я должен приложить усилия к тому, чтобы он потерпел поражение.

— Ты не веришь, что люди меняются, растут? — Иниэс перепевал журнальные статьи, согласно которым за последние годы Клей «вырос» и «пошел вглубь», и теперь уже все, кроме безнадежно предубежденных против него из партийных соображений, признавали, что он «поднялся на новую ступень зрелости».

— Разумеется, люди меняются: они меняют свою тактику. Клей привлек на свою сторону консерваторов. Теперь ему понадобился ты. Все это ясно как божий день.

— Положим, ты прав. Тогда из соображений чистого практицизма, не следует ли встать в его ряды, попытаться воздействовать на него?

К чему вели эти логические ухищрения Иниэса, слишком легко было предсказать, и Питер оборвал его:

— Не будь ребенком.— Этим он оставлял позади своего прежнего учителя.— Он использует тебя. Но ты никогда не сможешь его использовать.

— Ты несправедлив,— упорствовал Иниэс.— Мне кажется, в нем есть нечто большее.

— Ладно, напиши для него книгу, тогда посмотрим.— Питер направился к двери, даже не поинтересовавшись, как, когда и по чьей инициативе родился этот замечательный союз.

Но Иниэс от него не отставал. Он жаждал утешения.

— Если б Клей был способен осуществить все, что, по-твоему, следует сделать, ты бы все равно был против него?

— Он не способен на это. Он будет продолжать в прежнем духе, будет делать лишь такие ходы, которые напрашиваются сами собой. Но если б он вдруг изменился к лучшему, я и тогда бы был против него.

— Почему? Из-за... этой...— Но за десять лет фрейдистского психоанализа Иниэс привык выражаться лишь символически.

— Тебе известны причины. В конце концов, ты сам же изложил мне половину из них. Клея интересует только его собственное «я» — очень неважное «я», в особенности если дело обернется скверно для нас.

— А кто лучше? Разве не все они на один манер?

Неожиданный пессимизм Иниэса рассмешил Питера.

— Ты совсем вошел в мою роль. Ведь это мое амплуа — думать, что все лишь игра и независимо от того, кому достанется главный трофей, жизнь будет идти своим чередом. Но ты-то можешь и обладать нравственным чувством, и видеть в истории цель, и хотеть коренных перемен...

— Но я и остался таким. Я не изменился. Я только...

— Ты изменился, раз полагаешь, что Клей — это то, что тебе нужно.

— Мне кажется, его можно воспитать,— гнул свое Иниэс.— Тот факт, что он обратился ко мне, доказывает...

— ...что он не дурак.— Теперь Питеру было все ясно: несмотря на явные угрызения совести, уже начинавшийся процесс самооправдания очень скоро закончится в пользу Клея. Власть оказалась неотразимой даже для этого некогда неподкупного грамотея.— Знаешь, как это ни ужасно, по характеру я в некотором смысле больше похож на Клея, чем на тебя,— признался Питер, это было его последнее завещание их старой дружбе.— Я был приучен уважать дела, а не теории, победы, а не добродетели. Политика, на мой взгляд,— сплошная импровизация. А ты видишь в ней ряд важных документов, излагающих ту или иную точку зрения и отражающих некий широкий исторический процесс. В конечном счете ты, возможно, и прав. Но сейчас все трофеи достаются ловким пустышкам вроде Клея, и пусть даже я могу быть несправедливым к ним, я обладаю их кругозором, чего у тебя никогда не будет.

— Но он не такой уж пустой. И уж конечно гораздо более либеральный, чем ты склонен допустить. С помощью людей вроде нас...

— О господи! Иниэс, ты дурак! — сам того не желая, взорвался Питер: как-никак он во многом походил на своего магната-отца и, подобно ему, был преисполнен страсти навязывать свою волю другим. Но если его отец избрал освященный обычаем путь к знакомым вершинам, Питер пытался докопаться до сути вещей в надежде определить источник своего разлада с миром, слишком усердно старавшимся обмануть его и дать ему все, чего он только мог пожелать. Но он знал, что по-настоящему хочет лишь одного — познать добро, и поскольку абсолюты были для него неприемлемы, ему оставалось лишь сопротивляться тому, что, на его взгляд, было дурным от начала до конца; он сознавал, что в тот момент, когда он перестанет говорить «нет», он, как Иниэс, опустится до уровня Клея, для которого все сводилось к одному: подействует или не подействует, поднимусь я или упаду? Ослепленный перспективой реальной власти, Иниэс теперь был всецело поглощен Клеем, и Питера

это огорчило, но не удивило: быть человеком — значит быть предсказуемым в своих поступках. Ему оставалось только извиниться.— Прости меня,— сказал он.— Я не хотел на тебя кричать.

— Я понимаю.— Иниэса всего трясло.— Разумеется, ты в таком нервном напряжении после того, что было сказано...

— Я всегда в напряжении.— Питер улыбнулся.— Желаю удачи.

— Я переезжаю в Вашингтон.— Иниэс выглядел особенно несчастным при всех своих блестящих видах на будущее.— Он хочет, чтобы я все время был здесь.

— Ну, значит, мы с тобой чаще будем встречаться,— сказал Питер, кладя этим конец их дружбе.— Он открыл дверь в вестибюль.— Во всяком случае, ты испытаешь все на *деле,* чем бы это ни кончилось.

II

На другом конце комнаты под современным гобеленом стояла девушка, которой он раньше никогда не видел. Высокая, стройная, яркая блондинка с веснушками. Вот что ему сейчас больше всего нужно, подумал Клей, с отчаянием сознавая, что у него почти нет шансов приблизиться к ней, так как их разделяла комната, полная людей, жаждавших поговорить с ним, увидеть его, дотронуться до него; разделявшее их пространство казалось ему дорогой с препятствиями, на которой кто-то весьма ловко расставил мины и разбросал мотки колючей проволоки. Но он все же попытается пройти этот полный опасностей путь, так как девушка того стоила. Она еще ни разу не взглянула в его сторону.

— Блэз сказал, что вы были неподражаемы по телевидению! — Клей знал, что восхищение Айрин вполне искренне. В равной степени она была очарована сенатором Тафтом, губернатором Стивенсоном, генералом Макартуром и конечно президентом, которого она на одном из последних приемов прижала в угол и настаивала, чтобы он говорил с ней по-французски — разве не он своими руками освободил эту doux vert pays *, Францию? Но с тех пор как Айрин превратилась в миссис Уотресс, она намеревалась приберечь свои самые изысканные гиперболы для мужа своей племянницы, будущей Первой леди страны.

Клей согласился, что он, видимо, неплохо выглядел по телевидению.

— Ну, конечно! Вы всегда прекрасно выглядите на экране, потому что вы личность complete **! Вот в чем секрет успеха, любого успеха! — Айрин оглядела комнату, которую она обставила, и людей, которыми она ее заполнила.— Нужно быть смелым. Но в то же время нужно быть dans le vrai ***.

К ним подошла Милисент Смит-Кархарт, ведя на буксире Люси Шэттак.

— Говорят, что вы собираетесь проголосовать за резолюцию, осуждающую это чудовище? — Миссис Кархарт тяжело висела на Люси.

— Я намерен это сделать.— Клей улыбнулся ей самой чарующей из своих улыбок, но ее глаза, затуманенные катарактами, этого не заметили.

— Я так рада. Все-таки он зашел слишком далеко, и мы не можем этого допустить.— У Милисент был угрюмый вид.— И без того в наши дни все еле держится. Знаете, когда я в последний раз говорила с милым Бэрденом Дэем, он сказал, что намерен выразить вотум недоверия сенатору Маккарти, и *я* ему возражала. Никогда еще я так не заблуждалась.

---

* Нежно-зеленую страну *(франц.).*

** Цельная *(франц.).*

*** Правым *(франц.).*

— Возможно, тогда это было преждевременно,— сказал Клей, наблюдая за девушкой; она разговаривала теперь с молодым человеком, которого он не знал. Надо каким-то образом приблизиться к ней, пока ее не похитил этот незнакомец. Милисент по-прежнему говорила о Бэрдене Дэе, но Клей отнюдь не чувствовал себя неловко. Что прошло, то прошло, он никогда не оглядывался назад. Однако в тот день он был не только расстроен смертью Бэрдена, но и взбешен поступком Гарольда, который явился ее причиной. Ведь Гарольд знал о его сделке с Бэрденом, и просто преданность, не говоря уж о здравом смысле, должна была заставить его молчать. Но Блэз всегда говорил, что Гарольд — порочный тип и его надо или принимать таким, какой он есть, или не принимать вовсе. Во всяком случае, смерть Бэрдена была ударом для Клея, он искренне любил этого человека, с которым провел большую часть своей юности. И даже в самые последние дни жизни сенатора Клей продолжал восторгаться сенатором и был уверен, что старик испытывает к нему те же чувства; в конце концов, Бэрден Дэй пережил столько политических бурь и должен был понимать, что, когда приходит пора уйти, когда проиграна последняя битва, не остается ничего другого, как возможно более достойно уступить дорогу. Разве сам он не доказал, взяв деньги у Нилсона, что был отменно практичен и прекрасно понимал мир, в котором жил?

Клей попытался отделаться от дам. Он сказал, что ему надо переговорить с Гарольдом Гриффитсом. Но Милисент не отпускала его.

— Расскажите нам сначала о президенте. Как *он* относится к сенатору Маккарти?

— Президент — республиканец,— сказал Клей.— Он не поверяет мне своих мыслей. Да я фактически едва с ним знаком.

— Это немыслимо! — Милисент была поражена.— Но так или иначе, президент должен быть доволен случившимся. Он так похож на моего дядюшку, такой же ласковый и *добрый*.

— Ну, конечно! — сказал Клей, который был абсолютно убежден, что Эйзенхауэр отнюдь не ласковый и не добрый. Во время их последней встречи президент называл его просто Овербэри, как будто Клей был младшим офицером его штаба, а не членом сената, вес которого, согласно конституции, ничуть не уступает весу первого консула.

Наконец Клею удалось отделаться от дам, и он пробрался к Гарольду, который находился в центре комнаты, по пути он обменивался любезностями со множеством незнакомых ему людей, которые считали, что он их знает, раз они сами видели его на телевизионном экране. В тот момент, когда он подошел к Гарольду, девушка и ее молодой спутник скрылись в комнате для карточной игры.

— Кто она такая? — спросил Клей, понижая голос и глядя на дверь, в которую только что вошла девушка.— Та высокая, с веснушками.

— Кузина Огдена Уотресса... а также твоей жены,— мстительно добавил Гарольд.— Она приехала на уик-энд. Помолвлена с кем-то из Нью-Йорка.

— Благодарю за информацию,— сухо сказал Клей. Тот факт, что девушка приходилась родственницей Элизабет, несколько усложнял дело,— больше для девушки, чем для него, ибо секс он воспринимал просто как чувство голода, хотя знал, что это не совсем так. Ему все время нужны были новые и новые победы, его влекли не только победы над женщинами, но косвенным образом и над мужчинами, которые их желали. Его уже разжигала мысль о том, что девушка помолвлена «с кем-то из Нью-Йорка», и, победив ее, он победит этого загадочного «кого-то из Нью-Йорка», не говоря уже о молодом человеке, с которым она вошла в комнату для карточной игры.

Клей просто стремился побеждать. И хотя всегда была опасность

скандала, он не собирался меняться, несмотря на завуалированные предупреждения Блэза.

— Как прошла твоя встреча с Иниэсом? — спросил Гарольд.

— Он на нашей стороне.— Молодой человек, сопровождавший кузину Уотрессов, вернулся из карточной комнаты один. Это вселяло надежду.

— Невероятно! — Гарольд был искренне поражен, и Клей подумал, не видит ли Гарольд в Иниэсе возможного конкурента.— Если ты прибрал к рукам Иниэса Дункана, ты сможешь это сделать с кем угодно!

— Прибрать к рукам? Не знаю, что это значит.— Клей был рад, что девушка осталась одна.

— Питер будет вне себя от бешенства.

Клей нахмурился: напоминание о Питере испортило все предвкушение встречи с девушкой.

— Он знает все, кроме того, что Иниэс сам пришел к нам.

— Что ж, понемногу все от него разбегаются.— Гарольд предсказывал скорый конец «Американской мысли», но когда он говорил, Клей думал только о Питере и Инид, занимавшихся любовью. Он не поверил Инид, когда однажды, пьяная, она выболтала ему всю эту историю.

Это выглядело как экстравагантная ложь, которая доставляла ей особое удовольствие — вроде обвинения его и Блэза в любовной связи. Он совсем забыл об этой истории и, лишь столкнувшись с открытой враждебностью Питера, импульсивно, безотчетно вспомнил о ней, увидев по выражению лица Питера, что на сей раз Инид сказала ужасную правду. Но он не желал задумываться о том, что все это значило: это была победа Питера, победа, слишком унизительная для Клея, чтобы над нею размышлять.

Гарольд рассказывал о своей встрече с Эдлаем Стивенсоном, который весьма благосклонно подумывал о Клее как о кандидате в вице-президенты, однако губернатор не давал никаких обещаний, так как сам не был уверен во вторичном выдвижении своей кандидатуры в президенты. Клей и Гарольд обменялись мнениями о номинальном лидере своей партии. Гарольд находил его привлекательным, Клей — нет. Слишком уж он бесстрастен. Клею особенно претила его манера вечно морализировать: создавалось впечатление, будто он действительно думает то, что говорит, а это, по мнению Клея, недопустимо для политического деятеля. Но был он лицемером или нет, никто не мог отрицать его воздействия на молодежь. В то время как банальность Эйзенхауэра успокаивала большинство людей среднего возраста, риторика Стивенсона будоражила тех, кто по справедливости должен был бы восхищаться Клеем. Но время на стороне Клея. Он мог позволить себе не торопиться ни с чем, кроме этой девушки в карточной комнате.

Клей оставил Гарольда, быстро подошел к двери в карточную комнату и, пораженный, остановился: она была заполнена до краев картинами и скульптурами, как картинная галерея, и гости задумчиво бродили, словно спрашивая, не выставлено ли это на продажу.

Она стояла совершенно одна перед приземистой фигурой из камня, очевидно, поглощенная ею. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, Клей подошел к девушке (найдется ли такой мужчина, который не желал ее?) и сказал:

— Хэлло!

III

Блэз стоял один в конце комнаты и смотрел через замерзшее окно на свои прежние владения.

— Она, наверно, выстроит китайскую пагоду или японский чайный домик,— сказал Питер, подходя к отцу. На какое-то мгновение между

ними установилось согласие. Блэз порицал все, что сделала Айрин, но затем вдруг напомнил себе, что «об этом надо забыть».

— Разумно.— Питер нарисовал крест на замерзшем окне.— Я только что говорил с Иниэсом.

— Да, он согласился помогать нам. *Мне* кажется, что это хорошая мысль,— прямо сказал он.

— Безусловно, для тебя и для Клея.— Питер был мрачен.— И, конечно, печальная для меня.

— Да.— Но Блэз не хотел больше говорить об этом.— Айрин тоже оказалась в трудном положении.

— Из-за того, что она связана не только со мной, но и с Клеем?

Блэз кивнул.

— Ты, случайно, не собираешься ей помочь выбраться из него? — Питер хотел знать, как далеко готов пойти отец ради Клея.

— Нет. Я никогда не даю советов, пока меня об этом не просят.

— Но если она попросит?

— Клей должен стать президентом.— Блэз был удивительно спокоен: редкое для него состояние.

— Как видно, он совсем завоевал тебя, а? — Питер тоже был удивительно хладнокровен.— Да, Инид была права.

Блэз стер крест, нарисованный на стекле Питером, словно хотел зачеркнуть его последние слова.

— Инид...— начал он.

— Не знаю, насколько она была права, да и не хочу этого знать. Но с Клеем ты зашел слишком далеко.

Не без удовольствия Питер увидел на лице отца знакомые ему признаки гнева, но он обрезал отца, прежде чем тот заговорил.

— То, что я написал, думают все, только боятся это сказать.

— Тогда я советую и тебе научиться бояться.— Лицо отца наливалось краской.

— Ты опоздал,— холодно сказал Питер.

— Ты так... *тщеславен!* — Блэз произнес это слово во всю силу своего голоса, и гости, вошедшие в комнату, зашептались.

— Всегда приходится платить какую-то цену за право остаться в живых.— Питера радовало, что отец выходит из себя.— Но ведь тщеславием страдаем мы оба.

Но Блэз приготовил ему сюрприз. Он продолжал развивать свою мысль:

— Ты думаешь, что понимаешь все, и поэтому принял сторону Инид, так и не зная что *она* сделала.— Питер был поражен. Блэз, привыкший, чтобы его заявления о любви и нелюбви принимались как закон, не имел привычки вдаваться в объяснения.

— Что же она такое сделала, что мне надо принять во внимание?

— Это она расстроила их семейную жизнь. Изменила она, а не Клей. Он поймал ее и ради нее, ради семьи, принял все на себя.

— Может быть, и так. Может быть, он хотел ее защитить, и это было совсем не глупо, ведь это был скорейший способ завоевать тебя, жест, который ты бы оценил, что ты и сделал. Но если и так, он все равно виновен в том, что упрятал ее, и в результате ее теперь нет.

— Это я ее упрятал. И я за это отвечаю.— Блэз с особой силой сделал ударения на местоимениях.

Питер уважал отца за неспособность притворяться, и на эту высказанную отцом правду ответил именно то, что заслужил Блэз:

— Тогда, выходит, Инид была права. Ты влюблен в Клея. И сошел с ума.— Прежде чем Блэз смог что-нибудь сказать, Питер распахнул дверь на террасу. Холодный воздух остудил их обоих.— Дело не в том,

что это постыдно. Все дело в Клее. Он этого не достоин. Но это уже не мое дело.— Питер вышел и захлопнул за собой дверь.

Он стоял на террасе и глубоко дышал, словно хотел навсегда очистить свои легкие от воздуха, который он вдыхал в Лавровом доме. Не чувствуя холода, просветленный от переизбытка кислорода, он пересек лужайку. Замерзшая трава поскрипывала под его тяжелыми шагами, когда он проходил мимо мраморной Венеры и гипсового Пана, последних реликвий царствования Фредерики.

Питер подошел к краю бассейна, в котором плавало бревно, защищающее цемент при замерзании воды. На мгновение выглянуло солнце, и его бледные лучи несколько согрели Питера, но солнце тотчас скрылось в облаках; скоро пойдет снег. Он подошел к купальне и подергал дверь в мужскую раздевалку, но она была заперта. В дальнем конце лужайки, под террасой он остановился, посмотрел вниз на полузамерзшую реку и подумал о Джеймсе Бэрдене Дэе.

Диана не вспоминала об отце в разговорах с Питером, за исключением одного случая, когда они пытались определить, сколько стоило Блэзу избрание Клея в сенат. Они сошлись на двух миллионах долларов. Порицая не только экстравагантность своего отца, но и систему, при которой это стало необходимым, Питер осуждал и то, и другое, пока Диана не сказала:

— Все делают это. Почему Клей и твой отец должны быть исключением? Он именно то, что нужно в наше время.

— Тогда мы должны сделать так, чтобы победа не досталась ему легко,— сказал Питер то, чего он не мог не сказать.

Диана с ним согласилась. Чем больше они узнавали друг друга, тем ближе они становились, и Питер был уверен в том, что уже почти настал момент, когда он сможет сделать шаг, которого она ждала и к которому он всегда стремился, потому что он знал, что ее ненависть к Клею перестала быть довольно распространенной маской любви. Теперь он был уверен в ней, если вообще в чем-либо можно быть уверенным, и хотя вначале он отдавал ей больше, чем она ему, так как она утаивала от него какую-то частицу себя, ее чувства наконец уравновесились с его чувствами. Наконец она стала не только тем, чего он хотел, но и тем, что ему было нужно, потому что только она понимала те внезапные приступы отвращения к себе подобным, которые регулярно повергали его в отчаяние, и хотя она разделяла и это его чувство, она никогда не переставала считать, что нужно продолжать говорить и делать то, что должно быть сказано и сделано. Он любил эту ее настойчивость, и, когда был с ней, забывал надолго то, что думал о роде человеческом: что поколения людей приходят и уходят, и с точки зрения вечности они не более чем бактерии на предметном стекле микроскопа, и падение республики или рождение империи — хотя они и важны для тех, кого это непосредственно касается,— невозможно разглядеть на этом стекле, даже если чей-то глубоко заинтересованный взгляд попытается проникнуть в суть этих упорно плодящихся созданий, которые или погибнут в назначенный час, или, если им повезет, станут чем-то иным, ибо способность изменяться — это основа жизни и ее надежда.

О ТОМ, КАК ГОСПОДИН МОКИНПОТТ ОТ СВОИХ ЗЛОСЧАСТИЙ ИЗБАВИЛСЯ

Представление в одиннадцати картинах

Перевод с немецкого ЛЬВА ГИНЗБУРГА

ЛИЦА:

Мокинпотт.
Вурст.
Жена.
Тюремщик, Любовник — один и тот же актер.
Начальник тюрьмы, Хозяин — один и тот же актер.
Адвокат, Врач, Господь бог — один и тот же актер.
Служащий, Лакей — один и тот же актер.
Два Ангела.
Две медицинские Сестры.
Три правительственные Персоны.

Картина 1

В ТЮРЬМЕ

Нары. Дверь с огромным глазком. На нарах — Мокинпотт. Одеяло натянуто до подбородка. У него острый, красный нос. Борода лежит на одеяле. За дверью — треск. Мокинпотт вскакивает. В дверное отверстие заглядывает неестественно большой глаз. Мокинпотт снова ложится. Сразу же раздается щелканье ключа в замке. Входит Тюремщик и запирает за собой дверь. Тюремщик — рослый мужчина с окладистой бородой. В руках у него жестяная миска.

ТЮРЕМЩИК *(добродушно).*

А ну, давай вставай, дружище!
Сейчас начнем раздачу пищи.
Держи-ка миску, Мокинпотт!

(Плюет ему в миску.)

Баланда, правда,— не компот,
но все ж неплох горячий супчик...
Смотрите: дрыхнет!.. Ну и субчик!

(Сердито.)

Эй, хватит спать! Вставай! Подъем!
Спать надо ночью, а не днем.

Смущенный Мокинпотт вылезает из-под одеяла. На нем рубаха и просторные штаны. На одной ноге — зеленый носок, босая нога окована прикрепленной к полу цепью.

МОКИНПОТТ.

Какой сегодня день?

ТЮРЕМЩИК.

Среда.

МОКИНПОТТ.

О, дней тюремных череда!
Но твердо знаю: в эту среду
Я наконец от вас уеду.

ТЮРЕМЩИК.

Ну, снова начал вздор нести.

МОКИНПОТТ *(аккуратно складывает одеяло).*

За что сижу я взаперти?
И в чем я, собственно, виновен?
Я был всегда со всеми ровен.
Блюдя достоинство и честь,
не лез во что не стоит лезть.
Во избежание скандалов
держался нужных идеалов.
Так объясните: почему
меня упрятали в тюрьму?
Где справедливость? Где законность?
Ей-богу, я, наверно, тронусь.
Как пережить такой позор?!

ТЮРЕМЩИК.

Заткнул бы лучше глотку, вор!
Пойми, безмозглая скотина:

мы не сажаем беспричинно.
В тюрьму, по правде говоря,
еще никто не сел зазря.
Нашелся б только матерьялец —
всегда найдется постоялец.

Мокинпотт делает несколько шагов, забывая о цепи, но цепь крепко держит его за ногу. Мокинпотт падает. Сидя на полу, ощупывает язык, прикушенный при падении.

МОКИНПОТТ.

Сейчас среда... Вчера был вторник...
А я по-прежнему — затворник.
Нет, нет! Так дальше не пойдет!

ТЮРЕМЩИК *(ставит суп на нары, поворачивается к двери).*

Поосторожней, Мокинпотт!
За оскорбление острога
закон наказывает строго.
Сиди спокойно, коли сел.
Иль снова палки захотел?!

МОКИНПОТТ *(встает и отступает назад, волоча за собой цепь).*

Но в чем вина моя, скажите?!
Я чтил законы общежитья,
налоги вовремя платил...
читал газеты... кофе пил...
ни разу в рот не брал спиртного...
не сделал ничего дурного...
не отклонялся ни на шаг
от...

ТЮРЕМЩИК *(отворяя дверь).*

Может, это все и так,
но мы-то сведенья имеем,
что был ты вором и злодеем
и, притворяясь дураком,
бродил по улицам тайком.
Мошенник ты — видать по роже.

Мокинпотт бросается вперед, чтобы задержать Тюремщика. Он снова забывает про цепь, спотыкается, хватает Тюремщика за рукав, чуть не падает и поэтому еще крепче вцепляется в Тюремщика. Тот грубо отталкивает его.

МОКИНПОТТ.

Да нет же, нет же! Правый боже!
Вам подтвердит моя жена
(Ах, что с ней, бедной? Где она?),
что стал я жертвою доноса.
Я не высовывал и носа
на улицу по вечерам.
На что мне этот тарарам?
Куда милей в родимом доме
сидеть, подметки экономя!
Вам подтвердит любой сосед:
я по природе — домосед!..
О, дорогой и добрый стражник!
При мне имеется бумажник.
Я наградить вас буду рад:
мне крайне нужен адвокат.
За приглашенье адвоката
я подарю вам два дуката.

ТЮРЕМЩИК.

Что? Два дуката?! Пять давай!

МОКИНПОТТ.

Побойтесь бога! Ай-ай-ай!
Три!

ТЮРЕМЩИК.

Ладно, черт с тобой. Четыре.

МОКИНПОТТ.

Я всех несчастней в этом мире.
Четыре! Господи! За что?..

ТЮРЕМЩИК *(из-за двери).*

Всё... Пять дукатов. А не то...

МОКИНПОТТ *(причитая).*

Ах, пять дукатов, пять дукатов,
те, что, на черный день припрятав,
я как сокровище хранил...

Тюремщик быстро возвращается. Протягивает Мокинпотту какую-то бумажку и карандаш. Мокинпотт со стоном подписывает.

ТЮРЕМЩИК *(шепотом).*

Поговоришь с ним с глазу на глаз.

(Кричит в коридор.)

Господин адвокат, прошу сюда!

Мгновенно появляется Адвокат. Он одет изысканно, в мантии. Говорит гнусавым голосом, прижимая указательный палец к носу. Тюремщик выходит, закрывая за собой дверь.

АДВОКАТ.

Ага, ага... Да, да... Да, да...
Так, так... Понятно... Безусловно
вы абсолютно не виновны.
Ага, ага... Так... так... Прекрасно...
Вы арестованы напрасно...
Ага, ага... Еще один
сидит без видимых причин.
Власть передавши таким прокурорам,
мы сами себя покрываем позором.
Ну и порядочки в нашей стране!
Можете, впрочем, довериться мне.
За вас готов я в огонь и в воду,
лишь бы вам возвратить свободу.
Полсотни дукатов — и весь разговор:
вас оправдательный ждет приговор,
хотя пораскинуть придется умишком...

МОКИНПОТТ *(стонет).*

Полста дукатов? Это слишком!

(Садится на край нар и закрывает лицо руками.)

АДВОКАТ *(поспешно).*

Прибавьте к этому сумму залога:
Сотня дукатов — не так уж много...
Спасать невиновных — мой кровный долг...
Да! Как вас звать, не возьму я в толк.
Господин Редингот?..

МОКИНПОТТ.

Мокинпотт.

АДВОКАТ.

Мокинтош?

МОКИНПОТТ *(поднимает глаза, ломая руки).*

Мокинпотт я!

АДВОКАТ.

Ага... Понимаю... Что ж...
Господин Коверкот, перед нами случай,
признаться честно, весьма вонючий.
Гиблое дело, как говорят.

Вас безусловно приговорят,
если не к виселице, то к расстрелу.
Но я постараюсь уладить дело
и отвести от вас этот удар...
Итак, вы согласны внести гонорар?
Да или нет? Отвечайте быстро!
Я тороплюсь на обед к министру...

МОКИНПОТТ *(выпрямляясь)*.

О, благороднейший из адвокатов!
Откуда взять мне столько дукатов,
когда у меня их всего-то сто:
часть — в кошельке, часть — зашита
в пальто.
Со всем моим имуществом вместе
у меня наберется дукатов двести.

АДВОКАТ *(смилостившись)*.

Бодритесь!.. Оставьте плаксивый тон...
Ну, вот что, господин Ремингтон,
если хотите платить — платите,
а не хотите, то как хотите.

Мокинпотт всхлипывает без слез. Адвокат протягивает ему бумагу и карандаш.

Итак, условились?.. Превосходно!
Теперь считайте, что вы — свободны.

Мокинпотт подписывает. Адвокат водит его рукой. Во время подписания Мокинпотт медленно сползает с нар на пол. Адвокат резко стучит в дверь. Дверь тотчас же отворяется, входит Тюремщик и подмигивает Адвокату. Адвокат поспешно уходит из камеры. Мокинпотт вскакивает, хочет бежать за Адвокатом, цепь удерживает его, он падает.

МОКИНПОТТ.

Господин адвокат, господин адвокат!
Вернитесь-ка на минутку назад!
Ведь мы пока что, по сути дела,
не говорили о сути дела.

АДВОКАТ *(из-за двери)*.

А! Перестаньте! Это — пустяк!
Я ваше дело пойму и так
из полицейского протокола.

МОКИНПОТТ.

Как бы тут не вышло прокола!
Дело примет дурной оборот.

АДВОКАТ.

Спокойствие, господин Антрекот!
Положитесь на меня и на господа бога
и нынче же выйдете из острога.
Мы сделаем все, что в нашей власти.

Тюремщик захлопывает дверь снаружи и запирает ее.

МОКИНПОТТ *(сидя на полу)*.

За что на меня такие напасти?!
Честное слово, понять не могу.
Повсюду, буквально на каждом шагу
меня преследуют неудачи.
Здесь дьявол действует — не иначе.

Появляются два Ангела. У них большие белые крылья из жести. Они хлопают этими крыльями. Мокинпотт вскакивает, в ужасе смотрит на Ангелов.

АНГЕЛЫ.

Аллилуйя! Аллилуйя!
Справедливо негодуя,
этот добрый человек
тяжко страждет весь свой век.
Он свои злосчастья множит
тем, что их почять не может
и дрожит, как воробей,
не поняв своих скорбей.

Мокинпотт падает на колени. Ангелы, хлопая крыльями, исчезают. Грохот ключа в замке. Дверь отворяется. Входят Тюремщик, Адвокат и Начальник тюрьмы. У Тюремщика под мышкой — узелок с платьем. У Начальника тюрьмы — какая-то бумага.

НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ.

Мосье Мокинпотт?! Это вы, уважаемый,
так называемый обвиняемый?!

МОКИНПОТТ *(встав)*.

Так точно, сударь. Но честно скажу,
я сам не знаю, за что сижу.

НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ.

Итак, вы сидите, за что — не знаете,
а целую камеру зря занимаете?!

МОКИНПОТТ.

Так точно, так точно, мосье палач!
Грудь мою раздирает плач.
С женой я не виделся две недели...

НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ.

Он проходимец и в самом деле!
Попав незаслуженно под арест,
он здесь тем не менее пьет и ест!
Скажите, это ли не коварство —
бесплатно жрать за счет государства?!

Мокинпотт слушает, раскрыв рот, но не произносит ни слова.

Итак, любезнейший, вы должны
внести сто дукатов в пользу казны.

Мокинпотт опускается на колени, хочет что-то сказать, но не может найти слов.

АДВОКАТ *(очень быстро)*.

После того, как вышеупомянутый
господин Ундервуд
мне поручил обратиться в суд,
я, выполняя его поручение,
подал соответствующее прошение
и в результате сей апелляции
добился полнейшей реабилитации
означенного господина Мокинблатта,
который, по внесении соответствующей
платы,
приобретает право совершенно
свободно
убираться отсюда куда угодно.

Тюремщик с величайшей расторопностью завязывает Мокинпотту вокруг шеи фиолетовый бант и надевает принесенную куртку, которая слишком для него широка. Потом отводит его к нарам и расковывает ножную цепь. Он ставит рядом с Мокинпоттом два больших черных башмака. Тюремщик вынимает из кармана неправдоподобно большие часы и начинает их заводить: механизм скрипит, потом пружина с грохотом лопается. Тюремщик подносит часы к уху, трясет их, внутри что-то бренчит. Он кладет часы Мокинпотту в карман брюк. Начальник тюрьмы движением фокусника вытягивает у него огромный бумажник, ловко открывает его

и, растопырив пальцы, извлекает оттуда четыре денежных знака, потом размашистым жестом передает одну бумажку Тюремщику, а три остальные изящно кладет в собственный карман. Потом еще раз заглядывает в бумажник, переворачивает его и сует пустой бумажник Мокинпотту. Вот уже в руке у него карандаш и какой-то листок. Мокинпотт подписывает, он водит его рукой, потом поворачивается и направляется к двери. Обескураженный Мокинпотт смотрит ему вслед, потом идет к двери: он забывает про башмаки и волочит одну ногу, как будто она все еще прикована цепью. Начальник тюрьмы и Адвокат поспешно выходят. Мокинпотт хочет бежать за ними, но Тюремщик подставляет ему ножку, и он кубарем вылетает за дверь.

Картина 2

НА ПРИРОДЕ

Мокинпотт поднимается, отряхивает платье. Стоит в одном зеленом носке, осторожно оглядывается по сторонам, потом осторожно размахивает правой рукой, как бы вертя в руках тросточку. Невидимая тросточка совершает несколько оборотов, потом Мокинпотт опирается на нее. С секунду он стоит, опершись на невидимую трость, потом теряет равновесие и удивленно оглядывается.

МОКИНПОТТ.

Боже мой! Я остался без палки:
в тюремной забыл ее раздевалке.

На пустую сцену вылетает тросточка. Мокинпотт поднимает ее, взяв за рукоятку, крутит тем же движением, что и раньше, хочет опереться на нее, но конец у тросточки расщеплен, и она не выдерживает тяжести. Мокинпотт спотыкается, падает, тут же немедленно встает и рассматривает свою тросточку.

В это время появляется Вурст. У него острый животик, на голове — бесформенная шляпа. Вид у него вполне жизнерадостный. Поначалу он даже не замечает Мокинпотта, быстро садится на скрещенные ноги, расстилает большой клетчатый платок и достает завтрак, состоящий из куска хлеба, колбасной горбушки и почти пустой бутылки вина.

(Переводя взгляд с Вурста на тросточку.)

Позвольте представиться: Мокинпотт.
Видите эту тросточку?.. Вот...
Она мне от дяди досталась в наследство и...

ВУРСТ *(разрезая хлеб и колбасу огромным перочинным ножом на крохотные кубики).*

А? Что? От дяди досталось на следствии?!

МОКИНПОТТ.

Теперь ей, бедняжечке, место на свалке...

ВУРСТ *(продолжая жевать).*

А? Что? Вы, бедняжечка, были в свалке?

МОКИНПОТТ.

Я две недели сидел в тюрьме.

ВУРСТ.

Что? Две недели сидели в дерьме?

(С блаженным видом откупоривает бутылку и невиданно изысканным движением пальцев раскладывает кусочки колбасы на кусочки хлеба.)

МОКИНПОТТ *(глядя на свои ноги).*

Куда же мои башмаки девались?
Наверно, тоже в тюрьме остались...

Башмаки вылетают к нему на сцену. Он поднимает их, разглядывает, пытается стоя надеть сперва один, потом другой башмак, теряет равновесие, садится, поднимает правую ногу, чтобы надеть правый башмак, потом вдруг решает сперва надеть левый башмак на левую ногу. Он выставляет вперед левую ногу, но путает башмаки и надевает на левую ногу правый башмак, а на правую — левый.

Во время всей этой сцены Вурст продолжает жевать. Он с таким видом ест хлеб и колбасу, как будто находится на званом обеде, и так подносит к губам бутылку, как будто там драгоценное вино.

(Глядит на жующего Вурста и еще больше запутывается с башмаками.)

Мосье, вы мешаете мне обуться!
Черт бы побрал эти подлые бутсы!
Вообще, очень трудно порой разобраться,
с какой ноги начинать обуваться.
Можно бы с левой начать сперва,
но ведь и у правой — те же права.
Можно бы с правой... Но почему же?
Левая правой ничуть не хуже.
Вот и сижу я, не понимая,
кто из них — первая, кто — вторая...

ВУРСТ *(серьезно).*

А вы посчитайте... Но между тем
мы здесь столкнулись с проблемой проблем.
Если на вещи взглянуть пошире —
главный вопрос в современном мире
в том состоит, с какой ноги
мы начинаем свои шаги.
Многие нынче выходят в дорогу,
хромая на ту или эту ногу.
А захромал — ты уже калека...

(Отпивает глоток из бутылки, рыгает.)

МОКИНПОТТ *(сперва растерянно, потом радостно).*

Ну, наконец я обрел человека,
который мне все разъяснит толково!
Как не хватало мне друга такого!
Видите ли, я попал в переделку...

ВУРСТ.

А? Что? Вас отдали в переделку?

МОКИНПОТТ *(связывая вместе перепутанные шнурки башмаков).*

Недавно, примерно часу в шестом...

ВУРСТ.

А? Что? Ударили вас шестом?

МОКИНПОТТ.

...пошел я в киоск за вечерней газетой.
Вдруг — видимо, сыщик переодетый —
ни за́ что ни про́ что подходит ко мне
и припирает меня к стене,
тычет мне в бороду кулачищем:
«Ага! Вы тот самый, кого мы ищем!..»
Ну, я объясняю, что я не тот,
объясняю, что звать меня — Мокинпотт,
объясняю, что проживаю здесь рядом,
в том доме, с изразцовым фасадом,
где жена меня ждет к вечернему кофе,
не подозревая о катастрофе.
Однако сыщик вломился в амбицию
и, разумеется, вызвал полицию:
мол, где вы живете и как вас звать,
на это нам, собственно, наплевать.
Важно то, что вы здесь гуляете
и, стало быть, кое-что замышляете.
Мы все это выясним в ходе дознания,
хотя мы все уже знаем заранее.
А насчет вашего кофе и вашей супруги
в тюрьме подумайте на досуге...

(Обращаясь к Вурсту.)

Так скажите, к чему это словоблудие
насчет справедливости и правосудия,
если нельзя спокойно пройти
по собственной улице после пяти?

(Встает, причем выясняется, что он связал вместе шнурки от разных башмаков. Он спотыкается и падает.)

Между тем Вурст завершил свою трапезу. Он вытирает концом платка рот, потом еще раз вытирает рот тыльной стороной ладони, аккуратно складывает платок и вместе с пустой бутылкой сует в карман. С акробатической легкостью вскакивает на ноги и несколько раз пружинисто поднимается и опускается на носках, потом устремляет взгляд на Мокинпотта, который все еще возится со шнурками, завязывая левый башмак на правой ноге, а правый — на левой.

ВУРСТ.

Теперь я вижу, что ты за птица:
дома с женой тебе не сидится.
Ты — никудышный, негодный муж,
бездельник и шалопай к тому ж.

МОКИНПОТТ *(поднимаясь)*.

Ах, как меня вы разочаровали,
не разобравшись в моей печали!
Войдите, войдите в мое положение,
услышав страданий моих изложение!

ВУРСТ.

На кой мне слушать весь этот бред?
Не лезьте ко мне. Я закрыт на обед.
Ну, я пошел... Разрешите откланяться.
Зовут меня — Вурст. А пока —
до свиданьица!

(Уходит.)

МОКИНПОТТ.

А я-то думал, что наконец
нашел я друга. Эх, я глупец!
Впрочем, любого заменит друга
мне дорогая моя супруга.

(Тоже пытается уйти, хотя ему мешают перепутанные башмаки.)

Картина 3

ДОМА

Постель. В стороне — шкаф. К шкафу прислонена половая щетка. В постели сидит Жена Мокинпотта в рубашке и расчесывает редкие волосы. Одеяло на ее ногах вздулось горой. Из-под одеяла торчат две большие грязные ступни. Они слишком далеко от тела женщины, чтобы можно было предположить, что это ее ноги. Когда Мокинпотт входит, Жена расправляет одеяло.

МОКИНПОТТ *(жалобно)*.

Ах, дорогая моя жена!
Сколько ночей я провел без сна.
Твой образ, кудряшки твои и щечки
мне часто мерещились в одиночке.
О, ты красавица из красавиц!..

ЖЕНА *(ядовито)*.

Нет, поглядите, каков мерзавец!
Свою жену бросает в беде,
а сам шатается черт-те где!..

МОКИНПОТТ.

Такие я перенес страдания,
а ты — по-прежнему — ноль внимания.

Мокинпотт садится на край постели. Жена отодвигается от него. В изножье постели одна ступня потирает другую.

Уж коль нам свидеться довелось,
спроси хотя бы: как мне жилось?

Жена не отвечает. Продолжает расчесывать волосы. Из-под одеяла доносится придушенное чихание, сопровождаемое подергиванием. Чтобы отвести подозрения, Жена тоже чихает, хлопает по одеялу и чихает еще раз. Мокинпотт достает свой носовой платок, вытирает Жене нос и гладит ее по голове.

Представь себе: я угодил в тюрьму —
сам не ведаю почему.
Тюремщик с необъяснимой злостью
меня моей же отделал тростью
так, что трость разлетелась в щепки...
Я две недели сидел на цепке.
Начальник тюрьмы, адвокат и стражник
очистили полностью мой бумажник.
От всех этих бедствий едва дыша,
домой возвратился я без гроша...
Вообще, происшествие крайне странное.

ЖЕНА *(отталкивает его)*.

Наглец! Растранжирил мое приданое
и от меня же сочувствия ждет!
К чертовой матери! Хватит! Развод!

Бьет по одеялу. Из-под одеяла доносится покашливание. Жена кашляет в унисон.

МОКИНПОТТ.

Ну и дела! Разберись поди-ка,
если мир так устроен дико.
Весь век я работал, весь век служил,
питался скромно, по средствам жил,
квартирную плату платил
с аккуратностью.
И вдруг — неприятность за
неприятностью!

Ступни, торчащие из-под одеяла, потирают одна другую.

ЖЕНА.

Нет уж! Чем быть женой уголовника,
я предпочла бы иметь любовника,
который может мне что-то дать.
Я не намерена голодать!

Из-под одеяла — кашель. Жена тоже начинает кашлять. Она спихивает Мокинпотта с постели, встает сама. Ночная рубашка у нее до полу, так что ног ее не видно. Зато теперь отчетливо видны ноги, покрытые одеялом.

МОКИНПОТТ *(глядя на эти ноги).*

Постой! Это что еще там за ноги?!

ЖЕНА *(глядя на ноги, быстро овладев собой).*

Мои!..
Пока ты сидел в остроге,
не на что было чулки купить,
а в доме не было чем топить.
Вот и отмерзли мои конечности
из-за твоей исключительной
бессердечности!

Она вприпрыжку двигается по комнате, подпрыгивает к половой щетке, хватает ее, прыгает, опираясь на щетку, подметает пол. Потом прыгает к кровати и натягивает одеяло на торчащие ноги, тогда с другой стороны, из-под одеяла, выглядывает бородатая физиономия. Мокинпотт в это время стоит спиной к постели. Когда Мокинпотт оборачивается, бородатая физиономия уже исчезла под одеялом.

Ты, изверг, сделал меня инвалидкой.
Теперь я ползать должна улиткой.
Бросил жену, как последний хам!
А ну, теперь проваливай сам!

(Угрожающе поднимает щетку.)

Любовник снова высовывает голову из-под одеяла. В эту минуту Мокинпотт снова стоит к нему спиной, а когда поворачивается, тот уже успевает спрятать голову под одеялом.

МОКИНПОТТ.

Но ты покамест моя супруга,
и мы не должны покидать друг друга.

ЖЕНА.

Давай проваливай прочь, дурак!
С преступником я не вступала в брак.

Между тем Любовник вылез из постели. На нем короткая рубашка. Он ходит на цыпочках и старается натянуть рубашку как можно ниже. Не сводя глаз с Мокинпотта, он пробирается к шкафу. Мокинпотт стоит к нему спиной и поворачивается только тогда, когда Любовник исчезает за шкафом.

МОКИНПОТТ.

О нет! Я не вынесу эту потерю...
Что происходит? Глазам не верю.
Какой-то в комнате кавардак...

(На цыпочках подходит к шкафу, хотя ему очень мешают перепутанные башмаки.)

И шкаф этот прежде стоял не так...

Жена гигантскими шагами скачет по комнате и подметает, стараясь отвлечь внимание Мокинпотта. Мокинпотт подкрадывается к шкафу. Когда он заглядывает за шкаф, Любовник выскакивает вперед. Мокинпотт — за шкафом, впереди — Любовник. Мокинпотт исчез. Любовник двигается, прижимаясь к дверце шкафа. Снова появляется Мокинпотт, Любовник исчезает. Мокинпотт подходит к постели. Жена укрывается одеялом, вытягивая ноги. Мокинпотт наклоняется над ней, хочет поднять одеяло.

ЖЕНА.

Нет, нет! Об этом и думать забудь!
Я не дуреха какая-нибудь.
Ишь до чего в нем взыграла похоть!
Можешь, мой миленький, ахать и охать,
но не получишь ты ни черта.
С чувством покончено!.. Дверь заперта!

Любовник за шкафом издает страшное рычание.

МОКИНПОТТ *(вздрагивает и падает с постели прямо на колени).*

Ох, вразуми, пресвятая царица!
Что ж это в комнате нашей творится?!
Шкаф оказался в другом углу,
а я — не в постели, а на полу.

Любовник воет за шкафом.

ЖЕНА *(корчит зловещие гримасы, расставляет руки и машет ими, как привидение).*

Кыш! Кыш, нечестивец, из этого дома!
Я совершенно с тобой не знакома.
Тебя я вижу здесь в первый раз.
Слышишь? Немедленно прочь с моих глаз!
Не то с цепи я спущу барбоса,
и он оставит тебя без носа.

Любовник громко рычит.

МОКИНПОТТ *(дрожа).*

Господи, господи, господи боже!
Это уж ни на что не похоже.
Видимо, богу отдам я душу.
Что со мной? Брр! Я, кажется, трушу.

Хлопая крыльями, появляются оба Ангела.

АНГЕЛЫ.

Аллилуйя! Аллилуйя!
Драка вместо поцелуя!
Этот добрый человек
тяжко страждет весь свой век.
Он свои злосчастья множит
тем, что их понять не может
и дрожит, как воробей,
не поняв своих скорбей!

(Исчезают, хлопая крыльями.)

МОКИНПОТТ *(на коленях пятится от постели).*

Почему ты меня узнавать не хочешь
и понапрасну меня порочишь?
За что, объясни мне, на самом деле,
ты гонишь меня из моей же постели?
Я полагаю — ты просто спятила,
не зная, кого ты во мне утратила!

Жена и Любовник поднимают ужасный рев. Мокинпотт, жалобно повизгивая и все так же на коленях, удаляется.

Картина 4

У ХОЗЯИНА

Хозяин стоит за конторкой с бумагами и ручкой. Мимо проходит Служащий с ящиком. Появляется Мокинпотт. Он достает из кармана часы, подносит их к уху, встряхивает: внутри что-то бренчит. Он снова сует часы в карман, подходит к Хозяину, кланяется. Хозяин не поднимает глаз.

МОКИНПОТТ.

Доброе утро, ваша милость!
Вы знаете, что со мной приключилось?
Представьте себе: я попал в тюрьму.
За что — вы спро́сите. Сам не пойму!
Ведь я не бродяга, не вор, не мошенник,
не изготовитель фальшивых денег.
Конечно, я объяснил тотчас,
что долгие годы служу у вас,
объяснил, что я известен вам лично.
Но оказалось — им все безразлично.
Тюремщик так меня отхлестал,
что дальше я объяснять не стал.
Короче, они мне заткнули глотку
и сунули в камеру, за решетку.

ХОЗЯИН *(поднимает взгляд).*

Мой друг, я с трудом понимаю вас
и вижу вас, кажется, в первый раз.
Все! Будьте счастливы! До свидания!
Если ж вы просите подачния,
то обратитесь в соседний дом:
мы, к сожаленью, не подаем.

МОКИНПОТТ *(достает из кармана смятую бумажку).*

Взгляните на это удостоверение:
я служащий вашего учреждения.
Моя фамилия — Мокинпотт
Я здесь не один проработал год.

ХОЗЯИН *(не глядя на бумажку, которую протягивает ему Мокикпотт).*

Ах, это было давным-давно,
а если недавно, то — все равно,
поскольку вы, под предлогом ареста,
покинули ваше рабочее место,
не имея достаточного основания
в виде подтвержденного доктором
заболевания.
Итак, считайте, что вы уволены.
У нас прогуливать не позволено!
(Вновь углубляется в свои бумаги.)

Мимо снова проходит Служащий с ящиком.

МОКИНПОТТ *(окликает его).*

Здоро́во! Ты помнишь меня? Погляди!
Будь добр: пожалуйста, подтверди,
что я вместе с вами грузил эти ящики
и мной довольны были заказчики.

ХОЗЯИН.

В рабочее время не сметь
разговаривать!
Рабочее время нельзя разбазаривать!

МОКИНПОТТ.

Поймите меня, уважаемый шеф:
без всяких причин за решетку сев,
я не повинен в своем отсутствии...
Прошу вас: явите ко мне сочувствие.
Ведь должен же кто-то и мне помочь!

ХОЗЯИН.

Вы все еще здесь?! Убирайтесь прочь!

МОКИНПОТТ.

Нет, вы не отвергните просьб моих!
Готов работать я за двоих.

ХОЗЯИН.

Уж как-нибудь обойдемся одним,
а с вами знаться мы не хотим.

МОКИНПОТТ.

Да это же попросту издевательство!

ХОЗЯИН.

Вы что, явились для подстрекательства?!

МОКИНПОТТ.

Но все ж на моей стороне закон...

ХОЗЯИН.

Я повторяю: ступайте вон!
Не то вам, голубчик, придется худо...

Возвращается Служащий с ящиком. Хозяин обращается к Служащему.

Послушай-ка, выкинь его отсюда!

Служащий ставит ящик на пол, подходит к Мокинпотту. Мокинпотт отступает.

МОКИНПОТТ.

Не надо. Я сам не останусь тут.
Вот — благодарность за честный труд!
(Уходит, пятясь.)

Картина 5

НА ПРИРОДЕ

Скамья и маленький круглый стол. Мокинпотт сидит на скамье, склонясь над столом и уронив голову на руки. Появляется Вурст. У него отличное настроение, он прикладывается к своей бутылочке, снова наполненной на одну треть. Мокинпотт поднимает голову, но едва замечает Вурста и обращается скорей к самому себе.

МОКИНПОТТ.

Ах, как своих мне добиться прав?

ВУРСТ.

Ах, надо биться, когда ты прав!

МОКИНПОТТ.

Ведь пострадал-то я не за дело.

ВУРСТ.

А! Наконец-то тебя задело!

МОКИНПОТТ *(всхлипывая).*

Еще бы! В родной возвращаюсь дом
и застаю там сплошной содом.
Жена, увидев во мне злодея,
накостыляла меня по шее
и прогнала меня из кровати...

ВУРСТ.

Печальный случай... Скажи-ка, кстати,
ты убежден, что твоя жена
все это время жила одна?

МОКИНПОТТ.

Не вижу повода для тревоги.
У ней, бедняжки, отмерзли ноги:
по комнате прыгает еле-еле,
а ноги отдельно лежат в постели.
Из-под одеяла торчали две пятки...

ВУРСТ.

И ты поверил, что все в порядке?!
Под одеяло не заглянул?!

МОКИНПОТТ.

Ну, насчет этого ты загнул!
Хоть со мною жена поступает жестоко,
она, слава богу, не вертихвостка.

Вурст подсаживается к нему на скамейку, протягивает ему свою бутылку. Мокинпотт не замечает бутылку, тогда Вурст сам прикладывается к ней.

Неужто вправду, с невинной миной,
она лежала с другим мужчиной?
(Закрывает лицо руками и плачет.)
О, мой уютный, мой милый дом,
тот, где, полакомившись кофейком,
бывало, в теплый шлафрок одетый,
дремал в качалке я над газетой!

ВУРСТ.

В твоей качалке другой качается.
Такое в жизни порой случается.

МОКИНПОТТ *(выпрямляясь)*.

А что мне делать с моей работой?
Поди попробуй где заработай!
Из-за проклятой моей отлучки
лишен я должности и получки.
Мой пост уже занял какой-то тип.
Теперь ты видишь, что я погиб.

ВУРСТ.

Ты что там делал в своей конторе?
Небось околачивался в коридоре?

МОКИНПОТТ *(оскорбленно)*.

О! Мне доверены были ящики,
куда укладывались образчики.
Я отправлял их и принимал
и заносил в специальный журнал:
артикул, фактура, цена и название.
И в этом я видел свое призвание!..
Другой мои ящики заколачивает!

ВУРСТ.

Другой твои денежки заколачивает.

Мокинпотт, плача, роняет голову на руки. Стол не выдерживает. Мокинпотт падает на землю. Вурст продолжает сидеть на скамье и снова прикладывается к бутылочке.

С чего это ты разлегся на травке?
Куда удобней сидеть на лавке.
А за поломку казенного столика,
казна тебя обдерет, как кролика.

МОКИНПОТТ *(лежа на земле)*.

Ах, чем платить, если я уволен?
Я помираю... Я очень болен...

ВУРСТ *(закупоривает бутылку, встает)*.

Тогда пойдем-ка быстрей к врачу!
Он кровь исследует и мочу,
нутро клистиром тебе промоет,
а если нужно — и брюхо вскроет...

Мокинпотт корчится, хватается за голову. Вурст пробует его поднять. Мокинпотт отбивается. Вурст перекидывает его руку себе через плечо и уносит.

Все удалит он в один момент —
глядишь: и вылечился пациент!

Вурст уходит, унося Мокинпотта на спине. Хлопая крыльями, появляются оба Ангела.

АНГЕЛЫ.

Аллилуйя! Аллилуйя!
Избавления не чуя,
этот добрый человек
тяжко страждет весь свой век.
Отчего? Понять не может.
Может, врач ему поможет?
Да спасет его от мук
доктор всяческих наук!

Ангелы исчезают, хлопая крыльями.

Картина 6

У ВРАЧА

Медицинская кушетка, операционный стол. На стене висит белый халат и доска с прикрепленными к ней инструментами, пробирками, колбами. Вурст вносит на спине Мокинпотта. Одновременно входит Врач в белом халате, за ним следуют две медицинские Сестры, тоже в белых халатах. Вурст опускает Мокинпотта на кушетку. Сестры укладывают его как следует, Вурст подкрадывается к стене и надевает белый халат. В это время Врач, держась рукой за подбородок, важно ходит вокруг стола. Вурст незаметно развязывает тесемки у халата 1-й Сестры, которая склонилась над кушеткой, и прячется за 2-й Сестрой. 1-я Сестра считает, что это сделала 2-я Сестра, и дает ей пощечину. 2-я Сестра отвечает тем же.

ВРАЧ *(во время этой сцены)*.

Ага... Ага... Да, да... да, да...
Еще один страждущий прибыл сюда!
Так, так... Все абсолютно ясно...
Печень изъедена... Сердце ужасно...
Так, так... Понимаю вас, дорогой.
Пошевелите левой ногой...

Врач останавливается перед Мокинпоттом и, подняв правую руку, щелкает пальцами. 2-я Сестра снимает с доски молоток и передает его Врачу.

Вурст развязывает тесемки от халата у 2-й Сестры и с невинным видом отходит в сторону. Вручив молоток Врачу, 2-я Сестра дает пощечину 1-й Сестре. 1-я отвечает тем же. Все это происходит в очень быстром темпе.

Врач заносит молоток над головой Мокинпотта, но, не ударив, переносит молоток дальше и так постепенно доходит до колена. Врач бьет Мокинпотта молотком по колену, нога взлетает вверх, задевает Врача. Врач падает, увлекая за собой обеих Сестер. Вурст хватает стетоскоп и выслушивает Мокинпотта с ног до груди. Врач и Сестры встают с пола.

Вы что-нибудь слышите там, коллега?

ВУРСТ.

Скрипит, как немазаная телега.

ВРАЧ.

Может быть, стоит сделать укол?

ВУРСТ.

Надо немедленно класть на стол.

Мокинпотта укладывают на стол.

МОКИНПОТТ *(вскакивая)*.

Ой-ой, не режьте! Ой-ой, не буду!
Ой, отпустите меня отсюда!

ВРАЧ.

Мой дорогой, прекратите крик!
Высуньте, будьте добры, язык.

Врач щелкает пальцами. 1-я Сестра подает ему карманный фонарик, и Врач освещает рот Мокинпотта. Вурст заглядывает туда.

(Обращаясь к Вурсту.)

Ну, что? Видали?

ВУРСТ *(с наигранным ужасом)*.

Вот это да!!!

ВРАЧ *(обращаясь к Мокинпотту)*.

Ну-ка, голубчик, скажите «а».

МОКИНПОТТ.

И!

ВРАЧ.

Нет «а»! Повторите снова!

МОКИНПОТТ.

О!

ВРАЧ.

До чего же вы бестолковы!
А!..

МОКИНПОТТ.

У!

ВРАЧ.

«А» — говорят вам! При чем тут — «у»?

МОКИНПОТТ.

Господин профессор, я все скажу,
если вы откровенно признаетесь,
чего вы сейчас от меня добиваетесь,
поскольку я должен понять, отчего
вам нравится «а», а не «у» или «о»....
Простите меня, господин академик...

Врач и Вурст низко склоняются над Мокинпоттом.

ВРАЧ.

Сейчас нет времени для полемик!
Здесь — случай невероятной сложности:
язык обложен до невозможности.
Так... так... Понятно...

(Обращаясь к Вурсту.)

Взгляните сами...

ВУРСТ.

Теперь он держит язык за зубами.

ВРАЧ.

Откройте рот, господин Мокинпотт,
не то мы вам сами откроем рот!

Сестры — слева и справа — раздвигают пальцами рот Мокинпотта.

МОКИНПОТТ *(стонет)*.

А-а-а-а!

ВРАЧ.

Умер!.. Нет, кажется, дышит... Ну-ка...

ВУРСТ.

Я слышу внутри подобие звука...

Врач размахивает руками перед лицом Мокинпотта.

ВРАЧ.

На свет реагируют роговицы?
Сестра, принесите сюда таблицы!

ВУРСТ *(обращаясь к другой Сестре)*.

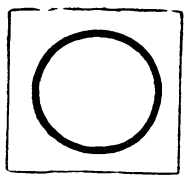
А вы поднимите пациенту голову,
она у него тяжелее олова.

1-я Сестра поднимает голову Мокинпотту. 2-я Сестра приносит кипу четырехугольных таблиц и ставит их в ногах Мокинпотта.

ВРАЧ.

А ну, ответьте нам без запинки,
что нарисовано на картинке?

2-я Сестра поднимает первую таблицу.



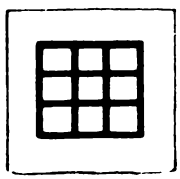
МОКИНПОТТ *(с трудом)*.

Луна.

ВРАЧ *(очень быстро)*.

Солнце!

2-я Сестра поднимает вторую таблицу.



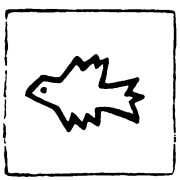
МОКИНПОТТ.

Клетка.

ВРАЧ.

Оконце!

2-я Сестра поднимает третью таблицу.



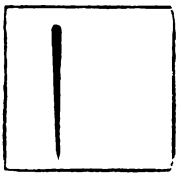
МОКИНПОТТ.

Рыба.

ВРАЧ.

Птица!

2-я Сестра поднимает четвертую таблицу.



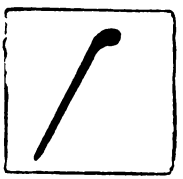
МОКИНПОТТ.

Игла.

ВРАЧ.

Спица!

2-я Сестра поднимает пятую таблицу.



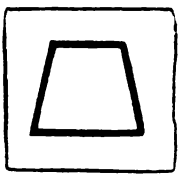
МОКИНПОТТ.

Трость.

ВРАЧ.

Трубка!

2-я Сестра поднимает шестую таблицу.



МОКИНПОТТ.

Зонт.

ВРАЧ.

Юбка!

2-я Сестра поднимает седьмую таблицу.

МОКИНПОТТ.

Дерево.

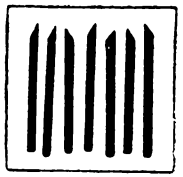
ВРАЧ.

Нет. Замочная скважина!

(Тихо, Вурсту.)

Ага... Восприятие явно разлажено.

2-я Сестра поднимает восьмую таблицу.



Ну?

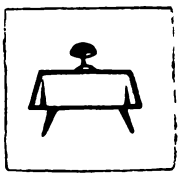
МОКИНПОТТ *(с трудом)*.

Зубочистка.

ВРАЧ.

Нет. Частокол!

2-я Сестра поднимает девятую таблицу.



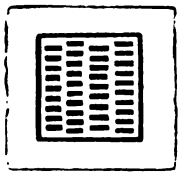
МОКИНПОТТ.

Какая-то женщина...

ВРАЧ.

Письменный стол!

2-я Сестра поднимает десятую таблицу.



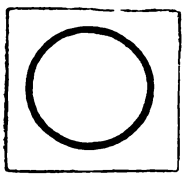
МОКИНПОТТ.

Газета.

ВРАЧ.

Стена!

2-я Сестра снова поднимает первую таблицу.



МОКИНПОТТ *(обрадованно)*.

Солнце!

ВУРСТ *(ревет)*.

Луна!!!

ВРАЧ *(наставительно)*.

Все очевидно. Сомнений нет.

ВУРСТ.

Делириум тременс. Горячечный бред.

МОКИНПОТТ *(смущенно)*.

Но, чтоб разобраться в таком
рисовании,
надобно высшее образование.
Рябит в глазах... Голова гудит...

1-я Сестра выпускает голову Мокинпотта. Голова с грохотом ударяется о стол. Мокинпотт стонет.

ВРАЧ.

Вы полагаете — менингит?
Больной нуждается в операции...
Сестра! Инструменты для трепанации!
Ага! Спасибо! Уже несут!
Так вскроем же сей драгоценный сосуд!

Врач щелкает пальцами. 1-я Сестра подает ему огромный ключ. Приставив ключ к голове Мокинпотта, Врач с шумом поворачивает его и открывает люк, который имеется у Мокинпотта в черепе. Врач и Вурст склоняются над черепом и, столкнувшись лбами, отскакивают.

Там что-то было? Я не ошибся?

ВУРСТ.

Не вы ошиблись, а я ушибся.

Вурст заглядывает в открытый череп Мокинпотта. Потом он поднимает руку и щелкает пальцами. 2-я Сестра подает ему огромную ложку. Вурст помешивает ложкой в черепе у Мокинпотта. Мокинпотт хихикает и сучит ногами. Сестры придерживают его за ноги.

ВРАЧ *(в восторге)*.

Вот это, я доложу вам, мозг!
Не мозг, а целый газетный киоск!
Вы, видно, газеты читали усиленно?
Бумажной трухою забиты извилины.

Вурст поднимает руку и щелкает пальцами. 1-я Сестра протягивает ему сосуд в виде солонки. Вурст трясет солонку над головой Мокинпотта, потом возвращает ее Сестре. Сестра берет солонку и передает Вурсту красную бутылку. Вурст льет что-то из бутылки в голову Мокинпотта, возвращает бутылку Сестре и получает кулек. Он сыплет что-то из кулька в голову Мокинпотта, возвращает кулек и получает сосуд в виде перечницы. Из нее он тоже что-то сыплет в череп и возвращает Сестре.
Все происходит с величайшей скоростью.

(Наблюдая за манипуляциями Вурста.)

Смотрите, как под рукою гения
мозг заново ожил в одно мгновение!
Воистину мощь медицинских светил
исходит от мощи божественных сил!

Вурст с грохотом закрывает крышку в черепе Мокинпотта, затем, выпрямившись, потирает руки. Врач прикладывает ухо к груди Мокинпотта, а Вурст — к его животу.

Коллега, вы слышите: сердце стучит?

ВУРСТ.

Не столько стучит оно, сколько урчит.

Вурст лезет под рубашку Мокинпотта, Мокинпотт хихикает и дергается. 1-я Сестра держит его руки, 2-я Сестра наваливается всем телом на его ноги. Врач тоже ощупывает Мокинпотта со всех сторон. Мокинпотт разражается пронзительным хохотом. Вурст поворачивает Мокинпотта на бок и сзади запускает руку в его штаны. Оттуда он достает огромное сердце. Он поднимает его, встряхивает: внутри что-то бренчит.

ВРАЧ *(восторженно)*.

Не сердце, а прямо — подарок невесте!

ВУРСТ.

Только лежало оно не на месте.

Вурст щелкает пальцами, и 1-я Сестра очень быстро подает ему те же сосуды, в той же последовательности. Из каждого он что-то подсыпает в сердце Мокинпотта.

ВРАЧ *(во время манипуляций Вурста)*.

Зачем ходить в драматический театр,
когда есть анатомический театр?
У нас даются такие спектакли,
что всякий спектакль перекроют. Не
так ли?
При этом иные актерские труппы
бывают куда неподвижней, чем трупы.
Не стройте печальную физиономию,
а постигайте, друзья, анатомию,
и, по частям изучая тело,
вы овладеете им всецело!..
Сейчас в порядке увеселения
явили мы вам чудеса исцеления.
И наш пациент на краю могилы
обрел здоровье и свежие силы.

Вурст засовывает сердце глубоко под рубашку Мокинпотту. Мокинпотт хихикает.

(Указывая на Вурста.)

Какая работа! Каков итог!

ВУРСТ *(с поклоном)*.

Я, право же, сделал лишь то, что мог...

Картина 7

НА ПРИРОДЕ

Появляются Вурст и Мокинпотт. Мокинпотт хихикает. Время от времени он теряет контроль над движением своих рук и ног.

МОКИНПОТТ.

Ах, Вурст!.. Мне худо... Честное слово,
я, кажется, заболеваю снова.

(Почесывается и нелепо хлопает себя руками.)

ВУРСТ *(наставительно)*.

Стыдись!.. Мы только что слышали сами
своими собственными ушами
от величайшего из профессоров,
что ты отныне вполне здоров.
Как смеешь ты ставить под подозрение
столь просвещенную точку зрения?
С каких же это, скажи мне, пор
ты с профессурой вступаешь в спор?
Оставь злонамеренные нападки
и помни, что все у тебя в порядке!

МОКИНПОТТ *(время от времени хихикая).*

Позволь, но какой же это порядок?
Жизнь, ей-богу, полна загадок.
Во-первых, меня посадили в тюрьму.
За что? Неведомо мне самому.
Во-вторых, адвокат и тюремщик-мошенник
меня лишили последних денег,
в-третьих, жена прогнала из дому,
коварно отдавши себя другому,
в-четвертых, я без работы скитаюсь
и, можно сказать, ничем не питаюсь.
Мне горько... Мне тяжко... Я плакать хочу,
но только заплачу, как — хохочу.

(Почесывается, шатается, разражается хохотом, потом умолкает смущенно.)

ВУРСТ *(торжественно).*

В тебе воплотился всемирный рок!
Для этого случая нужен пророк.
Возможно, что мы — на пороге разгадки
таинственнейшей мировой загадки.

Мокинпотт стоит, разинув рот и вытаращив глаза, потом поднимает указательный палец, словно желая подчеркнуть важность осенившей его мысли.
Хлопая крыльями, появляются оба Ангела.

АНГЕЛЫ.

Аллилуйя! Аллилуйя!
Над судьбою торжествуя,
этот добрый человек,
пострадавший весь свой век,
очень скоро разгадает,
отчего он так страдает...
Ты на правильном пути,
лишь момент не упусти!

(Ангелы исчезают, хлопая крыльями.)

МОКИНПОТТ.

Да, да. Я знаю: спасенье близко...
Но как бы тут обойтись без риска?

(Умолкает и стоит, разинув рот.)

Во мне провидение заинтересовано.
Ах, это, по-моему, очень рискованно!

ВУРСТ.

Послушай!

МОКИНПОТТ.

Что?

ВУРСТ.

У меня — идея.

МОКИНПОТТ.

Какая?

ВУРСТ.

Ее изложу тебе я.
Нам надо сейчас же искать покровительства
у нами же избранного правительства.
Оно помещается здесь, за углом...
Видишь тот многоэтажный дом?

МОКИНПОТТ.

Неужто столь высокие лица
станут с такими, как мы, возиться?
У них полно государственных дел.
Ты что, действительно очумел?!

ВУРСТ.

А в этом прямое их назначение —
брать своих подданных на попечение.
Они — правительство, мы — народ.
Мы их выбираем который год.
На этом-то в общем все у них строится.
Идем. Я уверен, что все устроится.

Оба уходят.

Картина 8

У ВЛАСТЕЙ

За высоким столом сидят три правительственные Персоны с неправдоподобно огромными головами. 1-я Персона почесывает в затылке, 2-я Персона ковыряет в носу, 3-я Персона положила ноги на стол.
Входят Вурст и Мокинпотт.
Мокинпотт низко кланяется. Вурст, подбоченясь, откидывается назад.

ВУРСТ.

Мой друг, досточтимый мосье Мокинпотт —
налогоплательщик и патриот —
хотел бы спросить представителей власти
о причинах случившихся с ним злосчастий.

1-я ПЕРСОНА *(поглаживая себя по лицу, обращается ко 2-й Персоне).*

Скажите, ну как ваша новая вилла?
Мы в нашей устроились очень мило.

МОКИНПОТТ *(обращается к 1-й Персоне).*

Например, хотелось бы знать, господа,
почему без следствия и суда
я две недели провел в заключении,
с чего начались все мои злоключения.
И почему безо всякой моей вины
меня полицейские взяли чины,
в тюрьму упрятав меня незаслуженно,
когда я домой возвращался к ужину?

Вурст в это время выполняет всевозможные гимнастические упражнения.

1-я ПЕРСОНА *(обращается к 3-й Персоне).*

Я слышал, что ваша супруга снова
намерена шить у того же портного?

2-я ПЕРСОНА *(очень быстро).*

В свободном мире малейший бунт
подавлен должен быть в пять секунд
и любого, кто бунтовщиком окажется
или хотя б таковым покажется,
полиция тотчас берет в оборот.
Стало быть, господин Мокинпотт,
ваш случай может служить доказательством,
насколько верны мы своим обязательствам...

3-я ПЕРСОНА *(незамедлительно подхватывает).*

...сажая зачинщиков без промедления
для избавления населения
от подстрекателей, и предателей
и от приятелей подстрекателей.

МОКИНПОТТ *(обращается к 3-й Персоне).*

Но кто, объясните, тому виною,
что я обманут своей женою?
Она была мне как жизнь дорога
и вдруг наставила мне рога.
Поэтому крайне нуждаюсь в средстве я
для прекращенья семейного бедствия.

В это время Вурст делает несколько приседаний.

1-я ПЕРСОНА *(обращается к 3-й Персоне).*

Так, значит, вам нравится ваша вилла?
Мы в нашей устроились очень мило.

2-я ПЕРСОНА *(очень быстро).*

Приятно, что именно от правительства
вы ждете поддержки и покровительства
в случившейся с вами семейной драме,
поскольку мы заинтересованы сами
в укреплении нравственности и
семейных устоев,
на этом свое государство построив.

3-я ПЕРСОНА *(быстро, отрывисто, как заведенная).*

Мы все полны абсолютной решимости
семью поддерживать в несокрушимости
и преисполнены чувства ответственности
в заботах своих о здоровой
наследственности.

МОКИНПОТТ *(обращается к 1-й Персоне).*

Простите, что время у вас отнимаю,
но я, к сожалению, не понимаю,
за что меня лишили работы
и попросту выкинули за ворота?

2-я ПЕРСОНА *(ковыряя в зубах, обращается к 1-й Персоне).*

А как здоровье вашей супруги?
Моя отдыхает сейчас на юге.

3-я ПЕРСОНА *(раздвинув лежащие на столе ноги).*

Борясь за всеобщее благополучие,
мы допускаем, что в данном случае,
возможно, вышло недоразумение.
Но надо учитывать тем не менее,
что государство всемерно заботится
о сокращении безработицы...

2-я ПЕРСОНА *(механически подхватывает).*

...Трудоустройство и судоустройство
содержат как будто бы разные свойства,
но судопроизводство и
трудопроизводство
имеют вполне ощутимое сходство.

3-я ПЕРСОНА *(ковыряя пальцем в ухе, обращается ко 2-й Персоне).*

Нет, именно персиковое варенье
полезно для сердца и пищеваренья.

МОКИНПОТТ *(обращаясь ко 2-й Персоне).*

Позвольте задать еще пару вопросов.
Вы видите сами: я слабый философ...

Теперь он говорит с жаром, попеременно обращаясь к 1-й, 2-й, 3-й Персонам.

Но эта мысль меня так и грызет:
с чего же все время мне так не везет?
Я в ссоры и в споры ни с кем не
вступаю,
а если и спорю, тотчас уступаю,
я — не разбойник и не злодей,
и — откровенно — люблю людей.
Люблю их всех вместе и поодиночке,
будто они мне сынки или дочки,
но только выйду я на дорожку,
любой норовит мне подставить ножку...
Всюду мне плохо и все — не так:
работа, деньги, любовь и брак,
здоровье и башмаков надеванье —
все доставляет одно страданье.
И в голове моей не умещается,
что разрешается, а что запрещается!..

Вурст выполняет бег на месте.

1-я ПЕРСОНА *(зевая, обращается ко 2-й Персоне).*

И все же наша новая вилла,
по-моему, выглядит очень мило.

3-я ПЕРСОНА *(механически, быстро, отрывисто).*

Сейчас разрабатываются указания
насчет повышения образования,
поскольку нет ничего священнее,
чем дело народного просвещения,
и мы полны железной решимости
добиться железной несокрушимости
правопорядка и трудоустройства,
так что нет поводов для беспокойства.

Появляется Лакей с колокольчиком. Звонит.

ЛАКЕЙ.

Просьба покинуть резиденцию!
Господа закончили аудиенцию.
Начинается выработка декларации
для укрепления единства нации!

Мокинпотт с глубоким поклоном удаляется. Вурст, уходя, показывает правительственным Персонам зад. Начинается приготовление к выработке декларации — покашливание, чихание, постукивание пальцами по столу, отсчет: раз, два, три!

Картина 9

НА ПРИРОДЕ

В репродукторе слышится текст декларации, исполняемый как трехголосый канон.

Появляются Мокинпотт и Вурст. Сначала оба почтительно кивают. Вурст трясет головой, уголки рта у него опущены. Мокинпотт кивает сдержаннее, взявшись рукой за нос или за подбородок.

В дальнейшем кивает один Мокинпотт, а Вурст начинает сопровождать слова декларации вращением глаз и разеванием рта. Покуда Мокинпотт напряженно вслушивается, Вурст подражает жестикуляции оратора: бьет себя кулаком в грудь, простирает руки. Время от времени Мокинпотт жестами заставляет его вести себя более почтительно, однако Вурст не обращает на него никакого внимания. Мокинпотт приставляет руки к ушам, чтобы лучше слышать.

Декларация:

1-я ПЕРСОНА.

Решимость одержимость
несокрушимость

(Прокашливается.)

2-я ПЕРСОНА.

Терпимость необходимость
решимость

3-я ПЕРСОНА.

Надругательство обязательство
законодательство

1-я ПЕРСОНА.

Предательство подстрекательство
доказательство

2-я ПЕРСОНА.

Окружение напряжение вооружение

(Кашляет.)

3-я ПЕРСОНА.

Предложение положение приложение

1-я ПЕРСОНА.

Правительство строительство
покровительство

2-я ПЕРСОНА.

Расточительство жительство
поручительство

3-я ПЕРСОНА *(чихает)*.

Беспокойство трудоустройство
благоустройство

1-я ПЕРСОНА.

Расстройство свойство переустройство

2-я ПЕРСОНА.

Устрашение поношение разрушение

3-я ПЕРСОНА.

Крушение прошение украшение

1-я ПЕРСОНА *(прокашливается)*.

Ожесточение вероучение нравоучение

2-я ПЕРСОНА.

Увеличение хлебопечение водолечение

3-я ПЕРСОНА *(кашляет)*.

Явление подавление заявление

1-я ПЕРСОНА.

Преступление поступление
постановление

2-я ПЕРСОНА *(чихает)*.

Ответственность наследственность
непосредственность

3-я ПЕРСОНА.

Соответственность бедственность
безответственность

1-я ПЕРСОНА.

Сплоченность законность
ожесточенность

(Кашляет.)

2-я ПЕРСОНА.

Разобщенность убежденность
резонность

3-я ПЕРСОНА.

Посещение помещение освещение

1-я ПЕРСОНА.

Упущение просвещение укрощение

2-я ПЕРСОНА *(кашляет)*.

Уважение сбережение налогообложение

3-я ПЕРСОНА.

Предостережение вторжение
поражение

1-я ПЕРСОНА.

Снисходительность обходительность
невразумительность

2-я ПЕРСОНА.

Убедительность бдительность
исполнительность

(Кашляет.)

3-я ПЕРСОНА.

Доверенность умеренность
благонамеренность

(Кашляет.)

1-я ПЕРСОНА.

Неуверенность неумеренность
неблагонамеренность

(Чихает.)

2-я ПЕРСОНА.

Эскалация нация цивилизация

3-я ПЕРСОНА.

Мобилизация стабилизация
декларация

1-я ПЕРСОНА.

Понятия занятия предприятия

2-я ПЕРСОНА.

Дипломатия демократия мероприятия

1-я ПЕРСОНА *(прокашливается)*.

Сессия депрессия профессия

2-я ПЕРСОНА.

Процессия концессия агрессия

3-я ПЕРСОНА *(прокашливается)*.

Решимость несокрушимость решимость
несокрушимость

2-я ПЕРСОНА.

Решимость несокрушимость решимость
несокрушимость

3-я ПЕРСОНА *(прокашливается)*.

Решимость несокрушимость решимость
несокрушимость

Декларация завершена. Мокинпотт вслушивается еще несколько секунд, потом аплодирует, хотя и с некоторым смущением. Вурст кивает, гримасничая, опустив уголки рта. Мокинпотт нерешительно перестает аплодировать, но тут Вурст разражается бурными аплодисментами.

ВУРСТ.

Весьма замечательный манифест,
несмотря на обилие общих мест.
Но если взять каждое слово отдельно,
то все звучит достаточно дельно.

МОКИНПОТТ *(сперва кивает, потом отрицательно мотает головой)*.

Нет, уважаемые, не обессудьте —
я так и не смог добраться до сути,
да и как тут, воистину, разберешь,
где тут истина, где тут ложь?

ВУРСТ.

Ты так ничего и не понял? Но разве ты
и в самом деле такой неразвитый?

МОКИНПОТТ.

Видишь ли, это — моя беда.
Со мной так случается иногда.
Внимая самым мудреным фразам,

я вроде бы все понимаю разом,
но стоит вникнуть в них хоть чуть-чуть,
как мигом вся ускользает суть,
и то, с чем я только что сам был
согласен,
мне кажется самой дурацкой из басен.

Хлопая крыльями, появляются оба Ангела.

АНГЕЛЫ.

Аллилуйя! Аллилуйя!
Счел себя за обалдуя
этот добрый человек,
зря страдавший весь свой век.
Только он уже отчасти
понял суть своих злосчастий!
Да поможет бог ему
раскумекать, что к чему!

Хлопая крыльями, Ангелы улетают.

МОКИНПОТТ.

Они говорят, что я нужен богу.
Но как он отыщет ко мне дорогу?

ВУРСТ.

Нисходит господь к своим бедным
чадам!
Следуй за мной и учти: он — рядом!

Мокинпотт и Вурст уходят.

Картина 10

У ГОСПОДА БОГА

Господь бог сидит в длинной дохе. На голове у него цилиндр. Он сосет толстую сигару. Мокинпотт входит с глубоким поклоном. Вурст держится немного позади.

ГОСПОДЬ БОГ.

Ага, ага... Да, да... Да, да...
Еще один праведник прибыл сюда,
который наличию мира земного
предпочел величие мира иного,
понявши среди суеты сует,
насколько прекрасно устроен тот свет,
и вообще принимает вполне осознанно
все то, что моею рукою создано.

МОКИНПОТТ.

Господин создатель земель и вод,
позвольте представиться: Мокинпотт.

(Низкий поклон.)

Со мной происходит нечто такое,
что не оставляет меня в покое.
Сплошные злосчастья меня преследуют.
За что? Я сам не пойму как следует.
И мне хотелось у вас узнать...
Ну... Как бы это точней сказать?..

(Приставляет палец к носу.)

Если такое со мной происходит,
то из чего же все это исходит?
И что бы со мною происходило,
если бы было не то что было?

(С трудом подбирая слова.)

Возможно, вам неясен вопрос.
Но я его задаю всерьез,
потому что в мире, созданном вами,
все перевернуто вверх ногами,
и если дело так дальше пойдет,
куда это, в сущности, заведет?

(Отдувается, вытирает платком пот со лба.)

ГОСПОДЬ БОГ.

В одном из недавних своих заявлений
я, среди прочих отрадных явлений,
отметил всеобщую тягу к знаниям,
что совпадает с моим желанием.
Сочувствуя веяньям новой эры,
я не сторонник бездумной веры.
Так что, пожалуйста, не стесняйтесь:
спорьте, спрашивайте, сомневайтесь!

Вурст выскакивает вперед, приложив руку к груди, затем говорит, жестикулируя.

ВУРСТ.

Господин управляющий мирозданьем,
я прибыл к вам с небольшим
заданием.
Дело сводится к интервью:
«Вопросы, заданные в раю».

(Поднимает указательный палец.)

Итак, в котором часу вы встаете?
Как долго задерживаетесь на работе?
Какая в вашем раю погода?
Что вы считаете «фильмом года»?
Ваш любимый вид отдыха или спорта?
Верите ли вы в реальность черта?

Господь бог сердито мотает головой, затягивается сигарой и грозит пальцем.

Вы с ним не намерены встретиться
вскоре?
Сколько ангелов в райском хоре?
И есть ли такие, которые пляшут,
а не только поют и крыльями машут?
Как вы относитесь к их репертуару?
И нельзя ли у вас попросить сигару?

Господь бог делает сильную затяжку и, поперхнувшись, кашляет. Вурст хлопает его по спине.

ГОСПОДЬ БОГ.

Вы, верно, забыли, с кем вы говорите?!
Откуда, сударь, в вас столько прыти?
Можно ль подобную чушь молоть?
Ведь все-таки я как-никак — господь!
Мой возраст, расшатанность нервной
системы
вообще исключают острые темы.
Не так это просто — скажу без
зазнайства —
считаться владельцем такого хозяйства,
к тому ж содержать столь огромный
штат
архангелов, ангелов и ангелят.
А конкуренты? А силы ада?

(Показывает вниз.)

С ними ведь тоже считаться надо,
поскольку можно с любой стороны
ждать всяких гадостей от сатаны.

(Затягивается сигарой.)

Видите сами: хватает работы!
Эх, господа! Мне бы ваши заботы!
Честное слово, не будь я бог,
я сам бы бог знает куда убег
в надежде выспаться хоть немного!

Да нет, куда там! Все ищут бога,
просьбами мне переели плешь:
одному — подай, другого — утешь,
третьему — отпусти грехи и проделки.
Вот и кружишься хуже белки:
туда-сюда, туда-сюда.
Получается сущая ерунда,
потому что даже в небесном тресте
все — ни к черту и все не на месте,
все расползается, все не в порядке —
не успеваешь ставить заплатки,
чтоб христиане, по крайней мере,
вконец не изверились в божьей вере!

(Обращается к Вурсту.)

Сударь, мне нужен толковый совет,
но от вас, я думаю, толку нет.
Послушаем лучше того господина.

(Рукой, в которой он держит сигару, указывает на Мокинпотта.)

Он выглядит скромно и держится чинно.
Пожалуйста, господин Коверкот,
подтвердите, что вера для вас — оплот,
с тем чтобы вы хотя бы немного
утешили вашего бедного бога.

МОКИНПОТТ *(кланяясь).*

Боюсь, что и я вас ничем не обрадую...

(Хихикает.)

Почему, когда я стою, я падаю?
Почему, на подставленный стул садясь,
я сажусь мимо стула и шлепаюсь
в грязь?

(Прыскает.)

И почему, едва открываю рот,
смех... смех... из меня прямо так и прет?!

Мокинпотт громко смеется. Вурст тоже разражается хохотом, держась руками за живот.

(Внезапно обрывает смех, рассвирепев.)

Послушайте вы, исполнитель роли
владыки, сидящего на престоле!
Уж если вы вправду создатель земли,
чего ж ничего вы мне дать не смогли?
Признайтесь сами, имейте мужество:
от экономики до супружества —
во всем бесчинство и кавардак.
Повсюду свинство! И все — не так!
Религия, пресса, законодательство —
все издевательство и надувательство!
Так неужели я стану впредь
покорно злосчастья свои терпеть?!
Вам кажется этот порядок нормальным?
единственно правильным, идеальным?
Молчите! Хватит! Позор и стыд!
Я этой дрянью по горло сыт!

Мокинпотт резко поворачивается, хочет шагнуть как можно дальше, но, споткнувшись о собственную ногу, садится на пол. Сидя на полу, он ощупывает свои все еще перепутанные башмаки.

Господь бог, покачивая головой, медленно уходит, сломленный, с удрученным видом. Сигара косо свешивается из уголка рта.

Картина 11

НА ПРИРОДЕ

Мокинпотт сидит на земле. Он ощупывает левый башмак на правой ноге, затем расшнуровывает башмаки. К Мокинпотту подсаживается Вурст и, поглядев на него, достает свою бутылочку и прикладывается к ней. Мокинпотт снимает башмак, разглядывает его. Затем он расшнуровывает правый башмак на левой ноге, снимает и его тоже, после чего он тщательно надевает левый башмак на левую ногу, а правый — на правую.

Вурст делает еще глоток, рыгает, прячет бутылочку в карман. Мокинпотт встает. Сперва он нетвердо стоит на ногах, делает несколько неуверенных шагов, как бы учась ходить. Вурст смотрит на него с ухмылкой. Мокинпотт с каждым шагом идет все лучше и лучше.

Хлопая крыльями, появляются оба Ангела.

АНГЕЛЫ

Аллилуйя! Аллилуйя!
Веселись напропалую!
Этот добрый человек,
пострадавший весь свой век,
без молитв и без причастий
понял суть своих злосчастий!
Так последуем за ним,
ибо он — непобедим!

Оба Ангела исчезают, громко грохоча крыльями.

Мокинпотт с легкостью танцора или конькобежца описывает несколько кругов по сцене, уходя все дальше и дальше...

Вурст лежит на спине, подложив руки под голову, и храпит.

От переводчика

Новая пьеса Петера Вейса — балаганный лубок, фарс, площадная комедия. Традиционные персонажи, словно заимствованные из средневековых ярмарочных представлений, из ганс-саксовских «фастнахтшпилей», сыплют раешными прибаутками, падают, стукаются лбами, награждают друг друга пощечинами, а главный герой то и дело оказывается в несуразно-смешных ситуациях.

Сам драматург, не раз высказывавший свое недовольство современным западным театром, рассчитанным на зрителей первых рядов партера, давно мечтал о создании спектакля, который можно было бы разыгрывать на улицах и площадях, в заводских и студенческих клубах, о спектакле, демократичном не только по содержанию, но и по форме и доступном самым широким массам. Конечно, не следует думать, что речь идет о дешевой клоунаде, о нарочитой примитивизации. Автор

сложнейших философских драм, таких как «Марат» и «Судебное разбирательство», Петер Вейс в данном случае озабочен возвращением театрального зрелища к его народным истокам, к фольклору, который порой намного «интеллектуальнее» и глубже, чем вымученный рационализм иных современных пьес.

Последователь Брехта, Петер Вейс и в прежних своих вещах широко использовал приемы народного творчества, в том числе элементы ярмарочных действ и так называемый «книттельферз» — немецкий раек XVI века, которым писал когда-то Ганс Сакс и который два столетия спустя заново ожил в шиллеровском «Лагере Валленштейна». Именно через этот стих, возникший в гуще самого народа, Вейс пытается выразить **народное** отношение к волнующим его проблемам и с присущей народному мышлению прямотой дать оценку происходящим на сцене событиям. При этом Вейс далек от механического перенесения или привнесения фольклорных приемов в современную стихотворную драматургию. Перед нами не «перенесение», а именно творческое использование и творческое переосмысление фольклорных мотивов и приемов, обогащающих, а никак не упрощающих современный театр.

С внешней точки зрения сюжетные ситуации пьесы чрезвычайно традиционны: злоключения простака, пресловутого «маленького человека», который нелеп и несуразен в той степени, в какой несуразен и нелеп окружающий его мир. И на самом деле, в пьесе, действие которой происходит в условной стране где-то на Западе, простак Мокинпотт сталкивается с целым рядом нелепостей, собственно и составляющих его «злосчастья». Однако пьеса была бы всего-навсего серией забавных эпизодов, если бы Вейс не выявил социальную природу и социальную закономерность этих «нелепостей», сущность бездушного буржуазного общества, где все — «от экономики до супружества» — враждебно самой человеческой природе.

Именно познание этой истины приводит Мокинпотта к нравственному прозрению и превращает потешного «маленького человека» в **личность.** Не случайно фарсовая ситуация с перепутанными башмаками, надетыми не на ту ногу, приобретает в пьесе вполне символический смысл. Когда в финале комедии Мокинпотт, разобравшись со своими башмаками, наконец, становится на ноги, совершает первые робкие шаги, а затем двигается с «легкостью танцора или конькобежца», мы понимаем, что речь идет не о чем ином, как о **становлении** личности.

Большой сатирической силы достигает Вейс в изображении должностных лиц, стоящих на различных ступеньках буржуазной государственной лестницы: от «рядового» тюремщика до высокопоставленных «правительственных персон», с их доведенной до идиотизма демагогией и патологическим бездушием. Не лучше оказывается и сам господь бог, выступающий как своеобразное олицетворение «высшей несправедливости»: Вейс не случайно поручил эту роль тому же актеру, который исполняет в пьесе роль мошенника-адвоката и проходимца-врача, ставя вопрос о «круговой поруке», которой в буржуазном обществе связаны между собой все «духовные» и «светские» инстанции...

Особый интерес представляет в пьесе фигура Вурста — балаганного Мефистофеля, который повсюду сопровождает Мокинпотта, как бы подталкивая его на те или иные активные действия. Казалось бы, симпатии автора принадлежат этому остроумному и находчивому балагуру. Однако не Вурст, а Мокинпотт оказывается в конечном счете победителем, потому что не балагурство, не скепсис, не цинизм, а **познание истины** является единственным средством для того, чтобы исцелиться от «злосчастий» и обрести умение легко и уверенно ходить по земле.

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

ЛИДИЯ СИМОНЯН

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ О ЧУДАКАХ, НЕМНОГО О ХЭППЕНИНГАХ

«Чудак. Человек странный, своеобычный, делающий все не по-людски, а по-своему, вопреки общего мнения и обыка. **Чудаки не глядят на то, что-де люди скажут, а делают, что чтут полезным».**

(Из толкового словаря Даля)

Солдат чистит нужники. Можно ли представить себе более грязную работу? Казалось бы, нельзя. Но сам солдат — его зовут Вильгельм Шмёльдер, и он родом из Кёльна — смотрит на это иначе. Громадная выгребная яма, не имеющая стока для нечистот, видится ему... «башней из слоновой кости». Да, именно так и сказано в повести Генриха Бёля «Вне строя», известной советскому читателю под заглавием «Самовольная отлучка». И вообще в этой повести неоднократно утверждается полезность экскрементов — например, в том случае, если их как бы невзначай выплеснуть из ведра под ноги командиру, благодаря чему удастся сохранить дистанцию между собой и им. Есть в повести фраза, сказанная Шмёльдером об этом командире и о самом себе: «Во всяком случае, я стал для него недосягаем, ибо постоянно окружал себя зоной экскрементов». Разумеется, эта недосягаемость относительна, ибо нет такой зоны (или такой башни), в которой человек был бы недосягаем для действительности. Не случайно другой командир не один раз заставляет Шмёльдера, ползая на брюхе, петь песню — и тогда тот, по собственному почину, избирает гимн «Германия, Германия превыше всего!» Конечно, солдату гитлеровской армии не убежать от того, что происходит в его стране, а если он совершит попытку к бегству, как это сделал Шмёльдер в 1938 году, когда, женившись, не явился в часть,— его арестуют. Все это верно, но помимо, так сказать, практической есть еще и другая сторона дела — моральная. И вот с точки зрения моральной гораздо почетнее быть «избранным» в среде золотарей», чем принадлежать к избранникам судьбы, занимающим в гитлеровской армии более или менее высокие посты. Повесть свидетельствует о том, что в Германии фашистских времен, в частности, и в 1938 году, предшествовавшем началу второй мировой войны, то, что считалось грязным, оказывалось чистым, и наоборот. Но только ли в Германии фашистских времен?..

Шмёльдер, от лица которого ведется повествование, рассказывает то о прошлом, то о настоящем. Он дожил до наших дней, и в наши дни его считают чудаком. Вероятно, не только оттого, что он, унаследовав от отца фирму, поставляющую кофе, пьет чай, и даже не только потому, что он, имея, как инвалид войны, право на пенсию, не ходатайствует о ней. Дело в том, что он смотрит на все не так, как другие; у него свой взгляд на вещи, который большинству окружающих кажется странным. Хотя, между прочим, в его семье чудак не он один. Анна Бехтольд, теща Шмёльдера, тоже считается странной: в фешенебельном ресторане заливается слезами, вспоминая погибшую при бомбежке дочь и расстрелянного, как дезертира, сына. Тещу и зятя причисляют к чудакам потому, что они

естественны в этом противоестественном мире, где не перестают выдавать черное за белое, а белое за черное, где, к примеру, Иоганнес, уцелевший сын Анны Бехтольд, лишь благодаря случаю не ставший эсэсовцем, именует себя демократом и продолжает ненавидеть погибшего брата Антона, которого называет «левым смутьяном».

Именно образы чудаков помогают художнику обнаружить противоречие между видимостью и сущностью явлений, характерное не только для Германии времен фашистской диктатуры, но и для современной ФРГ.

Еще недавно в кино и по телевидению там показывали некое придуманное постановщиками «семейство Зауберман» (на русский лад следовало бы сказать «семейство Чистовых»). В этом образцовом семействе, обеспеченном, судя по их кухне, всеми благами «экономического чуда», происходят чрезвычайные происшествия. Например, маленькая дочка Зауберманов по неопытности берется чистым полотенцем за грязную сковородку. Беда невелика: фрау Зауберман, с помощью новейшего стирального порошка (он-то и рекламируется соответствующей фирмой) тут же превращает черное в белое. Или — этот случай описан Бёлем в «Письме к молодому некатолику», опубликованном журналом «Курсбух» в 1966 г., два года спустя после выхода в свет повести «Самовольная отлучка»,— за спиной фрау Зауберман, выжимающей только что выстиранное белье, появляется столь же миловидное, но бесплотное существо — ее alter ego, ее совесть — и требует, чтобы она тотчас же перестирала белье, используя для этого все тот же новейший стиральный порошок. Итак, совесть чиста, белье слепит белизной. А Бёль — кто бы мог подумать? — вспоминает о тех временах, когда такие вот немецкие «Чистовы» принимали участие во всякого рода «очистительных» — то есть карательных — мероприятиях, проводимых как в самой Германии, так и в оккупированных ею странах. Себя они считали «чистыми», пишет Бёль, а русских, евреев, поляков — «грязными». Ликвидировались люди других наций, уничтожались инакомыслящие. А немецкий обыватель оставался «чистеньким», он умывал руки. И всегда находились — находятся и до сих пор — паллиативы для успокоения его совести.

Боннские политики, по словам Бёля, мало чем отличаются от фрау Зауберман, их совесть успокаивается столь же простым способом, они так же легко превращают черное в белое. Не менее успешно занимаются этим и католические священники, в особенности те, что служат в бундесвере. И в результате, с горечью признает Бёль, молодое поколение вновь оказывается «позорно преданным», ведь из его рядов рекрутируется «чистая армия» для «грязной войны».

«Молодой некатолик», которому Генрих Бёль адресовал свое письмо,—Гюнтер Вальраф, широко известный как талантливый журналист, продолжающий традиции «неистового репортера» Эгона Эрвина Киша. В 1966 году его очерк под названием «Вальраф в бундесвере» и под рубрикой «Протоколы» появился в журнале «Кюрбискерн». Вальраф отказался служить в бундесвере, но его все-таки призвали — до рассмотрения дела. В бундесвере Вальраф повел себя необычно. Он отказался брать в руки винтовку, и тогда, чтоб во время походов это не так уж бросалось в глаза, ему выдали вместо винтовки палку. Днем он украшал палку свежим полевым цветком, а вечером, как положено, ставил ее с этим украшением в козлы. Потом, чтобы другим солдатам не было завидно, он и в дула их винтовок начал засовывать по свежему полевому цветку. Это повторялось до тех пор, пока начальство не спохватилось. А однажды Вальраф, к величайшему изумлению окружающих, употребил запретное слово «ГДР». Призванный к ответу, он объяснил, что сделал это для краткости: ведь капитан всегда говорил «так называемая германская, так называемая демократическая, так называемая республика», на что уходило слишком много времени. Короче говоря, Вальраф в бундесвере удачно играл роль «бравого солдата Швейка», и это пришлось по вкусу Бёлю, который еще в 1956 году в статье, напечатанной журналом «Акценте», писал, что в немецком романе о второй мировой войне ему недостает художественного образа, содержащего в себе «хотя бы три грамма Швейка». Для Вальрафа это кончилось тем, что его упрятали в психиатрическую лечебницу. И, как сообщает в своем «Письме» Бёль, выпустили оттуда потому, что имя молодого репортера стало достоянием гласности. Поистине швейковский финал этой правдивой истории таков: врачи дали заключение, что Вальраф, как «анормальная личность», не пригоден к службе в армии.

Совершенно очевидно, что в образе Шмёльдера, созданном Бёлем за два года до вальрафовской истории, содержится более трех граммов Швейка. За видимой придурковатостью обоих солдат скрывается их умственное превосходство над офицерами, которых они сплошь да рядом оставляют в дураках. Чудачества Шмёльдера обеспечивают возможность хотя бы внутреннего противостояния военщине. И, главное, каждая его чудаковатая выходка помогает выявить нелепость милитаризма. Что-то швейковское ощущается и в образах обоих Грулей, героев повести «Чем кончилась одна командировка»*, написанной в один год с «Письмом к молодому некатолику». Кто знает, быть может, заинтересовавшая Бёля вальрафовская история пусть не прямо, но косвенно воздей-

* См. «Иностранную литературу» №№ 11—12 за 1966 г.

ЛИДИЯ СИМОНЯН
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ О ЧУДАКАХ, НЕМНОГО О ХЭППЕНИНГАХ

ствовала на его творческое сознание как раз в то время, когда он работал над повестью «Чем кончилась одна командировка».

Георг Груль — младший герой повести «Чем кончилась одна командировка», действие которой происходит в наши дни, тоже чудак. Призванный в бундесвер, он получил возможность, живя на всем готовом, ни о чем не думать и ничего не делать. А он, как с удивлением отмечает ефрейтор Куттке, страдает от этого. Сам ефрейтор ничуть не страдает; он твердо решил, что, прослужив двенадцать лет и выйдя в отставку, откроет на скопленные деньги тотализатор.

Георгу поручено, все равно как и где, «наездить километраж» на бундесверовском джипе. Дома он заводит мотор на холостом ходу, а на обратном пути, вместе с отцом, поджигает джип, сопровождая поджог религиозными песнопениями. Оказывается, это современная разновидность искусства, именуемая хэппенингом, происшествие, но не случайное, а организованное, импровизированный спектакль, в котором актеры становятся зрителями, а зрители актерами.

Полевой цветок в дуле винтовки — быль. Сожженный столь странным образом джип — скорее всего небылица. И уж во всяком случае, явная нелепость, смысл которой требует объяснения. В повести есть один легко расшифровываемый символ—мотор, крутящийся на холостом ходу. Конечно, абсурдность такого действия символизирует собой абсурдность существования бундесвера, цели которого несовместимы с разумом. А как объяснить поджог джипа? Протестом против абсурда? Но почему этот протест принимает форму хэппенинга? Только ли в том дело, что Бёлю захотелось выразить свое, бесспорно ироническое, отношение к так называемой новой форме искусства? Или, быть может, Бёль сумел уловить нечто такое, что тогда было заметно немногим: выход хэппенинга в сферу политики? Теперь каждому ясно, что хэппенинги, организуемые бунтующими студентами в Западном Берлине и во многих городах ФРГ, нарушают не только распорядок уличного движения; в них содержится вызов всему существующему порядку. Однако теперь ясно и другое: в принимающем форму хэппенинга политическом вызове в большей или меньшей степени проявляется анархизм тех, кто этот вызов бросает.

Вспомним один случай, о котором писали газеты и в ФРГ, и в ГДР.

Бригитта Герстенмайер, жена председателя бундестага, напечатала статью, в которой называла студентов неумытыми бунтовщиками. Студенты надели купальные халаты, повесили на шеи полотенца, взяли в руки мыльницы и устроили возле боннской резиденции председателя бундестага и его супруги театральное представление, которое было одновременно и уличным происшествием. Они скандировали стихи, именовали в них жену председателя бундестага Бригиттой Зауберман и предлагали, чтобы она допустила их до своей ванны. Они доказывали, что худшая грязь — та, которая скрывается под обличием чистоты, грязь в духе Герстенмайера и его политики. В общем, это был вариант хэппенинга, с той лишь разницей, что вопреки обыкновению представителей поп-арта ему был придан политический смысл. Что ж, и поджог джипа, совершенный Грулем, не так уж бессмыслен, как кажется. Им достойно завершается пребывание Георга в бундесвере, за все время которого он не потратил ни одной минуты на что-либо, нужное людям.

Не приходится сомневаться, что в повести Бёля своеобразно, даже причудливо выразилось то ощущение недовольства уродливо сложившимся укладом жизни, которое в его стране нарастает с каждым годом.

Автору этих строк довелось побывать в ФРГ весной 1967 года, как раз в то время, когда торжественно хоронили Аденауэра, мемуарам которого, изданным при жизни, Генрих Бёль посвятил разящий памфлет: он наглядно показал, что в этих мемуарах, как и в политике Аденауэра, на долгие годы определившей боннский политический курс, «много подлости» *. Об этом приходилось вспоминать не раз. И тогда, когда в обыкновенном путеводителе по городу обнаруживалась карта Европы с границами не по Одеру—Нейсе, а такими, каких после разгрома фашизма не существует и существовать не должно. И тогда (это было в дни выборов в ландтаги), когда на телеграфных столбах теснящихся друг к другу прирейнских городов бросались в глаза плакаты неонацистской партии: на красном фоне зловещие черные буквы. В предвыборном газетном листке, который неонацисты совали в руки прохожим, было черным по белому написано, чего они хотят: чтоб опять была «Германия превыше всего».

И вот в этом государстве Генрих Бёль выпустил такую книгу, как «Самовольная отлучка». В этой книге он показал, как скверно — сквернее, чем от выгребной ямы! — пахнет от того, что реваншисты объявляют благородной национальной традицией: от германского милитаризма. (Как тут не вспомнить Генриха Гейне с его «Зимней сказкой»!..)

Разумеется, и изображение бундесвера как механизма, движущий принцип которого — абсурд, достаточно сатирично. Бёлю, автору обоих повестей шестидесятых годов, присуще гротескное восприятие жизни. Между тем повести, написанные в разных ключах, звучат по-разному.

В гротескных ситуациях, которые Бёль с такой изобретательностью придумывает в первой повести, наглядно проявляется трагизм исковерканных человеческих жизней. Как ни смешон Шмёльдер в тот или иной момент, этот трагизм явно ощущается и в его судьбе, и в судьбе его близких.

* См. Генрих Бёль. Мемуары Аденауэра. Перевод с немецкого Л. Лунгиной. «Новое время» № 2, 1966.

Ирония, с которой написана книга, настолько горькая, что даже возникает вопрос: не безысходен ли этот трагизм?

Прежде Анна Бехтольд, как могла, сопротивлялась злу, например, «собственноручно сбросила с лестницы молодчика из полевой жандармерии, который выслеживал ее сына». Теперь она воспитывает внуков, причем очень своеобразно: детей удачливого дельца Иоганнеса, вырастающих в ортодоксальной религиозной атмосфере, подбивает взбунтоваться, детей покойного Антона, «явно левого», заставляет молиться. Не означает ли это, что автор повести больше всего боится какого бы то ни было фанатизма? У него, пережившего годы фашизма, есть для этого основания.

Шмёльдер твердо убежден в том, что «настоятельно рекомендуется самовольная отлучка из части». Эта отлучка, утверждает он, а с ним и его теща, должна длиться всю жизнь. Тут подразумевается дезертирство из гитлеровской армии, но не только оно. Шмёльдер считает, что человек вообще не должен идти «в строю», потому что это лишает его свободы мысли и действия. Так полагает и Бёль. Об этом он говорил и в одной из статей, вошедших в недавно изданный сборник его публицистики. Там сказано, что решимость пребывать вне строя ведет свое начало от гитлеровских времен, когда бо́льшая часть молодежи маршировала по пути, указанному фашистами и приведшему к позору и гибели. Бёль с тех пор вообще отказывается «шагать в ногу» с кем бы то ни было; быть может, некоторые высказанные им весьма спорные суждения в известной мере связаны с этой позицией.

Бёлевские чудаки — всегда одиночки (их окружает толпа процветающих и благоденствующих). И они страдают от своего одиночества. В лучшем случае, как зять с тещей, держатся друг за друга. Это помогает им жить, но это не меняет жизни к лучшему. Она остается трагичной. Выхода, в сущности, нет.

Во второй повести все кончается благополучно, но в этом благополучии есть что-то смешное, как смешон маленький городишко Биргдар с его людьми, знающими друг друга как свои пять пальцев. Люди эти скорее хорошие, чем плохие, а вот жизнь, которая выпала на их долю, скорее плоха, чем хороша. В ней, пожалуй, все нелепо, кроме обычных человеческих чувств: любви, дружбы. Но и эти чувства выглядят комично, потому что комичны испытывающие их люди.

Повесть комедийна от начала и до конца, а в конце ее Агнес Халь, очаровательная старая дева, которая когда-то в войну потеряла любимого, завещает Георгу Грулю все свое состояние с тем, чтобы он каждый год поджигал по бундесверовской машине... Комедия, созданная Бёлем, чем-то напоминает театр абсурда. Но абсурдность не возводится в абсолют, она связывается с конкретными обстоятельствами западногерманской действительности.

В обеих повестях Бёль верен самому себе. он, как и его чудаки, делает то, что находит полезным, не заботясь, придется ли это по вкусу правящей клике или широкой публике. Очень может быть, что он, как и его чудаки, чувствует себя одиноким.

Чудаки для Бёля олицетворяют преднамеренное отклонение от нормы. Он понимает, что приспособленческая норма морали, установленная в его государстве, по существу, аморальна. Его чудаки — не приспособленцы. В этом прежде всего и выражается их чудачество.

В книге Пауля Шаллюка, вышедшей в 1967 году и называющейся «Дон Кихот из Кёльна», тоже есть чудаки и даже хэппенинг. Бёль пишет о чудаках. Шаллюк пишет о Дон Кихоте. Его давно уже тянуло к этому бессмертному образу. Старший герой его известного советскому читателю романа «Энгельберт Рейнеке»*, учитель Леопольд Рейнеке, по прозвищу Низачток, всю свою жизнь, завершившуюся героической смертью, смахивал на Дон Кихота, но боролся в одиночку, на свой страх и риск не с ветряными мельницами, а с фашистской диктатурой, ни за что не соглашаясь смириться перед нею.

Кёппен причисляет к собратьям Дон Кихота героя своего романа «Теплица». Чем же все-таки объяснить такое совпадение?

Когда в 1967 году Генриху Бёлю вручили премию имени Георга Бюхнера **, он, между прочим, сказал, что принадлежит не к «верхам» или «низам» и даже не к «самоуспокоенной середине» современного общества. Он — «на обочине», то есть не там, где проходит магистраль «экономического чуда», главная для тех, кто живет наживой, а в стороне от нее. Он и говорит оттуда, «с беспокойной обочины, с такой точки зрения, для которой уверенность сомнительна, а самоуверенность невозможна».

Пожалуй, Бёль этими словами довольно точно определил положение той западногерманской интеллигенции, которая не идет на компромисс с существующим в стране порядком, понимая его неразумность и несправедливость. «Верхи» ее ненавидят, «середина» — масса обывателей — презирает, а «низы»... Вот в этом весь вопрос. Как он решится, покажет будущее. Его решение зависит от совокупности многих социально-исторических причин, в том числе и от самой интеллигенции.

Бёль не мыслит себе другого места, кроме «обочины». Там он и находит своих любимых героев, своих чудаков, тоже бескомпромиссных, тоже одиноких в своей бескомпромиссности. Каждый из них немножко Дон Кихот, ибо пытается восста-

* См. «Иностранную литературу» №№ 11, 12, 1963.

** См. «Иностранную литературу» № 12, 1967.

ЛИДИЯ СИМОНЯН

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ О ЧУДАКАХ, НЕМНОГО О ХЭППЕНИНГАХ

новить справедливость собственными силами и собственными средствами.

«На обочине» жил и Ганс Шнир, герой романа «Глазами клоуна», созданного в 1963 году. И не столько потому, что он был артистом, сколько потому, что он всегда поступал согласно собственным взглядам на жизнь, не соответствующим общепринятому; он готов был лишиться единственно возможного для него счастья, лишь бы не отказаться от этих взглядов, гораздо более естественных, чем то, чего требуют общество и церковь. И когда не стало ни любви и счастья, ни хлеба насущного, он начал просить подаяния у прохожих не потому, что боялся голода, а потому что этот его чудаческий поступок означал вызов преуспевающим обывателям, даже той, кого он любил, Мари. Разве не было в этом поступке чего-то донкихотского?

Пауль Шаллюк своего героя, Антона Шмица, называет Дон Кихотом из Кёльна. Шмицев в кёльнской телефонной книжке 3422. Но Дон Кихотом стал лишь один из них. Тот, кто работал на кёльнском радио редактором отдела «культурного слова» и вел передачи под названием «размышления о времени» или «время размышлений». В один прекрасный день он почувствовал, что не в силах произносить и выносить пустопорожние слова о гуманизме, и тогда... Постойте, ведь это уже было в литературе!.. Был доктор Мурке из бёлевского рассказа, названного его именем, тоже сотрудник местного радио, которому до того надоело официальное словоблудие, что он, сидя у себя дома, слушал молчание (прокручивал магнитофонную ленту с вырезанными и склеенными паузами). Но в том-то и дело, что Антон Шмиц не сидит дома, а выходит на улицу для того, чтобы действовать. Иначе и не может быть: все донкихоты — натуры действенные. Он, семь лет думавший и говоривший о гуманизме, решает отныне и навсегда воплощать в жизнь мысль и слово. Но делает он это по-своему, по-донкихотски

Где Дон Кихот, там и Санчо Панса. Его зовут Петер Шеель, он друг детства Антона Шмица, тоже работает на радио, только техником. А вот Россинанта заменяет велосипед. Есть еще и самодельный громкоговоритель. Ибо Антон Шмиц продолжает вещать, но теперь уже только правду.

Рассказчик все время стремится установить истину, споря с теми, кто в печати или по телевидению (радио, естественно, молчало) фальсифицировал намерения кёльнского Дон Кихота.

...Однажды кёльнский Дон Кихот, завидев автобус с туристами, решил, что везут узников. И ринулся их освобождать. Кёльнское телевидение мотивировало его поступок тем, что когда-то в это же самое время и в этом же самом месте на его глазах в грузовике провезли евреев, предназначенных к уничтожению. Ничего подобного, доказывает рассказчик, автор правдивого жизнеописания Антона Шмица, это все выдумки, евреев никогда не возили днем, по заведенному порядку это делалось на рассвете. К тому же телекомментатор лжет, когда утверждает, будто евреи, насильно изымаемые из привычной обстановки, из жизни и отправляемые навстречу неизвестности, навстречу смерти, «сохраняли мужество». Единицы, может быть, и сохраняли, а большинство терзалось страхом, мучительным, ужасающим, смертельным страхом, которого никто на их месте не избежал бы. Что же касается Шмица, то у него и сегодня достаточно причин для того, чтобы ринуться освобождать узников. Рассказчик ссылается на некую рукопись, в которой «на шести страницах рассматривались шансы быть в нашей республике арестованным за неоппортунистическое политическое прошлое, за мысли или устные высказывания красного оттенка». Передав в свое время этот текст по радио, Шмиц навлек на себя гнев начальства...

Кёльнский Дон Кихот то и дело приходит в столкновение с тем, что считается установленным порядком. Он видит в нем беспорядок, он старается поставить все на свое место, чего бы это ему ни стоило. И хотя это ему не удается, правота остается за ним. Фигура Дон Кихота, находящаяся в центре повествования, дает писателю возможность снова и снова выявлять несоответствие между тем, что есть, и тем, что должно быть. Книга Шаллюка — острополемическая. В ней оспаривается представление о ФРГ, как о «республике благоденствия». В этом, как иронизирует Шаллюк, «чистом обществе» не только у инакомыслящих и иноплеменных, которых считают грязными, незавидная доля. В сущности, незавидна она и у благоденствующих обывателей. Они, стараясь не отставать друг от друга, покупают вещь за вещью, серию вещей отнюдь не первой необходимости, и эта становящаяся самоцелью погоня за вещами приводит к серийному производству человеческих жизней, одинаково убогих: всех их отличает духовная нищета.

Однако главное в книге — взаимоотношения кёльнского Дон Кихота с молодыми, со всеми, кого он именует «сыновьями и дочерьми»,— экзамен, который приходится держать каждому человеку старшего поколения, в том числе и Антону Шмицу.

Эти «чернокожие» (они, как пишет Шаллюк, любят рядиться в черные кожаные куртки), эти «длинноволосые» понимают его далеко не всегда. Когда он, войдя в их кафе, предложил им «совместные поиски выражения их имманентного протеста, их протеста против отсутствия приключений в этом до стерильности упорядоченном мире потребителей», один из молодых людей, приняв слово «стерильность» на свой счет, полез в драку. А когда кёльнского Дон Кихота вышвырнули из универсального магазина те, кого он назвал «рабами вещей», среди выталкивающих его, наверно, были и молодые люди. И тем не менее кёльнский Дон Кихот продолжал делать все для того, чтобы молодежь его поняла. Он даже произнес речь на митинге.

Вот мы и подошли к хэппенингу, который у Шаллюка совсем иной, чем у Бёля. Молодежь на велосипедах отправляется на очередной митинг протеста. Маршрут согласован с полицией, которая следит, чтоб не было нарушений порядка. Таким образом, это санкционированный протест. Порядок нарушает кёльнский Дон Кихот, вслед за которым велосипедисты сворачивают в другую сторону, врезаясь в религиозную процессию, возглавляемую патером Ремигиусом Шпором, с которым автор еще раньше познакомил читателей. Однако даже этому опытному демагогу не удается взять бразды правления в свои руки. Всеобщим вниманием завладевает кёльнский Дон Кихот, который произносит речь. В этой речи звучит возмущение настоящим, тревога за будущее. Антон Шмиц призывает к прозрению и к действиям. А пока происходит не действие, а действо, кончающееся тем, что молодежь, вслед за Антоном Шмицем, рвет на клочки все лозунги, как те, что принесли с собой католики, так и те, что принесли с собой протестанты (не в религиозном, а в другом, более широком смысле этого слова). Ибо, по заявлению кёльнского Дон Кихота, всякие лозунги, в том числе и политические, столь же бесполезны, «как парик на подстриженной ежиком голове пилота реактивного самолета или как проповедь целомудрия в эпоху противозачаточных средств». В другое время и в другом месте Антон Шмиц говорит об «импотенции слов», видимо, в том числе и политических терминов.

В интервью, данном вожаком западноберлинского студенческого движения Руди Дучке незадолго до того, как он был тяжело ранен фашистом Бахманом, хэппенинг назван в числе средств сегодняшней политической борьбы. Вместе с тем это интервью, как и все предыдущие, доказывает, что Руди Дучке, не скупясь на политические термины, употребляя наряду со старыми новые, только что им придуманные, вносит в их понимание не ясность, а путаницу.

Молодежное студенческое движение в Западном Берлине и в Западной Германии буйно разрастается. Вспомним хотя бы июнь 1967 года, схватку с полицией, во время которой выстрелом в спину был убит студент Бенно Онезорг, его похороны, вылившиеся в манифестацию, в которой участвовала молодежь обоих германских государств. Или февраль 1968 года, когда демонстрация в защиту Вьетнама от агрессии США состоялась вопреки властям, пытавшимся организовать контрдемонстрацию. Или весну 1968 года, борьбу студентов против монополии Шпрингера, не говоря уж о волнениях, вызванных выстрелами в Руди Дучке, и о выступлениях, последовавших за принятием чрезвычайных законов. Однако молодежное студенческое движение все еще замкнуто в себе самом, хотя давно уже вышло на улицу. Если оно приобретает размах, то тогда, когда старается преодолеть эту замкнутость. А его вожди выкрикивают столько противоречивых политических лозунгов, что это не может не привести к инфляции политических терминов.

Разумеется, молодежное студенческое движение, при всей его экстравагантности, выражает собой закономерное возмущение тем социально-политическим режимом, который установлен в ФРГ и в Западном Берлине. Молодежь чутко реагирует на фальшь, она знает, чего стоит лживая политика Кизингера и Брандта, демагогические действия Шюца. Но блуждая в поисках иных путей, ведущих к лучшему будущему, она путается в философских учениях и политических концепциях, склоняется к архилевацкой фразеологии. И не замечает, как эта фразеология обесценивает слова, имеющие цену.

Разумеется, из-за этого не следует подвергать сомнению бесспорность таких требований, как борьба против агрессии США во Вьетнаме, против фашистской диктатуры в Греции, как противодействие чрезвычайным законам в ФРГ. Но одного экспонирования этих бесспорных лозунгов, одного скандирования этих бесспорных лозунгов, конечно, мало. Об этом свидетельствует как роман Пауля Шаллюка, так и выступление Мартина Вальзера, напечатанное в конце 1967 года в журнале «Курсбух». Вальзер сказал тогда: если сегодня в ФРГ состоялся митинг протеста против агрессии США во Вьетнаме, завтра США будут все так же бомбить Вьетнам — «ни одной бомбой меньше»,— зато протестующему станет легче, «пиво больше придется ему по вкусу, и сон будет крепче». Но тут же добавил: «Протест стал для меня такой же необходимостью, как для ведущих войну — война».

Конечно, протесты не только успокаивают совесть протестующего, но и оказывают влияние на общественное мнение. Однако одних митингов протеста, даже и не санкционированных полицией, мало; это доказывает хотя бы тот факт, что правительство ФРГ все-таки приняло чрезвычайные законы, создающие возможности для установления фашистской диктатуры. Коммунистическая партия, запрещенная в ФРГ, в проекте новой программы, недавно принятом, утверждает необходимость единого фронта борьбы против реваншизма, милитаризма, фашизма. И подчеркивает, что только участие рабочего народа в этой борьбе сделает ее подлинно массовой, подлинно перспективной.

Судя по всему, Шаллюк, как и Бёль, думает, что человек, отстаивающий справедливость, должен оставаться вне строя, ибо пребывание в строю исключает самостоятельность в решении жизненно важных проблем. Не для того ли, чтобы утвердиться в этой мысли, Шаллюк показывает, как во время хэппенинга, в определенный момент, молодых людей охваты-

---

ЛИДИЯ СИМОНЯН

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ О ЧУДАКАХ. НЕМНОГО О ХЭППЕНИНГАХ

вает «массовое безумие» и они, потеряв власть над собой, вопят без удержу?

Зарубежная история знает немало примеров «массового безумия»; вспомним беснующуюся толпу, которая ревет: «Хайль Гитлер!», «Зиг хайль!» Но разве не знает история и других примеров, доказывающих возможность и целесообразность осознанных коллективных действий во имя гуманной цели: в недавнем прошлом — поистине массовую героику освободительного партизанского движения в годы второй мировой войны? Да и антифашисты-подпольщики тоже действовали сообща и организованно. А тот, кто борется в одиночку, волей-неволей оказывается в положении Дон Кихота.

Изображая как хэппенинг митинг протеста, Шаллюк коснулся разных сторон современной западногерманской жизни, связанных и с ее прошлым, и с ее будущим. И, конечно, не случайно воспроизвел реплики бюргеров, полные ненависти к молодым «возмутителям спокойствия».

Злобное отношение той «самоуспокоенной середины», о которой говорил Бёль, к мятежной, неудовлетворенной существующим положением вещей молодежи всецело поддерживается и всячески провоцируется шпрингеровской прессой: она пытается изобразить это движение как «левый фашизм» — разумеется, для того, чтоб с ним легче было расправиться. Об удобном для правящих кругов взгляде на молодежь как на «внутреннего врага» Шаллюк писал и после своей книги про Дон Кихота, в 1968 году, в очерке, напечатанном газетой «Вельт дер фрейцейт». В нем рассказывается история актера Вольфганга Килинга, который, готовясь сыграть новую роль на телевидении, отрастил бороду и стал похож на сегодняшнего студента. Килинга поразила неприкрытая, выражавшаяся не только в ругани, но и в угрозах злоба, с которой его встречали на улицах западногерманские бюргеры. Он отнес это за счет ложной информации, в которой повинен шпрингеровский концерн, и отказался от вручаемой представителями концерна премии «Золотая камера», присужденной ему в прошлом году. Продолжением этой истории служит заметка в «Берлинер цейтунг», сообщающая, что Вольфганг Килинг, покинув ФРГ, переехал в ГДР.

Конечно, и кёльнский Дон Кихот сталкивался со злобой, которую западногерманский обыватель испытывает по отношению ко всему, что угрожает его самоуспокоенности и самодовольству.

В мире обывателей, который Шаллюк называет миром потребителей, удовлетворяются всевозможными эрзацами убеждений, мыслей, чувств — настоящими должны быть только холодильники, телевизоры, автомашины. Обладателей этих вещей устраивает тот эрзац истины, который им поставляет печать, радио, телевидение. Другого им и не нужно.

Другое нужно детям кёльнского Дон Кихота, его сыну Ганнесу, его дочери Марихен. Если Марихен достаточно участия в митингах протеста, то Ганнесу этого мало. К тому времени — а это происходит далеко не сразу,— когда читатель узнает, что рассказчик, автор правдивого жизнеописания кёльнского Дон Кихота — не кто иной, как его сын, впечатление об этом юноше уже сложилось. Он не такой чудак, как отец, у него менее романтический, более реалистический склад ума, к тому же он скептик, как и полагается современному молодому человеку, но это не мешает ему искать правду. Впрочем, к концу книги он ищет для кёльнского Дон Кихота его Дульцинею, которую зовут Клаудией. И так же не желает мириться с неудачами в этих поисках, как не желал мириться с фальшивыми легендами о кёльнском Дон Кихоте, выгодными тем, кто их создавал.

В книге Шаллюка, как и в книгах Бёля, жизнь принимает гротескные очертания. Это своеобразие их таланта проявилось раньше. Но в шестидесятые годы оно стало определяющим. Вероятно, потому, что к исходу второго десятилетия существования ФРГ общее впечатление от глубоко зашедших процессов возрождения старого в новом обличии стало явно гротескным — по крайней мере для того, кто умеет сквозь благопристойную видимость разглядеть уродливую сущность явлений. Чудаки Бёля и Шаллюка гротескны постольку, поскольку их отвращение к уродливому выражается в поступках, кажущихся нелепыми.

Чудак — человек, чье поведение перестало бы казаться на редкость неразумным, если бы мир был разумно устроен. О разумном устройстве западногерманской действительности пока говорить не приходится. Конечно, эта действительность неприемлема не только для чудаков. То, что происходит на родине Генриха Бёля и Пауля Шаллюка, внушает опасения всем людям доброй воли.

Э. КАРХУ

ПУТЬ К РЕВОЛЮЦИИ

(Уроки Майю Лассила)

Знакомство русских читателей с Майю Лассила началось с переводов Михаила Зощенко. Как говорится, нет худа без добра: в конце сороковых годов, когда самого Зощенко печатали неохотно, в поле его зрения попали две юмористические повести Лассила: «За спичками» и «Воскресший из мертвых», которые он вскоре и перевел. Этому не столь частому совпадению, когда и автор и переводчик оба незаурядные юмористы, Лассила обязан тем, что по-русски он сразу заговорил в полную силу. За превосходными переводами Зощенко последовали другие, сделанные другими переводчиками, и так Лассила стал известен в стране, с которой еще в начале столетия переплелась его судьба и язык и культуру которой он хорошо знал.

В Финляндии Лассила давно пользуется популярностью, его повести переиздаются, его комедии играются на сцене. Словом, непреходящая ценность его творчества проверена временем, хотя все еще остается немало разных «но». Дело в том, что жизнь и творчество Алгота Гиетявяйнена (Унтола), писавшего под разными псевдонимами, но более всего известного под женским именем Майю Лассила, на редкость полны загадок и парадоксов, и едва ли найдется в финской литературе другой писатель, который бы так озадачивал своих биографов и истолкователей.

Не совсем обычно уже то, что в литературу Лассила пришел в сравнительно позднем возрасте. Когда в 1909 году, под псевдонимом Ирмари Рантамала, вышел первый его роман «Хархама», младший его современник Эйно Лейно, родившийся десятилетием позже, успел написать уже лучшую часть того, что принесло ему славу крупнейшего финского поэта. Если тридцатилетний Лейно, страдая от разлада с эпохой и с самим собою, сетовал на раннюю старость и невесело шутил, что отныне он больше занят сочинением завещаний, чем стихов, то Лассила в начале пятого десятка лишь приступал к осуществлению своих замыслов. Для него как писателя все было еще впереди, он только искал себя и был преисполнен столь грандиозных планов, какие обычно свойственны юности, склонной возмещать недостаток опыта безоглядной решимостью. Писательская молодость Лассила проявлялась и в его подверженности всевозможным литературным влияниям, и в той резкости, с которой он затем порывал с этими влияниями, нащупывая свой путь через сложные изломы и крайности.

Но, начав поздно, Лассила входил в творческую силу с редкостной напористостью и энергией. Словно предчувствуя, что судьба отмерила ему немного лет, он работал с подвижническим самоотречением, выпуская по три, четыре и даже девять книг в год — таким рекордным для него оказался 1912 год, когда отдельными изданиями вышли три его комедии и шесть больших рассказов. Между прочим, обилие псевдонимов, к которым прибегал Лассила, объяснялось отчасти и тем, что издатели находили неудобным издавать столько книг под одним именем — читатели-де могли заподозрить что-то неладное. Читателям и впрямь было трудно вообразить, какого напряжения стоили автору эти книги.

Однако с псевдонимами писателя связано еще и другое, более удивительное обстоятельство: избирая новый псевдоним, автор до неузнаваемости изменял и прежнюю манеру письма, так что каждому псевдониму

соответствовал и свой особый творческий почерк. Читателю юмористических повестей писателя и зрителю его веселых комедий — а именно эти произведения вышли под псевдонимом Майю Лассила и сделали его знаменитым — нелегко, например, понять, что общего они имеют с другими, менее известными его книгами, вышедшими под псевдонимами Ирмари Рантамала и И. И. Ватанен. По кругу тем и характеров, по авторскому мироощущению и общей атмосфере повествования это настолько разные вещи, что даже современники писателя, не посвященные в издательскую тайну, были уверены в их принадлежности разным авторам.

При не очень глубоком прочтении юмористических повестей Лассила, таких как «За спичками» или «Воскресший из мертвых», у читателя может возникнуть — и нередко действительно возникает — недоуменный вопрос: в чем тут дело, почему именно Лассила, этот щедрый выдумщик смешных историй о незадачливых сельских простаках или о городском босяке Ионни Лумперн, любителе выпить и охотнике до сомнительных авантюр, но столь же далеком от всех политических проблем эпохи,— почему именно Лассила явился одним из немногих крупных финских писателей, кто в 1918 году безоговорочно встал на сторону восставшего народа и сохранил ему верность вплоть до трагического финала, приняв смерть от белогвардейских пуль? Иными словами, есть ли какая-нибудь связь между писательским и политическим обликом Лассила, между его юмором и революционной публицистикой, между его творческой эволюцией и напряженными политическими исканиями с их конечным итогом — приходом писателя в революцию?

Видимо, сама постановка подобных вопросов применительно к «странному» Лассила представляется некоторым финским его исследователям настолько проблематичной и бесперспективной, что они обычно не утруждают себя размышлениями в этом направлении и тем самым лишь подкрепляют миф о фатальной раздвоенности писателя, превращая его в загадочного сфинкса.

Дело осложняется еще тем, что и политическая биография Лассила тоже полна превратностей и изломов. Например, период довольно продолжительного его общения с русскими революционерами в Петербурге (1900—1904 годы) неожиданно сменился периодом активного его сотрудничества с так называемыми старофиннами — самой консервативной тогда в Финляндии буржуазной партией, отличавшейся как раз соглашательской политикой по отношению к царизму. Затем, основательно уже разочаровавшись в этой партии, Лассила временно отошел от политической деятельности и годами вел до такой степени непонятный образ жизни, словно нарочно задался целью оставить потомкам загадку о странном чудаке-нелюдиме. Недавний политический агитатор и публицист, искавший живого контакта с аудиторией, теперь накрепко заперся в полутемной подлестничной каморке одного из хельсинкских домов и решительно избегал встреч с кем бы то ни было; от соседей по дому он тщательно скрывал свое имя и писательскую профессию, значась в домовой книге как разнорабочий, а от всех прочих таил свой адрес, прося присылать корреспонденцию только до востребования; он сам готовил себе пищу, убирал комнату, а дела с издательством, до которого можно было запросто дойти пешком, вел только по переписке, наотрез отказавшись от личных встреч с редакторами своих книг, как бы его об этом ни просили. Росла его литературная слава, но самого писателя никто не видел, потому что публично он нигде не появлялся, даже на прогулку выходил украдкой. Такая отшельническая жизнь длилась лет пять-шесть, и это были годы напряженнейшего литературного труда. Лассила работал до изнурения и подчас жаловался, что писательство превратилось для него в каторгу, принося при этом очень скромное материальное вознаграждение. Но странное дело, каким бы малодоходным занятием ни была в ту пору литература в маленькой Финляндии, Лассила и тут вел себя весьма своеобразно. Когда ему за первую юмористическую повесть была присуждена литературная премия, он через газету отказался от нее, не выдвинув достаточно ясных мотивов. А гонорарами за свои книги он довольствовался настолько мизерными, что сами издатели, как известно, отнюдь не отличающиеся избыточной щедростью, удивлялись скромности его требований.

И вот, после многих лет такого добровольного и изнурительного затворничества, в жизни Лассила вновь произошел крутой поворот. В 1916 году в социал-демократической газете «Тюэмиес» он опубликовал свои знаменитые «Письма буржуа», в которых открыто порвал с буржуазными партиями, свел старые счеты со старофиннами и заявил о своей солидарности с социалистическим рабочим движением. В последующие годы Лассила сотрудничает в этой газете, а в трагические дни апреля 1918 года, когда финляндская революция приближалась к своему поражению, он безвыходно проводит дни и ночи в полуопустевшей редакции «Тюэмиес» и пишет мужественные воззвания к красногвардейцам. В редакции, на своем посту, Лассила оставался вплоть до захвата революционного Хельсинки немцами из дивизии фон дер Гольца и финскими белогвардейцами.

Если не приложить усилий к тому, чтобы шаг за шагом выяснить, какая же внутренняя работа происходила в голове Лассила в тиши хельсинкской каморки и каким образом в отшельнике накапливалась вырвавшаяся затем на волю страстность революционного трибуна, то этот главный итог его жизни может действительно показаться непонятной загадкой.

Надо сказать, что по иронии судьбы о писателе, павшем жертвой классовой мести контрреволюционной буржуазии, пытались писать в сочувственном и похвальном тоне именно те из наиболее консервативных бур-

жуазных литературоведов, которые в еще большей степени сочувствовали победе контрреволюции. Что это, попытка хоть чем-нибудь «искупить» или смягчить жестокую вину своего класса? Как бы то ни было, ни Э. Райло, ни В. А. Коскенниеми, ни Р. Коскимиес, авторы статей и предисловий к посмертным изданиям сочинений писателя, вовсе не отличались прогрессивностью своих общественно-литературных взглядов. Однако в Майю Лассила они довольно дружно признали писателя выдающегося, одного из самобытнейших финских юмористов, бесспорного классика, чье творчество включалось в академические истории национальной литературы,— исключение, которого буржуазное литературоведение до недавнего времени не делало ни для одного другого финского революционного писателя. Только в последней, восьмитомной «Истории финской литературы» нашло, наконец, свое место при характеристике литературного процесса также творчество рабочих писателей, в чем несомненно сказалось положительное влияние общей демократизации финской жизни в послевоенный период.

В раннем признании Лассила буржуазными литературоведами «повинен», конечно же, его крупный художественный талант. Однако это признание имело и продолжает иметь однобокий и ограниченный характер. Не без основания считая наиболее ценным в литературном наследии писателя его юмористические произведения, буржуазные литературоведы искусственно отрывают в нем талант юмориста от всей совокупности черт его личности, от эволюции его мировоззрения, идейных исканий, политической биографии. В особенности смущает буржуазных исследователей итог сложной жизни Лассила, его приход в лагерь революции, к социалистическому рабочему движению. В революционной публицистике писателя они хотели бы видеть лишь достойную сожаления «ошибку», результат «болезненной неуравновешенности характера», минутный взрыв «личного ожесточения» и т. д. Впрочем, о последнем периоде жизни и о гибели Лассила обычно говорится очень бегло, как о чем-то не относящемся непосредственно к теме и упоминаемом лишь ради приличия, со вздохом сожаления и смиренной покорности перед роком.

По сравнению с прежними статьями и предисловиями более содержательна книга Эльзы Эрхо о Майю Лассила, вышедшая в 1957 году. Эта первая большая работа, написанная на широкой документальной основе, кладет начало научной биографии Лассила и вместе с тем вносит весомый вклад в изучение его творчества. Однако и в этой работе не до конца преодолен искусственный разрыв между художественными и общественно-политическими устремлениями писателя. Правда, за юмором его исследовательница признает определенное социальное наполнение, что выгодно отличает эту книгу от некоторых работ других авторов. И все же целостного представления о Лассила не получается. Когда в конце книги исследовательница кратко упоминает о революционной публицистике писателя, эти последние страницы оставляют впечатление более или менее формального постскриптума, без строгой логической связи с главным содержанием исследования. Переход Лассила на позиции рабочего класса является для Э. Эрхо не закономерным итогом его сложного духовного развития, а чисто случайным фактом его биографии, такой же «ошибкой», как и для Р. Коскимиес, назвавшего участие писателя в революции очередной главой его романа «Хархама», то есть очередным его заблуждением (имя Хархама происходит от слова «блуждать»). Сама трагическая судьба Лассила, столь тесно связанная с его эпохой и ее классовыми битвами, утрачивает в книге Э. Эрхо свои конкретные социально-исторические очертания и абстрагируется в некую извечную трагедию рока. Исследовательница видит в писателе «катастрофический тип» человека, обреченного на бесконечные блуждания и фатально движущегося навстречу своей гибели.

Если буржуазное академическое литературоведение питает преимущественный интерес к Лассила-юмористу и по примеру Р. Коскимиес утверждает, что в этом своем качестве он чужд политике, то со стороны финского рабочего движения главное внимание уделяется как раз другой стороне его наследия — тем социальным романам и статьям, которые писатель опубликовал под псевдонимом Ирмари Рантамала. Самый последний пример в этом смысле являет двухтомное исследование Р. Палмгрена о пролетарской литературе Финляндии (1966), в которой глава о Лассила ограничивается обзором именно этой части его творчества, не включая юмористических произведений. Таким образом, раздвоенность писательского «я» Лассила как бы разделяет и его исследователей.

Представляется, однако, что неправомерно столь резко отделять Лассила-юмориста от Ирмари Рантамала, потому что к революционной публицистике он пришел во многом именно через творчество юмориста и сатирика. Лассила-юморист в неменьшей мере связан с революционной эпохой и ее проблемами, чем в других своих произведениях, только связь эта иная, определявшаяся между прочим и эстетической спецификой юмора.

Лассила неотделим от революции, и есть нечто символическое в том, что в 1968 году, когда прогрессивная общественность Финляндии широко отмечает пятидесятилетие героических дней 1918 года, исполняется столетие со дня его рождения (и пятидесятилетие со дня его гибели). И совершенно естественно, когда на страницах демократической печати рядом с материалами о событиях революции — статьями, старыми фотографиями, воспоминаниями ветеранов — помещаются также материалы о Лассила.

Э. КАРХУ
ПУТЬ К РЕВОЛЮЦИИ

Газета «Кансан уутисет», орган Коммунистической партии Финляндии, перепечатала, в частности, предсмертную статью писателя «Полагаясь на свои собственные силы», написанную им накануне падения революционного Хельсинки и посвященную задачам финского рабочего движения. Сознавая весь трагизм настоящего, Лассила тем не менее думал о будущем. Он призывал рабочих в самом поражении обрести новое мужество и всемерно укреплять свою политическую организацию. Редакция «Кансан уутисет» справедливо назвала эту статью духовным завещанием писателя финскому рабочему классу.

Конечно, Лассила — сын своего времени, которое ставило перед ним совершенно конкретные задачи. Но вместе с тем немного найдется в финской литературе писателей, которые бы с такой страстностью были обращены в будущее, как этот талантливый художник-юморист и революционный мечтатель.

В публицистике Лассила можно встретить мысли, которые не поразят современного читателя новизной именно потому, что они настолько близки нашим сегодняшним представлениям о тех или иных событиях прошлого, что мы не всегда даем себе отчет в том, когда эти мысли были высказаны. Например, в самом начале 1918 года, сразу же после признания Советским правительством государственной независимости Финляндии, Лассила написал по поводу этого акта великолепную статью «В час расставанья». В ней все точно и прозорливо, и можно смело сказать, что в Финляндии не было тогда другого писателя, кто бы так глубоко понял всемирно-историческое значение Октябрьской революции и задачи финского рабочего класса, равно как и его интернациональный долг по отношению к Советской стране.

Но есть у Лассила и такие высказывания, которые, будучи вырванными из исторического контекста, могут показаться не совсем созвучными сегодняшнему дню. Например, в упомянутой статье «Полагаясь на свои собственные силы» Лассила, питавший еще незадолго до того надежды на то, что финская интеллигенция будет на стороне революционного народа, но затем разочаровавшийся в этих надеждах, весьма настойчиво проводил мысль, что впредь рабочему классу следует рассчитывать только на себя, не строя иллюзий относительно «образованного класса». Сегодня, когда и численность и общественная роль интеллигенции значительно возросли и когда вопрос о ее широком участии в борьбе за демократию и социализм оживленно обсуждается в коммунистической печати Финляндии, упомянутое утверждение Лассила представляется нуждающимся в коррективах. Но и в этом случае позицию писателя нельзя упрощать. Примером собственной жизни и самой своей гибели Лассила доказал, что подлинная духовность несовместима ни с противодействием ходу истории, ни с забвением народных интересов.

Связь Лассила с сегодняшним днем не сводится только к тому, насколько актуально звучит та или иная отдельно взятая его мысль. Его творчество и опыт его жизни дают богатый материал для постановки более широких проблем, не менее жгучих сегодня, чем полвека тому назад. Из них хотелось бы выделить две: проблему выбора писателем места в общественной борьбе и связанную с ней проблему принципиально нового изображения крестьянства у Лассила, которая небезынтересна хотя бы потому, что «крестьянских» писателей немало и в современной финской литературе — достаточно указать на ее крупнейшего романиста Вяйне Линна.

■

Проблема выбора в ее современном звучании была впервые поставлена в финской литературе именно революционной эпохой, в начале XX века, когда в Финляндии появилось социалистическое рабочее движение. До этого в финской литературе была мятежная поэзия Каарло Крамсу, были пьесы и повести Минны Кант, посвященные «рабочему вопросу», в некоторых произведениях выдвигалась дилемма повиновения или неповиновения героя «законной» власти. И только в предгрозовой обстановке революции проблема выбора была осознана литературой как вопрос: социализм или капитализм?

Именно этот вопрос преследует автобиографического героя первого романа Лассила. Бунтарь по натуре, но бессильный сделать выбор в надвигающейся борьбе, герой романа Хархама подвержен бесконечным сомнениям. Чтобы как-то преодолеть их, он даже пытается утешить себя мыслью, что-де выбор вовсе и не его личное дело: он должен лишь разбудить в массах ненависть к несправедливому строю, а там уж пусть сами массы решат, на какой основе — социалистической или с сохранением частной собственности — создать более совершенное общество. Однако для целенаправленных действий такой утешительной мысли недостаточно, она не спасает Хархама от метаний и приводит его к такому же этическому скептицизму, к которому сорок лет спустя пришел герой первого романа В. Линна «Цель», кстати сказать, тоже автобиографического. Оба героя знакомы и с бедственным положением рабочих, и с гнетом в деревне, оба они стремятся найти точку приложения своим силам и обрести ясную цель, но в то же время их «правдоискательство» носит чисто умозрительный характер: в целях отдельных общественных классов и политических партий они усматривают в лучшем случае лишь какую-то частицу искомой ими правды, которая полностью присутствует только в их отвлеченных мечтах. Эту умозрительную «правду», с апелляцией к христианскому гуманизму, они хотели бы «открыть» массам, поскольку реальная классовая борьба кажется им в чем-то нравственно ущербной. Хархама в романе Лассила занят тем, что в течение многих лет пишет сочинение, в котором намерен явить миру новую истину, он видит себя в роли мессии, служение «всемир-

ной нищете» превращается для него в религию.

Невозможность для Лассила уже в период «Хархама» решить проблему выбора в пользу социализма была связана с идеализацией крестьянства, не столь уж редкой среди финских писателей той поры, особенно так называемого «неоромантического» направления. После Петербурга Хархама, как и сам Лассила, попадает в глухую финскую деревню, не случайно в сценах предвыборной борьбы оппонентами социалистических агитаторов выступают крестьяне, к доводам которых Хархама прислушивается не без сочувствия. Если еще недавно, при всех своих сомнениях, он мог восхищаться целеустремленностью и классовым самосознанием русского рабочего Николая Петрова, то теперь его приводят в религиозный экстаз патриархальные «лесные жители», их мужественная борьба с природой и лишениями. Он начинает видеть в них богов и говорит, что ваятель должен лепить с них величественный образ Зевса, а все вместе они составляют для героя великую «книгу жизни», нечто вроде священного писания. Политически же итогам этой эстетизации патриархальности было как раз то, что Хархама, вчерашний участник тайной террористической группы в Петербурге, превратился в сторонника консервативной старофинской партии, которой всякие тираноборческие устремления были чужды и враждебны. Лассила стал жертвой демагогии старофиннов, искавших опоры в крестьянстве и обещавших облегчить положение так называемых торпарей, мелких арендаторов.

Однако и самому Лассила его метаморфоза уже тогда казалась столь неожиданной и парадоксальной, что на страницах романа он не раз возвращается к ее объяснению, и читатель постоянно чувствует, какое беспокойство она доставляет автору. Всепоглощающий скептицизм Хархама на этот раз оказался спасительным, сотрудничество со старофиннами не принесло ему душевного равновесия — напротив, «у него было такое чувство, словно жизнь швырнула его в какое-то болото, куда он и сам не думал попасть»,— читаем в романе .

Идеализацию крестьянства Лассила преодолевал как раз в последующих своих юмористических произведениях, и это обстоятельство очень важно учесть, если мы хотим понять, каким образом Лассила-юморист соотносится с революционной эпохой.

Сегодня, когда в финской критике довольно много пишется об «отчуждении», не лишне вспомнить, что именно Лассила был первым финским художником, кто с такой гротескной заостренностью показал, как под воздействием собственности, подчас даже мнимой, еще не приобретенной, а существующей только в воображении, от человека отчуждается его подлинная сущность. Юмор Лассила ярко антибуржуазен, и этим определяются многие его эстетические особенности.

Между тем о юморе Лассила писалось и в том духе, что после «Хархама» с его сложной проблематикой и социальными антагонизмами писатель обрел в обществе своих сельских простаков некий идеальный добуржуазный мир, некий «потерянный рай», как выразился еще Э. Лейно. А современный исследователь Р. Коскимиес усматривает в комических персонажах Лассила первозданных «детей природы», носителей «извечных» человеческих качеств.

Но в том-то и дело, что юмористические персонажи Лассила суть прямая противоположность как руссоистскому идеалу «естественного человека», так и его позднейшим вариантам. В финской литературе еще Алексис Киви в «Семерых братьях» (1870) показал несовместимость патриархальных идеалов с начавшимся буржуазным развитием, однако его комические герои все же выступали еще носителями этих идеалов, возмечтавшими жить вольной охотничьей жизнью вдали от современного общества.

По сравнению с героями Киви или Юхани Ахо в юмористических героях Лассила отразилась уже иная стадия развития буржуазного общества. Буржуазность не только вокруг них, но и в них самих. Они не только не бунтуют против норм собственнической морали, но и сами поступают в согласии с этими нормами, и о руссоистской «неиспорченности» здесь не может быть и речи.

Чтобы наглядно представить себе это различие между героями Киви и Лассила, приведем лишь один пример. Когда Юхани Юкола в «Семерых братьях» в споре с помещиком хочет сбить с него дворянскую спесь и отстоять свое человеческое достоинство, он тотчас же ссылается на характерное для патриархального мышления «естественное право», на то, что природа создала всех равными. Несколько грубовато, но зато очень популярно и доступно Юхани разъясняет своему оппоненту: «Закон для всех один! Хоть ты, хоть я — оба мы выскочили на свет из-под бабьего подола, одинаково голенькие, совсем одинаково, и ты ни капельки не лучше меня. А твое дворянство? Пусть капнет на него наш одноглазый петух! Закон для всех один!»

Но вот Юсси Ватанену в повести «За спичками» потребовалось защитить свою честь, поскольку его несправедливо обвинили в краже чужой лошади. Первой, совершенно естественной для него реакцией является энергичная ссылка на свое богатство — оно для него самый веский аргумент. Он с гордостью говорит полицейскому чиновнику: «В моем собственном хлеве день и ночь ревут пятнадцать дойных коров! И молока у меня столько, что я согласен даже и тебя молоком поить. Мне не требуется красть чужих лошадей».

Нельзя сказать, чтобы героям повести «За спичками» были совершенно чужды естественные влечения сердца, какие-то душевные движения, лишенные корысти и прозаической выгоды. Подчас их даже охватывает

нечто похожее на слабое чувство раскаяния за чрезмерную меркантильность в брачных делах. Но чувство это мимолетно и преходяще, потому что все человеческое в них так задавлено бесконечными материальными расчетами, загнано в столь труднодоступные расселины их заскорузлых душ, что обычно только под влиянием выпитого может на миг пробиться наружу, чтобы, однако, в первую же минуту протрезвления вновь быть погребенным под трезвой расчетливостью. Подвыпивший портняжка Тахво Кенонен в весьма трогательных красках и не без хвастливого самолюбования изображает свою рыцарскую верность давней любви к Анне-Лийсе, некогда вышедшей по расчету за Антти Ихалайнена. Но как только, после ложного слуха о смерти Антти, портной всерьез вознамерился соединиться со своею любовью, он тотчас же учиняет в доме невесты настоящую ревизию всему ее имуществу, не забывая ни о коровах, ни о марках, ни о хозяйском костюме, который Тахво срочно перешивает на себя.

О каких же первозданных «детях природы», о каком обретении «потерянного рая» здесь можно говорить? Идеализация крестьянства и прежней патриархальной общности, апелляция к гармоническому «веку Вяйнямейнена» были действительно присущи роману «Хархама», но не юмористическим произведениям Лассила, в которых он как раз разрушает эти иллюзии.

Но что значит в юмористических героях Лассила это торжество буржуазности, это всепроникающее влияние собственнической психологии, поработившей не только зажиточных сельских хозяев, но и полунищих торпарей и бродячих портных?

Сатирический смех Лассила был одним из наиболее ранних в финской прозе откликов на объективное требование революционной эпохи, предполагавшей уже иной подход к крестьянству, чем, например, полвека тому назад, когда творил Алексис Киви. Тогда крестьянство практически и составляло финский народ, и прогрессивная литература видела свою задачу в том, чтобы это «последнее сословие» феодального общества утвердило себя во всех правах, осознав свою первостепенную роль в историческом движении. Недаром финский поэт Якко Ютейни еще в начале XIX века писал, что крестьянство является основой общества, тем могучим потоком, который приводит в движение «мельничный жернов» государства, тогда как господа — только бесполезная пена. Именно с крестьянством связывал и Киви свои надежды на будущий расцвет родины.

В эпоху же Лассила во главу исторического движения выдвинулся рабочий класс, а крестьянство становилось его союзником, преодолевая в ходе общественной борьбы свою мелкобуржуазную ограниченность, утопические черты своего мировоззрения. Для прогрессивной литературы стало чрезвычайно важно показать и социальную порабощенность сельского бедняка, роднившую его с угнетенным положением рабочего, и то, в чем крестьянин оставался пленником мелкобуржуазной психологии или же патриархальных утопий.

Первую из задач стремился осуществить в своих книгах Ирмари Рантамала, тогда как на второй сосредоточил свои усилия Лассила-юморист. Этим необычным «разделением труда» и можно объяснить ту раздвоенность писательского «я», которую Э. Эрхо называет «загадкой двуликого Януса».

В самом деле, и Ирмари Рантамала и Лассила-юморист могут изображать одинаковых в социальном отношении героев: крестьян, торпарей, бездомных бедняков. Но весь вопрос в том, как изображать: или как жертву социального угнетения, или же в таких качествах, которые навязаны бедняку буржуазным обществом с его моралью и которые как раз и мешают ему осознать свое истинное положение и истинную человеческую сущность.

Разоряющиеся торпари, бедствующие городские низы — это герои Ирмари Рантамала (и И. И. Ватанена), а не Майю Лассила. Последний изображает торпарей совсем иначе — например, в юмористической повести «Пирттипохья и ее обитатели», где герои бесконечно ссорятся друг с другом из-за усадьбы, которой они хотят завладеть. В них обнажается опять-таки мелкобуржуазность мышления, и этой теме посвящена повесть. Только в произведениях под двумя первыми псевдонимами писатель описывал непосредственно социальные трагедии деревни и города, страдания народа, в которых был повинен не сам народ, а условия его жизни в капиталистическом обществе. Этот акцент на виновности общества очень важен, ибо он определяет интонацию повествования. В обрисовке страдающих героев в таких произведениях нет юмора, тем более сатирической насмешки. Например, воспроизводя во всех деталях их медлительную речь, автор избегает придавать ей юмористический оттенок, тогда как, скажем, в повести «За спичками» обыгрывание этой медлительности является одним из способов достижения комического эффекта. В тональности неюмористических произведений преобладает жалостливая чувствительность, горестная патетика, иногда даже слезная сентиментальность. Эти книги писателя не имели заметного успеха и повторно не издавались.

Любопытно, что если в произведениях, вышедших под псевдонимом Ирмари Рантамала, показана трудовая жизнь героев с ее тяготами, то в юмористических повестях Лассила крестьянский труд скорее предполагается, чем изображается. Автор не хочет высмеивать крестьянина-труженика и потому как бы выключает его временно из трудовой сферы. Как юмористу, ему важна в данном случае другая сторона крестьянской «природы», и повествование строится обычно на авантюрной фабуле, герои отлучаются из дому и странствуют, причем их приключения такого рода, что при всей их невероятности в героях обнажается унылая меркантильность мышления.

В реалистическом подходе к крестьянству и к его положению в изменяющемся мире заключается один из важных уроков Лассила для финской литературы. Его художественный опыт имел несомненное значение для таких крупных писателей 30—40-х годов, как Хелла Вуолийоки и Пентти Хаанпяя, при всем своеобразии их творческих манер. Вместе с тем у Лассила есть что сказать и современным авторам «крестьянской темы».

Приведем одно любопытное признание Вяйне Линна. Как-то, лет десять тому назад, он говорил об исторической молодости финского народа, образно выразившись, что финны только в наши дни выходят из стадии «берестяной» цивилизации. Эти слова, конечно, не следует понимать буквально — Линна отлично знает, что даже в сельском обиходе бересту в Финляндии сегодня встретишь куда реже, чем синтетику. Речь идет о крестьянском укладе жизни и крестьянской культуре, место и роль которых в современной Финляндии продолжают быстро меняться. По последним статистическим данным в этой традиционной «крестьянской» стране сегодня только четверть населения связана с сельским хозяйством, и в дальнейшем доля эта будет уменьшаться. Социальные сдвиги настолько интенсивны, что они не могут не влиять на мироощущение даже такого «крестьянского» писателя, как Линна. Ему и сегодня очень дорог идеал свободного и независимого земледельца, в котором писатели XIX века видели первооснову общества и самобытной национальной культуры. С точки зрения этого идеала Линна в своей трилогии «Здесь под северной звездой» показал героическую борьбу торпарей за землю в 1918 году, но этот же идеал ограничивает его понимание современных общественных процессов, не позволяя в правильной перспективе увидеть те силы, которые борются за социализм.

Линна, конечно, не столь наивен, чтобы не сознавать утопичности идеала «крестьянской демократии» в современных условиях. Происходящие в обществе сдвиги все настойчивее ставят перед ним вопрос: а что же будет с финнами после «берестяной» цивилизации, куда движется история? Другими словами, перед Линна и близкими ему художниками встает проблема выбора, которую он, насколько можно судить, до конца пока решить не готов. К упомянутой реплике об исторической молодости финнов Линна добавил, что перед ними еще большой путь развития, но куда пойдет это развитие, «под каким флагом», он не берется сказать.

Майю Лассила тоже выступал в защиту торпарей и в «Письмах буржуа» писал, что наличие сильного класса свободных земледельцев он считает необходимым условием всякого здорового общества. Но Лассила к тому времени уже приходил к убеждению, что развиваться здоровое общество может только на социалистических началах.

Повести «Сверхумный» (1915) и «Воскресший из мертвых» (1916), наиболее значительные из последних юмористических произведений Лассила, в какой-то мере уже предвосхищали итоговый этап его биографии — переход на позиции рабочего класса. Не имея возможности остановиться на этих повестях подробнее, отметим только, что герой второй из них, хельсинкский босяк Ионни Лумпери, едва ли не единственный юмористический персонаж Лассила, против которого буржуазная меркантильность оказывается бессильной. Она может позабавить его веселой игрой в «миллионера» и в мнимые торговые сделки, начало которой положил случайный лотерейный выигрыш; она может побудить его ради лишней выпивки продать даже свой гроб и свое тело, но она не может полонить его душу. «Душа,— философствует Ионни,— должна быть свободна, как ветер. Миллион пусть себе кружит по белому свету, чтоб душа к нему не пристрастилась».

Все прежние герои Лассила, порабощенные собственностью, были скорее лишь пародией на людей, лишь оболочкой атрофировавшейся человечности. И только в босяке Ионни, в этом обжоре и выпивохе, человеческое торжествует над стяжательством. Победа дается ему не без некоторой борьбы, марки угрожают поработить и его. Но уже в той сцене, когда счастливый Ионни, получив наличными свой выигрыш, отправляется не в банк, чтобы открыть счет и наращивать проценты, а первым делом к рыночной колбаснице Лизе, чтобы набрать себе вдоволь еды и небрежным жестом бросить на прилавок тысячную ассигнацию,— уже в этой сцене ясно, куда будет клониться победа. Пусть кругозор Ионни по-своему ограничен, пусть его помыслами руководят преимущественно гастрономические желания, и все же он остается человеком, личностью, потому что не деньги и вещи властны над ним, а он властен над деньгами и вещами — этими главными фетишами буржуазного мира. Писатель в шутку сравнивает своего героя с библейским Самсоном, и Ионни воистину одолел козни новой Далилы — проснувшуюся было в нем страсть к накопительству.

Авантюры Ионни, как и «проповеди» Сакари в повести «Сверхумный», превращаются в злую пародию на современное им общество. Оба героя играют в произведениях двоякую роль: подобно тому как Ионни одновременно и «миллионер», и отрицатель стяжательства, так же и душевнобольной Сакари не просто религиозный фанатик и затемнитель истины, но и наивный простак, устами которого истина как раз себя выражает. Недаром Сакари роняет в одной из своих «проповедей» мысль о том, что «лишь устами сумасшедшего финский народ отваживается и может сказать о себе правду».

Э. КАРХУ
ПУТЬ К РЕВОЛЮЦИИ

Нелепость и антигуманистическая сущность буржуазного миропорядка, в котором человеку отведена роль придатка собственности, а народ хотят превратить в послушное орудие политических спекуляций богачей, показаны в повестях «Сверхумный» и «Воскресший из мертвых» с такой нравственной бескомпромиссностью, что писателю уже невозможно было откладывать тот вопрос о выборе, который был поставлен им еще в «Хархама»: социализм или капитализм?

Нельзя считать случайным, что именно после этих повестей Лассила стал с лета 1916 года сотрудничать в центральном органе финской социал-демократической партии газете «Тюэмиес», избрав ее отныне своей трибуной.

Сами события торопили Лассила. Публикация его «Писем буржуа» в трех номерах газеты «Тюэмиес» в конце июня — начале июля 1916 года носила экстренный характер: в Финляндии вот-вот должны были состояться очередные парламентские выборы, и Лассила хотел дать напутствие торпарям, чтобы они голосовали за социал-демократов.

Принципиально новым в «Письмах» является настойчивое утверждение автора, что только сами угнетенные массы могут освободить себя, не передоверяя своей судьбы никому другому. Напомним, что в романе «Хархама» автобиографический герой еще был одержим идеей «мессианства», он видел себя в роли спасителя всех страждущих. Это была позиция утописта-интеллигента, смущенного слишком «грубой» силой порабощенного класса и полагающего, что в более идеальной форме помощь могла прийти извне, со стороны самых гуманных, сострадающих, образованных и т. д. представителей других классов.

Впрочем, справедливо ли проблему выбора в случае с Лассила, которого нередко называют писателем-самоучкой, расценивать как специфически «интеллигентскую»?

Прирожденный полиглот, самостоятельно овладевший основными европейскими языками и проявлявший интерес к восточным языкам, знаток русской классики и мировой литературы, Лассила в образованности едва ли в чем уступал кому-либо из своих финских современников. Творчество Лассила развивалось не в провинциальной изоляции, а впитало в себя огромный художественный опыт многих литератур. В раннем романе «Хархама» разнородные литературные влияния (включая Достоевского и Горького) лежат еще на поверхности и сравнительно легко уловимы, тогда как у зрелого Лассила они уходят вглубь, опосредованные самобытностью возмужавшего таланта. Лассила-юморист очень многим обязан своему соотечественнику Киви, а также и Сервантесу, бессмертный роман которого он внимательно изучал по множеству разноязычных изданий. В повестях и комедиях Лассила можно найти общие точки соприкосновения с творчеством Гоголя, с которым его сближает некоторая родственность художественного зрения А в повестях Лассила о детях, при всем национальном и индивидуальном своеобразии его юмора, чувствуется влияние Марка Твена.

Таким образом, «самоучка» Лассила не варился в собственном соку, а как истинно образованный писатель проявлял незаурядную широту художественных интересов. Но когда речь идет о принадлежности Лассила к интеллигенции, дело тут даже не просто в образованности и в художественном кругозоре, а в том, что сам подход писателя к важнейшим вопросам своего времени, его мучительные сомнения и поиски, его сложный путь в революцию обнаруживают в себе немало общего с теми социально-психологическими «комплексами», с которыми в ту переломную эпоху сталкивались многие финские интеллигенты (пусть лишь считанные из них повторили путь Лассила вплоть до революционного финала).

Говоря о Лассила и проблеме интеллигенции в период революции, важно помнить, что к тому времени финская интеллигенция была еще очень молода — в этом специфика «молодых народов», к которым Линна причислил и финнов. Формирование ее началось вместе с зарождением финского национального движения в XIX веке. В условиях национального гнета, когда правящие классы продолжали примыкать к сфере шведской культуры, финский народ должен был выдвигать свою интеллигенцию из собственных недр, вследствие чего она была демократической по своему происхождению. В Финляндии никогда не было дворянской интеллигенции за исключением редких лиц шведского происхождения. Первые финские интеллигенты — это дети крестьян, сельских ремесленников, мелкого духовенства. Крестьянское происхождение Лассила — продолжение той же традиции, характерной для многих финских писателей.

Казалось бы, эти «интеллигенты в первом поколении» не успели утратить своего демократизма и отдалиться от народной среды. Правда, симптомы этого негативного процесса запечатлела литература — например, Арвид Ярнефельт в романе «Отечество» (1893), где выдвигалась задача обратного «слияния с народом» в форме, близкой к толстовскому «опрощению»: сам Ярнефельт был сыном дворянина, и для него эта проблема приобретала особый смысл.

Однако едва ли кто мог тогда предполагать столь запущенную стадию болезни, как это обнаружилось в 1918 году, когда многие писатели, в том числе и Ярнефельт, не приняли революции. В лучшем случае они пытались остаться «над схваткой», но это мало кому удалось. Результатом было только то, что, осуждая «крайности» как революции, так и контрреволюции, они обрекли себя на духовный крах, ища тщетного спасения кто в добровольной эмиграции из растерзанной и окровавленной страны, кто в стремлении погрузиться в «нирвану». В их писательской и человеческой

судьбе это было трагедией, но, в отличие от Майю Лассила, трагедией отнюдь не героической. В судьбе же Лассила, при всем ее трагизме, революция означала подлинно героический взлет человеческого духа.

Взлет этот был результатом мужественного преодоления собственных заблуждений и предрассудков. Не случайно Лассила назвал свои первые статьи в рабочей газете «Письмами буржуа» — это была исповедь человека, временно оказавшегося в чужом стане и сводившего теперь счеты с прошлым. Вспоминая о своем сотрудничестве со старофинской партией, Лассила чувствовал себя глубоко обманутым.

Между прочим, выраженная в «Письмах буржуа» мысль о том, что нищей духом буржуазии приходится брать все «напрокат», в том числе литературные таланты, проливает свет на причины «отшельничества» Лассила, на некоторые его поступки, со стороны могущие показаться просто чудачеством, даже манией. Однако для самого писателя это было способом противодействия весьма реальной угрозе: в обществе, в котором все превращалось в товар и получало меновую стоимость, Лассила должен был проявлять особую заботу о том, чтобы отстоять свою творческую свободу и независимость мысли. Высмеивая меркантильность в своих героях, он не хотел стать ее жертвой сам. А ведь попытки обвинить его в том же грехе были. Уподобил же его К. С. Лаурила ярмарочному шарманщику, утверждая, будто единственно, чего добивался Лассила своим смехом над крестьянами, это «заставить раскошелиться публику, а иногда, как видно, даже государство»,— эти последние слова были намеком на премию, которой была отмечена повесть «За спичками» и от которой писатель публично отказался. А более ранняя история с романом «Хархама», когда старофинны объявили Лассила «своим» автором, тоже послужила жестоким уроком, показавшим, что посягательства буржуазных партий на его талант вовсе не исключались.

Все это вызывало во впечатлительной натуре Лассила острейшую реакцию, развило в нем доходящую до аскетизма нравственную щепетильность, которой он стремился подчинить каждый свой шаг, каждый день своей жизни. Ему хотелось остаться наедине с самим собой, чтобы оградить себя от влияний, быть духовно независимым, спокойно разобраться в себе самом и в сложности происходящего вокруг. Он не хотел никому быть обязанным — и ни с кем не вступал в личные отношения. Он заподозрил в премии подачку — и отверг ее, заявив через газету, что шедевров он не пишет и на премии не претендует. Он годами жил очень неустроенно, почти впроголодь, но к размеру гонораров за свои произведения был подчеркнуто равнодушен, чтобы не дать своим врагам повода упрекнуть себя в корыстолюбии.

Эти нравственные принципы, конечно, окрашены человеческой индивидуальностью Лассила, но в их суровой бескомпромиссности отразилась и суровость революционной эпохи. Здесь требовалось сознательное самоограничение, даже жертвы, и Лассила был готов на них. Опубликовав в рабочей газете «Письма буржуа» и предвидя, что после этого шага буржуазные издательства не будут печатать и его художественных произведений, Лассила даже заявил, что с художественным творчеством для него теперь покончено.

Так что «отшельничество» Лассила — не форма мизантропии и не одиночество современного герметиста, окончательно разуверившегося в человеческом взаимопонимании и солидарности. Это было состояние человека, который в процессе сложных исканий и беспощадной самопроверки рвал последние духовные связи с буржуазией и буржуазно-интеллигентским мышлением, чтобы обрести себя в борьбе пролетариата за социализм.

«Письма буржуа», опубликованные за полтора года до начала рабочей революции в Финляндии, Лассила закончил следующими знаменательными словами:

«Мы, буржуа, однако, осуждены уже на смерть, на уход из этого мира. Перед нами чернеет унылый вечер нашего близкого конца. Силу жизни, как видно, дает только социализм. За ним будущее. Все здоровое, что достигнуто за последнее время, стало возможно, как это совершенно очевидно, только благодаря энергии и натиску социализма... А мы, буржуа, обречены уже на то, чтобы забавлять себя погремушками из костей мертвецов».

Когда в Финляндии вспыхнула революция, Лассила в статье «Вперед!» писал, что гражданская война была навязана трудящимся буржуазией. Объявив созданные ею отряды шюцкора вооруженными силами государства, финская буржуазия хотела поставить народ на колени, и у пролетариата и беднейшего крестьянства не было иного выхода, кроме как взяться за оружие. Словно предчувствуя, какой свирепый террор постигнет восставших в случае поражения, Лассила призывал их к решительным действиям. Не могло быть упований на возможность компромисса, пришел конец бесполезным словопрениям, народ должен был утвердить свою волю с помощью революционного насилия.

«Вперед!

Довольно слов, довольно увещеваний. Наши уши теперь не слышат, а рабовладельцы и подавно глухи к жалобам своих рабов. Стойко держитесь на поле брани, ибо угнетатель внемлет только звону меча в руке угнетенного. Позади нас — могила для нашей свободы. Свобода — впереди. И потому:

Вперед!»

И все же в статье «Если бы...», появившейся 28 февраля 1918 года, когда в Хельсинки и во многих районах страны была уже установлена революционная власть, но когда решающие битвы были еще впереди,

---

Лассила обратился к «лучшей части буржуазии» — к интеллигенции, к студенчеству — с призывом быть достойными великого исторического момента и отмежеваться от контрреволюции, от капиталистов, банкиров, биржевых спекулянтов, готовившихся потопить народ в крови. Писатель напомнил, что на фронтоне здания университета в Хельсинки выбита многозначительная надпись: «Для своей надежды воздвигло отечество». Но теперь, говорил Лассила, все надежды Финляндии были неразрывно связаны с борьбой рабочего класса, и разве университетской молодежи пристало быть вместе с палачами народной свободы? Почему же так называемые «егери», в большинстве своем студенты, обучавшиеся в Германии военному делу ради «освобождения отечества», сражались теперь в стане врагов народа?

В отличие, скажем, от Эйно Лейно, который в своей «Песне неприкаянного» с пронзительным трагизмом выразил печальную участь индивидуалиста, утратившего связь и с родиной, и с народом, для Лассила все личное слилось с общенародным, и естественный пафос его предсмертных статей — именно в этой слитности, потому что в бессмертии рабочего дела мог обрести он мужество перед лицом физического небытия. Это придает статьям Лассила особую проникновенность, особую нравственную силу. Хотя он говорит в них и о себе, а одна статья так и называется: «Наедине с самим собой» и даже по форме напоминает исповедь, но в них нет и намека на какую-то личную жертвенность, как нет и позы пророка, жаждущего поучать. Это скорее напутствие человека, пришедшего к истине очень трудным путем и желающего облегчить его для других.

В связи с гибелью Лассила задавались вопросы: почему он дал арестовать себя, почему заблаговременно не эмигрировал в Советскую Россию, пока это было еще возможно, почему не ушел в подполье и не скрывался в Хельсинки, где ему припасли убежище? В поисках объяснений указывали, в частности, на то, что писатель не ожидал смертного приговора, полагая, что дело ограничится несколькими годами тюрьмы.

Но, как отметила Э. Эрхо, быть может, самое правильное объяснение мы найдем в последней статье самого Лассила, в той ее части, в которой речь идет об отношении интеллигенции к революции. В статье «Полагаясь на свои собственные силы» Лассила писал, что как раз во время работы над нею ему принесли другую статью, автор которой хотел объяснить на страницах «Тюэмиес», почему представители так называемого «образованного общества» не сочли возможным поддержать восставший народ. Конечно, говорил Лассила в ответ на эти объяснения, каждый действует в соответствии со своими убеждениями, но и рабочий класс вправе сделать для себя выводы.

«Как бы ни было желательно,— писал Лассила,— чтобы так называемая образованная прослойка прониклась пониманием бедствий рабочего класса, как бы ни хотелось, чтобы она прочно связала с ним свою судьбу как в победах, так и в поражениях, но сила и спасение рабочего класса заключены в нем самом. Все, что не входит в собственно пролетариат, остается обособленным от него. Эти обособленные могут приблизиться к нему, когда светит солнце и порхают над цветами мотыльки, но уже наступление ночи приводит их в трепет, а когда вся тяжесть жизни обрушивается на рабочий класс, они и вовсе покидают его. У них не хватает духа, чтобы вместе встретить и поражение, вместе разделить общую участь и в ошибках, вместе держать ответ и за неверный шаг, а не умывать руки... Ни на одном из этапов не должно быть среди рабочего класса этих «умывателей рук», ибо они — предатели. В умывании рук ищут своего спасения в час испытаний только те жалкие люди, у которых вместо сердца — мякина, составляющая их единственное духовное богатство. Ведь потому и неглубока чаша с водой, чтобы только мелкие души могли искать в ней свое спасение».

С точки зрения этого избранного им для себя нравственного императива всякий уход в подполье, всякая эмиграция, всякое физическое спасение, не говоря уж об идейном отступничестве, казались Лассила предательством, отклонением от тех принципов революционной солидарности, к которым он пришел сам и которые внушал другим. Ведь рядовые красногвардейцы, рабочие и торпари не могли все эмигрировать, не могли уйти в подполье, и Лассила решил остаться с ними до конца, до последнего выстрела, чтобы разделить общую участь. Своим поступком он вовсе не призывал отдаваться на милость буржуазного «правосудия» — для него это было способом доказать свою личную неотторжимость от революции и рабочего класса даже в поражении.

Разумеется, здесь речи не может быть ни о фатализме, ни об интеллигентском «покаянии» — это понимали даже те современники Лассила, которых революция отбросила по другую сторону баррикад. Например, Юхани Ахо при всей своей брани в адрес восставших не мог не признать того, что революция дала своим певцам решительное преимущество перед писателями, отвернувшимися от нее. Причисляя себя к буржуазному лагерю, Ахо писал о Лассила и других революционных писателях: «По сравнению с нами они имеют то преимущество, что у них есть идея и дело, за которое они борются. Этой ясности у нас нет».

Борьба за демократию и социализм продолжается в Финляндии и в наши дни, и сегодня прогрессивные ее представители по существу продолжают то дело, за которое боролся и погиб Майю Лассила. Разве это не общепризнанный теперь в Финляндии факт, что в течение продолжительного периода после революции, в двадцатые-тридцатые годы, большинство финской интеллигенции шло на поводу политической ре-

акции? И разве в числе первых признаков обновления после 1944 года не было «Мрачного монолога» Олави Пааволайнена и других книг, вплоть до сравнительно недавнего романа Пааво Ринтала «Слуги в седле» (1963), в которых нередко с «покаянными» интонациями выясняются застарелые заблуждения финской интеллигенции и мера ее ответственности за прошлые катастрофы?

Лассила был далек от того, чтобы призывать рабочий класс к духовному сектантству, к псевдореволюционной самоизоляции от человеческой культуры, к подмене ее какими-то «массовыми» суррогатами, то ли вроде современного поп-арта, то ли в духе новейших восточных цитатников. Напротив, Лассила считал, что господствующие классы слишком долго держали финский народ как в смысле телесной, так и духовной пищи на положении Пааво Саариярви, героя популярной в Финляндии рунеберговской баллады, который даже в урожайный год ел хлеб с примесью сосновой коры. Видя одну из причин поражения революции в духовной отсталости народных низов, Лассила в своей предсмертной статье писал, что в будущем финские рабочие должны всеми силами стремиться к высокой культуре, ибо без нее социализм немыслим. «Без духовных сил,— писал он,— физическая сила рук не даст должного эффекта. Будущее социалистическое общество с его тысячью задач представляет собой сложнейшую структуру и потребует от своих членов высокой духовности».

Все это связывает Лассила с живым делом современной культуры. Принадлежа истории, он принадлежит и настоящему, его наследие нужно и сегодняшнему дню. Не случайно интерес к нему в послевоенные десятилетия заметно возрос. И не только академический интерес. Отнюдь не усилиями буржуазной академической науки, а по инициативе коммунистов вскоре после окончания войны было создано «Общество Майю Лассила» с целью содействовать собиранию и популяризации его литературного наследия, особенно революционной публицистики, затерявшейся на пожелтевших страницах старых газет. В 1948 году статьи Лассила были впервые изданы отдельным сборником, и в условиях начавшегося тогда возрождения демократических традиций в Финляндии это был символический акт, восстанавливавший определенную преемственность в культурном развитии. Для прогрессивной общественности, для демократического крыла финской интеллигенции возвращенные к жизни статьи Лассила явились как бы лучом света, пробившимся сквозь десятилетия реакции, чтобы ярче осветить современные задачи.

Своим творчеством и уроками своей жизни Лассила и сегодня остается активным союзником тех, кто борется за прогресс, демократию, социализм.

КУРОДА ОТОКИТИ

ВИЗИТ К ГОРЬКОМУ

Горький и Япония

Публикуемые ниже воспоминания и фотоснимки одного из старейших японских журналистов Курода Отокити имеют свою историю, нуждающуюся в пояснениях.

В Японии давно знают и любят творчество М. Горького. Уже при жизни писателя здесь вышли три собрания его сочинений (последнее — в 24 томах), а первые переводы его произведений появились в начале 900-х годов. С этого же времени японская литературная критика стала пристально следить за литературной и общественной деятельностью писателя-революционера. В 1901 году в журнале «Тэйкоку бунгаку» говорилось: «Нет сомнения, что Горький — писатель большого дарования. Запомним же его имя, оно пригодится нам в будущем». В 1903 году в этом же журнале утверждалось: «Наступила пора Горького». В 1906 году японская пресса широко откликнулась на поездку писателя в США, отметив лживость и лицемерие американских буржуазных кругов, организовавших травлю великого художника слова. Тогда же — в журнале «Тайё» — появилось первое сообщение о желании Горького совершить поездку в Японию: «Говорят, что, вновь пересекая океан, он хочет посетить нашу страну с целью ознакомления с нашей культурой... Он оказал немалое влияние на нашу литературную жизнь. Когда он приедет к нам, мы встретим его как своего друга».

Развивая эту тему, следовало бы рассказать о том, что слава Горького возросла в Японии еще больше после ряда постановок его пьесы «На дне» (первая ее постановка была осуществлена в 1910 году, после чего она ставилась неоднократно, а впоследствии появилась и на экране: известен фильм Курасавы «На дне»), что влияние его творчества на японскую литературу стало особенно сильным с 20—30-х годов, когда в Японии зародилось пролетарское литературное движение. Но об этих и многих других фактах дан содержательный и интересный рассказ в работе молодого советского исследователя К. Рехо, к которой я отсылаю читателей *.

Как же относятся к творчеству М. Горького в Японии сегодня? Ответ на этот вопрос я получил во время своей недавней поездки по Японии. Приглашенный обществом «Япония — СССР» в связи со 100-летием со дня рождения М. Горького, я побывал в течение месяца в ряде городов Японии — в Токио, Осаке, Нагое, Киото, Хиросиме, Мацумото, Сендае, Морioке, Саппоро (остров Хоккайдо) и других, участвовал в вечерах, посвященных горьковскому юбилею (в Токио на такой вечер пришли более 1000 человек, в Нагое — более 500, и т. д.), читал лекции в университетах (собиралось по несколько сот студентов). Эти впечатления и то, что я узнал из бесед с японскими литературоведами, много сделавшими для изучения и пропаганды горьковского наследия — с Екэмура Еситаро, Курода Тацуо, Ямамура Фусадзи, Ндзаки Тосио и др.,— позволяют мне сделать вывод, что творчество М. Горького не только продолжает пользоваться в Японии прежней популярностью (вместе с творчеством Достоевского, Толстого, Чехова), но привлекает к себе в последнее время все больший интерес в прогрессивных кругах, особенно в среде японской молодежи.

* К. Рехо. «М. Горький и японская литература». М., изд. «Наука», 1965.

В Токио у меня была встреча, оказавшаяся очень приятной неожиданностью. Среди материалов, помещенных в VIII томе «Архива А. М. Горького», мое внимание давно привлекла переписка Горького с японским журналистом Курода Отокити *. Бывший в 20-е годы корреспондентом газеты «Осака майнити» в Москве, Курода Отокити предпринял в 1927 году, вместе с женой и маленькой дочерью, поездку в Сорренто специально для того, чтобы повидаться с Горьким. В 1928 году Горький писал ему (в ответ на приглашение приехать в Токио читать лекции о литературе): «...лекции читать я не могу, не мое дело. Но побывать в Японии просто, как все люди, а не в качестве «знатного» иностранца — моя мечта, и хочется, чтобы она осуществилась». В этом же письме есть такие строки: «..я искренне люблю и никогда не перестаю восхищаться подлинным японским искусством».

Выступая в Японии, я приводил эти строки, как и другие суждения писателя, свидетельствующие о его постоянном внимании к японской литературе, живописи, скульптуре. Мои слушатели с интересом узнавали о том, что в личной библиотеке Горького были переводы произведений японских писателей, прочитанные Алексеем Максимовичем очень внимательно, с карандашом в руках, и что он долгие годы собирал коллекцию произведений японских и китайских резчиков по кости. Мои слова о том, что Горький, раздаривший все свои коллекции, с этой не захотел расстаться и поместил ее в своем кабинете, рядом с рабочим столом, вызывали такой же горячий отклик в аудитории, как и сообщение о неопубликованных горьковских заметках о Японии, хранящихся в архиве А. М. Горького — о заметках, в которых подчеркивается характерное для японцев, имеющих дело с враждебной человеку вулканической природой, «ощущение трагизма бытия, неведомое иному народу в такой глубине и силе», и вместе с тем отмечается «исключительная по нежности любовь японцев к растениям».

И вот, услышав, что я цитирую переписку Горького с Курода Отокити, мои японские друзья решили устроить мне встречу с восьмидесятилетним журналистом. Он пришел не один, а со своей дочерью Дзюнко, с той самой, которая когда-то побывала вместе с отцом и матерью в Сорренто и о которой Алексей Максимович потом писал Курода: «Знаете, Курода сан, что забыли Вы сделать? Прислать мне фотографию Вашей дочери... Сделайте это, прошу Вас».

По моей просьбе Курода Отокити передал текст своих воспоминаний о поездке в Сорренто к Горькому, написанный под живым впечатлением этой поездки в 1928 году и лишь теперь впервые публикуемый (с некоторыми сокращениями) на русском языке. Кроме того, Курода Отокити любезно предоставил для опубликования два снимка, сделанные им в 1927 году в Сорренто,— они тоже публикуются у нас впервые. Передавая эти материалы, Курода сказал, что два дня, которые он провел в Сорренто, относятся к его самым дорогим и незабываемым воспоминаниям и что он сохраняет в своей душе горячие симпатии к Советской России, к ее литературе и культуре.

Горячие симпатии и растущий интерес прогрессивных японских кругов к нашей культуре, вообще к нашей стране — это наиболее глубокое впечатление, вынесенное мною из поездки по Японии.

Б. БЯЛИК

27 октября 1927 г.

Стоит ясный день. С вершины Везувия бесконечной ниткой тянется в небе полоска дыма. Позади остались села. Машина несет нас в горы, кругом — оливковые деревья и виноградники. Прямо над морем каменный обрыв. Начались дачные места.

Мой спутник — старик Антонио — то и дело вытаскивает из кармана клочок бумаги и, рассматривая его, качает головой. Там — адрес Горького..

— Скоро Сорренто, придется нам искать,— тревожится Антонио.

Но я ничуть не беспокоюсь. Когда я выезжал из Москвы, художник Кончаловский сказал мне, что в Сорренто нет человека, который не знал бы Горького. Там каждый сразу укажет пальцем: вон вилла, где живет Горький!..

...Машина остановилась. По разным сторонам дороги стоят два дома. Антонио вышел из машины, чтобы спросить, куда теперь повернуть. Думая, что мы уже приехали, я старался восстановить в памяти облик Горького, которого я до сих пор знал лишь по фотографиям. Открыв глаза, я увидел...

— О, Горький! — невольно вырвалось у меня, и я выскочил из машины. Я увидел человека большого роста. Он стоял, немного сгорбившись.

Горький одет в куртку яичного цвета, носит сандалии. У него льняного цвета широкие «солдатские» усы, которые мы привыкли видеть на всех его портретах. Но вот то, что волосы на его голове коротко подстрижены,— это для меня неожиданно...

---

* «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами», М., изд. Академии наук СССР, 1960, стр. 435—437.

Меня удивила еще его моложавость. Я знал, что скоро ему исполнится шестьдесят лет. Уже более тридцати лет мир славит его как «удивительнейшего из всех удивительных русских писателей». Я называл его про себя «старец Горький». Но сейчас мне показалось, что ему не больше 45 лет, ну, самое большее — 50. И не похож он на больного. Я сразу обратил внимание на его спокойные, добрые глаза, которые видят все на свете.

Рядом с Горьким стояли мужчина лет сорока и молодая женщина. Это были П. П. Крючков из «Международной книги», который занимался изданием собрания сочинений Горького, и Мария Игнатьевна — секретарь писателя *.

— Пожалуйста, прошу! — сказал Горький, пожимая мне руку. Но я, извинившись, отправился сперва в гостиницу, которая находилась напротив того дома, где жил писатель.

Когда мы с женой и дочерью спустились из номера в вестибюль гостиницы, нас встретила Мария Игнатьевна. Горький ждал нас.

Мы вошли в ворота. Во дворе была теннисная площадка. Мы поднялись на второй этаж в кабинет писателя. Это — большая продолговатая комната с балконом, выходящим на восток. На книжных полках — все новинки: журналы, издающиеся в СССР, и художественная литература. Кабинет напомнил мне московские книжные магазины. На стеклянном ящике было установлено несколько десятков резных изделий из слоновой кости — работы японских мастеров. Под окном внизу синело море.

За огромным столом сидел Горький, правя какую-то рукопись. Увидев нас, он встал, пожал нам руки и предложил сесть. Было три часа дня, наша беседа продолжалась до 12 часов ночи (на следующий день, несмотря на занятость, он снова принял меня, и мы разговаривали несколько часов).

Горький оказался прекрасным рассказчиком. Какой-то критик заметил, что Горький рассказывает еще интереснее, чем пишет. Я согласен с ним.

Я слышал, что здоровье Горького в последнее время ухудшилось. Поэтому, увидев его в кабинете за работой, я спросил:

— Алексей Максимович, как вы себя чувствуете?

— Как видите, живу,— лукаво улыбаясь, ответил он.— Теперь я смерти не боюсь. Меня спасло лечение за границей...

Горький помолчал. Он выглядел здоровым, но часто кашлял. Лицо у него бледное. Ежедневно он встает в 7—8 часов утра и больше десяти часов проводит в кабинете. Только что он просматривал газеты, журналы и книги, полученные из Советской России.

— Как Москва? — обратился он ко мне.— Какие настроения у молодежи? А вы бывали в русских деревнях?..

Его интересовало все о Советской России, он дышал ею. Кроме газет и журналов он получал ежедневно большое количество писем со всех концов России, от людей всех слоев.

— Вот так пишут мне каждый день разные люди,— сказал Горький, показывая на груду писем на столе.— Пишут и молодые и пожилые. Иногда диву даешься, как с такими адресами все-таки доходят письма. Одна женщина живет в глухой деревне, ей не с кем разговаривать, в письме она выложила все, что у нее накипело. А какой-то крестьянин спрашивает, есть ли на самом деле бог, а если есть, то — где. Сельские начинающие писатели присылают мне стихи и рассказы. Недавно кто-то в письме выругал меня за то, что я занимаюсь только писаниной, будто другой работы нет...

Широко раскрыв глаза, Горький в задумчивости сложил руки.

— Я стараюсь отвечать на каждое письмо. Когда меня ругают за то, что я занят только писаниной, я отвечаю: писать — это самое лучшее средство передать людям то, что ты думаешь. Недавно мне прислала стихи 15-летняя поэтесса из какой-то деревни. Меня поразил ее талант. Хвалить особенно не стал (еще зазнается!), но подбодрил...

Для писателя, который живет вдали от родины, большая радость слышать голоса родной земли, ощущать ее дыхание. Но эти письма несомненно отнимают у него массу времени и сил.

— Приходится вам, наверно, трудно,— сказал я.

— Нет, наоборот, эти письма меня воодушевляют,— ответил Горький.

Я передал ему приветы от его московских знакомых — от Вс. Иванова, Лидина, Пильняка, Кириллова, Буданцева, Шкловского, Кончаловского и других. Горький очень обрадовался и без конца расспрашивал о них.

Наша беседа переключилась на русскую литературу.

— Я верю,— сказал Горький,— что русские — талантливый народ. Русская земля дала много талантов и еще немало даст. В этом деле я большой патриот.

О современной русской литературе он говорит:

— Все больше стало выходить хороших произведений. Я жду романов масштаба Достоевского и Толстого.

— На кого из современных молодых писателей вы больше всего возлагаете надежды? — спрашиваю я.

— Очень много хороших писателей. У них большое будущее. Особенно интересен Леонид Леонов. Он удивительно талантлив. Хорош и Всеволод Иванов. В последнее время он пишет неплохие вещи. Недавно я прочитал его рассказ, который начинается словами: «В Сибири пальмы не растут». Всего одна строка,

* М. И. Будберг (Закревская), которой посвящена «Жизнь Клима Самгина» (здесь и далее — примечания переводчика).

но так может написать только Иванов... Хороши и Бабель, и Федин, и Лидин. У последнего иногда слышатся отголоски Толстого и Чехова. Это режет ухо. Интересны Яковлев, Семенов...

Горький назвал еще несколько имен, но сказал, что их гораздо больше и что трудно всех припомнить.

Летом в Крыму я встретился с Верой Инбер. Она собиралась будущей весной приехать в Японию. Я спрашиваю Горького, как он относится к этой писательнице.

— Талантлива,— ответил он.— Среди ее произведений особенно удачно «Сыну, которого нет» (колыбельная песня)...

Горький сказал, что все больше привлекают внимание некоторые писатели из провинции, особенно из Сибири. Он посоветовал мне почитать «Сибирские огни».

Я был лично знаком со многими писателями, которых Горький в свое время ввел в литературу, в частности — с Всеволодом Ивановым, который как-то рассказал мне:

— Был 1916 год. Я работал в типографии. Послал Алексею Максимовичу свой рассказ «На Иртыше». Через две недели получаю от него письмо. Хвалит рассказ и обещает его напечатать. День, когда я получил это письмо, был самым счастливым в моей жизни. Мои друзья тоже прочитали и решили, что я уже «великий человек». Чтобы я отметил праздник, начальство авансом выдало мне зарплату. Все напились. Я почти не пил, но был пьянее всех. После этого я стал много писать и все, что написал, послал Горькому. На этот раз он пристыдил меня за халтуру и строго посоветовал учиться и учиться. Несколько лет я не писал ничего, зато много читал. Потом, по совету Горького, я приехал в Петроград. Алексея Максимовича там в тот момент не оказалось — он уехал в Москву. Я чуть не умер с голоду. Но Алексей Максимович вскоре вернулся и накормил меня в Доме ученых. Наелся я до отвала. Вообще-то я не верил в добрых людей, но вот Горький меня озадачил...

Горький и сейчас очень тепло относится к Иванову. Последний просил меня (перед моим отъездом в Италию) передать Горькому, что будущей весной посетит его.

— Передайте Иванову, что встречу его с радостью,— сказал Горький.

Восемь часов вечера. Раздался звонок — время ужина. Все собрались в столовой. Мария Игнатьевна заняла место хозяйки. Напротив Горького и Крючкова сели мы: я, моя жена и дочь. Салат, суп, мясо с картошкой — все русские блюда. Черная икра, которую я привез из Москвы, обрадовала всех.

— В Италии мы разговариваем с японцами по-русски, пьем русскую водку с итальянским лимоном... Интересно,— сказал Горький. У него было хорошее настроение.

Курода Отокити, его дочь Дзюнко и жена Курода Тани в гостях у А. М. Горького. Сорренто, 28 октября 1927 года. *Снимок публикуется впервые.*

Во время ужина много говорили о Японии. Большой эрудит, Горький немало знал о ней. Он восхищался прогрессом Японии за последние шестьдесят лет, говорил, что японцы, раз поставив перед собою цель, неуклонно движутся к ее достижению, преодолевая все препятствия. Это достойно уважения.

Он — восторженный ценитель японского искусства. Горький показал свою коллекцию японских статуэток из слоновой кости и высоко отозвался о мастерстве японских художников, сумевших передать национальную самобытность. Как многие европейцы, Горький поклонник Утамаро и Тоекуни *, но не одобряет современное искусство Японии за его подражание Европе. Он очень интересовался и художественной литературой Японии — высказал сожаление, что мало переводят с японского на русский. Роман Эгути Кана ** «Тюрьма и любовь» не произвел на Горького большого впечатления, зато он хвалил роман Арисима Такэо ***

---

* Китагава Утамаро (1753—1806), Утагава Тоекуни (1735—1814) — выдающиеся художники реалистического направления японской живописи «Укие-э».

** Эгути Кан (род. в 1887) — японский писатель, принимал активное участие в пролетарском литературном движении Японии 20—30-х годов.

*** Арисима Такэо (1878—1923) — классик современной японской литературы.

Внучка А. М. Горького Марфа Пешкова и Курода Дзюнко. Сорренто, 28 октября 1927 года. *Снимок публикуется впервые.*

«Женщина». Горький также знал о трагической смерти Акутагавы *. Я сказал ему, что издательство «Круг» скоро выпустит сборник рассказов Акутагавы. Горький сделал заметку в записной книжке: заказать этот сборник...

Я подробно рассказал Горькому об изучении русской литературы в Японии, добавив, что почти все произведения Горького переведены на японский язык. Это сообщение тронуло его... Горький особенно обрадовался, узнав, что драма «На дне», наряду с инсценировкой «Воскресения» и «Живым трупом» Толстого и с пьесами Чехова «Вишневый сад», «Три сестры» и «Дядя Ваня», уже давно поставлена на японской сцене.

Я неосторожно сказал, что в Японии везде поют песню Катюши из японской постановки «Воскресения». Меня тут же заставили спеть ее. Жаль, что я не знал песню «Дондзоко» — «На дне».

Горький с интересом слушал меня и попросил спеть еще народные песни Японии.

Часы пробили двенадцать. Беспокоясь за здоровье хозяина, мы попросили извинения и удалились в гостиницу.

* Рюноскэ Акутагава (1892—1927) — выдающийся японский писатель, который, терзаемый внутренними противоречиями, покончил с собой.

■

28 октября

День сегодня такой же ясный. Встал я в восемь. Вышел на веранду гостиницы. Отсюда виден кабинет Горького. Окно открыто — значит, он уже работает.

В двенадцать мы отправились к Горькому: вчера он пригласил нас на завтрак. Прежде, чем идти в столовую, П. П. Крючков повел меня в свою комнату. Он показал рукописный журнал «Соррентийская правда»...

Внучка Горького Марфа и моя дочь уже совсем подружились. Объясняются руками. Глядя на них, дедушка Горький все время улыбается.

За завтраком я спросил у писателя, кто был первым японцем, с которым он встретился.

— Наверное, тот, которого я видел у Толстого. Забыл, как его звали. Кажется, Кониси *. Потом во время русско-японской войны встретился с одним пленным офицером. Это был очень интересный человек...

Вспомнив о русско-японской войне, Горький продолжал:

— Закончилась война, и армия возвращалась домой. На какой-то станции огромная толпа — встречают солдата. Пожилой солдат громко кричит: «Нам незачем воевать с японцами...» Все затихли...

После завтрака я попросил Горького выйти на веранду и сфотографировал его.

...Вечером у Горького были новые гости — три иностранца. Горький говорил о своих взглядах на мир, на революцию. Его занимал и вопрос о крестьянах. «Без Ленина Россия наверняка погибла бы»,— говорит он. Мероприятия Советского правительства, направленные на преобразование деревни и на развитие народного просвещения, вызвали у него горячий отклик. О себе писатель говорил, что для него важнее всего человек — надо прежде всего беречь человека...

О русской деревне Горький высказал такую мысль:

— При царях крестьяне испытывали гнет города. Они совершенно не верят городу. Если после революции крестьяне не сразу восприняли мероприятия правительства, то в этом сказалась прежняя вражда деревни с городом. Советское правительство прилагает все усилия для поднятия деревни. За последние десять лет молодые в деревне получили образование... Пройдет еще десять лет, и тогда нельзя будет узнать русскую деревню.

* Кониси Масутаро — Даниил Петрович Кониси (так его звали в России) — учился в Киевской духовной академии, а впоследствии стал известным японским публицистом и философом. Кониси познакомился с Толстым в 1892 г. и с тех пор стал частым гостем писателя. Переводил для него трактаты китайского философа Лао Цзы.

Я пожаловался, что иностранцам трудно понять суть русской деревни...

Горький согласился со мной:

— Даже не всем русским она понятна. Не помню, когда это было,— в Нижнем Новгороде впервые появился трамвай. Нет коней (как у конки), а трамвай движется. Какой-то крестьянин от удивления аж побелел. «Ох, видит бог! Что же это делается!» — говорил он, стоя на рельсах перед трамваем. Но чудище и не думает свернуть. Крестьянин чуть не попал под трамвай...

У меня нет слов, чтобы точно передать удивительную мимику Горького-рассказчика.

— Как-то в селе под Нижним пошли слухи: появился поющий ящик. Собрались крестьяне Действительно, из ящика раздается песня. Все в недоумении. Какой-то учитель решительно заявил, что на дне ящика сидит черт. В это время перевернули пластинку: раздалось церковное пение. Что такое? Учитель совсем потерял голову.

— Это, наверное, анекдот? — спрашиваю я.

— Нет, все правда,— серьезно отвечает Горький.— В темную, нищую деревню хлынула революция, пришла культура. Естественно, многие растерялись...

Когда я беседовал с Горьким, мне все время казалось, что передо мною в образе писателя стоит вся Россия — простая, умная, широкая и бездонная...

Часы показали уже десять, а завтра рано утром нам надо было уезжать. Я попросил Горького написать несколько слов мне на память. Своим характерным почерком он написал:

«Чем чаще я встречаюсь с незнакомыми, тем больше становится у меня друзей.

Сорренто. М. Горький».

Пожелав писателю здоровья, я встал и, прощаясь, пригласил его приехать в Японию.

— Обязательно приеду,— сказал Горький и крепко пожал нам руки.

Перевод с японского К. РЕХО

В. ВАЛИЦКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ КИТАЙСКИЙ РОМАН

Последним китайским романом, не в смысле свежести типографской краски его страниц, а потому, что больше в Китае не издается художественная литература, оказался толстый том «Песни об Оуян Хае». Роман был издан в декабре 1965 года, переиздавался в 1966 году, и с тех пор уже более двух лет только сочинения Мао Цзэ-дуна монопольно изливаются из китайских типографий.

В судьбе романа отразились многие перипетии «культурной революции» и острой политической борьбы, своей судьбой он и интересен. Что же касается литературных достоинств, то о них как-то даже неудобно говорить по поводу подобной книги.

В начале 1966 года «культурная революция» уже назревала. Со второго по двадцатое февраля в Шанхае проходило совещание армейских работников в области литературы и искусства, созванное Цзян Цин, супругой Мао Цзэ-дуна. Совещание в Шанхае выработало протокол, в котором говорилось: «После основания государства наша политика в литературной и общественной сферах была узурпирована антисоциалистической, антипартийной, антагонистической идеям Мао Цзэ-дуна черной линией. Эта черная линия суть сочетание буржуазных эстетических идей с идеями современного ревизионизма и так называемыми литературой и искусством тридцатых годов... Мы решительно намерены провести на культурном фронте великую социалистическую революцию».

Протокол, отвергающий все культурные ценности, созданные в КНР после 1949 года, стал программным документом группы Мао Цзэ-дуна. Его дважды правил лично Мао Цзэ-дун. Этот документ был опубликован ровно через год, но деятели, собравшиеся в конце февраля 1966 г. в Гуанчжоу, вне сомнения, знали и о совещании и о его программе. Одним из них был Чэнь И, министр иностранных дел КНР и заместитель премьера Чжоу Энь-лая, а другим — секретарь Центрально-южного бюро ЦК КПК Тао Чжу, долгие годы возглавлявший южные провинции страны. 27 февраля первые страницы китайских газет украсились сообщениями, что Тао Чжу и Чэнь И приняли доселе неведомого писателя Цзинь Цзинмая и дали высокую оценку его роману «Песня об Оуян Хае». Тем самым они в какой-то мере шли вразрез с нигилизмом протокола.

В Китае издавна существовала унаследованная от времен феодализма традиция судить о литературе с высоты трона, сана или чина. Немалая власть, которой обладали в стране оба деятеля, придавала их заявлениям характер официальной политической линии. Чэнь И и Тао Чжу в один голос заявили, что Цзинь Цзин-май написал «произведение эпохального значения», что его книга — «новая веха в истории нашего художественного творчества».

Чэнь И сказал: «Песня об Оуян Хае» — это роман, необычайно захватывающий читателей, прекрасное произведение о социалистической эпохе. Но большой роман о героях социалистической эпохи, написанный так хорошо, как «Песня об Оуян Хае», пока что первый. Это продукт партийного руководства, горячей помощи масс и труда писателя. В этом романе создан героический образ человека, воспитанного идеями Мао Цзэ-дуна, человека высокой классовой сознательности, абсолютно лишенного индивидуализма, справедливого и мужественного, ничего не страшащегося».

Насколько роман «захватывает» читателя,

каждый сможет лично убедиться по переводу одной из глав. Здесь же заметим, что Чэнь И не стесняется ставить труд самого писателя в создании произведения на последнее место. Сначала идет «помощь масс», одно из любимых понятий маоистской демагогии, в которой попросту имеется в виду собрание коллектива в присутствии начальства, где каждый *обязан* выступить и, понимая все последствия своих слов, старается угодить по мере сил. Зато вымученные замечания, если они отвечают официальной линии, становятся в свою очередь для подопытного автора законом и предписанием к исполнению. Так «волей масс» освящаются инструкции, спущенные сверху. Но даже подобная демагогическая практика, по мнению Чэнь И, второстепенна в творчестве. На первое место он поставил прямые директивы, которые отпускают пишущему непосредственные его начальники.

Затем заговорил Тао Чжу с провинциальной прямотой и бесцеремонностью: «После издания «Песня об Оуян Хае» встретила восторженный прием у читателей и огромное внимание со стороны общественных организаций, а это означает, что произведение очень удачное, имеющее эпохальное значение, а сама социалистическая литература обладает невообразимо широкими перспективами. «Песня об Оуян Хае» успешно отобразила благородные качества героя социалистической эпохи: скромность и бескорыстие, отсутствие страха перед трудностями и перед смертью, преданность всем сердцем революции и народу. В период социалистической революции и строительства нам очень нужны такие герои для примера, председатель Мао говорил, что *«нужно заново воспитывать народ»*, то есть воспитывать нового человека, обладающего именно этими качествами».

Итак, благосклонное внимание маоистского руководства, по мнению Тао Чжу, гарантирует «эпохальное значение» романа. С читателем он считается не более, чем Чэнь И. Зато цитата из Мао Цзэ-дуна, при всей банальности, весьма зловеща: она гласит о необходимости заново перевоспитывать народ, проникшийся идеалами социализма. А новый дух — идеи самого Мао, которые он стремится насадить.

Кончалось же выступление Тао Чжу стандартным для нынешнего Китая панегириком: «На творческом пути социалистической литературы появление «Песни об Оуян Хае» — результат того, что Народно-освободительная армия под руководством ЦК партии и т. Мао Цзэ-дуна, под непосредственным руководством т. Линь Бяо упорно изучала сочинения председателя Мао и выдвинула политику на первый план. Если мы искренне вооружимся идеями Мао Цзэ-дуна, глубоко погрузимся в практическую борьбу, то, и не будучи писателями, сможем создать хорошие произведения».

Таков был вывод: без писателей можно обойтись, сами, мол, напишем «хорошие» произведения, которые нам нужны! Но в своем мандаринском пренебрежении к литературе Тао Чжу считает, что автор восхваляемого столь выспренне романа вовсе и не писатель. Достаточно того, что он «вооружен идеями Мао Цзэ-дуна».

Немедленно после публикации беседы в Гуанчжоу китайские газеты и журналы запестрели отрывками из романа с продолжениями и без, хвалебно-подхалимскими статьями критиков, надменными выступлениями самого автора, делившегося уникальным опытом работы.

В печально знаменитой покаянной речи Го Мо-жо, которую «Литературная газета» воспроизвела в русском переводе 5 мая 1966 года, Го Мо-жо отрекся от собственных сочинений, но зато рассыпался в похвалах «Песне об Оуян Хае». «Это эпохальный роман...— говорил Го Мо-жо — Автор действительно живо показал Оуян Хая, живо отразил идеи председателя Мао. Товарищ Оуян Хай погиб в 1963 году. Автор вместил в этот роман почти все курсы и политические установки до 1963 года и почти все идеи председателя...»

Действительно, незаурядная полнота для произведения, претендующего на художественность!

В начале «культурной революции» Цзинь Цзин-мая еще не трогали. Более того, он продолжал громогласно восхвалять Мао Цзэ-дуна, его идеи и политику, кидая камнями критики и доносов в тех, кто попал в беду. Оседлав «эпохальный» роман на манер белого коня, Тао Чжу, покровитель удачливого автора, въехал в Пекин, чтобы стать в самой столице заведующим отделом пропаганды ЦК КПК на смену осужденным в ходе движения прежним руководителям.

Летом 1966 года роман печатался тираж за тиражом. Его начали читать на обязательных политзанятиях наравне с газетными передовицами. Роман объявили образцовым. Тао Чжу не жалел власть употреблять, чтобы популяризировать свое литературное детище.

Роман написан о новом герое — маоцзэдуновце.

18 ноября 1963 года воинская часть переходила железнодорожный путь. Из-за горы появился поезд, и лошадь в артиллерийской упряжке с испугу дернула и застряла на полотне. Катастрофа казалась неминуемой, так как, пройди лошадь дальше, поезд налетел бы на пушку, а при наезде на лошадь крушение случается часто — Оуян Хай знал об этом по рассказам. Оуян Хай бросился на рельсы и, подняв лошадь на дыбы, столкнул ее с полотна железной дороги, но сам попал под поезд, был тяжко изувечен и умер в тот же день в больнице.

Героизм Оуян Хая официально объявили результатом изучения идей Мао Цзэ-дуна. Так происходит подмена ценностей, и пропаганда в качестве следующего шага выдает «идеи» Мао Цзэ-дуна за единственный источник героизма вообще.

После смерти Оуян Хая началась канони-

зация по всем правилам маоистской иерархии. Автор романа Цзинь Цзин-май получил прямое указание: «Через рост Ояун Хая отобразить изменения в частях за последние несколько лет». Он сам приводит полностью и без стеснения это указание в статье «Замысел и создание «Песни об Ояун Хае». Знакомство с героем автор начал с того, что выслушал на специальном собрании речь Тао Чжу, который совмещал должность секретаря Центрально-южного бюро ЦК КПК с постом политкомиссара в частях соответствующего военного округа. В приложении к роману от октября 1965 г. автор писал: «Без внимания, забот и указаний командиров всех ступеней этот роман вообще никак не мог бы быть написан». Он откровенно поблагодарил все инстанции: командование и политработников воинской части № 6900, Гуйянский уездный комитет КПК, редакцию журнала «Шоухо», армейское издательство «Цзефанцзюнь вэньи шэ». Инстанции предоставляли материалы, отбирали конкретные эпизоды, участвовали в определении развития сюжета и характеров действующих лиц. Каким был настоящий Ояун Хай, докопаться теперь невозможно. Сконструированный герой поглотил человека.

Тип маоистских героев описал сам автор романа Цзинь Цзин-май: «С тех пор как в частях началось в широких масштабах изучение сочинений председателя Мао, появилось немало таких бойцов, чей культурный уровень до вступления в армию был настолько невысок, что они могли высказать очень мало путного, а первая книга, которую они прочли до конца после вступления в ряды революционной армии, была «Служить народу». Однако если уж они выучат одну фразу, то они сразу же применяют ее в жизни: как председатель Мао сказал, так они и поступают, поступают от всего сердца и с чистыми помыслами, поистине достигли они душевной чистоты без грана эгоизма и корыстолюбия. Это новые люди шестидесятых годов, новые люди, поднявшиеся от примитивного уровня, а теперь вооруженные идеями Мао Цзэ-дуна».

Здесь сказано больше, чем кажется на первый взгляд. Пропаганда в армии была началом всеобщего насаждения идей Мао в стране, при этом пользовались в первую очередь невежеством новобранцев. В Китае основная часть населения неграмотна.

Даже среди поступивших на первый курс университета из деревни по особой квоте есть юноши, не прочитавшие ни одной книги в жизни, и хорошо, если они читали все страницы своего школьного учебника — единственной книги, которую они видели вообще. Даже газету деревенские пареньки не все читали. Статью Мао Цзэ-дуна «Служить народу», которую первой вкладывают в руки начинающего приобщаться к истинам маоизма, ему не с чем сравнивать. Она занимает всего три странички, и Цзинь Цзин-май называет ее книгой из пресмыкательства перед властью.

Маоисты заинтересованы в низком образовательном уровне и прямом бескультурье трудящихся. Не будучи способными развивать народное хозяйство страны, они неизбежно приходят к необходимости мешать и росту людей, которых им иначе негде использовать. С другой стороны, сознание неполноценности идей Мао Цзэ-дуна, подвергающихся насмешкам интеллигенции, рождает страх перед любым культурным влиянием. Система маоизма чувствует себя спокойно, только лишив человека всякой возможности сравнения, опасность для нее исходит от любой книги, образование само по себе подозрительно, и «новые» лучшие люди — канонизированные герои — кроме книг Мао Цзэ-дуна ничего не читают и не читали. Их достоинства аналогичны религиозной святости, не требующей ничего, кроме слепой веры и «чистоты духовной».

Наконец, привычка сообразовывать свои поступки и действия с изречениями Мао Цзэ-дуна вырабатывает автоматизм повиновения этим «самым высоким указаниям», каковы бы они ни были. Слепое подчинение слову Мао — важнейшая основа культа личности в Китае, столп нового режима.

Знаменательно, что даже официозное «эпохальное» произведение не избежало превратностей судьбы в маоцзэдуновском Китае.

Первые признаки недовольства романом проявились в августе 1966 года. То было время разгула хунвэйбинов, всячески поощряемых к проявлению «революционной» инициативы. Разгромив книжные магазины, уничтожив личные книги граждан либо огнем, либо сдав их в макулатуру, хунвэйбины искали случай придраться к «Песне об Ояун Хае», которая была издана до «культурной революции». Первой жертвой стал художник.

В китайском издании указано, что обложка принадлежит художнику Чжи Хуэю. Возможно, это псевдоним или одно имя без фамилии. Так или иначе, ярость хунвэйбинов обратилась против него. Чжи Хуэй разделил обложку на две неравные части. Верхняя, занимающая две трети, была отдана скульптуре, изображающей подвиг Ояун Хая: упершись в рельсы, герой выталкивает вздыбленную лошадь с полотна, его лицо, напряженное от усилия, обращено к несущемуся поезду. Скульптура на обложке подана в цвете бронзы, небо заменено красным бьющимся полотнищем знамени, белого фона совсем немного. Нижняя треть — черного цвета, на ней красным начертано название романа и имя его автора.

Хунвэйбины сочли именно обложку «контрреволюционной». Их оскорбил черный цвет, хорошо ассоциировавшийся с лозунгом о борьбе с «черной линией» в литературе и искусстве.

Хунвэйбины врывались в издательство и рыскали по городу в поисках художника, который должен был «ответить» за оскорбительный для р-революционного романа черный цвет на обложке. Опасливые читатели, сохраняя книгу, срывали с нее обложку. Я не раз видел экземпляры романа без обложки в руках студентов и служащих перед обязательными политзанятиями.

Зимой 1967 года Тао Чжу, высочайший покровитель романа, был в результате междоусобной грызни разоблачен как «контрреволюционный двурушник». Началась истерическая кампания в печати против главы государства Лю Шао-ци. Смена курсов и установок в политической жизни Китая следовала с такой скоростью, что роман «устарел» за какие-нибудь полгода. А ведь не забудем, что его главным достоинством, по словам Го Мо-жо, была емкость: почти все политические курсы и установки вплоть до 1963 года! Теперь они устаревали не по дням, а по часам.

Встревоженный Цзинь Цзин-май попытался угнаться за политической ситуацией. Он начал лихорадочно переделывать книгу в духе «нового порядка». 22 мая 1967 года китайские газеты начали публиковать отрывки из переработанной рукописи, в которой автор поносил Лю Шао-ци и его политику во все тяжкие. Все же новые публикации быстро прервались, автор смолк, исправления, очевидно, не спасли. Приходилось расплачиваться за былое покровительство Тао Чжу немилостью у новых властей, а конкретнее — у всесильной Цзян Цин.

Никакая угодливость и лебезение автора не смогли спасти роман, в судьбе которого принимал участие «двурушник» Тао Чжу, роман, признание которого противоречило бы безоговорочному осуждению всей китайской культуры в шанхайском протоколе маоистов.

17 февраля 1968 года корреспондент Франс Пресс в Пекине Жан Венсан сообщил, что появились дацзыбао, критикующие роман «Песня об Оуян Хае». Ниже в маоистском Китае падать уже некуда. «Эпохальное произведение» лопнуло, как мыльный пузырь, среди кровавых междоусобиц и грызни, в которую ввергла страну маоцзэдуновская «культурная революция».

Роман пока «забыли». Зато в июне 1968 года годовщину публикации шанхайского протокола отметили с большим шумом. Цзян Цин, супруга Мао Цзэ-дуна, взяла верх и упилась бесподобной лестью, которую вместе с прочими феодальными нравами воскресила к жизни «культурная революция».

■

Для иллюстрации мы предлагаем отрывок из сороковой главы романа, опубликованный 22 мая 1967 г. в газете «Гуанмин жибао». Это переработанный вариант. В переводе нет ни купюр, ни каких-либо изменений, цитаты из Мао Цзэ-дуна, которыми обильно сдобрено произведение, выделены, как и в оригинальном тексте.

Оуян Хай назначен командиром седьмого отделения. Его боец Лю принял от крестьянина в подарок клубни батата, сладкого картофеля, обычного и дешевого продукта питания в тех местах. Заместитель политрука Се, не разобравшись, обвинил бойца в краже. Оуян Хай заступился за бойца своего отделения. Ниже следует перевод.

■

После ужина Гао И-чжун вместе с несколькими товарищами на краю плаца обсуждал усвоенное после изучения «Направления развития молодежного движения»*, Вэй У-яо задушевно беседовал на ступеньках у входа с молодым Лю, а прочие товарищи, вооружившись мотыгами, отправились работать в подсобное хозяйство, и только один Оуян Хай остался в казарме. Он ползал под койками, расставляя для товарищей тапочки, чтобы все было в полном порядке. Неожиданно для себя он нашел на полу тоненькую брошюрку. На обложке, покрытой пылью, можно было неясно различить, что в ней говорилось нечто о членах партии; на оборотной стороне было напечатано: «Переиздание 1962 г.» Оуян Хай подумал: «Я вступил в партию уже три года тому назад, но эта книжка мне на глаза ни разу не попадалась. Сегодня в душе у меня назрел еще не вскрывшийся идейный гнойник, надо посмотреть, как и что там говорится». Поэтому он поднял брошюрку, уселся на стул у окна и стал читать.**

Оуян Хай никак не мог сосредоточиться на чтении, поскольку терзавший его идейный гнойник еще не прорвался. Он рассеянно листал книжку, но заметил, что она напичкана выражениями вроде «Каждый может стать Яо или Шунем»*, «Я трижды на день проверяю себя самого», «Размышлением утруждать разум, трудом упражнять тело», или же что следует «мыслить разумом и укрощать нрав» и только тогда можно вынести «великую ответственность», и прочее в духе Конфуция и Мэнцзы ****. Поскольку Оуян Хай не мог понять, для чего вся эта писанина, а значит, и не мог вскрыть свой идейный гнойник, то у него пропало желание читать дальше. Он уже хотел было отбросить книжку, как вдруг его уколола одна фраза, где говорилось об интересах «партии и революции», ради чего следует быть «великодушным, терпимым, уметь приспосабливаться ради успеха», и еще говорилось, что даже надо «уметь быть терпимым в недоразумениях и унижениях». Поначалу Оуян Хай не понял смысла этих слов, но когда дошло до него, он поперхнулся, словно проглотил муху, и его чуть не стошнило от омерзения. Он встал резким движением и произнес, обращаясь к самому себе:**

«Наша партия — это партия, собственноручно выпестованная великим вождем председателем Мао, марксистско-ленинская партия. Члены нашей партии — это вооруженные великими идеями Мао Цзэ-дуна члены партии. Если среди товарищей по

* Одно из сочинений Мао Цзэ-дуна.

** Автор не желает прямо назвать брошюру Лю Шао-ци «О самовоспитании члена партии».

*** Яо и Шунь — мифические цари, пример конфуцианских добродетелей.

**** Древнекитайские мыслители.

В. ВАЛИЦКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ КИТАЙСКИЙ РОМАН

какому-либо вопросу возникли разные взгляды, следует посмотреть, чьи взгляды соответствуют наставлениям председателя Мао, а значит, и соответствуют коренным интересам пролетариата. Соответствующие надо поддерживать, а не соответствующие — исправлять. Великодушие, терпимость, умение приспосабливаться ради успеха — разве могут такие качества «соответствовать интересам партии и революции»? Яснее ясного: здесь смешаны правда и ложь, чтобы запугать людей! Мы всегда подчеркивали: надо твердо придерживаться принципов, правильное — правильно, а ошибка есть ошибка. Ошибся — значит, требуется исправлять, и речи не может быть, чтобы терпеть какие-либо недоразумения и унижения; если же все правильно, того и надо твердо держаться, к чему терпимо относиться ко всяким недоразумениям и унижениям?»

Он гневно швырнул книжку на подоконник: «Негоже члену партии читать такое!»

Оуян Хай присел на койку и промолвил, задумчиво поскребывая голову: «Если не вскрыть назревший идейный гнойник, то немедля зародится новый! Чем же считается эта книжка?.. Однако как будто приходилось слышать, что в некоторых местностях всех членов партии обязали читать ее, а такое можно назвать правильным, только если она безупречна. Может быть, я неправильно понял? — Он нахмурился: — Но ведь положение, о котором говорилось выше, явно неправильно! А может... Может, там сказано правильно, и только люди моего уровня не могут понять смысла? Ладно! Лучше я пойду к заместителю политрука и расспрошу».

Оуян Хай поднялся и направился к выходу. Но он прошел только несколько шагов и остановился: «Неправильно! В этом тоже лежит вопрос большой правды и большой лжи! Если вопрос не понятен, разве допустимо отмахиваться одним «ладно»?» И он сказал самому себе: «Председатель Мао учит нас: «С каким бы делом ни столкнулся коммунист, он должен поставить перед собой вопрос «почему?», должен продумать его собственной головой, должен подумать, отвечает ли оно требованиям действительности, разумно ли оно; ни в коем случае не следует слепо подчиняться, ни в коем случае не следует поощрять раболепие...» Я должен продумать, разумно ли оно! Правильно! Да ведь я же должен поступить согласно тому, что говорил председатель Мао по этому вопросу!» Оуян Хай поднял голову и воззрился на такой родной и благожелательный лик великого вождя председателя Мао на стене. И в этот миг в ушах его зазвучал торжественный и решительный голос: «Член партии должен быть откровенным, преданным, активным, считать интересы революции собственной жизнью, подчинять личные интересы интересам революции: в любое время и в любом месте стойко придерживаться правильных принципов, неустанно бороться со всеми неправильными идеями и действиями...»

Глаза Оуян Хая засияли, на душе стало легко, словно луч солнечного света озарил его, и великими силами преисполнилась его душа. Он снова и снова продекламировал наизусть эту заповедь великого вождя председателя Мао и взволнованно произнес: «Председатель Мао! Как замечательно Вы сказали! Наша партия не нуждается в лжеджентльменах, которые «мыслят разумом и укрощают нрав», занимаются самоусовершенствованием и самовоспитанием. Нашей партии нужны решительные бойцы пролетариата, которые «неустанно борются со всеми неправильными идеями и действиями»!» И он восторженно закричал во весь голос: «Пусть же Вами будет вскрыт гнойник в душе моей!»

Порыв ветра ворвался в окно, зашуршал листками запугивавшей людей тоненькой брошюрки на подоконнике и сдул ее вниз, так что она как раз угодила в мусорную корзину, стоявшую под окном.

За дверью на крыльце молодой Лю и Вэй У-яо беседовали по душам. Оуян Хай ясно слышал их разговор.

— Я не согласен! Я не понимаю! — спорил молодой Лю, и лицо его выдавало напряжение.— Заместитель политрука решил неправильно, это ясно как день, так почему же я не могу выступить с критикой?

— Выступить с критикой конечно же можно, солдаты и офицеры у нас равны, почему же не выступить? — говорил Вэй.— Мое мнение, что ты тогда тоже не во всем вел себя правильно, и если выступать, то нужно говорить подобрее о людях.

— Что значит «подобрее»? — вскочил молодой Лю.— Видно же, что у товарища немало недостатков и ошибок, и поэтому не бороться с ними всерьез, говорить расплывчато и водянисто, не требовать окончательного решения, ради единения идти на примиренчество — это по-вашему правильно? Это и значит «подобрее»? Это волюнтаризм, который критиковал председатель Мао!

— Вол... вол... волюнтаризм? — поперхнулся на трудном слове Вэй.

— Да конечно же! — с подъемом продолжал молодой Лю.— «В результате наносится вред и коллективу и личности», таково первое проявление, раскритикованное председателем Мао в сочинении «Против волюнтаризма»!

— Правильно, правильно, правильно! — воскликнул в ответ Вэй, энергично кивая головой.— Председатель Мао говорил именно так. Сегодня мы не будем обсуждать этот вопрос, поговорим теперь о другом. В тот вечер...

— То есть как о другом? Как же быть с этим вопросом? — спрашивал Лю.

— Очень просто.— искренне сказал Вэй.— Решить его в духе указаний предсе-

дателя Мао! «Если только ты говоришь правильно, то мы тотчас же исправим ошибку». Я с тобой совершенно согласен: если не выступить с критикой, то этого добрым отношением к человеку не назовешь, вести активную идейную борьбу — вот что правильно. Но следует принимать во внимание вопрос о собственном поведении.

— Ну, разница невелика,— засмеялся молодой Лю.— А то я бы спорил до бесконечности.

Оуян Хай слушал разговор молодого Лю с Вэем, и у него отлегло от сердца. Он с подъемом сказал про себя: «С тех пор как работу в военной комиссии ЦК взял на себя заместитель председателя Линь Бяо, дух в частях сильно и быстро изменился! Перемены заметнее с каждым днем! Теперь товарищи даже в задушевном разговоре, выясняя вопрос, способны опираться на указания председателя, а когда возникает спор, все могут цитировать наизусть наставления председателя, чтобы обосновать свою точку зрения и определить, где правда, а где ложь. Такого в истории еще не бывало, это совершенно новая атмосфера! Перемены в частях — это результат живого изучения и практического применения сочинений председателя Мао!»

Он смотрел на молодого Лю и думал:

«Молодой Лю — по-настоящему хороший человек, и скромен и искренен, в конце концов, он ведь уроженец Яньани*, сызмальства правильно и строго воспитывается в революционной семье, унаследовал революционные традиции старшего поколения, вырос прямым, серьезным, воспитал в себе готовность исправлять ошибки. Для него правда и ложь совершенно ясны и раздельны, он поступает по своему разуму. Если он заметил у начальника недостаток, он принимает его близко к сердцу, как свой собственный, не усидит и не уснет, покуда не начнется борьба и спор. Вот что значит, когда интересы революции ставятся на первое место, ничего похожего на рассуждения той брошюры о «терпимости». Правильно, мне следует хорошенько учиться у товарища Лю!»

До выключения света седьмое отделение выкроило время провести свое собрание. Все участники разбирали недостатки, сравнивали себя с первым и четвертым отделениями. Оуян Хай похвалил молодого Лю и еще нескольких товарищей за большие успехи в живом изучении и применении идей председателя Мао, чему у них должны учиться все остальные; в то же время он покритиковал молодого Лю за своеволие и указал, что мы должны быть активными в идейной борьбе, но это не значит, что можно забывать о методах. По этому вопросу все яростно заспорили. Некоторые говорили, что, если ты попал под критику, не следует требовать, чтобы все замечания были на сто процентов правильными, а тем более не следует поднимать вопрос о методах и способах критики. Другие же говорили, что критикующие должны по мере сил стараться, чтобы замечания были верными, и следить за методами критики. Только так можно добиться целей идейной борьбы и помочь товарищу исправиться. Перед роспуском собрания все отделение читало вслух хором сочинение председателя Мао «Против волюнтаризма». Уже прозвучал отбой, а все бойцы еще толпились вокруг стола, приводили в порядок записи в блокнотах и расходились неохотно. Оуян Хаю пришлось напоминать, чтобы товарищи расходились по койкам...

В батальонной казарме полная тишина. Слышны только цикады да шарканье дежурных постовых. Прошла уже первая смена, а Оуян Хай под своим пологом еще не уснул. Он продумал идейную сторону своей деятельности за последние два дня и осознал, что по вопросу отношения к борьбе разных идеологий внутри партии, их противопоставления он многого достиг, но еще не мог свести в несколько обобщающих тезисов достигнутое.

«Эх,— думал он.— Слишком низок мой идейный уровень. Ключ ко всем ключам — сочинения председателя Мао — не изучил как следует!» Он натянул одежду, вынул из тумбочки первый том «Избранных сочинений Мао Цзэ-дуна», уселся под лампочкой над входом в казарму, развернул книгу на статье «О противоречиях» и стал читать.

Оуян Хай уже несколько раз изучал статью «О противоречиях», но смог уловить только общий ее смысл, а многие места конкретно так и не усвоил. Этот томик сочинений председателя Мао ему подарил политрук Цзэн перед уходом из роты, поэтому на страницах осталось множество сделанных им пометок и записей понятого во время учебы, что очень помогало Оуян Хаю понимать наставления председателя Мао. Стоило Оуян Хаю раскрыть эту книгу, как он вспоминал фигуру склоненного над ней в упорной учебе политрука Цзэна и говорил себе: «Хорошо позаботился обо мне политрук Цзэн! Он знал, что я только полтора года ходил в вечернюю школу, учился с трудом, соображаю плохо, и специально подарил мне томик «Избранных сочинений Мао Цзэ-дуна», по которому учился сам, чтобы помочь мне получше понять наставления великого вождя председателя Мао».

Он читал по красным пометкам, как будто сам Цзэн сидел рядом и разъяснял подчеркнутое. Во фразе: «Противоречия возникают в процессе развития всех вещей и явлений» он обнаружил, что слова «всех вещей и явлений» подчеркнуты, а когда прочел фразу: «Противоречия пронизывают начало и конец процесса развития всех вещей и явлений», значками важности были отмечены слова «пронизывают» и «начало и конец».

Оуян Хай поднял голову.

---

* Главная опорная база КПК в 1937—1947 годах.

«Я понял! Не важно, какие вещи и явления, повсюду от начала и до конца существуют противоречия, и когда между мной и заместителем политрука возникло противоречие по вопросу о помощи молодому Лю, в этом нет ничего удивительного, это соответствует общей закономерности... Однако как же подойти к такому противоречию?» На этой мысли он остановился, поспешно вернулся на страницу вперед, и свет лампы ярко осветил следующие слова:

«Внутри партии постоянно возникает борьба разных идеологий, это отражение общественных классовых противоречий и противоречий между старым и новым внутри партии. Если внутри партии нет противоречий и идеологической борьбы за разрешение их, то жизнь партии прекращается». Оуян Хай широко раскрыл глаза: «Как глубоко, как конкретно сказал председатель Мао! В отношении этого противоречия следует развивать идеологическую борьбу, чтобы разрешить его, только так и следует поступать». Он ударил себя по лбу: «Я прежде думал, что здесь затронут вопрос, кто прав, а кто ошибается, мне не приходило в голову, что вопрос о том, разрешать противоречие или нет, касается того, будет ли партия развиваться и расти. Вести или не вести идеологическую борьбу — это большой вопрос о том, быть или не быть партии!» Он встал.

■

Приведенного достаточно, чтобы непредвзятый читатель мог увидеть пропасть между «образцовым романом» и самим понятием «художественная литература». В ней описаны не живые люди, а «идеальные» персонажи, но такими хотело бы видеть всех китайцев маоистское руководство. Невежественные, фанатичные верноподданные, чья мысль способна идти только по узким, четко прочерченным каналам догмы,— вот их идеал «нового человека».

В изображении автора романа маоцзэдуновская казарма не привлекательна, а страшна, хотя нет сомнений, что в его намерения входило ее прославить. А ведь одна из любимых идей Мао Цзэ-дуна — превратить казарму в идеал сначала для всего Китая, а потом, может статься, и навязать ее всему человечеству.

Мао Цзэ-дун декларирует, что «раболепие нельзя поощрять», что человек должен мыслить самостоятельно. А страна захлебывается в унизительном для человеческого достоинства раболепии среди массового поклонения живому богу. На деле «самостоятельность» дается таким, как Оуян Хай в изображении Цзинь Цзин-мая, для того, чтобы они сами успешнее навязывали другим все тот же напыщенный свод конечных истин. Кстати, Оуян Хаю было труднее — в 1963 году цитатник еще только начинал вводиться, теперь маоистам стало проще одурманивать народ.

Маоизм тщетно рядится в одежды «исторической необходимости». Он опирается на грубое насилие и сознательно культивирует невежество. В идеализированном маоистском изображении бойцы китайской армии уже законченные фанатики, слепой инструмент для «великого кормчего»... Религиозное служение вокруг «сочинений», чтение, цитирование, хоровое исполнение — все служит тем же целям подавления рассудка. В общественное сознание китайского народа маоистская догма вносит паралич и оцепенение. В стране с трехтысячелетней культурной традицией мертвящее дыхание маоизма сейчас прервало естественный ход культурного развития. Но все, что пытаются создать в сфере культуры прислужники Мао Цзэ-дуна, оказывается ненадежным, непрочным и эфемерным. Барометр культуры указывает на недолговечность самой основы «нового порядка» в Китае...

РАДОВАН ЗОГОВИЧ

ВЕРА В ЛЮДЕЙ

Как известно, литературное творчество большого писателя, то есть писателя, затронувшего существеннейшие вопросы, противоречия своего времени,— не статическая и по функции своих компонентов неизменная, не нейтральная величина. Живя и постоянно действуя как целое, это творчество, включенное в общественную и духовную борьбу и развитие человечества, подчиненное диалектике этого развития, на отдельных, новых этапах истории особенно сильно действует, живет и развивается различными сторонами своего смыслового и эстетического целого. Это, разумеется, относится и к произведениям Максима Горького. И относится тем более потому, что в нем, по словам Луначарского, пролетариат впервые художественно осознал самого себя, как философски и политически осознал себя в Марксе, Энгельсе и Ленине, а также потому, что борьба между социализмом и капитализмом, социалистической и капиталистической культурой продолжается, становясь все острее и все разнообразнее по формам.

Будучи всей своей массой отрицанием всех принципов собственнической общественной формации, всем своим пафосом — утверждением нового, социалистического, литературное творчество М. Горького активизировалось и поворачивалось к читателю одними своими компонентами, скажем, в период фашизма 30-х годов, другими — тогда, когда появились теории о структурных изменениях в капитализме, о неощутимом переходе его в социализм, об отмирании классов и классовой борьбы в странах империализма, о том, что революция, победив в нескольких странах, исчерпала себя и стала в других частях света невозможной и ненужной, о сближении и взаимопроникновении капитализма и социализма («запад социализируется, а восток демократизируется») и о «реализме без берегов» как продолжении этого «сближения»; наконец, третьими своими компонентами наследие Горького поворачивается против, скажем, всего того комплекса, который выражается в стратегическом тезисе *разбивать одного за другим, от периферии к центру* (преступная американская война во Вьетнаме и все прочие преступления империалистов против социализма), или, с другой стороны,— к комплексу, который в Западной Европе возник из недавних невероятно мощных и смелых, богатых творчеством классовых выступлений рабочих и передовой молодежи. Каким компонентом своей художественной и теоретической мысли Максим Горький поворачивается к дням, непосредственно стоящим перед нами, что этот компонент содержит и каково его воздействие, мы покажем на одном примере, с помощью одной детали.

Как известно, у Горького центральной задачей и критерием литературы провозглашается человек, поиски и раскрытие добра в нем, укрепление веры человека в себя самого. Это горьковское кредо вместе со всем тем, что стоит за ним в художественном творчестве, эстетике и литературной критике Горького, стало мишенью для особенно ожесточенных выпадов и насмешек, наиболее частым объектом теоретических и литературных опровержений, особенно умножившихся за последние двадцать лет благодаря усилиям разного рода модернистов и их приверженцев; горьковская вера в человека квалифицировалась как наивность, романтизм, «барочная экзальтация», схема и предвзятость. А как же иначе? Для декадентствующих модернистов и всех остальных мещан от литературы не только в капиталистических государствах, но и в некоторых странах из числа тех, что после второй мировой войны вступили на путь социализма, человек — это мрак, ненависть, суетность, предательство, одержимость и

судорога полового акта, зоологическое себялюбие и самоудовлетворенность. Не видя ничего, кроме своего мрака и мрака класса, чью панику и патологию они сознательно или бессознательно выражают, конструируя своего человека исключительно из этого материала, модернисты не только не признают ничего доброго, героического в людях, но и другим отказывают в праве на это, уже давно не будучи способными восхищаться чужим героизмом. Укажем еще и на то, в сущности, вполне логическое следствие, что модернисты в странах, вступивших после войны на социалистический путь, видят человеческий мрак, извращенность, зоологическую грубость и алчность не в свергнутом классе буржуазии, но в тех, кто его сверг. Таким образом, получается совсем как у Ницше: человек, и притом внеисторический, классово неопределяемый, человек «вообще»,— поистине неиссякаемый поток грязи, воплощение христианской догмы о первородном грехе, а они, модернисты, считают себя оригинальными, новыми, новейшими, последним неустрашимым откровением! У них — как у Джойса: история — это хроника насильственных актов и пороков, свойственных природе человека, даже войны — всего лишь симптом извращенности этой природы. Шаблоны и перепевы старых шаблонов, философских, психоаналитических, религиозных! «Оптимизм — противная, насквозь фальшивая выдумка»,— апокалипсически твердят модернисты наших дней; Иуда стал любимым модернистским героем и мотивом, его и им объясняют и оправдывают, он — последний «крик моды» и модернизма — а Иуду еще шестьдесят лет назад, после подавления русской революции 1905 года, поднял Леонид Андреев, которому принадлежат и слова об оптимизме как о противной, насквозь фальшивой выдумке. Правда о человеке и истории, то есть *истинное* и *верное* — это *мрачное* и *злое*—утверждают хорошо организованные, воинственные модернистские критики сегодня, перепевая Ф. Сологуба; а они, модернисты, воображают или делают вид, что воображают, будто они новаторы, «борцы за будущее», ниспровергатели старых форм и предрассудков, обветшалых понятий, оков жизненной свободы, одним словом — авангард и авангардисты! Даже имя, которое дали модернистскому роману («Миф XX века»), звучит как вариант шестидесятилетней давности названия, которым Сологуб окрестил свою антиреволюционную порнографию: «творимая легенда». Итак, современный «авангард», как и его предшественники эпохи поражения первой русской революции, повторяет, хотя бы и в настолько усложненных и запутанных формулах, что сам часто не понимает повторяемого, идеи общественной реакции, в основе своей очень, очень старые. На беду «авангарда», его вышеупомянутые предшественники выражали панику, вызванную поражением революции и победой собственнических классов, а современный «авангард» поддается чему-то, проповедует нечто, что волей-неволей отдает безумием и диверсией класса собственников против все усиливающейся революции.

И все же у Горького есть фраза, необычайно значительная, проверенная историей и, может быть, ныне еще более актуальная и действенная, чем тогда, когда она была написана. Это, повторяю, та фраза, где определяется цель литературы: «...цель литературы — помогать человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтоб люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты...» Я выделю из этой фразы только одну частицу — ту, что говорит об умении находить хорошее в людях. Эта частица может показаться лишь дополнением к основной мысли, чем-то, без чего можно было бы и обойтись, но для меня она — то звено, которое тянет за собой всю цепь.

Слова *«уметь найти хорошее»* означают, что в людях, вопреки всем разрушительным силам их предыстории, существует доброе и светлое и что литература, человека и себя ради, должна находить его, отрицая все нечеловеческое, и художественно показывать человеку. Между тем для декадентствующих современных модернистов, как самых ярких представителей того, что Горький называл *мещанством* («мещанство — это строй души современного представителя командующих классов»), притом доведенным до крайних форм, человек, как мы видели,— или мрак, или ничтожество, и литература не может и не должна говорить о нем ничего, кроме этого.

Разница, таким образом, настолько очевидна, что ее не надо особо подчеркивать. Однако не является ли эта разница какой-то случайностью, может быть, она определяется не очень существенными частностями? Нет, речь идет о двух различных, по сути дела противоположных взглядах на общество, человека, литературу; о двух совершенно противоположных частностях двух столь же противоположных целых. И противоречие между этими двумя *частностями* теперь настолько резко и актуально именно потому, что смысл их сильно развился — реакционная сторона дошла, в сущности, до крайних пределов. Различные современные «искомые искатели» в марксизме мечтают и стремятся осуществить сближение и взаимопроникновение марксистской и модернистской эстетики и искусства; они (в том числе Д. Еремич) утверждают, что «марксистская литературная критика всегда добивалась больших успехов в тех случаях, когда умеряла свою боевитость»; они предписывают этой критике «освободиться от воинственного противопоставления той критике и литературе, которые не вдохновлены идеями марксизма и акциями рабочего движения». Они нападают и на Максима Горького за его воинственность. Однако для нас здесь важно то, что о таких нападках в применении к прошлому и к будущему сказал Горь-

кий, к чему он призывал. А революция и ее искусство развиваются и будут развиваться, к счастью, иначе, чем этого желают подобные искатели.

Требовать от литературы, чтобы она раскрывала положительное в людях, не значит, как это представляют дурные нормативисты-модернисты, отдавать литературу под начало некой нормативной эстетике. Положительное, хорошее в человеке искали, пытались показать, а иногда показывали и писатели до Горького, но среда и эпоха, которую они изображали, давали им мало материала, и их желания и усилия создать положительные образы подчас оставались тщетными (вспомним напрасные муки Гоголя и трагический крах попытки во второй части «Мертвых душ» найти позитивное в Чичикове!). А если эти усилия и реализовались в образах, то нередко им, пользуясь словами Б. Сучкова, недоставало жизненной силы и убедительности (Бенасис у Бальзака, Каратаев у Толстого, Алеша Карамазов и Зосима у Достоевского и т. д.). Между тем эпоха Максима Горького иная, а каждая эпоха формирует новые психологические черты и свойства человеческой натуры. Среда, которая была перед Горьким, уже имела рабочий класс, становившийся классом для себя, классом рабочих, в которых труд и взаимная связь будят и развивают новые импульсы и процессы, новые моральные отношения и обязанности. Сила и пример рабочего класса будили и оплодотворяли позитивное начало в части интеллигенции и крестьянства. Уметь раскрыть, показать, кроме всего прочего, это новое, позитивное новой эпохи было долгом не перед нормативной эстетикой, а перед правдой жизни и перед литературой как художественной правдой о жизни. И Максим Горький не изменил этому императиву истории и искусства. Там, где есть люди, которые работают, «всюду, где есть человек,— утверждал писатель устами героя ранней, неоконченной повести «Мужик»,— есть и хорошее! В крупицах, в малых зернах, да! но есть! И зерна не гибнут все: они растут и расцветают и дадут плод своей жизни... Право мое верить так я дорого купил, да! — но зато я имею это право на всю жизнь! И в этом праве другое я имею — право требовать, чтоб вы верили так же, как я...» Сербский литературный критик, живший в начале этого века, непримиримый борец за реализм и народность в литературе Йован Скерлич так отозвался о мастере нового реализма: «Самая бесспорная заслуга Горького,— писал он еще в 1905 году,— это то, что он ввел в литературу характерные типы наиболее многочисленного сословия России, народа, и то, что он создал живой образ этой новой силы, на которую возлагаются все надежды, связанные с будущим».

А требование Горького раскрывать и художественно изображать хорошее в людях, мудрая и непримиримая его борьба за победу этого принципа, борьба против писателей, которые, как Шлемиль у Шамиссо, потеряли свою тень и «эмигрировали из действительности в нигилизм отчаяния», в презрение к людям,— это требование и эта борьба не стали менее необходимыми оттого, что «строй души» современного мещанства и его представителей стал несравненно более упадочным и уродливым, а их литература — несравненно более нигилистической и отчаявшейся. Напротив!

Мы сказали уже, что и другие великие писатели-гуманисты, писавшие до Горького, искали, иногда находили или конструировали хорошее в людях, боролись за то, чтобы сохранить оптимистический взгляд на человека, и Горький при этом оказался в более благоприятной исторической ситуации, чем они. Горький получил и решающее методическое преимущество: он усвоил учение о том, что человек — результат истории, итог общественных условий, что существует не индивидуум вообще, а лишь индивидуум, принадлежащий к определенному классу. Трактуя отдельную личность как органическую часть целого, класса, находящегося в непримиримой борьбе, решающей судьбу капиталистического порядка, Горький свел хорошее в человеке к его реальной, классовой основе и смыслу: хорошее, позитивное в классе торговцев и промышленников, если оно когда-нибудь и обнаруживается, классово ограничено и по существу является средством в борьбе за прибыль и власть (Маякин, например), а хорошее у пролетария — это нечто совсем иное, высшее, в перспективе более всечеловеческое. Горький — первый художник, который научно осознал положение людей по отношению к труду и ничегонеделанию как факторам очеловечивания и расчеловечивания личности. Горький первый дал исчерпывающее объяснение значения оптимистической, утверждающей трудящегося человека фольклорной традиции для поднятия веры человека в самого себя, для создания революционной литературы. И поэтому отнюдь не случайно то, что современные модернисты во всех странах так враждебно обрушиваются на отзвуки фольклора в литературе, как, с другой стороны, не случайно и то, что, например, лучшая поэтическая книга Мирослава Крлежи («Баллады Петрушки Керемпуха») — единственное его поэтическое произведение, действительно пронизанное фольклором, конкретно хорватским кайкавским фольклором. Итак, не будем забывать заветов Горького о значении труда и о значении фольклора, актуальности этих заветов.

Однако посмотрим на требование о раскрытии хорошего в человеке с еще одной точки зрения. Старая буржуазная литература создала поистине «...тысячи книг, героями которых являются плуты, воры, убийцы и агенты уголовной полиции»; поистине существует «глубокий классовый интерес буржуазии к описанию преступлений...» (М. Горький). Между тем еще глубже — в соответствии с современной остротой клас-

---

РАДОВАН ЗОГОВИЧ
ВЕРА В ЛЮДЕЙ

совой борьбы — и еще лихорадочнее классовая потребность буржуазии в описании человека как беспомощного, на вечное отчуждение и одиночество осужденного существа. Человек — кричат поэты, которые вместо того, чтобы быть «эхом мира», являются лишь отзвуком той части мира, которая тонет,— с начала и до конца так беспомощен и ненадежен, что не может опереться ни на себя, ни на других, у него нет опоры и нет причин ее искать! И весь этот «ужас человеческого одиночества» (Глигорич), все эти «бесы темных человеческих инстинктов», нагромождение тьмы и отбросов не служат их отрицанию, а становятся самоцелью или открыто подчиняются другой цели, которой опосредованно служат и в первом варианте: деморализации человека, уничтожению в нем веры в самого себя и в окружающих, в возможность и оправданность борьбы со злом. Это метод Джойса, усугубленный в условиях крайнего обострения кризиса собственнического порядка, доведенный до полного сгущения мрака. «Выпьем,— как говорилось в свое время у Леонида Андреева,— за то, чтобы погасли все светильники!»

Да, гашение всех светильников в человеке, вокруг него и перед ним, неспособность или априорный отказ от раскрытия в людях позитивного там, где оно есть на самом деле, ведет в конечном итоге — и тогда, когда гасители светильников сознательно хотят этого, и тогда, когда не хотят,— к разоружению пролетариата, затемнению перспективы его революции, то есть как раз к тому, что необходимо буржуазии теперь больше чем когда-либо. И наоборот: суметь раскрыть и отобразить хорошее в людях — значит способствовать тому, чтобы они стали «благородно сильными», уверовали в себя и своих товарищей, в оправданность и возможность революции как предпосылки к реконструкции жизни,— а это как раз то, что необходимо пролетариату и его культуре сегодня, так же, как и вчера, даже более остро, чем вчера.

Все это заключается в словах М. Горького о том, что литература должна открывать хорошее в людях, словах, выделенных здесь с намерением через маленькую деталь показать, что содержится в наследии М. Горького, что оно означает, к чему нас обязывает и какие нам дает возможности. В самом деле, отношение рабочего класса, отношение его партии в капиталистическом или социалистическом мире к творчеству, опыту и завет1ам М. Горького в художественной литературе, эстетике, литературной критике и литературной политике — это один из аспектов проверки отношения класса и партии к самим себе, революции, социализму и их культуре. Пусть же все начинания, посвященные столетию со дня рождения основателя социалистического реализма, будут для всех нас, его учеников и последователей, подлинной мобилизацией наших сил для защиты, развития, полной активизации и победы его заветов. Исаак Бабель писал, что Горький для него был совестью, судьей, примером. Пусть он будет всем этим и для нас, ныне еще более неукоснительно, перспективно и гордо, чем когда бы то ни было!

Перевод с сербского Е. РЯБОВОЙ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

АСФАЛЬТ И БУЛЫЖНИК

Недавно в газетной хронике промелькнула заметка — в Париже, в Латинском квартале заливают асфальтом старинный булыжник мостовой. Забота о благоустройстве? Отчасти. Но скорее предусмотрительность — ведь вырванный из мостовой булыжник был едва ли не единственным оружием французской студенческой молодежи в горячие майские дни этого года в Париже. Здесь, в Нантерре и Сорбонне, на наш взгляд, недовольство студентов поначалу действительно было вызвано университетскими «порядками». Значительное увеличение за последние годы числа желающих получить во Франции высшее образование, фактический переход от элитарной системы обучения к «массовому университету» вступили в самое резкое противоречие с оставшейся неизменной после наполеоновских времен структурой университетской жизни. К тому же техническая база университетов оказалась неприспособленной к массовому наплыву студентов, число которых во Франции не ограничивается. Не следует забывать и о нарочито завышенных экзаменационных требованиях, введенных для студентов: отсев во французских университетах доходит до 60—70 процентов на первом семестре. Все это создавало, так сказать, частные предпосылки событий, потрясших в мае этого года университеты Нантерра и Сорбонны, а вслед за ними и весь Париж и всю Францию. Пожалуй, именно в ходе этих событий и проявилась всего ясней связь между частным и общим: ощущение непригодности установившейся системы высшего образования совпало с ощущением неприемлемости существующего строя.

Но предоставим слово очевидцам и участникам студенческих волнений, свидетельства которых собраны в специальном номере еженедельника «Леттр франсэз». В журнале таких свидетельств десятки — их трудно читать без чувства возмущения и волнения, каждое из них убеждает своей достоверностью.

Вот несколько слов из статьи «Диалог при помощи камней», написанной Фабрисом Элионом, студентом литературного факультета:

«Говоришь как можешь и с кем можешь. Единственными нашими собеседниками, посланными ради нас, только ради нас, правительством, были жандармы. Эти люди говорят мало и плохо. Их язык — это язык резиновых палок и дубинок длиной в метр... О чем говорить с ними? «Полицейские с нами...» — это не пройдет. «Профессора, а не полицейские» — этого им не понять. «CRS: SS»* это наконец доходит... Студенты пришли не драться, а протестовать против скандальной университетской системы... В ночь с пятницы на субботу на улице Гей-Люссака диалог возобновился, но только в более утонченной форме и стал несколько односторонним и очень полицейским. Точно в час тридцать ночи они получили приказ заговорить на своем языке. Для начала несколько провокационных потасовок, несколько гранат, кинутых в нас, просто чтоб попробовать. А затем хлор и сера в количестве, достаточном, чтоб ослепить весь Париж, и без того ослепленный подлой ложью... А по радио нам говорят: «Успокойтесь».

А вот еще свидетельство:

«Мы (речь идет о демонстрации, в которой приняли участие пятнадцать тысяч студентов.— *Г. Б.*) дошли до угла улицы Ренн и бульвара Сен-Жермен. С бульвара сюда подымалось синее облако, вызванное взрывами слезоточивых гранат... Мы тем не менее направились на бульвар Сен-Жермен, рассчитывая выйти к Сен-Мишель... Но тут полицейские стали забрасывать нас булыжниками,

* CRS — Корпус общественной безопасности; SS — эсэсовские войска.

хотя, как известно, булыжники — оружие демонстрантов.. Мы продолжали идти вперед и почти добрались до метро Мабийон... Тогда полицейские набросились на нас по-настоящему... Мы были безоружны, и нам оставалось лишь строить баррикады...»

«Мы хотели продержаться до утра,— пишет в другой заметке Бруно Марсенак,— хотя задыхались под действием слезоточивых газов... Но затем полицейские подожгли машины фосфорными бомбами, обстановка становилась все трагичнее. Среди нас было много раненых. Нам пришлось покинуть баррикады... Было пять часов утра... Задержанные сидели на мостовой. Полицейские кричали: «Покажи руки». За черные руки обвиняли, судили и выносили приговор. Так было в иную весну, в весну Коммуны, когда на руках у восставших остались следы пороха...

Давно молодежь Франции не думала о Коммуне по-настоящему, теперь она думает и будет думать о ней».

Мысли о Коммуне... Но май шестьдесят восьмого — не март семьдесят первого; и путь французской студенческой молодежи еще не определился. Дело обстоит гораздо сложнее...

В дни майских событий в Париже тысячам вооруженных до зубов полицейских сравнительно легко удалось убрать со своего пути импровизированные баррикады, наспех сооруженные безоружной молодежью. Означает ли это, что студенческому движению во Франции пришел конец? Едва ли. Не так уж скоро загладятся в умах и сердцах французской молодежи следы происшедшего.

А как обстоит дело с булыжниками на мостовых Западного Берлина, Рима, Мадрида, Барселоны, университетских столиц многих стран в Латинской Америке, которые, как и столицы Западной Европы, потряс неожиданный и бурный взрыв студенческих волнений?

Что же произошло с молодежью западных университетов? Чем порождены ее массовые выступления, начавшиеся несколько лет назад, но проявившие себя столь стремительно и мощно именно в этом неспокойном году? Каковы цели, задачи, программа этого движения? Носит ли студенческое движение капиталистических стран характер национально изолированный или речь идет о выступлениях международных, взаимно друг друга обуславливающих? Каково отношение студенческой молодежи к борьбе рабочего класса? Как относятся к студенческому движению представители партий рабочего класса? Чем вызвана особая интенсивность этого движения в отдельных странах и сравнительно спокойное его развитие в других?

Таковы лишь некоторые вопросы, которые несомненно возникают в большом количестве. Было бы по крайней мере легкомысленно утверждать, будто сегодня мы в состоянии дать на каждый из них исчерпывающий ответ. Объяснить события, недавно свершившиеся, точнее, лишь прерванные на время, всегда трудно, а в этом случае крайне сложно.

Волнения студентов прокатились по самым разным странам: Западная Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, США, Мексика, Бразилия... И в каждой из этих стран давала себя знать особая национальная форма студенческого движения, которое внутри каждой страны неоднородно по своим социальным компонентам, целям и задачам, тактике его и отношению к нему общества и государства. Особенно трудно разобраться в идеологической платформе движения — настолько она разнородна, настолько часто встречаемся мы с почти невообразимой смесью верных и новых идей, порожденных быстро меняющейся реальностью мира, с анархистскими, нигилистическими представлениями едва не столетней давности, сродни бакунинским, сродни «нечаевщине», вдобавок в сопровождении оглушающей трескотни пекинских пропагандистских барабанов.

Западный Берлин — город, где борьба студентов приняла, быть может, наиболее острые и вместе с тем наиболее организованные и в высшей степени идеологизированные формы. Можно назвать и дату обострения далеко не закончившихся студенческих волнений в этом городе — это 2 июня 1967 года, когда убийство полицейским студента Бенно Онезорга стало как бы сигналом для бурного выражения студенческого протеста во многих городах Федеративной Республики.

Июньский номер журнала «Курсбух», посвященный движению студентов в мире, открывает своей статьей «Авангард студентов в международной классовой борьбе» Баман Нируманд, один из деятелей Социалистического союза немецких студентов (SDS).

Рассмотрим хотя бы бегло те его тезисы, которые во всей своей противоречивости совпадают со взглядами ряда лидеров студенческого движения как в Западной Германии, так и в других странах.

Как утверждает Баман Нируманд, авангард студенческого движения (он ссылается на выступления немецких студентов начиная с 1967 года) стал

«предвестником партизанской борьбы против их собственной (читай: капиталистической.— *Г. Б.*) системы»; борьбы, в которой «смена фронтов происходит без командного центра»; борьбы, сигналом к которой служат «удары дубинки, убийства или покушения».

Студенты стали противниками капиталистической системы не потому, что были марксистами, а потому, что, почувствовав непригодность существующего порядка вещей, пришли к выводу о необходимости и возможности общественных преобразований.

Задачи студентов, утверждает далее автор, состоят в борьбе против «формально-демократического устройства позднего капиталистического общества, в мировой борьбе авангарда всех стран за освобождение от господства и угнетения».

Здесь Нируманд подошел к одному из наиболее распространенных и вместе с тем наиболее спорных тезисов студенческого движения. Нет сомнений в том, что последнему периоду в развитии капитализма соответствует осуществляемая в широких масштабах «социал-демократизация» общественной, политической, духовной жизни общества, в конечном счете служащая прикрытию подлинно авторитарного, насильственного характера современной системы капитализма. Категорический отказ от любых форм «представительной демократии», выдвижение лозунга «внепарламентской оппозиции» — «АПО» («außerparlamentarische Opposition», если пользоваться немецким термином, перешедшим в политический жаргон студенческих движений других стран) по-детски наивны и явно свидетельствуют о «детской болезни «левизны», которой страдают идеологи студенческого движения. К тому же они отвергают и развитую демократию социалистического типа, выдвигая взамен нее кажущиеся им ультрареволюционными лозунги «прямой», «непосредственной» демократии, основанной на «прямом», «непосредственном» участии масс в революционной борьбе. Эти положения, кстати, отражаются и на тактике самого движения, на его организационных формах: никаких выборных органов, никаких руководящих центров, никаких постоянных лидеров, полная децентрализация и раздробленность — вот способ их практических действий.

«Партизанские группы,— заверяет нас Баман Нируманд,— существуют вне иерархии. Не военные ранги, а доверие и взаимная готовность к помощи определяют взаимоотношения их членов».

Отсюда, разумеется, и выдержанное во вполне нигилистическом духе отрицание каких-либо авторитетов. Такая организация движения, по мнению автора, служит не только сегодняшним целям, прицел здесь вроде бы дальний: только таким путем можно, дескать, избежать в дальнейшем «бюрократизации» революционного движения.

Наивность этих суждений, что называется, лежит на поверхности. Досадно скорее другое — полное игнорирование действительно революционного опыта. Вместо сколько-нибудь серьезного внимания к путям развития революции — непоиятная, слепая, некритическая вера, например, в пропагандистские бредни Пекина об отсутствии бюрократии в империи Мао.

Естественным следствием этих заблуждений становится у автора статьи и у последователей подобных воззрений «недоверие к официальным коммунистическим партиям» в странах Запада, отрицание их революционной роли и возможностей, в конечном счете отрицание революционной роли рабочего класса в индустриально развитых странах Запада, отсюда и поддержка ложного лозунга — «создать в мире два, три, много Вьетнамов» (не помощь Вьетнаму в достижении победы над американским империализмом, а создание новых локальных очагов войн), отсюда и пресловутое противопоставление «города» (индустриально развитые страны мира) «деревне» (развивающиеся страны) — словом, весь довольно знакомый набор ультралевацкой неотроцкистской аргументации.

Но какими представляются Нируманду — если отвлечься от явно лишенных оригинальности «глобальных» тезисов экстремизма — конкретные задачи студенческого движения?

«В больших городах капиталистического мира,— пишет Нируманд,— от Токио до Западного Берлина, от Сан-Франциско до Мадрида образуется революционный авангард», который осознает, что «благосостояние данного общества основано на угнетении, что свобода этого общества основана на несвободе, что блестящая его культура имеет своим основанием грязный обман и что общество, пытающееся прикрыть свои собственные глубокие противоречия, более не может быть спасено».

Выявление подлинной сущности современного капитализма становится, таким образом, одной из важнейших целей. Этому служит «разоблачение скрытого угнетения», «общественной мистификации». Ради достижения этих целей ставится задача создания внутрикапиталистической системы «контруниверситетов», «контршкол», создание «моделей контробщества», выдвигается также задача создания «контробщественного мнения», «контргазет» и «контррадиостанций». Тем же целям служат демонстрации протеста и другие активные действия молодежи, направленные против господствующих внутри капиталистической системы массовых средств информации. (О таких выступлениях, например о выступлениях против могущественного газетного концерна Акселя Шпрингера, мы расскажем ниже).

Пока же для иллюстрации конкретных целей движения приведем отрывок из заключающих толстую книжку «Курсбуха» заметок издателя этого журнала, западногерманского поэта и публициста Ганса Магнуса Энценсбергера, претендующего на роль международного идеолога студенческого движения. Он призывает «новую оппозицию» расширить свою базу,

> «отказавшись от прозябания, к которому приводит социал-демократическая умеренность, разработать конкретные планы для Западной Германии и Западного Берлина, не впадая при этом в наивное прожектерство...»

Энценсбергер, однако, полагает, что новая оппозиция должна остерегаться не только государственных репрессий, но и «маневров по ее окружению, предпринимаемых партийными коммунистами». Этот странный термин, должно быть, создан людьми, полагающими, что наряду с коммунистами, входящими в партии, существуют и коммунисты, принципиально в партии не входящие.

> «И все должно осуществляться сразу,— утверждает Энценсбергер,— помехи авторитаризму и создание контринститутов: школьных советов, детских садов, собственных групп, критических университетов, уличных театров, мобильных агитационных кинопередвижек, собственных исследовательских центров, книжной торговли; производство фильмов, оборудование собственных передатчиков, создание собственных газет, организаций юридической помощи, клубов и общежитий». Деятельность новой молодежной оппозиции должна распространяться, подобно пятнам нефти, на поверхности общественной жизни, и тогда, благодаря своей борьбе «против империализма, против НАТО, против чрезвычайных законов, она заставит считаться с собой всерьез, заставит видеть в ней то, что предусмотрительно увидел в ней Шпрингер,— врага, который может изнутри угрожать капиталистической системе».

Внутренние противоречия этой концепции сразу же бросаются в глаза. В самом деле, как сочетать борьбу против антикоммунистического законодательства в ФРГ с борьбой против запрещенной в этой стране коммунистической партии? И невольно разводишь руками, когда Энценсбергер в той же статье всерьез утверждает, будто западногерманская буржуазия отказалась от антикоммунизма и удобное ей изображение врага-коммуниста, созданное в годы холодной войны, теперь распалось, а произошло это по вине «политики мирного сосуществования, столь угодной американскому империализму». Ведь Энценсбергер уж давненько вышел не только из младенческого, но даже из студенческого возраста — он, признанный в мире, широко и повсюду известный писатель... Чего же он, в самом деле, хочет: возврата ли холодной войны, конца ли мирного сосуществования двух систем или уж и впрямь стал поклонником тех, кто, говоря словами Достоевского, «держится новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе». Пусть не сетует на нас немецкий поэт, уж он-то знает — и в этом вся суть дела,— что даже названная Достоевским цифра в «сто миллионов голов» официально признана заниженной людьми, на руку которым играют любители псевдореволюционных фраз — это игра грозная, опасная и сегодня не ограниченная одной Европой.

Архилевацкая фразеология свойственна не только Энценсбергеру или Нируманду, она, как уже говорилось, стала характерной приметой студенческого движения.

Согласно статистическим данным, опубликованным журналом «Шпигель», каждый двадцатый студент — из семьи рабочих; каждый седьмой студент — из семьи, где родители — люди свободной профессии; каждый третий студент — из семьи служащих. Разумеется, политическое мировоззрение студентов никоим образом не находится в прямой зависимости от их социального происхождения. И все же, быть может, среда, в которой вырастает большинство студентов, делает их особенно восприимчивыми ко всякого рода буржуазно-анархистским влияниям. Участники этого движения пользуются обрывками известных теорий и известных программ, создавая из них мешанину воззрений: тут и цитаты из Мао Цзэ-дуна, приводимые без учета того, к чему привела «культурная революция» в Китае, тут и ссылки на теорию «перманентной революции»... Конечно, подобная эклектичность взглядов в известной мере определяет и способ действий мятежных студентов.

Но, впрочем, может быть, пока прервем разговор о спорных, путаных и ложных взглядах и попытаемся взглянуть, чем же на деле стало студенческое движение хоть бы в той же Западной Германии, каковы предпринятые им шаги.

Крупнейшей в этой стране студенческой организацией стал Социалистический союз немецких студентов — SDS. По сведениям печати, в том числе и той, которая вовсе не расположена преувеличивать его значение, SDS сегодня имеет от четырех до шести тысяч активистов, у него свои отделения во всех крупных западногерманских университетских городах и в Западном Берлине. Иллюстрированный западногерманский журнал «Шпигель» свидетельствует:

> «15 000 студентов выступили в феврале этого года в Западном Берлине за дело Вьетнама. 25 000 студентов собрались в этом же городе на созванный SDS

первомайский митинг. По призыву SDS 50 000 молодежи выступили против концерна Шпрингера, примерно 150 000 студентов вышли на улицы в ту неделю, когда бундестаг принял чрезвычайные законы, и участвовали в митингах протеста...»

Невиданной силы демонстрации потрясли Западный Берлин и города ФРГ после покушения на одного из лидеров SDS Руди Дучке. Иозефу Бахману, стрелявшему в Руди Дучке, двадцать три года, в комнате у него висели портреты Наполеона и Гитлера, а время свое он делил между чтением «Майн кампф» и гоночным мотоциклом; при аресте он объяснил свой поступок чувством соревнования с убийцами Мартина Лютера Кинга.

Жестокость, с которой западногерманская полиция подавляет студенческие волнения,— свидетельство тревоги и озабоченности правящих классов. Студенческое движение не в силах, разумеется, потрясти основы существующей системы, но идолы потребительского процветания и пророки «экономического чуда» потревожены им все же не на шутку.

Борьба SDS против газетно-журнального концерна Акселя Шпрингера, одного из самых характерных институтов современного западногерманского капитализма, кажется нам особенно интересной. Владельцу этого концерна удалось добиться невиданной концентрации и стандартизации газетно-журнального дела. Четыре с половиной миллиона экземпляров газет в день выпускает «цепь Шпрингера», не говоря уж о значительной части выходящих в ФРГ массовых иллюстрированных журналов. Шпрингер контролирует восемьдесят процентов сети распределения и продажи периодических изданий, а это означает немедленную угрозу увольнения для принадлежащего к сети Шпрингера киоскера, если тот решится продавать неугодные хозяину концерна издания. В сущности, именно концерн Шпрингера разрабатывает надежные приемы массового внушения, решает — и надо сказать, не без успеха,— что и как должен думать средний немец в ФРГ по поводу всего, что происходит на свете. Выступления против концерна Шпрингера стали массовым и действенным выражением протеста, принудившим даже архиепископа Западного Берлина высказаться против чрезмерной монополизации печати, побудившей многих в ФРГ призадуматься над опасностью столь очевидного манипулирования сознанием масс.

И все же именно в дни своего наибольшего успеха студенческое движение в ФРГ обнаружило и свою наибольшую слабость — неумение найти общий язык с рабочим классом, оторванность своей программы от реальных и конкретных запросов масс. Об этом писал Луиджи Песталоцца в еженедельнике итальянских коммунистов «Ринашита»:

> «В действительности передовой отряд внутри студенческого движения, ведущий разговор о классовой позиции, должен еще много поработать, чтоб повести за собой массу студентов, которые в общем выступают за социализм, но находятся под воздействием самых разнообразных теорий. Многие из них разделяют недоверие Ганса Магнуса Энценсбергера к немецкому рабочему классу и взгляды Маркузе на европейский рабочий класс».

■

Всего лишь несколько лет назад имя немецкого профессора Герберта Маркузе, эмигрировавшего в Соединенные Штаты, было известно лишь в узких кругах ученых-социологов, философов. Сегодня нет имени популярней у молодежи из европейской «новой левой», сегодня в сотнях тысяч экземпляров расходятся и взахлеб читаются студентами в странах Запада его работы, отнюдь не рассчитанные на легкое восприятие. Герберт Маркузе объявляется идеологом студенческого движения в западном мире, и многие из рассуждений Нируманда, несомненно показавшиеся странными нашим читателям,— в сущности, не что иное, как вульгаризация взглядов Маркузе. И как ни трудно излагать его концепцию в рамках журнального обзора, такая попытка, пусть в самом сжатом виде, кажется нам необходимой.

В работах Герберта Маркузе наибольший интерес представляет анализ некоторых аспектов современного, прежде всего американского, государственно-монополистического капитализма. Маркузе утверждает, что сама

> «технологическая основа современного индустриального общества направлена к тоталитарности»*,

и этот тоталитарный характер современного капиталистического общества обусловлен

> «экономико-технической организацией, носящей нетеррористический характер, но действующей путем манипулирования потребностями, закрывающего какие-либо пути для возникновения действенной оппозиции против системы... Такая специфическая система производства и потребления может отлично совмещаться с «множественностью» партий, газет, с существованием «контрбалансирующих центров власти».

---

* Здесь и ниже мы цитируем книгу Г. Маркузе «Человек одного измерения».

Иными словами, Маркузе пришел к заключению, что в условиях современного капиталистического общества наличие формально-демократических свобод не устраняет тоталитарного характера системы, создающей у человека ложные потребности и сохраняющей свою авторитарную власть именно благодаря возможности массового удовлетворения этих потребностей.

«Освобождение человека в таком обществе зависит от сознания им своей рабской зависимости, но возникновению такого сознания постоянно препятствует владычество потребностей, которые в широкой степени стали присущи человеку».

Как объясняет Маркузе,

«контроль общества вызывает навязчивую потребность в производстве и расточительном потреблении, потребность работать до одурения, когда в этом уже нет реальной необходимости, и потребность в таких способах разрядки, которые поддерживают и развивают это состояние одурения, потребность поддержания таких ложных свобод, как свобода конкуренции в условиях ранее установленных цен, свобода печати, которая сама себя цензурирует, свобода выбора, ограниченная наличными марками изделий».

Маркузе отмечает разрушительное влияние общественной системы на саму природу человека.

«Средства транспорта и массовой коммуникации, товары бытового потребления, продукты питания, одежда, усиленное развитие индустрии развлечений и неудержимый поток информации несут с собой предписанные способы поведения, предопределенные интеллектуальные и эмоциональные реакции, которые более или менее приятным образом привязывают потребителя к производителю, а через него и ко всей системе в целом».

Так в этом обществе формируется человек одного измерения, чувства, мысли и устремления которого целиком подчинены нуждам системы, устраняющей любыми средствами все, что не укладывается в установленные ею мерки.

«Технологическая рациональность разоблачает свой политический характер, когда становится средством обеспечения более действенного господства, создавая таким образом подлинно тоталитарный мир, в котором общество и природа, разум и тело находятся в состоянии постоянной мобилизации, служащей целям защиты этого мира», в котором «технологическая завеса маскирует воспроизводство неравенства и рабства».

В обществе этого типа господствует методическое расточительство ресурсов и талантов. Систематическая потребность в высшей форме этого расточительства — подготовке к войнам и ведении империалистических войн —

«превращает преступления против человечества в рациональное предприятие... В качестве рациональных выступают и самые безумные расчеты: уничтожение пяти миллионов человек предпочтительней уничтожения десяти или двадцати миллионов и так далее. Очевидно, что общество, оправдывающее собственную защиту при помощи подобных расчетов, провозглашает собственный конец»,— заключает Маркузе один из разделов своей работы «Человек одного измерения».

Анализируя подлинно репрессивный, авторитарный, тоталитарный характер современного капитализма с его «мягкой» системой подчинения всех сторон жизни и деятельности человека потребностям производства и потребления, Маркузе высказывает ряд заслуживающих внимания соображений лингвистического и эстетического характера. Весьма любопытна также его критика некоторых буржуазных неопозитивистских научных теорий, которые, на наш взгляд, все более широко используются идеологами современного капитализма, в то время как наша критика, особенно эстетическая, нередко бьет мимо цели, ограничиваясь лишь полемикой с иррационализмом и порожденными им взглядами. Сама рациональность этих теорий, по Маркузе, становится наиболее действенным орудием мистификации и оправданием «той устрашающей гармонии свободы и угнетения, производительности и разрушения, развития и регресса», которыми отличается современный индустриально развитый капитализм.

Однако наряду с этими заслуживающими внимания и рассмотрения взглядами Маркузе выдвигает и положения ложные, объективно приносящие серьезный политический вред. Здесь прежде всего следует сказать об утверждениях Маркузе по поводу «интеграции» рабочего класса, иначе говоря, подчинения рабочего класса в индустриально развитых странах капитализма интересам и целям капиталистической системы. В уже цитируемой нами работе Маркузе провозглашает «социальную и культурную интеграцию рабочего класса» внутри капиталистического общества, пытаясь обосновать этот неверный и опровергаемый реальным ходом истории, особенно истории наших дней, тезис рассуждениями об

«устранении различий в потребностях, в устремлениях, в уровне жизни, использовании досуга, в политической сфере, которое обусловлено интеграцией, осуществляемой в ходе самого производства, в ходе материального процесса производства».

Этот тезис Маркузе в ряде своих последних выступлений, в лекциях, прочитанных в так называемом Свободном университете Западного Берлина, автоматически переносит из США в страны Западной Европы. Между тем особенно в Западной Европе становится все более очевидной ложность утверждений насчет того, что «рабочий класс более не выступает как живое противоречие капиталистической системы». Очевидный рост рабочего движения в странах Западной Европы, рост забастовочного движения, усиливающийся политический характер этой волны забастовок опровергали эту ложную концепцию и до майских дней во Франции, где ее наглядно оспорили десять миллионов рабочих, занявших предприятия в знак политического протеста.

Отрицая таким образом революционные возможности рабочего класса и его партий в странах индустриально развитого капитализма, Маркузе выдвигает тезис о революционности интеллектуальной элиты в союзе

> «с субстратом не приспособившихся к общественной жизни, с эксплуатируемыми и преследуемыми, с людьми, принадлежащими к другим расам и обладающими иным цветом кожи, с безработными и не приспособленными к труду». Он полагает, что их оппозиция «революционна, хотя сознание их не революционно, что она поражает систему извне и поэтому не может быть направлена самой системой по иному пути», что она «является элементарной силой, нарушающей правила игры и таким образом показывающей, что игра ведется фальшивыми средствами».

В этих и иных схожих тезисах Маркузе черпают свое вдохновение наиболее подверженные мелкобуржуазному анархизму слои студенческого движения. Категоричность отрицаний, темпераментность некоторых утверждений Маркузе способствует их распространению среди широких кругов молодежи.

Пожалуй, одна из наиболее опасных сторон концепции Маркузе заключена в проповедуемой им возможности немедленного, радикального изменения системы (теория «конца утопии»). Мы говорим здесь о политической опасности и об опасности эмоциональной, ибо, быть может, именно этот наиболее ложный его тезис, связанный с апологией немедленного спонтанного действия, наиболее легко и необдуманно воспринимается молодежью и столь же легко используется в целях провокационных (достаточно вспомнить запугивание французского, и не только французского, обывателя последствиями молодежного «бунта»).

Необходимость серьезной критики Маркузе осознается сегодня марксистской мыслью западных стран. Полемике с Маркузе, в частности, посвящен ряд статей итальянских марксистов. Джузеппе Вакка объясняет популярность его взглядов недостаточностью марксистской разработки проблем социологии «зрелого капитализма».

Не отрицая того, что студенческое движение в Германии, как и в Италии и в других странах, идеологически во многом исходит из положений Маркузе, тот же итальянский автор отмечает, что

> «студенческое движение все более четко ставит перед собой проблему политической встречи с рабочим классом»,

и видит именно в этом специфическую область проверки отсталости анализа Маркузе.

■

В Италии, где движение молодежи, особенно в этом году, проявилось как серьезный политический фактор национальной жизни — а размах его был таков, что в сущности впервые в истории страны на протяжении всего учебного года не работал ни один университет,— коммунистическая партия стремится по-новому подойти к анализу проблем, поставленных в порядок дня движением молодежи. Именно в Италии, выступая на первый взгляд с ограниченной платформы борьбы против авторитарности академического обучения,

> «студенческое движение тотчас же открывает для себя необходимость политической связи с борьбой рабочего класса, видит общую цель в борьбе против авторитарности капитала (против системы, как таковой). В условиях университета, то есть в условиях формирования кадров, выявляется противоречие между самим развитием производительных сил (большой рост числа студентов, создание массового университета) и производственных отношений — устарелость авторитарной университетской структуры, устарелость методов преподавания, не соответствующих задачам профессиональной подготовки»,— пишет Дж. Вакка.

Быть может, именно в Италии студенческое движение стало предметом серьезного анализа со стороны левых политических сил, со стороны передовой интеллигенции. Не менее важно и то, что итальянские газеты сообщают о первых, пока еще робких попытках совместных действий: поддержка студентами рабочих забастовок (на заводах «Фиат» и других предприятиях), рост взаимного интереса молодых рабочих и студентов, первые встречи между представителями рабочего и студенческого движения.

В опубликованной в «Ринашите» статье «Необходимость борьбы на два фронта» Джорджо Амендола пишет:

> «Думаю, что в порядке самокритики можно признать, что нас застал врасплох взрыв студенческого движения, которое с нарастающей силой выражает

одно из наиболее острых противоречий капиталистического общества. Неожиданный для нас размах этого движения показывает, что недостаточными были политические и организационные связи ИКП и Коммунистической молодежной федерации со студентами... Таким образом ставится вопрос идейной и политической ориентации и оперативного руководства студенческим движением. Это руководство должно осуществляться автономно, изнутри самого студенческого движения, но оно не может, без большого ущерба, противопоставлять себя руководству рабочего движения, которое осуществляется его классовыми органами — партией и профсоюзами».

Выступая с позиций поддержки студенческого движения, установления самых тесных с ним контактов, Джорджо Амендола вместе с тем считает нужным «предельно ясный критический разговор» с молодежью.

Подчеркивая необходимость одновременной борьбы на два фронта — против социал-демократизма и левацкого экстремизма, Амендола пишет:

«Когда в Пекине демонстрация молодежи в знак солидарности с французскими студентами проходит под лозунгами борьбы «против Соединенных Штатов и Советского Союза», необходимо заявить об абсурдности такого шага; и мы не можем допустить, чтобы подобная клевета без нашего сопротивления проникала в молодежное движение, распространялась среди рабочих, создавала новые поводы для путаницы и разлада».

Луиджи Лонго в интервью журналу «Ринашита» сказал:

«Нельзя отрицать, что во Франции студенческое движение было вспышкой, которая разожгла народное движение еще неслыханных масштабов, а в Италии оно способствовало нарушению равновесия сил, определяя четкий сдвиг влево и активизацию тех, кто занимал более передовые позиции. Думаю, что этим объяснялись и формы студенческого движения — занятие факультетов и университетов, уличные манифестации и т. д.

Разумеется, политическая поддержка итальянскими коммунистами студенческого движения отнюдь не означает согласия с любыми ложными взглядами входящих в него групп, так же как не означает и навязывания студенческому движению своего руководства и своих взглядов. Видя в студенческом движении выражение массового протеста против общественного строя, итальянские коммунисты считают необходимым участие в нем представителей своей партии, подчеркивают важность критического диалога с участниками этого движения, терпеливого и постоянного разъяснения своих взглядов представителям всех входящих в это движение групп».

В статье «Студенческое движение в антикапиталистической борьбе» Лонго утверждает, что

«борьбу студентов следует рассматривать как один из аспектов, как один из моментов всего итальянского революционного движения».

При такой постановке вопроса снимается противоречие между целями рабочего и студенческого движения, создаются предпосылки для уже начавшихся успешных контактов между ними.

Рамки нашего обзора не позволяют даже бегло документировать размах студенческих волнений во многих странах. Позволим себе привести лишь краткое свидетельство о причинах движения студентов в Соединенных Штатах Америки. Оно принадлежит перу Альберто Моравиа, недавно посетившего эту страну и написавшего очерк «Когда Америка убивает», откуда мы и заимствуем приводимый ниже отрывок:

«Если удары дубинкой, наносимые полицейскими, и стекла, выбиваемые студентами, в Америке точно такие же, как и в Европе, то полицейские в Америке защищают то, чего в Европе нет или пока еще нет: университет, превращенный в большую фабрику производимых поточным методом людей, предназначенных для служения establishment на низших и высших его должностях».

По мнению Кларка Керра, чью книгу «Использование университетов» упоминает Моравиа,

«университеты и индустрия с каждым днем все более уподобляются друг другу. По мере того как университеты завязывают связи с промышленным миром, преподаватели все более приобретают черты менеджеров».

Университеты должны быть превращены, так сказать, в культурные придатки больших промышленных корпораций, тех самых, что производят оружие, разрабатывают технические новинки для армии и заполняют рынок самыми разнообразными изделиями. Тот же Керр недвусмысленно заявляет:

«Использование университетов связано с современной структурой власти; в обществе бизнеса, каковым является наше общество, университет может походить лишь на любое иное промышленное предприятие. Есть железные дороги, есть

сталелитейные заводы, есть колбасные фабрики... и есть также фабрики знания, функции которых состоят в служении другим предприятиям и государству».

Борьба студентов против этого неокапиталистического и промышленного тоталитаризма носит ожесточенный характер. По мнению Моравиа, в США, «центре западного мира, центре капиталистического тайфуна», эта борьба более осознана и научно обоснована, чем схожая с ней борьба студентов в Европе.

«В заключение нужно сказать, что студенты, независимо от того, провозглашают ли они себя маоистами, кастристами, сторонниками Маркузе или марксистами либо же просто людьми доброй воли, стремятся к такому университету, целью которого было бы освобождение и становление человека, а не служение чудовищным фетишам власти, прибыли, дохода, производства и потребления,— пишет Моравиа.— Но яростный и рациональный бунт американских студентов не может выйти за пределы университетских городков именно в силу многочисленных финансовых связей между университетами, промышленностью и государством. Отсюда как неизбежное следствие — идущее от студентов требование радикальной реформы американского общества».

■

В заключение попытаемся хотя бы в самой предварительной и конспективной форме поделиться с читателем некоторыми выводами.

Студенческие волнения в ряде стран Запада были вызваны отсталостью системы университетского образования, ее несоответствием требованиям современности и — одно не противоречит другому — их подчинением непосредственным производственным и политическим функциям сегодняшнего государственно-монополистического капитализма.

Несмотря на эти первоначальные и поддерживаемые неизменностью системы высшего образования импульсы, студенческие движения и по размаху своему, и по острой напряженности борьбы, и по направленности ее сегодня вышли далеко за пределы университетской проблематики, стали, пусть в чем-то неожиданным, массовым выражением нетерпимости молодого поколения к системе современного капитализма.

Студенческое движение по-разному проявляется в различных странах Запада, носит на себе отпечаток специфически национальных черт развития. Вместе с тем несомненно, что активные студенческие выступления в одних странах стимулируют схожие движения в других странах и происходит организованный обмен опытом и тактикой борьбы. Нелепо говорить о некоем едином международном центре студенческого движения, но было бы неверно отрицать и схожесть его проявлений в различных странах капиталистического мира, и усилия, в том числе организованные, по установлению контактов между отдельными национальными движениями.

Студенческое движение в капиталистических странах испытывает весьма разнородные идеологические влияния. Серьезное воздействие на значительные слои студенческого движения оказывается всеми разновидностями левацкого экстремизма. В связи с этим классический ленинский анализ «детской болезни «левизны» не только сохраняет всю свою силу, но и приобретает сегодня особую актуальность.

Студенческое движение крайне неоднородно и политически. В его рядах можно встретить и прямых представителей анархизма, и ту особую разновидность современных нечаевцев, которая образуется путем смешения западного нигилизма с экспортированным маоизмом.

Политическая разнородность студенческого движения облегчает возможность использования отдельных его элементов в провокационных целях той системой, против которой оно, в сущности, направлено.

Сближение студенческого движения с борьбой рабочего класса становится реальностью сегодняшнего дня. О росте влияния марксизма-ленинизма на студенческое движение свидетельствует, в частности, интерес молодежи Запада к ленинской теории революции.

Студенческое движение носит антиимпериалистический характер, сегодня в первую очередь выражающийся в борьбе против агрессии американского империализма во Вьетнаме. Здесь показательна направленность студенческих волнений в США, где, например, такая влиятельная среди молодежи организация, как «Студенты за демократическое общество», ведет активную и небезуспешную борьбу против участия студенческой молодежи в этой войне, за отказ служить в вооруженных силах США (по некоторым западным источникам число молодых американцев, различными способами уклоняющихся от военной службы, сейчас составляет не менее семидесяти пяти тысяч человек).

В целом масштабы студенческого движения в странах государственно-монополистического капитализма становятся свидетельством духовного и политического кризиса всей общественной системы, серьезным признаком окончания ее относительно стабилизированного развития.

Г. БРЕЙТБУРД

ЖАН Ф. БРИЕР

ДУХ ТАШКЕНТА

Есть события, важность которых не поддается измерению никакой статистикой. И не потому, что они абстрагированы от мира. Нет, но последствия их так ярко эмоционально окрашены, что разобраться в них возможно, лишь осмыслив истоки их появления на свет.

Именно таким событием явилась международная встреча писателей в Ташкенте. Судите сами: десять лет спустя после создания литературного движения писателей стран Азии и Африки гонцы со всех континентов — поэты, прозаики, критики, драматурги,— говорящие на разных наречиях, собираются в Ташкенте, в городе, где родилось это движение, дабы обсудить на одном общем для всех языке, языке правды, насущные проблемы и роль писателя на всех широтах земного шара. Уже сам факт откровенного выражения беспокойства и тревоги за общие судьбы, соизмерения нависших трудностей помог подтвердить то, что каждый знал и раньше,— мир един. Но единство здесь не исключает различий. Арифметическая сумма составлена из автономных цифр и величин. Однако данные частной задачи не выходят из норм общих решений. И настоящий форум (слово это берется в том смысле, в каком его употребляли древние греки) имел планетарные размеры. В общем, не было необходимости особо подчеркивать роль сегодняшнего писателя перед лицом собственных нерешенных проблем и проблем современного мира. В эру атома и космических полетов человек в разных точках планеты прозябает в тесных рамках средневековья. Рабство напялило новые ливреи, эксплуатация прячется под софистическими вывертами, расизм натянул на себя маску, где подкрашенные губы скривились в улыбке, волк притворился овечкой. Так что скорее всего следовало обсудить детали создания общего фронта против физического и морального угнетения, наглость и агрессивность которого временно было перерядились, пробуя усыпить международную бдительность, и вновь появились замаскированными, но неизменными под знаком фашистской свастики.

Нынешний писатель, где бы он ни был, обязан бороться за вызволение человека из недостойных условий существования, в какие пытаются его загнать силы мракобесья. С тех пор как человек вышел из животного царства, он остался прозорливым, но раненым современником животных. Что бы там ни описывала история, никогда еще не было излучающих радость материков и истинного счастья для разумного человеческого существа, ибо этому мешали загоны для рабов и пустыни голода. Честно и открыто никто не мог и не может говорить о боге, не греша против этого предполагаемого бога и не обманывая себя. Прав был Карл Маркс, называя религию опиумом для народа. Но я с огромным уважением думаю о назаретянском пролетарии, мужественно отвергнувшем фарисейское лицемерие и разъяснившем тем, кто швырял в него камни, что камни эти следовало использовать для строительства школ и жилищ. Исчерпали ли мы вопрос о том, взял ли верх в душе каждого участника симпозиума дух Ташкента?

Проверили ли мы на свет нашу совесть, совесть детей рабов, аристократов или феодалов, на предмет выявления ядовитых остатков? Возможности для этого были самые широкие: мы были в Узбекистане, в одной из советских социалистических рес-

публик. Видели колхоз, рассказавший нам о своем тяжелом детстве и счастливой теперешней жизни. И радость, настоящая, неподдельная радость, идущая изнутри, растворяющаяся солнцем в душах и расцветающая в улыбке, радость, лишенная примесей недобрых побуждений, разукрашенная цветами и музыкой, показывала, что может сделать каждый в судьбе всех. А ведь совсем недавно Ташкент был изувечен землетрясением. Как метр за метром рубят кустарник, пробивая путь к реке, так в Ташкенте на наших глазах узбеки каждый день отвоевывали землю у развалин и засевали ее семенами новой жизни. Довольно странно, но факт: именно Самарканд, где безболезненно сосуществуют прошлое и настоящее, дал мне самую красочную иллюстрацию, расцвеченную, как нарядное издание «Тысячи и одной ночи» или легендарной библии, той самой очищенной от таинственного мрака библии, которую советовал мне прочитать в тюрьме мой друг и учитель Жак Румен.

Одной из основных проблем, стоящих перед странами третьего мира, является нахождение путей приобщения к технологической цивилизации. Проблема эта исключительно сложна, и речи здесь не может быть ни о великом скачке вперед, ни о коллективной очистке мозгов. После столетий угнетения и подавления, когда наши традиционные культурные ценности выжили лишь в подполье, нам нужно сначала разобраться во всем нашем культурном наследии, а затем умело использовать его для всеобщего блага.

Травмированная Африка очень хорошо знает рамки своей независимости. Каждый день снова и снова высчитывает и измеряет, до какой степени ее земля осталась международным полем битвы за лакомые куски. До какой степени планета живет ее потом, а часто — и ее кровью. Она все еще вынуждена трагически отбиваться от разношерстных наемников империализма, жаждущих продавать ее на рынке рабов, и от международных сводниц, пытающихся сделать из нее публичный дом.

Со Всемирного фестиваля негритянского искусства Африка начала, почти с советской прямотой, приводить в систему свое культурное достояние, подвергавшееся часто презрению, а затем — грабежу. Слет разбросанных по белу свету негров в Дакаре, этих открытых в мир дверях, столице мирной и разумной страны, не имел целью выставлять напоказ сокровища, кстати сказать, одолженные нам, истинным наследникам традиционных мастеров искусства; не имел он целью и похвастать достоянием, права на которое уже давно перешли в другие руки. Нет, отвергнув шумную помпу, Африка лишь приютила у себя на некоторое время несравненную прелесть рассыпанных по свету жемчужин негритянского искусства, немого, а зачастую и изувеченного свидетеля дикости так называемых миссионеров культуры и беспричинной жестокости международных грабителей. Африка лишь свела воедино свое искусство, от бронзовых статуэток Бенина до скульптурных изваяний Бамилеке, от расписных алтарей Королевского дворца до знаменитых золотых гирек Бауле, Агни, Ашанти и до масок Сенуфо. Независимо от своей художественной ценности, каждый предмет, привезенный из далекой ссылки, возвышался над глубинами культуры и в общем контексте принимал размеры фрагментов истории.

Целью Первого Всемирного фестиваля негритянского искусства, проходившего между двумя ташкентскими встречами писателей стран Азии и Африки 1958 и 1968 годов, являлась реабилитация в глазах африканцев, особенно африканских негров, их традиционного искусства. Необходимо было вновь утвердить его в своих правах на городских площадях, в школах, во дворцах и в бедных хижинах. Всем известно, что негритянское искусство было культовым, одной из задач его являлось придание творимому предмету обрядовых функций. Произведения искусства свидетельствовали об африканской космогонии, синтезируя в себе космос, землю со всеми ее одушевленными и неодушевленными богатствами, усопших предков и живущие поколения. Костюмы, драгоценности, маски, памятники архитектуры, предметы обихода (табуреты, лари, гончарные изделия, посуда), также экспонировавшиеся на этой выставке, представляли большую художественную ценность.

Широко распространенные в Центральном Конго изображения достаточно убедительно показывают, что народ учился читать наследие традиционной мудрости по азбуке скульптурных образов, показывавших в непонятных для непосвященных глаз штрихах все стороны жизни. Большое собрание традиционного искусства выявляет как в отдельных деталях, так и в общем ансамбле художественное богатство скульптуры, гравюры, рисунков, тканей, танца, песни, игры на музыкальных инструментах.

Обезличенный, почти лишенный своей неповторимой сущности, вынужденный лишь подражать образцам, никак не волновавшим и не вдохновлявшим его, коренной житель Африки чуть ли не перестал понимать художественные произведения своих предков, их взгляд на настоящее, прошлое и будущее, одним словом — их мудрость. Следствием подобного вызванного духовным порабощением западных империалистов разрыва между поколениями, с одной стороны, поколениями и художественным мастерством, с другой, явилось почти полное вырождение умельческих традиций скульпторов и художников.

Конечно, на ташкентской встрече выражалось и обсуждалось много ценных мнений и смелых идей. Но без конца можно и нужно говорить о необходимости найти, если она была утеряна, и укрепить, если она была расколота в отдельных местах,

самую основу личности африканского человека. Нужно содрать обивку иностранного воспитания, выстланную в нашем разуме.

Ни в коем случае нельзя огульно отвергать все то, что Запад принес нам, и становиться на позиции полного отрицания. Нет, надо суметь сопоставить предлагаемые Западом идеи с традиционными ценностями, выдержавшими четырехсотлетнее испытание. Нужно уметь здраво разобраться во всем и выбрать самое необходимое для расцвета нашей собственной культуры. Дабы догнать другого, на каком бы уровне тот ни находился, надо быть **самим собой,** а не исправленным образом, смешным подражанием этого другого. Лишь так, сохраняя собственное лицо, можно пойти рядом с другим по жизни, не различая ни рас, ни цветов кожи.

Именно подобный подход к жизни собрал нас вместе, чтобы мы могли достойно изложить стоящие перед нами проблемы и поделиться методами литературного мастерства. Для Советской России это стало обычаем, для нас же явилось светочем пути в будущее. В который раз надо подчеркнуть исключительную важность Октябрьской революции и влияние ее на политические события в странах третьего мира.

В наследии прошлого Европы лишь пример Возрождения смог бы сравниться с тем благоприятным воздействием, которое СССР оказал на национальные структуры и на рост самосознания писателя. Вся культурная жизнь пошла по новому руслу. В отсталых странах Южной Америки, например, зажатые в поддерживаемые армией и религией феодальные рамки, многие деятели культуры повернулись лицом к рядам трудящихся масс. Труды Ленина, произведения Пушкина, Гоголя, Горького, Маяковского и других зачитывались подпольщиками до дыр, ломали стены тюрем, рвали проволочные заграждения концентрационных лагерей разума; прочитанные трудовыми людьми, они соревновались с классическими изданиями и ходкими романами, не переставая светить своим освобождающим словом. Я берусь утверждать, что житель Гаити, которому ныне сорок лет, мужал за чтением русских авторов, в борьбе за свободу. Никогда еще одно поколение не давало столько выдающихся поэтов, прозаиков, историков, среди которых возвышается исполинская фигура борца-великомученика за дело социализма на Карибах — Жака-Стефена Алексиса.

Писатели стран Азии и Африки решили собраться в 1969 году в Дакаре на поэтический симпозиум, который призван стать знаменательной вехой в истории мировой литературы. На симпозиуме, несомненно, специалистами будут подняты и углублены отдельные вопросы Ташкентской конференции. Но основное внимание будет уделено теме: «Поэзия как боевое оружие».

На симпозиуме, конечно, произойдет обмен мнениями о стихотворчестве, как таковом, являющемся, в сущности, не чем иным, как образным и ритмическим выражением сокровенных чувств. И действительно, глубокие сюжеты сами по себе не делают «поэзии», надо еще глубоко их прочувствовать и выразить в образах и в ритмах.

Трудно замыкаться в поющем мире чистой поэзии. Но кое-кого привлечет литературная волна искусства для искусства. Некоторые посвятят свои выступления тесным и тонким отношениям, существующим между ритмом стихотворения и пластическим искусством.

Сенегал сделает все, дабы писательский форум оказался вписанным в самую гущу поэзии нынешней Африки, борющейся за свое национальное развитие.

Будет найдено много ответов на вопросы молодых писателей о важных деталях формы и содержания, о будущем поэзии, об аудитории, читающей и слушающей стихи. Нужно ли возвращаться к традиционному гладкому стихосложению или следует придерживаться строфы с ритмическим слогом, со священным тактом Песни песней? Не проявляется ли в свободной форме внутреннее дыхание напевов? И не рядит ли формализм классического стиха поэтическое произведение в чопорные одежды, сдерживающие естественное проявление лиризма и свежести эмоций?

Пока невозможно предвосхитить всю направляющую тематику поэтического симпозиума. Но литературные круги Сенегала, в любом случае, готовы окружить его теплом и вниманием, дабы он прозвучал апофеозом поэзии.

Лучшее место, нежели Ташкент — этот город на перекрестке мировых судеб,— трудно было найти для конференции афро-азиатских писателей. Здесь мы убедились в том, что уважение к родному языку и национальным традициям является обязательным условием созидания бесклассового общества. Ленинский гений, такой же необъемлемый, как необъемлемы просторы Советского Союза, очень быстро уловил возможность объединения в одном Союзе множества различий и особенностей.

В Ташкенте поэты и прозаики выражали свои мысли на разных языках. И я выражу известную истину, лишенную лести по отношению к кому бы то ни было, заявив, что правильные направления в выступлениях на конференции и общий дух ее в бесконечной мере обязаны этой приютившей нас великой земле социализма, у которой, я думаю, каждый смог почерпнуть духовные силы и непоколебимую стойкость, так необходимые в ответственной битве писателя за установление справедливости в человеческих взаимоотношениях.

Ташкент

ЭКРАН И ВРЕМЯ

Е. СТОЯНОВСКАЯ

О НОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛЬМАХ

(Публицистические заметки)

За кадром — встреча в Гонолулу. Воспитанная без предрассудков дочь богатого калифорнийского издателя и владелицы картинной галереи влюбляется в обаятельного молодого негра, умудрившегося, несмотря на свой возраст и принадлежность к черной расе, обзавестись дипломом лауреата Нобелевской премии и международным авторитетом в мире науки. Всего десяток дней понадобился золотоволосой красотке, чтобы обрушить на родителей категорическое решение немедленно соединить свою судьбу с красавцем негром.

Терзания двух шокированных семейств — белого и черного,— развертывающиеся на фоне роскошной санфранцисской виллы на берегу залива, составляют главное содержание последней картины Стэнли Крамера «Угадай, кто придет к обеду» с участием первоклассных актеров — покойного Спенсера Трейси (это его последняя работа), Кэтрин Хепберн и Сидней Пуатье.

Полтора часа экранного времени отпущено на преодоление веками укоренявшихся предубеждений, благополучно отступающих перед несокрушимым обаянием и широтой взглядов современной молодой пары, на глазах у умиленных родителей и зрителей отбывающей в Нью-Йорк, заручившись отеческим благословением.

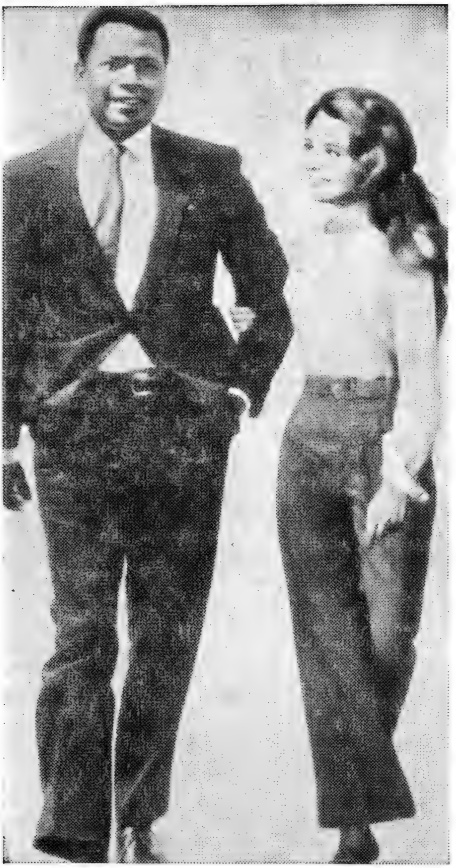
Этот вот образцово-показательный вариант решения расовой проблемы в жанре комедии-мелодрамы Соединенные Штаты ровно через два месяца после того, как прозвучали выстрелы, оборвавшие жизнь Мартина Лютера Кинга, официально выставили минувшим летом на Карлововарский фестиваль, пользующийся репутацией одного из серьезных международных киноконкурсов.

Французский еженедельник «Ар э луазир» как-то сообщил, что во время маршей борцов за гражданские права негров в США президент Джонсон, стремясь успокоить протестующих, запевал вместе с хором рефрен бунтарской песни Пита Сигера «Мы победим». Этот факт пришел мне на память во время просмотра в Карловых Варах ленты, под которой так огорчительно было читать имя серьезного художника Стэнли Крамера, с чьей деятельностью связано несколько подлинных достижений современного киноискусства, в том числе суровая и мужественная картина «Скованные одной цепью», где отношения черных и белых показаны глубоко и правдиво.

На пресс-конференции после демонстрации фильма американской делегации пришлось выслушать немало упреков от журналистов разных стран, отдававших все должное и мастерству режиссера и исполнителей, и динамизму сценария, и благородству самой мысли о мирном содружестве рас, но указывавших на лицемерие общего звучания картины.

Участникам фестиваля удалось познакомиться и с другим произведением на тему о положении негров в США, как и картина Крамера пользовавшимся большой популярностью у американских зрителей в минувшем году. Речь идет о фильме «В душной южной ночи» Нормана Джуисона (сценарий этого фильма опубликован в №№ 1, 2 за 1968 год журнала «Искусство кино», картина демонстрировалась в информационном порядке на прошлогоднем Московском кинофестивале).

Необычайно достоверные реалии этого фильма, выстроенного на канве добротного детектива (опытный криминалист негр, офицер полиции с Севера, волею случая оказывается привлеченным к поискам убийцы в южном городке, где, кажется, каждый камень дышит расовой ненавистью, и по ходу дела ему самому едва удается избежать суда Линча), не оставляющие сомнения в действительной остроте и сложности проблемы, особенно резко подчеркивали голливудскую «невсамделишность» конкурсной ленты «Угадай, кто придет к обеду». Блистательны актерские работы исполнителей



«Угадай, кто придет к обеду».

двух главных ролей фильма Джуисона — упомянутого выше Сиднея Пуатье в роли следователя негра Верджила Тиббса и Рода Стайгера в роли полицейского комиссара Спарты Билла Гиллеспи. Безупречно точны социально-психологические характеристики их героев — провинциального ограниченного служаки, в котором груз предрассудков подавляет, хотя и не может вытравить совсем проявления природной доброты и тяготения к справедливости, и великолепного представителя негритянской расы с обостренным чувством самоуважения и собственного достоинства, граничащим с высокомерием и расовой «контрненавистью». Можно сказать, с клинической дотошностью прослежен поединок человеческих притяжений и отталкиваний в «магнитном поле», очерченном этими характерами, оканчивающийся чуть-чуть сентиментальной победой человечности и здравого смысла, той самой «малой толики человечности», по слову одного критика, которая здесь, к счастью, не стала синонимом прекраснодушного оптимизма, характерного для некоторых американских картин минувших лет, остающихся, несмотря на какие-то внешние черты похожести на «неореализм», вполне уместными в системе Голливуда.

Интересно, что именно этот фильм был предварительно отобран программной комиссией фестиваля для конкурсного показа, однако официальные инстанции США дали согласие лишь на внеконкурсную его демонстрацию.

Здесь названы две картины последнего времени, посвященные положению негров. В том же ряду «Раз картошка, два картошка», о которой уже писали в нашей печати, и другие картины с благополучным финалом. Официальная американская пропаганда, судя по всему, всерьез озабочена поисками «хэппиэндовых» выходов из тупиков конфликтных ситуаций, которыми чревата одна из самых жгучих социально-политических проблем современной Америки.

Английский буржуазный журнал «Букс энд букмен» несколько месяцев назад опубликовал статью о популярности идеи успеха и душевного равновесия в современной культуре. По мере того как реальной надежды на успех становится меньше, констатирует автор, растет поток литературы — большей частью американского происхождения,— рассуждающей об успешном самоутверждении, о таланте вести дела, о положительном мышлении и оптимизме. Подобные произведения призваны подправить устаревший миф об успехе и «равных возможностях». То же самое можно сказать и о некоторых сегодняшних тенденциях официального американского кинематографа.

Жизнь, однако, идет своим чередом. Каждый свежий номер газеты один за другим

«В душной южной ночи».

«Хладнокровно».

опровергает голливудские мифы, побуждая мыслящих художников открыто смотреть в глаза фактам, глубже проникать в сложные сплетения реальных общественно-социальных причин и следствий.

Одной из таких попыток явилась, на мой взгляд, недавно выпущенная на международный экран картина Ричарда Брукса «Хладнокровно», созданная по одноименному документальному повествованию известного американского писателя Трумэна Капоте, которого строка заурядной уголовной газетной хроники 1959 года — сообщение о зверском убийстве семьи канзасского фермера — на шесть лет погрузила в выяснение обстоятельств, превративших в нелюдей и приведших на эшафот двух типично американских юношей.

Читатели «Иностранной литературы» знакомы с этим произведением (в сокращенном варианте оно опубликовано в №№ 2—4 нашего журнала за 1966 год), прозвучавшим в Америке как сигнал национального бедствия. Размеры преступности молодежи, степень отравления ее идеями насилия за последние годы приняли катастрофический характер, даже судя по официальным признаниям, включая выступления президента Джонсона перед конгрессом.

Злободневность фильма Ричарда Брукса роковым образом прокомментировала сама действительность: иностранные зрители впервые знакомились с картиной в те самые дни, когда было совершено убийство Роберта Кеннеди. Автор одной из заметок, посвященных демонстрации фильма на фестивале в Карловых Варах, привел воспроизведенные в те дни «Таймс» примечательные слова самого Роберта Кеннеди, произнесенные им 5 апреля 1968 года, на следующий день после убийства Мартина Лютера Кинга: «Позор всей нашей нации — убийство одного американца другим. Независимо от того, совершено оно шайкой преступников или убийцей-одиночкой... Хладнокровно или в состоянии аффекта...» Рядом автор заметки цитирует строки из редакционной статьи, озаглавленной «Культ насилия»: «Факт остается фактом, современному обществу грозит все возрастающая волна насилия...»

«Такие явления, как насилие, расовые проблемы, сексуальное пробуждение молодежи... составляют теперь постоянную тематику наиболее характерных для Америки фильмов»,— констатирует Джин Московиц, кинокритик американского журнала «Верайети», называющий среди наиболее типичных произведений текущего года фильмы «Угадай, кто придет к обеду», «В душной южной ночи», «Хладнокровно», «Бонни и Клайд».

Оставим пока тезис о «сексуальном пробуждении молодежи» — к нему мы вернемся позже. Что же касается прошедшей с сенсационным успехом картины Артура Пенна «Бонни и Клайд», то она, как пишет вышеназванный критик, «почти в форме легенды рассказывает о двух преступниках тридцатых годов. Они протестуют против депрессии тех лет, а тем самым невольно и против американского мифа о завоевании новых возможностей, о богатстве и т. д. Однако в фильме насилие порождает насилие для того, чтобы привести к кровавому финалу». Еще один американский фильм нынешнего года, о котором он упоминает,—

Е. СТОЯНОВСКАЯ
О НОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛЬМАХ

«Инцидент» Ларри Пирси: поздно ночью два хулигана терроризируют в метро группу людей. «Фильм отображает современные картины насилия с помощью новых выразительных средств»,— пишет Московиц.

Для воспроизведения «современных картин насилия» коммерческое искусство Запада в самом деле не жалеет «новых выразительных средств» — волны жестокости бушуют на экранах кино и телевидения, захлестывают подмостки театральной сцены, обрушиваются на читателей массовых книжных серий. «...Граждане подвергаются все усиливающемуся воздействию книг, фильмов, телевизионных и театральных постановок, где все чаще живописуются всевозможные картины насилия»,— констатирует «Таймс» в цитировавшейся выше передовой.

К услугам граждан оказываются и новые сочинения, истолковывающие природу насилия.

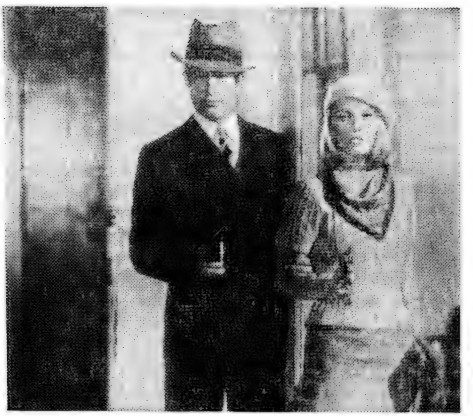
Широкую рекламу в буржуазной печати получили недавно вышедшие на Западе и быстро превратившиеся в супербестселлеры «поп-опусы» типа «Голой обезьяны» Десмонда Морриса, «Об агрессии» Конрада Лоренца и тому подобные произведения, исследующие первобытные инстинкты и эмоции, с новых — «этологических» * — позиций защищающие теории «предопределенности человеческой природы». Никаким просвещением и цивилизацией, утверждают авторы этих книг, невозможно стереть врожденные биологические, детерминированные черты человека — потомка охотника, ставшего человеком прежде всего в качестве убийцы, вооруженного смертоносным оружием. Так расшифровывает идеологический подтекст новых теорий поражения и пессимизма, предложенных этологами, журнал английских коммунистов «Марксизм тудей», в двух номерах поместивший обстоятельные работы, в которых анализируется истинный смысл современных попыток возвращения к философии, утверждающей исконную агрессивность человека.

Картина «Хладнокровно» Ричарда Брукса предлагает другое толкование. Умело и на редкость экономно, в смысле обращения на экране с «материей жестокости», отобравший главное из страшной «стенограммы» Трумэна Капоте, фильм еще более резко, чем это сделано в книге, подчеркнул социальный колорит атмосферы, приведшей к убийству, социальное происхождение обстоятельств, чудовищным образом отнявших жизнь у шести американцев. Трудно сказать, запрограммирован ли этот социально-исследовательский характер картины ее создателями, чьей заботой, судя по всему, была максимально добросовестная и непредвзятая реставрация подлинной истории преступления, но конечный эффект ее именно таков.

Биологически-фрейдистские комплексы, которым отведено в книге довольно существенное место, почти не участвуют в систе-

* Этология — наука, изучающая поведение животных в естественных условиях на воле.

«Инцидент».



«Бонни и Клайд».

«Невезение» («Бедная телка»).

ме образных аргументов, подводящих зрителя к выводу о серьезных изъянах в устройстве общества, варварски обесценившего человеческую жизнь.

Вообще — не отказ от социальных критериев, а, напротив, все более утверждающееся их значение можно назвать сегодня истинным знамением времени.

■

Одно из косвенных тому свидетельств — повсеместное упрочение авторитета социологии — науки, по самой природе своей опирающейся на социальные критерии. В Англии, скажем, где до 50-х годов ее вообще не считали за науку, сейчас на страницах специального номера литературного приложения к «Таймс», целиком отведенного проблемам социологии, можно прочитать, что «крен в сторону социологии становится все сильнее...», что «есть тенденция старые науки рассматривать в связи с их социальной значимостью», что «литература, искусство, религия, точные науки, философия — все это проецируется в социологию», что «... сложная картина жизни в творениях писателей чрезвычайно обогащает социологию». Разумеется, буржуазная и марксистская социология исходят из противоположных идейных посылок, и все-таки не симптоматичны ли эти высказывания ведущей буржуазной газеты, испокон века проповедовавшей «чистые» науки и искусство, «независимые» от закономерностей общественно-социального развития?

Или вот строки из рецензии ежемесячника «Букс энд букмен»: «В наш век, когда от искусства ждут социальной направленности и значимости, когда вся западная интеллигенция заметно склоняется в сторону левых...» — не свидетельствует ли это замечание буржуазного обозревателя, оброненное мимоходом, словно зафиксировавшее общее место, о необратимости некоторых исторических процессов?

Но это в скобках.

В последнее время прогрессивная английская печать не раз упоминала о признаках подъема в английском киноискусстве, связывая его с приходом группы талантливой молодежи из телевидения.

Что принесли эти молодые на экран? «Морнинг стар» назвала: остроту проблем, введение документального элемента в ткань художественного фильма, чувство социальной ответственности. Характеристика эта справедлива по отношению ко всем значительным произведениям английского кино за последние год-два — таким, как «Привилегия» Питера Уоткинса, «Как я выиграл войну» Ричарда Лестера, «Невезение» («Бедная телка») Кеннета Лоуча.

Ричард Лестер, автор до натуралистичности жестокой антивоенной ленты, рассказал после выхода своей картины, что намеревался поставить ее с чисто пацифистских, нейтральных позиций: «Это совершенно аполитичный фильм. Но теперь я уже повидал его в шести странах, обсуждал со студентами правых и левых убеждений. И оказалось, что он служит источником политически направленных идей. Он дает людям возможность выразить мысли, которые в обычных условиях они не высказывают. Это, по-моему, лучшее, что есть в фильме: он заставляет людей высказывать свои взгляды...»

Сознанием моральной и социальной ответственности кинематографа отмечена работа молодого талантливого Кеннета Лоуча, получившая обширную прессу в Англии и участвовавшая в Карловарском конкурсе. Принципиальное своеобразие его картины, видимо, позволившее газете «Морнинг стар» даже назвать ее «образцом местного соцреализма» (любопытно, что на пресс-конференции создатели и участники фильма несколько раз упоминали о том, как часто обращались они в своей работе к системе Станиславского) — в сочетании остроразоблачительной документальности в воспроизведении современных английских трущоб со способностью разглядеть и на этом «дне» поэзию истинной человечности — без сентиментальности, без мелодрамы, с трезвой наблюдательностью и отличным чувством юмора. Особенно хороша (ее исполнение получило главный актерский женский приз фестиваля) Кэрол Уайт в роли Джой, «телки» — обитательницы «дна», подруги воров, которая в нечеловечески жестоких условиях постигает истинный смысл материнства и любви,— угловатой, неуклюжей, растрепанной девчонки с хриплым голосом, живой, непосредственной, удивительно органичной во всех своих проявлениях. Как пишет пресса, роль эта явно выдвигает молодую актрису в первый ряд английских звезд.

Почерк молодого художника полемичен — и по отношению к утвердившимся розовым стандартам американизированного коммерческого экрана, и к безысходному отчаянию и «ужесточению» некоторых декадентских образцов современного авангарда. Есть в этой его полемике и свои издержки — в чем-то видишь незрелость, в отдельных кадрах стремление к документальности оборачивается натурализмом,— но направление поиска кажется обещающим.

Еще одна остросоциальная драма фестивального экрана разыгралась в трущобах другого, южноамериканского континента. «Долгий путь» Патрисио Каулена Браво — первый чилийский фильм, участвовавший в международном конкурсе и отмеченный поощрительной премией. У себя на родине эта картина в текущем году побила рекорд посещаемости.

Не все совершенно в этом произведении молодой национальной кинематографии, кое-что возвращает к уже виденному на неореалистическом итальянском экране, в частности, к «Похитителям велосипедов» Де Сика — здесь тоже голодный мальчишка и звериный оскал большого города... И однако такую непосредственность и достоверность ощущаешь в ленте, такой пронзительной художественной силы исполнены отдельные кадры (например, эпизод погребального

Е. СТОЯНОВСКАЯ
О НОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛЬМАХ

«Уго и Джозефина».

торжества с плясками вокруг мертвого младенца, водруженного на самодельный алтарь в костюме ангелочка с крылышками из соломы), столько горя народа, неистребимой его жизненной силы, столько подлинности колорита — национального, социального — спрессовано в этих экранных мгновениях, что «заразительность» их оказывается неподвластной времени...

■

...Жаркий полдень. По тропке, затерявшейся в пшеничном поле, выбиваясь из сил под тяжестью чемодана с пожитками, ребенок—девочка лет пяти — догоняет сухопарую монахиню на велосипеде: «Тетя, подождите, я здесь совсем одна...» «Все мы совсем одни, девочка»,— назидательно бросает старуха и продолжает свой путь, уже не оглядываясь. Это Джозефина, на сей раз голодная не физически, а духовно, маленькая жертва сытой Швеции, где человек человеку волк, если он не хрестоматийный чудак, которого третируют окружающие и который, в сущности, мог только привидеться в фантазии мечтательному автору. Мотив отчуждения, одиночества человека в буржуазном мире звучит почти прямолинейно-назидательно в показанной вне конкурса грустной картине «Уго и Джозефина» шведского режиссера Кьелла Греде — современной сказке о дружбе двух ребятишек с загадочным пожилым романтиком изгоем, неизвестно откуда появившимся и неизвестно куда исчезнувшим с ребячьего горизонта. Живая, «взъерошенная» непохожесть и самостоятельность двух детских характеров — Джозефины и ее дружка Уго, маленького самобытного мальчонки из бедной крестьянской семьи,— едва защищают от сентиментальности это лирическое киноповествование.

Право на «непохожесть» индивидуальности, право на демократичную человечность и доброту автор и герои фильма отстаивают, сопротивляясь узаконенному бездушию буржуазно-мещанского уклада жизни. И хотя социальные подтексты не проявлены в их картине с достаточной определенностью, хотя элементы мелодрамы ослабляют ее воздействие, все же и эта «малая толика человечности» спорит и с голливудскими представлениями о действительности, и с тональностью патологически жестоких декадентских лент.

Целомудренная, чистая атмосфера этой картины кажется почти неправдоподобной на фоне новинок массовой продукции шведского экрана, по поводу которых автор статьи с красноречивым названием «Философы спальни», недавно опубликованной в английском журнале «Филмз энд филминг», высказывается следующим образом: «Последние шведские картины выглядят так, будто задуманы исключительно ради пропаганды терпимости ко всем мыслимым вариантам половых сношений мужчины и женщины». Автор письма, напечатанного в другом номере того же журнала, говорит о подобной ситуации у себя на родине: «В февральской книжке вашего журнала помещены кадры из восьми только что вышедших на экран английских фильмов: на девяти из снимков — обнаженные юноши и девушки, занятые тем или иным видом «сексуальной деятельности»... Не многовато ли?

Неужели в Англии не осталось для экрана других проблем, кроме секса?»

Вирус «пандемии секса», этого, как назвал его один критик, мощного магнита рыночной культуры буржуазного Запада, беспардонно эксплуатирующей в далеких от гуманизма целях расхожий тезис о «сексуальном пробуждении молодежи», получил угрожающее распространение на современном зарубежном экране.

«Чистый» образчик «сексуального боевика» в жанре комедии был доставлен на фестиваль в Карловых Варах из ФРГ — шлягер с племянницей министра фон Брентано в роли «ангелочка из Бамберга», повествующий о похождениях в Мюнхене девицы, пожаловавшей из своей провинции с четко намеченной и с казарменным юмором реализованной на глазах у зрителя программой: расстаться с невинностью до возвращения к своему провинциальному жениху.

К сожалению, не раз еще во время фестиваля приходилось вспомнить об этом недуге современного кинематографа, уныло штампующего кадры в постели, в конечном счете стирающие представление об истинной человеческой страсти, низводящие ее до уровня жалкого стриптиза.

Новейшая разновидность этого штампа, тоже заявившая о себе в ряде фильмов фестиваля,— секс пополам с политикой. Картина «Занимайся любовью, а не войной» Вернера Клетта из ФРГ — один из примеров и один из ответов на вопрос о том, почему судьба юноши, дезертира американской армии, не желающего воевать во Вьетнаме и находящего временное спасение на чердаке у немецкой девушки, не обрела звучания и силы, как будто обещанных самой ситуацией.

«Ола и Юлия».

«Ола и Юлия».

Однако отступление начато с разговора о шведском кино. Еще одна шведская картина пытается оспорить модерные стандарты коммерческой культуры, так сказать, «изнутри».

Речь идет о фильме «Ола и Юлия» режиссера Яна Халдоффа, показанном в конкурсной программе.

У микрофона — Ола, исполнитель модных песенок, звезда биг бита... Вопли, визг, стоны... Под звуки джаза в исступлении, экстазе беснуются, заливаются слезами, корчатся в судорогах шведские девчонки... Словно рефрен, вновь и вновь возникают перед зрителем эти кадры, создающие эмоциональный фон фильма. А потом — театральные подмостки, Беккет, два мусорных ящика и диалог мертвецов, мужа и жены, роль супруги ведет Юлия. Слой третий: «он» и «она», безразличные, глухие к «реалиям века», ко всему на свете, кроме своей любви друг к другу — совсем не модерной, простой и чистой, как у Ромео и Джульетты.

История любви юноши и девушки из мира истеричного биг бита, в котором осталась, казалось бы, одна накипь, который должен был парализовать самую способность молодых людей к серьезному чувству, противостоит всему фону, всей обстановке, в какой она развертывается, всему взвинченно модерному укладу жизни молодых людей. Однако полемичности этой, симпатии, которую испытываешь к намерениям художни-

---

Е. СТОЯНОВСКАЯ
О НОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛЬМАХ

«Тетушка Зита».

ка, к героям его, оказывается недостаточно для того, чтобы если не потрясти душу зрителя, то хотя бы оставить в ней ощутимый след. Социальному зрению авторов не хватило ни остроты, ни глубины, возвышающих подлинное искусство над уровнем самой симпатичной беллетристики.

Тот же упрек можно адресовать и участвовавшей в конкурсе картине «Тетушка Зита» французского режиссера Робера Энрико, близкой по стилистике знакомой советским зрителям ленте Клода Лелуша «Мужчина и женщина».

Робер Энрико тоже за человечность, за право личности на эмоциональную активность и самостоятельность. И здесь с образом героини связана атмосфера нравственного здоровья — не особенно частая гостья буржуазного экрана. Юная парижанка Анни с ее серьезным любопытством и открытостью всем ветрам жизни — принципиальный антипод циничным и бессильным в своей опустошенности героиням Франсуазы Саган. Как будто не так уж мало? Но и не слишком много, однако. Более всего фильм напоминает камерный этюд, экзерсис способного режиссера и одаренной актрисы. Обаяние сердечной, искренней инфантильной полудевушки-полуподростка, волею обстоятельств «пододвинувшейся» к зрелости в дни, когда умирала ее любимая тетушка,— вот, собственно, и все, что достается зрителю. Приметы современной жизни реального значения в фильме не обретают.

«Биотаксия».

О человечности как синониме искренности

и естественности, вытравляемых в буржуазном обществе, тоскует и молодой представитель экспериментальной барселонской школы кинематографа Хосе Мария Нунес, режиссер участвовавшей в конкурсе картины «Биотаксия». Его героиня — внешне благополучная буржуазка, на сцене (она артистка) ей сопутствует успех, в ее распоряжении комфортабельный дом, она как будто бы любит детей и мужа — вдруг приходит к выводу, что не в состоянии больше жить жизнью, к которой привыкла, в этом мире, где не имеет никакого значения, что человек в действительности думает, чувствует, к чему стремится, где все подлинное приносится в жертву условностям, где лицемерие становится второй натурой...

Подсознательно, инстинктивно она давно ощущает, что все не такое, каким кажется. Прозрев, начинает мыслить, чувствовать, страдать. Она понимает, что изменила самой себе, пытается вновь найти утраченное, оставляет все и отправляется искать молодого мужчину, с которым встретилась когда-то.

Фильм снят в форме исповеди-монолога героини. Ретроспективно выстраиваются «аргументы» — кадры прожитого, увиденные новыми глазами. Вывод: возврата к прошлому нет, поиски нового счастья — бессмысленны, единственная ценность в этом мире — сохранившееся собственное «я»...

Современная буржуазная цивилизация ведет к разрушению человеческой личности, противостоять этому разрушению способен лишь художник, сознающий свою ответственность, полагает Хосе Мария Нунес.

Жаль только, что благородный замысел его картины не обрел соответствующей художественной плоти — слишком многое в этом эксперименте абстрактно, вненационально, слишком мало реализована в картине собственная индивидуальность художника, словно загипнотизированного манерой мастеров французской «новой волны» на этапе «Прошлого лета в Мариенбаде»...

«Да, мы должны непрерывно искать новые пути,— утверждает Нунес.— Говорят, «школа» их еще не нашла. Надеюсь, что она их не найдет никогда». И в заключение: «Мы не заинтересованы в продаже фильмов для широкого круга зрителей». Хочется верить, что одаренный автор перерастет кокетливые декларации подобного толка, противоречащие самому существу его взгляда на киноискусство, которое он же называет «движущей силой мышления нашей эпохи».

В 1961 году французский режиссер Клод Шаброль, беседуя с Григорием Чухраем в маленьком городке недалеко от Парижа («Дискуссия в Вильпрэ» — как называют ее кинематографисты), произнес слова, очень точно сформулировавшие отличие концепций советского и западного киноискусства. «По существу, я думаю, вы создаете кино «сложения», а я — «вычитания».

Не все осталось по-прежнему с тех пор. «Антиразрушительные» мотивы нет-нет, да и прорываются на современный экран, судьба личности в буржуазном мире подчас исследуется серьезными художниками со стремлением разорвать оковы экзистенциалистского пессимизма. И все же те, кто при этом ограничивает себя установкой на принципиальный аполитизм, кто помещает своих героев в общественный вакуум, оказываются бессильными открыть перед зрителем иные перспективы, кроме «единой для всех» абстрактной морали, более или менее усовершенствованных «общечеловеческих» моделей гуманизма.

■

«В последнее время кинофестивали стали не только ареной состязания новых творческих веяний в области искусства,— писал югославский журналист Воин Витезица в бюллетене фестиваля.— На первый план выступает концепция фильма, который знает, чего он хочет, который имеет в виду миллионы зрителей, заинтересованных в будущем мира, в самом его существовании. Мы являемся свидетелями процесса, при котором тип развлекательного фильма уступает место несравненно более важному и интересному для зрителя фильму — анализу и анкете современного мира, который волнует не выдумкой, а достоверностью, точными фактами, немилосердно правдивой картиной настоящего положения дел».

Анализ и анкета современного мира — на этой волне работают сегодня ищущие мастера социалистического экрана, сочетающие в лучших произведениях пристальное внимание к новейшим «душеизобразительным» средствам кинематографа с открытым публицистическим пристрастием в исследовании социально-общественных процессов, вне которых бытие личности является всего лишь абстракцией, а искусство кино остается в пределах «вычитания», сколь бы положительными и гуманными ни оказывались побуждения отдельных художников.

Более десяти фильмов социалистических стран участвовали в фестивале — интересно, что почти все они так или иначе связаны с проблемой молодого человека в современном обществе.

С заявки на ответственность за будущее начинает путь в жизни сын и внук коммунистов Губановых из советской картины «Твой современник» режиссера Ю. Райзмана.

В тяжелейших испытаниях постигает сущность исторических категорий немецкий юноша, пришедший в качестве лейтенанта Советской Армии на занятую фашистами землю своих отцов («Мне было девятнадцать» Конрада Вольфа).

Отстаивает право на самостоятельность молодая учительница из чешского фильма «Стыд» Ладислава Гельге, не желающая пользоваться привилегиями своего «руководящего» отца.

Отвергает мещанскую потребительскую психологию, в плену которой оказывается и его возлюбленная, провинциальный паренек из польской картины «Дансинг в ставке Гитлера» режиссера Яна Батория.

Е. СТОЯНОВСКАЯ
О НОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛЬМАХ

Сложная, хрупкая, переменчивая, как погода в апреле, человеческая пора на изломе отрочества и юности — предмет исследования молодого венгерского режиссера Пала Шандора в «Клоуне на стене» — первом его полнометражном фильме, с успехом демонстрировавшемся в конкурсной программе.

Выясняет — и так и не может выяснить — свои сложные отношения с революцией молодой кубинский интеллигент, оставшийся на родине, в то время как все его родные и близкие бежали за границу (Томас Гутьерес Алеа «Воспоминание об отсталости»).

Кто виноват, что так бездарно, трагично сложилась судьба парня с белградской окраины, оказавшегося за бортом большого мира и в пьяной драке окончившего свою, в сущности, неначатую жизнь? (Премированный на фестивале югославский фильм Живоина Павловича «Когда я буду мертв и бледен».)

Непростые вопросы задает сегодня «анкета современного мира», далек от прямолинейных выкладок художественный анализ действительности, предлагаемый вдумчивыми художниками социалистического экрана.

«Революция внесла в наше мышление радикальные перемены»,— писал в заметках о своем фильме «Воспоминание об отсталости» кубинский режиссер Томас Гутьерес Алеа.— Все, до чего на первый взгляд рукой подать, в действительности оказывается значительно дальше. Новая правда требует создания не только новой экономики, общественного уклада, но и нового человека. Для этого необходимо время. Пока же мы вынуждены довольствоваться тем, каковы мы есть, и продолжать борьбу».

Знать, каковы мы есть, чтобы продолжать борьбу,— так, пожалуй, точнее было бы определить замысел его картины — своеобразного кубинского варианта «Дней Турбиных».

Гаванские будни рефлектирующего интеллигента Серхио заняты работой над дневником — воспоминаниями о прошлом, отвлеченными размышлениями о судьбах революции да вялыми попытками как-то устроить себя в непривычном мире, найти близкую душу. Умозрительные построения разбиваются о безжалостную прозу жизни. «Акварельный» роман с непосредственной наивной девчонкой оборачивается привлечением к суду за изнасилование. Из гражданского подвига Серхио тоже ничего не получается, так и остается он между двух берегов. Вопрос «революционер ты или нет?» Серхио возвращает Элене: «А что ты об этом думаешь?» И она бросает резкое: «Никто ты и ничто».

А на втором плане — кадры реальной кубинской действительности: эпизоды десанта на Плайя-Хирон, картины студенческих волнений во времена Батисты... Из пересечения

«Воспоминание об отсталости».

«Стыд».

этих планов рождается объемный образ социально обусловленной человеческой судьбы, нарисованной современным почерком интересного мастера.

Для Панека — председателя райкома национального комитета маленького чешского городка («Стыд» Ладислава Гельге) — вопрос не в том, к какому берегу пристать. Более двадцати лет жизни отданы общественному служению, забыты и отдых и все личное. И вдруг выясняется, что он отстал, безнадежно отстал от жизни, от истинного положения дел, давно не знает, чем по-настоящему живут окружающие его люди. Легко представить, какой ценой дается такому человеку открытие, что он превратился в бюрократа, растратившего кредиты людского доверия, какой ценой приходит решимость уйти или начать новую жизнь.

Не исполняет — можно сказать, живет в этой роли отличный актер Юлиус Пантик, и потому останется живым образ его героя, несмотря на досадную иллюстративность и схематизм картины в целом.

Режиссер Конрад Вольф известен постановками картин «Звезды», «Профессор Мамлок», «Расколотое небо». Фильм «Мне было девятнадцать» родился из его автобиографических дневниковых записей, датированных апрелем—маем 1945 года, и воспоминаний сценариста Вольфганга Кольхаазе, четырнадцатилетним мальчишкой встретившего советские войска в родном городке.

«Однако мы решили отказаться от двухпланового изложения событий с точки зрения немца в советской форме и немца в мундире вермахта,— рассказывает Конрад Вольф.— Мы опасались, что это лишит сюжет непосредственности, утяжелит картину. И потому остановились на варианте истории девятнадцатилетнего Грегора Хеккера, возвращающегося на родину в форме лейтенанта Советской Армии — в Советском Союзе прошла большая часть детства и отрочество сына немецкого эмигранта».

«Это простое, строгое киноповествование избежало опасностей прямолинейности и риторики, к которым легко располагают подобные сюжеты. Напряженный, динамичный сценарий авторов свободен от самолюбования и чрезмерной психологизации... Фильм не ограничивается воскрешением прошлого, он исполнен ненависти к войне, к ее идиотизму» («Унита», Италия).

«Вывод о том, что русские освободили Восточную Германию от фашизма, в отличие от многих других фильмов ДЕФА, не звучит здесь прямолинейно, к нему подводит искусство полутонов» (Би-Би-Си, Англия).

«Снятый в ГДР фильм порывает со всеми запретами последних двадцати лет. Ничто не укрыто из того, что на протяжении мно-

---

Е. СТОЯНОВСКАЯ
О НОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛЬМАХ

«Мне было девятнадцать».

гих лет составляло главные проблемы прошлого Германии и что было пережито немцами или, по крайней мере, подавляющим большинством из них.

Необычайно удачно выбрав центрального героя, Конрад Вольф и Вольфганг Кольхаазе дополнили портрет штрихами исторической правды, которых не хватало до сих пор,— речь идет о Германии 1945 года» («Леттр франсэз», Франция).

И, наконец, «Франкфуртер рундшау» (ФРГ): «Этим фильмом о приходе Красной Армии часто критиковавшаяся (и не всегда заслуженно) ДЕФА достигла значительного успеха — картина получилась одновременно и очень личной и политически тенденциозной; отказавшись от обычного легковесного оптимизма, именно благодаря этому она будет оказывать сильное политическое воздействие».

В приведенных рецензиях, опубликованных в четырех европейских странах, названы действительные достоинства этой, к сожалению, недооцененной на фестивале картины, которая пользуется большим успехом у молодежи в ГДР и которой предстоит жить на экране, в частности, и благодаря удаче молодого актера Джекки Шварца, обаятельного и искреннего в роли Грегора Хеккера. Совсем не простые задачи одну за другой, не оставляя времени на размышления, подбрасывала жизнь этому юноше, в свои девятнадцать лет оказавшемуся военным комендантом в занятом советскими войсками немецком городке, парламентером в крепости Шпандау — гнезде осажденных эсэсовцев, свидетелем подвигов и преступлений своих соотечественников. Науку действенного, ответственного гуманизма, антифашизма, интернациональной солидарности он проходил в ускоренном темпе, в жестоких условиях — не очерствев, однако, сердцем. Многое сближает Грегора с Алешей из нашей «Баллады о солдате» — обаяние душевной открытости и скромности, какой-то особенный сплав внутренней интеллигентности, мягкости, врожденного такта с настоящей идейной убежденностью и твердостью, сознание своей личной ответственности за все, что происходит вокруг них.

В близости этих героев — таких разных по темпераменту, социальному происхождению, национальным чертам — нет никакой заданности, схемы — слишком естественно, индивидуально, природно их поведение на экране. И вместе с тем, конечно же, оно закономерно, «кровно» это родство, его суть — в единстве нравственных критериев — клас-

совых, боевых, бескомпромиссных,— определяющих самое главное в духовном облике обоих юношей, воспитанных социалистической действительностью.

Можно было бы упрекнуть фильм Конрада Вольфа в каких-то частных погрешностях, в стертости отдельных образов, затянутости отдельных эпизодов, но они не меняют общего впечатления об успехе авторов, сумевших заставить открытую публицистику заговорить языком искусства, дополнивших новыми чертами портрет молодого современника, сознающего свою ответственность за будущее мира.

Наличие или отсутствие этого социального сознания, ответственности героя, автора фильма за реальные судьбы мира — пожалуй, именно здесь проходит водораздел между кинематографами «сложения» и «вычитания», о котором говорил Шаброль. Именно здесь точка отсчета, позволяющая добросовестному зрителю Карловарского фестиваля разобраться в истинном достоинстве представленных на его суд категорий гуманизма, человечности, личности в том виде, как их понимают сегодня мастера мирового экрана. Более того — осмыслить первородство передовых идей современности, увидев за кадрами получившего особое отличие фестиваля советского фильма «Шестое июля» Михаила Шатрова и Юлия Карасика самые истоки, поучительные на все времена начала начал ленинской науки построения — в острейшем сплетении классовых коллизий—нового общества и нового человека.

...К проблеме личности—свободной, цельной, гармоничной — по-разному подходят художники социалистических стран.

Одновременно мягкие и категоричные, буйные и кроткие, доверчивые и скептичные подростки венгра Пала Шандора нарисованы рукой одаренного, ищущего фантазера и лирика, с жадностью стремящегося почерпнуть как можно больше из лаборатории изобразительных средств современного кино. «Я и сам лишь недавно вышел из возраста своих героев,— рассказывает он,— к необузданности которого испытываю непреходящее ностальгическое влечение, в какой-то мере и такая цель стояла передо мной: облегчить зрителю понимание душевного мира подростка со всеми сложностями отношений, со всей его неумудренностью, искренностью и чистотой».

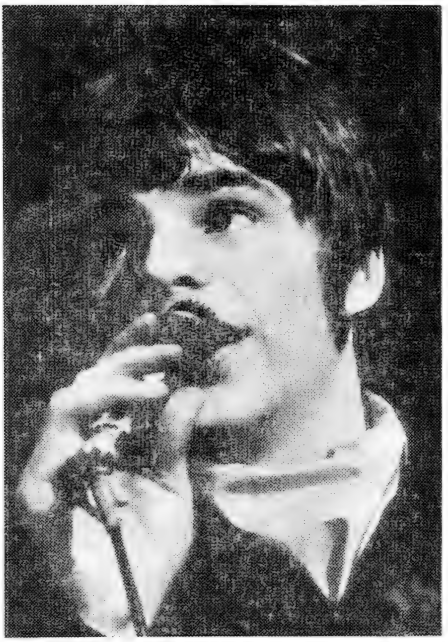
Заход «от противного» предлагает югославский фильм Живоина Павловича. Нестерпимо резок — как скрежет по стеклу — объектив его сильной трагической камеры. «Анкетой без иллюзий о темных сторонах жизни белградской окраины» называет пресса фильмы Павловича.

Герой фестивальной картины Янко по прозвищу Джимми Барка, обокрав сезонных рабочих — товарищей по общежитию,— скитается по маленьким городкам, меняет случайных подруг. Одна — карманная воровка и вымогательница, симулирующая беременность; другая — трактирная певичка, с ее легкой руки безголосый Янко выступает на ярмарках; потом новая дружба — с девушкой — зубным техником он едет в Белград, пытается участвовать в конкурсе певцов, вместе с первой возлюбленной шантажирует прежнего шефа и погибает от его руки.

«Клоун на стене».

«Дансинг в ставке Гитлера».

«Когда я буду мертв и бледен».



Въедаются в память заключительные кадры этой жестокой и одновременно взывающей к человечности картины: обшарпанная уборная где-то на задворках, залитое кровью лицо юноши — пуля прошила дощатую дверцу... А рядом во дворе все гоняют и гоняют мяч взмыленные, безучастные парни...

Павлович демонстративно подчеркивает, что не приемлет «утилитарного» значения искусства, позиции «инженеров человеческих душ». Заявления более чем двусмысленные в устах художника, работающего в социалистической стране. Кажется все-таки, что им противоречит такое, скажем, его признание: «Те ситуации, которые мы воспринимаем как недостойные человека, в нашем сознании, в нашей совести, в наших эмоциях наносят нам раны».

И, главное, им противостоят конечные выводы собственного творчества, о котором в рецензии «Паэзе сера» на одну из его картин говорится: «Это фильм, в котором нет места отчаянию — слишком силен он в мужественной критике, привлекающей зрителей к борьбе за совесть, к борьбе, которую каждый ежедневно ведет с двойственностью человеческих отношений».

Однако центральное направление социа-

листического искусства — это показал и фестиваль — связано с работой тех мастеров, для которых представление о личности неотделимо от идеи общественной ответственности.

На этом направлении мог состояться поиск и авторов картины «Дансинг в ставке Гитлера» по одноименной повести Анджея Брыхта, знакомой читателям «Иностранной литературы» *. Живые, неповторимо индивидуальные, из плоти и крови дети времени нарисованы рукой талантливого писателя. Ничего заметного как будто не совершил еще в жизни скромный паренек из Лодзи, у которого за плечами — трудовое отрочество, но многое позволяет предсказать его бурная исповедь о первой любви, вместившая столько примет социальной и нравственной атмосферы, воспитавшей чувство человеческого и гражданского достоинства, зрелую непримиримость к потребительскому иждивенчеству, ненависть к мещанам, произносящим «элиет» и «магнетик» таким тоном, как сытый человек говорит «хлеб» и «вода».

Прошлое, настоящее, личное, общественное — можно ли оборвать хоть одну ниточку в сложнейшем сплетении, из которого сотканы судьбы двух юных героев повести Брыхта, не повредив непоправимо всей тонкой материи?

К сожалению, экранный вариант повести во многом отошел от литературной первоосновы. В частности, и потому, что откровенное и в то же время сдержанное и целомудренное в описании интимных переживаний перо Брыхта уступило место натуралистичным, назойливо повторяющимся кадрам эдакого «сексбоевика», заметно огрубившим и обеднившим замысел произведения.

■

Ваяние из времени — так определяет в своей интересной статье, недавно напечатанной в академическом сборнике «Вопросы киноискусства», режиссер Андрей Тарковский суть авторской работы в кино. Матрицами реального времени называет он состоявшиеся результаты этой работы. Отталкиваясь от этого на редкость емкого образа, можно говорить и о матрицах киновремени, далеко не всегда, к сожалению, адекватного времени реальному, и о международных кинофестивалях, останавливающих на мгновение бег киновремени, судить по тому, каков их действительный выход в матрицах времени реального.

* См. «Иностранную литературу» № 3, 1967.

■

Привожу дословно объявление, напечатанное в русской брачной газете 1911 года: «Офицер-артиллерист хочет жениться на красавице. Желательны пение, музыка. Лишние средства не помешают прожить красиво». Можно ли не узнать колорит реального времени в «изломе» этих двух строк, зафиксировавших характерные черточки уклада старой русской действительности? И можно ли не разглядеть в них же социальные, классовые контуры «печки», от которой танцует автор объявления?

Реальное время одевает в свои цвета и запахи и простые факты жизни и сложные произведения искусства. «Печку», однако, узнать всегда можно, она останется, пока существует в мире классовое общество. Структура «атома», из которого строится художественный организм современности, конечно же, сложнее, чем была вчера, однако социальная материя его та же — вернемся хотя бы на минуту к проблеме негра на экране, с которой были начаты эти заметки. Преуспевающий деятель вместо безгласной тени униженного раба (только в таком качестве можно было увидеть на экране негра в фильмах вчерашнего дня). Социальная суть, однако, прежняя, только классовая стратегия требует сегодня больше маневра — ставка и на черного буржуа.

Разумеется, искусство не прямо и не плоско фиксирует жизнь. Черты молодого современника на экране не накладываются непосредственно на характер реального прототипа. Мы еще не видали картины, где действовали бы молодые участники невиданных по масштабам классовых битв, развертывающихся сегодня в Западной Европе. Мы не видели еще молодого американца, которого «заботят такие вещи, как угроза ядерной войны, движение в защиту гражданских прав, распространяющееся в США бесчестье, конформизм...»

Но уже неверно было бы утверждать, что, обращаясь к проблеме молодого современника, зарубежный экран предлагает одни лишь сбивчивые, смутные суждения авторов, которым, как в 1960 году писал французский критик Марсель Мартен, в сущности нечего сказать, которые «воздерживаются от проникновения в социальные или политические вопросы», ограничиваясь воспроизведением нелепостей, абсурда, пороков, зла и страха мира, окружающего молодого человека. Вывод этот, при всей его внешней непритязательности, стóит не так уж мало.

Карловы Вары — Москва

АРЕСТОВАННЫЕ ПОЭМЫ

Тасос Ливадитис. Кантата для трех миллиардов голосов. Стихи и поэмы. Перевод с греческого. Составление и предисловие С. Ильинской. Редактор Б. Слуцкий. Москва, «Прогресс», 1968. 102 стр.

Надо быть мужественным человеком, верящим в свои силы и в могущество поэзии, чтобы назвать свою поэму кантатой для трех миллиардов голосов. Ведь для поэзии Запада сегодня куда характерней кантата для одного голоса, не правда ли? Греческий поэт Тасос Ливадитис обращается к Человечеству, но стихи его — не риторический крик, а самый что ни на есть душевный и интимный разговор о вещах, одинаково важных и для одного человека и для всего населения планеты Земля.

Ныне, как никогда, проблемы, волнующие отдельную личность, неразрывно связаны с проблемами, волнующими все человечество. Арена поэзии велика, и тот талант, который остро чувствует бескрайность своей аудитории, берет на себя огромную и очень благородную ношу.

Мне бы не хотелось закреплять за Тасосом Ливадитисом звание политического поэта. Только потому, что, по моему глубокому убеждению, каждый большой поэт — певец своего народа, а следовательно, поэт политический, и нет нужды отдельно и специально это подчеркивать.

Современная поэзия Греции богата талантами, а Тасос Ливадитис — среди первых и лучших.

Греция... Здесь родилось слово «трагедия», и судьбы этой страны словно для того так сложны, чтобы подтвердить сложность обстановки, трагичность положения греческого народа.

Здесь родилось слово «демократия», ныне бесстыдно и безжалостно растоптанное бандой «черных полковников», захвативших власть в свои грязные руки.

Стихи, включенные в книгу «Кантата для трех миллиардов голосов», созданы поэтом до апрельских событий 1967 года, но они актуальны и в этот час. Наступление реакции в Греции, к сожалению, дело не одного дня.

Трагедия Греции, страдания греческого народа прошли через сердце поэта. Тасос Ливадитис, опубликовавший свои первые произведения в 1945 году, был в 1948 году заточен реакцией и вместе с другими бойцами Сопротивления, лучшими сынами народа, познал весь ужас ставших печально знаменитыми концлагерей на островах Лемнос, Ай-Стратис, Макронисос.

Пять лет на островах, пять лет унижений, пыток, не сломивших, а, наоборот, укрепивших веру бойца в идеалы Свободы, сделавших его поэзию прямой и жесткой, не в ущерб ее лиричности и глубине.

Нет, это не поэзия страдания, это — поэзия борьбы.

Это — лирика.

В стихотворении «Великая битва» Ливадитис говорит о патриоте, уходящем сражаться и уносящем с собою и печальную мелодию рояля, однажды донесшуюся из раскрытого окна, и возвращенную, не принятую любимой ветку жасмина, и детство, и утраченную любовь. Все они, эти воспоминания и переживания,

тоже пускаются в путь вместе с тобой
сражаться.
Рядом с тобой.

(Перевод Б. Слуцкого)

Знаток поэзии может сказать, что это не ново. Для меня важна душевная достоверность и убедительность этих строк.

Короткие произведения из цикла «Стихи, написанные на папиросных коробках» создают отчетливую и многокрасочную картину жизни современной Греции, воспроизводя в то же время биографию автора и утверждая его кредо. Как много сказано в этих маленьких стихотворениях. Даже не назовешь миниатюрами такие вещи, как «История простых людей», где в четырнадцати строках материал для целого романа, как четверостишия, одно из которых мне хочется привести:

Мы проводили вечера,
рисуя картины грядущего всемирного
счастья
на окровавленных рубашках убитых.
Они стали нашими знаменами.

(«Знамена». Перевод Б. Слуцкого)

В стихах Ливадитиса много страшного. Увы, это всего лишь отражение сегодняшней жизни греческого народа, и оттого, что ужасы эти — действительность, а не игра фантазии поэта, они становятся еще страшнее.

Меня не удивляет, а скорее утверждает в моей вере в поэзию то, что эти стихи полны оптимизма, написаны пером надежды, а не отчаяния. Надо быть именно поэтом, поэтом правого дела, чтобы, пережив то, что пережил Ливадитис, сохранить светлое, почти детское ощущение мира, природы, человека. Обнаженная совесть, святая открытость, предельная искренность этих стихов заставляют читателя сопереживать судьбу поэта и судьбы его товарищей. Как у всякого настоящего поэта, у Ливадитиса огромная палитра подробностей, деталей, ярких и неповторимых. В то же время стих его сложен и, насколько мой опыт позволяет судить о русских текстах, нелегко поддается переводу. Так, мне кажется, что в поэме «Кантата для трех миллиардов голосов» поэт превращает прозаизмы в поэтические образы, а переводчик Г. Семенов порой доносит до читателя лишь суть прозаизма, лишая его той новой оболочки, которая придала ему необычайность, поэтичность.

Да, это сложный, не идущий на уступки ради ясности стих, хотя автор провозглашает: «Я пишу для неграмотных». Мне кажется замечательной поэма «Ветер на перекрестках мира», получившая первую премию на Всемирном фестивале молодежи в Варшаве в 1955 году и... арестованная в Греции. (Поэма хорошо переведена Ю. Мориц.)

«Кантата» написана в ответ на наложение ареста на поэму о мире. Упорный и последовательный борец, Ливадитис вместе с тем — упорный и растущий мастер стиха, и это тоже очень важно для его характеристики.

Эти стихи невозможно пересказать и не хочется вырывать из них фразы для цитат, потому что как ни ярки отдельные детали, поэт вырубает свои поэмы словно из цельных глыб камня, из гранита мужества.

В тяжелую пору жизни Греции, страны богов и героев, страстно и вдохновляюще звучат голоса ее поэтов.

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

XX ВЕК, БЕЛЬГИЯ

Рассказы бельгийских писателей. Перевод с фламандского и французского. Составление и предисловие И. Шкунаевой. Редактор Е. Орлова. Москва, «Прогресс», 1967.

Я как и все, конечно, знала о «лингвистических беспорядках» в Бельгии, читала о бурных демонстрациях фламандцев, требовавших государственного равноправия для своего языка. И все же для меня оказался неожиданным разговор с одним фламандским поэтом, посетившим недавно Москву. Мы упомянули в беседе о вышедшем несколько лет назад сборнике русских переводов из бельгийской поэзии. Наш гость видел его и отнесся с горячим одобрением к тому, что советскому читателю дана возможность познакомиться, хотя бы в ограниченном объеме, с поэзией его страны. Но он горячо возражал против публикации под одной обложкой переводов с французского и фламандского. «Это две различные культуры, две совершенно различные культуры»,— твердил он с нервозностью, странно контрастировавшей с его флегматичной и немногословной манерой разговаривать. Он сказал, что, пока у Бельгии не будет федеративного устройства, пока у фламандцев и валлонов не будет языкового равноправия, пока французский язык будет единственным государственным языком Бельгии, лингвистическая проблема останется самой болезненной, самой насущной проблемой страны. И тут же пошутил: а пока что бельгийскому королю приходится, чтобы соблюсти равновесие и не обидеть

своих разноязычных подданных, изъясняться за рубежами своей страны только по-английски.

И вот передо мной еще одна книжка, которая, возможно, вызвала бы возражения нашего собеседника: «Рассказы бельгийских писателей. Перевод с фламандского и французского».

Я читаю ее с пристрастием, помня утверждения о «двух различных культурах, двух совершенно различных культурах». И все же мне приходится в конце концов заглянуть в оглавление, чтоб узнать, кто из авторов этих рассказов писал по-фламандски, а кто — по-французски. Нет, читая этот сборник, я не обнаруживаю коренной разницы культур. Да и мудрено, пожалуй, ее ощутить нам, если Шарль Де Костер, чей «Тиль Уленшпигель» с детства стал для нас символом народной Фландрии, писал по-французски. Если поэтический дух Фландрии навсегда слился в нашем сознании с французским стихом Верхарна.

Не мне спорить с бельгийским поэтом, страдающим от неравноправия своего языка. И, разумеется, фламандцы и валлоны обладают своей, особой культурой. Но если в Бельгии ощущение разнохарактерности культур превалирует над ощущением их родственности, то причина здесь именно в языковом неравноправии. Нам же — со стороны — виднее единство бельгийской культуры, бельгийской литературы.

Было бы по меньшей мере неосмотрительно делать окончательные выводы по одному тому рассказов, хотя в нем собраны произведения очень разных и, очевидно, весьма представительных писателей Бельгии нашего столетия. В рецензии на сборник такого типа невозможно, естественно, охарактеризовать каждого из авторов как художника. Я могу говорить лишь о своем общем впечатлении от книги, поневоле ограниченном, поневоле поверхностном. А впечатление это, при всей мозаичности, неизбежной в сборнике антологического типа,— целостно.

Сборник именно целостен, а не однообразен, потому что жестокий натурализм Пита Ван Акена ничуть не похож на ироническую прозу Варда Рейслинка или изящные парадоксы Жана Рея. Единство сборника, очевидно, объясняется общей культурной почвой, общими традициями «фламандизма», которые, как справедливо пишет в предисловии И. Шкунаева, современная бельгийская проза хранит и продолжает. Эта проза связана — иногда прямо, откровенно, иногда более скрытно — с сочным, красочным фольклором, с теми глубоко уходящими в народную почву корнями, на которых возрос и классический роман Шарля Де Костера. Но своеобразие бельгийской прозы — именно бельгийской, а не фламандской или валлонской — не обособляет ее в некой провинциальной изоляции, но вводит равноправным членом в западноевропейскую литературу, со всеми особенностями ее проблематики и художественных тенденций XX века в широком диапазоне от Гарди и Золя до Камю и Кафки.

В «Кирпичном заводе» Пита Ван Акена (перевод с фламандского), в «Клоде Бернери» Констана Бюрньо (перевод с французского), в «Лисенке» Герарда Валсхапа (перевод с фламандского), в «Вожде черного племени» Гуго Клауса (перевод с фламандского), в «Великанах» и «Карликах» Франца Элленса (перевод с французского) мы встречаемся с темой детства. В «Кирпичном заводе» это — детство, попранное социальной системой и потому с невыносимой жестокостью и ранящей наглядностью выявляющее бесчеловечность, извращенность капиталистических отношений. В «Лисенке» детство — вместилище глубоких чувств, неисчерпаемый источник любви и способности к самопожертвованию, верности, детство — как залог человечности человека. В «Великанах» и «Карликах» детство — момент познания и прозрения, перехода от инстинктивного и мифологического приятия мира взрослых к пониманию, пусть еще и не до конца осознанному, господствующих в этом мире противоречий и несправедливости.

В каждом из этих рассказов оживает Бельгия, ее быт, ее уклад, воспроизведенный с натуралистическим сладострастием Питом Ван Акеном, с добродушным любованием — Валсхапом, с поэтической остротой—Францем Элленсом. Но самая тема детства и все ее повороты вводят эти рассказы в общеевропейский литературный поток.

Одним из фокусов социальной несправедливости естественно выступают отношения колонизаторов к угнетаемым ими народам: доведенное до предела попрание человека человеком, извращение всех социальных и нравственных связей. Бельгийские писатели неотвратимо должны были обратиться к этому болевому узлу социальных отношений, ведь Бельгия была одной из самых цепких колониальных держав, безжалостно и беспардонно эксплуатировавшей Конго. В рассказе Анри Корнелюса «Шахматная доска» цинизм колониального чиновника, считающего не только возможным, но и похвальным обмануть «туземца», поставив его тем самым «на место», наталкивается на спокойную надменность негра-художника, умеющего постоять за себя и ответить на издевательство белого — наглое и неприкрытое — жестом презрения. В рассказе того же автора «Черные барабаны» страх перед неграми толкает бельгийца на бессмысленное убийство деревенского дурачка, не желавшего ему ничего дурного. В новеллах Корнелюса еще нет борьбы африканцев за независимость, но нагнетенность атмосферы, но острота конфликтности отношений между колонизаторами и колонизованными уже предвещают взрыв, уже сулят скорую и неотвратимую расправу с угнетателями.

Рассказ Робера Вивье «Питье» спокойной сочностью описаний, непосредственностью воспроизведения народного характера, в котором все протестует против войны как противоестественного, чуждого начала, напоминает о Барбюсе.

Пафос антифашистской солидарности одушевляет рассказ Пьера Демёза «Ночь в

Гамбурге». Его герой—бельгиец, бежавший из немецкого лагеря для военнопленных,— находит сочувствие и самоотверженную помощь у незнакомой немки, работницы, которая из любви к подлинной Германии ненавидит Германию гитлеровскую и не согласна защищать ее интересы.

Рассказы сборника—как и все подлинное искусство нашего века — проникнуты чувством боли за человека, изуродованного буржуазными отношениями. Это могут быть рассказы сатирические: «Танкер» Виллема Элсхота, например, герой которого, пароходный маклер, бесстыдно восклицает: «Да здравствует война!», ибо ему война сулит гигантские прибыли. Или «Любители конины» Варда Рейслинка, издевающегося над мещанами-нуворишами. Это могут быть фантастические новеллы — «Кротон» Йоса Ванделоо и «Я убил Альфреда Хивенрока» Жана Рея, где материализуются пороки, рожденные в душе человека собственничеством, погоней за деньгами. Порожденное человеком чудовище жестоко мстит ему самому. Это кафкианская история «Шутки» того же Йоса Ванделоо, где человека перемалывает судебная машина, не желающая ничего знать об истине. Это, наконец, рассказы на самую традиционную тему европейской литературы последних десятилетий — рассказы о «маленьком человеке» с его тщетной жаждой понимания, близости. Эти рассказы — о невозможности подлинных отношений в мире, где господствует отчуждение.

Глубоко гуманистичны рассказы «Мой друг убийца» Марникса Гейсна и «Будьте добры, скажите, который час?» Йоса Ванделоо. Герой Гейсна бельгийский консул в маленьком городишке США. Случайно он наталкивается на дело своего земляка, несправедливо осужденного на пожизненное заключение в американской тюрьме. Проникнувшись к нему сочувствием, он тщетно добивается от семьи разбитого параличом заключенного, чтоб она запросила о его помиловании. Дочери несчастного парии и их мужья не намерены кормить инвалида, они предпочитают, чтоб калека подох в тюрьме.

Герой Ванделоо, мелкий банковский клерк, коим нет числа в европейской литературе, также случайно знакомится по дороге на работу с одинокой старой женщиной. Стоя в дверях своего дома, она спрашивает прохожего, который час, и обменивается с ним несколькими, на первый взгляд ничего не значащими фразами. И вот чиновник-рассказчик начинает, сам не зная почему, искать этих ежеутренних встреч, ибо они в его размеренной, механической жизни — единственный подлинный контакт человека с человеком, контакт сердечный, бескорыстный. И смерть старухи оказывается невосполнимой утратой, обрекающей клерка привычной бездушной механике.

Мы еще недостаточно знаем бельгийскую литературу. Сборник стихов, сборник рассказов лишь отчасти восполняют, лишь слегка окрашивают для нас это белое пятно на карте европейской литературы, тем более следует приветствовать появление таких книг. Хорошо также, что сборник предварен предисловием, помогающим читателю понять, какое место тот или иной рассказ занимает в творчестве данного писателя и в общей панораме бельгийской литературы наших дней.

Л. ЗОНИНА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЭПОСУ

Jerzy Putrament. Puste oczy. Wydawnictwo Poznánskie, 1967.

Новый сборник Ежи Путрамента открывается рассказом «Пустые глаза». Это интересное произведение, ранее публиковавшееся в «Трибуне литерацкой», известно и советским читателям в превосходном переводе Ю. Мирской («Знамя» № 1, 1967). В «Пустых глазах», как и в рассказе «Истоки Болдына», Путрамент доказывает, что сохранил хорошую форму баталиста, приобретенную еще во время работы над военной эпопеей — романом «Сентябрь». И боевую партийную непримиримость, в чем особенно убеждает завершающая сборник новелла «Ultima Thule», которая недвусмысленно говорит о том, что в классовой борьбе не бывает передышки. А

закрыв сборник, мы невольно возвращаемся к его названию, по-настоящему раскрывающемуся для нас с последней прочитанной строкой.

Пустые, ненавидящие глаза врага... Глаза Гитлера и его подручных, разглядывающих карту прорванного русскими Сталинградского фронта, карателей, выслеживающих партизанский отряд Болдына, глаза Августина, бывшего полковника Армии Крайовой, который буквально гипнотизирует юную Барбару, вербуя ее в антисоциалистическое подполье. Умудренные опытом давних и недавних событий, мы дополняем мысленно этот ряд новыми воплощениями пустоглазого врага: неонацистом, беснующимся на реваншистских сборищах, заокеанским «идеологом», разрабатывающим рецепты «либерализации» и «тихой контрреволюции» для ренегатов, которые из укрытия подстрекают незрелую молодежь против народовластия. И с новой силой убеждаемся, что умение быть бдительным, так помогавшее Болдыну на войне, необходимо и в мирное время.

Читателя этого сборника ждет стремительная смена впечатлений. Из салон-вагона фюрера, который тщетно призывает на помощь свою интуицию накануне сталинградского краха, он переносится в стан польских патриотов—героев трудных первых дней коммунистического Сопротивления, а затем оказывается свидетелем подрывных действий противников народного строя.

Однако при столь разнообразном содержании книга воспринимается как нечто целое, ибо составляющие ее новеллы объединяет общий главный герой — новейшая история Польши, представленная своими узловыми моментами.

Разумеется, я не хочу сказать, что история приносится в жертву художественности, жизненной достоверности персонажей рассказов. Герои Путрамента — и те, которым сохранены подлинные имена, и «раздокументированные», и вымышленные — отнюдь не являются лишь опознавательными знаками времени. Помнится, вскоре после газетной публикации «Пустых глаз» Януш Вильгельми писал на страницах «Трибуны люду», что созданный Путраментом портрет Гитлера единственный в польской беллетристике, в который можно поверить.

На мой взгляд, принципиально по-новому изображен и генерал-губернатор Франк. Во всяком случае, по сравнению с его, казалось бы, наиболее достоверным в европейской литературе портретом, запечатленным в романе «Капут» Курцио Малапарте, который, будучи опальным журналистом, отправленным Муссолини на Восточный фронт ради «исправления», посещал резиденцию Франка в Кракове и беседовал с ним.

Оба писателя, польский и итальянский, выступают как разоблачители. Но если Малапарте прежде всего обнажает в «некоронованном короле Польши» пошляка и выскочку, претендующего на интеллектуальность и аристократизм, то у Путрамента он куда отвратительней и страшнее в своей будничной деловитости обер-палача польского народа. (Великолепно решена сцена на вокзале в Жешуве, где Франк жалуется фюреру на берлинских бюрократов, которые, с одной стороны, не разрешают ему воспользоваться частью «изъятого» у евреев имущества для «привлечения» сторонников из местного населения, а с другой — затягивают решение вопроса об «эффективных мерах воспитания», то есть публичных массовых казнях.)

И вместе с тем этот творец «административного чуда», как именовала геббельсовская пропаганда генерал-губернаторство, жалок и напуган растущим антифашистским Сопротивлением. Автор удачно использует его невольное признание о возникающем в Польше новом, партизанском фронте, сделанное на фоне тревожных вестей, которые поступают в гитлеровский штаб из-под Сталинграда, чтобы создать в рассказе ощущение наступательного порыва двух братских народов, внести отчетливую эпическую интонацию.

Нет такой интонации в репортаже Малапарте с торжественного обеда у генерал-губернатора. Там примечательно другое — горькая ирония над позицией абстрактного гуманиста, способного разве только на то, чтобы в душе быть заодно с польским гусем, поданным к столу.

Автор «Пустых глаз» в годы войны был со своим народом, служил ему пером и пламенным словом политработника возрожденного Войска Польского, которое вместе с Советской Армией сражалось на белорусской земле, в Польше, Чехословакии, штурмовало Берлин. Его представляет на страницах сборника Болдын. Существует ли более активная гуманистическая позиция, чем та, которую занимает воин-коммунист?

В свое время Арнольд Цвейг причислил Путрамента-романиста, автора «Сентября», к выдающимся эпикам. Надо сказать, что эпичность присуща и лучшим его рассказам. Одна из первых новелл писателя, созданная еще до «Сентября», называлась программно — «Начало эпоса». Она повествовала о становлении героического характера бойца Сопротивления. Новая книга явно знаменует возвращение Путрамента к этой большой эпической теме, одной из ведущих в современной польской литературе. В рассказе «Пустые глаза» она намечается как бы только интонационно, еще не персонифицированная. «Истоки Болдына» — ее дальнейшее развитие. Самое прямое отношение к ней имеет и рассказ «Ultima Thule», поскольку в нем показаны те же темные силы, которые и в период гитлеровской оккупации наносили удары в спину партизанам-коммунистам.

Сборник «Пустые глаза» полон глубоких раздумий литератора-политика и историка о судьбах родины. Писатель обращается к истории, чтобы напомнить уроки прошлого. Рассказать о патриотах-коммунистах, которые подымали народ на массовую вооруженную борьбу против гитлеровских оккупантов. И одновременно, верный исторической правде, он говорит о сложностях того периода. Есть в рассказе «Пустые глаза» упоминание о людях, которым лишь

невозможность договориться о формах сотрудничества с гитлеровцами мешала стать коллаборационистами. И поэтому они, в конечном счете, стали ориентироваться на Лондон.

После освобождения Польши подобная «ориентация» зачастую оборачивалась организацией террористических и диверсионных актов по указу из-за рубежа. Впрочем, такого рода логическое завершение прозападных симпатий далеко не анахронично...

Благодаря острой политической направленности авторский экскурс в историю, хоть и не столь отдаленную, приобретает весьма актуальное звучание. Книга Путрамента, показывающего врага в его различных ипостасях и раскрывающая механику одного из звеньев антисоциалистического заговора, напоминает и предостерегает.

М. ИГНАТОВ

АЙАЙИ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ НИЩИМ

A. Tutuola. Ajaiyi and His Inherited Poverty. London, Faber and Faber, 1967.

«Айайи — потомственный бедняк»— роман Амоса Тутуолы, одного из зачинателей новой африканской литературы. Книги его были первыми ласточками того подъема литературы, который начался в 50-е годы, когда бурно перекраивалась карта Африки и новые независимые государства занимали место бывших колоний.

Большинство соотечественников Тутуолы — англоязычных нигерийских писателей — получили высшее образование в Европе или в Ибадане. А бедняку из Абеокуты не удалось закончить даже школы. Вернувшись из армии, кузнец Тутуола выслужил всего лишь место посыльного. И принял его: ведь надо же было как-то существовать. Но главным смыслом жизни стало иное.

В 1952 году вышла в свет и была переведена на многие языки небольшая книжица «Любитель пальмового вина» — о храбром пьянчужке, который исколесил все джунгли и прямо с того света вернул слугу, добывшего для него драгоценную влагу. За первой повестью последовала вторая — о приключениях мальчика-сироты в лесу злых духов (воплощение мира зла), затем — о Симби, девушке, презревшей богатство и решившейся испытать страдания, чтобы найти проданных в рабство подруг, об африканском сухопутном Синдбаде, искателе приключений, и о смелой амазонке-охотнице.

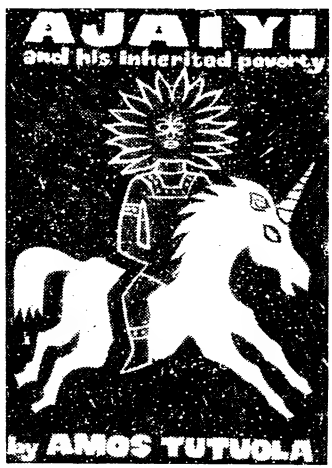
Книги Тутуолы принадлежат к одному жанру: это авантюрные романы, где эпизоды-новеллы нижутся одна за другой, их объединяет герой — гонимый страстью, любопытством, а чаще всего бедой, он скитается по свету в поисках своей доли. Это удивительные книги, написанные удивительным языком. Английской критике показалось, что в них Ветхий завет сочетается с арабскими сказками, с подвигами Геракла и с похождениями барона Мюнхгаузена. Но повести эти не похожи ни на что, они вышли из глубин народной жизни, и создать их мог только африканский писатель.

Вместе с героем мы попадаем в мир нигерийских преданий, в мир духов и ведовства, древних поверий и легенд. Здесь происходят настоящие чудеса: голый катящийся череп одалживает руки, ноги и туловище, чтобы обольщать сельских красавиц; железные болванки выкрикивают проклятья, а стены дворцов состоят из поющих птиц; орел может бросить героя в дупло, пернатая ведьма — превратить в глиняного идола. И куда бы он ни шел, повсюду — джунгли темные, страшные, где опасности подстерегают на каждом шагу. И сам герой тоже сказочный: красивый, храбрый, удачливый, простоватый, но с хитринкой; он всегда готов оказать бескорыстную помощь и совершает подвиги, не считая их за подвиги.

Книги Тутуолы оказались такими неожиданными, что вначале критика не знала, как их оценить. Декадентствующие европейские литераторы немедленно стали выискивать в них синдром фрейдизма и попытались запихнуть Тутуолу на полку ультрамодернистов. А некоторые молодые африканские писатели сгоряча восприняли его сказочные циклы как уход от современности.

Однако устное народное творчество — легенды, сказки, песни, веками передававшиеся от отца к сыну,— то есть основная культурная традиция Африки, и была той национальной почвой, на которой выросло творчество Тутуолы.

Для него, лишенного высшего образования и не знавшего влияния европейских литератур, и не могло быть иного источника, кроме знакомых с детства образов. В привычную форму он свободно переливает и



сегодняшнее, перечувствованное им самим. Вот почему рядом с великанами и чудовищами соседствует современная техника, а бытовое естественно уживается с чудесным. И английский язык он перекраивает по грамматическим канонам родного йоруба, и это придает его произведениям особый, неповторимый аромат.

Волшебный мир его говорящих вещей, духов и богов вовсе не отделен стеной от повседневной жизни. Он тут же, за углом, и герой попадает туда легко, с порога своей хижины. Прямо из родной деревни можно выйти на дорогу Смерти, если тебя продали в рабство; и проникнуть в царство мертвых, когда надо спасти друга; и совершить чудеса храбрости, если не хочешь сдаться силам зла. Сказочный мир Тутуолы ничуть не потусторонний: это Африка, какой она еще во многом осталась — ее быт и племенной уклад, ее деспоты-вожди и колдуны-обманщики, ее города с их обычаями и непроходимые джунгли.

И облик героя соответствует народным представлениям о красоте и благородстве. Вольно и весело фантазируя, писатель ведет рассказ о необыкновенных приключениях и путешествиях, о битвах с чудовищами и радостном возвращении, о торжестве правды, мужества. Только добро и зло в книгах сказочника принимают условный, философски обобщенный характер.

Последняя книга Амоса Тутуолы, «Айайи — потомственный бедняк», также построена по традиционному для него плану, однако она несколько отличается от остальных. Точность деталей быта, какая-то непосредственная данность всегда отличали его романы и как бы вынимали их из сказки. Здесь элемент бытовой явно преобладает и гораздо сильнее, чем в других книгах, подчеркнуты мотивы социальные.

Айайи — потомственный бедняк, получивший в наследство лишь нищету да горб на спине от непосильной работы. Злая нужда выгоняет его из дому: надо расплачиваться с долгами за похороны родителей. А у Айайи — только руки и желание работать. Но вначале ему и работать на себя не удается: их с сестрой обманом продают в рабство. Так начинаются уже знакомые нам по остальным романам скитания... Но в этой книге все оказывается иным. В авантюрный роман, да еще сказочный, вливается новое содержание. И каждая глава — не просто отдельная легенда, которую легко вынуть и заменить другой, а звено в цепи, объединенной единой мыслью. Может ли бедняк найти место под солнцем, может ли он остаться честным человеком и не быть раздавленным нищетой?

Айайи — не завоеватель, не искатель приключений, как герой «Пернатой ведьмы», он не наивный ребенок, брошенный в море житейское, как Симби или мальчик из «Леса злых духов», он — труженик, желающий лишь пожинать плоды рук своих. Но именно это ему и не удается. Ни древние духи Огня и Воды, ни боги языческие и христианский, ни Дьявол, ни цари, ни колдуны — никто не хочет ему помочь. Все только запугивают Айайи, стараются завладеть им, обмануть, уничтожить, сломить, обратить в рабство. Его мытарства — своего рода годы учения, когда автор сталкивает его с различными людьми и общественными институтами, чтобы снова и снова убедить героя, что нет ему избавления.

Как ни старается Айайи сладить с бедностью, все остается по-прежнему. Зато начинает меняться он сам. Эта черта — мужание в жизненной борьбе — присуща и остальным героям Тутуолы, но ни в ком она не проявилась так отчетливо. Вначале Айайи покорен и трудолюбив, но он неопытен и доверчив. Однако по мере того, как накапливается горький опыт, появляются новые черты: мужество, внутренняя сила и решимость бороться. Его уже не несет, как щепку, по течению. Он старается осмыслить все, что с ним происходит. Так он замечает несправедливость царей, алчность жрецов, злобу завистников и равнодушие бога.

Душевную зрелость Айайи Тутуола передает своеобразным приемом: он вводит в текст пословицы, поговорки, изречения. И за этой наивной формой народной мудрости ощущается глубина обобщений.

Айайи на протяжении всей книги сохраняет свойственное ему благородство. Он остается добрым сыном, преданным другом и братом, верным слугой и честным человеком. Но терпению его приходит конец. Этот своеобразный роман воспитания заканчивается бунтом героя, когда Айайи силой отнимает деньги у обобравшего его колдуна. И Тутуола, логически подведший его к этому решению, одобряет его, хотя в самом конце и заставляет Айайи строить храмы и молиться богу; однако в общем контексте книги (особенно если вспомнить, с какой едкой усмешкой изображен христианский бог, казуист и бюрократ, буквально пославший бедняка к дьяволу) эта концовка воспринимается как чисто условный привесок. Мораль книги уж скорее в том, что долготерпеньем делу не поможешь.

Судьба Айайи производит сильное впечатление еще и потому, что вся книга ближе к философской повести, хотя в ней многое остается и от сказки. Но то, что в других романах воспринималось буквально, как сказочное событие, здесь часто звучит символически. Кроме того, здесь куда более подробно описан реальный быт деревни, жертвоприношения, похороны, праздники. Сказочных чудовищ здесь немного, а ведовство и волхование также даны в плане бытовом: колдунья для пропитания плетет корзины и торгует дохлыми крысами, колдун и прислужник дьявола тоже порой бедствуют и, чтобы продержаться, должны обманывать легковерных.

Трудно предсказать, каким путем будет дальше развиваться талант Тутуолы. Эта последняя книга, возможно, говорит о том, что писатель исчерпал чисто сказочные сюжеты и в философской повести ищет новую форму, тот самый синтез народных традиций с современным содержанием, к которо-

му стремятся сегодня многие крупнейшие художники Африки.

С. МАЙЗЕЛЬС

АНТОЛОГИЯ ЭКСПРЕССИОНИСТСКОЙ ДРАМЫ

Expressionismus Dramen. I—II. Berlin und Weimar. Aufbau-Verlag. 1967.

Сейчас уже позади пространные и резкие споры, в которых экспрессионизм незаслуженно возвеличивался и столь же незаслуженно ниспровергался. Стало ясно, что экспрессионизм не совершил ни перестройки человека и мира, ни даже революции в искусстве, хотя и то и другое было написано на его знаменах; но ясно также стало и то, что существование экспрессионизма не прошло для искусства бесследно и что это преувеличенное и экзальтированное мироощущение по-своему отразило какие-то очень характерные черты духовного самосознания нашего века.

Двухтомная антология «Экспрессионистская драма», вышедшая в ГДР (составитель Клаус Кендлер), заставляет еще раз — на примере драматического жанра — осознать судьбу этого течения в литературе и в искусстве вообще.

Оно родилось в начале века, в преддверии первой мировой войны, Ноябрьской революции в Германии, Великой Октябрьской социалистической революции в России — родилось как острое предчувствие близких потрясений. Поначалу экспрессионистская «революция в искусстве» — по крайней мере в ее теоретических обоснованиях — выглядела достаточно «бескровно», даже академично. Началась она на поле живописи и даже, строго говоря, не в самой Германии, а во Франции—с появлением «фовистов»,— но распространилась и на литературу, прежде всего на лирику и драму. Ее идеологи, полемизируя с дотошной утонченностью и многотонностью импрессионистского и символистского искусства, отрицали его «субъективный произвол» и выдвигали взамен принцип «обнажения сущности». Все вращалось поначалу вокруг вопроса о смене художественных форм.

Немецкому экспрессионизму принадлежит заслуга и честь «очеловечения», одушевления открыто гуманным и социальным импульсом этого художественного движения. Он очень скоро вышел за пределы внутриэстетической полемики — особенно в левом своем течении, в творчестве поэтов, писателей и художников группы «Акцион» — и обнажил свою глубокую общественную подоплеку: тревогу за судьбу человека, индивида в мире империалистической машинерии. Он и самому экспрессионистскому фетишу «сущности» сразу придал гуманные черты: он объявил сутью и мерой всех вещей Человека.

Сегодня от снисходительной улыбки по отношению к преувеличенной выспренности и риторичности многих экспрессионистских драм удерживает прежде всего эта страстная и трогательная вера в высокое предназначение человека, в то, что люди должны быть друг другу не волками, а братьями, что эта братская любовь способна сдвигать горы.

Открывающая антологию драма Эрнста Барлаха «Мертвый день», предвосхищая эту концепцию, объявляет человека родным сыном бога, прямым наследником высшей духовной субстанции — только вот жизненная повседневность обвила его бездуховным своим уютом, клейким веществом плоти: мать, символизирующая собой эту цепкую силу земного притяжения, как тигрица, обороняет своего детеныша от притязаний высшей духовной силы, и он вынужден выбрать смерть как единственный выход.

В драме Барлаха — самой ранней в сборнике — отчетливо звучит мотив, который станет одним из центральных во всей экспрессионистской драматургии: первой ступенью на пути человека к своему высокому предназначению должен быть бесповоротный разрыв с повседневностью бытия, с незыблемостью привычки, традиции, будничной стихии. На этой точке возникает характерное для раннего экспрессионизма отождествление ненавистного ему старого, традиционного мира с семейным укладом, с миром родителей. Герои первых экспрессионистских драм вымещают свою космическую ярость на наиболее близких к ним авторитетах — убивают отцов, отравляют матерей (драма Газенклевера «Сын», драма Зорге «Нищий»); жажда духовной свободы, возвышенное стремление к идеалу, бурные панегирики всеобщему братству и любви спокойно уживаются у героев Газенклевера и Зорге с бездумной жестокостью и ницшеанским аморализмом, и тут самое время

EXPRESSIONISMUS DRAMEN I

вспомнить о том, что нашумевшие эти драмы создавались очень молодыми людьми. Они *незрелы* в самом прямом значении этого слова.

Лишь трагический опыт первых лет мировой войны дал для клокочущей ярости экспрессионистов более конкретную и более достойную точку приложения сил. Начиная с драмы Кайзера «С утра до полуночи», появившейся в 1916 году, экспрессионизм приобретает более отчетливо выраженный антибуржуазный характер, бурные юношеские вариации на тему «отцов и детей» совсем исчезают из его репертуара. «Антигона» Газенклевера — чуть завуалированное античным сюжетом обличение мировой империалистической бойни; «Преображение» Толлера — еще один тому пример.

Экспрессионисты пошли и дальше: они попытались осмыслить революционный опыт современности. Драма Кайзера «Газ», драма Рубинера «Без насилия» прямо касаются основного социального конфликта эпохи — борьбы пролетариата с империалистической буржуазией.

Но экспрессионизм с самого начала подтачивался изнутри роковым изъяном — принципиальной, завещанной ему его идеологами абстрактностью метода. Экспрессионистское «обнажение сущности» предполагало в качестве основной предпосылки бесповоротное отсечение всего индивидуально- и социально-конкретного в искусстве. Весь прошлый опыт искусства отметался как копание в мелочах, в частностях, затемняющих суть явлений. Вместо этого выдвигался принцип общего закона, поданного в виде конечной формулы — выведение этой формулы объявлялось излишним.

Но недоказанная формула не обязательно должна быть верной, обобщение, подсказанное интуицией, не всегда поднимается до ранга объективного закона. Между тем именно такие обобщения-озарения стали методом, формой и сутью экспрессионистского искусства и подавались как конечные, незыблемые истины. В результате они даже в творчестве одного и того же художника могли вступать друг с другом в разительные противоречия. Мы уже приводили в пример ранние драмы Газенклевера и Зорге. Можно вспомнить здесь и о том, что анархическая антибуржуазность некоторых экспрессионистов впоследствии легко обернулась апологией фашизма (Бенн, Йост). Но даже у наиболее революционно настроенных экспрессионистов вдохновенный лозунг «Все люди — братья» то и дело перекрещивается с паническим страхом перед массой, с мотивом мессианства, не понятого толпой (у Газенклевера в «Антигоне», у Кайзера в «Газе»); идея революционной перестройки мира разбивается о принципиальное отрицание любого насилия (у Рубинера в драме «Без насилия»).

Сейчас трудно воспринимать всерьез те пассажи в драме Рубинера «Без насилия», где закованный в цепи герой одной силой вдохновенного слова обращает в свою веру начальника тюрьмы и надзирателей — по очереди,— а потом в буквальном смысле по воздуху выходит из камеры на свободу. Точно так же в «Антигоне» Газенклевера «исправляется» деспот Креон, в «Газе» Кайзера уходят «в народ» сын и дочь миллиардера. Серьезнейшие индивидуальные и коллективные решения совершаются легко и мгновенно по доброй воле автора. Экспрессионизм — это царство доброго волшебника, но царство непрочное, нереальное, и в понимании этого — одно из самых весомых искуплений для наивных конструкций экспрессионистских драм: поиграв в богов, их авторы не утешают зрителей счастливой развязкой; конечные поражения их героев вносят на сцену дыхание подлинной, пусть так до конца и не понятой, исторической трагедии и делают их драмы знамением времени и обвинением ему.

Рушатся карточные домики умозрительных построений; бледнеют в сознании читателя и зрителя безликие титаны и пророки экспрессионистских драм — не живые люди, а схемы, символы, «сущности»; но в лучших вещах остается этот ветер трагедии, остается упрямая, «назло» вера в высокое человеческое предназначение: остаются чеканные лозунги добра и справедливости, предельная страстность эмоций, жестов, поз — остается все-таки *театр*, действо, драма.

Экспрессионисты не скрывали откровенной агитационности и декламационности своего театра — они на нее-то и делали свою главную ставку, и тут они не ошиблись: многие их драмы часто скучно читать «про себя», но если попытаться увидеть их и услышать, то можно себе представить, что это и сейчас тебя захватит; пусть это будет та самая ненадежная реакция чувства, против которой так упорно воевал потом Брехт, но она все еще не умерла в зрительных залах. Ее, правда, давно уже не питают драмы экспрессионистов; но театр лозунга, массовых сцен, громкого слова, экспрессивного жеста — существует сегодня. Устарев в большинстве своих образцов — по материалу, по конкретному содержанию,— экспрессионизм оставил для последующих поколений какое-то особое эмоциональное измерение в искусстве — высоту тона, что ли, ключ, код.

В пределах небольшой рецензии невозможно отразить всю сложность такого явления, как экспрессионистский театр. Эти заметки во многом — лишь цепь рефлексий, вызванных девятью отобранными для антологии драмами. И тут нельзя хотя бы вкратце не коснуться принципа, положенного в основу этого отбора. Составитель, судя по всему, руководствовался не столько художественной значимостью драм, сколько соображениями несколько схематично понятой историчности; он отбирал, в первую очередь, то, что было новым и сенсационным для своего времени,— нашумевших первенцев, драмы, наиболее последовательно воплощавшие экспрессионистские каноны и догмы. В этом принципе есть немалые достоинства, но и невосполнимые утраты.

Антология впечатляет как художественная иллюстрация к теории экспрессионизма (впрочем, и здесь есть упущения — явно не хватает ранних драм Ганса Генни Яна с их противопоставлением естественной природы человека условностям его общественного бытия). Но, хотя экспрессионизм в массе своей и в самом деле грешил унифицированностью приемов и средств, все-таки в антологии даже самые талантливые из экспрессионистов оказались уж слишком все на одно лицо. Творчество Кайзера выглядело бы значительно глубже и рельефней с драмами «Коралл» и «Газ II» (невозможность поместить его «Граждан из Кале» специально оговорена составителем), Эрнст Барлах мог бы быть представлен не первой его драмой «Мертвый день», а гораздо более значительными «Бедным кузеном», «Настоящими Сегемундами».

С другой стороны, драма Зорге «Нищий», демонстрируя все слабости «ортодоксального» раннего экспрессионизма, не вносит принципиально ничего нового в его идейную проблематику; за «Нищего» Зорге мог бы спокойно свидетельствовать один «Сын» Газенклевера. Столь же малообязательно было и включение в антологию драмы «Это ты» Фридриха Вольфа — драматурга, сыгравшего свою роль не в обогащении художественной практики экспрессионизма, а, напротив, в развитии немецкой революционно-пролетарской драмы. При таком подборе экспрессионистская драма, не утратив ничего из своего идейно-философского багажа, предстала бы более цельным — как говорят немцы, более «профилированным» — явлением.

А. КАРЕЛЬСКИЙ

НАШИ ГОСТИ

«ПРОТИВ ТИРАНИИ ЖИЗНИ»

В книгах Уильяма Стайрона есть черта, которая выделяет их на фоне современной американской литературы. Он — один из весьма немногочисленных литераторов, о которых можно с уверенностью сказать, что они никому не подражают, не стремятся всячески продемонстрировать читателю, что им ведомы все секреты ремесла, но пишут для того, чтобы высказать свое понимание проблем американской жизни. Так был написан первый роман двадцатишестилетнего писателя «Сникаю во мраке» (1951) — история дегенерации людей в отравленной атмосфере Америки первых послевоенных лет. Так было и с книгой «Сожги ту обитель» (1960), выразившей глубокий кризис американского духа в эпоху «молчаливого поколения» 50-х годов. Так было и с последним романом Стайрона «Признания Ната Тернера» (1967), вызвавшим острую полемику.

Повесть Стайрона «Долгий марш», опубликованная «Иностранной литературой» полтора года назад, представила нам писателя, остросприимчивого к жестокой и откровенной правде жизни. Достаточно прочитать первые же строки «Долгого марша» про то, как «однажды в полдень, в разгар безоблачного лета в Каролине, по сухому игольнику, по листьям плюща и веткам сосен разметаны были останки восьми молодых солдат»,— чтобы ощущение пронзительного трагизма и выстраданной человечности уже не покидало читателя до последней страницы этой книги.

Стайрон впервые приехал в нашу страну. Он побывал в Ташкенте, на Международном симпозиуме писателей стран Азии и Африки. Поездкой он очень доволен, в ближайших планах — большая статья обо всем, что он у нас увидел. Роуз Стайрон, супруга нашего гостя, давно интересуется русской поэзией, переводит. В Америке нашу поэзию знают еще плохо, лучшему знакомству должна помочь антология «Поэты на перекрестках», которую Роуз Стайрон надеется опубликовать в начале 1969 года; в ней будут представлены поэты разных поколений — от Марины Цветаевой до Андрея Вознесенского.

Мы, разумеется, хотим узнать мнение крупного писателя о литературе, которую он представляет. Когда мы спрашиваем Стайрона, что он думает о том или ином своем собрате по перу, об американской литературе в целом, он предпочитает отшучиваться; однако наша настойчивость вознаграждена:

— Я бы никогда не решился высказываться на такие темы у себя на родине,— говорит Стайрон,— но раз уж мы в СССР, так и быть, рискну. Мне кажется, что американская литература переживает сейчас полосу подъема; заметьте, я говорю о литературе, а не о том чтиве, которым у нас по-прежнему завалены книжные прилавки. Вы спрашиваете, чем можно объяснить этот подъем? Видите ли, кажется, что ситуация в Америке в целом ныне внушает больше оптимизма, чем в конце 50-х годов, когда я писал «Сожги ту обитель». То были годы печально известной эры Эйзенхауэра, когда нами овладел дух безразличия, когда казалось, что интеллектуальная жизнь кончилась в Америке навсегда. А сейчас, несмотря на Вьетнам, несмотря на негритянский конфликт, эту, по-моему, центральную проблему нашей жизни, мы все-таки подаем гораздо больше надежд, чем прежде. Разумеется, то, что у нас делается,— ужасно. Но на смену безразличию теперь пришел дух протеста, и это позволяет смотреть на вещи не так мрачно.

Мы спрашиваем Стайрона, как выразился этот новый, характерный гражданской активностью этап в книгах современных американских писателей, где пролегает сегодня, так сказать, «основная сфера бунта» — в жизни и в литературе.

— Разумеется, я не критик и могу высказать только сугубо личное мнение,— отвечает наш гость.— Не берусь определять, какие направления в американском романе сейчас наиболее значительны. Очень активна, например, школа «черного юмора», она насчитывает десятки писателей, но я бы не сказал, чтобы она создала действительно значительную литературу. Да и крупных писателей, за исключением Джозефа Хеллера, автора прекрасного романа «Уловка 22», «черные юмористы» тоже не выдвинули. Они все время повторяют друг друга.

Что касается сферы бунта, то и здесь могу поделиться лишь собственными моими наблюдениями. Мне кажется, что этот бунт всеобъемлющ. Именно ему обязана современная литература основной своей чертой, которую я усматриваю в том, что еще со времен Кафки она изображала и изображает человека как бунтаря, мятежника, недовольного. И это бунт против тирании самой жизни, бунт против организации жизни в «цивилизованном» обществе, организации, которую люди сами выработали и от которой страдают. Я говорю это не потому лишь, что таково мое ощущение, но и потому, что я могу привести несколько конкретных примеров из новейшей американской литературы. Возьмите Сэлинджера; разве Холден Колфилд не классический бунтарь против самой жизни, посягающей на его индивидуальность? Или герой книги Ральфа Эллисона «Невидимка», одной из самых значительных послевоенных книг,— его анонимный персонаж-негр тоже живет в состоянии бунта. Эта же тема преобладает у Сола Беллоу — правда, по таланту я не сравнил бы его ни с Сэлинджером, ни с Эллисоном, но здесь сказываются уже личные пристрастия. Даже у Джона Чивера, как будто далекого от подобных настроений, всюду слышится крик отчаяния человека, бессильного бороться с дегуманизацией, на которую его обрекает общество. Если мне будет позволено привести пример из собственного творчества, все, что я написал, в той или иной форме, связано с той же самой темой бунта против тирании жизни. Я понял это, когда закончил «Ната Тернера».

«Тирания жизни» — понятие многозначное; оно вбирает в себя у Стайрона и отчуждение личности в бездушном мире, и трагедию поисков смысла существования в эпоху американского безвременья, и отчаяние человека, носителя неисчерпаемых возможностей человеческого духа, которые он — не по своей воле — не в силах реализовать.

Иногда в книгах Стайрона можно обнаружить нечто созвучное построениям экзистенциалистов; но происходит это не потому, что Стайрона влечет предлагаемая экзистенциализмом концепция истории и человека, а только потому, что его книги, пользуясь выражением Юрия Тынянова, принадлежат к явлениям «литературы на глубине», затрагивающей трагические аспекты современной действительности Запада.

Мы спрашиваем Стайрона, как возник у него замысел написать книгу о Нате.

— Я собирался сесть за этот роман еще в 1951 году, сразу же после выхода первой моей книги «Сникаю во мраке». Попробовал — и ничего не вышло. Писатели моего поколения — Норман Мейлер, Джеймс Джонс, например,— прошли войну, увидели жизнь в настоящем свете, этого опыта нам было не занимать. Я сам попал на войну, едва мне исполнилось восемнадцать. Но у меня тогда еще не сформировалось свое восприятие мира, свое понимание того, что с нами происходит — в Америке, да и не только. И я писал другие книги, но мне все время хотелось вернуться к Нату, ну хотя бы потому, что я происхожу из его краев и много слышал о нем с самого детства. Я не верю, что исторический роман может иметь ценность, если в нем не заключен какой-то важный комментарий к современной жизни — прежде всего к ее морали. И я знал, что восстание Ната Тернера — история как раз того рода, что имеет самое прямое отношение к нынешней ситуации в США. Поэтому я должен был написать эту книгу. И вот, в один жаркий день летом 1962 года я сказал себе: «Послушай, садись за машинку, иначе ты этого не напишешь никогда».

Помолчав, Стайрон добавляет:

— Я очень высоко ценю книги Бернарда Маламуда. Но его последний роман «Мастеровой» — там, где он рассказывает историю рабочего-еврея в дореволюционном Киеве,— мне не понравился. Я не верю в героя-жертву от начала до конца. Что ни говорите о моем Нате, одного отрицать нельзя: он действует, борется.

И немного спустя, снова:

— Если «Ната» будут читать в будущем, мне хотелось бы, чтобы в нем прочли не историю рабства, а историю борьбы человека за свободу.

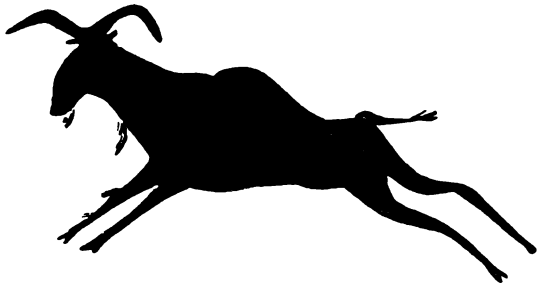
Мы знакомим Стайрона с нашим журналом, называем имена американских писателей, чьи произведения в последнее время печатались на страницах «Иностранной литературы»: Бел Кауфман, Лорейн Хэнсберри, Артур Миллер, Хемингуэй, Фолкнер. При имени Фолкнера наш гость оживляется; он считает, что нужно печатать в первую очередь Фолкнера, Фолкнера и еще раз Фолкнера. Это объяснимо: ведь Стайрон южанин. К Хемингуэю он относится гораздо более сдержанно, находит его в чем-то даже рафинированным.

— Воздействие Хемингуэя на американскую литературу было слишком интенсивным. Все теперь пишут, как Хемингуэй. Вы знаете, даже Фолкнер был под его влиянием,— улыбается Стайрон.— Да, да, не удивляйтесь. Редактор Фолкнера однажды мне рассказывал, что, читая в рукописи одну фолкнеровскую повесть, он обратил внимание на довольно непривычный для Фолкнера оборот: «Привет, старик!» Сначала он не придал этому значения, но страницы через две эта фраза попалась ему опять, потом снова: «Привет, старик!» Когда он увиделся с Фолкнером и указал ему на всех этих «стариков», писатель пожал плечами и сказал: «Чему вы удивляетесь? Я ведь как раз в это время читал «По ком звонит колокол»!»

Стайрону нравятся писатели, стремящиеся прорваться к «сырой», не укладывающейся ни в какие схемы жизненной правде, писатели, создающие свой собственный мир, отмеченный резко проступающими чертами их личной и художественной индивидуальности: Флэннери О'Коннор, Мейлер, Эллисон, ранний Джеймс Джонс. И очень не нравятся те, кто, закрывая глаза на действительное положение дел, «твердят со страниц «Тайма», что «американская мечта» не сегодня-завтра осуществится». И тут Стайрон неожиданно упоминает Апдайка. Все, что видел Апдайк, полагает наш гость,— это университет, литературная среда, интеллектуальная элита. Правда, он молод, даровит и, быть может, в будущем создаст действительно выдающиеся произведения, но пока, говорит Стайрон, «я не нахожу в его книгах ничего, кроме умения мастерски передавать лежащие на поверхности характерные черточки жизни». С этим, наверно, согласятся далеко не все читатели «Кентавра» и «Фермы».

«Под занавес», конечно же, традиционный вопрос о ближайших творческих планах Стайрона. Зная, что он принадлежит к тому типу писателей, которые работают над книгой не один год и не любят говорить о ней, пока физически не ощутят весь каркас будущего здания и даже отдельные архитектурные детали, мы задаем этот вопрос не без осторожности. Но на этот раз Стайрон не уклоняется от ответа — быть может, потому, что американская жизнь подсказывает сегодня писателю его склада слишком много тем, чтобы они могли долго «простаивать». Так или иначе, у Стайрона уже есть замысел новой книги. Это будет роман об армии, о жизни морских пехотинцев, как говорит Стайрон, нечто вроде продолжения «Долгого марша».

А. ЗВЕРЕВ



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО *За рубежом*

В. МИРИМАНОВ

10000 ЛЕТ АФРИКАНСКОГО ИСКУССТВА

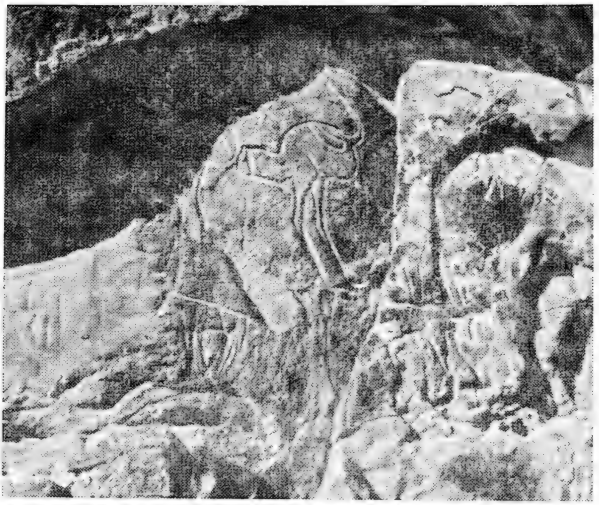
(Искусство Сахары)

Уже более шести десятилетий искусство Африки привлекает к себе внимание художников, специалистов и широкой публики во всех странах. В наши дни интерес к нему сохраняет ту же остроту, что и в момент его открытия в начале XX века.

Повсеместный интерес к культуре и искусству народов Африки, казалось, достигший своего апогея в тридцатых годах, еще более углубился в связи с бурными политическими событиями последнего десятилетия.

Свидетельством этого возрастающего интереса могут служить широко освещавшиеся в печати большие выставки африканской скульптуры, организуемые в 1964—1965 гг. в Париже, Берлине, Москве, Нью-Йорке и других городах. Благодаря периодическим выставкам и постоянным музейным экспозициям, большой научно-исследовательской работе, многочисленным популярным изданиям поверхностное увлечение африканской экзотикой уступило место серьезному и глубокому отношению к великим достижениям африканской культуры, к искусству народов Африки.

Однако до недавнего времени наши знания об африканском искусстве ограничивались почти исключительно скульптурой. Еще и теперь, говоря об искусстве Африки, чаще всего имеют в виду традиционную африканскую пластику, знаменитое искусство Ифэ и Бенина... Оно и понятно, ведь образцы этого искусства (исключая скульптуру Ифэ) имеются почти во всех крупных музеях мира, в том числе и в наших музеях. Только немногие специалисты знали о существовании в Африке других, не менее значительных и гораздо более древних памятников искусства, которых нет и не может быть ни в одном музее. Они навсегда останутся там, где были созданы, но их не могут видеть ни туристы, посещающие африканские страны, ни даже сами африканцы, на чьей земле находятся эти удивительные произведения искусства, быть может, самого древнего на земле. Их видели лишь очень немногие, так как путь к ним лежит через необозримые безводные пространства Сахары. Только специально оборудованные экспедиции могут достичь центральных районов пустыни, где находятся эти поразительные памятники искусства, открытие которых вос-



ФЕЦЦАН,
ДОЛИНА МАТЕНДУ.
Страус. Петроглиф.

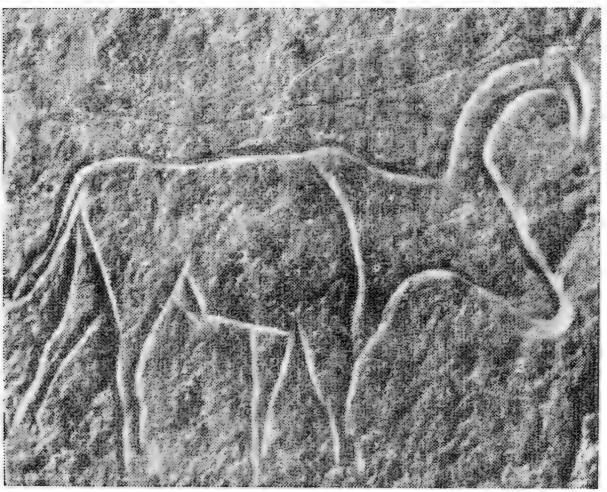
ФЕЦЦАН,
ДОЛИНА МАТЕНДУ.
Бык. Петроглиф.

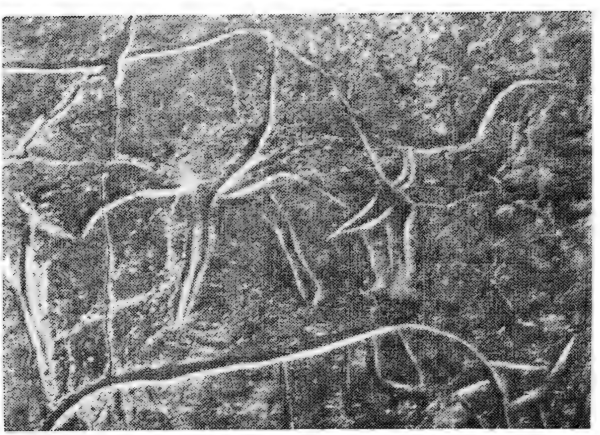
ФЕЦЦАН,
ДОЛИНА МАТЕНДУ.
Бык. Петроглиф.

кресило старую легенду об Атлантиде и породило новую... о марсианах...

Первые сообщения о наскальных изображениях Сахары были получены более 100 лет назад, но лишь недавно благодаря экспедиции французского этнографа А. Лота весь мир узнал о существовании в сердце Сахары «самого большого в мире музея доисторического искусства».

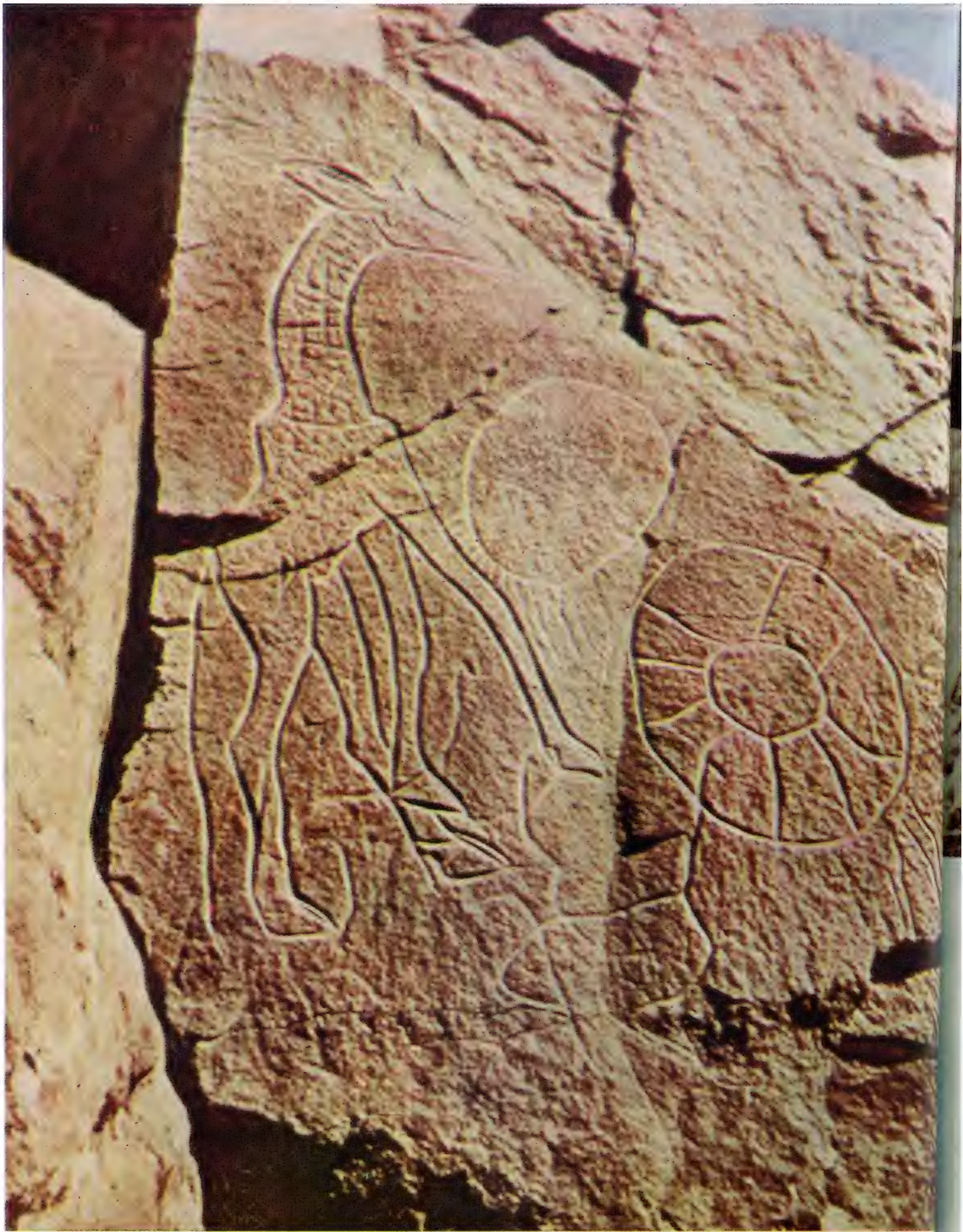
Фотографии, фильмы и цветные копии, выполненные в натуральную величину, дают представление о несметных художественных сокровищах Тассилин-Аджера (горное плато в Центральной Сахаре на территории Алжира). «Наскальная живопись Сахары, в частности фрески Тассилин-Аджера, известна сегодня как одно из самых прекрасных художественных творений, созданных когда-либо человеком»,— писал в 1963 г. журнал «Африк». Сообщения об «огромной художественной галерее под открытым небом» еще занимали видные места на страницах журналов, когда во Флоренции были опубликованы материалы новой сахарской экспедиции, организованной с помощью федерального правительства Ливии итальянским искусствоведом и археологом Паоло Грациози. Эта экспедиция провела съемку наскальных изобра-





К статье В. Мириманова
«10 000 лет африканского искусства»

ФЕЦЦАН, ДОЛИНА МАТЕНДУ. Дикая лошадь. *Петроглиф.*



ФЕЦЦАН, ДОЛИНА МАТЕНДУ. Жираф и геометрические фигуры. *Петроглиф.*

ФЕЦЦАН, ДОЛИНА МАТЕНДУ. Бык. *Петроглиф.*

ТАССИЛИН-АДЖЕР. Отдых. *Живопись.*

ТАССИЛИН-АДЖЕР. Сражение. *Живопись.*

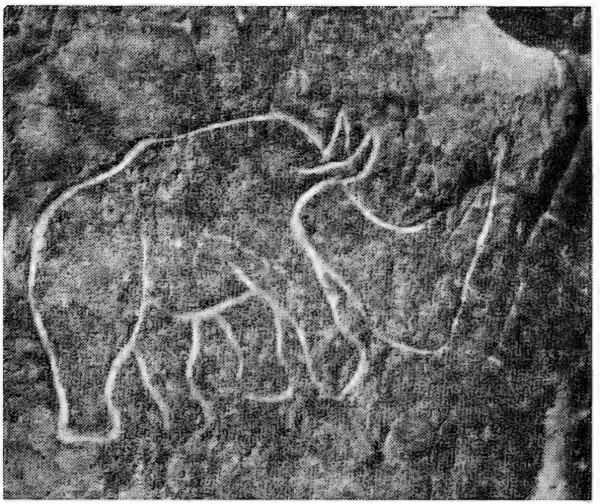
ТАССИЛИН-АДЖЕР. Две танцовщицы. *Живопись.*

ТАССИЛИН-АДЖЕР. Женская фигура. *Живопись.*

ЛИВИЯ, ФЕНЕТ. Танец. *Живопись.*

ЛИВИЯ, ЗИГЗА. Страус. *Петроглиф.*

ФЕЦЦАН. АКАКУС. Стадо быков. *Живопись.*



ФЕЦЦАН.
ДОЛИНА МАТЕНДУ.
Носорог. Петроглиф.

жений в районе эрга Мурзук (Фецан). Побывавший здесь еще в середине прошлого века знаменитый путешественник Г. Барт, описывал темно-оранжевые скалы, покрытые высеченными в камне изображениями слонов, носорогов, гиппопотамов...

Цветные фотографии, сделанные при тщательно рассчитанном освещении, позволяют теперь детально рассмотреть эти удивительные изображения. В ходе этой экспедиции в долине Матенду также было открыто еще несколько неизвестных ранее древних петроглифов.

В 1965 г. в Лувре открылась выставка, на которой были опять показаны образцы древней сахарской живописи, скопированные на этот раз в районе Эннеди, на много сотен километров к юго-востоку от Тассили и Фецана...

Полихромные фрески, изображающие сцены охоты, перегона скота, сражения, фигуры воинов, вооруженных луками и копьями, изящных танцовщиц, изображения диких и домашних животных были найдены не только в Тассили, Фецане и Эннеди, но и более чем в десяти районах Сахары.

Кем и когда были созданы эти загадочные фрески и петроглифы? Каково их назначение?

Современные берберы и туареги, кочующие со своими верблюдами по пустыне, ничего не могут сказать об этих древних рисунках. Народы, населяющие окраины пустыни, не сохранили никаких связанных с ними преданий. Раскопки у подножий расписанных скал также не дали материала, который помог бы в решении этих вопросов, а между тем в результате сведения воедино материалов, собранных в разное время многочисленными экспедициями, выявилась поразительная картина. Оказалось, что украшенные рисунками скалы покрывают огромные территории. Крупные скопления их встречаются в Африке повсюду — от Мавритании до Эфиопии и далее из Сахары через Восточную Африку, Танзанию и Мозамбик, они переходят на территорию Южной и Юго-Западной Африки, где в пещерах и гротах Драконовых гор сохранилась знаменитая живопись бушменов.

Крупнейшие ансамбли наскального искусства в Сахаре сосредоточены главным образом в горных массивах Тассилин-Аджер, Ахаггар, Тибести и прилегающих к ним районах — Фецан, Адрар, Ифорас, Аир, Борку, Эннеди. Менее концентрированно они встречаются повсюду на отдельно стоящих скалах, особенно по берегам древних высохших рек.

Археологи и искусствоведы потратили немало труда, прежде чем удалось найти подходящий материал для датировки памятников наскального искусства Сахары. Труднее всего было определить нижнюю хронологическую границу, о которой было известно, что она приходится на доисторический период. Решение этой задачи стало возможным после того, как среди наскальных рисунков были обнаружены изображения особой породы буйвола, вымершего в Африке незадолго до нашей эры. По ископаемым остаткам этого животного древнейший период наскального искусства был датирован восьмым-шестым тысячелетием до н. э.

Метод сравнения изображенной фауны с историческими данными позволил датировать и следующие периоды, в искусстве которых изображения быков, лошадей, верблюдов последовательно сменяли друг друга, соответствуя времени появления этих животных в Сахаре.

В итоге было установлено, что наскальное искусство Сахары может быть условно разделено на четыре больших периода:

1. «Период древнего буйвола» (8000—6000 лет до н. э.). Эпоха охотников.

ФЕЦЦАН,
ДОЛИНА МАТЕНДУ.
Изображение пантеры с процарапанной поверх него человеческой фигурой.
Петроглиф.

2. «Период домашних быков» (около 3500 лет до н. э.). Эпоха пастухов.

3. «Период лошади» (около 1500 лет до н. э.).

4. «Период верблюда» (около II века н. э.).

Живопись и петроглифы трех последних периодов встречаются в Сахаре повсюду, но древние памятники, принадлежащие к эпохе охотников, сохранились лишь в нескольких местах, главным образом на территории Ливии, в Феццане. Петроглифы Феццана по праву считаются вершиной первобытного анималистического искусства. Местность, где находятся эти изображения, совершенно пустынна. «Долина Матенду проходит через безжизненное каменистое плато... Это место — одно из самых загадочных в Африке, где сегодня нет ни одной живой души,— было, без сомнения, священной долиной или по меньшей мере местом встречи сахарских кочевников. По обоим берегам уэда (древнее высохшее русло реки) на расстоянии 60 километров тянутся врезанные, иногда рельефные изображения, создавая ансамбль, равного которому нет в мире»,— пишет один из тех, кому посчастливилось видеть эти произведения на месте.

Ранний охотничий период представлен здесь монументальными, глубоко высеченными в камне изображениями крупных диких животных. Блестящее художественное и техническое мастерство древних художников, сочетающееся с превосходным знанием «модели», особенно проявилось в изображении слонов. Они очень большого размера (до 3 метров) и при одинаково высоком в целом уровне мастерства и единообразии технических приемов имеют отчетливо выраженные индивидуальные черты. Пластическое и фактурное богатство этих рисунков покажется еще более удивительным, если учесть то, что они выполнены почти исключительно одной контурной линией. Лишь несколько дополнительных штрихов с большой точностью очерчивают складку кожи или округлость плеча, создавая впечатление объемности. Каждая пядь линии вреза служит выявлению какой-нибудь детали, на всем протяжении сохраняя живость и напряженность.

Это искусство, такое далекое от натурализма и вместе с тем ни в чем не отступающее от натуры, сохраняет удивительную цельность и чеканную ясность образов. Приемы передачи перспективы, движения и объема крайне лаконичны и выразительны. Иногда они напоминают технику мозаики или витража, где так же, как и в резьбе по камню, необходимы предельная конструктивная четкость и лапидарность стиля. Техника

здесь органически сливается со стилем изображения, создавая подлинно художественный эффект.

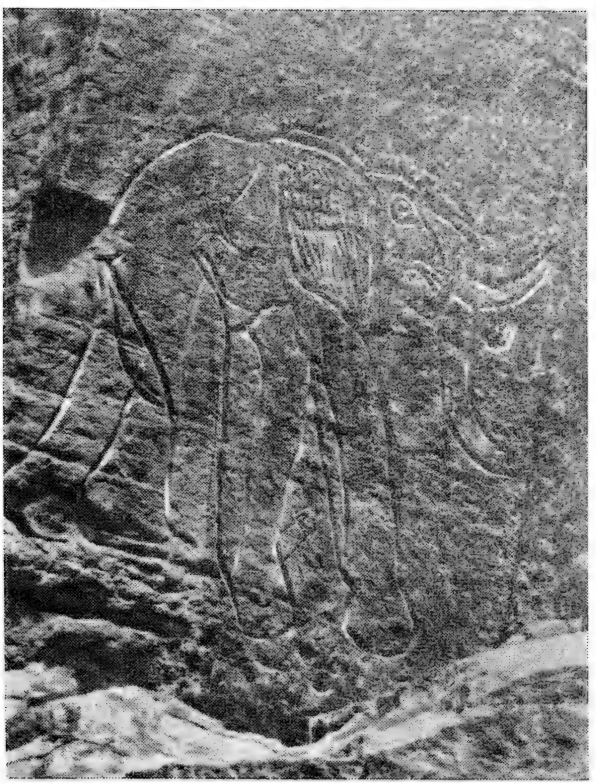
Со временем монументальный первобытный реализм уступает место новым формам. Усиливается элемент стилизации, изображения становятся более изящными, утонченными и вместе с тем более легковесными. Композиционная ясность и строгая конструктивность приносятся в жертву плавной, изящной линии, которая не столько выявляет конструкцию предмета, сколько подчеркивает его динамику. В искусстве этого переходного периода вместе со сменой сюжета (теперь все чаще появляются изображения домашних животных) меняется и стиль изображений.

Разнообразное по формам и содержанию, искусство следующего — пастушеского — периода лучше всего представлено в горном массиве Тассилин-Аджер. Причудливые выветренные скалы образуют здесь подобия улиц и площадей, напоминая огромный мертвый город. По его каменным коридорам струится сухой раскаленный песок. Все выжжено солнцем, укрыться от зноя можно лишь в небольших углублениях под скалами. В тени таких небольших гротов и навесов сохранились фрагменты живописи, возраст которой исчисляется тысячелетиями.

Относительная датировка тассилийской живописи стала возможна благодаря тому, что во многих случаях сделанные в разное время изображения наносились одно поверх другого. (Эти наслоения особенно хорошо различимы на фотографиях, сделанных в инфракрасных лучах.) К самым ранним относятся фигуры диких животных. Они статичны, примитивны, сделаны одной непрерывной линией; изображения плохо сохранились.

Из человеческих изображений древнейшими оказались маленькие насекомообразные фигурки, которые без всякого перехода сменяются монументальной живописью так называемого стиля «круглоголовых». Искусство этого периода проходит длинный путь эволюции, отмеченный, с одной стороны, стремлением к большей детализации, с другой — тенденцией к схематизму. Именно в этой группе изображений встречаются загадочные фигуры в одежде, напоминающей скафандры и шлемы с антеннами,— так называемые «марсиане».

Изучение сотен и тысяч фотокопий, сделанных в Тассили и других районах Сахары, показывает, что искусство этого периода развивается по линии усиления схематизации. Предметы, в которых некоторые авторы видят «особые решетчатые направленные антенны», не что иное, как схематически изображенные корзины, натуралистическое воспроизве-



ФЕЦЦАН,
ИН ГАЛГУИЕН.
Слон. Петроглиф.

дение которых можно видеть на многих фресках более раннего периода, в том числе на большой фреске из Джаббарена, изображающей длинную процессию «круглоголовых», возглавляемую человеком с такой корзиной на голове. В более поздних рисунках, эволюционирующих к схематизму, изображение упрощается — та же корзина здесь уже изображается несколькими прямыми линиями. Аналогичную трансформацию претерпевает и маска муфлона: утрачивая постепенно некоторые детали и схематизируя другие, она превращается в геометрическую фигуру, действительно напоминающую шлем скафандра. Однако далеко не все изображения поддаются расшифровке. Остаются и по-настоящему загадочные образы. Такие, например, как огромная, почти пятиметровая центральная фигура большого панно из Сефара и другие.

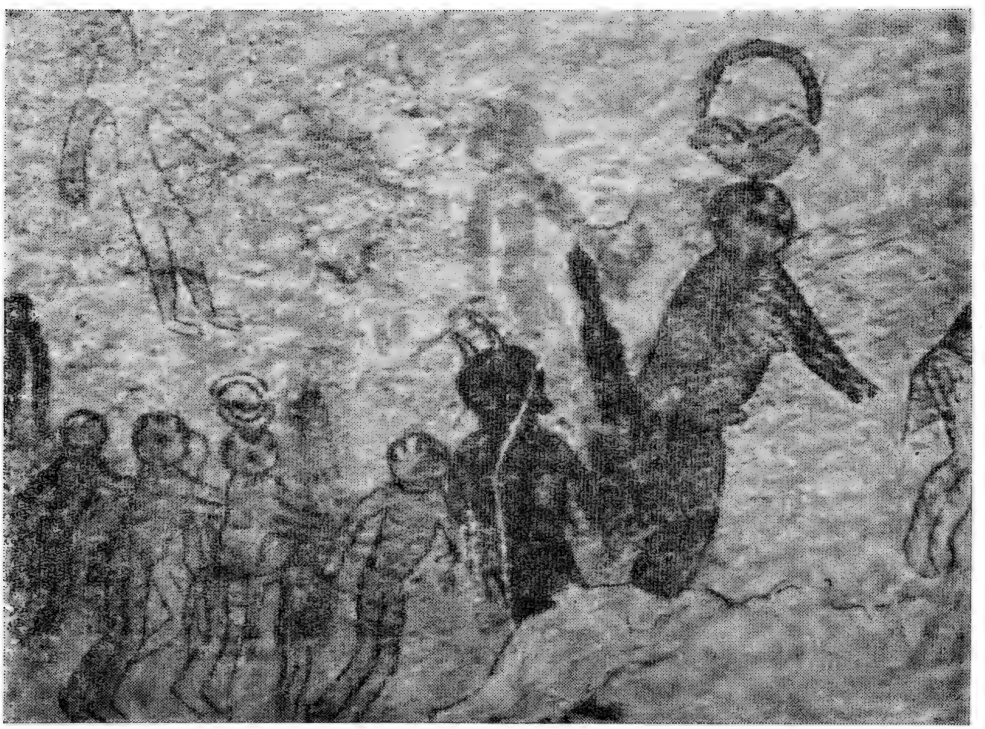
Большую группу составляют изображения, имеющие некоторые общие стилистические черты с египетским искусством. Особенно красивы фигуры танцовщиц. Можно заметить, что в этих изображениях синтезируются достижения ранних периодов: подвижность маленьких схематических фигурок и монументальность, характерная для стиля «круглоголовых» эпохи расцвета. Необычайная чистота и четкость линий, строгая пропорциональность фигур свидетельствуют о больших достижениях в искусстве этого времени.

Примерно в четвертом тысячелетии до н. э. в Тассили появляются первые скотоводческие племена. Искусство Тассили вступает в новую фазу.

Наряду с разнообразными жанровыми сценками из повседневной жизни появляются большие панно, изображающие перегон скота, сцены войны, охоты, собирание злаков.

Необыкновенно высокого мастерства достигают тассилийские пастухи в изображении животных. Художник подчеркивает тучность коров, медлительность могучих быков, легкость и изящество антилоп и газелей. Каждое изображение удивительно ясно и гармонично, каждая деталь эстетически осмыслена. Искусство пастухов не случайно достигло такого совершенства, так как оно развивалось на протяжении двух тысячелетий.

Примерно в середине второго тысячелетия до н. э. в Тассили появляются изображения боевых колесниц, запряженных лошадьми. По рисункам на скалах их путь прослеживается от побережья Средиземного моря до верхней излучины Нигера. Искусство этого периода становится постепенно все более схематичным и завершается «периодом верблюда», когда это животное, вы-



ТАССИЛИН-АДЖЕР. **Процессия с корзинами.** Живопись.

теснившее лошадь, стало безраздельно царствовать в Сахаре. Изображения позднейшего времени отличаются не только формой, но самим отношением к объекту, изображаемому в виде сухой жесткой схемы. Фигуры верблюда и человека постепенно превратились в малопонятный геометрический знак. Эта последняя фаза в развитии искусства Сахары датируется началом исторического периода.

В Тассили в настоящее время насчитывают более 15 тысяч живописных фрагментов, относящихся к периоду с VI—V тысячелетия до н. э. до I тысячелетия н. э.

Создателями этого огромного доисторического музея были многие поколения охотничьих и скотоводческих племен, населявших Сахару в те далекие времена, когда она была цветущей страной с превосходным климатом, пышной растительностью и богатым животным миром.

Теперь установлено, что в Сахаре было два влажных периода: первый закончился в эпоху нижнего палеолита, второй продолжался около шести тысяч лет, примерно до второго тысячелетия до н. э.

Различные исследования, в том числе анализ ископаемой пыльцы, показали, что в эпоху неолита здесь произрастали многие породы лиственных и хвойных деревьев; многочисленные вади, по которым сейчас струятся сухие потоки песка, были такими же полноводными реками, как Нил и Нигер. Они изобиловали рыбой и крупными речными животными, кости которых сохранились в огромных «кухонных кучах» (зольниках) на местах древних поселений.

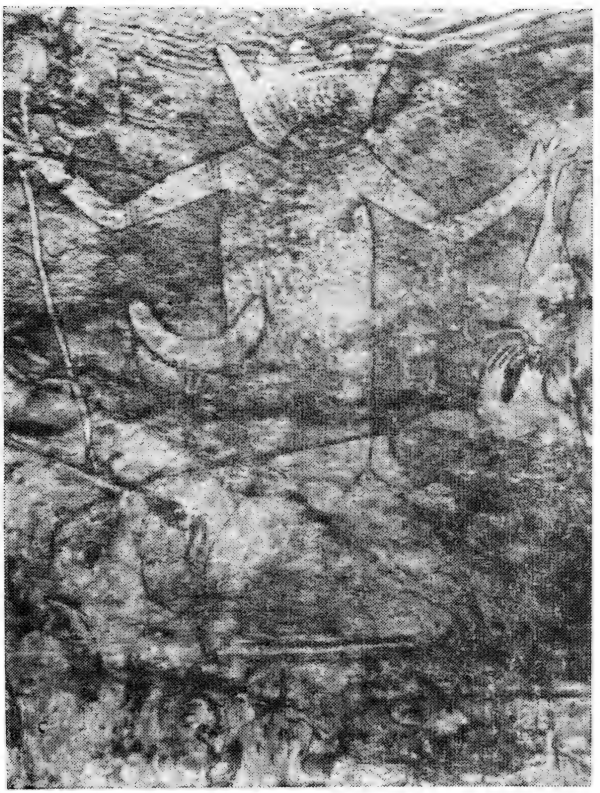
Бесчисленные изображения диких и домашних животных, покрывающие скалы в районах, где теперь за много дней пути можно не встретить ни одного колодца, свидетельствуют о существовании в прошлом обширных лугов и пастбищ почти на всей территории современной пустыни.

Существует даже предположение, что многочисленные стада домашних животных, перенаселявшие к концу неолита Сахару и интенсивно уничтожавшие травяной покров, ускорили исчезновение здесь некогда богатой флоры.

■

Восстановить историю Африки нелегко из-за отсутствия письменности. Поэтому памятники наскального искусства играют здесь особую роль: часто они являются единственным «говорящим» материалом, позволяющим заглянуть в далекое прошлое. Особенно велико значение этих памятников для воссоздания истории искусств народов Африки.

Исключительное значение этого искусства в том, что



ТАССИЛИН-АДЖЕР. **Мифическое существо. Живопись.**

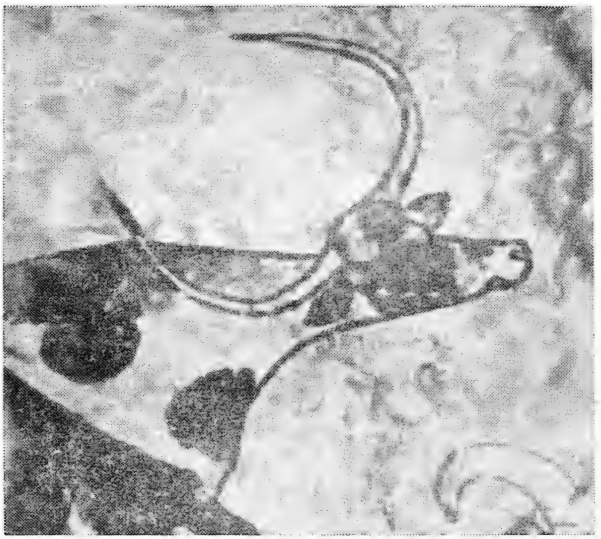
ТАССИЛИН-АДЖЕР. **Колесница.** Живопись.

оно издревле было основным носителем художественных изобразительных традиций. Больше того, на огромных пространствах Сахары и в некоторых районах Южной и Восточной Африки, по-видимому, не существовало других видов изобразительного искусства. Может быть, поэтому наскальная живопись и техника петроглифов, органически сочетающая графические и скульптурные элементы, достигли здесь столь высокого совершенства.

Еще многое в этом искусстве остается неясным и загадочным, и одной из самых острых и важных для решения многих вопросов является проблема происхождения сахарского искусства. Существование на Пиренейском полуострове и во Франции пещерной палеолитической живописи, и в особенности наскальной живописи в восточной Испании, дало повод выдвинуть теорию, по которой корни сахарского наскального искусства якобы следует искать в доисторическом искусстве Европы. Попыткам ее обоснования посвящены многие работы археологов А. Брейля, П. Грациози и других.

Некоторое сходство, существующее между на-

ТАССИЛИН-АДЖЕР. **Лучник. Живопись.**



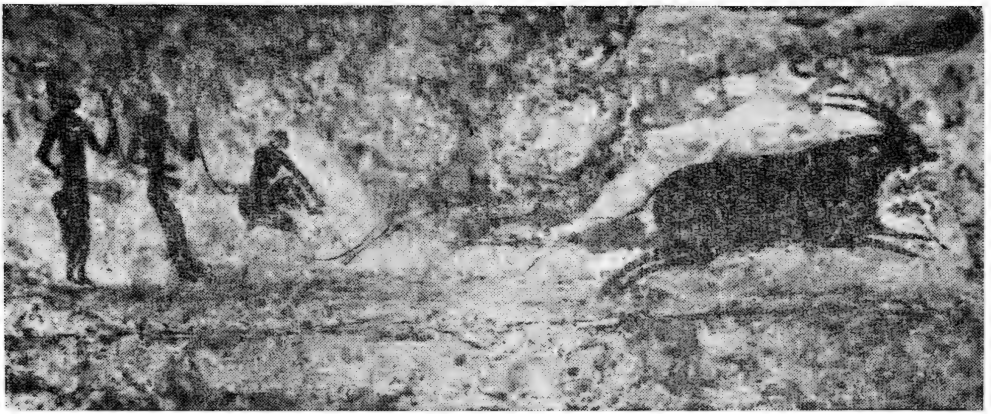
ТАССИЛИН-АДЖЕР.
Голова быка.
Живопись.

скальной живописью восточной Испании и Южной Африки, побудило сторонников этой теории рассматривать наскальное искусство Сахары как соединительное звено между этими двумя районами. Но уже первое сравнение восточноиспанской живописи с петроглифами Сахарского Атласа, то есть сопредельной африканской территории, обнаруживает полное отсутствие каких бы то ни было общих черт. Нельзя обнаружить точек соприкосновения с искусством раннего периода и в других районах Сахары. Те же отдельные изображения, стиль и характер которых имеет отдаленное сходство с испанским искусством, относятся к поздним фазам сахарской живописи, то есть к тому времени, когда искусство Сахары уже миновало эпоху своего расцвета и клонилось к упадку.

Самобытный характер сахарского искусства подтверждается и сравнением древнейших петроглифов эпохи охотников с пещерной палеолитической живописью Европы. Внутреннее сходство, существующее между ними, может быть объяснено только одинаковыми условиями — аналогичным этапом эволюции. История дает немало примеров того, как разные народы на определенных ступенях своего развития проходили одни и те же экономические и социальные формации, часто независимо друг от друга, делая одинаковые открытия, совершенствуя орудия труда и т. д. Наскальное искусство существовало на всех континентах, и где бы оно ни практиковалось, в Скандинавии или Сибири, Африке или Австралии, основным его объектом всегда были животные, игравшие существенную роль в жизни человека той эпохи. Высеченным на скалах Северной Африки длинным вереницам идущих гуськом друг за другом слонов или страусов соответствуют такие же вереницы лосей, вырубленные на гранитных плитах в районе Онежского озера, те же композиции мы видим на костяных и керамических пластинах додинастического Египта, на стенах франко-кантабрийских пещер, в Драконовых горах Южной Африки и в Тассили.

Подобный образ жизни порождает подобные явления, и мы видим в Сахаре первые шаги искусства, развитие которого самостоятельно шло по тому же примерно пути, что и в Европе, до тех пор, когда изменение климатических условий начало оттеснять народы, населявшие Сахару, в южные и восточные районы. В южных и юго-западных районах Тропической Африки дальнейшее развитие их было сильно заторможено из-за специфических условий, в которых оказались эти народы, отрезанные от остального мира широкой полосой пустыни. Там же, где условия были более благоприятны — на востоке, в долине Нила,— те же народы в контакте с другими создали одну из величайших культур древнего мира — Египет.

Сахаре еще предстоит раскрыть свои тайны. Надо решить еще очень много вопросов, но уже теперь становится все яснее, что основы культуры народов современного Судана и Тропической Африки складывались в районе Сахары. Именно здесь следует искать истоки искусства народов Африки. Здесь воз-



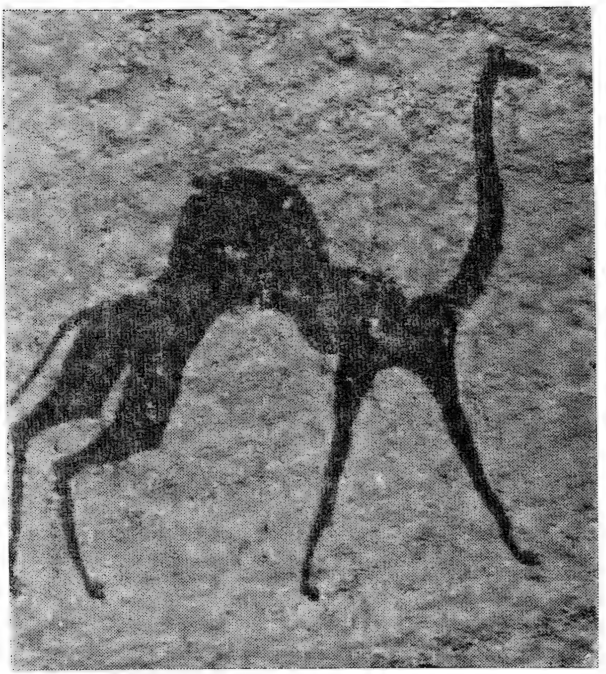
ТАССИЛИН-АДЖЕР. **Охота.** Живопись.

никла весьма сложная культура эпохи неолита, которая развивалась в связи с культурами Древнего Египта и Средиземноморья, предшествовала им» *.

В решении этих вопросов все активнее включаются молодые африканские ученые, кровно заинтересованные в деле восстановления истории своей страны, и это позволяет надеяться, что в недалеком будущем будут восполнены те пробелы в истории африканской культуры и искусства, которые еще существуют.

---

* Д. А. Ольдерогге. Предисловие к книге А. Лота «В поисках фресок Тассили». М., 1962, стр. 13.



ТАССИЛИН-АДЖЕР. **Верблюд.** Живопись.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщает, что в Бейруте вышел специальный номер журнала «Ат-Тарик», посвященный, как сказано в редакционной статье, «столетию со дня рождения великого советского писателя-гуманиста Максима Горького». В номере напечатаны статьи видных ливанских деятелей культуры о Горьком, документы и воспоминания о жизни и деятельности писателя, а также его письма. Впервые на арабском языке здесь напечатан полный перевод пьесы «Враги».

Турецкое издательство «Варлык» выпустило сборник рассказов Максима Горького.

Стамбульский литературный журнал «Май» поместил большую статью о жизни и творчестве Максима Горького, написанную известным критиком и переводчиком русской литературы Хасаном Али Эдизом, полный список произведений Горького, переведенных на турецкий язык, начиная с первой публикации в 1908 году до наших дней. В этом списке — романы «Мать», «Дело Артамоновых», «Детство», «В людях», «Мои университеты», пьеса «На дне» и около десятка сборников рассказов в переводах Мустафы Нихада Озона, Джевдета Уна, Хасана Али Эдиза и других.

В пятую годовщину со дня смерти Назыма Хикмета председатель Союза театральных критиков Турции Хаяти Асылязыджи, недавно посетивший Советский Союз, поместил в журнале «Май» статью о постановке в московском Театре им. Ермоловой пьесы Хикмета «Чудак». Рассказав об истории театра, критик пишет: «То, что «Чудак» держится в репертуаре театра десять лет,— заслуга постановщика Комиссаржевского. Атмосфера Стамбула, где происходит действие, передана так достоверно, что мои глаза не раз наполнялись слезами. Актеры влюблены в поэтический язык Назыма Хикмета. Режиссер, как истинный провидец, сумел передать глубокий смысл пьесы, характеры людей. Декорации Акимова и музыка Кара-Караева, специально созданные для спектакля, также способствовали успеху постановки».

Белградское издательство «Култура» выпустило избранные произведения Михаила Шолохова в четырех томах.

Болгарский еженедельник «Литературен фронт» опубликовал стихи советских поэтов Николая Тихонова, Михаила Светлова, Николая Заболоцкого, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой.

Болгарское издательство «Народна култура» выпустило роман-памфлет латышского писателя Анатолия Имерманиса «Спутник бросает тень».

Сборник произведений Владимира Тендрякова под названием «Находка» выпущен софийским издательством «Народна младеж».

„Русская научная фантастика-68» (антология)» — под таким названием в Нью-Йорке вышел сборник тринадцати научно-фантастических рассказов советских авторов. Перевод Элен Джекобсон.

Венгерский книжный бюллетень «Тайекоztato» сообщает о выходе в свет произведений Михаила Булгакова «Бег» и «Театральный роман», а также книги Николая Огнева «Дневник Кости Рябцева» в издательстве «Европа».

Общественно - политический журнал «Таршадалми семле» опубликовал обзорную статью, посвященную сборнику повестей советских авторов под названием «Альпийская баллада». Автор подробно анализирует творчество двух прибалтийских писателей, участвующих в этом сборнике,— эстонки Энн Ватемаа и литовца Ицхокаса Мераса. Высоко оценивается в статье повесть Григория Бакланова «Карпухин».

Пьеса Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» с большим успехом идет в Лондоне, а «Иркутская история» — в Шеффилде. Лондонский корреспондент американской газеты «Крисчен сайенс монитор» Гарольд Хобсон пишет: «Можно сказать, что нет ни одного драматурга в Европе, чьи пьесы ожидались бы в Великобритании с таким нетерпением, как пьесы А. Арбузова».

В переводах на монгольский язык в Улан-Баторе вышли произведения советских писателей — «Тихий Дон» Михаила Шолохова (3-я книга), «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Материнское поле» Чингиза Айтматова.

В «Дни Молдавской республики», проводившиеся в Монголии, вышли в переводе на монгольский язык произведения молдавских писателей, в том числе стихи Павла Боцу «Солнце и песня».

В Мадриде издан «Театральный роман» Михаила Булгакова; там же издательством «Ногер» выпущена книга Н. Амосова «Мысли и сердце», а издательством «Алианса эдиториаль» — сборник поэзии Евгения Евтушенко, в который наряду с уже издававшимися вошли и последние его поэмы и стихи.

Документальный роман Анатолия Кузнецова «Бабий яр» вышел в Швейцарии, в цюрихском издательстве «Диогенес-ферлаг».

Сборник стихов Анны Ахматовой под названием «Небывалая осень» выпущен в ГДР издательством «Культур унд фортшритт».

Роман Миколаса Слуцкиса «Лестница в небо» вышел в ГДР в издательстве «Ауфбау».

Варшавский Государственный издательский институт (ПИВ) выпустил несколько книг советских авторов: сборник поэзии Расула Гамзатова под названием «Миниатюры»; рассказы Николая Чуковского: «Ранним утром» и «Цвела земляника»; сборник рассказов и повестей Майи Ганиной «Я ищу тебя, человек...»

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

ПОЧЕМУ ПРОТЕСТОВАЛИ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ

Дэвид Фрост — один из наиболее известных комментаторов английской телевизионной компании «Индепендент телевижн». Его сатирический талант проявился в коротких интервью с политическими деятелями перед телевизионной камерой. Однажды ему удалось даже, как отмечала пресса, «вывести на чистую воду» министра обороны Великобритании Дениса Хили, добившись от него признания о наличии секретных статей военных расходов, что вызвало недовольство правительства.

Недавно руководство «Индепендент телевижн» послало Фроста в Западную Германию для встречи с Бальдуром фон Ширахом — бывшим сподвижником Гитлера, руководителем «гитлерюгенда», членом верховного командования вермахта и гаулейтером Австрии. Ширах был осужден на Нюрнбергском процессе и лишь два года назад вышел из тюрьмы. Интервью, взятое Фростом у Шираха, было заснято на пленку и передано по английскому телевидению. Можно было бы предположить, что Фрост пустит в ход весь свой разоблачительный талант и выведет Шираха «на чистую воду». Однако произошло нечто совершенно противоположное.

Миллионы английских телезрителей увидели на экране двух мирно беседующих людей. Человек, опоздавший к началу передачи, мог бы подумать, что они говорят об одном из общих знакомых, отличающемся некоторой эксцентричностью. «Даровитый, остроумный, во многих отношениях гуманный человек...» — говорил Ширах, а Фрост с почтением слушал. Ширах продолжал рассказывать, что это был человек, который любил животных и ненавидел охотников.

Речь шла об Адольфе Гитлере.

Прикидываясь простачком, Ширах говорил, что не знал о массовых уничтожениях людей в гитлеровских концлагерях. Вероятно, он думал, что человеческая память коротка, что все забыли, как он, в бытность гаулейтером Австрии, отправлял в лагеря смерти сотни тысяч людей. Именно Ширах был инициатором вывоза в Германию из оккупированных стран Европы 50 тысяч детей.

Не успела закончиться эта

Молодежь Англии решительно протестует против демонстрации американского пропагандистского фильма «Зеленые береты» (об этом фильме см. сообщение в «Иностранной литературе» № 11, 1968). На снимке: демонстрация протеста у здания «Уорнер-тиэтр» на Лестер-сквер в Лондоне. На плакатах надписи: «Немедленно прекратите бесчеловечную войну во Вьетнаме!»

(Газета «Морнинг стар»)

передача, как в здании «Индепендент телевижн» наперебой зазвонили телефоны — это возмущенные телезрители спешили выразить свой протест. В редакции газет потоком посыпались письма с осуждением руководства «Индепендент телевижн», выпустившего в эфир передачу, героем которой был нацистский преступник.

Даже буржуазная печать выразила свое недовольство. Обозреватель еженедельника «Обзёрвер» писал, что в передаче «одна из самых трагических страниц в истории человечества была заслонена треском пустой болтовни». Более решительно высказался комментатор газеты «Сан», заявивший, что англичанам не к лицу рекламировать военных преступников и «давать им доступ в дома Британии».

КАНТАТА АЛАНА БУША

«Кантатой космического века» назвал свое новое произведение английский композитор Алан Буш. Первое исполнение кантаты состоялось в летней музыкальной школе в Дартингтонхолле (Девоншир).

В рецензии, напечатанной в газете «Таймс», отмечается, что в музыке кантаты «осязаемое воплощение получило то ликование, которое охватило людей, когда человек впервые вырвался в космическое пространство».

Строки, посвященные первому полету человека в космос 12 апреля 1961 года, являются кульминацией кантаты, по сути написанной в память Юрия Гагарина.

БЕЛЬГИЯ

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ — ЮБИЛЯР

В Бельгии, равно как и в Голландии, широко отмечается 100-летие со дня выхода в свет знаменитой «Легенды об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» Шарля Де Костера. Особую торжественность придает этому юбилею в Бельгии то обстоятельство, что в Антверпене около 450 лет назад вышла первая книга на голландском языке о фламандском балагуре Тиле, который стал национальным героем, символом борьбы против угнетения, за свободу и справедливость.

Рисунок Франка-Иво из Дамме — «Тиль и Неле плывут по реке Шельде».

(Газета «Ваархейд»)

В бельгийском городке Дамме, где, как гласит легенда, родился и похоронен Уленшпигель, была организована выставка литературы и изобразительного искусства, отображающих его жизнь и деяния. Там экспонировалась «Легенда» на немецком, французском, голландском, русском и английском языках, а также на латыни и эсперанто. Самые старые иллюстрации, выставляющиеся здесь, относились к XVI веку, двадцатый век представлен ксилографиями Пауля Клее и Франса Мазереэля.

О популярности Тиля Уленшпигеля свидетельствовали не только работы графиков, скульпторов и витражистов, представленных на выставке, но и документация о драмах, операх, кукольных пьесах и кинокартинах, авторы и режиссеры которых также вдохновились образом героя-свободолюбца.

По сообщениям печати, в Рюпелмонде по случаю юбилея открыт памятник Уленшпигелю.

БОЛГАРИЯ

В НОВОМ СЕЗОНЕ

В разгаре новый сезон в болгарских театрах. По сообщениям печати, он отличается от предыдущих постановкой значительно большего числа пьес болгарских драматургов. Так, обозреватель газеты «Народна култура» пишет, что если в сезоне 1966—1967 гг. было 26 премьер пьес болгарских авторов, а в 1967—1968 гг.— 33, то в нынешнем сезоне число это возросло до пятидесяти. Среди них преобладают пьесы на темы современной жизни. Заметное место в репертуаре занимает русская классическая и современная советская драматургия, а также классика Запада.

Директор ведущего столичного театра имени Ивана Вазова известный писатель Андрей Гуляшки поделился на страницах журнала «Пламк» творческими планами на ближайшие месяцы.

«В прошлом сезоне,— рассказал Гуляшки,— мы отмечали 50-летие Великого Октября, в частности, спектаклями «Золотая карета» Л. Леонова и «Ночная исповедь» А. Арбузова. Постановки этих пьес, а также инсценировка «Братьев Карамазовых» (режиссура Бо-

«Рыбак». Так называется ксилогравюра Евтима Томова, она демонстрировалась на недавней выставке работ этого художника.

(Газета «Народна култура»)

риса Ливанова) были, на мой взгляд, наиболее удачными. Мы считаем, что постановка «Золотой кареты» — успех не только нашего, но и всего болгарского театра...

Новый сезон мы открыли пьесой Антона Страшимирова «Свекровь». Затем покажем «Отелло» в постановке английского режиссера Клиффорда Уильямса, а также новую пьесу Артура Миллера «Цена». Из русской классики у нас уже готова инсценировка «Обыкновенной истории» Гончарова. Из пьес болгарских авторов на современную тему, которые увидит зритель, назову пьесу Николы Русева «Воробей», новые работы Божидара Божилова, Николая Хайтова, Камена Зидарова, Стояна Даскалова, Георгия Джагарова, Камена Калчева, Пырвана Стефанова и Надежды Драговой».

«ОКНО В ИСКУССТВО РАЗНЫХ СТРАН»

В приморском городе Бургасе состоялся Международный фестиваль фольклора, участниками которого были творческие коллективы Болгарии, Советского Союза, Турции, Франции, Чехословакии и Швеции. Обозреватель газеты «Народна култура» пишет, что фестиваль 1968 года прошел интереснее предыдущих. И не только благодаря широкому разнообразию в способах воспроизведения фольклора, но и потому, что в этом году значительно расширилась география фестиваля (прежде в нем принимали участие только балканские страны). Вслед за известным болгарским музыковедом Тодором Джиджевым можно сказать, пишет обозреватель, что «фестиваль стал окном в искусство разных стран».

Высокую оценку получило искусство советских исполнителей, прибывших из Полтавы, особенно танцевальной группы.

Положительно оценивает обозреватель выступление ансамбля певцов болгарского, а также словацкого радио.

Весьма благоприятное впечатление произвели фольклорные группы Швеции и Франции.

В заключение фестиваля состоялась конференция специалистов по фольклору, обсудивших творческие вопросы. Участники конференции констатировали, что фестиваль способствовал культурному обмену и дружескому сближению народов.

ВЕНГРИЯ

«ПОЮ ПЕРВУЮ ПЕСНЮ»

«Мы давно ждали и с радостью приветствуем издание сборника стихов молодых поэтов «Пою первую песню»,— пишет Ласло Фаркаш в рецензии, опубликованной на страницах журнала «Уй ираш» («Новые произведения»). Поэтические сборники, отмечает Ласло Фаркаш, весьма популярны в Венгрии; вышедшая антология обладает одной особенностью: в нее вошли произведения тридцати молодых поэтов, из которых никто еще не выпустил ни одного самостоятельного сборника.

Тридцать молодых поэтов представляют на суд читателя разные по поэтическому почерку произведения, диапазон их огромен — от стихов, написанных в традиционной реалистической манере, до «современного» кубизма. Поэтому редакторам сборника Габору Гараи, Иштвану Кормошу и Андрашу Мезеи пришлось проделать титаническую работу, чтобы отобрать среди сотен стихотворений лучшие и характерные. По словам рецензента, для творчества Иштвана Ага, Ференца Буды, Ласло Каласа, Шимона Шерфезе характерны традиции народной литературы; Леа Балинт «копирует наивный детский стиль восприятия действительности»; стихи Антала Вербеца публицистичны; Каталин Мадяр использует мотивы народных песен, а Петер Добаи «синтезирует художественные средства кубизма». Автор рецензии подчеркивает, что тем и полезна книга, что она отражает пути развития и

Венгерские зрители и критика с одобрением встретили новую кинокомедию режиссера Мартона Келети, название которой говорит само за себя: «Поспешное супружество». По словам рецензента журнала «Фильм-синхаз-мюжика», фильм поднимает актуальные проблемы взаимоотношений отцов и детей, осуждает поспешные и слишком ранние браки. На снимке: кадр из фильма.
(Журнал «Фильм-синхаз-мюжика»)

проблемы молодой венгерской поэзии.

Сборник «Пою первую песню» разошелся в несколько дней, и это, по словам Ласло Фаркаша, лучшая оценка, данная ему читателями.

ГДР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

На осенней Лейпцигской книжной ярмарке издательства ГДР экспонировали макеты многих новинок художественной литературы, которые выйдут из печати в конце 1968 года и в 1969, юбилейном году республики.

Рецензент газеты «Нейес Дейчланд», взявший интервью у представителей крупнейших издательств ГДР, пишет, что «с большим интересом ожидается выход в свет таких произведений, как роман Анны Зегерс «Доверие», являющийся продолжением «Решения»; время действия — осень 1952 — лето 1953 гг.;

«Перерыв для Ванцки, или Путешествие в Десканзар» Альфреда Вельма, роман о жизни учителя;

роман «Прощание с ангелами» Вернера Гайдушека, повествующий о судьбе братьев и сестры Марула; действие происходит в 60-е годы в ГДР, Болгарии и ФРГ;

повесть Вольфганга Йохо «Встреча однокашников», рассказывающая о судьбах нескольких немцев, окончивших гимназию в 1917 г. и встретившихся сорок лет спустя;

сборник рассказов «Обыкновенные люди» Вернера Бройнига;

«Беспокойные годы» Эдуарда Клаудиса — автобиография писателя, сражавшегося против фашизма в Испании и в рядах партизанской бригады им. Гарибальди во время второй мировой войны. Автор был консулом ГДР в Сирии, а позднее — послом в ДРВ;

роман «Ночью пришли варвары» молодого грека Томаса Николау, обретшего в ГДР вторую родину; книга повествует о судьбе студента Мициса Горкаса, вставшего на путь борьбы с монархо-фашистским режимом;

«Прыжок на гигантское колесо» Ганса Вебера — повесть о мальчике, родившемся 8 мая 1945 года, рассказанная его братом-журналистом;

повесть Бенно Плудра «Тамбари».

«ВРЕМЯ-СЧАСТЬЕ»

Телевидение ГДР показало новый телевизионный фильм «Время-счастье» по

Один из эпизодов фильма «Время-счастье»
(Еженедельник «Зонntаг»)

сценарию Бенито Вогацкого. Фильм получил положительные отклики телезрителей и критики. Пресса ГДР поместила на него много рецензий и отзывов.

«Время-счастье» — фильм, посвященный современной жизни Республики. Судьбы героев неотделимы от того нового в истории немецкого народа, что связано с существованием Германской Демократической Республики, пишет рецензент еженедельника «Зоннтаг». Жизнь большого химического предприятия, вопросы правильного руководства, планирования, новых методов производства, научной организации труда — вот те проблемы, которыми заняты герои фильма Рамбах, Дорис Больциен, мастер Фальк.

«Когда читаешь сценарий нового фильма Вогацкого «Время-счастье», кажется, что автор учился у Горького,— продолжает рецензент «Зоннтаг».— Действие разворачивается по нескольким параллельным сюжетным линиям: бригада, дирекция завода, министерство. Монтаж дает возможность связать эти линии в органическое целое».

Режиссер фильма Лотар Беллаг рассказывает на страницах того же еженедельника, что стремился, по возможности, раскрыть наиболее важные проблемы современной жизни Республики. «Благодаря этому у зрителя возникает ощущение, что в фильме охвачен бо́льший период времени, чем показано на экране».

Сценарий фильма был опубликован в «Форуме», а отрывки из него — в «Нейе дейче литератур». Недавно фильму была присуждена Национальная премия первого класса.

ФРГ

«ДВА ПИСЬМА ПОСПИШИЛУ»

Так называется новый роман Макса фон дер Грюна, выпущенный западногерманским издательством «Лухтерханд».

Автор романа «Светляки и пламя» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 3—4, 1967) избрал на этот раз главным героем своего произведения рабочего-электрика Пауля Поспишила, от лица которого и ведется повествование.

Поспишил — судетский немец, уроженец города Хеба. В 1938 году, в первые дни оккупации фашистской Германией Судетской области, отца Поспишила арестовали по доносу местного генлейновца и отправили в концлагерь, где он погиб. Мать с сыном бежали. В наши дни Пауль Поспишил живет в Дортмунде, работает на большой электростанции, обслуживая пульт автоматического управления. Однажды он получает от матери письмо, в котором она сообщает ему фамилию доносчика. Старая женщина хочет перед смертью посмотреть в лицо негодяю. Она просит сына разыскать этого человека.

Поспишилу, несмотря на все его объяснения, не дают трехдневного отпуска за свой счет для поездки в Хеб. «Никому нет дела до прошлого,— пишет рецензент еженедельника «Цейт». — Что было — то было, и тут ничего не изменишь». Разозленный отказом начальства, Поспишил уезжает без разрешения. «Результат поездки,— продолжает рецензент,— можно было предугадать: доносчик Байерль, бывший нацист, ныне скромный пенсионер, занимающийся разведением мальв. Он не может (или не хочет) ни о чем вспоминать»... В Дортмунде Поспишила ждет извещение об увольнении. Он бегает от одного начальника к другому, но никто не берет на себя ответственность отменить приказ. Наконец принимается компромиссное решение: Поспишилу предлагают подать заявление о приеме на работу. Он остается на своем прежнем месте, у пульта, но зарплату будет получать как новичок, без учета стажа. Предприятие «сэкономило» на его заработке. Но другого выхода у Поспишила нет, и он покоряется. Поспишил приходит к горькому выводу: «...Мы в самом деле думали, что свободны. А у нас есть всего-навсего свобода передвижения, да и та зависит от заработка...»

«Макс фон дер Грюн в своей новой книге остается писателем-реалистом, — заключает рецензент. — Он знает людей, которых описывает, знает, о чем они говорят, что думают, он видел их, жил среди них... Как и прежде, наиболее сильной стороной писателя является его социально-критическое отношение к действительности, в особенности к миру труда, к взаимоотношениям предпринимателей и рабочих».

ГОСПОДИН ФРЕЙ АКТИВИЗИРУЕТСЯ

Неонацистские издания растут в ФРГ, как грибы после дождя. Недавно к их числу прибавился журнал «Дейчер бауэр», который ранее был печатным органом «сообщества крестьян». Теперь его приобрел издатель неофашистской газеты «Дейче националь унд зольдатен-цейтунг» господин Герхард Фрей. Новый хозяин намерен значительно увеличить тираж журнала, доведя его до 60 тыс. экземпляров, и целиком поставить на службу неофашистской Национал-демократической партии (НДП).

Господин Фрей — махровый неофашист, один из тех, кто пользуется в Западной Германии полной свободой для пропаганды в своих изданиях неофашистских, милитаристских и реваншистских взглядов. Помимо «Дейче националь унд зольдатен-цейтунг» и «Дейчер бауэр» ему принадлежат также реваншистские листки «Судетендейчер», «Шлезише рундшау» и другие.

Для пропаганды своих идей неофашисты все шире используют рекламные издания. Так, друг и единомышленник Фрея Дечер издает тиражом в 225 тыс. газету «Мюнхнер анцейгер», где наряду с рекламой стиральных машин, пылесосов и телевизоров ведет откровенно неонацистскую пропаганду. Зачастую он перепечатывает материалы из «Дейче националь унд золь-

датен-цейтунг», а также из органа НДП — «Дейче нахрихтен». Как сообщает печать, Дечер намерен в ближайшее время превратить это рекламное издание в «национальную еженедельную газету».

ИСЛАНДИЯ

В ПРЕМИИ ОТКАЗАНО, НО...

После 1955 года в Исландии не было писателя, который сумел бы отразить новые проблемы, волнующие исландский народ. С таким утверждением выступил в статье, опубликованной в шведской газете «Дагбладет» и посвященной современной исландской литературе, критик Олафур Гуннарссон. По его мнению, такие острые и насущные темы, как наличие иностранных баз в Исландии, упадок крестьянской и городской культуры, процветание мошенничества и произвола, ждали нового, острого пера. И вот недавно, пишет автор, появился молодой писатель Гудбергур Бергссон, который талантливо раскрыл эти темы в произведениях, смутивших покой многих исландцев.

Последняя книга Бергссона называется «Гармоническое сочетание ядов». Она состоит из 12 рассказов, объединенных общим замыслом: показать все, что препятствует прогрессу, что ставит под удар мораль исландского общества. Наиболее острой критике автор подвергает внешнеполитическую линию властей, допускающих существование военных баз США на исландской территории, а также деятельность церкви и дороговизну медицинского обслуживания.

В художественном отношении лучшими в сборнике автор считает рассказы о душевнобольных. В них повествуется об одиноких, забытых родными и обществом людях, которые к тому же становятся жертвой темных махинаций обслуживающего персонала лечебниц.

Литературные критики всех без исключения рейкьявикских газет единодушно высказались за присуждение Бергссону первой литературной премии года, но комитет по присуждению премий счел писателя недостойным награды.

Решение комитета, однако, не повлияло на успех книг молодого писателя. Они, по словам автора статьи, продолжают раскупаться, как «теплый пшеничный хлеб», и «способствуют формированию мировоззрения нового поколения в Исландии».

В заключение статьи Гуннарссон дает высокую оценку молодому писателю. «Очевидно одно,— пишет он,— Бергссон открыл новую эпоху в исландской литературе и нарисовал картину ранее неизвестной миру Исландии. Картину, отличную от тех, которые дали Гуннар Гуннарссон и Лакснесс».

ИСПАНИЯ

ФРАНКИСТСКАЯ ЦЕНЗУРА СВИРЕПСТВУЕТ

Недавно 180 видных журналистов Испании, среди которых много директоров газет и журналов, направили министру информации и туризма Фраге Ирибарне письмо с выражением глубокого беспокойства в связи с усиливающимися репрессиями, «создающими очень опасное положение для испанской печати». Впервые к франкистскому министру обращается такое значительное число испанских журналистов.

Их тревога не случайна. Только за два года действия нового закона о печати, принятого в 1966 году, в Испании было возбуждено более 350 судебных дел против различных газет, журналов, бюллетеней. Из них свыше 180 закончились принятием санкций против органов печати или их сотрудников. В связи с этим авторы письма подчеркивают, что создалось положение, при котором профессиональных журналистов рассматривают как людей «неблагонадежных» и требуют пересмотра вынесенных судами приговоров.

Авторы письма приводят также многочисленные факты репрессий против органов печати и отдельных журналистов. Достаточно сказать, что за последние месяцы репрессиям подверглись газеты «Мадрид», «Эль-Алькасар», «Пенсамиенто наварро», «Диарио де Наварра», «Вос де Галисия», журналы «Мундо», «Индисе», «Куадернос пара эль диалого», «Дестино» и многие другие центральные органы печати, а также агентство Эуропа пресс. При том на журнал «Мундо» санкции налагают уже в третий раз, а на агентство Эуропа пресс — пятый раз.

ИТАЛИЯ

ПРИЧИНЫ «ГАЗЕТНОГО КРИЗИСА»

Почему итальянцы так мало читают газеты? Не грозит ли Италии «газетный кризис»? Эти вопросы все чаще дебатируются на страницах итальянских газет и журналов. Тон печати стал особенно встревоженным после того, как в издательстве «Эда» вышла книга Анджело Дель Бока «Газетный кризис». Автор провел значительную исследовательскую работу о состоянии газетного дела в стране. Он пришел к выводу, что в Италии, где постоянно увеличивается выпуск промышленной продукции, «потребление» газет «застыло» на одном уровне. Из каждых ста итальянцев лишь четырнадцать покупают или выписывают газеты (на юге страны на 100 человек приходится лишь 4 экземпляра газеты).

Однако есть газеты, каждый экземпляр которых читается несколькими итальянцами. Это прежде всего прогрессивные газеты, такие как «Унита» и «Паэзе сера», которые сумели обеспечить себе широкий круг постоянных читателей: каждый экземпляр этих газет читают не менее трех чело-

«Кричащий мальчик с красным знаменем» — рисунок Ренато Гуттузо.

(Газета «Унита»)

век. Ситуация же в целом, как отмечает печать, довольно неутешительна. Общий тираж итальянских газет вот уже несколько лет сохраняется на одном уровне и не превышает 5 миллионов экземпляров. Многие газеты, особенно местные, не выдержав конкуренции, прекращают существование или «заглатываются» крупными газетными концернами.

Пытаясь объяснить причины создавшегося положения, Дель Бока в своей книге пишет, в частности, о трудном для восприятия широких масс языке большинства итальянских газет и об отсталости типографской техники. Однако прогрессивная печать считает главной причиной кризиса усиливающееся вмешательство в дела газет крупных монополистических групп, которые диктуют свои условия издательствам, в результате чего информация и комментарии буржуазных газет становятся все менее объективными.

КОМУ НЕ НРАВИТСЯ ФИЛЬМ ВИСКОНТИ

Известный итальянский кинорежиссер Лукино Висконти заканчивает съемки нового фильма «Падение богов». Действие его происходит в тридцатые годы в Германии, в период прихода Гитлера к власти. В центре киноповествования — семья барона фон Эбенбок. «Я не ставлю своей задачей описывать дела и жизнь какого-то одного семейства,— заявил Лукино Висконти.— Мне хочется показать совокупность проблем, возникших перед могущественной династией промышленников в тот момент, когда к власти пришли нацисты».

Коллектив, работающий над фильмом, выехал на съемки в ФРГ. Здесь режиссеру, операторам и актерам пришлось работать в чрезвычайно трудной обстановке. Неонацистские группы и покровительствующие им круги начали шумную кампанию против итальянского режиссера, обвиняя его в том, что он якобы намерен создать антинемецкий фильм. На специально созванной по этому поводу в Дюссельдорфе пресс-конференции Висконти заявил: «Мы не собираемся создавать антинемецкий фильм, мы стремимся создать фильм антифашистский».

Казалось бы, власти должны были удовлетвориться таким разъяснением и постараться помочь съемочной группе. На деле же ей стали чинить всевозможные препятствия. Так, рурские промышленники запретили съемки некоторых сцен на их предприятиях. Дошло до того, что местные полицейские органы получили приказ реквизировать у итальянцев аппаратуру...

Вокруг съемочных площадок проходили непрерывные манифестации неофашистов. С колоссальными трудностями необходимые кадры были, наконец, отсняты и группа перебазировалась в Австрию. Но и здесь атмосфера была отравлена неонацистами и шпрингеровской прессой. В Зельцбурге, где снимались сцены «ночи длинных ножей», когда сторонники Гитлера расправились со своими противника-

Кадр из кинофильма «Падение богов».

(Газета «Унита»)

ми, с огромным трудом удалось нанять статистов. Три представителя кинофирм, по заказу которых делается фильм, были арестованы австрийской полицией, у них были отобраны заграничные паспорта.

«Профашистские организации, правительство и местные власти Западной Германии, а также отдельные группы в Австрии, объявив настоящую войну Лукино Висконти и группе итальянских кинематографистов, продемонстрировали свое полное одобрение и поддержку опасным действиям неонацистов»,— писал корреспондент газеты «Унита».

Висконти решил вернуться в Италию. Работа над фильмом «Падение богов» завершается в павильонах «Чинечитта» — киногородка, расположенного близ Рима.

НОВАЯ РАБОТА ДЖАКОМО МАНЦУ

Джакомо Манцу, известный итальянский скульптор, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», дал интервью корреспонденту итальянской газеты «Паэзе сера».

Манцу рассказал, что недавно закончил новую работу — врата протестантской церкви Св. Лаврентия в Роттердаме. После «Врат смерти» в соборе Св. Петра в Риме эта работа скульптора — крупнейшее его произведение.

Тема очередного творения художника остается прежней: «Война и мир». Манцу не стал подробно рассказывать о том, как он решил эту тему в своей последней работе, до ее официального открытия.

Корреспондент «Паэзе сера» спросил Манцу, задумал ли он еще какие-нибудь «очередные» врата. Скульптор шутливо ответил: «Пословица гласит, что тот, кто закрывает одну дверь, сразу же открывает другую. Но я не хотел бы заработать прозвище «Джакомо — создатель дверей»!

Джакомо Манцу внес большие суммы в фонд помощи борющемуся вьетнамскому народу.

ИРАК

РОМАН «ПЯТЬ ГОЛОСОВ»

В последнее время на страницах арабских литературных журналов оживленно обсуждается новый роман иракского писателя Гаиба Туамы Фармана «Пять голосов», опубликованный бейрутским издательством «Дар аль-Адаб».

Г. Т. Фарман (род. в 1926 г.) — журналист по профессии, в молодости он пробовал свои силы в поэзии, а в 50-х годах выдвинулся как новеллист. Им опубликовано два сборника коротких рассказов. Кроме того, его перу принадлежит исследование о китайском писателе Лу Сине и книга «Черный режим в Ираке» о мрачных годах диктатуры генерала Нури Саида (переведена на русский язык). В 1960 г. Фарман был вынужден покинуть Ирак, а в 1963 г. стоявшее у власти иракское правительство лишило его вместе с большой группой прогрессивно настроенной интеллигенции иракского гражданства.

«Пять голосов» — вторая книга Фармана. Ранее опубликованный (Бейрут, 1966 г.) роман «Пальма и соседи» некоторые арабские критики считают первым настоящим иракским романом. Писатель нарисовал тогда картину жизни в Ираке в период второй мировой войны и английской оккупации. В новом романе он отобразил драматические события в своей стране, предшествовавшие антимонархической революции 1958 г. На фоне этих событий протекает жизнь главных героев книги—пяти молодых иракских интеллигентов, сотрудничающих в оппозиционной левой газете, которая выступает против реакционного проимпериалистического правительства Джамали. По мнению критиков, книга Фармана во многом автобиографична. Как отмечает арабская печать, роман «Пять голосов» необычен по композиции. Он построен в форме внутренних монологов главных действующих лиц и не разделен на главы. Не все критики считают избранную автором форму повествования удачной. Однако в общем они высоко оценивают новое произведение Фармана, рассматривая его как важное событие в арабской романистике вообще и в иракской в частности. В статьях отмечается глубоко правдивое отображение писателем неприглядной картины произвола и коррупции в монархическом Ираке 1954—1956 годов. (Один из иракских критиков в статье, напечатанной журналом «Аль-Адаб», сравнивает положение дел в предреволюционном Ираке с обстановкой в России во время появления «Мертвых душ» Гоголя.)

Некоторые авторы статей высказывают предположение, что романы «Пальма и соседи» и «Пять голосов» — лишь две части трилогии о современном Ираке, задуманной Фарманом, и что в своем третьем романе, который завершит трилогию, он расскажет о событиях, последовавших за революцией 1958 года.

КАМЕРУН

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АФРИКАНСКОЙ КНИГИ

В столице Федеративной Республики Камерун Яунде состоялась первая Международная выставка африканской книги, в которой приняли участие двадцать стран и международных организаций. Основная тематика выставки — история, этнография, традиционная и современная литература африканских народов. Там экспонировались книги, изданные на нескольких десятках африканских языков. Было представлено также около 3000 изданий, выпущенных на 12 неафриканских языках, в том числе на русском, французском, английском, немецком, китайском.

КИТАЙ

ШУМ ВОКРУГ РОЯЛЯ

На пекинской театральной сцене — сенсация: реабилитирован рояль. Два года назад инструменты выбрасывали в окна консерватории, преподавателям набивали рты осколками пластинок, ноты сносили в макулатуру, а исполнителям разбивали пальцы. Теперь на сцене, прислонясь к роялю, певец в военной форме исполняет отрывки из музыкальной драмы «Красный фонарь». Это «событие» китайская печать связывает с именем Цзян Цин, всесильной супруги Мао Цзэ-дуна. Появление фортепианного аккомпанемента, как подобострастно пишет в пространной статье в «Жэньминь жибао» некто Инь Чэн-цзун, «ни на миг не отделимо от благосклонной заботы и попечения товарищ Цзян Цин», которая дала «важнейшие указания»: подготовить к переложению на фортепиано основные партии драмы «Красный фонарь».

Казалось бы, невелико дело: написан клавир недавно поставленной музыкальной драмы, но шум поднялся грандиозный. На премьеру явился сам Мао Цзэ-дун с Линь Бяо, а с ними все пекинские руководители. Газеты вышли с аршинными заголовками о «новом творческом достижении в ходе культурной революции».

Подхалимы использовали реабилитацию рояля как повод для славословия новоявленной покровительницы всех китайских искусств Цзян Цин. А заодно постарались свалить вину за «уничтожение роялей» на «врагов». Как будто за два года можно позабыть, кто именно громил не только рояли, но и всю китайскую культуру: жег книги, бил пластинки, разгонял театры... Инь Чэн-цзун ничтоже сумняшеся приписывает уничтожение инструментов «контрреволюционерам - ревизионистам, представителям черной линии в литературе и искусстве», а также «реакционным научным авторитетам». Выходит, что консерваторские профессора сами сбрасывали рояли из окон и разбивали пальцы лауреатам международных конкурсов...

Причина «шума вокруг рояля» очевидна: «культурная революция» осталась без культурных достижений. Потому и шумят пекинские пропагандисты, пытаясь выдать погромщиков за деятелей культуры.

КИНОХРОНИКА ПО-ПЕКИНСКИ

В 1968 году китайские киностудии бездействовали. Однако осенью «Жэньминь жибао» сообщила, что Центральная студия документальных фильмов выпустила новый цветной фильм. Он состоит из пяти выпусков кинохроники «Новости дня», посвященных деятельности Мао Цзэ-дуна. Это торжественные приемы иностранных гостей, призванные закамуфлировать международную изоляцию Китая, или же парадные встречи с активистами «культурной революции» и «революционными бойцами» всех родов войск.

Вот содержание первого выпуска, озаглавленного «Председатель Мао — красное солнце в сердцах революционных народов мира»: 1. Председатель Мао принимает албанскую партийно-правительственную делегацию; 2. Председатель Мао принимает пакистанских друзей; 3. Красное солнце в сердцах народов мира — Председатель Мао принимает иностранных друзей с пяти континентов...

То же самое повторяется и во втором, и в третьем выпуске, где Мао Цзэ-дун, но уже вместе с Линь Бяо принимает бельгийских и японских раскольников. Уже с третьего выпуска начинаются военные приемы. Мао Цзэ-дун принимает делегатов столичного гарнизона; потом — делегатов флота и войск связи; а весь пятый выпуск отведен теме «Председатель Мао и заместитель Председателя Линь Бяо принимают активистов изучения сочинений Председателя Мао шести родов войск и двух военных академий».

ЛИВАН

КНИГА О МИХАИЛЕ НУАЙМЕ

Жизненный и творческий путь классика современной арабской литературы ливанца Михаила Нуайме (род. в 1889) с самого начала был связан с Россией и русской культурой. В детстве он учился в русской православной школе, открытой в его родном местечке Бискинте «Российским палестинским обществом», затем окончил русский учительский институт в г. Назарете. Как лучший выпускник института, Нуайме был послан для продолжения образования в Россию в духовную семинарию г. Полтавы. Более чем четырехлетнее пребывание в России (1906—1911) оказало огромное влияние на дальнейшую творческую судьбу писателя. В своей автобиографии он писал: «В семинарии я скоро погрузился в русскую литературу. Передо мною точно открылся новый мир, полный чудес. Я читал с жадностью... Литературный застой во всем говорящем по-арабски мире бросился мне в глаза, когда я покинул Россию. Это действовало удручающе, и было обидно до крайней степени для человека, воспитанного на тонком искусстве Пушкина, Лермонтова и Тургенева, на «смехе сквозь слезы» Гоголя, на увлекательном реализме Толстого, на литературных идеалах Белинского...»

Недавно в Бейруте вышла на английском языке книга «Михаил Нуайме», написанная племянником писателя профессором философии Надимом Нуайме. Анализируя мировоззрение и творчество М. Нуайме, автор уделяет много места вопросу о влиянии на писателя русской классической литературы, в частности творчества Л. Толстого, Достоевского и Лермонтова. Молодой Нуайме, по его словам, был захвачен возвышенной лирикой Лермонтова, его страстной любовью к дикой, не тронутой человеком природе. Стихотворения Лермонтова, воспевающие Кав-

каз, напоминали М. Нуайме о снежных вершинах его родного Ливана. Под впечатлением их он сочинил свое первое стихотворение на русском языке, посвященное Ливану, которое было записано им в его дневнике 23 марта 1908 года.

Вскоре Нуайме занес в свой дневник: «Два дня назад я возвратил Лермонтова в библиотеку. Боже! Сколько чувств возбудил во мне этот поэт! Сколько мыслей и дум! И так как я не мог найти его других произведений, то предпочел вернуться, не взяв никакой другой книги». (Книга Лермонтова, которую Нуайме возвратил в библиотеку, как можно понять из дневника, называлась «Демон» и другие поэмы».) «С тех пор, как я прочитал Лермонтова,— продолжал Нуайме,— я охвачен неодолимым желанием писать стихи...» Юношеское увлечение не прошло бесследно. Влияние лермонтовской лирики на Михаила Нуайме, пишет Н. Нуайме в своей книге, «ясно ощутимо в его поэтических и прозаических произведениях».

ЛИВИЯ

ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ НОВЕЛЛИСТОВ

Современная литература Ливии — одна из самых малоизученных. В связи с этим большой интерес представляет статья египетского критика Ахмада Мухаммеда Атыйи «Новелла и человек в Ливии», напечатанная недавно на страницах журнала «Аль-Адаб». По словам автора статьи, именно в новеллах находит прежде всего отражение вся сложность и противоречивость современной ливийской действительности. «Новелла,— пишет он,— самый зрелый жанр ливийской литературы периода после достижения независимости, несмотря на всю ее молодость в сравнении с древней ливийской поэзией». За двадцать лет, прошедших с момента появления первых ливийских рассказов, новеллисты Ливии добились больших успехов. Связь с жизнью народа и постоянное внимание к его нуждам придают ливийской новеллистике реалистический характер, что находит отражение и в языке рассказов, отмечает автор статьи.

Атыйя выделяет три основных этапа в развитии ливийской новеллистики. На первом этапе новеллы носили характер своего рода упражнений в красноречии, достигавшимся в ущерб как художественной форме, так и содержанию. Второй этап характеризовался постепенным освобождением от языковых штампов и «красивостей» и бóльшим вниманием к самой тематике произведений. Яркий представитель этого этапа — Али Мустафа аль-Мисуррати, виднейший деятель современной ливийской культуры и литературы, являющийся одновременно писателем, критиком, литературоведом и историком. Аль-Мисуррати принадлежит сборник рассказов «Разорванный парус». Это, пишет Атыйя, «правдивые реалистические рассказы», где автор рисует жизнь ливийцев без прикрас.

Третий этап развития ливийской новеллистики представлен молодыми писателями, чье творчество вполне современно и по форме и по содержанию. В числе их Юсуф эш-Шериф, Ахмад Ибрахим эль-Факих, Бешир эль-Хашеми и некоторые другие. Наиболее талантливым из них автор статьи считает эль-Факиха. (Сборник его рассказов «Море без воды» на родине писателя был удостоен в 1965 г. первой премии по новеллистике.) По мнению критика, рассказам эль-Факиха свойственна «чеховская точность деталей, наиболее ярко воплощенная в новеллах «египетского Чехова» — Юсуфа Идриса». В своих рассказах он рисует сегодняшнюю Ливию — поля, пораженные саранчой, голодных детей, гордых феллахов, помнящих о славных днях борьбы с итальянским фашизмом, зарождающийся рабочий класс. В рассказе «Море без воды» в аллегорической форме выражена мечта о новом мире, где будут царить любовь и счастье и где людей не будут разделять ни моря, ни расстояния, ни языки, ни расы.

В заключение Атыйя рассказывает о первых шагах самого молодого, четвертого, поколения ливийских новеллистов. Они все чаще дают о себе знать на страницах ливийских газет и журналов. Один из подающих большие надежды молодых писателей — уроженец г. Бенгази Рамадан Абдаллах; сборник его рассказов «Разговор в городе» готовится к печати в Каире.

РОЖДЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Министр культуры и информации Ливии Ахмад ас-Салихин объявил, как сообщает журнал «Аль-Адиб», что 24 декабря этого года, в день шестнадцатой годовщины независимости страны, в городах Триполи и Бенгази начнут работать телевизионные станции.

МОНГОЛИЯ

ЖИВЕТ ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО

Монгольские старинные народные песни уртын-дуу — своеобразный вид искусства, берущий свое начало в глубокой древности. Уртын-дуу — песня протяжная, широкая и раздольная, как бескрайняя монгольская степь. Исполнителю этих песен недостаточно обладать хорошим голосом. Протяжность, многозвучность, неожиданные изменения верхних и нижних регистров требуют от певца тонкой музыкальности, исключительно хорошей постановки дыхания.

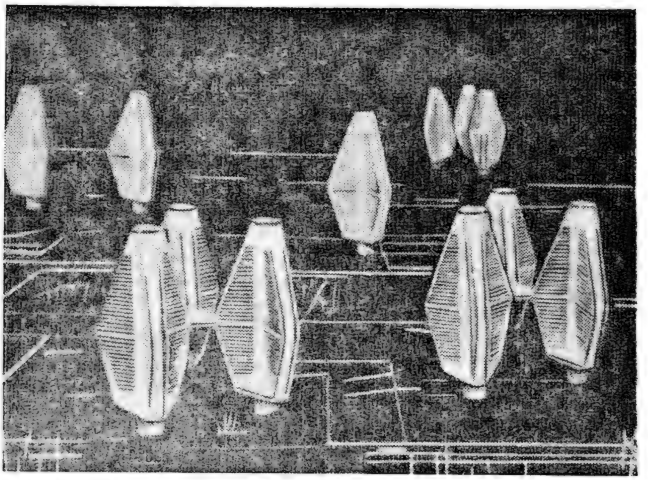
Недавно министерство культуры МНР объявило конкурс исполнителей песен уртын-дуу. Победители заключительного тура отмечены премиями.

ПЬЕСА О ВОЖДЕ МОНГОЛЬСКОГО НАРОДА

Образ выдающегося государственного и политического деятеля Монголии Сухэ-Батора неоднократно

привлекал внимание деятелей литературы и искусства Монголии. Известный монгольский писатель, лауреат Государственной премии Д. Намдаг написал пьесу «Трудный путь» — о героических днях народной революции 1921 года, о жизни и революционной деятельности Сухэ-Батора.

Премьера спектакля, в котором были заняты ведущие творческие силы театра, с большим успехом прошла в Государственном театре драмы имени Нацагдоржа в Улан-Баторе. Зрители и театральная критика отметили талантливую игру молодого артиста Б. Дамдина, который сумел создать правдивый и цельный образ вождя революции — неустрашимого Сухэ-Батора.



Таков проект современной городской застройки высотными зданиями, предложенный польским архитектором Рышардом Семкой из г. Гданьска; специалисты-градостроители из разных стран считают этот проект очень перспективным.

(Еженедельник «Культура»)

ПОЛЬША

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОРСКОГО АГЕНТСТВА

В Польше в течение нескольких лет функционирует организация, носящая название Авторское агентство. Его руководитель писатель Михал Русинек дал недавно интервью корреспонденту еженедельника «Польское обозрение».

— Какую цель преследует деятельность Авторского агентства? — спросил корреспондент.

— Авторское агентство призвано пропагандировать за границей польскую литературу и искусство во всех их проявлениях — живопись, графику, фотографию, музыку и т. д.— ответил Русинек.

В состав Агентства входят четыре организации: Союз авторов и композиторов «ЗАИКС», Союз польских писателей, Союз польских композиторов и Союз польских художников. Таким образом, это союз людей творческого труда.

— Наши издания информируют зарубежные агентства и общественность о польском искусстве, пропагандируют его достижения, — продолжал писатель.— Мы издаем брошюры о деятелях польского искусства, выпускаем для театров за рубежом справочник «100 польских пьес последних лет». Кроме того, издаем журнал «Польская музыка» на английском и немецком языках, иллюстрированный еженедельный журнал «Польская литература» на французском языке, хотим выпускать аналогичный журнал, посвященный изобразительному искусству.

В настоящее время Агентство подготавливает большую международную выставку переводов польской современной книги. Она откроется в конце этого года в Париже.

Далее Михал Русинек рассказал о широком интересе к польской литературе и искусству за рубежом. Так, в послевоенные годы на иностранные языки, по данным Агентства, было переведено 4 тыс. польских книг.

ВАЙДА ЕДЕТ ВО ВЬЕТНАМ

Как сообщает газета «Трибуна люду», известный кинорежиссер Анджей Вайда собирается снимать фильм о борьбе народа Вьетнама против агрессии США. С этой целью Вайда скоро отправится в Демократическую Республику Вьетнам.

«В современном мире существует несколько основных жгучих проблем,— заявил Вайда в интервью корреспонденту газеты,— и одна из них, несомненно,— проблема Вьетнама. Важно, если человек может внести хоть самый скромный вклад в разрешение этой проблемы. Заранее трудно определить жанр моей будущей работы, так как я никогда прежде не был во Вьетнаме, но я глубоко убежден, что только познание действительности позволит создать нечто новое и оригинальное. Сознавая все трудности, которые могут возникнуть при съемках фильма, я все же не теряю надежды, что мне удастся проникнуть в суть проблем и событий и воссоздать на киноленте то, что до сих пор еще не было показано в фильмах о Вьетнаме».

НЕИЗВЕСТНАЯ ПОВЕСТЬ ВИТКЕВИЧА

Варшавский Государственный издательский институт (ПИВ) выпустил недавно неизвестную до сих пор повесть «Единственный выход» выдающегося поль-

ского писателя предвоенных лет Станислава Игнацы Виткевича (Виткацы). Она была обнаружена недавно в архиве писателя и подготовлена к изданию Томашем Йоделка-Бужецким.

Обозреватель газеты «Трибуна люду» Вацлав Садковский пишет в рецензии, что эта книга «несколько уступает основным произведениям писателя «Прощание с осенью» и «Неудовлетворенность». Но она близка им по духу в талантливом и смелом разоблачении насквозь фальшивого мещанского быта, в сатирическом изображении «устоявшихся» форм жизни. Повесть эта дает также возможность лучше узнать философские и эстетические взгляды Станислава Игнацы Виткевича...»

Садковский приветствует инициативу издательства ПИВ, которое, по его словам, открывает для польского читателя малоизвестные страницы предвоенной польской литературы.

США

ПЕРВАЯ КНИГА ДЖОАН БАЭЗ

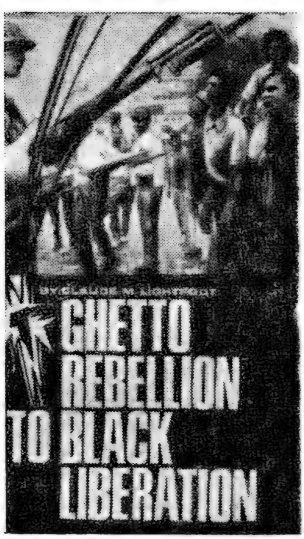
Джоан Баэз известна в Соединенных Штатах и далеко за их пределами как ведущая представительница особого антивоенного движения американской молодежи — движения, выражающего протест против вьетнамской войны с помощью песни. Джоан не только поет, она аккомпанирует себе на гитаре, сочиняет мелодии и тексты своих песен. За активную деятельность против проводимой правительством авантюристической политики во Вьетнаме власти неоднократно подвергали ее арестам. Но голос Джоан Баэз не умолкает.

Недавно отважная американка прибавила к своему арсеналу антивоенных средств новое оружие — книгу. Вышедшая в Нью-Йорке на 159 страницах ее первая литературная исповедь под названием «Рассвет» была тепло встречена критиками. Даже рецензенты далеко не левых американских журналов, такого как «Ньюсуик», например, отметили «правдивость и неподкупную искренность» лирической прозы певицы.

В книге «Рассвет» Джоан пишет о своем детстве, о юности, о многих ночах, проведенных ею в тюрьме, о ее современнике — молодом парне, который попадает за решетку, потому что отказывается ехать во Вьетнам воевать «неизвестно за что» и которого гнетет мысль, что на его молодость «непрерывно совершается покушение». Джоан старается разобраться в водовороте трагических событий XX века; героиня книги — она сама, тонко чувствующая мир и людей, преисполненная надежд на лучшее будущее человечества и непреклонная в борьбе.

«От восстаний в гетто до освобождения негров» — так называется вышедшая недавно книга Клода Лайтфута — члена Национального комитета компартии США, ветерана борьбы за гражданские права негров. Автор коротко так сформулировал основную идею книги: «Наша цель сейчас заключается в том, чтобы гарантировать равенство черного меньшинства в обществе белого большинства».

(Газета «Дейли уорлд»)



ФРАНЦИЯ

ЛУВР ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

В знаменитой художественной галерее, занимающей здание Луврского дворца, начата генеральная перепланировка, намеченная еще два года назад. Художественные произведения будут размещены по новому принципу, а весь музей разделен на две части. В первой будут собраны исключительно шедевры мирового изобразительного искусства, во второй — менее известные произведения, которые ныне незаслуженно лежат в хранилищах.

До сих пор в основу экспозиции был положен принцип художественных стилей. Это давало возможность проследить особенности всех значительных течений в европейском искусстве. В то же время было затруднено знакомство с национальными школами, в том числе — с французской. Трудно было проследить и творчество отдельных мастеров в хронологическом порядке. Руководители музея, как они заявили в интервью для печати, надеются, что новая планировка даст возможность посетителям Лувра последовательно проследить развитие французской живописи от средневековья до наших дней. Столь же удобно будет знакомство и с другими национальными школами.

«РОМЕН РОЛЛАН И МАКСИМ ГОРЬКИЙ»

Вслед за «Полным собранием сочинений М. Горького» издательство «Эдисьон франсэ реюни» опубликовало книгу Жана Перюса «Ромен Роллан и Максим Горький», сообщает французская печать. В этом исследовании сопоставляются, как пишет Андре Стиль в газете «Юманите», «две большие судьбы, два творческих пути, взятые в моменты их пересечения, их далеко не случайного соприкосновения». По мнению Стиля, Жан Перюс вопреки «установившейся между именами Горького и Роллана механической ассоциа-

ции», восстанавливает во всем богатстве мысли, чувства и действия, характерные для взаимоотношений писателей, «в которых различия создавали великолепную гармонию». Диалоги Горького и Роллана открывают, по словам Стиля, возможность более глубокого проникновения в их творческий мир, более тонкого анализа их многообразных связей с эпохой, позволяют преодолеть некоторые общепринятые штампы в отношении к ним.

Жан Перюс — отмечает Стиль — анализирует и сопоставляет концепции любви, социализма, политического действия и некоторые другие темы творчества М. Горького и Р. Роллана. Он подчеркивает реалистическую направленность творчества обоих писателей, «которые как художники и мыслители,—пишет Стиль,— стремились выразить присутствие и действие в реальном мире нарождающегося социализма».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

БЫТЬ С НАРОДОМ

Газета «Руде право» напечатала Заявление деятелей искусства, ученых и журналистов, в котором подчеркивается, что место всех деятелей культуры и науки ЧССР в эти дни — у себя в стране, вместе с народом, что только в союзе с народом, идя по пути, определенному январскими решениями ЦК КПЧ, можно продолжать строительство социализма.

К Заявлению присоединились многие писатели. Среди них Иржи Марек, Милослав Стеглик, Олдржих Микулашек, Ян Отченашек, Ян Скацел, Зденек Плугарж, Карел Птачник, Адольф Гофмейстер, Эдуард Валента и др.

Известный чешский поэт, народный художник Ярослав Сейферт в выступлении по телевидению, а также на страницах журнала «Кветы» и газеты «Руде право» сказал: «Я не хотел бы говорить в патетических тонах, события сами достаточно патетичны и не нуждаются в громких словах. Но все же я хотел бы заявить от имени писателей и от имени своих друзей, что мы никогда не покинем нашу страну, мы хотим быть с нашим народом».

ЮГОСЛАВИЯ

СБОРНИК ПОЭЗИИ ВЬЕТНАМА

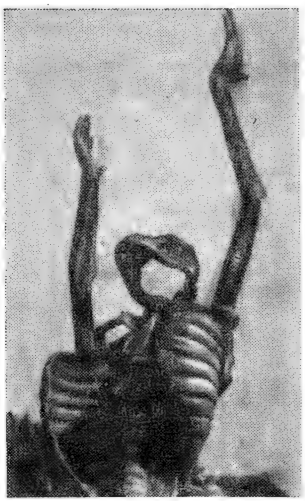
«Товарищ, твой дом в огне!» — эта строка из стихотворения вьетнамского поэта дала название книге, вышедшей недавно в Югославии. Сборник стихотворений поэтов Вьетнама, изданный на сербском языке по инициативе писателей Сербии, включает стихи Хо Ши Мина, поэтов ДРВ и поэтов-партизан Южного Вьетнама.

Переводы стихов сделаны пятнадцатью лучшими сербскими поэтами, в том числе такими широко известными в Югославии мастерами слова, как Десанка Максимович, Мира Алечкович, Александр Вучо. Вся работа по изданию книги велась на общественных началах. Бумажный комбинат в городе Приедор выделил бесплатно для сборника бумагу лучшего качества.

Доход от продажи книги будет передан в фонд помощи вьетнамскому народу.

Памятник в Любели, на месте бывшего концлагеря, где в годы второй мировой войны гитлеровцами содержались польские патриоты.

(Еженедельник «Фильм»)



ЮАР

В ТЕМНОТЕ И НЕВЕЖЕСТВЕ

Южно-Африканская Республика, обладающая электронной промышленностью, не имеет своего телевидения. И это отнюдь не от бедности. Как отмечает корреспондент агентства Ассошиэйтед пресс в Иоганнесбурге, тому виной не экономические трудности. Дело в том, что нынешние расистские правители ЮАР больше всего боятся распространения среди населения информации о жизни в других государствах.

Поэтому расисты, стоящие у власти, всеми силами стараются затормозить развитие средств информации. Случай анекдотический, но министр почт и телеграфа правительства Претории А. Херцог был смещен со своей должности за то, что не проявлял достаточной активности в борьбе... против расширения средств связи.

Зато его преемник на этом посту Б. Ренсбург прямо заявил, что у него нет насчет телевидения никаких планов. Судя по всему, не видать голубого экрана жителям страны — ни теперь, ни в ближайшем будущем.

«Держать население в темноте и невежестве» — вот лозунг расистов. Так спокойнее!

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Сколько голов — столько умов... Эта крылатая фраза, а не банальная «о вкусах не спорят» (спорят, и еще как!) могла бы послужить эпиграфом к многочисленным письмам наших читателей. В редакцию журнала, как всегда, пишут люди разных профессий: учителя, инженеры, врачи, артисты, рабочие, служащие, студенты. Возраст читателя — «от 15 до 90 лет», сообщает нам В. Сикорский из Ростова-на-Дону, взяв в пример свою большую семью, многочисленных друзей и родственников. И, независимо от того, как высоко оценивают наши читатели публикуемые материалы или насколько резко критикуют их, цель писем одна — видеть в нашем журнале еще более полное отражение сложных и во многом противоречивых процессов, характерных для современной мировой литературы. Вот почему хотелось бы наш очередной обзор начать с благодарности всем читателям за выраженную ими искреннюю заинтересованность в дальнейшем повышении эстетического и идейного уровня журнала.

В прошлом обзоре редакция обратилась к читателям с просьбой прислать свои отзывы на материалы, опубликованные в 1967 году. В ответ пришли десятки писем, значительная часть которых отличается от предыдущей почты тем, что в них дается подробный и обстоятельный разбор наших публикаций. Наш постоянный подписчик инженер Ю. Е. Студенцов из Ленинграда так и озаглавил свое письмо. «Читательские раздумья по поводу содержания журнала в 1967 году». Под такую рубрику подходят письма читателей И. Шаховцова, полковника в отставке из Харькова, ленинградского филолога О. Ф. Хузе, молодого инженера из Саратова И. Г. Шапиро, рабочего Е. И. Бадуева из Иркутской области, Б. В. Шляпникова из Перми.

Полемизируя с прошлогодним обзором и отстаивая свою точку зрения, т. Шляпников заявляет: «Козьма Прутков писал, что нельзя объять необъятное. Вы же стремитесь охватить в одном журнале художественную литературу, критику, публицистику, политику, изобразительное искусство, кино, театр и хронику общей жизни... По-моему, удельный вес художественной литературы должен быть увеличен до 80 процентов общего объема публикуемых материалов. Это обеспечит дополнительную публикацию в журнале ежемесячно одного романа или повести объемом в 50 стр., а также своевременный выход журнала». При этом тов. Шляпников заявляет, что причиной опоздания журнала в прошлом году, по его мнению, «явилось собирание высказываний писателей по вопросам критики и политико-общественным». Эти отзывы, на его взгляд, получились «бледными, трафаретными... Лучше бы опубликовать в журнале хороший роман, и читатели получили бы удовольствие, и журнал вышел бы в срок».

Ну что ж, мы отдаем автору письма должное. Его оценки опубликованной журналом художественной прозы и поэзии в ряде случаев совпадают с оценками других наших читателей, а так же и редакции журнала. Однако, при всем уважении к этим суждениям, подход т. Шляпникова к содержанию журнала нельзя не признать односторонним. «Иностранная литература» — журнал художественный и *общественно-политический* (подчеркнуто нами.— *Ред.),* отсюда, естественно, и разнообразие его рубрик. Не говоря уж о разделе критики, без коего вообще немыслим такой журнал, не следует забывать, что идейная и культурная жизнь за рубежом, которую, к сожалению, мы отражаем зачастую слишком бегло,— это, собственно, общественно-политический фон развития современной мировой литературы, со всеми его противоречивыми явлениями. И, право, нет нужды созывать специальное заседание редакционной коллегии по этому вопросу, как предлагает автор данного письма, ибо именно она обсуждает и утверждает содержание каждого номера журнала.

Высказывания зарубежных писателей по вопросам критики и общественно-политическим проблемам, которые не устраивают т. Шляпникова, привлекают особое внимание читателей, интересующихся литературой не только как развлекательным чтением, но стремящихся понять и осмыслить современный литературный процесс.

«Нужно чаще давать «Круглый стол», «Анкету», «Писатель и время»,— пишет в своем читательском обзоре журнала И. Г. Шапиро.— Я напечатанные произведения систематизирую. А к ним нужны статьи, обзоры, сообщения хроники... После

моей обработки от журнала остаются одни корешки. Хотелось бы, чтобы так оно всегда было».

Читательница журнала О. Ф. Хузе, со своей стороны, подчеркивает: «Мне нужны и дороги те материалы журнала, которые знакомят нас с духовным миром зарубежных деятелей культуры, поэтому ответы на анкеты, встречи с писателями в редакции журнала — особенно по такому вопросу, как «Рабочий класс, общество, литература»,— отличны, познавательны, интересны».

Такие цитаты из писем можно было бы умножить. Лучшими художественными произведениями, опубликованными в журнале, читатели считают: «Ферму» Джона Апдайка, «Прелестные картинки» Симоны де Бовуар, «Человек из народа» Чинуа Ачебе, «Дансинг в ставке Гитлера» Анджея Брыхта, сценарий Антониони «Красная пустыня», повесть Бел Кауфман «Вверх по ведущей вниз лестнице», «Сократ в Хельсинки» Мартти Ларни, «Барлах в Гюстрове» Франца Фюмана, рассказы Альберто Моравиа.

Резко разошлись мнения читателей о романе Кобо Абэ «Чужое лицо». Одни причисляют его к списку наиболее интересных произведений, напечатанных журналом в 1967 году (Ю. Студенцов, И. Шапиро, О. Хузе), другие считают сюжет романа надуманным, неправдоподобным и публикацию его ненужной (Б. Шляпников, Р. Раскина, Я. Дикман). От себя скажем: печатая роман Кобо Абэ, одного из талантливых представителей современной японской литературы, редакция преследовала цель — познакомить советского читателя с новым произведением популярного писателя Японии, лауреата премии Акутагава и французской литературной премии для иностранных авторов, сутью творчества которого является проникновение в сложный внутренний мир человека, зачастую при исключительной, необыкновенной психологической ситуации. Социальные проблемы автор заостряет путем гротескно-условной манеры, что придает его произведениям особое звучание и своеобразие.

Мы считаем заслуживающим внимания предложение Э. В. Августиновича из Перми постоянно знакомить читателей «Иностранной литературы» с произведениями зарубежных писателей, удостоенных крупнейших национальных и международных премий.

И, наконец, переходя к читательским высказываниям о материалах, опубликованных в журнале в нынешнем году, редакция решила пока ответить лишь на те письма, которые носят критический характер. Надо сказать при этом, что откликов на наши публикации 1968 года еще сравнительно мало, ибо такие письма в редакцию поступают, как правило, в конце текущего года и в начале будущего.

Однако прежде чем перейти к критическим замечаниям читателей, хотелось бы отметить, что публикация рассказов «Посторонний» и «Гость» Альбера Камю вызвала немедленный отклик. Преподаватель А. Ф. Кузин из Владимира пишет: «Я прочитал уже и Камю и то, что вы о нем написали *. Так как Камю помещен в этом же номере и любой может проверить ваши слова, то они звучат неотразимо. Это — во-первых. Не так было бы, если бы ваша статья была в «Иностранной литературе», а вещи Камю — во Франции Во-вторых, я убежден, что, прочитав в «Иностранной литературе» эти две вещи Камю, многие из молодых людей утратят к нему интерес. Издали он казался таинственным и необычным, вблизи его увидят таким, каков он есть,— ни больше, ни меньше. Я наблюдал, как многие набросились, рванулись на Кафку — и почти сразу же волна отхлынула от него. Здоровый организм не может долго выносить такой наркотик... В целом — спасибо за журнал. Всегда жду с нетерпением каждого очередного номера».

Мы и в самом деле хотели показать Камю (как прежде и Кафку) «таким, каков он есть,— ни больше, ни меньше», хотя и не думаем, что читатель утратит интерес к этим писателям, чье творчество отражает трагическое одиночество и отчужденность человека в буржуазном мире.

Какие же претензии предъявлены журналу по материалам нынешнего года? Обращают на себя внимание четыре письма: заслуженного артиста РСФСР В. Будрейко из Ленинграда о романе Жоржа Сименона «Тюрьма» и письма читателей М. Фельдмана (г. Ереван), А. Маклецова (г. Москва) и А. Михася (г. Махарадзе) по поводу публикации повести Гюнтера Грасса «Кошка и мышь».

Многих наших читателей интересует творчество Жоржа Сименона. Мы ежегодно получаем письма с просьбой публиковать его новые (и не только новые!) произведения. Не составляет исключения и почта нынешнего года. Об этом нас просят читатели Р. Плеханов из Архангельска, А. Береснев из Вологодской области, Б. Новиков с Украины и др. Среди отзывов на публикацию нового романа Сименона «Тюрьма» есть, надо сказать, довольно резкий отклик заслуженного артиста РСФСР В. Будрейко: «Зачем его переводить и печатать у нас в Советском Союзе? О чем он говорит? К чему зовет? Чему учит? Где герои? Стоит ли печатать подобное? Что замечательного в герое Алене Пуато? То, что он осознал, что его жизнь — это мыльный пузырь? Это ли типично для сегодняшней Франции? Безыдейность и, следовательно, пустота». Но в том, что Ален «осознал, что жизнь его — это мыльный пузырь»,— суть романа «Тюрьма». Писатель с присущим ему мастерством показал, как может быть исковеркана судьба человека в буржуазном обществе, где в основе лежит личная выгода, карьеризм и полное отсутствие моральных критериев. При сложившихся в семье Пуато трагических обстоятельствах, когда рушится привычная для него «сладкая жизнь», Ален ви-

* См. «Иностранную литературу» № 9, 1968 г.

дит себя как бы со стороны, он осознает никчемность такого существования, лживость и цинизм, лежащие в основе отношений к людям в окружающем его обществе.

Вот, собственно, «о чем говорит» новый роман Жоржа Сименона.

Критики повести Гюнтера Грасса «Кошка и мышь» тоже спрашивают, «о чем здесь идет речь», в чем «ценность повести и причины, побудившие опубликовать ее на страницах журнала». Прежде всего несколько слов о Гюнтере Грассе, произведение которого впервые публикуется на русском языке (о художественном кредо писателя и своеобразии его творческой манеры говорилось в статье А. Карельского «Блеск и нищета сатиры», № 6, 1965). Несмотря на трудное восприятие специфически грассовской образности, его книги вошли в список бестселлеров в Западной Германии, они переведены и на другие языки, а сам писатель стал лауреатом многих литературных премий. Мы решили познакомить советского читателя с этим своеобразным явлением в сегодняшней немецкой литературе, опубликовав повесть Грасса «Кошка и мышь». Она привлекла наше внимание как своей антифашистской направленностью, так и особой тональностью, зазвучавшей в грассовской сатире. Это не просто язвительный смех с изрядной дозой цинизма, а смех сквозь слезы.

Герой повести Грасса Иоахим Мальке удивляет друзей силой воли, с которой он преодолевает ощущение собственной неполноценности, неожиданными поступками, требующими незаурядного мужества. Так в глазах школьных товарищей он становится «Великим Мальке» Потом гитлеровская армия, фронт. Мальке приезжает в отпуск офицером с «орденом рыцарского креста», который он заработал, уничтожая русские танки «на отрезке Ковель—Брест». Но к этому времени он уже по горло сыт преступной лжеромантикой, в духе которой воспитывалась гитлеровская молодежь. «Я не боюсь, просто с меня хватит. Ты понимаешь?» — говорит он своему другу. И Мальке нырнул в свой подводный мальчишеский тайник на затонувшем судне, нырнул... но «не пожелал вынырнуть». Так ушел из жизни «Великий Мальке», к которому автор питает явное сочувствие. Мальке, в сущности, жертва фашизма. Отсюда и символический образ кошки, охотящейся за мышью.

Конечно, далеко не все в манере писателя приемлемо для нас. Несомненно, отталкивают излишне натуралистические описания, чаще всего связанные с физиологией человека. Многое в повести действительно звучит цинично, но ведь и время, в которое жил Мальке, время фашизма было страшным, растлевающим юные души.

В заключение хотелось бы напомнить, что наш журнал ставит своей задачей отразить реально существующее многообразие современной зарубежной литературы, различие ее направлений, методов, стилей.

Художественные произведения не дают готовых решений или абсолютных по своей бесспорности оценок зарубежной жизни. Они заставляют читателя задумываться над жизненными явлениями и человеческими судьбами, освещенными художниками слова, дают, как говорили в старину, «пищу уму».

Несколько слов о читательских письмах, выражающих недовольство нашим «увлечением мелким шрифтом». Конечно, редакции хотелось таким путем увеличить возможности для публикаций. Однако в дальнейшем, учитывая мнение читателей, мы постараемся в художественном отделе прибегать к нему значительно реже.

Итак, до новых встреч в наступающем году. Ждем ваших писем.

Авторы этого номера

ЛУНСАЙНИ КАБА — KABA LONSANI (род. в 1938 г.).

Гвинейский поэт. На русском языке его стихи печатались в нашем журнале (№ 10, 1965) и в сборнике «Из африканской лирики», вышедшем в 1967 году.

Публикуемые стихи получены от поэта в рукописи.

ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА (Жозе Матеуш Виейра ди Граса) — **LUANDINO VIEIRA** (род. в 1935 г.).

Ангольский писатель, родившийся в Луанде, главном городе Анголы, и посвятивший ему все свои рассказы. Часть из них вошла в сборники «Город и детство» («A cidade e a infância», 1961) и «Луанда» («Luuanda», 1964).

Советским читателям Л. Виейра знаком по неоднократно публиковавшимся в русском переводе его рассказам и стихам. В «Иностранной литературе» были напечатаны рассказы «Асфальтовая граница», «Кинзиньо» (№ 5, 1962 г.), «Как заколдовали предателя» (№ 8, 1965 г.) и повесть «Путь Домингуша Шавиера» под псевдонимом Мунделе диа Кванза (№ 9, 1963).

В этом номере мы публикуем рассказы из книги «Луанда», получившей в 1965 г. Большую премию Общества португальских писателей. За присуждение этой премии Общество было запрещено португальскими властями, многие его члены арестованы, тираж книги уничтожен. Сам писатель за участие в народно-освободительном движении неоднократно подвергался аресту. В 1963 г. португальским военным трибуналом приговорен к 14 годам каторжных работ. В настоящее время находится в концентрационном лагере на островах Зеленого Мыса.

ДОРА ГАБЕ (род. в 1888 г.).

Видная болгарская поэтесса, стихи которой составили несколько сборников, в том числе «Земной путь» («Земен път», 1928), «Вела», партизанская поэма, 1946, «Неспокойное время» («Неспокойно време», 1957) и др.

В последние годы вышли поэтические книжки «Новые стихи» («Нови стихове», 1963), «Лирика» (1966). Дора Габе — одна из признанных поэтесс также и у маленьких читателей — она много пишет для детей.

В этом номере Д. Габе представлена циклом стихов. За исключением стихотворения «По воздуху» (которое было напечатано в газете «Литературен фронт»), все остальные стихи взяты из ее недавно вышедшей книжки «Помедли, солнце» («Почакай, слънце»), отмеченной литературной премией 1967 года.

ПЕТЕР ВЕЙС — PETER WEISS (род. в 1916 г.).

Немецкий писатель и драматург, эмигрировавший из фашистской Германии в 1934 году и поныне живущий в Швеции.

Имя Петера Вейса приобрело широкую известность после появления его пьес «Преследование и убийство Жана-Поля Марата» («Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade», 1964) и «Судебное разбирательство», вызвавшей взволнованные отклики во многих странах мира. Эта антифашистская пьеса опубликована нашим журналом в № 5 за 1966 год. Затем вышла посвященная разоблачению американской агрессии во Вьетнаме пьеса «Диспут» («Discurs...», 1967), построенная,

так же как и «Судебное разбирательство», на документальном материале.

О П. Вейсе на страницах нашего журнала см. в статьях Е Книпович «Художник и история» (№ 8, 1965) и «Свидетели» (№ 5, 1966). Заметки драматурга о документальном театре напечатаны в № 7 «Иностранной литературы» за 1968 год.

В этой книжке журнала мы предлагаем вниманию читателей новую пьесу П. Вейса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился» («Wie dem Herrn Mocinpott das Lieden ausgetrieben wird», 1968), сценический вариант которой получен редакцией от автора.

■

РАДОВАН ЗОГОВИЧ (род. в 1907 г.).

Известный югославский поэт, литературный критик, публицист, переводчик. Им переведены многие произведения Маяковского и других советских писателей. В годы войны с фашизмом был одним из видных деятелей партизанского движения.

Публикуемая в номере статья Р. Зоговича «Вера в людей» написана для нашего журнала.

■

ЖАН БРИЕР — JEAN BRIERRE (род. в 1909 г.).

Гаитянский поэт, драматург, романист; в последние годы живет в эмиграции в Сенегале, являясь директором департамента литературы и искусств в министерстве культуры Сенегала. Перу Ж. Бриера принадлежит ряд драм в стихах, посвященных истории борьбы гаитянского народа: «Знамя грядущего» («Le drapeau de demain», 1931), «Прощание с Марсельезой» («Adieu à la Marseillaise», 1955) и др., многочисленные поэмы, среди которых следует отметить «Истоки» («La source», 1956), «Ночь» («La nuit», 1957), «Открытия» («Découvertes», 1962). Получившая широкую известность поэма «Черная душа» была напечатана в нашем журнале (№ 1, 1960).

В этом номере публикуется статья Жана Бриера, написанная им под впечатлением международной встречи писателей в Ташкенте в сентябре этого года, участником которой он был.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1968 г. (№№ 1—12)

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА

Давидсон, А.— Трансваальская листовка, № 7.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. ГОРЬКОГО

ГОРЬКИЙ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ХУДОЖНИКОВ, № 3.

ГОРЬКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ, (Писатели разных стран мира за «круглым столом»). № 11.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ Р. РОЛЛАНА И А. М. ГОРЬКОГО. № 5.

Ла Гума, Алекс — Чему я научился у Максима Горького, № 3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Абрахамс, Питер — Во власти ночи (Роман), №№ 6—7.

Амадор, Рамон Амайа — Операция «Горилла» (Роман. Послесловие Б. Рюрикова), №№ 9—10.

Ватерштрадт, Берта — Дверь-вертушка (Рассказ), № 10.

Вейс, Петер — О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился (Представление в одиннадцати картинах), № 12.

Видал, Гор — Вашингтон, округ Колумбия (Роман), №№ 11—12.

Виейра, Луандину — Луанда (Рассказы), № 12.

Вильяраса Гусман, Глория — Подарок (Рассказ), № 4.

Ву Ту Нам — Дом у дороги (Рассказ), № 8.

Гарсиа Вилья, Хосе — Человек, который был похож на Рисаля (Рассказ), № 4.

Голдинг, Уильям — Шпиль (Роман), № 10.

Грасс, Гюнтер — Кошка и мышь (Повесть), № 5.

Добози, Имре — Вторник, среда, четверг (Повесть), № 6.

Камю, Альбер — Посторонний (Повесть). Гость (Рассказ), № 9.

Кант, Герман — Актовый зал (Роман), №№ 1—3.

Квирк, Джон — Победители без лавров (Главы из романа), №№ 7—8.

Красицкий, Ежи — Годовщина свадьбы (Телевизионная пьеса), № 5.

Миллер, Артур — Цена (Драма в двух действиях. Вступление Конст. Симонова), № 6.

МЫ СНОВА УХОДИМ В БОЙ... (Рассказы писателей Вьетнама), № 8.

Нгуен Динь Тхи — Линия фронта прочерчивает небо (Повесть), № 11.

Нгуен Киен — Баллада о детях (Рассказ), № 8.

Неруда, Пабло — Звезда и смерть Хоакина Мурьеты (Драматическая кантата), № 2.

Несин, Азиз — Цыплят по осени считают. Секрет благочестия. Как свергнуть правительство (Рассказы), № 9.

Олдридж, Джеймс — Сын земли чужой (Роман), №№ 3—5.

Пирелли, Джованни — По поводу одной машины (Роман), №№ 6—7.

Помрой, Уильям — Приказ. Флора (Рассказы), № 4.

РАССКАЗЫ ФИЛИППИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 4.

Сименон, Жорж — Тюрьма (Роман), № 8.

Ставинский, Ежи — Час пик (Повесть), № 4.

Фолкнер, Уильям — Осквернитель праха (Роман), №№ 1—2.

Хоай Ву — Шелест пальмовых листьев (Рассказ), № 8.

Хэнсберри, Лорейн — Плакат в окне Сиднея Брустайна (Пьеса), № 3.

Чандар, Кришан — Прекрасный принц. Отставка сатаны. Справедливость Викрамадитьи (Рассказы), № 1.

Чивер, Джон — Геометрия любви (Рассказ), № 5.

Штриттматтер, Эрвин — На ферме в былое время. Зайцы прыгают через забор. На набережной Ялты (Новые рассказы), № 8.

Шчепанович, Бранимир — Перед истиной. Смерть господина Голужи. Оборона. Иллюзия (Рассказы), № 9.

Эдроса-Матуте, Хеновева — Возвращение (Рассказ), № 4.

СТИХИ

Абдель Сабур, Салах — Напала орда, № 7.
Адиль Сулейман, Мухаммед — Мелодия мира, № 7.
Александру, Ион — Конец войны, № 2.
Ань Тхо — Голос гонга, № 1.
Балтаг, Чезар — Преломление в сегодня, № 2.
Башев, Владимир — Мысли раздвигают тишину... № 3.
Бианчи, Матильде — Когда я тебя зову, № 6.
Бландиана, Ана — В глубокой тишине. Танец под дождем, № 2.
Бобровский, Иоганнес — Поющее слово (Вступление Сергея Львова), № 5.
Валье, Хувенсио — Мелодии родины, № 11.
Валькарсель, Густаво — Гимн Ленину. № 4.
Варела, Альфредо — Слово борцам! (Отрывок из поэмы), № 1.
Виейра, Сержиу — Триптих о войне, № 5.
Витале, Ида — Процессия, № 6.
Габе, Дора — Помедли, солнце, № 12.
Гебуза, Арманду — Что делать, Мать? Твои страдания, № 5.
Грейвз, Роберт — Стихи о любви, № 2.
Грубин, Франтишек — Хиросима, № 2.
Зехентер, Эльжбета — Из первой книги № 6.
Ибаргоэн Ислас, Саул — Соль, № 6.
ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ. Роберт Грейвз — Стихи о любви. № 2.
ИЗ ИНДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ. Шанкара Куруп (Вступительная статья с Ачуты Менона). № 9.
ИЗ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОЭЗИИ. Витторио Серени (Вступление Л. Вершинина), № 1.
ИЗ МАЛАГАСИЙСКОЙ ПОЭЗИИ. Ж.-Ж. Рабеаривело. № 3.
ИЗ ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ. Нефзат Устюн. № 4.
ИЗ УРУГВАЙСКОЙ ПОЭЗИИ, № 6.
ИЗ ШВЕДСКОЙ ПОЭЗИИ. Карл Эмил Энглунд (Вступление И. Бочкаревой), № 10.
ИЗ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ. Дзюн Таками (Вступление И. Львовой). № 8.
Инджов, Никола — Все снова прожить... № 8.
Каба, Лонсайни — Стихи. № 12.
Квазимодо, Сальваторе — Стихи (Слово о Квазимодо Евгения Солоновича), № 10.
Кедиди, Ахмад — Стихи, № 10.
КОГДА КАЖДЫЙ СТАНОВИТСЯ СОЛДАТОМ (Стихи вьетнамских поэтов. Вступление Ирины Левченко). № 1.
КОГДА СРАЖЕНЬЯ — СМЫСЛ ЖИЗНИ. (Стихи молодых поэтов Мозамбика. Вступление Марселину Душ Сантуша). № 5.
Куруп, Шанкара — Стихи № 9.
Марра, Нельсон — Стена друзей, № 6.
Медиса, Альберто — Вьетнам, № 6.
Мунгвамбе, Жоан — Кто виновен, мой брат? Можешь смеяться над стонами боли моей... № 5.
МЫ ТЕБЯ ЗНАЕМ, ЗАВТРА (Стихи молодых румынских поэтов. Вступление Кирилла Ковальджи). № 2.
Нгуен Динь Тхи — Люди Фу-Лоя. Помню, № 1.
Нгуен Суан Шань — Я в доме Маяковского, № 1.
Притам, Амрита — Лирические стихи (Из книги «Черная роза»), № 1.
Пэунэску, Адриан — Редкая радость весны, № 2.
Рабеаривело, Ж.-Ж. — Стихи. № 3.
Ребелу, Жоржи — Свобода, Стихи солдата, № 5.
Рицос, Яннис — Вечер. Воспоминание. Древний театр. Пророчество. № 7.
РОЖДЕН Я В ЕГИПТЕ... (Стихи поэтов ОАР), № 7.
Саласар Бонди, Себастиан — Все это — моя страна, № 8.
Серени, Витторио — Стихи, № 1.
Скала, Иван — Этот день (Космические вариации), № 11.
Сореску, Марин — Если вода не чернеет.., По ту сторону, № 2.
Стэнеску, Никита — Полюс будущего. Музыка. Подростки на море, № 2.
Суан Зиеу — Любовь разлученных, № 9.
Суан Хоанг — Порт Донг-хой, № 1.
Таками, Дзюн — Стихи. № 8.
Тим Чанг — Цветы бонг шунг, № 1.
Тинь Хыу — Керосиновые фонари, № 1.
Торрес Бодет, Хайме — Листки, занесенные вихрем, № 3.
То Хыу — Здравствуй, весна шестьдесят седьмого, № 1.
Тхань Хай — Вы уже взлетели! № 1.
Тху Бон — Песня о птице Те-рао, № 1.
Устюн, Нефзат — Стихи, № 4.
Фаиз, Ахмад Фаиз — Стихи о любви и свободе, № 9.
Хамис, Файяд — Из разных лет, № 8.
Хигази, Ахмад — Свидетели. Было у меня сердце, № 7.
Хиордано, Уго — Однажды человек... № 6.
Хоанг Чунг Тхонг — Малыш, № 1.
Хюи Кан — На этом клочке земли, № 1.
Шимон, Иштван — Зеркальный мир, № 7.
Штамбук, Зденко — Ленин, № 4.
Яковски, Рубен — На далеком Юге. Кинохроника, № 6.
Ясин, Катеб — Живая память (Фрагмент), № 9.
Энглунд, Карл-Эмил — Стихи, № 10.

ЮМОР

Кэппи, Уилл — Клеопатра. № 8.
Туроне, Серджо — Верблюд святого Франциска. № 8.
Тэрбер, Джеймс — От чего страдает человечество? № 8.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Эрнандес, Мигель — Стихи, № 11.

КРИТИКА

Бернштейн, И.— Всеобщее и национальное (Из опыта литературы Чехословакии), № 8.
Бродская С., Бялик Б.— Не умирающее и не стареющее (Запад о М. Горьком), № 2.
Валицкий, В.— Последний китайский роман, № 12.

Вишневский, С.— Путь наверх — путь вниз (По поводу романа Джона Квирка «Победители без лавров»), № 8.
Гальперина, Е.— Цена свободы (По поводу романов Питера Абрахамса), № 6.
Дадье, Бернар — Люди между двумя языками (Послесловие Г. Потехиной), № 4.
Днепров, В.— Злой человек и добрый человек (Из опыта современного западного романа), № 7.
Днепров, В.— Субъективное в морали, № 10.
Елистратова, А.— Уильям Голдинг и его роман «Шпиль», № 10.
Жуков, Юрий — Злоба дня (К итогам парижского литературного сезона), № 8.
Затонский, Д. — Современность «Жизни Клима Самгина», № 6.
Зверев, А.— «Маленький человек» и безумный мир, № 1.
Каган, М.— Марксизм и эстетика (К выходу в свет нового издания сборника «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве»), № 5.
Кархy, Э.— Путь к революции (Уроки Майю Лассила), № 12.
Мясников, А.— Современные споры по вопросам социалистического реализма, № 3.
Отокити, Курода — Визит к Горькому. (Вступление Б. Бялика), № 12.
Павлова, Н. — «Действительность широка, многообразна, противоречива...» (Заметки о поэзии Бертольта Брехта), № 9.
Палиевский, П.— Америка Фолкнера (К переводу «Осквернителя праха»), № 2.
Россиянов, О.— Три поэта (Индивидуальности в современной венгерской лирике), № 3.
Рюриков, Б.— Активность искусства (Полемические заметки о реализме и современности), № 2.
Рюриков, Б.— Человек—одиночество и свобода (Страницы из литературного дневника), № 9.
Симонян, Лидия — Главным образом о чудаках, немного о хэппенингах, № 12.
Снигирцев, А.— Варфоломеевская ночь китайской литературы, № 1.
Сучков, Б.— Роман и миф, № 4.
Тертерян, И.— Национальное, но не традиционное, № 9.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Вейс, Петер — Заметки о документальном театре, № 7.
Ларни, Мартти — Раздумья о реализме, № 1.
Хименес, **Лилиам** — Положение писателя в обществе, № 7.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Вознесенский, Андрей — Небо Бориса Пастернака, № 1.
Зогович, Радован — Вера в людей, № 12.
Олдридж, Джеймс — За исторически-классовый подход к явлениям, № 11.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Азадовский, К.— Песни пятого континента, № 8.
Архипов, Ю.— Однотомник Артура Шницлера, № 2.
Атарова, К.— Живые страницы, № 3.
Ашкинадзе, Георгий — Голоса Африки, № 9.
Борщаговский, Александр — Давид Кюн и его сводные братья, № 6.
Брейтбурд, Г.— Высокие страницы, № 5.
Ваксмахер, Морис — Однотомник Аполлинера, № 1.
Гусейнов, Чингиз — Фикрет — уста революции, № 9.
Долматовский, Евг.— Арестованные поэмы, № 12.
Зонина, Л.— XX век, Бельгия, № 12.
Исбах, Александр — Поэзия ведет огонь, № 8.
Левик, Вильгельм — Переводы Марины Цветаевой, № 5.
Макаренко, В.— Живые черты времени, № 8.
Макиев, Валерий — Как переделать жизнь, № 8.
Мулярчик, А.— Автопортрет художника, № 11.
Обрегон Моралес, Роберто — Дарио — душа испанского языка, № 11.
Опульский, А.— Октябрь в сердцах болгар, № 7.
Прожогина, С.— О людях Африки — писателях и их героях, № 10.
Прожогин, Н.— След сеялки в зеленеющем поле, № 9.
Радволина, И.— Рассказы Иво Андрича, № 3.
Ромеро, Эльвио — Так поет Пабло Неруда, № 1.
Салганик, М.— В переводе с маратхского, № 4.
Слуцкий, Борис — Муза печали и презрения, № 4.
Слуцкий, Борис — Поэзия простых чудес, № 2.
Солонович, Евгений — Из поэтического наследия Джакомо Леопарди, № 7.
Степанов Л.— Беспокойные ритмы Судана. № 6.
Тишков, А.— В бурном потоке жизни, № 11.
Тишков, А.— Монография о Тао Юань-мине, № 5.
Черкасский, Л.— Биение сердца, № 3.
Ярославцев, Геннадий — В светлом мире, № 10.
Ярославцев, Геннадий — Силу в борьбе обретший, № 9.

Издано за рубежом

Архипов, Ю.— В поисках утраченных возможностей, № 8.
Архипов, Ю.—Йозеф Рот — справа или слева? № 10.
Балтазар, Камил — Удивительный мир Василе Войкулеску, № 4.
Брейтбурд, Г.— Дублеры, № 11.
Востокова, С.— Владислав Ванчура, каким он был, № 4.

Востокова, С.— На подступах к «Швейку», № 9.
Елистратова, А.— «Пирамида» Уильяма Голдинга, № 1.
Закс, Е.— Возвращение унтера Гриши, № 11.
Зверев, А.— Тропинка из топи, № 6.
Злобин, Г.— Снова неприкаянные, № 2.
Зонина, Л.— Ты человек, и ничто человеческое тебе не чуждо, № 2.
Игнатов, М. — Возвращение к эпосу, № 12.
Ильинская, С.— Добрая ладонь, № 11.
Карельский, А.— Антология экспрессионистской драмы, № 12.
Книпович, Е.— Тщательно и с любовью, № 10.
Книпович, Е.— Честное свидетельство художника, № 11.
Ковальджи, Кирилл — Новая антология советской поэзии, № 11.
Копелев, Лев — Брехт жив, № 3.
Л. З.— Животные разумные и утратившие разум, № 4.
Майзельс, С.— Айайи не хочет быть нищим, № 12.
Мотылева, Т.— Писатели о Горьком, № 7.
Мотылева, Т.— Связи Толстого с Польшей, № 1.
Мулярчик, А.— Философия истории Торнтона Уайльдера, № 5.
Некрасова, Л.— Гимн, написанный кровью, № 6.
Никулин, Н.— Новый роман То Хоая, № 9.
Опульский, А.— Поэт любви к своей земле, № 5.
Опульский, А.— Советско-болгарские литературные связи, № 9.
Павлова, Н.— Из молодой швейцарской поэзии, № 2.
Песис, Б.— В поисках осознанного времени, № 7.
Полюдов, В.— Продолжение традиции, № 1.
Руж, Иван — Октябрь в болгарской литературе, № 3.
Сантакреу, Хосе — Стихи из тюрьмы, № 8.
Тимофеева, О.— Нищета и величие старой Мариотты, № 6.
Тимофеева, О.— Пароль: «справедливость и братство», № 10.
Фиш, Радий — Писатель, его город, его народ, № 10.

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

Додэ, Карлос Руис — Читатель и книга (Письмо из Аргентины), № 6.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Азерникова, Е.— Крайности сходятся, № 10.
Архипов, Ю.— Критика критики, № 4.
Бернштейн, И.— Не близнецы, но сестры, № 5.
Брейтбурд, Г.— Асфальт и булыжник, № 12.
Брейтбурд, Г.— Куда идет итальянское кино? № 2.
Вавилов, Вл. — По страницам «Черного Орфея», № 6.
Владимиров, Д.— Коль рыльце в пушку..., № 4.
Гатов, Агей — Сдержанный комментарий к красноречивому молчанию, № 7.
Гинзбург, Лев — Информация, ставшая прокламацией, № 7.
Грибанов, Б.— Бунтующее искусство, № 2.
Дашкевич, Юрий — Глазами суперменов, № 11.
Евгеньев, Н.— Народная, классическая, социалистическая, № 7.
Зверев, А.— Вторая жизнь Роджека, № 5.
Зверев, А.— К проблеме серого гуся, № 8.
Зонина, Л.— Знакомьтесь: «Резон презанг», № 4.
Карельский, А.— Мятеж в шпрингеровской империи, № 1.
Кин, Ц.— Пазолини, студенты и полиция, № 10.
Литвинова, С.— Духовное товарищество, № 9.
Майзельс, С.— Художник и общество, № 3.
Наумов, Н.— Феноменология болтовни, № 5.
Н. Н.— Мера зрелости, № 1.
Опульский, А.— Современный болгарин о литературе и искусстве, № 8.
Полянов, Николай — Душа наизнанку, № 11.
Салганик, М.— Война языков? № 9.
Симонян, Л.— Вопрос жизни, № 6.
Словесный, А.— О золотом веке, погибших цветах и вольных стрелках, № 2.
Снигирцев, А.— «Театр национальной обороны» и его нынешние гонители, № 3.

ПУБЛИЦИСТИКА

Александропулос, Мицос — Греция: фашизм и судьбы прогрессивной культуры, № 6.
Брыхт, Анджей — Мой Вьетнам, № 5
Вереш, Петер — На краю Хортобади, № 8.
Глезерман, Г.— Проблемы социалистического гуманизма в современном мире, № 11.
Дзаваттини, Чезаре — Дневник кино и жизни (Отрывки из книги. Предисловие Г. Богемского), № 3.
Дубская, Ирена — Американский год (Отрывки из книги), № 1.
Из наследия Эрнеста Хемингуэя (Очерки и корреспонденции времен второй мировой войны. Вступление Б. Грибанова), № 6.
Кон, И. С.— Национальный характер—миф или реальность? № 9.
Рис Вильямс, Альберт — Новая Россия глазами американцев (Главы из книги Послесловие Саввы Дангулова), № 4.
Саламеа, Хорхе—Латиноамериканская культура и ее проблемы, № 3.
Харди, Фрэнк — Пасынки Австралии (Главы из книги), №№ 10—11.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Бриер, Жан Ф.— Дух Ташкента, № 12.
Кублицкий, Георгий — Репортаж из «спального города», № 7.
Мачавариани, Вл.— О самом насущном (Из путевого блокнота), № 9.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

Федоренко, Николай Т.— Из зарубежных встреч, № 2.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Демин, Л.— Заметки о современной культурной жизни Индонезии, № 9.
Купер, Уильям — Эра острых ощущений, № 5.

ЭКРАН И ВРЕМЯ

Аннинский, Л.— Польское кино в советской критике, № 8.
Стояновская, Е.— О новых зарубежных фильмах (Публицистические заметки), № 12.

НАШИ ГОСТИ

Александрова, Л.— Чтобы человек рос (Юрий Брезан в «Иностранной литературе»), № 6.
Богемский, Г.— «Партизанское кино» Дзаваттини, № 5.
Гривнин, В.— Всегда в пути (Макото Ода в «Иностранной литературе»), № 9.
Дашкевич, Юрий — Жоржи Амаду, его герои, его друзья, № 4.
Зверев, А.— «Против тирании жизни» (Уильям Стайрон в «Иностранной литературе»), № 12.
Зорина, И.— Без переводчика (Бел Кауфман в «Иностранной литературе»), № 11.
Зорина, И.— Продолжение разговора (Чарльз П. Сноу в «Иностранной литературе»), № 3.
Литвинова, С.— Из беседы с поэтом и издателем (Джеффри Даттон — гость «Иностранной литературы»), № 3.
Салганик, М.— На бенгали и урду... (Пакистанские писатели — гости журнала «Иностранная литература»), № 1.
Симонян, Л.— Нелегкая жизнь Герберта Иобста, № 1.
Словесный, А.— Писатель из «каменной страны» (Алекс Ла Гума в «Иностранной литературе»), № 5.
Стояновская, Е.— Уильям Голдинг, сочинитель притч, № 2.
Ткачев, М.— Литература в траншеях (То Хоай в «Иностранной литературе»), № 7.
Харлап, Л.— О том, как находят себя (Криста и Герхард Вольф в «Иностранной литературе»), № 10.
Черникова, С.— Друзья из «страны синего неба» (Монгольские писатели в «Иностранной литературе»), № 8.
Чугунов, К.— Царь джунглей боится Зайца. (Бернар Дадье в «Иностранной литературе»), № 11.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Воейкова, И.— Молодые художники Болгарии, № 9.
Горяинов, В.— Армандо Пиццинато, № 5.
Гранин, Даниил — Альберт Наматжира, № 4.
Дангулов, Савва — Автопортрет в трехстах багетах, № 8.
Жадова, Л.— Фернан Леже, № 1.
Завадская, Е.— Дни разрушения, № 6.
ИЗ КИТАЙСКОЙ КЛАССИКИ, № 7.
Мириманов В.— 10 000 лет африканского искусства (Искусство Сахары), № 12.
Потабенко, С.— Пластика, ритм, человечность (Заметки о современной индийской скульптуре), № 2.
Пышновская, З.— Тео Бальден, № 10.
Свирида, И.— Польский плакат, № 11.

НАША ПОЧТА

Читатель предлагает, № 12.
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ, №№ 5—10, 12.
ЕГО КНИГИ НЕСУТ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ (К 150-летию со дня рождения И. С. Тургенева), № 11.
СЛОВО ГОРЬКОГО НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ, № 3.
Журнал «Советская литература» — юбиляр, № 7.
ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, №№ 1—12.
АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, №№ 1—12.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 00927. Сдано в производство 7/X-68 г. Подписано к печати 15/XI-68 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2). Уч-изд. листов 26,28. Зак. 2760.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394